

"Azərbaycan e-kitabı: rus dilində" 09 (72 – 2013)

Низами Гянджеви

ПЯТЬ ПОЭМ

СОКРОВИЩНИЦА ТАЙН

Перевод с фарси: К. Липскерова и С. Шервинского

Хосров и Ширин

Перевод с фарси: К. Липскерова

Лейли и Меджнун

Перевод с фарси: Стрешнева Татьяна Валерьевна

СЕМЬ КРАСАВИЦ

Перевод с фарси: В. Державина

ИСКЕНДЕР-НАМЕ

В ДВУХ КНИГАХ

Перевод с фарси: К. Липскерова

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

2013

www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

"Azərbaycan e-kitabı: rus dilində" 09 (72 – 2013)

Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun 2013-cü ildə maliyyə yardımı Müsabiqəsinin qalibi olmuş və bir hissəsi maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənəçilər Qurumunun <http://www.kitabxana.net> - Milli Virtual Kitabxananın həyata keçirdiyi "Rusdilli gənclər üçün Azərbaycan e-kitablarının hazırlanması, təqdimatı" - Kulturoloji-şəbəkə layihə çərçivəsində hazırlanıb və yayılır.

Elektron Kitab N 09 (72 – 2013)

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

[Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Azərbaycan Gənclər Fondu:](http://youthfoundation.az)
<http://youthfoundation.az>

Низами Гянджеви

ПЯТЬ ПОЭМ

СОКРОВИЩНИЦА ТАЙН

Перевод с фарси: К. Липскерова и С. Шервинского

Хосров и Ширин

Перевод с фарси: К. Липскерова

Лейли и Меджнун

Перевод с фарси: Стрешнева Татьяна Валерьевна

СЕМЬ КРАСАВИЦ

Перевод с фарси: В. Державина

ИСКЕНДЕР-НАМЕ

В ДВУХ КНИГАХ

Перевод с фарси: К. Липскерова

Данный текст не может быть использован в коммерческих целях, кроме как с согласия владельца авторских прав.

Низами Гянджеви Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф (перс. نجوى نظامى گ — Nezâmi Ganjevi, میزامى گ، азерб. Nizami Gəncəvi, около 1141, Гянджа, современный Азербайджан — около 1209, там же) — классик Азербайджанской и персидской поэзии, один из крупнейших поэтов средневекового Востока, крупнейший поэт-романтик в эпической литературе, привнесший в эпическую поэзию разговорную речь и реалистический стиль.

NİZAMİ GƏNCƏVİ

“XƏMSƏ”

Beş poema

Rus dilində

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 09 (72 - 2013)

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

Layihə çərçivəsində rəqəmsal nəşrə hazırlanan və yayılan digər e-kitablarla burada tanış olun:

http://www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=142



Низами

ПЯТЬ ПОЭМ

СОКРОВИЩНИЦА ТАЙН

Перевод с фарси - К. Липскерова и С. Шервинского

Хосров и Ширин

Перевод с фарси - К. Липскерова

Лейли и Меджнун

Перевод с фарси - Стрешнева Татьяна Валерьевна

СЕМЬ КРАСАВИЦ

Перевод с фарси - В. Державина

ИСКЕНДЕР-НАМЕ

В ДВУХ КНИГАХ

Перевод с фарси – К. Липскерова

Перевод с фарси

А. Бертельс

Низами

Читая сейчас Гомера, Вергилия, Данте или Низами в русском переводе и находя у них глубокие мысли, поразительно близкие нам, отдаленным от этих гениев прошлого на много столетий, мы обычно почти не задумываемся о том, как понимали их творения современники. Реконструировать полностью понимание поэзии таким, каким оно было, скажем, в Гяндже XII века, при жизни Низами, конечно, нельзя прежде всего потому, что в наши дни живет поэзия совсем иного типа, и мы невольно исходим из иных, чем в те времена, привычных нам эстетических идеалов. Однако сделать все возможное для такой реконструкции необходимо, иначе мы легко можем впасть в ошибку и начать приписывать стихам Низами свойства, которых у них не могло быть.

Не менее важно попытаться проследить, какие мысли и чувства, выкристаллизованные в поэмах Низами, пройдя сложными путями, незаметно вошли в сокровищницу человеческой памяти, и, по известному выражению Герцена, «на сига минуту в нашем мозгу». И, наконец, самое главное, нам надо постараться осознать, как мы сами сейчас воспринимаем стихи Низами, каково взаимодействие нашего восприятия с его поэзией, что для нас в ней на самом деле важнее всего.

Любое художественное слово, особенно поэтическое, не однозначно, любое стихотворение, написанное в наши дни на родном нам языке, ввиду емкости поэтического слова, вызывает различные толкования критиков и любителей поэзии. Тем более необходимо предварить читателей русского поэтического перевода Низами, постараться по мере возможности описать на этих немногих страницах культурный фон творений скончавшегося семь с половиной столетий назад великого поэта, создателя труднейших философских поэм, написанных на средневековом персидском поэтическом языке, обладающем языковым мышлением, отличным от нашего. Знатоку и поклоннику античной древности, Карлейлю, принадлежит такой парадокс: «Во всей «Илиаде» Гомера нет ни одного слова, которое мы понимали бы сейчас точно так же, как его понимал сам Гомер». Нам кажется, что при соблюдении должной осторожности, говоря о Низами, мы имеем право быть менее скептическими, тем более что суть важнее деталей.

* * *

Низами родился между 1138 и 1148 годами (точная дата не известна) в Гяндже [1], в Азербайджане. В то время Гянджа была довольно большим и процветающим средневековым восточным городом с замком местного правителя в центре, где помещались гарнизон, тюрьма и место казней, с мечетями, медресе, большими базарами под кирпичными сводами, рядами ремесленников, многочисленными кварталами, населенными знатью и купцами, различным трудовым, людом, а поближе к окраинам — беднотой, «городской чернью», нищими, а также грабителями, жуликами и торговцами вином, запрещенным исламом. Дворцы и мечети сверкали изумительными поливными изразцами, тончайшими узорами, золотом, кварталы же были глинобитными, пыльными, сожженными солнцем, однообразными, желто-серого «цвета верблюжьей шерсти». Лишь во дворе, за высокой глухой стеной, у хозяина побогаче росли цветы и был расписан красками айван [2]. Одежда, особенно женская, была, в меру возможностей каждого, яркая, расшитая золотом, но беднота ходила в халатах из грубой шерстяной материи, вроде нашей прежней сермяги, и простых войлочных шапках. Через город, позванивая красиво в тон подобранными бронзовыми колокольцами, проходили большие караваны — транспорт и почта того времени — привозившие товары, рассказы о дальних странах, рукописные книги, слухи, сплетни.

Жизнь была трудной, беспокойной, опасной. Землетрясение наполовину разрушило Гянджу в конце XII века. Монголы смели ее с лица земли вскоре после смерти Низами. При его жизни, по его выражению, город был постоянно «в кольце войн». То являлись пограбить богатых горожан голодающие кочевники, то какой-нибудь князек вдруг решал расширить свои владения и шел войной на соседа, то внутри города вспыхивала «смута» — религиозная или племенная рознь, недовольство «черни» — лилась кровь. Временами город посещала чума или холера и быстро уносила в могилу большую часть жителей.

Князьки творили, что хотели, они могли в любой момент схватить горожанина и бросить его в подземную темницу, обобрать, казнить. О недолгих периодах относительного спокойствия и справедливости, например, о почти сказочных временах царя Хосрова Ануширвана (VI в.) Низами говорит, как о чем-то очень далеком и неправдоподобном. В его время справедливость «на крыльях Симурга улетела куда-то». Горячим стремлением к справедливости, к прекращению кровопролития и Произвола полны все поэмы Низами. То старец, надев саван и приготовившись к смерти, является во дворец правителя и бросает ему в лицо тяжкие обвинения, то старуха жалуется самому султану Санджару на творимые его воинами притеснения, то осторожный пастух притчей о псе, таскавшем овец из стада, дает понять шаху Бахраму, что его везир — предатель и насильник. Насилие же, считает Низами, ведет государство к гибели. Даже шах, творящий его, должен быть наказан.

Фанатичное мусульманское духовенство (кази, факихи) зорко следило за еретиками и жестоко их преследовало. Наряду со светским бесправием существовало бесправие шариатское. Поэты XI века Омар Хайям и Насири Хосров горько жалуется на то, что в их время преследуют как еретиков, не уповающих на Аллаха, врачей, составляющих лекарства, астрологов, предсказывающих солнечные

затмения, математиков. Само же духовенство, говорят они, под видом борьбы за сухое единообразное правоверие (конформизм, как выразились бы сейчас), стремится лишь к личному обогащению. «Все они — ненасытные шакалы, гиены, акулы, взяточники, а не хранители слова божьего».

Каждое сочинение того времени подвергалось суровой мусульманской цензуре. Преследовали и заставляли переделывать свои поэмы предшественника Низами — Сенаи. Следы духовной цензуры видны во всех поэмах Низами. Например, тогда не разрешалось воспевать в стихах царей и героев древнего Ирана — они ведь не были мусульманами, — и Низами специально мотивирует выбор сюжета «Хосров и Ширин» в начале поэмы, а постыдную гибель Хосрова от руки собственного сына объясняет тем, что этот царь разорвал письмо, полученное от основателя ислама пророка Мухаммеда и отказался принять истинную веру. Объяснение рассчитано, очевидно, на придирчивого читателя, на что Низами и намекает в главе «В оправдание сочинения книги». Упомянутый там фанатичный друг поэта называл немусульманских героев прошлого «всякой падалью».

Поэт в то время мог или состоять при дворе князька и жить его подарками, или принадлежать к тайному религиозному братству. Поэты, бывшие обычно также и учеными, богословами, врачами, астрологами, должны были сносить переменчивый нрав повелителя или терпеть гонения духовенства. Многие из них годами томились в тюрьмах, были изгнаны из родного города, казнены. Другие переезжали от одного двора к другому, скрываясь от разгневанных правителей.

О жизни Низами мы почти ничего не знаем. Можно догадываться, что он происходил из средних слоев городского населения. В поэмах он часто жалуется на бедность, но это, как видно, не подлинная нищета, а скорее отсутствие обеспеченного досуга для раздумий и творчества. Кроме поэзии, у него было какое-то занятие, мешавшее ему писать стихи, — наверное, небольшая торговля или преподавание в медресе.

Поэмы Низами наполнены зарисовками деталей тогдашней городской жизни. Во многих своих сравнениях и образах он намекает на приемы ремесленников (например, стих о мастере, выющем канаты), прямо сыплет типичными базарными пословицами. Иногда, правда, бывает трудно установить, стих ли Низами стал впоследствии пословицей, или готовая пословица введена им в стих. Некоторые из любимых им «острых словечек» встречаются, правда, уже у его довольно далеких предшественников — Фирдоуси и Фахр ад-Дина Гургани.

Всю жизнь Низами тихо и скромно, почти отшельником, прожил в Гяндже, нежно любил свою жену, тюрчанку Аппак, которая подарила ему сына и рано умерла, имел много друзей, пользовался уважением как праведник, мудрец и поэт. Умер он в 1209 году. Не желая терять свободу, он так и не стал придворным поэтом, хотя мог это сделать. Он сурово осуждает поэтов, которые постоянно состоят при

дворе, пишут лживые панегирики и ждут подачек. Сам он все свои поэмы только отсылает из Гянджи ко дворам и посвящает различным правителям, иногда одну и ту же поэму — двум-трем подряд. Очевидно, не добившись оплаты своего труда от заказчика, он переадресовывал поэму и отсылал ее другому правителю. В то время это было обычно, даже самые независимые умы искали покровителя — иначе нельзя было прожить.

* * *

Чему же учился Низами, что знал этот поэт, мыслитель и ученый, образованнейший человек своего времени, который почти все свои поэтические образы основывал на данных тогдашней науки? Усвоенное в юные годы обычно так или иначе владеет нами в течение жизни, кажется само собой разумеющимся. Нам очень трудно представить себе, что Низами учился совершенно не тому, чему учили нас. Как это ни очевидно, напомним все же: он жил в XII веке и не мог знать по меньшей мере трех вещей: великих географических открытий, Ньютоновой механики и эволюционной теории. Небосвод у Низами вращается вокруг неподвижной земли (на этом построено огромное множество его поэтических образов), по небосводу бегут «странники» — семь планет. Десятки раз Низами обыгрывает в поэтических образах представление: земля покоится на рогах быка, стоящего на рыбе. Но он явно не понимает это буквально, для него такая картина — лишь миф, ставший поэтическим штампом. В мифе небо — океан, луна — рыба, бык — солнце, но у Низами «все, что ни есть на свете», — это «все от луны до рыбы» только потому, что мах(луна) и махи(рыба) по-персидски почти омонимы. В его поэзии своеобразная логика мифа бывает нарушена ради системы образов, но если бы он написал трактат по космогонии, он, вероятно, объяснил бы нам многие детали своих поэм — мы ведь еще не разобрались в использованной им древней символике.

Таковы земля и небо у Низами. Человек же сотворен у него богом вслед за сотворением царства минералов, царства растений и царства животных. Сходство с эволюционной теорией здесь только в последовательности, ведь ее основы — саморазвития материи — у Низами, конечно, нет. К тому же все три царства у него сотворены богом лишь с определенной целью — ради человека, как в Библии.

Кроме этих общих представлений о небе, земле и человеке, Низами часто говорит в своих поэмах об алхимии и астрологии. В конце XIX века французский химик М. Вертелло пришел к тому выводу, что вся алхимия — сплошная аберрация, нелепость, слепое ответвление древней, существовавшей более двух тысяч лет назад египетской металлургии. С тех пор над алхимией принято посмеиваться, хотя физикам и химикам нашего времени важная в алхимии идея превращения металлов отнюдь не кажется дикой, и отдельные виды таких превращений осуществляются сейчас в лабораториях. Не вдаваясь в сущность этой сложнейшей проблемы, отметим только, что ученые нашего времени получили от древней алхимии, безусловно, одно: дух неустанного экспериментаторства, дух непрерывного научного поиска.

Низами же ценит в алхимии именно это. Для него гораздо важнее превращения простого металла в золото (которое он презирает) превращения в душе человека, преодоление инертности мышления, блеск идей, величайших духовных ценностей. Именно так он часто понимает «философский камень» — раскованный дух человека, делающий прекрасным все вокруг, «философский камень счастья». А когда это достигнуто, праведник может добыть и золота для благих целей, для помощи бедным.

К астрологии Низами относится двойственно. Презирая шарлатанов-астрологов, сулящих людям предсказание судьбы и избавление от житейских бед (как и шарлатанов-алхимиков, обещающих шахам добыть для них много золота без больших затрат), он верит все же в возможности астрологии. Он только считает, что предсказание судьбы не может помочь человеку уйти от нее — все предопределено богом и изменить это предопределение может лишь жаркая молитва праведника.

Выше всех наук Низами ставит «мудрость» (хикмат) — универсальное интуитивное знание о душе и теле человека, которым в его время владели на Востоке суфии — мистики, старцы-наставники. В первой поэме «Сокровищница тайн» его преклонение перед этой мудростью, очевидно, только что полученной от старца, безгранично. В последней же поэме, поднявшись, подобно Омару Хайяму, до предельных для его времени высот скепсиса, он говорит, что и мудрость — лишь высшая форма земного человеческого знания, бессильного перед смертью. Там, где кончается знание, начинается область религии, веры, которая одна только и может уберечь человека от полной растерянности и отчаяния.

«Мудрость» времен Низами включала в себя комплекс медицинских, психологических и прочих знаний в сочетании с высокой техникой гипноза, самогипноза и психоанализа. Не разработав методов систематизации, фиксации, экспериментальной проверки и передачи достигнутого — методов нашей современной науки, — эта «мудрость» была уделом немногих тайных групп, передавалась непосредственно, путем особых упражнений, наиболее одаренным единицам и часто переходила в простое шарлатанство типа фокусов, которые показывают иные теперешние индийские факиры за деньги туристам. Суфиев-шарлатанов сурово осуждают и сам Низами, и многие его выдающиеся современники. «Мудрость» в сочетании с религией должна вести только к высшему благу человека — считают они.

Таков вкратце круг близких Низами знаний, резко отличный от современного нам. Практические знания, такие, как описательная география, предназначенная для предводителей караванов и сборщиков налогов, познания врачей-практиков, металлургов, ремесленников, строителей были слабо связаны с описанными теоретическими науками. Лишь, пожалуй, математика была близка к строительному делу и мореплаванию. Производство же было кустарным и в теории почти не нуждалось. Теория была ближе к религии, чем житейской практике — обычная для средневековья картина.

* * *

Следует еще раз оговорить, что все элементы современных Низами наук введены у него в систему поэтических образов, в целом созданную до него и развивавшуюся к его времени уже почти триста лет. Как наука, так и поэзия XII века резко отличались от науки и поэзии нашего времени. Наука создавала априорный, интуитивно добытый свод правил и потом подводила под него разрозненные явления действительности. Ей было чуждо характерное для нас сейчас объективированное представление о времени, историчности, последовательной регистрации фактов, представление о программе на будущее. На первое место ставилась иерархия ценностей.

Поэзия выработала жесткий свод правил, литературный ритуал, на фоне которого только и можно было создавать различные вариации ранее существовавшего. Новация была возможна только на фоне традиции и в теснейшей связи с ней. Наша современная наука чаще идет по противоположному пути: от накопления фактов к обобщению. Наша современная поэзия также отлична от средневековой: она ищет максимального проявления индивидуальности, личности поэта, наибольших связей с действительностью, простоты, новизны. Напротив, поэзия Низами традиционна, абстрактна и предельно украшена поэтическими фигурами. Сам он не стремится непосредственно связать свои стихи с конкретной действительностью, не стремится быть абсолютно оригинальным, хотя и не чужд дидактике и иногда отстаивает свою авторскую самостоятельность.

Почти все сюжеты поэм Низами взяты из старинных хроник и преданий, внешне построены как дополнения к ним или их систематизация. «Хосров и Ширин» как бы дополняет раздел «Шах-наме» Фирдоуси, не повторяя уже сказанного им. «Лейли и Меджнун» — упорядоченное собрание легенд арабского племени узра, «Семь красавиц» — снова исходит из «Шах-наме», поэмы об Александре Македонском основаны на «Шах-наме», Коране и сведениях об античных философах; эпизоды, связанные с Берда'а, Нушабе, взяты из не дошедших до нас местных азербайджанских хроник. Но как тонко использует Низами предания ради достижения особых целей! Его можно сравнить тут только с Шекспиром, не пренебрегавшим, как известно, хроникой или старинной итальянской новеллой при создании сюжета.

О раннем периоде творчества Низами (приблизительно до 1175 г.) мы почти ничего не знаем. Известно, что он писал лирические стихи. Немногие из них дошли до нас. За последние тридцать лет жизни он создал пять больших поэм («Пятерица»), общим объемом около шестидесяти тысяч строк (тридцать тысяч бейтов). Мы не будем разбирать здесь их содержание — поэмы представлены в этой книге сокращенными поэтическими переводами с изложением содержания пропущенных глав, снабжены комментариями. Укажем только время создания поэм. «Сокровищница тайн» написана между 1173 и 1180 годом, «Хосров и Ширин» закончена в 1181 году, «Лейли и Меджнун» — в 1188 году. Эти три

поэмы относятся к периодам молодости и зрелости поэта. Жалобы на старость и болезни появляются в поэме «Семь красавиц», завершённой в 1197 году, когда Низами было около шестидесяти лет. В законченной около 1203 года «Искендер-наме» заметны следы торопливости, вызванной, надо думать, предчувствием близкой смерти; первоначальный ее план, как видно, полностью не осуществлен, а жалобы на старость и болезни завершаются там главой о смерти самого Низами, над которой многие ломали головы. Одни считают ее позднейшим добавлением, не принадлежащим Низами, другие склонны видеть в ней композиционный прием, навеянный думами о близкой смерти.

Каждый из шестидесяти тысяч стихов «Пятерицы» Низами великолепно отделан, в каждом из них применено по несколько поэтических фигур тогдашней схоластической поэтики, каждый стих пронизан тончайшими смысловыми и звуковыми ассоциациями. Чтение их в оригинале, даже вне общего содержания поэм, доставляет необыкновенное эстетическое наслаждение. Все пять поэм «прошиты» едиными мыслями, обеспечивающими им единство и композиционную стройность, не похожую на привычную нам логическую, хронологическую и симметрическую композицию. Вся «Пятерица» состоит из плавных ассоциативных переходов, тончайших нюансов слова и мысли, воспринимаемых неискушенным читателем иногда как недостаток логики, иногда как повторения.

Создание такого «поэтического гиганта», как «Пятерица», поэтический подвиг Низами вызывает сейчас удивление. Иному современному читателю кажется, что он мог бы сказать все то же самое и покороче. Но многословие Низами вызвано определенными причинами. Чтобы объяснить их, напомним здесь известные мысли Л. Н. Толстого о роли «большого сцепления» в литературе. Толстой говорил, что если бы от него потребовали сказать все то, что он имел в виду выразить «Анной Карениной», то он был бы вынужден написать весь этот роман вторично от начала до конца. Вне «большого сцепления» мотивов, образов, всех слов романа, говорил Толстой, мысль «страшно понижается», она живет только в этом «большом сцеплении», она в нем выкристаллизовалась. Бессмысленно отыскивать и выхватывать отдельные мысли в романе, его идея выражена во всем его художественном построении, а не в цитатах. Если критики могут запросто говорить об идеях «Анны Карениной», то это только потому, что идеи сперва прояснились в словесной ткани романа. Истинная задача критиков — вести читателей по «лабиринту сцеплений», в котором и состоит сущность искусства.

Цель Низами в его огромной «Пятерице» — добиться кристаллизации мысли в «большом сцеплении», добиться ее усвоения читателем. Как и многие суфии его эпохи, Низами считал, что возвышенная идея, хотя бы и не новая, с большим трудом входит в затуманенное инерцией мысли и условиями жизни, ее бесконечно повторяющимися стереотипами сознание человека. Любую идею надо повторить много раз то в форме прямого поучения, то в форме притчи, своего рода басни, то, наконец, в виде целого сюжета. Идеи «Сокровищницы тайн» проходят у него через всю «Пятерицу» (например, мысль о высшей ценности чистой духовной жизни человека, по сравнению с богатством, властью, чувственными

наслаждениями, мысли о справедливости), обретают разные формы, переливаются всеми цветами радуги в «гремучем жемчуге» его стихов. В них постоянно проявляется великая моральная тенденция «Пятерицы».

Л. Н. Толстой сравнивал моральное и эстетическое в литературе с двумя плечами одного рычага: когда повышается эстетическое, понижается моральное, и наоборот. «Как только человек теряет нравственный смысл, так он делается особенно чувствителен к эстетическому». Поиски наилучшего сочетания морального и эстетического — поиски всей жизни Толстого, Гоголя, Достоевского. Питая глубокое отвращение к безнравственному эстетизму искусства начала XX века, Томас Манн трогательно говорил о «святой русской литературе», которая его воспитала.

В поэзии на персидском языке эпохи Низами (X–XIII вв. и далее) проблема соотношения морального и эстетического была поставлена совсем особым образом. Собственно, вся эта поэзия, кроме, отчасти, придворной, — одновременно и этика, что отразилось и в определяющем ее слове (адаб — этика, адабиёт — литература). Рудаки, Фирдоуси, Сенаи, Низами, Саади, Джалал ад-Дин Руми — все они прежде всего великие учителя очень гибкой и тонкой морали, великие воспитатели. Для Низами главная задача — вывести человека из скотского состояния жадности и сластолюбия, духовно возвысить его. Мораль Низами не всегда совпадает с тем, к чему мы привыкли, встречающаяся у него любовая дидактика не может нам сейчас импонировать, орнаментальный стиль стиха и символичность образов воспринимаются иногда с трудом, но нельзя забывать, что Низами — наш далекий предшественник, а не современник.

Низами, безусловно, был мистиком. Слово «мистика» сейчас нередко воспринимается как крайне отрицательное, чуть ли не как ругательство. Однако в применении к культуре далекого прошлого это не ругательство, а определение одной из черт, присущих культуре средневековья. По Энгельсу, средневековая мистика — одна из форм протеста против гнета ортодоксальной религии, освящавшей феодальный строй. Диалектика ее развития состоит в том, что, беря начало в религии, используя эти элементы, она переходит к протесту против ее ортодоксальной формы. Таков социальный аспект средневековой мистики.

Если мы попробуем вникнуть в само понятие «мистика» с точки зрения теории познания, то получится следующее. Под мистикой принято понимать веру в возможность непосредственного общения человека со сверхъестественными силами — обычную составную часть всех религий, особенно в средние века, эпоху, когда не было иной идеологии, кроме религиозной. Но сама грань «сверхъестественного» не абсолютна.

Это скорее грань еще не познанного. Для Низами молния, электричество было, безусловно, сверхъестественной таинственной силой. Мы сейчас располагаем более или менее стройной теорией этой силы, а главное, она нам повседневно служит на производстве, в лампочке, уютге. Она перестала быть для нас таинственной.

С внутренним миром человека дело обстоит несколько иначе. Открытия последних десятилетий в области экспериментальной психологии, медицины, логики, изучения мифологии, этнографии, электроники, создания механических аналогов работы мозга, генетики показали, что внутренний мир человека не столь бесконечно многообразен, как казалось еще недавно, и даже в темные пучины подсознательного можно проникнуть и осветить их светом научного знания. Но далеко и далеко не все еще в нем познано, и тут скрывается источник современной мистики, желающей видеть в еще не познанном таинственное и сверхъестественное, отказывающейся от научных объяснений.

Во времена Низами почти все в теле и душе человека, рождении и смерти казалось еще таинственным. И тем не менее Низами смело, страстно стремится все познать, все понять, все объяснить в человеке. Ведь человек для него — главное. Современные исследователи средневековой мистики говорят, что в ней больше всего поражают две черты: страстное стремление все познать, все понять, все охватить именно сейчас, в данный момент, и вытекающая отсюда наивность объяснений еще незрелого метафизического знания, необоснованных аналогий, невнятных нам символов. Эта наивность свойственна и Низами. Станным кажется, например, в его столь подчас светлом сознании панический страх перед «дурным глазом», выраженный десятки раз в «Пятерице».

Для создания общей картины внутреннего мира человека, «моря души», Низами вынужден прибегнуть к его древнему мифологическому описанию, идущему из недр египетской и вавилонской жреческой мудрости, сохраненному в его время суфиями. И не следует искать на карте значительную часть пройденных Искендером у Низами чудесных стран, где вместо земли — сера, серебро или россыпи алмазов. Это — символическое описание внутренних состояний человека, постепенно погружающегося в себя во время мистической медитации — глубочайшего раздумья, сопряженного с самогипнозом — единственного тогда способа изучения психики, это — те же самые круги ада и рая, описанные в иной системе символов Данте. Кстати, ад, очень похожий на дантовский, описал предшественник Низами — Сенаи, на которого Низами ссылается в «Сокровищнице тайн», а зависимость всей схемы Данте от младшего современника Низами — арабского суфия Ибн аль-Араби — доказана испанским ученым М. Асин-Паласиосом.

«География души» Низами имеет аналогии, символические соответствия в географии земной. Ведь для Низами человек — «малая вселенная», а вселенная — «большой человек», они построены аналогично,

органы человеческого тела соответствуют созвездиям и планетам на небе, частям суши на земле, и человек — сын неба и земли. Такова странная для нас сейчас мифологическая мистическая символика его времени. Чтобы понять, почему источник живой воды находится на крайнем севере, в «стране мрака» («Искендер-наме»), надо знать, что для Низами полярная ночь — земная аналогия погружения во мрак души человека, где бьет живой родник мистического прозрения. Лежащая на севере, всего в сорока днях пути (срок поста перед медитацией) страна, где нет богатых и бедных, где нет угнетения, гнева, болезни и смерти — это также и «град божий» в душе человека, «царство божие внутри нас», а не только чисто земная социальная рациональная утопия, во всем подобная европейским. Описание тела и души человека как звездного неба и как города, страны, где правит падишах-интеллект, обычно для суфиев времен Низами, и это несколько сбивает с толку при чтении его поэм.

Ортодоксальное духовенство считало, что абсолютное счастье и справедливость невозможны, пока дух соединен с материей. Полное счастье возможно только в мире потустороннем, в раю (типичное, говоря словами К. Маркса, религиозное «торжественное восполнение» несовершенных реальных общественных отношений). Если ортодоксальная религия «страну счастья» видела только в рае, куда попадет праведник после смерти, то мистик Низами считает возможной концентрацию счастья и справедливости в душе человека при его жизни — построение в душе «града божия». Социальная же действительность, по его мнению, в силу своей материальности несовершенная, должна все-таки по мере возможности стремиться к идеалу, созданному в душе праведника. Отсюда — осуждение Низами тирании феодалов и прямая связь психологической мистической утопии с мыслями о земной справедливости, мистическое обоснование требования этой земной справедливости. Сила же его утопии, независимо от ее обоснования, очевидна, моральная ценность ее для Востока на долгие века — огромна. Вот — разработанная Низами мысль, давно незаметно влившаяся в общий поток осознания социальной несправедливости и живая до наших дней.

* * *

Мотив любви для Низами — один из главных. Три его поэмы — «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун» и «Семь красавиц» — романтические поэмы, гимны любви, величайшей силе в душе человека, любви, постепенно очищающейся от грубой чувственности и поднимающейся до подвига самоотвержения ради любимой. История раннего романа, любовного сюжета на Западе и Востоке очень сложна. Полагают, что сюжеты эллинистических романов (истории двух влюбленных — «Геро и Леандр», «Дафнис и Хлоя», «Анфия и Аброкома», «Исмин и Исминия») пришли на Запад с Востока. Получив две тысячи лет назад развитие на Западе, в эллинистический период, романтические сюжеты снова появляются на Востоке в средние века. Предшественник Низами Унсури (XI в.) пересказывает сюжет романа «Геро и Леандр», многие античные сюжеты и мотивы попадают в суфийскую поэзию эпохи Низами. Его «Искендер-наме» почти целиком построена на античном материале, хотя и взятом не из романов. При чтении этой поэмы нас поражает прежде всего то, что греки Низами — совсем не те, к которым мы привыкли, не те, которых мы знаем по нашим школьным учебникам. Объясняется это

очень просто. Наше представление о греках сложилось в результате столетий взаимодействия мышления деятелей эпохи Возрождения и последующих поколений европейских ученых с творениями античных авторов. Эти ученые взяли у них прежде всего рационалистическую науку. Взаимодействие мышления мусульманских ученых средневековья отчасти с тем же материалом, а отчасти с признанными у нас второстепенными или даже неизвестными нам античными авторами было, естественно, иным. В VIII–IX веках в халифате появляется живой интерес к античному миру. Его высоко развитая наука была необходима огромному развивающемуся восточному государству. На арабский язык переводят с греческого все, что только сохранилось, кроме поэзии: логику, математику, медицину, философию, астрологию, алхимию. Наступает пора, которую условно называют «мусульманским ренессансом». Восточные мыслители комментируют и развивают Аристотеля, Платона, Пифагора, Галена. При всеобщем засилье ортодоксального ислама надо было как-то оправдать этот поток идей, исламу очень мало соответствовавших. Появляется теория, согласно которой греческие мыслители хотя и жили до ислама и были «неверными», но их мудрость — тоже «свет от лампы пророчества». На первый план выдвигается постепенно античная мистика александрийского периода (гносис), элементы которой есть уже в Коране — священной книге мусульман (начало VII в.). Идеи неоплатоника Плотина (204–270 гг. н. э.) оказываются на Востоке более известными, чем Платона и Аристотеля, а с последним связывают поздние неоплатонические апокрифы — доказательство бытия бога и «Книгу яблока», кратко пересказанную Низами в одной из глав «Искендер-наме». Идет постепенное сближение, синтез ислама и античной культуры, особенно ярко проявившийся в арабской энциклопедии «Чистых братьев» (X в.), несомненно, хорошо известной Низами (его космогонические представления явно идут оттуда). Результат синтеза двух культур, происходившего на Востоке в средние века, при недостатке положительных знаний и совсем в особой обстановке, был, естественно, совсем иным, чем в Европе XV–XIX веков. Низами, например, знал, что греки обожествляли Александра Македонского (его культ действительно существовал в эллинистическую эпоху), он не мог отказаться от всеобъемлющей мусульманской идеи пророчества, и Искендер у него — завоеватель, мудрец, справедливый правитель и пророк (в соответствии с Кораном, где он, как тогда считали, назван среди второстепенных пророков), а не, к примеру, «Александр, рыцарь без страха и упрека» французской трагедии XVII века (его ведь даже изображали тогда на гравюрах в пудреном парике), и не политик рабовладельческой эпохи позднейших учебников. То, что Искендер — пророк, не мешает Низами сделать его носителем света разума, только разум этот у Низами несколько ближе к мистическому откровению, интуиции, как мы сказали бы сейчас, и дальше от нашей современной рационалистической его концепции.

В позднее средневековье и эпоху Возрождения мысли и чувства, идущие из античной древности и обогащенные на Востоке, широко проникают на Запад. Наряду с непосредственным изучением гречески и латинских источников, переводят с арабского на средневековую латынь (язык тогдашней науки) труды мусульманских мыслителей. Прежде всего это происходит в Испании, где общение Востока и Запада было непосредственным, за ней идут Франция, Италия, Англия. Ученый нашего времени Ф. Хитти доказал, например, что любовные стихи ранних трубадуров — это почти переводы арабской

средневековой лирики, а культ Девы Марии и культ «прекрасной дамы» средневековой Европы сложились после крестовых походов под сильным восточным влиянием. К этому времени (XI–XII вв.) старый доисламский (до VII в.) культ любви арабского племени узра развился в мистической арабской поэзии. «Лейли и Меджнун» Низами — тоже развитие легенды об испепеляющей силе любви арабов племени узра. Суфий, теоретик, глубокий арабский мыслитель и психолог, предвосхитивший, как сейчас считают, идеи Фрейда и Юнга — Ибн аль-Араби (жил в Испании) — учил в начале XIII века: «Видение бога в прекрасной женщине — самое совершенное». Его идеи, несомненно, также сыграли роль в развитии культа «прекрасной дамы». Таково сложное переплетение путей романтического мотива «легенды о любви»: с Востока — к грекам, от греков — к арабам, где появляется новое качество, от арабов — к Низами и в Европу. Религиозное обоснование любви, любви к прекрасной женщине, любви к человеку, любви к прекрасному было высшим в пору безраздельного господства религии. Со временем это обоснование отпало, и в наследство нам достались «рыцарские чувства» в лучшем смысле этого слова, заложенные в крови, почитание женщины, матери, самоотверженная любовь, любовь к прекрасному.

Многие века господства темы любви в мировой литературе — от древней арабской легенды о Лейли и Меджнуне — к «Ромео и Джульетте» — и «прекрасной даме» Блока — несомненный факт.

К концу XIX века эта тема была профанирована, избита и опошлена, например, в английском мещанском романе, что вызвало, в частности, безжалостные насмешки Бернарда Шоу в его авторском предисловии к «Пьесам для пуритан». В последние десятилетия эта тема подвергалась нападкам многих модернистов.

Дело не в заимствованиях, не в том, что «любовная тема пришла с Востока» (хотя, например, чисто арабская основа сюжета драмы «Сид» Корнеля — любовь и кровная месть — очевидна, как очевидна и связь «Принцессы Турандот» Шиллера с «Семью красавицами» Низами), а в том, что культура Востока и Запада едина, что она развивалась на основе постоянного тесного общения, культурного обмена, постепенно кристаллизуя в творениях поэтов и мыслителей главную тему — тему любви к человеку, тему гуманизма. Любовный мотив же, рассказ о двух чистых верных влюбленных, был долгие века наиболее простым и ясным, всем близким выражением этой темы. И тут огромная роль в придании определенной формы и любовной и общегуманистической теме, формы, в которой она только и могла быть тогда осознана, принадлежит Низами.

Низами закончил «Пятерицу» около 1203 года. Очень скоро появляются так называемые «поэтические ответы» (назира) как на всю «Пятерицу», так и на ее отдельные части. Эти «ответы» представляли собой поэмы, в которых сохранены почти все основные персонажи и сюжетные линии частей «Пятерицы», и

отличаются только изложение и трактовка. Ближе всего к «Пятерице» Низами стоят широко известная «Пятерица» индийского поэта Амира Хосрова Дехлеви (1253–1325), написанная также на персидском языке, и «Пятерица» Алишера Навои (1441–1501), написанная на языке староузбекском. Причины создания такого рода «ответов» были настолько непонятны европейским ученым прошлого века, воспитанным на идее оригинальности творчества, что «Пятерица» Навои показалась им первоначально переводом поэм Низами, каковым она на самом деле ни в коей мере не является. По весьма еще неполным данным известно более сорока «ответов» на «Сокровищницу тайн» Низами, написанных на персидском языке, и несколько «ответов» на языках тюркских; более сорока «ответов» и на «Хосров и Ширин» (персидские, азербайджанские, турецкие); десятки (будто бы даже более сотни) «ответов» на «Лейли и Меджнун» на персидском и тюркских языках и т. д. Самый поздний и самый известный у нас «ответ» — драма в стихах турецкого поэта Назыма Хикмета «Легенда о любви» (1948), представляющая собой развитие сюжета поэмы «Фархад и Ширин» из «Пятерицы» Навои, являющейся, в свою очередь, «ответом» на «Пятерицу» Низами. «Легенда о любви» поныне идет с большим успехом во многих театрах нашей страны и за рубежом.

На первый взгляд такая приверженность традиции может показаться странной. Действительно, зачем было бесконечно повторять сюжеты, сложившиеся у Низами в известной мере случайно, почему нельзя было взять сюжеты совсем новые, скажем, сюжеты «из жизни»? Выше мы говорили уже об особенностях художественного творчества в средние века. Эстонский исследователь М. Ю. Лотман (см. «Поэтика», Тарту, 1964), отдельные мысли которого о средневековой поэзии использованы в этом предисловии, сравнивает персонажи литературных произведений отдаленного прошлого с масками итальянской комедии дель арте. Эти маски (Арлекин, Коломбина, Пьеро) имели, по традиции, всегда определенные костюмы, грим, характеры, даже акценты определенных областей Италии, но игравшие их актеры не располагали заранее готовым текстом, они играли экспромтом, не выходя за рамки характера. Если применить это сравнение к персонажам Низами и поэтов, писавших ему «ответы», то можно сказать, что Низами — и в том его огромная заслуга — создатель масок великой человеческой драмы, десятки раз разыгранной после него на Востоке его талантливыми, а иногда и гениальными продолжателями. Только таким путем повторения можно было сохранить в средние века великое гуманистическое содержание поэм Низами, донести его до разноязычной многомиллионной аудитории народов Востока, сохранить в виде живой традиции до наших дней. Низами, подобно Горацию, Пушкину, Фирдоуси, сознавал, какой памятник он себе воздвиг. Он несколько раз говорит в поэмах о вечной жизни своих стихов, о том, как они откликнутся на призыв последующих поколений.

Следует добавить, что «маски» Низами и его продолжателей (Хосров, Ширин, Фархад, Лейли, Меджнун) — это далеко не только персонажи старых хроник и преданий. Упомянутый выше Ибн аль-Араби толковал известную библейскую легенду об Иосифе Прекрасном, изложенную и в Коране, следующим образом: Иаков, отец Иосифа, — это символ интеллекта человека, Иосиф — символ любящего сердца, познающего бога, десять братьев — символы пяти внешних (слух, зрение и т. п.) и

пяти внутренних (мышление, память и т. п.) чувств, предающих Иосифа, — сердце, которое лишь одно силой любви способно достичь истины. Воплощение в двух персонажах злого и доброго в человеке близко к нашему времени выполнено Гете. Ведь Мефистофель — это лишь злое начало в Фаусте, принявшее, ради художественного исследования противоречий души, форму соблазителя в красных одеждах... И понятно, что преемники Низами не могли произвольно заменять раз найденные маски его поэм, тем более что, например, «семь красавиц» — это одновременно и семь планет вселенной, властвующих, согласно древнему астральному мифу, над соответствующими свойствами человеческой души.

Рядовые читатели воспринимали, конечно, Фархада, Ширин или Лейли лишь как полные обаяния персонажи поэм. Французский писатель XVIII века Ж. Казот вспоминал, как он зачитывался символической поэмой «Освобожденный Иерусалим» великого итальянца Торквато Тассо (XVI в.) и случайно натолкнулся на том, содержащий объяснения аллегорий этой поэмы. Он остерегся раскрыть его. «Он был страстно влюблен в Армиду, Эрминию, Клоринду и безвозвратно утратил бы столь пленительные иллюзии, если бы эти красавицы были сведены к простым символам». Влюбляясь так же в Ширин или Лейли и не вникая в символику Низами, его почитатели незаметно проникались его идеями.

* * *

Стирая случайные черты, мы осознаем современное значение поэм Низами. Нас удивляют повторения сюжетов «Пятерицы» другими поэтами, но то, что современная хорошая пьеса идет сотни раз с разными актерами, по-иному «прочтенная» каждым режиссером, по-иному воспринятая зрителями, нам представляется вполне привычным. Грань между творчеством и его восприятием не абсолютна. Каждое новое прочтение «Пятерицы», если оно осознано, — это вновь разыгранная человеческая драма, драма, разыгранная одним актером-читателем перед самим собой.

Поэмы Низами стали читать в Европе и России очень недавно; Гете узнал о них по рассказам одного востоковеда и переводам отрывков и, обладая чувством всемирной отзывчивости, сразу понял значение Низами, склонился перед его гением, использовал некоторые его притчи в «Западно-Восточном диване». Востоковедение прошлого века почти не смогло донести Низами до массы европейских читателей — слишком он казался труден. Представляется, что его творчество всегда было и остается очень мало известным в Европе. Но дело не в непосредственном знакомстве с поэмами Низами. Как мы постарались показать, мысли и чувства, выработанные и оформленные поколениями мыслителей и поэтов Востока (в том числе Низами) и Запада, путем сложного синтеза, составили основу нашей культуры. И если притчи Низами можно встретить у Чосера или Боккаччо, то дело тут не в

непосредственном знакомстве их с переводами «Пятерицы». Эти притчи шли издалека запутанными и часто неизвестными нам путями.

Русский читатель смог ознакомиться с Низами только в 1940–1959 годах. Во время восьмисотлетнего юбилея поэта в 1947 году было обращено особое внимание на то, что человек для Низами, как и для многих мыслителей, начиная с античной древности — существо общественное. Наряду с погружением во внутренний мир, «круги ада и рая», медитациями, попытками, кажущимися нам сейчас иногда наивными, выяснить «анатомию» души и вселенной, Низами ясно видит проблемы, возникающие в обществе. Говоря современным языком, главную задачу он видит в перестройке и человека и общества. Он бесстрашно осуждает тиранию и несправедливость, с гневом говорит о власти золота, о жестокости, о бессмысленных кровопролитиях. Как ни абстрактна и ни субъективна его утопия — совершенное общество, — она имеет отношение и к земным делам. Он только считает, что царство справедливости должно быть построено сперва в душе человека, и лишь тогда исчезнет зло мира. Нельзя забывать, что Низами жил восемьсот лет назад.

В наши дни, когда решение главных общественных проблем стало насущной необходимостью и реальной возможностью, мы читаем Низами с иным чувством, чем его современники. За нами еще восемьсот лет опыта всего человечества, мы видим, как гуманизм, активная любовь к человеку постепенно обретала реальность, из абстрактных норм превращалась в общественные институты, закреплялась строем общества. И мы видим одновременно непознанное и неслеланное, перед нами стоят проклятые вопросы так же, как они стояли перед Низами. И мы рады осуществленному, оно дает нам основание с надеждой смотреть вперед и неустанно идти путем добра и правды, которым люди идут с трудом, оступаясь, уже тысячелетия.

1

Развалины этого древнего города находятся в пяти километрах от новой Гянджи — современного Кировабада.

2

Объяснения всех непереуведенных восточных слов (айван, шариат и т. п.) см. в словаре в конце книги.

Низами Гянджеви

СОКРОВИЩНИЦА ТАЙН

Перевод – К. Липскерова и С. Шервинского

Речь вторая

НАСТАВЛЕНИЕ ШАХУ О СПРАВЕДЛИВОСТИ

О властитель, чьи мысли царят над любым из царей,
Что несметным венцам шлет жемчужины многих морей,

Если ты — государь, ты ищи драгоценного крова;
Если ты — драгоценность, венца ты ищи неземного.

Из предвечного света, которым овеян простор,
На тебя не один благодетельный бросили взор.

Ты ценнее всего. Словно городом, правишь ты миром.

Все, что ныне на свете, тебя почитает кумиром.

О, какую страну владеешь безмерно ты!

О, гордись, над страной возвышаешься верою ты.

Времена твои выйдут из круга столетий; с тобою

Не сравнится вселенная ширью своей голубою.

Знаем: зеркало в небе заря поднимает, чтоб ты

В золотом этом зеркале царские видел черты.

Колыбель небосвода затем и забыла про бури,

Чтобы ты, как дитя, отдыхал в безмятежной лазури.

Ты — Иса наших душ, птица сердца, и скажет любой,

Что сравнить тебя можно бесспорно лишь только с тобой!

Солнце в пламени страсти твоим восторгается ликом,

Потому-то оно и сверкает в пыланье великом.

Месяц так истощился! Он был уж совсем невелик,

Но опять он сияет: он снова увидел твой лик.

Ты превыше других. Наслаждайся всем жизненным миром.

Все печали отбрось. Не склонен, словно раб, ты пред миром.

Будь ко всем снисходителен, будь благодарнее вод.

Будь, как ветер свободный, свободен от тяжких забот.

Будь спокойной землею. Страстей не поддайся насилью.

Если землю встревожить, земля станет черною пылью.

Преклони пред создателем жаркую душу свою.

Вот как царствовать, царственный, должен ты в нашем краю.

Жду ответа, о шах! Отвечай же, вопросам внимая,

Где находимся все мы? Где скрыта обитель иная?

Все известно душе, что возвышенной веры полна.

И о мире ином все доподлинно знает она.

Этот мир ты обрел. Ты в вере подумай. Быть может,

Область веры найдешь, и она тебе в мире поможет.

Если ж мир ты отдашь, чтобы веру купить, — никогда

Не внимай слову дьявола: может нагрянуть беда.

Знай, крупница алмазная веры, ведущей из плена,

Камня магов грузней, хоть он был бы увесистей мена,

Камень темный отдай, а сверкающий камень возьми:

С ним в золото веры, что блещет, как пламень, возьми.

Тот, дающий припасы — ну, трудно ли нам это взвесить? —

Взяв припас твой единый, припасов пошлет тебе десять.

Состоянье свое поместить как бы лучше ты мог?

Сколько прибыли верной на свой ты положишь порог!

Стало долгом твоим воспитание праведной веры.

Мудрецы правосудные к этому приняли меры.

Вознеси правосудье, и всех осчастливишь людей.

Угнетателей свергни. Об этом бессменно радей.

Должен городу с войска ты блага желать, и на это

Город с войском ответят. Пляшого не будет ответа.

Угнетающий царство — его разрушает, а тот,

Кто внимателен к людям, его к процветанью ведет.

Знай, развязка придет, и пред ней, не знававшей преграды,

Пусть твои будут мысли всему, что содеял ты, рады.

Дай спокойствие всем. Никому не чини ты обид.

Что за ними придет? Что за ними почувствуешь? Стыд.

Пьяный разум уснет, и, беды не увидев причину,

Правосудья ладья в неизбежную канет пучину.

Если б скорбным и бедным зажал ты безжалостно рот,

Если б отнял ты силой имущество нищих сирот,

Для себя отыскать ты какие бы смог оправданья

В день суда, на который придут все земные созданья?

Лик свой к вере направь, и опору найти будешь рад;

К солнцу стань ты спиной, не молись ему, словно эрпат.

Это — желтый мышьяк иль подобие блещущих кукол,

Что явил небосвод, — тот, что жизнью людей убаюкал.

Под завесой пустой, что висит на гвоздях девяти.

Все — игра этой куклы. Иди по иному пути.

Вышли ветер на мир. Чтоб лампада соблазнов угасла,

Своего в ней ни капли не должен оставить ты масла.

Разве мы — мотыльки? Мир блестит, но не думай о нем.

Не бросай же свой щит перед этим ничтожным огнем!

К той завесе, к которой Иса возлетел без усилия,
Ты стремись, чтоб ты сам за спиной мог почувствовать крылья.

Кто подобно Исе бросит душу в надзвездный полет,
Тот весь мир завоюет. По праву его он возьмет.

Притесняя подвластных, ты править страной не сумеешь.
Лишь призвав правосудье, ты царством своим овладеешь,

То, в чем свет справедливости, твой не умножит доход,
То, в чем нет правосудья, как ветер, тебя унесет.

Справедливость — гонец, что спешит наш обрадовать разум;
Тот работник, что в царстве все нужное делает разом.

Справедливость твоя украшает сверкающий трон.
Если ты справедлив, вечно будет незыблемым он.

ПОВЕСТЬ О НУШИРВАНЕ И ЕГО ВИЗИРЕ

На охоте одной Нуширван был конем унесен
От придворной толпы: с пышной знатью охотился он.

Только царский визирь не оставил царя Нуширвана.
Был с царем лишь визирь из всего многолюдного стана.

И в прекрасном краю, — там, где все для охоты дано,
Царь увидел селенье. Разрушено было оно.

Разглядел он двух сов посреди разрушений и праха.
Так иссохли они, будто сердце засохшее шаха.

Царь визирю сказал: «Подойдя друг ко другу, они
Что-то громко кричат. Их беседа о чем? Разъясни!»

И ответил визирь: «К послушанию сердце готово.
Ты спросил, государь. Ты ответное выслушай слово.

Этот крик — некий спор; безотрадно его существо.
Этих сов разговор не простой разговор — сватовство.

Та — просватала дочь, и наутро должна ей другая
Должный выкуп внести, и внести ни на что не взирая.

Говорит она так: «Ты развалины эти нам дашь.
И других еще несколько. Выполнишь договор наш?»

Ей другая в ответ: «В этом деле какая преграда?
Шахский гнет не иссяк. Беспокоиться, право, не надо,

Будет злобствовать шах — и селений разрушенных я
Скоро дам тебе тысячи: наши просторны края».

И, услышав про то, что предвидели хищные совы,
Застонал Нуширван, к предвещаньям таким неготовый.

Он заплакал навзрыд, — он, всегдашний любимец удач.
За безжалостным гнетом не вечно ли следует плач?

Угнетенный, в слезах, закусил он в отчаянье палец.
Ясно мне, — он сказал, — что народ мой — несчастный страдалец.

Мной обижены все. Знают птицы, что всюду готов
Я сажать вместо кур лишь к безлюдью стремящихся сов.

Как беспечен я был! Сколько в мире мной сделано злого!
Я стремился к утехам. Ужель устремлюсь я к ним снова?

Много силы людской, достоянья людского я брал!
Я о смерти забыл! А кого ее меч не карал?

Долго ль всех «не теснить? Я горю ненасытной алчбою.
Посмотри, что из жадности сделал с самим я собою!

Для того полновластная богом дана мне стезя,

Чтоб того я не делал, что делать мне в жизни нельзя.

Я не золото — медь, хоть оно на меди заблистало.

И я то совершаю, что мне совершать не пристало.

Притесняя других, на себя обратил я позор.

Сам себя я гнету, хоть иных мой гнетет приговор.

Да изведаю стыд, проходя по неправым дорогам!

Устыдись пред собой, устыдиться я должен пред богом.

Притеснение свое я сегодня увидел и жду,

Что я завтра позор и слова поруганья найду.

В Судный день ты сгоришь, о мое бесполезное тело!

Я сгораю, скорбя, будто пламя тебя уж одело!

Мне ли пыль притеснения еще поднимать? Или вновь

Лить раскаянья слезы и лить своих подданных кровь!

Словно тюркский набег совершил я, свернувши с дороги.

Судный день подойдет, и допрос учинится мне строгий.

Я стыдом поражен, потому повергаюсь я в прах.

С сердцем каменным я, потому я с печалью в очах.

Как промолвлю я людям: «Свои укоризны умерьте!»

Знай: до Судного дня я в позоре, не только до смерти.

Станут бременем мне те, кого я беспечно седлал.

Я беспомощен! Помощь мне кто бы сейчас ниспослал?

Устремляться ли в мире к сокровищам блещущим, к самым

Дорогим? Что унес Фаридун? Что припрятано Самом?

Что указы мои, что мое управленье, мой суд

Мне навеки вручат? Что надолго они принесут?»

Взвил коня Нуширван. Сожигал его пламень суровый.

От огня его сердца коня размягчились подковы.

И лишь только владыка примчался в охотничий стан,

Запах ласки повеял. Приветливым стал Нуширван.

В том краю он сейчас же тяжелый калым уничтожил.

И поборы, и гнет, и насилье он там уничтожил.

Разостлав правосудье, насилья ковер он свернул.

Блюл он заповедь эту, покуда навек не уснул.

Испытаний немало узнал он под небом, — и веки
Он смежил, и добром поминать его будут вовеки.

Многомудрого сердца он людям оставил чекан.
И указ правосудья на этом чекане был дан.

Много благ совершивши, с земным разлучился он станом,
Справедливого каждого ныне зовут Нуширваном.

Дни земные свои проводи ты на благо сердец,
Чтоб тобой ублажен, чтоб тобой был доволен творец.

Следуй солнечным всадникам, в свете благого устоя.
Беспокойством горя, для других ты ищи лишь покоя.

Ты недуги цели, хворым снадобья ты раздавай,
Чтоб вести ты достоин был небом дарованный край.

Будь горячим в любви, лютой злостью не будь полоненным.
Словно солнце и месяц, ко всем ты пребудь благосклонным.

Кто добро совершит, будь он мал или будь он велик,
Тот увидит добра на него обратившийся лик.

От указа творца небеса не отступят ни шагу:

Воздадут они злу, воздадут они каждому благу.

Проявляй послушанье, греха избегай, чтоб не быть

В посрамленье глубоком и скорбно прощенья просить.

Наши дни — лишь мгновенье; вот наше великое знанье.

Ты пробудь в послушанье. Превыше всего послушанье.

Оправданья не надо, не этого ждут от тебя.

Не безделья, в слова разодетого, ждут от тебя.

Если каждое дело свершалось бы с помощью слова,

То дела Низами достигали бы звездного крова.

Речь третья

О СВОЙСТВЕ МИРА

О хаджи горделивый, хотя бы на краткие дни

Людам блага подай, рукавом ты над миром взмахни!

Будь не горем для всех, а блаженством живительным, коим

Утешают скорбящих. Отрадою будь и покоем.

Все в великом вниманье, и ты все величье души

На служение бедным направить, хаджи, поспеши.

Соломоново царство ты ищешь напрасно: пропало,
Царство есть, но ведь знаешь: царя Соломона не стала

Вспомни брачный покой, что украсила пышно Азра,
Где влюбленный Вамик пировать с ней хотел до утра.

Только брачный покой, только кубки остались золотые.
И Азру и Вамика — укрыли их страны иные.

Хоть немало столетий над миром проплыло, мы зрим, —
Он такой же, как был; ни на волос не стал он другим.

Как и древле, земля нам враждебна. И все год из года
Нас карает палач — многозвездный простор небосвода.

С миром злобным дружить разве следует смертным сынам?
Он всегда изменял. Разве он не изменит и нам?

Прахом станет живущий на этом безрадостном прахе.
Прах не помнит о всех, на его распростершихся плахе.

Облик живших скрывается в зелени каждой листвы.
Пядь любая земли — некий след венценосной главы.

Нашу юность благую мы отдали миру. За что же
Нам он старость дает и ведет нас на смертное ложе?

Ведь всегда молодым оставался прославленный Сам,
Хоть склонял свои взоры он к сына седым волосам.

Синий купол бегущий свой круг совершает за кругом,
В вечном споре с тобою, твоим быть не хочет он другом.

То он в светоча мира мгновенно тебя обратит,
То в горшечника глину надменно тебя обратит.

На двуцветном ковре быстросменного мира, в печали,
Все, что дышат на нем, все стремятся в безвестные дали.
По равнине идущие молвили: «Счастливы те,
Что по морю плывут, — все твердят о его красоте».

Те, что на море страждут, сказали: «О, если бы ныне
Мы могли находиться в спокойной безводной пустыне!"

Все, живущие в мире, встречают опасные дни.
На воде и на суше злочастия терпят они.
Юных дней караван на заре поднимается рано,
Но ведь кончится путь. Не сберечь нам поклаж каравана.

От верблюдов отставший, из города юности ты
Будешь изгнан в предел, где стареют людские черты.

Но на всех утомленных во тьме наступающей ночи
Из нездешних пространств уж глядят благосклонные очи.

Трон покинь. Ведь тщеславье опаснее многих сует.
Это — черная тень, от тебя заградившая свет.

Ты отдался утехам конца им не зная и края,
Ты живешь и играешь, о горестях будто не зная.

Синий купол, вращаясь, похож на забаву, но он
Не для наших забав, не для наших утех укреплен.

До пришествия разума в мире царила беспечность.
О, какая в тебе благодатная сила, беспечность!

Ясный разум взглянул на вершину созданий творца,
И владычество радости тотчас достигло конца.

Не от знания беспечна мелькающих дней скоротечность.
Безрассудства, возникнув и множась, рождают беспечность!

О беспечность, очнись, очини поскорее калам,

И царапай листок, и предайся отрадным делам.

Будь меж теми, чья мудрость известна от края до края,
Стан людей просвещенный с отрадой рукой обнимая.

Шип, приязненный розе, не будет содействовать злу,
Даже он аромат гиацинту насыплет в полу.

Судный день подойдет, и конец будет нашего света,
И пустыню на суд приведут в этот день для ответа.

И промолвят: «О злая! Ведь кровь ты лила без конца
И зверей и людей. Ты людские терзала сердца!

Как же ключ животворный в тебе мог возникнуть когда-то!
Как смогла ты принять изобильные воды Евфрата?»

Так воскликнет пустыня, своей не осилив тоски:
«Я злодейств не свершала. Мои неповинны пески.

За накрытым столом я немного просыпала соли
И смешала с сердцами пустынной возжаждавших доли,

Чтобы быть мне со всеми, кто в праведный двинулся путь,
Чтобы к гуриям рая могла я с отрадой прильнуть».

И раздастся решенье: «Пустыня, песками играя,
У запястий ножных запоем всем красавицам рая».

Если с добрым мы дружим, то добрый нам выпадет час;
И поможет нам друг, и все нужное будет у нас.

Где же скрылись все добрые? Встречусь ли я хоть с единым?
Стол, что медом прельщал, ныне сделался ульем пчелиным.

Где ж теперь человечность? Ужель удалилась навек?
Человека любого страшится любой человек.

Где ж познание то, что в сердцах человечьих блистало?
Человеческих свойств в человеке давно уж не стало.

Скрылся век Соломона. О смертный, вокруг посмотри!
Где теперь человек? Он исчез. Он — бесследный пери.

Хоть дыханье мое слиться с общим дыханьем хотело,
Все же, бегство избрав, совершил я хорошее дело.

Где бы тень я сыскал, что явилась бы тенью Хумы?
Где бы верность нашел? Где бы честные встретил умы?

Если б сеяли верность, прекрасными стали бы нравы.
Надо верность хранить — вот что чести достойно и славы.

Земледелец зерно бросил в землю весною, и вот
Наступает пора, и созревший вкушает он плод.

ПОВЕСТЬ О СОЛОМОНЕ И ПОСЕЛЯНИНЕ

Как-то царь Соломон не имел государственных дел,
И случилось, что ветер светильник задуть захотел.

Царь свой двор перенес в ширь степного просторного дола,
Там вознес он. в лазури венец золотого престола.

Скорбен стал Соломон: он увидел, теряя покой,
Старика земледельца, который в равнине скупой,

Зерна в доме собрав — хоть добыча была так убога,
Поручил закрома одному милосердию бога.

И повсюду в степи разбросал эти зерна старик,
Чтоб из каждого зернышка радостный колос возник.

Но все тайны зерна и все тайны творящего лона
Говор птиц сделал внятными слуху царя Соломона.

Царь промолвил: «Старик! Будь разумным! Коль зерен не счесть

Можно зерна бросать. Но твои! Ты их должен был съесть,

Для чего ж ты надумал напрасно разбрасывать зерна?

Предо мной быть неумным ужели тебе не зазорно?

Нет мотыги с тобой, что ж царапаешь глину весь день?

Тут ведь нет и воды, для чего же ты сеешь ячмень?

Мы бросали зерно в землю, полную влаги, и что же?

То, что мы обрели, с изобилием было несхоже.

Что же будет тебе под пылающим солнцем дано

На безводной земле, где мгновенно сгорает зерно?»

Был ответ: «Не сердись, мне не нужно обычного блага!

Что мне сила земли, что посевам желанная влага!

Что мне зной, что дожди, хоть бы длились они без конца!

Эти зерна — мои, а питает их воля творца.

Есть вода у меня: на спине моей мало ли пота?

И мотыга со мной. Это — пальцы. О чем же забота?

Не пекусь я о царствах, мне область ничья не нужна.

И пока я дышу, моего мне довольно зерна.

Небеса мне мирволят, добычу мою умножая.

Сам-семьсот я беру. Я бедней не снимал урожая.

Надо сеять зерно без мольбы у дверей сатаны,

Чтоб такие всегда урожаи нам были даны.

Только с должным зерном, только с небом нам следует знаться,

Чтобы колоса завязь, как должно, могла завязаться.

Тот, кто с разумом ясным был призван творцом к бытию,

Тот по мерке своей тклет разумно одежду свою.

Ткань одежды Исы не на каждого ослика ляжет,

Не на каждого царь, как на помощь престола, укажет.

Лишь одни носороги вгрызаются в шею слону.

Что пожрет муравей? Саранчовую ножку одну.

От нашествия рек море станет ли злым и угрюмым?

А ручей от потоков наполнится яростным шумом.

Человеку, о царь, все дает голубой небосвод.

Все, чего он достоин, себе он под небом найдет.

Государственный муж быть не крепким, не стойким не может.

Иль под бременем тягостным до смерти он изнеможет.

Нет, не каждый живущий родился для сладостных нег,

И великие тайны не каждый таит человек!»

Пусть несдержан юнец. Я же прожил немалое время,

Низами молчаливо несет свое тайное бремя.

Речь четвертая

О БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ ШАХА К ПОДДАННЫМ

Ты — боец без щита. Ты — в гордыне один. Иль тебя

Гуль в пустыню загнал, отчужденную душу губя?

Ты — в венце золотом. Но венцы существуют ли вечно?

Ты — в цвету бытия. Но припомни: оно — скоротечно.

О, спешащий за теми, которым лишь в пиршествах свет,

О, покорный игре бесконечно бегущих планет!

Ты, отбросивший саблю, забывший о чтенье Корана, —

Для чего? Лишь для чаши, лишь только для винного жбана.

То ты с гробнем, то с зеркалом, счастлив ты ими вполне

О ценитель кудрей, ты подобен манящей жене.

Рабию ты припомни; она ведь в пустыне однажды
Разлучилась с косой для собаки, понурой от жажды.

В стыд вгоняешь ты доблесть. Деянья твои таковы!
Устыдился б деяния той сердобольной вдовы.

Будешь славить себя или силой кичиться доколе?
Этой сильной жены быть сильнее ты, как видно, не в воле.

Человеческий разум и светлая доблесть — одно.
Надо всем правосудье. Всех доблестей выше оно.

Не в твоём ручейке стали воды прозрачными.
Стала Миловидною родинка в блеске чужого овала.

Ты не злой небосвод. Лишь о благе раздумывай ты.
Помни вечно о бедах, что к людям спешат с высоты.

Лишь добро проявляй, отдаваясь крутящимся подал.
Лишь такое имущество радует верным доходом.

На себя ты не должен людскую обиду навлечь.
Бойся честь обескровить и кровью людей пренебречь.

Притязали иные на честь и на доблесть. Быть может,

Честным двум или трем твой пример появиться поможет?

Правосудье твори; бойся мощных карателей зла.

Ночью ждет притеснитель: возмездья ударит стрела.

Мысли зорких грозят. Все подверглись их мощному сглазу.

Сглаз опасен, поверь, не простил он виновных ни разу.

Могут все испытать его страшный, негаданный суд.

Забывать ты не должен: ему подвергался Махмуд.

Сглаз людей беспорочных застигнет тебя ненароком,

И увидишь, бессильный, что ты наказуешься роком.

Те, что схожи с крылатыми, те, что душой в небесах, —

На пути черепашьем не меньше других черепах.

Пусть насилья мечом их дорога не будет задета,

Иль узнаешь стрелу, что метнут они в блеске рассвета.

Если ценишь владычества, — ты правосудье цени!

Ты на беды от гнета, что царствуют в мире, взгляни!

Человек, чья душа в доме этом ко благу готова,

Все свершает в ночи к устранению дома второго.

ПОВЕСТЬ О СТАРУХЕ И СУЛТАНЕ САНДЖАРЕ

Как-то шаха Санджара седая старуха одна

За полу ухватила, и в гнев сказала она:

«Справедливость являть, видно, властный, тебе не угодно,

Но обида твоя настигает меня ежегодно.

Пьяный стражи начальник вбежал в наш спокойный квартал

И напал на меня. Избивал он меня и топтал.

И за волосы взявши, меня он повлек от порога,

И царапала щеки мне жесткая наша дорога.

И обидам ужасным меня он речами подверг,

Кулаками позору пред всеми очами подверг.

«Прошлой ночью, — кричал он, исполненный пьяного пыла, —

С кем-то тут сообща человека не ты ли убила?>

Он обшарил весь дом. Беззаконье мы терпим и гнет!

Где же спины людей произвол еще тягостней гнет?

О пьянчуге шихне неужели не верил ты слуху?

Он и был во хмелю, потому-то избил он старуху.

Те, стучащие кубками, весь твой расхитили край!

И ни в чем не повинных уводят они невзначай.

Тот, кто видит все это и все же помочь нам не хочет,

Тот порочит народ, но тебя ведь он тоже порочит.

Я изранена вся. Еле дышит разбитая грудь.

В ней дыхания нет. Но смотри, государь, не забудь:

Если быть справедливым тебе в этот час неохота.

Все ж получишь мой счет. Ты получишь его в день расчета.

Правосудья и правды я вовсе не вижу в тебе;

Угнетателя волю я так ненавижу в тебе.

От властителей правых поддержка приходит и сила,

От тебя — только тяжесть, что всех нас к земле придавила.

Разве дело хорошее — грабить несчастных сирот?

Человек благородный у нищих добра не берет.

На дорогах больших не воруй ты поклажу у женщин.

Не бери, государь, ты последнюю пряжу у женщин.

Притязает на шахство! Но ты не властитель, ты — раб!

Лишь вредить ты умеешь, а в помощи людям ты слаб.

Шах. внимательный к людям, порядок наводит в округе,

И о подданном каждом он думает, словно о друге.

Чтоб указом любимым всех он радовал в нашем краю,

Чтобы шахскою дружбою нежили душу свою.

Ты всю землю встревожил! Иль я неразумно толкую?

Ты живешь. Ну, а доблесть, скажи мне, явил ты какую?

Стала тюрков держава лишь доблестью тюрков сильна.

Правосудьем всегдашним в веках укреплялась она.

Но грабеж и бесчинство ты в каждую вносишь обитель.

Нет, ты больше не тюрк, ты, я вижу, индусский грабитель.

Города посмотри-ка: в развалинах наша страна.

Хлебопашец ограблен, оставлен тобой без зерна.

Ты припомни свой рок! Приближенье кончины исчисли.

Где от смерти стена? Вот на что ты направил бы мысли!

Справедливость лампада. Лампады пугается тень.

Пусть же с завтрашним днем будет дружен сегодняшний день!

Пусть же слово твое будет радовать старых готово!

Ты же дряхлой старухи, властитель, запомнил бы слово:

Обделенным судьбой никакого не делай ты зла,

Чтоб их громких проклятий в тебя не попала стрела.

Стрелы всюду не сыпь, иль дождешься недоброго часа!

Есть припасы молитв у несчастных, лишенных припаса.

Чтоб раскрылась вся правда, с железом ключа ты пришел.

Не затем, чтобы правду ударить сплеча, ты пришел.

Ведай, взявший венец, ты вовек не покроешься срамом,

Если раны недружных ты благостным тронешь бальзамом.

Пусть обычаем немощных станет тебя восхвалять,

А твоим, повелитель, — ласкать их опять и опять.

Береги, словно милость, возвышенных душ благостыню.

Охраняя немногих, что в тихую скрылись пустыню».

Что же стало с Санджаром, что встарь захватил Хорасан?

Знай: не внявшему старой — урок был губительный дан.

Где теперь правосудье? Все черным бесправьем объято.

Знать, на крыльях Симурга оно улетело куда-то.

Стыд лазурному своду, всегда пребывавшему в зле.

Вовсе чести не стало на где-то висящей земле.

Слезы лей, Низами, удрученный такую бедою,

Ты над сердцем их лей, что кровавою стало водою.

Речь седьмая

О ПРЕВОСХОДСТВЕ ЧЕЛОВЕКА НАД ЖИВОТНЫМ

На земле проживающий, нежный, как сам небосвод,

Холит небо тебя, и земля, и течение вод.

Ты ниспослан на землю, но ты и не знаешь, что дело

Краткой жизни твоей величавей земного удела.

Молока звездной вечности древле не ведал твой род,

Ибо сахаром милости был ты накормлен с высот.

И не должен ли быть ты душою прекрасен за это?

Должен быть ты прекрасен и полон великого света.

И каламом предвечности, где-то от смертных вдали,
Был прекрасный твой облик начертан для нашей земли.

Сердце смертным даруя, решили в высотах, что нужен
Для живущего стан, опоясанный нитью жемчужин.

Ничего, что ты слаб. Ты скажи: «Я на этом лугу
Отличаться от ланей и сильных оленей могу».

Все живущие твари тебе служат покорно,
Это бедные птицы, в силках увидавшие зерна.

Ты — Хума. В каждом деле ты чести доверенным будь,
Безобидным и тихим и в пище умеренным будь.

Всех живущих на свете земная зовет мастерская,
И великих и малых к насущным делам привлекая.

Совы в сказках пугают, грядущих невзгод не тая,
И для кладов зарытых они ведь нужней соловья.

Те, которых завеса земному открыла пределу,
Душу в теле имеют, по ценности равную телу.

Хоть жемчужины эти — ничто перед морем твоим,
«О, жемчужины мира!» — порой обращаюсь я к ним.

Убивать ты не должен больших или малых, ведь виру
Ты за кровь не отдашь, и страданья не надобны миру.

И плохие и добрые чтут повеленье твое,
И в плохом и в хорошем они — отраженье твое.

Те, кого ты обуешь, дадут тебе шапку за это,
Чью-то тронешь завесу — твоя будет также задета.

* * *

Не желай, словно утро, завесы ночной превозмочь,
Будь завесы хранителем, словно глубокая ночь.

Любят осы завесу пурпуровой розы. Единой
Ты покрылся завесой, прозрачной завесой осинной.

Долго ль мошкой будешь — о, как ее участь горька! —
Ты гоняться за пищей меж тонких сетей паука?

Те, завесой укрытые, те, что миры создавали,
Многозвездной завесою тайну твою закрывали.

На путях за завесой ты все приобрел и пришел,
Отстранивши завесу, в земли новоявленный дол.

Надо сердце забыть, коль оно разлюбило завесу,
Не внимай ничему, что навек позабыло завесу.

Тот волшебник, что скрыт за завесою с давней поры,
Ткань завесы лазурной вознес не для праздной игры,

Только этой завесы касайся признательным взглядом,
Новых песен не пой, стародавним прельщаемый ладом.

О завесе услышав, пойдя многомудрым вослед,
За завесою тайн стань участником тайных бесед.

Чище светлой души станет тело твое, только надо,
Чтоб его сорок дней окружала темницы ограда.

У побывших в темнице высокое качество есть.
Был в темнице Иосиф. Темница — великая честь.

Чем же высший почет, чем же ценность души обретают»
Все забвением благ — ты к забвенью спеши! — обретают.

Ты души серебро в отрешенья горнило вложи.

«Дай мне золото сердца», — отказу от мира скажи.

Ты подвижником стань, избери себе путь только правый,

Только так ты достигнешь величья и подлинной славы.

Коль себя ты смиришь, то динару блестящему дан

Будет правды твоей и смиренного сердца чекан.

Лишь поймешь, что с тобою природа в союзе и разум,

Сказ «Кузнец с москательщиком» вспомнишь, бесспорно,

ты разом.

Этот веет пожаром, вздувая огонь, а другой

Овевает прохожего амброй своей дорогой.

Ты в поклаже природы спасенья не сыщешь: далеко

Птица клеть унесет, и закроется смертное око.

Ты привыкни к пути, что исполнен обмана всегда,

Будет благостный рок вожаком каравана всегда.

Чтоб главенства достичь, отказаться должны мы от страсти.

В отрешенье великом величье пророческой власти.

Покорив свою душу, ты радостным сердцем разыграй

И обуйся скорей: издалека завиделся рай.

Стань душою, что колокол, в блеске грядущего дива,
Будь служителем веры, не темным прислужником дива.

Ты в святилище веры спасайся от злого огня,
Чтоб не ведать смятения в грохоте Судного дня.

Был неверный избавлен от злого, от страшного рока
Лишь затем, что сродни приходился он роду пророка.

Взгляд высоко взнесенных не есть ли благая броня
Для исполненных веры, для полных святого огня!

ПОВЕСТЬ О ФАРИДУНЕ И ГАЗЕЛИ

Как-то царь Фаридун, при сиянье встающего дня,
Приближенных скликая, с отрадой вскочил на коня.

И, в степи предаваясь любимой охоты веселью,
Он увидел внезапно, что сам он подстрелен газелью.

Прелесть шейки и ног от вражды отклоняла стрелка,
О пощаде просили глаза, и спина, и бока,

Пусть охотника взгляд для бегущей газели — засада,
Но она, восхищая, казалось, бежала от взгляда.

Полонен был охотник, и плен был и скор и таков,
Что владыка почувствовал цепи тяжелых оков.

И, рванув повода и горя, и скача возле цели,
Спинку лука он сделал нетвердой, как брюхо газели,

И большая стрела не попала в отличную цель,
И встревоженный конь обежал неудачно газель.

Шах промолвил стреле: «Где же злое твое оперенье?»
И коню закричал: «Где твое за добычей стремленье?»

О ничтожный твой бег, о ничтожность твоей тетивы!
Перед сей травоядной какое ничтожество вы!»

"И сказала стрела: «Подстрелить! Вот была бы досада!
Бессловесная эта — приманка для царского взгляда.

Твой восторженный взгляд — для прекрасной газели броня,
В цель должны попадать, но твоя не для цели броня».

Бубен видит владыка, и ждет он отрадного лада.

Лишь ладони играющих — радость для шахского взгляда.

Быть с клеймом вознесенных — завидный и сладостный рок.

Ведь с клеймом вознесенных и сам ты безмерно высок.

Для людей умудренных, чей так пронизателен взор,

Нет служенья похвальней, чем крепкий святой договор.

Дланью верности крепкой возьми ты за пояс обета.

Стражем верности будь пред лицом многолюдного света.

Много лалов имея, сокровищ немало тая,

Как служения пояс, лежит возле кладов змея.

Потому небосвод ярких звезд рассыпает каменья,

Что, над прахом поднявшийся, поясом стал он служенья.

Обладающий даром, хоть дар его светлый не мал.

Пред наставником пояс на трудном пути повязал.

И свеча, что сияет огнем золотым и веселым,

Пояс также носила, для воска покорствуя пчелам.

Ты не связан ничем, так вставай же скорей, Низами,

Чтоб связать себя службой, с поспешностью пояс возьми.

Речь двенадцатая

О ПРОЩАНИИ СО СТОЯНКОЙ ПРАХА

Распрощайся со днями. Разлуки надвинулся срок.

Встань, вперед устремись; поз будь этот хитрый силок.

Ты построй государство, которое лучше земного.

Дверь в иное раскрой, чтоб увидеть сиянье иного.

Ты и сердце и очи направь на единственный путь,

И, пролив свои слезы, в дороге о них не забудь.

Оросив эту глину, уйди в растворенную дверцу,

И побегам жизни отраду доставишь ты сердцу.

Коль с верблюдом ты схож, — запляши: ведь пустыня видна.

Если нет — то дабу не бросай ты под ноги слона.

Нету друга с тобой, и печальнее ты год от года,

Так в ничто удаляйся. Иного не сыщешь исхода.

Те, чей разум сверкал — сотрапезники наши, — ушли.

С кем ты сядешь за пир? Те, что пенили чаши, ушли.

Хоть отрада и радость порою приносятся миром,

Но коль ты одинок, то каким ты утетишься миром?

Целомудренным сердцем ищи, забывая о зле,
Ты прозрачной воды на унылой и мрачной земле.

До исхода пути все, что было с тобою в избытке,
Ты прохожим раздай. Для чего тебе эти пожитки?

Без напрасного груза легко ты пойдешь по пути,
И до нужной стоянки сумеешь ты скоро прийти.

Если ищешь ты сердце, взойти тебе на небо надо.
В этом доме земном лред тобою повсюду преграда.

Ты прорвись на дорогу! Весь край поднебесный таков,
Что сравнить его должно с сетями вседневных силков.

Разорви эту петлю, подобную петельке «мима»,
И дорога иная тебе станет тотчас же зрима.

Берегись сотен звезд — их мишенью не сделайся ты.
Не вверяйся во власть небосвода незримой черты.

Перейди за черту, где и дни пробегают и ночи.
Чтоб за этой чертой беспредельность увидели очи.

Сделай прочной тропу для движенья уверенных ног,

Чтобы быстро по ней к достиженью стремиться ты мог.

Ты, куда б ни пришел, не всегда предавайся доверью.

Дверь ты должен запомнить, чтоб этой же вышел ты дверью.

Должно зорко взирать, осторожно оглядывать путь,
Чтоб в расщелину ночью усталой ногой не скользнуть.

В наводнения час как же в кровле не сделать пролома,
Чтобы в должное время бежать из опасного дома?

Хитроумной лисице собачья повадка ясна,
Потому-то в норе два прохода прорыла она.

Но не знала она, что взирающий мрак небосвода
Уловляет лисиц и что нет им иного исхода.

Почему же ты весел? Отрады твоей не пойму.
Почему ты беспечен, беспечен во всем? Почему?

Ты промолви: «Стеная, пришел я в земную теснину,
И, стеная и плача, навеки я землю покину».

Если ты не исполнишь такой неизбежный завет,
Трудно будет душе покидать этот горестный свет.

Ты в пути, что душой после грустного пира увидел.

Оба мира отринь, ты ведь горести мира увидел.

Вниз не надо глядеть, чтобы путь не казался страшной,

И назад не гляди, чтоб тебе не страшиться теней.

Клади веры возьми, ведь в дороге не будет харчевен.

Воду глаз не забудь: путь безводен и путь многодневен.

Звездной ракушке неба жемчужину духа верни.

Будь свободен от праха, ты тяжести праха стряхни.

Там, в крутящейся выси, с тобой однородных немало,

И тебя превзошедших и звездам угодных — немало,

Но не надо враждой нарушать эту звездную тишь,

Почему небосвод ударять ты о землю спешишь?

Он ведь солнца щитом и мечами сиянья не в силах

Нам беду принести. Откажись же от мыслей унылых.

Он — веревка, что вьется. О нет, он совсем не змея.

Он — ничто. О, насколько любовь многомогущей тебя!

Почему ты грустишь над хрустальной чашей? Во власти

Ты ударить ее и разбить на мельчайшие части.

Те, что алчность не чтут и не могут пред золотом пасть,
Над врагом простирают своей добродетели власть.

Ты иди на врага с благосклонностью сердца упорной
И убей его светом, как тьму губит день благотворный.

ПОВЕСТЬ О ДВУХ ПОСПОРИВШИХ МУДРЕЦАХ

Жили двое мыслителей некогда в доме одном
И полны были гнева, поспорив о доме своем.

Долго спорили мудрые. С распрею не было слада.

«Хоть премудрость одна лишь», — сказать о премудрости надо.

Правды две не нужны: лишь одной пожелают внимать,

Две главы вознесутся, — одну не придется ли снять?

Для храпенья двух сабель я кожаных ножен не видел.

Я ведь пир двух Джамшидов — ну как он возможен? — не видел.

Двое мудрых твердили об этом не раз. Потому

И решили, что дом надлежит передать одному.

Каждый в схватке слепой был исполнен вражды и упорен

И желал, чтобы дом стал удобен ему и просторен.

Не однажды в ночи голоса возвышали они,
Будто клича людей, общий дом продавали они.

И решили мужи после спора пред самым рассветом,
Что друг друга они угостят ядовитым шербетом.

Чтоб узнать, кто сильней и кто явит познание свое
И сумеет создать наиболее злое питье.

Тотчас разума два одному они отдали делу,
Будто два устремленья вручили единому телу.

Первый муж создал яд, потрудившись немало над ним.
Этот яд черный камень прожег бы зловоньем своим.

И врагу подал враг свой состав и сказал: «Мой напиток
Укрепляет все души, и сахара в нем преизбыток».

А другой эту чашу, влекущую в царство теней,
Выпив смело, сказал: «Только сладость я чувствовал в шей».

Нуш-гия в нем таился; врагу причиняя досаду,
Прекратил бы он доступ любому смертельному яду.

Муж обжегся, как мошка, но тотчас он крылья раскрыл
И, как светоч сияя, к другим мудрецам поспешил.

На лугу, мимоходом сорвав темно-красную розу,
Он заклятье прочел, и подул на прекрасную розу,

И врагу ее дал, Словно скрытый заботливо яд
Лепестки ее нежные в пурпурной чаше таят.

Взяв заклятую розу, поддавшись безмерному страху,
Недруг взялся за сердце, и душу вручил он аллаху.

Тот премудрый отраву из тела исторгнуть сумел,
А другой из-за розы подлунный покинул предел.

Друг мой, каждая роза, горящая пурпурным цветом, —
Капля крови людской, пурпур сердца. Ты помни об этом.

Ты из сада времен: и весна и цветение ты,
Но ведь сад увядает; его отражение ты.

Острый камень всади в этот прах, взгроможденный слоями.
Прахом воду осыпь, что подвешена кем-то над нами.

Эту воду покинь, эти марева злые забудь!

Ты над прахом взлети, от притона подалее будь.

Ты от месяца с солнцем свое отстрани размышленье.

Ты убей их обоих, как их убивает затменье.

Златоблещущий месяц — его восхвалять я могу ль? —

На дорогах любви — человека смущающий гуль.

Небосвод, полный зла, наше утро призвавший к ответу,

Из великого света привел тебя к этому свету.

Если светлого сердца услышишь благой ты совет,

То из этого света возьми его в канувший свет.

Слезы лей и мечтай, чтобы слезы надежды смывали

Все, что явлено людям на этой двухцветной скрижали.

Чтобы этой надеждой ты душу смущенную спас

В день Весов, в Судный день, в неизбежный торжественный час

Укрепи свою руку, призвав благотворную веру,

тоб она на весах указала надежную меру.

Кто, печалась о вере, возносится в светлую даль,

Тот свободный душой забывает земную печаль.

Ты, чьей жажде к земле и подлунному миру я внемлю,

Ты мне веру отдай, а себе ты возьми эту землю.

Речь четырнадцатая

ПОРИЦАНИЕ БЕСПЕЧНОСТИ

О довольный! Ты к миру, в спокойствии сладком, привык.

Ты — осел на лугу, ты к кормушке склонившийся бык.

Что тебе это солнце, лазурных высот сердцевина,

Что тебе эта синь, эта выси просторной равнина!

Это только для тех, в чьем познание сияющий свет.

У незнающих мира — о нем помышления нет.

Подними же свой взор, не довольно ль ты тешился дремой?!

Ты назначен идти по дороге, тебе незнакомой.

Почему же ты спишь, иль засада тебе не страшна?

Смертных, полных раздумья, всегда устрашала она.

Очи вскинь, рассмотри эти синие своды печали,

На ничтожность твою не они ли тебе указали?

Твой рассудок — старик, он рассеян. Предался он снам.

Он тебя позабыл. Ну так что ж! Призови его сам.

Кто бы знал о тебе, если б разума свет величавый
О тебе не вещал? Только с ним и добился ты славы.

Разум светлый — мессия; всегда он к познанию вел.
Без него ты — погрязший в дорожную глину осел.

По дороге ума ты иди за сияющим светом
Иль домой возвратись и забудь о скитальчестве этом.

Не пьяни мирный разум, его на пирушках поя,
Разве соколом ловчим ты будешь кормить воробья?

Даже там, где вино восхваляется словом приветным,
Разум сделал его нелюбезным тебе и запретным.

О вино! В пьяной чаше людская качается честь.
Но припомни о том, что вино древней мудрости есть.

Хоть сжигает вино все земные печали, но все же
Не вкушай ты вина; ясный разум сожжет оно тоже.

Вина — разум лозы, но вкушать огневое вино
Для утехи души лишь одним неразумным дано.

Все желая постичь, не вкушай ты в томлении томном
То, что может все в мире таинственным сделать и темным.

Неразумным считай человека, вкусившего то,
Что каламом неведенья все обращает в ничто.

Ослепи ты глаза всех мечтаний непрошенных, чтобы
Вправить ноги в колодки глупцам, устремленным в тущобы.

Ты «алиф», что влюблен в свой высокий пленительный стан.
Ты безумного страстью к себе самому обуян.

Коль с «алифом» ты схож, — птицей будь, потерявшею крылья.
Ты склонись буквой «ба», своего не скрывая бессилья.

Украшая собранье, стоишь ты, «прекрасный алиф»,
И к себе ты влечешь благосклонности общей прилив.

Не подобься шипу, что в лазурь устремился спесиво,
Ты склонись кроткой розою: роза смиренна на диво.

Не стремись поиграть, будь разумен. Ведь ты не дитя.
Помни: дни пробегают, не вечно блестя и цветя.

День уходит, и радостных больше не будет мгновений.

Солнце юности гаснет, и длинные тянутся тени.

Это ведомо всем, — ведь когда удаляется день,
Все, что в мире, бросает свою удлиненную тень.

Чтить не следует тени, как чтут ее заросли сада,
Будь светильником: тень уничтожить сиянием надо.

Эту тень побори, а поборешь — ив этот же день
Твой порок от тебя мигом скроется, будто бы тень.

Что сияет в тени? Чья во мраке таится основа?
Мы в тени трепетанье источника видим живого.

О поднявший колени, в колени склонивший лицо,
В размышленье глубоком себя обративший в кольцо!

Солнце таз золотой на воскресшем зажгло небосклоне,
Чтоб омыть от себя ты свои смог бы тотчас ладони.

Если в этом тазу будешь мыть ты одежду свою,
Из источника солнца в него наливай ты струю.

Этот таз для мытья, на который приподнял я вежды,
Стал кровав, стал не чист от твоей заскорузлой одежды.

От большого огня, что в тебе злые выжег следы,
В сердце жизни твоей не осталось ни капли воды.

Если плоть нечиста и томилась алканием страстным,
Что ж! Не всякое золото может быть самым прекрасным.

Если каждый вещать будет только лишь истину рад,
То с утробой пустой ненасытный останется ад.

Прямота не защита пред холодом или пред жаром,
Но прямой не сгорает в аду, в этом пламени ярмом.

Если будешь кривить, будешь роком подавлен ты злым,
Беспечален ты будешь, покуда ты будешь прямым.

Будь подобен весам, будь в деяниях точен, размерен.
Взвесив сердце свое, в верном сердце ты будешь уверен.

Все крупинки, что ты будешь в жизни бегущей готов
Бросить в мир, их снимая с твоих благородных весов, —

Обретут свое место, и страшное будет мгновенье:
Пред тобой их разметут в грохочущий день воскресенья.

Надо всем, что ты прятал, суровый послышится глас.

Как немного ты роздал! Как много хранил про запас.

Так не трогай весов — все на них указывается строго —

Иль побольше раздай, а себе ты оставь лишь немного.

Стебель розы согнулся, и шип в эту розу проник,

Лишь своей прямою добывает усладу тростник.

Водрузи прямоу, — это знамя, угодное богу,

И протянет он руки, склоняясь к тебе понемному.

ПОВЕСТЬ О ЦАРЕ-ПРИТЕСНИТЕЛЕ И ПРАВДИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Жил властитель один, был с людьми он безжалостно строг.

Словно злобный Хаджадж, издеваться над всеми он мог.

Все, что ночь порождала, наследуя дню, — на рассвете

Открывалось царю. Все пред яростным были в ответе.

Неким утром к владыке явился один человек.

Был он зорче, чем утро. Учился он долгий свой век

У луны хитрым играм, у зорь — появляться с доносом

Он, с притворною злобой, горящей во взоре раскосом,

Прошептал: «Некий старец убийцею назвал тебя,

Он сказал, что ты правишь, людей неповинных губя».

И, пугая придворных своим изменившимся ликом,
Царь воскликнул: «Казнить!» И умолк он во гневе великом.

Нат мгновенно постлали, песком весь посыпали нат.
Даже дэв, ужаснувшись, бежал бы из царских палат.

В тот же час от юнца старец злое узнал повеленье,
Услыхал он: «Владыка возвел на тебя обвиненье».

Омовенье свершив, в белом саване старец пошел
Во дворец, и пред ним засверкал величавый престол.

Царь, в решениях быстрый, потер свои руки, и очи
Опустил он на землю, и был он угрюмее ночи.

Молвил он: «Я слышал, что я очень прогневал тебя.
Ты твердишь, говорят, что я правлю, невинных губя.

Ведь известно тебе, что мой суд — мудрый суд Соломона,
Почему ж ты твердишь, что наш край полон плача и стона?»

И ответил старик: «Говорил я, о царь, не во сне.
И сказал я не все, что известно доподлинно мне.

Всюду юные в страхе, и в страхе не каждый ли старый,
Городам и селеньям грозят беспрестанные кары.

Все пороки твои я собрал воедино, но я
Только зеркало. Я — лишь неправда и правда твоя.

Ты увидел, что образ, показанный зеркалом, — верен.
Иль сломаешь ты зеркало? Будь и во гневе умерен!

Светлой правды возжаждай, и жажду твою утолю,
Иль на шею мою повели ты накинуть петлю».

И правдивого старца такое бесстрашное слово
Смелой правдой своей образумило сердце царево.

Вспомнил царь обо всем, что свершал он в подвластном краю.
И, застигнутый правдой, он понял неправду свою

И сказал: «С мудреца скиньте саван! Парчовым халатом
Вы его облачите, парчу напитав ароматом».

И в царя с той поры пламень гнева и злобы утих,
Справедливым он стал, вспомнил подданных, пекся о них.

И правдивого слова никто не скрывал, и невзгоды
Не томили правдивых, и мирные начались годы.

Ты не бойся погибнуть. Правдивым ты будь до конца.
Побеждает правдивый по воле благого творца.

Если будет правдивость всегдашней твоею повадкой,
Много горького скажешь: ведь правда не кажется сладкой.

Если к речи правдивой сердца ты захочешь привлечь,
Вседержитель поддержит твою благотворную речь,

Знай: сияние правды душой Низами овладело
И великою правдой его озаряется дело.

Речь пятнадцатая

ПОРИЦАНИЕ ЗАВИСТНИКОВ

Небосвода завесу раздвинувши, некий игрок
К беспрестанной игре принуждает находчивый рок.
Весь в цимбалах ковер, плясунов же, как видно, не стало.
В море жемчуга тьма, да ловцов многоопытных мало.

В небе сонмы дирхемов и много мечей и венцов,
Ниспослать их тебе небосвод благосклонный готов.

Если б сильной душой пожелал бы ты крыл Гавриила,

Их тебе подарила бы дивная, высшая сила.

У нее столько кладов, что, сколько бы ты ни унес,
Будет взорам казаться: их отблеск лишь только возрос.

К дивным тайнам иди и дорогу осматривай строго.

В дверь кольцом постучи, ведь за нею прекрасного много.

Этот в яхонтах путь, камень мудрости блещет на нем.

Все ты должен постичь, озаренный волшебным огнем.

Тут в руке дерзновенной калам обломился — и стали

Все сокровища тайной: их синие ткани застлали.

Но в потайном саду каждый миг новый видится плод.

Он прекрасней прекрасных, он дивного лада оплот.

Нить горящих сердец, что в жемчужнице этой зардели,—

Ожерелье, что пламенной многих иных ожерелий.

Те, что шествуют здесь, что проходят один за другим, —

Умудренней премудрых. Кого приравняем мы к ним?

Разум в мысли влюблен, на него не подействуют чары

Юных лет, и его не смутит долголетием старый.

Говорят, будто камень, когда ему много веков,
Может яхонтом стать, но иных я знавал стариков.

Чем старше они, тем настойчивей; все им помеха.
Громогласны они, как в горах многократное эхо.

Хоть ты им и знаком, но когда им подашь молоко —
«Яд, — воскликнут они, — умерщвлять этим ядом легко!»

Мало старых, что в новом отрадные чувствуют чары,
К молодому сочувственно редко относится старый.

Новой розой любуются: это отрада очей.
Старый шип только ранит. Чей взор он порадует? Чей?

Молодой виноград исцеляет глаза. Только стоны
Змеи старые вызовут: это не змеи — драконы.

Благотворные мысли, чье место — сосуд головы,
Старый мозг отвергает. Они ему чужды. Увы!

Те, что книги прочли, где созвездьям чертились дороги, —
Календарь устарелый. Указ их не надобен строгий.

Много старых собак, что прожорливей львов, и они

Рвут газелей на части. Господь, нас от них сохрани!

Коль, на старых волков взор незлобный бестрепетно бросив,
Я спокойно стою, ты скажи: «Появился Иосиф».

Что удар стариков! Это робкий, не сильный удар.
Но виновен ли я, что огонь во мне дышит и жар?

Если юность — познание и если в ней много раздумья,
То не скрыто ли в ней также буйное пламя безумья?

Вижу много жасминов. О, ложь их седой белизны!
Это злые индийцы, их скрытые души черны.

Я, что с розою схож, я, чей клад осчастливит народы,
Я желаю быть старым уже в эти юные годы.

Тот, кто к прежнему клонится, ценит лишь только себя,
Он творцу не внимает, помощи его не любя.

Юный месяц, ты видел в его новолуние прекрасном,
Стал он полной луной; полнолунием он сделался ясным,

Возле пальмы высокой, коль можешь, высоко ты стань.
Как иначе до финика сможет дотронуться длань?

«Это только зерно», — мне какой-то послышался голос.

Почему он зерном называет поднявшийся колос?

Морем стал водоем, бывший прежде ничтожным ручьем,

Почему ж только прежним остался он в сердце твоём?

Скрылась ночь от зари, многозвездным прикрывшись узором,

На нее новый день глянул новым внимательным взором.

Мудрый враг, что всечасно готов на тебя нападать,

Лучше друга-невежды, что всем неразумным под стать.

Если видишь тростник, что смотреть на окрестные травы!

В тростнике ценен сахар; лишь он удостоился славы.

Одаренных цени, а не тех, что желают прослыть.

Дичью быть для возвышенных — значит, возвышенным быть.

Не в воде ли вся ракушка, все же нам ведомо: нужен

Только вес малой капли для лучшей из лучших жемчужин.

Нужно сердце кружить, нужно вихрям не ведать конца,

Чтоб во тьме заприметить сверкающий камень венца.

Если знамя возникло и новым является зовом, —

Охранять это знамя иди с этим знаменем новым.

Не разрушен еще многоцветного мира рабат,

И ковров не свернули: слова и напевы звучат.

Не кори этот мир, все прими иль с отрадой, иль кротко,

Иль узнаешь, как дьявол, что значит ременная плетка.

Если ты небосвода признать не желаешь права,

У ворот непризнанья поникнет твоя голова.

Семя щедрости нашей — запас дорогой: созревая,

В Судный день он для смертных послужит в преддвериях рая.

Из сокровищ твоих ты немного, господь, устремил

В дом раба своего: покорился тебе Низами.

ПОВЕСТЬ О МОЛОДОМ ЦАРЕВИЧЕ И ЕГО СТАРЫХ ВРАГАХ

Мне сказали однажды, что юный царевич взошел

В дальней области Мерва на старый отцовский престол.

Как ему докучало вельможных наместников племя!

Был в смятенье весь край, словно вихрем летящее время.

Были старые в споре с горячей его новизной.

Он в опасности был: старики управляли страной.

Размышляя о смуте, уснул он тревожною ночью,

И безвестного старца увидел он будто воочью.

Молвил старец: «О месяц, ты башню старинную срой,

Юный цвет! Не давай старой ветви сплетаться с тобой.

Чтоб цвело это царство, чтоб эти весенние доли

Озарил ты собой, чтобы взор твой не меркнул веселый».

Шах подумал, проснувшись: «Совет полуночный хорош».

И лишил прежней власти он многих старейших вельмож.

Светлый сад он вознес надо всем обветшалым, суровым.

И при новом царе царство старое сделалось новым.

Разрушителям царства почета не следует знать.

О присяге забывшие надо войска разогнать.

Надо новым ветвям вскинуть головы. В чем же преграда?

В устаревших ветвях. Отрубить всем им головы надо.

Коль не будет упор ненадежному берегу дан,

На сыпучем песке укрепиться не сможет платан.

Чтобы течь родникам, прорубить мы должны им проходы,

Как иначе земля нам подарит подземные воды?

Есть в душе у тебя напитавший твой пламенный дух,

Есть советчик — твой разум, — к нему да склонится твой слух!

Почему же ты медлишь, зачем же, внимая укорам,

Этот меч из ножен ты не вырвешь движением скорым?!

Кто зажег этот разум? Не наш, разумеется, прах.

Кто велел этот меч нам держать постоянно в ножнах?

Для того, кто достоин, мы многим пожертвовать можем,

Пусть тебя называют с великою щедростью схожим.

Тот, кто честь приобрел и богатства обширные, тот

Приобрел и блаженство, своих не смиряя щедрот.

Речь восемнадцатая

В ОСУЖДЕНИЕ ДВУЛИЧНЫХ

Вот фальшивомонетчики, — чтобы продолжить обман,

Для новейшей подделки они смастерили чекан.

Знай: у них и живот и спина из латуни дешевой.

От нечистой руки береги свое каждое слово.

Пред тобою они — лицемеры — открыты, как день.

За спиной у тебя они скрытны, как темная тень.

Будто прямые, как свечи, а спутанней веток алоэ,

Хоть наружность проста, да запутано в них основное.

В милосердье откажут, насильно же волю дадут.

Недостатки считают и жалобам книгу ведут.

Научились любви, — про любовь им другие сказали,

Сколько злобы скопили — узлы на узлы навязали!

Горячи они, — все же прохладней, чем печени их,

Хоть живые, — мертвы и сердец холоднее своих.

Пробным камнем души не испытывай дружбу их ныне.

Ты как будто не пьян, — не скользи же ногою по глине.

Тайны им не вверяй: эти люди — что отрулы гор,

Бойся их клеветы, опасайся вступать в разговор.

Все они — болтуны, от тебя они ждут уваженья,
Все лишь выгод хотят, лишь свое укрепить положение.

Ищем мира с двуличными, от нищеты присмирив, —
Но на эдакий мир да обрушит всевышний свой гнев!

Если в дружбу людей хоть немного корысти проникнет,
В тот же миг меж друзьями враждебное чувство возникнет.

Если с виду и дружба, но каждый твердит про свое, —
Это ложная дружба, враждебность — основа ее.

Почему ты, о сахар, считаешься другом отравы?
Кто друзья твои, грех? Добродетель и добрые нравы.

Друг для близкого друга — как нежный целебный бальзам.
Если ж это не так, перестань с ним беседовать сам.

Правда, с кошкой бывает, — но это зверей недостаток! —
Что она от любви поедает своих же котят.

Если друг ты неложный, так накрепко тайну храни.
А предатели тайны — судьбы переменней они.

Все добиться хотят над тобой своего превосходства,

У тебя потихоньку похитить чекан производства.

Коль извне поглядеть — будто дружбу с тобою ведут,
А как будешь в беде — сами с просьбой к тебе подойдут.

Если дружбу ты сам замечаешь в другом человеке
И отвергнешь ее — ты врага наживешь, и навеки.

Разве могут глаза в этом множестве друга найти?
Угадает лишь сердце, кто верность умеет блюсти.

Но хоть сердце одно, его много печалей печалит,
Вянет роза одна, но шипов ее тысяча жалит.

Много царств на земле, — Фаридун же один меж царей,
Много смесей душистых — да мало мозгов у людей.

Соблюдающих тайну не сыщешь и в целой вселенной,
Только сердце одно — вот поверенный твой неизменный.

Если вверенной тайны не держит и сердце твое,
Как ты можешь хотеть, чтоб другие держали ее?

Коль уста твои тайну везде раззвонили не сами,
Как же стала она очевидной, как день над полями?

Тайну ты раззвонил, не сдержал ее в сердце своем, —

Что же, тайны свои выдает и бутылка с вином?

Все ж иметь сотоварища всякому в жизни придется, —

Не гони же того, кто с тобою дружить соберется.

Уж поскольку приходится в этом судилище жить,

Ты найди себе друга, с которым возможно дружить,

Но пока не узнал ты доподлинной сущности друга,

Тайн ему не вверяй, заболтавшись в минуту досуга.

ПОВЕСТЬ О ДЖАМШИДЕ И ЕГО ПРИБЛИЖЕННОМ

Был у шаха Джамшида один молодой приближенный,

Ближе месяца к солнцу, почетом от всех окруженный.

Так и жил он при шахе, и дело дошло до того,

Что из всех повелитель его выделял одного.

И поскольку его он особою мерою мерил,

Благородному сердцу сокровища тайны поверил,

И хоть юноши к шаху теснейшею близость была,

Шаха он избегал — так от лука стремится стрела.

Тайна сердце сверлила, недавно открытая шахом,
И о ней он молчал, руководствуясь божьим страхом.

Раз явилась старуха к нему. Удивительно ей,
Что тюльпаны его ее роз престарелых желтей.

Говорит: «Кипарис! Что ты вянешь? Испил ты водицы
Не простого ручья, ты напился из ноской криницы!

Почему ж пожелтел? Никаких ты не терпишь обид.
Среди радости общей зачем же печален твой вид?

На лице молодом словно след долголетия и боли,
И тюльпаны твои уподобились желтофиоли.

Ты поверенный шаха, он сердце раскрыл пред тобой,
Уподобься ему и лицо для веселья раскрой.

Благомилостив шах — ну подданных лица румяны.
А румянее всех у ревнителей шахской охраны».

Он старухе в ответ: «Не нрава ты в сужденье своем,
Говоришь ты, не зная, что в сердце творится моем.

Мне такое страданье приносят мое же терпенье!

И лицо желтизной мне окрасило тоже терпенье.

Шах измерил меня, недостойного, мерой своей,

Шах со мной поделился, почтил меня верой своей.

Мне открытые тайны велики и необычайны,

Никому не могу я раскрыть те великие тайны.

Все ж от шаховой тайны не столь молчаливым я стал,

Чтоб о всяких делах вообще говорить перестал.

Но с тобою, старуха, не стану болтать и смеяться;

Птица тайн с языка неожиданно может сорваться.

Если тайна из сердца наружу не выйдет, тогда

Сердце пусть обливается кровью, теперь и всегда.

Если ж тайну раскрою, то счастья лишусь я всецело,

Клятву я преступлю — пропадет голова, и за дело».

Отвечала старуха: «Искать не пытайся в другом

Настоящего друга, — найдется в тебе лишь самом.

Тем, кто всех откровенней, оказывать бойся доверье,

Даже собственной тени оказывать бояся доверье.

Лучше это лицо ты монетою желтой зови, —
Хуже всей голове потонуть по заслугам в крови».

Часто слышится мне, как в ночи раз за разом тревожно
Голова говорит языку: «Берегись! Осторожно!»

Чтоб на плаху не лечь, свой язык ты не делай мечом.
Ты не день, — а лишь дню раскрывание тайн нипочем.

Коль завязан язык, человек беззаботен и весел,—
Только бешеный пес свой язык чуть не до земли свесил.

Благо будет тебе, коль удержишь под небом язык.
Хорошо, если меч не к ладоням, а к ножнам привык.

Многим сроду известно, что это и мудро и верно, —
И беда голове, коль язык говорлив непомерно.

Если будешь фиалкой, чьим запахом каждый влеком,
То тебя обезглавят твоим же они языком.

Пусть в посудине рта он молчит, не мешая дыханью,
Чтоб потом голова не воскликнула «Ах!» над лоханью.

Усладительна речь — все же накрепко губы зашей:

Забываться нельзя — за стеною немало ушей.

Слов не слушай дурных — надо ныне страдать глухотою,

И молчи о дурном — надо ныне дружить с немотою.

Что бы ты ни писал, придержи осторожно калам,

Если пишет другой, ты язык свой завязывай сам.

Все смывай, как вода, что услышать успел от другого.

Будь, как зеркало, нем: что увидел, об этом ни слова.

Что ревнивцу привиделось ночью — о том нипочем —

Хоть оно и чудно! — никому не расскажет он днем.

Нет сомненья, что купол, сияющий звездами ночью,

Днем расскажет едва ли, что видел он за ночь воочью.

Если хочешь у звезд благодравью учиться, то днем

Разглашать не подумай, что в сумраке видел ночном.

О глубокая ночь! В ней сокровища мира таятся.

В ней премногих сердец драгоценности тайно хранятся.

Кто в заботе о главном несется, как молния, скор,
Не расскажет другому, на чем остановится взор.

Чья в выси голова за девятое небо выходит,
Мяч свой с поля игры как прямой победитель выводит.

Те глаза и язык, что с наружною жизнью дружны,
Словно лишняя Кожа иль волос, срезаться должны.

Коль любовь за завесой становится чуду подобной,
То лишь выйдет наружу — и похотью станет трущобной.

Тайн господних суму только вере возможно соткать,
Но трепальщика нить расщипали на хлопок опять.

Тайн завесой облек свою душу цветок нераскрытый.
Но, развернув уста, погибает он, кровью залитый,

Неужели ж такая доступна устам высота?
Повесть тайную сердца расскажут лишь сердца уста.

Миска сердца нужна, чтобы стали те кушанья любви.
Если ж попросту есть, обожжет тебе пламенем губы.

Есть души красноречье, оно и молчанье — одно.

Есть души поспешенье: оно промедленью равно.

Свет божественный сердца к тому лишь свой голос направит,
Кто, предавшись молчанью, другим говорить предоставь.

Сердца речи, которых в глубинах сердечных родник,
Не устам толковать, — передаст их лишь сердца язык.

Коль весельем души с Низами ты окажешься равным,
Будешь малым доволен и станешь владыкой державным.

Речь девятнадцатая

О ПРИЯТИИ ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ

Посмотри, как хорош этот чинный придворный прием,
Как приятен для глаз — словно свет полнолуныя на нем.,

Уж затеплены свечи, и полны подносы набата,
Уж воздвигнут и трон, и курильницы ждут аромата.

Ты, что веру покинул и к праху земному приник,
Стражи горних палат на тебя уже подняли крик.

«Возвращайся! — кричат. — Возвращайся от двери неверья!
Видишь царский шатер? Пребывай у его лишь преддверья!»

Ты от марева мира, от зноя пустыни вскипел.

В день суда перечислят, что скрыть ты при жизни успел.

Пес от стужи дрожит, свирепеющий, скалит он зубы,

И лисица умней — осторожна, не ходит без шубы.

В полный серую ад превращен этот пасмурный дол, —

Счастлив тот, кто скорее по этой юдоли прошел.

Накопи же слюну, как обычай велит нам примерный,

Плюнь в источник кипящий и жар загаси его серный.

То, что в долг получил, ты обратно отдай небесам,

Ведь из праха ты создан, и с прахом расстанься ты сам!

Сбрось земное с себя, как доподлинный мастер, умело—

Ты свободен еще и душа не ослабла для дела.

Кто на этом пути проявляет надменное «я»,

Нас ограбит с тобой на проезжем пути бытия.

Скорпионова ярость страшней, чем драконова злоба:

Первый скрыт, а второй на виду, хоть кусаются оба.

Дом весь полон воров — поскорее сокровища прячь,
А пустыня — злых духов: считай свои четки и плачь.

Те, кто сердца дорогу избрал для своих беззаконий,
Грабят наш караван на последнем его перегоне.

О, боюсь я той ночи, когда совершат свой набег
И, унизив тебя, из пустыни прогонят навек.

Хоть и мелок твой враг, но беда от него пребольшая:
Так не делай ошибки, беспечно свой путь совершая.

Крупно с мелким враждуй, мелкодушью его вопреки.
Если мелочен будешь, тебя разобьют на куски.

Муравей хоть и мал, муравья хоть ничтожна силенка,
Но коль львица беспечна, без глаза оставит он львенка.

До стоянки дошел караван подневольных рабов,
Нагруженный корабль неизбежных достиг берегов.

Чтоб тебя не видали, исчезни, как греза ночная,
Чтоб не выгнали вон, утеки, как струя водяная.

Не вступай в эту келью, подумай, в том будет ли толк, —

Все равно ты обязан вернуть, что получено в долг.

Если сам не уйдешь, все равно испытаешь страданья, —

Печень кровью наполнят, дневного лишат пропитанья.

Если б не был благим из обители праха уход,

День и ночь, обращаясь, не стал бы сменять небосвод.

Ты не жди, чтобы дэв разорвал тебе ворот одежды, —

Встань и к вере беги, возлагай на нее лишь надежды.

Чутким слухом внимай: шариат тебя кличет — туда,

Тела более нет — распрощайся же с ним навсегда.

Шариат — ветерок: с ним душа пусть уносится вместе.

Тело — прах: так оставь же его в этом низменном месте.

Шариат тебе в руку вложил благовонный рейхан.

Не природе служи, — шариату, что свыше нам дан.

Не стремись ты, как ветер, к дверям человека любого,

Не мирись ты, как воздух, с дыханьем любого дурного.

Все здесь тени подобно, — но будь лучезарен, как свет.

Если все ты обрел, отрешись поскорей от сует.

Сжало шею тебе, как ошейник, кольцо небосвода, —
Как же голову вызволишь? Ей ведь потребна свобода!

Он расскажет тебе про огромные своды свои
И поведаст повесть про древние годы свои.

Пред его глубиною тесна твоей жизни пещера.
Пред его стариною ничтожна годов твоих мера.

Не забудь, что молчаньем кончается речи поток,
И забвенью навеки — вот жизни конечный итог.

Но ты дышишь еще, и, чтоб дольше дышать было можно,
Лучше к двери любви подойди и стучись осторожно.

Потому что дышать вместе с падшими вроде тебя
Легче с этим вином, — тяжелее дышать не любя.

Никогда небеса не кроили кафтан без обмана:
Два отреза на шапки утянут всегда от кафтана!

Все, что делаешь ты, как неверный, враждуя с добром, —
Знай — припомнится все и запишется острым пером.

Для чего бы открыл ты величия дверь и блаженства?

Дверь откроют тебе неизбежно — и в этом равенство.

Помни, если насмешку таишь за завесою глаз,

Так же будут играть и с тобой, за завесой таясь.

Те, кто много, живя, и дурного и доброго знали, —

Будь уверен, и твердо, — дурное одобряют едва ли.

Кто отправился в путь, тот невольно вниманье привлек:

Совершивший дурное тем самым уж выдал залог.

Будь красив он или нет — не сравняется с правым неправый.

Как ушел ты из мира, с такой и останешься славой.

Коль растение в колючках, «колючкой» его и зовут,

Те, кто амброй торгует, торговцами амброй сльвут.

Честен будь и правдив — это верная в жизни дорога, —

Чтоб потом не пришлось и себя устыдиться, и бога.

Этот времени бег, истерзавший тебя, побеждай,

Камнем склянку разбей, где кровавые слезы по край.

Побивай ты камнем игрушку багряного цвета!

Зачеркни, чтоб и буква исчезла злосчастная эта!

Ту свинцовую крепость своим сокруши кулаком,
На коня хутталянского смело усядься верхом.

Чтобы небо на горнем девятишатровом мимбаре
Прочитало хутбу о тебе, государь государей.

Бросить на поле знамя — поистине дело твое.
А поднять это знамя — поистине дело мое.

Я как ангел взнесен, хоть во мне и земная природа,
Я сраженье веду на другой стороне небосвода.

Выше, нежели мой рост, непреложная ценность моя.
Вне окружности мира вращаюсь в кругах бытия.

Не вода я, но в море я волн устрашаю громады,
Не сова, но в земле я умею отыскивать клады.

С небом сходствую я, на сокровища ставлю пядю,
Неизбежно взошел на огромную я высоту.

ПОВЕСТЬ О ХАРУН-АР-РАШИДЕ И ЦИРЮЛЬНИКЕ

Срок настал для Харуна халифом назваться. В тот миг
Стяг потомков Аббаса небесного свода достиг.

Как-то в полночь, оставив жену и обитель ночлега,
Вышел в баню Харун насладиться покоем и негой.

В бане начал цирюльник властителю голову брить
И, к досаде его, много лишнего стал говорить.

«О, ты знаешь меня! Без наград мы уменя не тратим:
Отличи же меня, назови меня нынче же зятем!

Обрученье устрой, за меня, за раба своего,
Ты отдай свою дочь, что дороже мне мира всего».

От природы горячий, халиф раздражился сначала, —
Но уж чувство стыда его первую вспышку смягчало.

Он сказал: «От жары перегрелась, знать, печень его:
Он рехнулся с испуга при виде лица моего.

Если б был он в уме, так и вздору нести не пришлось бы, —
Может только безумный такие высказывать просьбы».

Утром вновь испытал он слугу, но остался ни с чем:
Был все тем же чеканом чеканен фальшивый дирхем.

И не раз и не два подвергал он его испытаньям,
А цирюльник все тот же, все с тем же безумным желаньем!

Так умом помраченный все дело вконец помрачил,
И то дело распутать дастуру халиф поручил.

Он дастуру сказал: «На меня с языка брадобрея
Вдруг свалилась печаль, — так узнай мою тайну скорее.

Он считает достойным, чтоб я его зятем назвал!
Кто же так и учтивость и место свое забывал?

И язык его — бритва, и в правой руке его бритва!
Два клинка на меня: согласишься, что неравная битва!

Каждый день, подвизаясь над высшей из царских голов,
Мне кидает он в душу камня заносчивых слов!»

И ответил дастур: «Не смущайся, но истины ради
Испытай, может статья, стоит он ногами на кладе?

Как появится с бритвой, цирюльника ты упреди:
«Здесь обычно стоишь, но сегодня туда перейди!»

Если будет спесив, так рубить ему голову надо,

Если ж нет — поищи, где стоял он, зарытого клада».

И, смиренной послушен природе, недавний «эмир»

Стал на новое место, как дал указанье визир.

И едва отошел он и стал в расстоянии некоем,

Показался халифу он вовсе другим человеком.

И совсем не болтает — как будто с завязанным ртом, —

И глаза и язык безупречно учтивы притом.

До тех пор, как цирюльник обычного места держался,

Образ царственной власти в простецкой душе отражался.

Но едва с того места сойти поспешил поскорей,

Стал цирюльником вновь — открывай себе лавку да брей.

И халиф приказал, и вскопала то место лопата, —

И явились сокровища, скрытые в землю когда-то.

На сокровища став, что до срока таиться должны,

Всякий станет речист, отмыкает он двери казны.

Но казна Низами всем открыта, кто ищет совета,

Грудь свободна от праха, и сердце исполнено света.

Речь двадцатая

О ЗАНОСЧИВОСТИ СОВРЕМЕННОКОВ

От себя мы самих отмахнулись, от жизни устали, —

Почему ж, утомленные, к праху земному пристали?

Пребывая средь праха, ты стал, как колючка, в шипах,

Цел подобных немало с живыми проделывал прах.

Жизнь успела пройти — среди вышедших из дому рано

Мы последними стали — отставшая часть каравана!

Покорили мы ангелов наших, им путы надев,

Ищет дружества с нами и сам обесславленный дэв.

Мы — что в бане котлы: горячи мы и холодны вместе;

Мы — что куча золы: горячи мы и холодны вместе.

Где же ясность души, где же сердца сияющий свет?

Где же отдых былой? Где спокойствие духа? Их нет

Утро ночи темней, загорается черное пламя,

Меркнет утро души, и его опускается знамя.

Беззаботности смех прерывается в наших устах,

Вожделение к жизни в душе разбивается в прах.

На ладони у праха создай себе силой волшебной
Средство душу спасти как-нибудь в суете непотребной.

Вылетай же скорей, разорви кровожадный силок,
Человеку лукавство дано, чтоб он вырваться мог.

Пусть зубастее волк, но лукавством сильнее лисица:
Из ловушки сумела лукавая освободиться!

Знай свое назначенье и верности верным пребудь,
Брось себе поклоненье, аллаху служить не забудь!

Прахом сердца ты стань, ибо верность лишь там обитает,
Только в сердце одном справедливости роза возрастает.

Если сердцем твоим добродетель тебе внушена,
Одеянию верности краем послужит она.

В человеке возникнут одни лишь хорошие свойства, —
Пропадут, если ты не похвалишь, хорошие свойства.

Но одобрил ты их — и становятся лучше тогда,
И обильнее вдвое в ручье заструится вода.

Кто не чужд воспитанию, бывает другими воспитан,
Коль на добрые свойства в ком-либо ином поглядит он.

Праху дать чистоту добродетель лишь может одна, —
Только в прахе земном добродетель теперь не видна!

Ведь едва добродетель поднять свою голову сможет,
На нее нечестивый немедленно руку наложит.

Добродетельных гонят, о жизни стоит уж вопрос!
Каждый рад, если вред добродетели тоже нанес.

Коль подвижника видят, так это им только забавно.
А раздумья считают горячкой страстей и подавно.

Имя щедрости назвали горстью убытка они,
Полагают, что верный рабу даровому сродни.

Щедрость — только посмешище их издевательствам вздорным,
Ими ясная речь именуется омутом черным.

Абрис верности их нарисован на тающем льду,
Даже солнце с луной эти люди хулят на ходу.

Если кто хоть на миг усладился бальзамом покоя,
Он уж их уязвил, их лишает тем самым покоя.

Каждый с губ у другого отведаёт сласти, а сам
Опаршивевшим пальцем ему проведет по губам.

Людам с печенью плотной, подобной инжирине спелой,
Подают они уксус, даваемый гроздьё незрелой.

Чтоб хорошее видеть, у них не имеется глаз,
Но любые пороки готовы приметить тотчас.

В море много всего, но ничто не ценнее жемчужин:
Если есть добродетель, иной уж прибыток не нужен.
Для слепого что капля могучего Тигра струя,
И нога саранчи тяжеленька для лап муравья.
Двое-трое скупают пороки, о почестях споря,—
И порочный и праведный с ними натерпятся горя,

Сами в прахе они и душою чернее, чем прах,
Горше всех огорчений, что носим мы в наших сердцах.

Станут дымом, едва до чьего-либо носа достанут,
Лишь увидят светильник — и ветром немедленно станут.

Посмотри ты на мир, на устройство его посмотри:
Кто в нем знатные люди, имущие власть главари?

Двое-трое порочных живут на позорище веку, —
И наш век, и я сам через них превратился в калеку.

Только я — как луна, не разрушишь мою полноту:
Мне ущерб нанесут — от ущерба еще возрасту.

Пусть хлопочут вовсю, только шахматы — трудное дело.
Вряд ли их плутовство небосвод обыграть бы сумело.

Хоть свежа моя речь, хоть духовного сада влажней,
Словно спутники Ноя, хулители реют над ней.

Знамя Хызра, развейся! Зови нас на поприще боя!
На священную брань! На неверных — с молитвами Ноя;

Что мне их нечестивость? Что сердцу поступки дурных?
Пропади, мое сердце, лишь только вспомянешь о них!

Нет предела их злу, их проступкам не видно скончанья,
Пусть же голосом громким мое им ответит молчанье!

Много стука в ларце, но жемчужина в нем лишь одна.

А наполнит он чрево — и будет в ларце тишина.

Громко булькает жбан, коль наполнена лишь половина,

А наполнится весь — и безмолвствует звонкая глина.

Если знания полон твой разум и ясности — дух,

Откажись от речей, превратись осмотрительно в слух.

Я же столько богатств в рудниках сокровенно таю,

Из-за пазухи вмиг сто жемчужин зараз достаю, —

Почему ж за червями гоняюсь я целыми днями

И жилище мое на ветвях между злыми шипами?»

Умный сокол отвечает: «В слух целиком обратись.

Молчалив я, как видишь, — молчанью и ты научись.

Знай, в житейских делах понемногу я стал господином:

Сотни делаю дел, но ни с кем не делюсь ни единым.

Уходи же! Тобой соблазнительный мир овладел.

Ты не делаешь дела, — болтаешь о тысяче дел.

Я живу для охот, я у шаха сижу на перчатке,

Если голоден — грудку я горней клюю куропатки.

Ведь ты весь обратился в трескучий язык, соловей,—

Так живи на колючках и ешь с голодухи червей!»

Если, чтя Фаридуна со славой его несказанной,

Возглашают хутбу, кто же слушает гром барабанный?

Если утро всего лишь — пронзительный крик петуха,

Это разве лишь на смех, и шутка такая плоха.

Наш о помощи крик небосводу внимать не угодно,

От его же кольца ни одна голова не свободна.

Не болтай о великих стихах, повторяй их в уме,

Или, как Низами, ты окажешься тоже в тюрьме.

ПОВЕСТЬ О СОЛОВЬЕ И СОКОЛЕ

Куст едва лишь зарделся весенним цветением роз,

Соловей неожиданно соколу задал вопрос:

«Ты все время безмолвен, ты самый из птиц молчаливый,

А в игре победил! Почему же такой ты счастливый?

Только начал дышать, а уста уж безмолвьем связал,

Не случилось того, чтоб ты доброе слово сказал.

Ты живешь у султана Санджара, и дни твои сладки,
Утоляя свой голод, ты грудку когтишь куропатки.

Низами Гянджеви

Хосров и Ширин

Перевод – К. Липскерова

О проникновении в сущность этой книги

От снов моей души я ныне недалече.
Под сводом замыслов я словно слышу речи:
«Спеши, о Низами, а то минует срок —
Неверны времена и вероломен рок.
Из животворных вод весну исторгни снова
И облеку весну весенней тканью слова.
Свой звонкий саз возьми, — твой короток привал,
Напев твой по тебе давно затосковал.
В путь опоздаешь, — глядь: ночь сумрак распростерла.
Некстати запоешь — под нож подставишь горло.
Как роза, говори лишь только должный срок,
Болтливой лилии привязан язычок.
Слова — булат. Чекан подобный сыщем где мы?
Чеканом слов своих чекань свои дирхемы.

Хоть выкован клинок, но трудность впереди:
До блеска лезвие ты камнем доведи.
Писать не надо слов, идущих не от мысли,
Их говорить нельзя. Своими их не числи.
Несложно нанизать слова свои на стих,
Но крепость дай стихам, чтоб устоять на них.
Слов много у тебя, — пусть будет их немного!
Сто вправь в одно, — в одно сто обращая строго!
Коль забурлит река неудержимых стоп,
Не полноводие увидим, а потоп.
Коль крови через край и слишком жадно тело,
Ты накажи его ножом врачебным смело.
Не много говори, дай речи удила.
Знай: избылье слов есть избылье зла.
Сдержи потоки слов, им предназначив грани,
Иль скажут: «Помолчи!» — и нет постыдней брани.
В словах — душа. Душа на все возьмет права.
Твоя бесценна жизнь — бесценны и слова.
Ты скудоумных брось, и жадных ты не слушай;
Взгляни: они продать за хлеб готовы душу.
Слова — жемчужины. Поэт — он водолаз.
И труден темный путь к ним устремленных глаз.
Страшатся мастера: им долгий опыт нужен,
Ведь бережно сверлят ядро таких жемчужин.
Строги сверлильщики к своим ученикам,

С опаской жемчуга вручая их рукам.
Ты трезв иль разум твой весь в опьянение сладком,
Ты пищи не давай безудержным нападкам.
Ведь соглядатаев до сотни у тебя,
Они снуют вокруг, подол твой теребя.
Будь осмотрителен и не дохни беспечно.
Не думай про людей: глядят они беспечно.
И вот, заслышав звук тех потаенных слов,
Ушел я, словно дух, под свой безлюдный кров
В уединении, в котором сердце — море,
Бьют все источники, с душой твоей не споря.
И сказку начал я с того благого дня,
В сад райский обратил я капище огня.
Но это капище, вновь явленное взорам,
Я лишь разрисовал мной созданным узором.
Хоть все вмещать в слова живущим и дано,
И может в их ключе все быть заключено, —
Но если отражать в них истину мы можем,
То небылицы мы с их помощью не множим,
От неправдивых слов честь мигом утечет,
Предназначается правдивому почет.
Правдивый всем очам с лучами мнится схожим
Приемля золото, подобен он вельможам.
Зеленый кипарис лишь потому, что прям,
Не предан осенью осенним янтарям.

«Сокровищницу тайн» создать я был во власти,
К чему ж мне вновь страдать, изображая страсти?
Но нет ведь никого из смертных в наших днях,
Кто б страсти не питал к страницам о страстях.
И страсть я замесил со сладостной приправой
Для всех отравленных любовною отравой.
С какую ясностью я всем являю страсть!
К ней пристрастившимся — к моим стихам припасть!
Я взял такой сучок, каких и не бывало.
И фиников на нем нанизано немало.
Известен всем Хосров и знают о Ширин.
Какой рассказ милей и слаще? Ни один.
Но хоть предания отраднее не знали,
Оно, как лик невест, скрывалось в покрывале,
И списки не были известны. И Берда
Таила этот сказ немалые года.
И в книге древних дней, мне некогда врученной
В той местности, сей сказ прочел я, восхищенный.
И старцы, жившие поблизости, меня
Ввели в старинный сказ, исполненный огня.
И книга о Ширин людьми сочтется дивом,
В ней все для мудрого покажется правдивым.
И как же правдою всю правду нам не счесть?
Есть письмена о ней и памятники есть:
И очертания Шебдиза в сердцеvine

Скалы, и Бисутун, и замок в Медаине.
Безводное русло, что выдолбил Ферхад,
Скупой приют Ширин меж каменных оград,
И город меж двух рек, и царственные взлеты
Дворцов хосрововых, и край его охоты,
Варбеда памятен десятиструнный саз,
И чтут Шахруд, Хосров там отдыхал не раз.
Мудрец сказал о них, но не дал он рассказу
К сказанью о любви приблизиться ни разу.
Тогда достигнул он шестидесяти лет,
И от стрелы любви уже забыл он след.
О том, как сладких стрел неистова отвага,
Повествовать в стихах он счесть не мог за благо.
К рассказу мудреца не тронулся я вспять:
Уже звучавших слов не должно повторять.
Я молвлю о делах, опущенных великим,
Велениям любви внимая многоликим.

Несколько слов о любви

Всех зовов сладостней любви всевластный зов,

И я одной любви покорствовать готов!
Любовь — михраб ветров, к зениту вознесенных,
И смерть иссушит мир без вод страны влюбленных.
Явись рабом любви, заботы нет иной.
Для доблестных блеснет какой же свет иной?
Все ложь, одна любовь — указ беспрекословный,
И в мире все игра, что вне игры любовной.
Когда бы без любви была душа миров, —
Кого бы зрел живым сей круголетный кров?
Кто стынет без любви, да внемлет укоризне:
Он мертв, хотя б сто крат он был исполнен жизни.
Хоть над любовью, знай, не властна ворожба,
Пред ворожкой любви — душа твоя слаба.
У снеди и у сна одни ослы во власти.
Хоть в кошку, да влюбись. Любой отдайся страсти!
Дерись хоть за нее, ну что ж — достойный гнев!
Ты без любви ничто, хоть ты и мощный лев.
Нет, без любви ничьи не прорастают зерна,
Лишь в доме любящих спокойно и просторно.
Без пламени любви, что все живые чтут,
Не плачут облака и розы не цветут.
И гебры чтут огонь, его живую силу,
Лишь только из любви к полдневному светилу.
Ты сердце не считай властителем души:
Душа души — любовь, найти ее следи!

Любовь поет кыблу, но помнит и о Лате,
К Каабе льнет, торит в языческой палате.
И в камне — если в нем горит любовный жар —
Сверкнет в добычу нам бесценный гаухар.
И если бы магнит был не исполнен страсти,
Железо привлекать он не был бы во власти.
И если бы весь мир не охватила ярь,
Не мог бы привлекать соломинку янтарь.
Но сколько есть камней, которые не в силах
Привлечь соломинку, — бездушных и застылых.
И в веществах во всех — а можно ли их счесть? —
Стремленье страстное к сосредоточью есть.
Огонь вскипит в земле, и вот в минуту ту же
Расколет землю он, чтоб взвихриться снаружи.
И если в воздухе и держится вода.
Все ж пасть в стремлении придет ей черед.
Для тяготения в чем сыщется преграда?
А тяготение назвать любовью надо.
О смертный, разум свой к раздумью призови,
И ты постигнешь: мир воздвигнут на любви.
Когда на небесах любви возникла сила,
Она для бытия нам землю сотворила.
Был в жизни дорог мне любви блаженный пыл, —
И сердце продал я, и душу я купил.
С пожараща любви дым бросил я по странам,

И очи разума задернул я туманом.
Я препоясался, пылая, — и постичь
Любовь сумеет мир, услышавший мой клич.
Не для презренных он! Мой стих о них не тужит.
Сладкочитающим, взыскательным он служит.
Вот сказ, но исказит мои стихи писец.
Страшусь: припишет мне свои грехи писец.

В оправдание сочинения этой книги

Когда, замкнувши дверь, в беседе с небосводом
Я время проводил, по звездным переходам
В раздумье странствуя, ища свои пути
Меж ангельских завес, чтоб скрытое найти, —
Я друга верного имел, и не случайно
Ему была ясна моих мечтаний тайна.
И в благочестье лев, он был — я знал о том —
Для всех врагов мечом, а для меня — щитом.
Лишь знание он чтил, в котором нет мирского.
Лишь знание он взял из всех сует мирского.
Вся серебрилась ночь под неземным кольцом,

И стал серебрян перст, гремя дверным кольцом.
Но светлый гость вошел не с миром, а для спора,
И речь его была исполнена укора:
«Да славишься вовек, ты, миродержец слов,
Кому счастливый рок способствовать готов!
Тебе ведь сорок лет, — раздел всей жизни ломкой,
Ты благостный свой лист сей повестью не комкай.
Ты соблюдал посты, ты благочестья свет,
Ты костью падали не разговляйся, нет!
Ведь не влеклось к тебе мирское вожденье,
И ты к мирским делам не мчал свое стремленье.
Когда твое перо, горящее как луч,
От всех сокровищниц тебе врученный ключ.
Зачем на бронзу ты наводишь позолоту?
Искать лишь золото найди в себе охоту!
Зачем карунов клад скрыл в недрах ты?
Зачем Ты не учитель всех создателей поэм?
В дверь господу стучись, всем ведом ты в отчизне,
Поклонников огня зачем зовешь ты к жизни?
Ты дух свой умертвил, хоть был он огневым,
Лишь Зенд-Авесты чтец найдет его живым!»
И я внимал словам и горестным и ярым.
Но не обижен был я другом этим старым.
И я прочел пред ним, не терпящим грехи,
О сладостной Ширин отменные стихи.

Свой златотканый шелк явил я, над которым
Трудился, лишь начав работу над узором.
Когда увидел друг всю живопись Мани, —
Сей огнедышащий забыл свои огни.
Я молвил: «Почему молчишь ты? Или слово
Для изъявления хвалений не готово?»
И вот воскликнул он: «Язык мой только раб
Тебе несущий дань. Все выразить он слаб.
Слово о Сладостной услышал я. Молчанье —
Единственный ответ на слов твоих звучанье.
Свои заклęcia бессчетно множишь ты!
Каабу идолам воздвигнуть сможешь ты!
Так много сладости рука твоя простерла,
Что сахаром твоим мое застлалось горло.
И коль от сахара язык я прикусил, —
Да льется сахар твой! Да не утратит сил!
Дойди же до конца, коль выступил в дорогу.
Основа есть, весь дом достроишь понемногу.
Пускай же небеса твои труды хранят
И сладость вечную твои плоды хранят!
Что медлишь тут? Зачем ждать зова или знака?
Есть у тебя казна с чеканкою Ирака.
Ты справишься со львом; от этих стен Гянджи
Ты своего коня поспешно отвяжи.
Стреми коня. Ты свеж, а наше сердце нежим

На утренних путях мы ароматом свежим.
В дни наши, Низами, красноречивых нет,
А коль и есть, таких, как ты, счастливых нет.
Тень счастья, как Хума, брось на свои деянья,
На филинов обрушь всю тяжесть воздаянья.
Пусть жалкие певцы и блещут, как свеча,
Лишь крылышки свои сжигают сгоряча.
Их свет — в дому; уйдут лишь на два перехода,
И не видны, но ты — совсем иного рода!
Ты — солнце. Полный день огнистое кольцо
Пылает над землей; всем ведом ты в лицо.
Когда ты выйдешь в путь, твои заслышав речи,
Глупцы в свои углы пугливо спрячут плечи.
Всех дарований грань не станет ли ясна?
И всадника почтит поэзии страна!»
И молвил я ему, взглянув как можно строже:
«Ты с мясником не схож, и я с бараном — тоже.
Светильник мой горит, не дуй на светоч сей.
От веянья Исы не вздрогнет Моисей.
Я — пламень. Пламени воспламенить не надо.
В самосжигании одна моя отрада!
Я хрупкое стекло; кинь камень — и обид
Услышу много я, меня покроет стыд.
Ты бронзой чтишь меня под легкой позолотой,
Ты в розах падалью зовешь меня с охотой.

Ты мнишь, что снедь моя — мне лакомая смесь
Из самомнения, в котором есть и спесь.
Мой знаешь гороскоп? В нем — лев, но я сын персти,
И если я и лев, я только лев из шерсти.
И мне ли на врага, его губя, идти?
Я лев, который смог лишь на себя идти!
Где жизнерадостность? И снов о ней не стало.
И всей кичливости весенних дней не стало.
Слов юных похвальба, самовлюбленный бред —
Лишь опьянение; его потерян след.
Лет тридцать проживешь иль хоть бы только двадцать,
С былой беспечностью куда тебе деваться?
Еще под сорок лет нам радости даны,
А после — крыльев нет иль крылья не вольны!
А минет пятьдесят — ушло здоровье; очи
Ослабли. И для ног пути уже короче.
И неподвижны все, когда им шестьдесят,
И тело в семьдесят как бы впитало яд.
А в восемьдесят лет иль больше — в девяносто
Как одолеть нам жизнь и жить нам как непросто!
Коль дальше выйдешь в путь, и ты дойдешь до ста, —
Со смертью схожи дни, и жизнь, как смерть, пуста.
Столетье проживешь иль только день единый, —
Все ж разлучишься ты с пожизненной долиной.
Что ж, радостным пребудь на всем своем пути

И этой радостью создателя почти!
Будь, как свеча: она в своем восторге яра
И тает радостно от радостного жара.
Сверканье радости ты помни, как свеча, —
Та, что погашена и уж не горяча.
И так как радости не сыщешь ты без горя,
И так как льется смех, с твоей печалью споря,
Я дам тебе совет — я знаю, ты толков —
Лишь радости знать. Послушай, он таков:
Коль осчастливлен ты благой судьбой, — умело
Ты бедняка, о друг, счастливым также сделай.
Ведь солнце радостно, а радостно оно
Затем, что радовать весь мир ему дано».

Начало рассказа

Так начал свой рассказ неведомый сказитель —
Повествования о канувшем хранитель:
Когда луна Кесры во мрак укрылась, он
В наследье передал Ормузу царский трон.
Мир озарив, Ормуз державно создал право,

И правом созданным прочна была держава.
Обычаи отца на месте он держал.
И веру с милостями вместе он держал.
И, рода своего желая продолженья,
Он посвящал творцу все жертвоприношенья.
Творец, его мольбы отринуть не хотя,
Дал мальчика ему. О дивное дитя!
Он был жемчужиной из царственного моря.
Как Светоч, он светил, светилам божьим вторя.
Был гороскоп хорош и благостен престол:
Соизволеньем звезд свой трон он приобрел
Его отец, что знал судьбы предначертанье,
Ему «Хосров Парвиз» дал светлое прозвание.
Парвизом назван был затем царевич мой,
Что для родных он был красивой бахромой.
Его, как мускус, в шелк кормилица укрыла,
В пушистый хлопок перл бесценный уложила.
И лик его сиял, все горести гоня,
Улыбка сладкая была прекрасней дня.
Уста из сахара так молоко любили!
И сахар с молоком младенцу пищей были.
Как роза, он сиял на пиршествах царя,
В руках пирующих над кубками паря.
Когда же свой покой он люлечный нарушил,
Мир положил его в свою большую душу.

Был в те года храним он сменою удач,
Всему нежданному был ум его — толмач.
Уже в пять лет все то, что дивно в нашем мире,
Он постигал, и мир пред ним раскрылся шире.
Парвизу стройному лет наступило шесть,
И всех шести сторон мог свойства он учесть.
Его, прекрасного, увидевши однажды,
«Юсуф Египетский!» — шептал в восторге каждый.
И к мальчику отец призвал учителей,
Чтоб жизнь его была полезней и светлей.
Когда немного дней чредою миновало, —
Искусства каждого Хосров познал начало.
И речь подростшего всем стала дорога:
Как море, рассыпать умел он жемчуга.
И всякий краснобай, чья речь ручьем бурлила,
Был должен спорить с ним, держа в руках мерило.
Он волос в зоркости пронизывал насквозь,
Ему сплетать слова тончайше довелось.
Девятилетним он покинул школу; змея
Он побеждал, со львом идти на схватку смея.
Когда ж он кирпичи десятилетия стлал, —
Тридцатилетних ум он по ветру пускал.
Была его рука сильнее лапы львиной,
И столп рассечь мечом умел он в миг единый.
Он узел из волос развязывал стрелой.

Копьем кольцо срывал с кольчуги боевой.
Как лучник, превращал, на бранном целясь поле,
Он барабан Зухре в свой барабан соколий.
Тот, кто бы натянул с десятков луков, — лук
Хосров гнуть не мог всей силой мощных рук.
Взметнув аркан, с толпой он не боялся схваток,
Обхват его стрелы был в девять рукояток.
Он зло пронзал стрелой — будь тут хоть Белый див.
Не диво — див пред ним дрожал, как листья ив.
Коль в скалы он метал копья летучий пламень, —
Мог острие копья он вбить глубоко в камень.
А лет четырнадцать к пределу донеслись —
У птицы знания взметнулись крылья ввысь.
Он всё укрытое хотел окинуть взором,
Добро и зло своим отметить приговором.
Один ученый жил: звался Бузург-Умид.
Сам разум — знали все — на мудрого глядит.
Все небо по частям постичь он был во власти,
И вся земля пред ним свои вскрывала части.
И были тайны тайн даны ему в удел.
Сокровищниц небес ключами он владел.
Хосров его призвал. В саду, к чертогам близким,
Тот речью засверкал, — мечом своим индийским.
Он в море знания жемчужины искал,
Руками их ловил, царевичу вручал.

Он озаренный дух овеял светом новым, —
И было многое усвоено Хосровом.
Кольца Кейвана свет и весь хребет земли —
Весь мир именовать слова его могли.
В недолгий срок во власть морские взял он недра,
Все знал он, что открыл ему учитель щедро.
К Познанию дух пришел из безраздумных дней.
В своем пути достиг он царских ступеней.
Когда же для него — пределов звездных друга —
Открылись все круги крутящегося круга, —
Он понял: долга нет отраднее, чем долг
Служения отцу, и пред отцом он молк.
Отец его любил сильнее всей вселенной —
Да что вселенная! — сильней души нетленной.
Чтоб длительную жизнь на свете сын узнал,
У длинноруких всех он руки обкарнал.
И, укрощая зло, гласил стране глашатай:
«Беда злокозненным!» — и никнул, виноватый.
Гласил: «Пасти коней в чужих полях нельзя,
К плодам чужих садов заказана стезя.
Смотреть на жен чужих — срамнее нету срама.
Не пребывай в дому турецкого гуляма.
Иль кару понесешь достойную». Не раз
Шах в этом поклялся, — да помнят все наказ!
Он к справедливости не погашал стремленья, —

И в эти дни земля достигла исцеленья.
И выпустило мир из рук ослабших Зло.
Не стало злых людей, спасение пришло.

Выезд Хосрова на охоту

Был весел день. Хосров в час утренней молитвы
Поехал по местам, пригодным для ловитвы.
Всем любовался он, стрелял зверей, и вот
Селенье вдалеке веселое встает.
И тут над росами зеленого покрова
Раскинут был ковер велением Хосрова.
Пил алое вино на травах он, и, глядь, —
Златая роза вдаль уж стала уплывать.
Вот солнце в крепости лазоревой на стены
Взнесло свой желтый стяг. Но быстры перемены:
Оно — бегущий царь — алоэ разожгло,
Раскрыло мрак шатра, а знамя унесло.
И под гору оно коня, пылая, гнало,
Мечами небосвод, ярясь, полосовало.
Но, ослабев, ушло, ушло с земли больной

И свой простерло щит, как лотос, над водой.
В селении Хосров потребовал приюта,
Для пира все собрать пришла теперь минута.
Он тут среди друзей ночную встретил тень.
Пил яркое вино, ночь обращая в день.
Под органа гул — о, звуков преизбыток! —
Пил аргаванный он пурпуровый напиток.
Во фляге булькал смех. Была она хмельна.
И сыну царскому с ней было не до сна.
С зарей Хосровов конь — безудержный по нраву
Меж чьих-то тучных трав был схвачен за потраву.
А гурский нежный раб, всем улаждавший взгляд,
Через ограду крал незрелый виноград.
И вот лишь солнце вновь над миром засияло
И ночи голову от тела дня отъяло, —
Уж кое-кто из тех, что носят яд в устах,
Умчались во дворец, и там услышал шах,
Что беззаконие свершил Хосров, что, верно,
Ему не страшен шах, что шепот будет скверный.
Промолвил шахиншах: «Не знаю, в чем вина»,
Сказали: «Пусть его — несправедность одна.
И для его коня не создана отрада,
И раб его желал чужого винограда.
И на ночь бедняка лишил он ложа сна,
И арфа звонкая всю ночь была слышна.

Ведь если бы он был не отпрыск шахиншаха, —
Он потерял бы все, наведаясь бы страха.
Врач в длань болящего вонзает острие,
А тело острием он тронет ли свое?»
«Меч тотчас принести!» — раздался голос строгий.
И быстрому коню немедля рубят ноги.
А гурского раба владельцу лоз дают, —
Сок розы сладостной в поток соленый льют.
Оставили жильё, где пили в ночь охоты,
Как дар, хосровов трон искуснейшей работы.
Арфисту ногти — прочь, чтоб голос арфы смолк,
А с арфы смолкнувшей сорвать велели шелк.
Взгляни — вот древний суд, для всех неукоснимый,
Суд даже над своей жемчужиной творимый.
Где ж правосудье днесь великое, как рок?
Кто б сыну в наши дни подобный дал урок?
Служил Ормуз огню. Свое забудем чванство!
Ведь нынешних времен постыдно мусульманство.
Да, мусульмане мы, а он язычник был.
Коль то — язычество, в чем мусульманства пыл?
Но слушай, Низами, пусть повесть вновь струится:
Безрадостно поет нравоучений птица.

Хосров со старцами идет к своему отцу

Когда Хосров Парвиз увидел свой позор, —

Он призадумался, его померкнул взор.

Он понял: для себя он в прошлом не был другом.

Он понял: прав отец — воздал он по заслугам.

Все дело рук своих! И вот руками он

Бил голову свою, собою возмущен.

Двум старцам он сказал, не ощущая страха:

«Ведите кипарис к престолу шахиншаха.

Быть может, вашему заступничеству вняв,

Шах снизойдет ко мне, хоть я и был неправ»,

И саван он надел и поднял меч, — и в мире,

Как в Судный день, шел плач, звуча все шире, шире.

С мольбою старцы шли. Смотри смиренно вниз,

Подобно пленнику, за ними шел Парвиз.

Лишь к трону подошли, не умеряя стона,

В прах, грешник горестный, царевич пал у трона.

«Так много горести, о шах, мне не снести!

Великим будь — вину ничтожному прости.

Юсуфа не считай ты оскверненным волком.

Он грешен, но он юн, он свет не понял толком.

Ведь рот мой в молоке, и все мне в мире вновь.

Что ж мощный лев испить мою желает кровь?
Пощады! Я — дитя! Сразит меня кручина,
Не в силах вынести я гнева властелина!
Коль провинился я — вот шея, вот мой меч.
Тебе — разить, а мне — сраженным наземь лечь.
Я всякий гнет снесу на перепутьях жизни, —
Лишь только б царственной не внять мне укоризне». —
Так молвил чистый перл и начал вновь стенать.
И голову свою склонил к земле опять.
Покорность мудрая толпу людей сразила,
И вновь раздался плач — его возрастила сила, —
И вопли понеслись, как шум листвы в ветрах,
И жало жалости пачуял шахиншах.
Он видит: сын его, хоть молод он и нежен,
Уж постигает путь, что в мире неизбежен.
Он, для кого судьба не хочет вовсе зла,
Сам хочет одного — чтоб скорбь отца прошла.
Подумай: как с тобой поступит сын, — он то же
Увидит от того, кто всех ему дороже.
Для сына ты не будь истоком зла и мук,
Преемником ему ведь твой же будет внук.
И на сыновний лик склонился взор Ормуза,
Он понял: сын ему — целенье, не обуза.
Он благороден, мудр, и как не разгадать,
Что божия на нем почила благодать.

Целуя сына в лоб, обвив его руками,
Ормуз повелевать велит ему войсками.
Когда, сойдя с крыльца, на двор ступил Хосров,
Мир засиял опять: с него упал покров.
Гадал хосровов лик — он был для взоров пиром, —
Дано ли в будущем сиять ему над миром?
Утешен будешь ты сверкающим престолом.
Он деревом златым возвысится над долом.
Четвертое: за то, что, пылкий, не вспылит.
Хоть шах прогнал певца и струн тебя лишил, —
Барбеда ты найдешь; внимать ему услада, —
Припомнившим о нем сладка и чаша яда.
Утратив камешки — клад золотой найдешь,
Костяшки потеряв — ты перлов рой найдешь.
Стряхнул царевич тьму дремотного тумана
И встал, и вновь хвалой прославил он Яздана.
Он целый день молчал, был думой взор одет.
Он будто все внимал тому, что молвил дед.
И, мудрецов созвав, он рассказал им ночью
О том, что видел он как будто бы воочью.

Рассказ Шапура о Ширин

И некий жил Шапур, Хосрова лучший друг,
Лахор он знал, Магриб прошел он весь вокруг.
Знай: от картин его Мани была б обида.
Как рисовальщик он мог победить Эвклида.
Он был калама царь, был в ликописи скор,
Без кисти мысль его могла сплетать узор.
Столь тонко создавал он нежные творенья,
Что мог бы на воде рождать изображенья.
Он перед тронем пал, — и услышал Хосров,
Как зажурчал ручей отрадных сердцу слов:
«Когда бы слух царя хотел ко мне склониться,
Познанья моего явилась бы крупица».
Дал знак ему Парвиз: «О честный человек!
Яви свое тепло, не остужай наш век!»
Разверз уста Шапур. В струенье слов богатом
Он цветом наделил слова и ароматом.
«Пока живет земля — ей быть твоей рабой!
Да будет месяц, год и век блажен тобой!
Да будет молодость красе твоей сожитель!
Твоим желаньям всем да будет исполнитель!
Да будет грустен тот, кто грусть в тебе родил!
Тебя печалющий — чтоб в горести бродил!
По шестисводному шатру моя дорога.

Во всех краях земли чудес я видел много.
Там, за чредою гор, где весь простер красив,
Где радостный Дербент, и море, и залив, —
Есть женщина. На ней блеск царственного сана,
Кипенье войск ее достигло Исфахана.
Вплоть до Армении Аррана мощный край
Ей повинуются. Мой повелитель, знай:
Немало областей шлют ей покорно дани.
На свете, может быть, счастливей нет созданий.
Без счета крепостей есть у нее в горах,
Как велика казна — то ведает аллах.
Четвероногих там исчислить не могли бы.
Ну, сколько в небе птиц? Ну, сколько в море рыбы?
Нет мужа у нее, но есть почет и власть.
И жить ей весело: ей все на свете всласть.
Она — ей от мужчин в отваге нет отличья —
Великой госпожой зовется за величье.
Шемору видел я, прибывши в ту страну.
«Шемора» — так у них звучит «Михин-Бану».
Для месяцев любых, в земли широтах разных,
Пристанищ у нее не счесть многообразных.
В дни розы Госпожа отправится в Мугань,
Чтоб росы попирать, весны приемля дань.
В горах Армении она блуждает летом
Меж роз и тучных нив, пленясь их ярким цветом.

А осень желтая надвинется — и вот
На дичь в Абхазии вершит она налет.
Зимой она в Барде. Презревши смены года,
Живет она, забыв, что значит непогода.
Там дышит радостней, где легче дышит грудь,
Отраднѣй обрета в делах житейских путь.
И вот в ее дворце, в плену его красивом,
Живет племянница. Ее ты счел бы дивом.
Она — что гурия! О нет! Она — луна!
Владычица венца укрытая она!
Лик — месяц молодой, и взор прекрасен черный.
Верь: черноокая — источник животворный.
А косы блещущей, — ведь это негры ввысь
Для сбора фиников по пальме поднялись.
Все финики твердят про сладость уст румяных,
И рты их в сахаре от их мечтаний пьяных.
А жемчуга зубов, горящие лучом!
Жемчужины морей им не равны ни в чем.
Два алых сахарца, два в ясной влаге — лала.
Арки кос ее чернеют небывало.
Извивы локонов влекут сердца в силки,
Спустив на розы щек побегов завитки.
Дыханьем мускусным она свой взор согрела,-
И сердцевина глаз агатом заблестела.
Сказала: «Будь, мой взор, что черный чародей.

Шепни свой заговор всех дурноглазых злей».
Чтоб чарами в сердца бросать огонь далече,
Сто языков во рту, и каждый сахар мечет.
Улыбка уст ее всечасно солона.
Хоть сладкой соли нет — соль сладкая она.
А носик! Прямотой с ним равен меч единый,
И яблоко рассек он на две половины.
Сто трещин есть в сердцах от сладостной луны,
А на самой луне они ведь не видны.
Всех бабочек влекут свечи ее сверканья,
Но в ней не сыщешь к ним лукавого вниманья.
Ей нежит ветерок и лик и мглу кудрей,
То мил ему бобер, то горностаи милей.
Приманкою очей разит она украдкой.
А подбородок, ах, как яблочко, он сладкий!
Ее прекрасный лик запутал строй планет,
Луну он победил и победил рассвет.
А груди — серебро, два маленьких граната,
Дирхемами двух роз украшены богато.
Не вскроет поцелуй ее уста — строга:
Рубины разомкнешь — рассыплешь жемчуга.
Пред шеей девушки лань опускает шею,
Сказав: «Лишь слезы лить у этих ног я смею».
Источник сладостный! Очей газельих вид
Тем, кто сильнее льва, сном заячьим грозит.

Она немало рук шипами наполняла:
Кто розу мнил сорвать, не преуспел нимало.
Хоть зрят ее во сне сто сотен человек, —
Им въявь ее не зреть, как солнца в ночь, вовек.
Она, браня свой взор, ища исток дурманов,
В глазах газелевых находит сто изъянов.
Узрев нарциссы глаз, в восторге стал бы нем
Сраженный садовод, хоть знал бы он Ирем.
Как месяц, бровь ее украсит праздник каждый,
Отдаст ей душу тот, с кем встретится однажды,
Меджнуна бы смутить мечты о ней могли, —
Ведь красота ее страшна красе Лейли.
Пятью каламами рука ее владеет
И подписать приказ: «Казнить влюбленных» — смеет.
Луна себя сочтет лишь родинкой пред ней,
По родинкам ее предскажешь путь ночей.
А ушки нежные! Перл прошептал: «Недужен
Мой блеск! Хвала купцу! Каких набрал жемчужин!»
Слова красавицы — поток отрадных смут,
А губы — сотням губ свой нежный сахар шлюют.
Игривостью полны кудрей ее побеги.
И лал и жемчуг рта зовут к истомной неге.
И лал и жемчуг тот, смеясь, она взяла
И от различных бед лекарство создала.
Луной ее лица в смятенье ввержен разум.

Кудрями взвихрены душа и сердце разом.
Красой ее души искусство смущено,
А мускус пал к ногам: «Я раб ее давно».
Она прекрасней роз. Ее назвали Сладкой:
Она — Ширин. Взглянув на лик ее украдкой,
Всю сладость я вкусил, вдохнул я всю весну
Наследницей она слывет Михин-Бану.
Рой знатных девушек, явившихся из рая,
Ей служит, угодить желанием сгорая.
Их ровно семьдесят, прекрасных, как луна,
Ей так покорны все, ей каждая верна.
Покой души найдешь, коль их увидишь лики.
От луноликих мир в восторг пришел великий.
У каждой чаша есть, у каждой арфа есть.
Повсюду свет от них, они — о звездах весть.
Порой на круг луны свисает мускус; вина
Там пьют они порой, где в розах вся долина.
На светлых лицах их нет гнета покрывал.
Над ними глаз дурной в бессилье б изнывал.
На свете их красы хмельнее нету зелья.
Им целый свет — ничто, им дайте лишь веселья.
Но вырвут в должный час — они ведь так ловки, —
И когти все у льва, и у слона — клыки.
Вселенной душу жгут они набегом грозным
И копьями очей грозят мерцаньям звездным.

О гуриях твердят, что ими славен рай.
Нет, не в раю они — сей украшают край.
Но все ж Михин-Бану, владея всей страной,
Владеет не одной подобною казною.
Привязан в стойле конь. Дивись его ногам:
Летит — и пыль от ног не ухватить ветрам.
Его стремительность не уловить рассудком.
Он в волны бросится, подобно диким уткам.
Он к солнцу вскинется — так что ему до стен!
Он перепрыгнет вмиг небесных семь арен.
В горах взрыхлят скалу железные копыта,
А в море пена волн с хвостом волнистым слита.
Как мысли — бег его, движенья — бег времен.
Как ночь — всезнающий, как утро — бодрый он.
Зовут его Шебдиз, им целый мир гордится,
О нем грустят, как в ночь грустит ночная птица».
Умолк Шапур, чья речь свершила все сполна:
Покой свалился с ног, а страсть — пробуждена.
«Ширин, — сказали все, — должны почесть мы дивом».
Охотно вторят все устам сладкоречивым:
«Все, что возносит он, возвышенным считай:
Ведь живописью он прельстил бы и Китай».
В мечтах за повестью Хосров несется следом.
Стал сон ему не в сон и отдых стал неведом.
Слов о Ширин он ждет, и в них — она одна,

Уму давали плод лишь эти семена.
Дней несколько о ней он был охвачен думой,
Речами ублажен. Но час настал. Угрюмый,
Он руки заломил. Весь мир пред ним померк,
В тоске он под ноги терпение поверг.
Шапура он зовет, ему внимает снова.
Но после сам к нему он обращает слово:
«Все дело, о Шапур, кипучих полный сил,
Ты прибери к рукам, я — руки опустил.
Ты зданье заложил искусно и красиво.
Все заверши. Всегда твои созданья — диво.
Молчи о сахаре. Твой сказ не зря возник.
Будь там, где насажден сей сахарный тростник.
Иди паломником туда, где этот идол.
Хочу, чтоб хитростью ты идола мне выдал.
Узнай, добра ль, узнай, — мне сердца не томи, —
Общаться может ли со смертными людьми.
И коль она, как воск, приемлет отпечаток, —
Оттисни образ мой. Внимай! Наказ мой краток:
Коль сердце жестко в ней, — лети назад, как шквал,
Чтоб я холодное железо не ковал».

Поездка Шапура в Армению за Ширин

И мастер слов, Шапур, поклон земной отвесил.
«Да будет наш Хосров и радостен и весел!
Чтоб добрый глаз всегда был на его пути,
Чтоб глаз дурной к нему не мог бы подойти!»
Воздал хвалу Шапур — отборных слов хранитель —
И вот дает ответ: «О мира повелитель!
Когда любой узор мой делает калам,
То славою с Мани делюсь я пополам.
Я напишу людей — они задышат. Птица,
Написанная мной, в небесный свод помчится.
Мне с сердца твоего пылинки сдуть позволь,
Когда на сердце — пыль, в глубинах сердца — боль.
Все, что задумал я, всегда я завершаю,
Я все несчастья от власти отрешаю.
Утихни, веселись, не думай ни о чем.
За дело я взялся — забьет оно ключом.
Мой не замедлят путь ни усталость и ни хворость.
У птиц полет возьму, а у онагров — скорость.
Я не усну, пока твой жар не усыплю,
Приду, когда Ширин прийти я умолю.
Пусть, как огонь, она скует чертог железный
Иль будет, как алмаз, скалистой скрыта бездной.

Я силою ее иль хитростью возьму,
Схвачу алмаз, смету железную тюрьму.
Я стану действовать то розами, то терном.
Все огляжу и все свершу ударом верным.
Коль счастье в Сладостной, — найду добычу я.
Тебе должна служить удачливость моя.
А коль увижу я, что не свершу я дела, —
Вернусь к царю царей и в том признаюсь смело».
Едва сказав сие, сказавший быстро встал
И нужное в пути поспешно он собрал.
Пустыню пересек, скакал в другой пустыне,
Спешил к Армении, к возвышенной долине.
Ведь там красавицы, бродившие толпой,
В нагорьях дни вели, покинув тяжкий зной.
Поднялся ввысь Шапур, там были в травах склоны.
Там базиликам путь открыли анемоны.
Там каждый склон горы цветов окраску взял
И в складках красных был иль желтых покрывал.
К вершинам этих гор подъем свершая трудный,
Луга приподняли ковер свой изумрудный.
До пажитей Бугра с большой горы Джирам
Цветы сплетали вязь, подобясь письменам.
В михрабе каменном — а он — устой Ирака
И мощный пояс он вершины Анхарака, —
Вздымался монастырь, он был — один гранит.

Монахи мудрые устроили в нем скит.

И спешился Шапур у каменного входа:

Знавал обычаи он каждого народа.

О происхождении Шебдиза

И вот о чем ему там рассказал монах,

Слов жемчуга сверля в струящихся речах:

«Вблизи монастыря находится пещера.

В ней камень схож с конем; того же он размера.

В дни зрелых фиников спешит из Ремгеле

Сюда кобыла. Ждет — зачнет она во мгле.

Она, свершив свой путь, в полуночную пору

В пещерный лезет вход, как змеи лезут в нору.

И к камню черному в ней страстный жар горит.

Трепещет, бурная, и трется о гранит.

Ей волею творца от камня ждать приплода.

Что дивного? Творцу подчинена природа.

А конь, что здесь зачат, — всего быстрее он,

Свой взмах у ветра взяв, а скорость — у времен».

Так был зачат Шебдиз. Уж камня нету ныне.

Исчез и монастырь, как легкий прах в пустыне.

Вершины Анхарак скатилась голова,

У ног ее легла; тут не видна трава.
В одеждах сумрачных по златоцветным взгорьям
Каменьев черный рой сидит, сраженный горем.
И небо в пьяный жар от стонов их пришло,
Об их кремнистый стан разбив свое стекло.
Был роком черный рой отчаянью завещан.
Не заросли окрест — одни провалы трещин.
У бога множество есть назидании; тут
Он внятно говорит: «Узрите страшный суд!»
Столетий нескольких, быть может, приговоры
Способны повергать взгордившиеся горы.
Ты ж, глиняный ломоть, замешанный водой,
Все алчешь вечности в кичливости пустой!
О Низами, вернись к забытому рассказу,
Чтоб в будущем о нем не забывать ни разу.

Шапур в первый раз показывает Ширин изображение Хосрова

Когда ночных кудрей раскинулся поток,
А жаркий светоч дня сгорел, как мотылек,
И черною доской, промолвив: «Нарды бросьте!»,

Закрыли желтые сверкающие кости,
Всплыл яркий Муштари, держа в руках указ:
«Шах — выбрался из пут, Шапуру — добрый час».

И вот в монастыре передохнул немного
Шапур прославленный: трудна была дорога.
И старцам, знающим небес круговорот,
Шапур почтительный вопросы задает.
Не скажут ли они, куда пойдет походом
С зарей красавиц рой, к каким лугам и водам?
Велеречивые сказали старики:
«Для неги дивных жен места недалеко.
Под грузною горой, там, на дремучих скатах,
Есть луг, укывшийся меж зарослей богатых.
И кипарисов рой сберется на лужок,
Лишь их проснувшийся овеет ветерок».

Шапур, опередить стремясь кумиры эти,
Свой пояс затянул, проснувшись на рассвете.
И ринулся он в лес, что вокруг лужайки рос,
Чтоб с россыпью сойтись багряных этих роз.
Взяв листик худжесте, руки движеньем самым
Скупым хосровов лик он набросал каламом.
Рисунок довершил и в сладостную тень
Его он поместил, вложив в щербатый пень.
И будто бы пери, унесся он отсюда.
И вот пери сошлись, они чудесней чуда.

Со смехом на лужке они уселись в круг,
То вязь плетя из роз, то заплетая бук,
То выжимая сок из розы ручкой гибкой,
Сияя сахарной и розовой улыбкой.
И нежит их сердца сок виноградных лоз,
И розы клонятся к охапкам нежных роз.
И, зная, что лужок чужим запрещен взорам,
В хмельной пустились пляс, живым сплетясь узором.
Меж сладкоустых лиц Ширин прельщала взгляд,
Сияя, как луна меж блещущих Плеяд.
Подруг любимых чтя, Ширин запиновала,
Сама пила вино и милым пить давала.
Прекрасная, гордясь, что лик ее — луна,
Глядит, — и худжете увидела она.
Промолвила Ширин: «Рисунок мне подайте,
Кто начертал его? Скажите, не скрывайте».
Рисунок подали. Красавица над ним
Склонилась; время шло... весь мир ей стал незрим.
Она от милых черт отвлечь свой дух не в силах,
Но и не должно ей тех черт касаться милых.
И каждый взгляд пьянит, он — что глоток вина.
За чашей чашу пьет в беспамятстве она.
Рисунок видела — и сердце в ней слабело,
А прятали его — искала оробело.
И стражи поняли, признав свою вину:

Ширин прекрасная окажется в плену.
И в ключья рвут они утонченный рисунок:
Бледнит китайский он законченный рисунок.
И говорят они, поспешно ключья скрыв:
«Поверь, его унес какой-то здешний див.
Тут властвует пери! С лужайки — быстрым бегом,
Вставайте! Новый луг отыщем нашим негам».
Сия кадильница в них бросила огонь,
И окурились все, как бы от злых погонь,
И, дымом от огня затмив звезду несчастий,
Конец погнали в степь, спасаясь от напастей,

Шапур во второй раз показывает Ширин изображение Хосрова

Лишь только красный конь копытом на горе
Взрыл огненную пыль, пророча о заре,
И в каждой щели он отрыл багрянец клада,
В тот час, когда гора парче пурпурной рада, —
Шапур свой начал день; он снова под горой
Был прежде, чем туда примчался райский рой.
Еще заранее, достав бумагу, снова
Он начертал на ней красивый лик Хосрова.
И, услаждая дух, в тени большой горы

Цепь роз опять сплелась для песен и игры.
Посрамлена луна, лишь спало покрывало —
Египетская ткань, что их полускрывала.
Как будто нехотя вошли в игру. Росло
Веселье медленно, — ив пляске расцвело.
Но только увлеклись они живой игрою, —
Над ними начал рок шутить своей игрою.
Едва Ширин свой взор приподняла опять, —
Дано ей было вновь Хосрова созерцать.
Глядит: ее души затрепетала птица,
Язык утратил речь. Иль этот лик ей снится?
Для опьяненного немного нужно сна.
Дал глине горсть воды — насыщена она.
Зовет она подруг: «Что там? Что значит это?
Игра моей мечты? Игра теней и света?
Картину дайте мне». Рисунок скрыли вмиг.
Но солнца не укрыть! Кто сей забудет лик?
И девы молвили: «Здесь духи смяли травы.
Поверь, им не чужды подобные забавы».
И утварь подняли, стремясь от мнимых гроз,
И луг испуганно очистили от роз.

Шапур в третий раз показывает Ширин изображение Хосрова

Вот Анка черная, исполненная гнева,
Зерно лучистое в свое внедрила чрево,
Вот гурии в степи, что Анджарак зовут,
Вновь обрета покой, вино тго чашам льют.
В хмелю, меж трав степных, заснули девы наши,
У ножек — базилик, в руках — пустые чаши.
День поднял голову из тканей мглы. Конец
Луне пришел. Весь мир золотой надел венец.
И венценосные на троне бирюзовом
Вино преподнесли его испить готовым,
И мчатся в монастырь — он звался Перисуз, —
В день путь свой совершив, ни в чем не зная уз.
И там, где небеса как цвет глазури синий,
Бродили, протянув узор волнистых линий,
Как души мудрецов — зеленые ковры,
А воздух — ласковость младенческой поры.
Прохладный ветерок приятней ветров рая,
Лужайка в лютиках от края и до края.
Каменья словно храм; обвили их выюнка.
Причесывая луг, струятся ветерки.
И говор горлинок и рокот соловьиный
Меж пламенных цветов сплелись в напев единый.

Пернатых волен лёт, не страшно им людей,
Порхают радостно меж трепетных ветвей.
Две пташки здесь и там, прижавшись друг ко другу,
Дают пример цветам, дают отраду лугу.
На луг пришел Шапур, и для услады глаз
Хосрова светлый лик он создал в третий раз.
Узрев безбурный луг под куполом лазури,
Здесь гурия вино решила пить меж гурий.
И вновь увидели красавицы глаза
То, чем смирилась бы души ее гроза.
Она поражена подобной ворожбою,
Уж дев играющих не видит пред собою.
Сосредоточен взор, встает она, идет,
Изображение в объятия берет.
Ведь в нем отражено ее души мечтанье,
И вот оно в руках! И счастье и страданье!
Она в беспмятстве, она стоит едва,
Шепча недолжные — забудем их! — слова.
Да! Коль все меры взять и слить все меры эти,
И дивов, как людей, в свои поймаем сети.
Лишь те, чей лик из роз и что подобны дню,
Столпестковую увидели родню,
Как стало ясно им, что облик сей красивый —
Не зло, что не грешны тут сумрачные дивы.
В работу мастера взгляделись, — не скрывать

Хотят ее теперь — смотреть и восхвалять.
Кричат красавицы: «Пусть все придет в движенье, —
Клянемся разузнать, чье здесь изображение!»
Увидела Ширин, что их правдива речь
И что хотят они печаль ее пресечь.
«Ах, окажите мне, — она взывает, — помощь!
Ведь от друзей друзьям всегда бывает помощь.
Чтоб дело подогнать, порою нужен друг,
Порою нужен он, чтоб дел сомкнулся круг.
Лишь с другом не темна житейская дорога.
Нет ни подобия, ни друга лишь у бога».
Промолвила Ширин с великою тоской:
«Навек утрачены терпенье и покой.
Подруги! Этот лик мы от людей не скроем.
Так выпьем за него! Веселие утроим».
И снова на лугу — веселие одно.
Пир начинается, вино принесено.
И за газелями поются вновь газели,
И голос кравчего приятней пьяных зелий.
Напиток горький пьет сладчайшая Ширин.
О горечь сладкая! Властнее нету вин.
И с каждой чашею в томлении великом
Ширин целует прах, склонясь пред милым ликом.
Когда же страсть и хмель ей крепче сжали грудь, —
Терпенье тронулось нетерпеливо в путь.

Ширин, одну Луну поставя при дороге, —
«Кто ни прошел бы здесь, — приказ дает ей строгий, —
Узнай, что делает он в этой стороне,
Об этом облике что может молвить мне?»
Одних спросили вслух, других спросили тайно.
Что ж? Все таинственно и все необычайно!
И тело Сладостной ослабло в злой тоске,
И все от истины блуждали вдалеке.
И, как змея, Ширин в тоске сгибалась грозной,
Из раковины глаз теряя жемчуг слезный.

Появление Шапура в одежде мага-жреца

Все души Птица чар измучила вконец.
Но вот является. Ее обличье — жрец.
И лишь прошел Шапур три иль четыре шага,
Почудилось Ширин: встречала где-то мага.
Шапур приятен ей: хоть кисть он позабыл,-
Рисунок черт своих ей в сердце он вложил.
«Позвать его сюда, — слова ее приказа. —
Чтоб здесь он все узнал из нашего рассказа.

Быть может, знает он, кто нарисован тут,
И где его страна, и как его зовут».
И вот прислужницы путь истоптали: слово
Шапуру вымолвят — к Ширин несутся снова.
Шапур, потупя взор, неслышно прошептал:
«Я далеко зашел, но все ж далек привал».
Но уж в своих сетях они видит лапки дичи.
В их беге видит он, что ждать ему добычи.
Он молвил: «Этот перл не надлежит сверлить,
А если и сверлить, то надо спесь забыть.
И вот бегут к Ширин служительницы снова, —
То, что сказал им жрец, сказать ей слово в слово.
Лишь луноликая услышала их — вмиг
В ней закипела кровь: в душе огонь возник.
Сверкая серебром, жреца покорна власти.
До гор вздымая звон ножных своих запястий,
Ширин летит к нему, волнуясь и спеша,
Как тополь, стройная, плавна и хороша.
Хрусталь прекрасных рук опишешь ли каламом!
И схожи локоны с буддийским черным храмом.
А косы, обратя в закрученный аркан,
Как бросила она? Обвила ими стан.
И, видя стан ее, и лик ее и плечи, —
Художник рук своих лишается и речи.
Она — игрушка, да! Но странно... не понять:

Играет тем она, кто ею мнил играть.
Индус! Ты сердце взял рукою ловкой, дерзкий!
Она, как тюрк, за ним! Не быть с обновкой, дерзкий!
О тюркская напасть! Покорствуя красе,
Индусами пред ней склонились тюрки все.
Откинула покров. Жемчугоносным ухом,
Блестя как ракушкой, премудрость ловит слухом.
В ее речах есть соль, в очах лукавство есть
Так с магом говорит, как понуждает честь.
«Хоть на кратчайший срок ты будь к моим услугам,
Хоть на мгновение ты стань мне добрым другом».
Сей голос услышав, как опытный хитрец,
Замедлить свой ответ замыслил мнимый жрец.
Но, ведавший язык нарциссов томных, все же
Свой разум он забыл и речь утратил тоже.
Вознес хвалу он той, что всех пери милей,
И, как велит пери, садится рядом с ней.
«Откуда ты, скажи, и где твоя обитель, —
Она промолвила, — и здешний ли ты житель?»
Тут опытная речь Шапура расцвела:
«Я много знал добра и много ведал зла.
Я — избран; для меня нет тайны ни единой
Ни у подножий гор, ни у одной вершины.
Я запад ведаю и ведаю восток.
Все страны я познал, познать всю землю смог.

Да что земля! О всем, что от Луны до Рыбы,
Мои уста, поверь тебе сказать могли бы».
Увидела Ширин: самоуверен он, —
И задает вопрос: «Кто здесь изображен?»
И отвечает ей художник тонкий, мудрый:
«Да будет глаз дурной далек от пышнокудрой!
Сказ о начертанном завел бы в долгий лес.
Но тайна образа за тьмой моих завес.
Я все события, что в сердце мной хранимы,
Тебе поведаю, но здесь ведь не одни мы».
И вот велит кумир кумирам быть вдали,
Велит, чтоб звездный круг вдали они плели.
И звезды растеклись. Шапур не медлил боле, —
Пустил словесный мяч он на пустое поле:
«Пред этим ликом лик померкнул бы любой.
Здесь областей семи светило пред тобой.
Он мощью — Искендер, своим огнем он — Дарий,
Он — Искендер, и вновь скажу о нем: он — Дарий.
В сознании небес он с блеском солнца слит.
Он — семя, что земле оставил сам Джемшид.
Он — царь царей — Хосров, и вымолвлю я смело:
Того, где он царит, счастливей нет предела».
С душой он говорил, текли его слова,
На душу гурии он простирал права.
Текли его слова. Ширин ему внимала,

И речь отрадная ей сердце обнимала.
В реченье каждое вникала, и опять
Все о Хосрове должен был он повторять,
И слово каждое в душе ее пылало,
Преображенное, как рдяный пламень лала.
Уж тайны не было, с нее совлек покров Шапур,
явя Ширин ручей прозрачных слов:
«Напрасно от меня ты тайну укрывала.
Что держишь речь свою за тенью покрывала?
О роза, распустись, чтоб сделались видны
Все лепестки. Слова открыто течь должны.
Когда ты обрести желаешь исцеленье,
От лекаря скрывать недуг свой — преступленье».
В кудрях чуть видимый, потупился кумир.
Милей смущения еще не видел мир.
То за полу беря, то в грудь вонзая жало,
Любовь ее слова на привязи держала.
Но, на него взглянув, она решила вдруг
С сосуда крышку снять: пред ней надежный друг.
Шапура не страшась, к нему подсела ближе.
Со рта сняла печать и жемчуг речи нижет:
«Чтобы господь всегда доволен был тобой,
Ты сжался над моей печальною судьбой.
Мою сжигают кровь черты изображенья,
Целую вновь и вновь черты изображенья.

Рок спутал дни мои, спокойствие круша,
Как кудри, скручена, запутана душа.
Мне помоги в любви, о друг мой, хоть немного.
И от меня, дай срок, придет тебе помога.
Все скрытое в душе я в твой вложила слух.
И ты мне все открой, мой дух не будет глух».
И чародей Шапур уж не считает лживость
Оружьем, что верней и лучше, чем правдивость.
И, как запястья, он припал к ее рукам.
И, как запястья, он упал к ее ногам.
И восклицает он: «О светоча сиянье!
О всех увенчанных надежда и мечтанье!
Мрачнее сумрака тебе хотящий зла!
Как месяц молодой, твоя душа светла!
Покорно чту того, кто служит мне защитой,
Тебе открою все, с твоим желаньем слитый.
Рисунок этот мой, и мною создан он.
На нем Хосров Парвиз был мной изображен.
Обличья уловил я каждую приметку,
Но лишь рисунок тут, души в нем все же нету.
Я знаю живопись, ей обучился я,
Но душу принести не смог в твои края.
В подобье влюблена! Оно — лишь тень! Взгляни-ка
На прелесть тонкую его живого лика!
Увидишь целый мир, что создан из лучей,

Свет, озаривший мир, но все еще — ничей.
Могуч и ловок он, искусен в каждом деле.
Во гневе — лютой лев, в любви — нежней газели.
Он роза, что зимы не ведала невзгод.
Он юность, в нем весна сияет круглый год.
Вкруг розовых ланит еще не видно тени,
И с лилией он схож, с нежнейшим из растений.
Дохнет — и сто дверей пред ним раскроет рай.
Луну повергнет ниц ланит расцветший май.
Он сядет на коня — и он Рустема краше,
Он Кей-Кобад, когда в его деснице — чаша.
Когда дары сберег для любящих сердец, —
Каруновых богатств разломится венец.
Реченьем извлечет жемчужины из лала,
Его рука сердца из барсов извлекала.
Когда же тронет он в порыве стремена, —
Ему погоня бурь уж будет не страшна.
Спроси — откуда он? Он от Джемшида родом.
Спроси про сан его — он царь земле и водам.
На небе стяг его, нет, не в земной пыли!
И для его коня узки пути земли.
Однажды он во сне твои увидел очи,
И потерял он сон с блаженной этой ночи.
Не поднимает чаш, ни с кем не пьет вина.
Забыл дневной покой, и нет ночного сна.

Друзей покинул он; лишь ты в померкшем взоре,
Пусть никого не жжет такое злое горе!
Я от него пришел, я лишь его гонец.
Я все тебе открыл — моим словам конец».
Так он жемчужину сверлил многообразно.
Немало ловких слов пред ней рассыпал разных.
И, сладкоречнем смущенная, Ширин
Вкушала речь его, как сладость лучших вин.
Изнемогла она, сто раз была готова
Упасть, — и превозмочь себя умела снова.
Помедлила, потом промолвила:
«Мудрец, Как нашей горести положишь ты конец?
«Ты солнца яркого внимаешь укоризне:
Ты ярче, — рек Шапур, — знай только счастье в жизни!
Ты помыслов своих Бану не дай постичь,
А завтра ты скажи: «Стрелять желаю дичь».
Ты на Шебдиза сядь, и, будто без заботы,
Ты на охоту мчись, а там беги с охоты.
Твой не задержат бег ни воины, ни знать:
Их резвым скакунам Шебдиза не догнать.
Пространство пролетай, как быстрое светило,
И мчаться за тобой дана мне будет сила».
С Хосрова именем он перстень ей дает:
«Возьми и совершай поспешный свой поход.
Коль юного царя увидишь ты дорогой,

Яви свою луну, не будь напрасно строгой.
Златоподкованный под ним гарцует конь,
В рубинах весь наряд, их радостен огонь.
В рубинах плащ его, в венце его — рубины,
И рот — рубин, и все — рубинный блеск единый.
Не встретишь ты царя, — узнай, где Медаин,
Спроси про верный путь меж взгорий и долин.
Когда отыщешь путь в пределы Медаина,
Увидишь: Медаин — сокровищниц долина.
Там замок у царя — пред ним ничто Фархар,
Рабыни в нем полны необычайных чар.
У входа встанет конь, в прах ноги врыв с размаха,
Привратнику яви горящий перстень птаха.
О кипарис! Тот сад принять тебя готов.
Будь радостной, как ветвь под тяжестью плодов.
К Парвиза красоте простри свободно длани
И подведи итог томлений и желаний.
Но я — лишь только тень, венцу я не под стать,
И как же смею я тебя увещевать!»

Бегство Ширин от Михин-Бану в Медаин

Умолк Шапур, и вот Луну объяли чары,
А хитрость в гурии раздула пламень ярый.
И он ушел, решив: «Надежда мне дана»,
Луну покинул он; луна была одна.
Бегут прекрасные к своей Ширин и рады
С ней рядом заблестать, как светлые Плеяды.
И месяц приказал блестящим звездам: «Прочь
Отсюда всем бежать, пока не минет ночь,
Подковами коней гороподобных горы
Разрыть, как рудники, побег начавши скорый!»
Целительницы душ, отправив паланкин,
Пустились в путь, блестя над ширями долин.
Беседа, смеясь, речам не зная края,
Путь провели, — и вот луга родного края.
Всем отдохнуть дает родной приветный кров.
Но сердце Сладостной под тяжестью оков.
Вот полночь. Целый мир наполнен дымом ночи,
И сном наполнены ночного мира очи.
Навесили покров над солнечной главой,
Цветок пылающий укрыли под листвою.
Ширин пришла к Бану: «Я к солнцу, я к величью
Пришла. Позволь с зарей мне выехать за дичью.
Назавтра прикажи — о ты, чье имя чтут! —
Шебдиза бурного освободить от пут.

Помчусь я на коне, стреляя дичь проворно,
А вечером к тебе приду служить покорно».
«О светлая Луна! — в ответ Михин-Бану, —
Что конь! Тебе отдать могла б я всю страну.
Но вороной Шебдиз, запомнить это надо,
Неудержим. Скакать — одна его отрада.
Грохочет скок его, что громыханье бурь.
Он бешеной ветров, всклокочивших лазурь.
Шебдиз! Нет ничего быстрее у природы.
В огонь он обратит своим кипеньем волны.
Ну что ж! Коль на него ты все же хочешь сесть. —
Он — полночь, ты — луна, твоих красот не счесть.
Взнуздай коня уздой в серебряной оправе
И приучи к своей уверенной управе».
Розоволикая, как роза, расцвела.
Склонилась ниц, ушла, — и сладостно спала.
Вот синему лапцу с узором из жемчужин —
Так порешил Китай — замок червонный нужен.
Выходит из ларца мечта китайских нег.
В мечтаньях начертав поспешный свой побег.
Явились ей служить китайские изделия
Иль кипарисов ряд — очей благое зелье.
Увидела Ширин черты любимых лиц
И молвит ласково склоняющимся ниц:
«В степь, ради лучшего, что есть на нашем свете,

Помчимся: сотни птиц хочу поймать я в сети».

Повязки сбросили красавицы с голов,
Чтоб по-мужски внимать звучанью властных слов.

Надев мужской кулах на головы, охотно
Укрыли под плащом тончайшие полотна.

Так должно: девушки, охотясь по степям,
По виду каждая должна быть, как гулям.

И вот пришли к Ширин, одетые пригоже,
Вот на седле Ширин, они на седлах тоже.

Вот выехали в ширь с дворцового двора,
И каждая, как Хызр, нашедший ключ, бодра.

И мчатся по степи своей веселой цепью,
В одной степи летят, летят другою степью.

Рой гурий сладостных, быстрее быстрых бурь,
На луг проник, а луг был яркая глазурь —
Земля зеленая! Тут носятся газели,
Порывы ветерков тут просятся в «газели».

И вскачь пустились вновь прибывшие сюда,
Для скачки отпустив свободно повода.

Шебдизом правящий был смелостью богатый
И опытный ездок, а конь под ним — крылатый.

Все горячит коня Ширин моя и вдруг
Свернула — и летит от скачущих подруг.

Подруги говорят: «Шебдиз понес». Не знали,
Что в ней самой желанья бунтовали.

Как тени, спутницы летят за нею вслед,
Хоть тень ее поймать, — но даже тени нет.
Подруги рыскали за ней до самой ночи,
И вот надежды нет, и мчатся нету мочи.
Водительница их во мраке, далеко.
Устали их тела, их душам нелегко.
К дворцу Михин-Бану стеклись порой ночью
Созвездья. Их луна — за черной пеленою.
Они, к престолу путь очами подмета,
Сказали о Ширин, волнуясь и грустя,
Сказали, не щадя ее судьбы каприза:
«Она не в силах, видно, удержать Шебдиза».
Встает Михин-Бану, внимает им, клянет
Несущий бедствия судьбы круговорот.
Сошла со ступеней, полна тоски и страха,-
И в прахе голова, склоненная до праха.
И, руки заломив над горестной главой,
Потоки слез лила, страх не скрывая свой.
Все плачет о Ширин, все поминает брата, —
Отца Ширин. Иль вновь к ней близится утрата?
«Не дурноглазым ли, — в сердцах твердит она, —
Я к одиночеству, к тоске присуждена?
О роза милая, ты сорвана! В какие
Ты брошена шипы и бедствия людские?
Иль более твоей не стою я любви?

За кем ты следуешь? Ты мне их назови!
О лань! Тебе свои наскучили газели?
Иль ты в плену у льва? О милая! Ужели?
Луна, зачем же ты ушла от звезд своих?
Не солнце ты, — луна. Ты быть должна меж них!
Моя душа — твой сад, о кипарис мой!
Жаждой Я по тебе томлюсь, грущу о ветке каждой.
Кому твой светит лик, о милая Луна?
Я горем и бедой рассудка лишена!»
Так до зари она стенала, и возрастали
Ее тоска и боль и возгласы печали.
Когда ж из кладезя, где замкнут был Бижен,
Светило дня взошло, свой расторгая плен, —
Войска к Михин-Бану явились и стояли
И приказания безмолвно ожидали.
Когда бы повелеть решила им Бану —
На молниях-конях обшарили б страну.
Но молвила Бану, что покидать не надо —
Подобно ей самой — отрад родного града.
Предвидела, она сию беду во сне:
Умчался сокол прочь, блестя в дневном огне.
Но только сожалеть она об этом стала,-
Уселся сокол вновь ей на руку устало.
Бану сказала им: «Хоть птицами нам стать,
Хоть знать все тайное нам было бы, под стать,

Но ведь не отыскать нам даже водополя,
Где побыл мой Шебдиз, копытом землю роя,
За птицей быстрою не следует лететь.
Поймать не сможем дичь, увидевшую сеть.
Не плачь, что голубь твой твои покинул руки
Он — твой, он прилетит, не вытерпит разлуки.
Я молнии узрю, терпение храня,
Из-под копыт ее строптивного коня.
Сокровище мое отыщется, и снова
Я буду счастлива. Я к радости готова;
В сокровищницу вновь сокровище верну,
Даров на радости немало разверну.
И вот войска Бану, услышав эти речи,
Ей повинуются. А где Ширин? Далече.
Да, той порой Ширин кипучий нес Шебдиз,
А в мире для Ширин был «только лишь Парвиз.
С планетой схожая, неслась она; привала
Не делала нигде, неслась, не уставала.
Как будто бы гулям, свой повязавши плащ,
Селеньями неслась, и ветер был свистящ.
Грозил ей враги, неслась она в тревоге
По взгорьям, по степям, дорогой, без дороги.
Гороподобный конь был, словно ветер, скор.
Был ветер позади, как ряд мелькнувших гор.
Ведь, верно, знаешь ты старинное преданье,

Как встарь ворожея свершала волхнованье.
Не здесь ли зеркало она и гребешок
На землю бросила, и небо долгий срок
Их не могло найти: одно воздвигло горы,
Другой лесами стал, а ведьма, что просторы
Су мела преградить, вошла в стволы дерев
И в камни этих гор, — в свой колдовской посев.
Но путь все ж поддался наездницы усилью,
И взгорий и лесов она покрылась пылью.
Ее усталый лик стал призрачен и бел,
А нежный нрав ее в скитаньях погрубел.
Четырнадцатый день, сияя светлым ликом,
Луна свершала путь в горении великом.
Она спешит вперед — ей остановки нет, —
Распрашивая всех, сама ища примет.
И побеждал скакун ветров прыгучих племя,
Сказав земле: «Забудь, что есть на свете время».
Лазурью скрытые, чуть виделись Плеяды.
Шиповник с лотосом сплетаться были рады.
Вот всю ее стеной обводит синева,
Луны над синевою сияет голова.
Сеть, свитую из кос, влачит она в затоне,
Не рыба, а луна попалась ей в ладони.
О мускус черных кос над бледной камфарой!
Мир гаснул пред ее победной камфарой.

Иль час грядущего ее душе был ведом?
Иль знала, кто за ней сюда прибудет следом?
Из вод ключа Ширин, что сладостней всего,
Готовила джуляб для гостя своего.

Купанье Ширин в источнике

Рассвет. Уже вдали мерцает бледный свет,
А изнуренной мгле уже надежды нет.
Нарциссов тысячи с крутящихся просторов
Скатились. Всплыл рубин меж облачных уборов.
Полна и горечи и страстного огня.
Ширин торопит бег прекрасного коня.
И распростерся луг, мерцающий росой,
И чистый ключ сверкнул эдемскою красою.
Стыдись блестящих вод источника, поник;
Померк живой воды прославленный родник.
Скиталица Ширин! Ее разбито тело.
Пыль с головы до ног прекрасную одела.
Вокруг источника — услады этих мест —
Все кружится она; безлюдие окрест.

И спешилась Ширин, и скакуна — на привязь,
И взор ее блеснул, безлюдьем осчастливаясь.
Источник радости к источнику идет,
Блестя; он взор небес своим блистаньем жжет.
Вот сахарный Сухейль освобожден от шерсти,
И вскрикнул Тиштрия, увидев прелесть персти.
Лазурная вилась вокруг чресел ткань. Кумир
Вошел в ручей, и вот — огнем охвачен мир.

Хосров видит Ширин в источнике

Рассказчик на фарси о канувшем читавший,
Рассказывал; узнал рассказчику внимавший:
Когда Хосров послал Шапура в дальний край,
Сказав: «Ты о мечтах Прекрасной разузнай»,
И день и ночь он был в покорном ожиданье,
Что будет сладкое назначено свиданье.
С зарей и в сумерках — как солнце и луна —
Он службу нес отцу; душа была ясна.
И юный был Хосров, согласно древним сказам,
Отцовского венца излюбленным алмазом.

Но хоть сиял отцу сей сладостный алмаз,
Вмиг изменилось все: дурной вмешался глаз.
Тот враг, что кознями весь край бы заарканил,
Дирхемы с именем Парвиза отчеканил.
Он их пустил гулять во многих областях.
Тревогой был объят персидский старый шах.
Он мыслит: сын игру затеял не без толка.
Захватит юный лев престол седого волка.
И царь задумался: какой же сделать ход?
Вот первый: юношу в ловушку он запрет.
О мерах думал он, он думал неглубоко:
Не ведал он игры играющего рока.
Не ведал, что всегда Хосров отыщет путь,
Что месяц молодой в оковы не замкнуть,
Что каждый, истину избрав своим кумиром,
Мир победит, ни в чем не побежденный миром,
О шахских замыслах узнал Бузург-Умид.
Он юношу сыскал, спасая от обид.
«Взгляни, твоя звезда плывет по небу книзу,
Царь в гневе на тебя, — промолвил он Парвизу.
Пока не схвачен ты, покинь родимый край,
От кары удались и голову спасай.
Быть может, пламень сей останется без дыма,
Взойдет твоя звезда, вернешься в край родимый».
Хосров глядит: беда, плетя за нитью нить,

Ему готовит сеть, желая полонить.
К мускуснокудрым он, в спокойствии великом,
Пошел. И вымолвил Хосров месяцеликим:
«Из замка скучного я на немного дней
Уеду: пострелять мне хочется зверей.
Желаю, чтобы дни вы весело встречали.
Играйте. Никакой не ведайте печали.
Когда ж прибудет та, чей дивен черный конь,
Осанка — что павлин, улыбка — что огонь, —
О луны! Вы ее приветствуйте, в оконце
Взгляните-ка! Она светлей, чем это солнце.
Ее примите вы и станьте с ней близки,
Чтоб знала радости, не ведала б тоски.
Когда ж взгрустнет она в Дворце моем зеленом,
Прельщенная иным: лугов зеленым лоном,
Вы луг пленительный найдите, и дворец
Постройте на лугу владычице сердец».
Уже душа ему пророчила о многом,
И, говоря, Хосров был вдохновляем богом.
Слова он вымолвил, как ветер, и — смотри! —
Пошел, как Сулейман, со свитою пери.
Он взвил коня, чтоб бил он менее дорогу,
Он проторил себе к Армении дорогу.
Чтоб только не узреть отеческих седин,
Два перехода он, летя, сливал в один.

Но обессилели его гулямов кони
Там, где Луна свой лик видела в затоне.
Гулямам он сказал: «Тут сделаем привал,
Чтоб каждый скакуну тут корма задавал».
Хосров Парвиз один, без этой свиты верной,
Направился к ручью; рысцей он ехал мерной.
И луг он пересек, и вот его глаза
Увидели: блестит затона бирюза.
Орел на привязи — и где восторгу мера? —
Не дивный ли фазан у чистых вод Ковсера?
Конь тихо ел траву у золотых подков,
И тихо, чуть дыша, в тиши сказал Хосров:
«Когда б сей образ лун был мой, — о, что бы стало!
Когда бы сей скакун был мой, — о, что бы стало!»
Не знал он, что Луну вот этот вороной
Примчит к нему, что с ней он слит судьбой одной.
Влюбленных множество приходит к нашей двери,
Но словно слепы мы: глядим, любви не веря.
И счастье хочет к нам в ворота завернуть,
Но не покличь его — оно забудет путь.
Повел царевич взор небрежно по просторам,
И вот Луна в ручье его предстала взорам.
И он увидел сеть, что рок ему постлал:
Чем дольше он взирал, тем больше он пылал.
Луну прекрасную его узрели взгляды.

И место ей не здесь, а в небе, где Плеяды!
Нет, не луна она, а зеркало и ртуть.
Луны Нехшебской — стан. Взглянуть! Еще взглянуть!
Не роза ль из воды возникла, полукроясь,
Лазурной пеленой окутана по пояс.
И миндаля цветком, отрадное суля,
Была вода. Ширин — орешком миндаля.
В воде сверкающей и роза станет краше.
Еще нежней Ширин в прозрачной водной чаше
На розу — на себя — она фиалки кос,
Их расплетая мглу, бросала в брызгах рос.
Но кудри вихрились: «Ты тронуть нас посмей-ка!
Ведь в каждом волоске есть мускусная змейка!»
Как будто их слова над ухом слышал шах.
«Ты — раб, мы — господа, пред нами чувствуй страх!»
Она была что клад, а змеи, тайны клада
Храня, шептали всем: «Касаться их не надо».
Нет в руки их не брал, колдуя, чародей.
Сражали колдунов клубки опасных змей.
Наверно, выпал ключ из пальцев садовода, —
Гранаты двух грудей открыли дверцы входа.
То сердце, что узрит их даже вдалеке, —
Растрескается все — как бы гранат — в тоске.
И Солнце в этот день с дороги повернуло
Затем, что на Луну и на воду взглянуло.

Вот струи на чело льет девушки рука, —
То жемчуг на луну бросают облака.
Как чистый снег вершин, ее сверкает тело.
Страсть шаха снежных вод изведать захотела.
Парвиз, улицезрев сей блещущий хрусталь,
Стал солнцем, стал огнем, пылая неся вдаль.
Из глаз его — из туч — шел дождь. Он плакал, млея:
Ведь поднялась луна из знака Водолея.
Жасминогрудая не видела его
Из змеекудрого покрова своего.
Когда ж прошла луна сквозь мускусные тучи,
Глядит Ширин — пред ней сам царь царей могучий.
Глядит пред ней Хумой оседланный фазан,
И кипарис вознес над топодем свой стан.
Она, стыдясь его, — уж тут ли до отваги! —
Дрожит, как лунный луч дрожит в струистой влаге.
Не знала Сладкая, как стыд свой превозмочь,
И кудри на луну набросила, как ночь;
Скрыв амброю луну — светило синей ночи.
Мглою солнце спрятала, дня затемнила очи.
Свой обнаженный стан покрыла черным вмиг.
Рисунок чернью вмиг на серебре возник.
И сердце юноши, кипением объято,
Бурлило; так бурлит расплавленное золото.
Но, видя, что от льва взалкавшего олень

Пришел в смятение, глазами ищет сень, —
Не пожелал Хосров приманчивой добычи:
Не поражает лев уже сраженной дичи.
В пристойности своей найдя источник сил,
Он пламень пламенных желаний погасил.
Скрыть терпеливо страсть ему хватает мочи,
И от стыдливой честь его отводит очи.
Но бросил сердце он у берега ручья.
Чья ж новая краса взор утолит? Ничья.
Взгляни: две розы тут у двух истоков страсти.
Здесь двое жаждущих у двух глубин во власти.
Хосрову в первый день путь преградил поток,
Луну во глубь любви ручей любви повлек.
Скитальцы у ручьев свои снимают клады,
Размочат жесткий хлеб и нежатся в прохладе.
Они же у ключей большую взяли кладь,
И ключ все мягкое стал в жесткость обращать.
Но есть ли ключ, скажи, где путник хоть однажды
Не увязал в песке, горя от страстной жажды?
О солнце бытия! Ключ животворных вод!
И ты, рождая страсть, обходишь небосвод.
Когда он от пери отвел глаза, взирая,
Где паланкин для той, что прибыла из рая, —
Пери, схвативши плащ, из синих водных риз
Вспорхнув, бежит к коню, — и мчит ее Шебдиз.

Себе твердит она: «Коль юноша, который
Кружился вокруг меня, в меня вперяя взоры,
Не должен вовсе стать возлюбленным моим, —
Как сердце взял, как завладел он им?
Сказали мне: Хосров весь облечен в рубины,
На всаднике ж рубин не виден ни единый».
Не знала, что порой одет не пышно шах:
Ему грабители в пути внушают страх.
Но сердце молвило, путь преградив с угрозой:
«Стой! Этот сахар ты смешай с душистой розой.
Рисунок зрела ты, а здесь — его душа.
Здесь — явь, там — весть была. Вернись к нему, спеша».
Вновь шепчет ум: «Бежать! Мой дух не будет слабым.
Не должно смертному молиться двум михрабам.
Вино в единый круг нельзя нам дважды пить.
Служа двум господам, нельзя достойным быть.
А если самого я встретила Хосрова, —
Здесь быть мне с ним нельзя. С ним встретимся мы снова.
Пусть под покровами меня увидит шах:
Кто тканью не покрыт, того покроет прах.
Ведь все еще пока укрыто за завесой,
И мне одна пока защита — за завесой».
И взвихрила орла, и вот уж — далека,
И гром копыт смутил и Рыбу и Быка.
И ветер, гонясь за ней, узнал бы поражение.

Она была быстрее, чем времени движенье.
Победа в быстроте. Прекрасная пери
От дива унеслась. Смотри! Скорей смотри!
Мгновенье, — и Хосров взглянул назад, — и что же!
Не встретил никого. Нет, мой рассказ не ложен!
И начал он, дивясь, коня гонять окрест,
Но сердце взявшая ушла из этих мест.
Вот у источника он спешился; пытливый,
Склонясь искал следов жемчужины красивой.
Дивился дух его: как быстрая стрела,
Куда направиться красавица могла?
То зорко он взирал на древние деревья...
Хосров! Иль птицами взята она в кочевья?
То очи омывал он водами ручья,-
В ручье ль его Луна? О, где она, о чья?
Он пальцев мостики обвил своей слезою,
Он мост двух рук своих ломал над головою.
Поток прелестного! Ширин! Ее одну
Он видел. Он упал, как рыба, в глубину.
Он горестно стенал. Поняв его стенанье,
Заплакал небосвод, пославший испытанье.
Шебдиза он искал и светлую Луну.
«Где ворон с соколом?» — будил он тишину.
Носился он кругом, как на охоте сокол.
Где ворон? Вместе с ним ушел в полете сокол.

Злой ворон быстротой какое создал зло!
Весь мир так черен стал, как ворона крыло.
День — ворон сумрачный, не сокол он красивый.
Он что колючий лес, — не мускусные ивы.
Царевич ивой стал. Душа его мрачна.
И слезы падают, как ивы семена.
Где Солнце? Скорбен вид согнувшегося стана.
Стан — ива. Вот и стал он клюшкой для човгана.
Из сердца пылко пошел палящий стон:
«Да буду, как щепка, я пламенем спален!
Лишь миг я зрел весну! Горька моя утрата!
Не освежил я уст прохладою Евфрата!
Жемчужину найдя, не смог ее схватить!
Что ж! Камень я схвачу, чтоб камнем сердце бить!
Я розу повстречал, да не сорвал с зарею, —
И ветер взял ее, и мгла сказала: «Скрою».
Я снежный зрел нарцисс над гладью синих вод, —
И воды замерли, и стали словно лед.
Бывает золото в воде под льдистой мутью.
Что ж сделалась она вмиг ускользнувшей ртутью!
Хума счастливую мне даровала тень,
И трон мой вознесла в заоблачную сень.
Но, как луна, я тень покрыл своей полою,
И света я лишен, и стал я только мглою.
Мой нат уже в крови. Уж близок я к беде!

Меч палача, он где еще свирепей? Где?
Возникла из ключа сверкающая роза.
Все видел я во сне. Мне этот сон угроза.
Теперь, когда в ключе уж этой розы нет,
Не броситься ль в огонь? К чему мне божий свет!
Кто мне велел, красу и взором ты не трогай.
Блаженство повстречав, ступай другой дорогой?
Какой злокозненный меня попутал див?
Я сам покинул рай, разлуку породив.
Терпеньем обладать — полезен сей обычай.
Лишь мне он вреден стал: расстался я с добычей.
Я молнией души зажечь костер смогу.
На нем напрасное терпенье я сожгу.
Когда б вкусил я вод источника, такое
Из сердца своего не делал бы жаркое.
Из моря скорбных глаз я слезный жемчуг лью.
Готов наполнить им я всю полу свою.
Излечится ли тот, кто болен злым недугом,
Пока не пустит кровь? О рок, ты стань мне другими
Рыдал он у ручья меж зарослями роз,
Ладонями со щек стирая капли слез.
И падал наземь он, рассудку не внимая,
Как розы цепкие, источник обнимая.
Где стройный кипарис? Исчез! Его уж нет!
Стан юноши поник, и роз не розов цвет.

О стройный кипарис! Вот он лежит во прахе.
Трепещет, как от бурь трава трепещет в страхе.
Он шепчет: «Коль она — лишь смертный человек,
То бродит по земле, меж пажитей и рек.
Когда ж она — пери, то к ней трудна дорога, —
Ведь у ключей лесных видений бродит много,
Остерегись, Хосров, уста свои запри.
Не разглашай, что ты влюбляешься в пери.
Что обрету я здесь? Мечтать ли мне о чуде?
Пери бегут людей, всегда им чужды люди.
Ведь сокол с уткою — не пара, и вовек
С пери свою судьбу не свяжет человек.
Да! Сделаться сперва я должен Сулейманом, —
Потом смирать пери, за их гоняться станом!»
Он горестно роптал: «Забудь ее, забудь!»
Он жалобы вздымал, терзающие грудь.
Он сердце бедное от девы светлолицей
Отвел. К армянской он отправился столице.

Приезд Ширин в замок Хосрова в Медаине

Судьба, нам каждый шаг назначивши, порой
Намерена своей потешиться игрой.
Пускай для бедняка придет достатка время, —
Обязан он сперва труда изведать бремя.
«Когда им на пути от терний нет угроз,
Они, — решает рок, — не ценят нежность роз».
Верь: за чредою дней, что шли с клеймом разлуки,
Отрадней взор любви и дружеские руки.
Ширин от ручейка была уж далека, —
Но за царевичем неслась ее тоска.
И вот она, узнав, где пышный сад Парвиза,
Пылая, в Медаин направила Шебдиза.
За суженым спеша, обычай дев презрев,
Уж не была Ширин в кругу обычных дев.
И спешиться Ширин с кольцом Хосрова рада
У медаинского отысканного сада.
Прислужницы, смотря на дивные черты,
От зависти свои перекусили рты.
Но знали чин двора — и под царевым кровом
Различья не было меж гостьей и Хосровом.
Ей молвили они: «Знать, севши на коня,
Для поклонения Хосров искал огня.
И вот достал огонь, блистающий, как зори,
И зависти огонь зажег он в нашем взоре».
И хочет знать рабынь шумливая гурьба,

Как привела сюда красавицу судьба.
«Как имя? Где выросла? Что в думах на примете?
Откуда, пташка, ты? Из чьей вспорхнула сети?»
Ширин уклончива. Не опустив ресниц,
Она им бросила крупички небылиц.
Она, мол, о себе сказать могла бы много,
Да скоро и Хосров уж будет у порога.
«Пред сном он вас в кружок сберет, и при огне
Он сам потешит вас рассказом обо мне.
А этого коня беречь и холить надо:
Ведь ценный этот конь, ценней любого клада».
Так молвила Ширин веселая, — и вот
Окружена она уж тысячью забот.
Сосуд с водой из роз ей дан для омовенья.
В конюшнях царских конь привязан во мгновенье.
Ей принесли наряд. Он был ей по плечу.
Узором жемчуга украсили парчу.
В саду ее надежд раскрылась роза встречи.
Отрадно спит Ширин, тяжелый путь — далече.
Сахароустую хранившие чертог
Рабынею сочли, — кто б вразумить их мог?
Сахароустая не чванилась. Отныне,
Играя с ними в нард, была она рабыней.

Постройка замка для Ширин

И сада нежного хранила колыбель
Ширин, чьих сладких уст касался нежный хмель.
И месяц миновал в спокойствии, и снова
Покой пропал: твердят, что нет вблизи Хосрова.
Что он охотился, а будто бы потом
В Армению бежал, отцовский бросив дом.
Чем горе исцелить? Упало сердце, плача.
Воистину бежит за нею неудача!
Не долго охранял красавицу дворец, —
Уж сердце страстное измучилось вконец.
Все стало ясно ей: тот юноша, который,
Попридержав коня, во взор ей бросил взоры,
Был сам Хосров; свой путь забыв, ее одну
Он видел, он взирал, как солнце на луну.
Она бранит себя, хоть мало в этом проку,
Но вот — отвергла скорбь, но вот — покорна року.
Но вот — терпением как будто бы полна,
Но вот — воскликнула: «Я тягостно больна!
Мне замок надлежит на высоте просторной
Построить, чтоб синел мне кругозор нагорный!

Горянка я. Меж роз я рождена. Тут зной
Их всех желтит. На мне — нет алой ни одной!»
Подруге молвила подруг лукавых стая:
«Напрасно, как свеча, ты изнываешь, тая.
Велел властитель наш создать тебе приют
В горах, где ветерки прохладу подают.
Когда прикажешь ты — приказов исполнитель
Построит на горе отрадную обитель».
Ширин сказала: «Да! Постройте мне скорей
Дворец, как приказал вам это царь царей».
Рабыни — ревности их всех пронзало жало —
Там, где ничья душа словам их не мешала,
Строителю жужжат: «Из Вавилонских гор
Колдунья прибыла, ее всесилен взор.
Велит она земле: «Взлетай, земля!» — поспешно
Поднимутся пески, день станет мглой кромешной.
Прикажет небесам застыть — и вмиг тогда
Застынут небеса до Страшного суда.
Она велела там построить ей жилище,
Где обращает зной и камни в пепелище,
Чтоб не было окрест из смертных никого:
В безлюдии творит колдунья колдовство.
Для вещей ты сверши свой путь необычайный.
Найди тлетворный лог и огненный и тайный.
Там замок сотвори не покладая рук,

А плату с нас бери, какую знаешь, друг».
Потом несут шелка, парчу несут и золото:
Ослиный полный груз — строителя оплата.
Строитель принял клад. Обрадованный, в путь
Он тронулся, в пути не смея отдохнуть.
Ища безлюдных мест, он в горы шел, и горы
На горы вставшие, его встречали взоры.
Есть раскаленный край, на мир глядит он зло.
Дитя в неделю б там состариться могло.
В фарсангах десяти он от Кирманшахана.
Да что Кирманшахан! Он марево тумана.
Строитель приступил к работе: «Не найду
Я края пламенной, — сказал он, — ив аду.
И тот, кого б сюда загнать сумели бури,
Поймет: чертог в аду построен не для гурий».
На вечер мускусом ночная пала мгла.
Не жарко, — и Ширин свой путь начать смогла.
Отроковицы с ней. Но было их немного —
Не знавших, что любви злокозненна дорога.
И в замкнутой тюрьме, в которой жар пылал,
Ширин жила в плену, как сжатый камнем лал.
И, позабыв миры, полна своим недугом,
Своих томлений жар она считала другом.

Приезд Хосрова в Армению к Михин-Бану

Покинувши ручей, Хосров печален. Он
Струит из глаз ручьи: его покинул сон.
Пленительный ручей! Виденьем стал он дальним.
И делался Парвиз все более печальным.
Но все ж превозмогал себя он до поры:
«Ведь не всплыла еще заря из-за горы.
Ведь если поспешу я в сторону востока, —
Мне солнца встретится сверкающее око».
И роза — наш Хосров — достиг нагорных мест, —
И к стражам аромат разносится окрест.
Вельможи у границ спешат к нему с дарами:
С парчой и золотом. Он тешится пирами.
И не один глядит в глаза ему кумир, —
Из тех, что сердце жгут и услаждают пир.
Ему с кумирами понравилось общенье.
Тут на немного дней возникло промедленье.
Затем — в Мугани он; затем, свой стройный стан
Являя путникам, он прибыл в Бахарзан.
Гласят Михин-Бану: «Царевич недалече!»
И вот уж к царственной она готова встрече.

Навстречу путнику в тугом строю войска,
Блестя доспехами, спешат издалека.
В казну царевичу, по чину древних правил,
Подарки казначей от госпожи направил.
Жемчужин и рабов и шелка — без конца!
Изнемогла рука у каждого писца.
К великой госпоже вошел Парвиз в чертоги.
Обласкан ею был пришедший к ней с дороги.
Вот кресла для него, а рядом — царский трон.
Вокруг стоит народ. Садится только он.
Спросил он: «Как живешь в своем краю цветущем?»
Пусть радости твои умножатся в грядущем!
Немало мой приезд принес тебе хлопот.
Пускай нежданный гость беды не принесет».
Михин-Бану, познав, что речь его — услада,
Решила: услужать ему достойно надо.
Ее румяных уст душистый ветерок
Хвалу тому вознес, пред кем упал у ног.
Кто озарил звездой весь мир ее удела,
Любой чертог дворца своим чертогом сделал.
Неделю целую под свой шатровый кров
Подарки приносил все новые Хосров.
Через неделю, в день, что жаркое светило
Считало лучшим днем из всех, что засветило,
Шах восседал, горя в одежде дорогой.

Он был властителем, счастливый рок — слугой.
Вокруг него цветов сплетаются побеги,
С кудрями схожие, зовя к блаженной неге.
На царственном ковре стоят рабы; ковер.
Как стройноствольный сад, Хосрову нежит взор.
Застольного в речах не забывают чина, —
И все вознесены до званья господина.
Веселье возросло, — ив чем тут был отказ?
Налить себе вина проси хоть сотню раз.
Михин-Бану встает. Поцеловавши землю,
Она сказала: «Шах!» Он отвечает: «Внемлю».
«Мою столицу, гость, собой укрась; Берда
Так весела зимой! Ты соберись туда.
Теплей, чем там зимой, не встретишь ты погоды.
Там травы сочные, там изобильны воды».
Согласье дал Хосров. Сказал он: «Поезжай.
Я следом за тобой направлюсь в дивный край».
Привал свой бросил он, слова запомнив эти, —
И, званный, в «Белый сад» помчался на рассвете.
Прекрасная страна! Сюда был привезен
Венец сверкающий и государев трон.
Зеленые холмы украсились шатрами,
И все нашли приют меж синими горами.
В палате царственной Хосрова ни одну
Услугу не забыть велит Михин-Бану.

У шаха день и ночь веселый блеск во взоре:
Пьет горькое вино он — Сладостной на горе.

Пиршество Хосрова

Хоть есть Новруза ночь, есть ночь еще милей:
Она, сражая грусть, всех праздников светлей.
В шатре Хосрова шум. Под сводом величавым
Здесь собрались друзья с веселым, легким нравом.
И мудрецов они припоминают речь,
И от шутливых слов их также не отвлечь.
Вкруг шахского шатра, что в средоточье стана,
Разостланы кошмы из дальнего Алана.
Для вражеских голов угрозу затая,
Ко входу два меча простерли лезвия.
В шатре курения, все разгоняя злое,
Вздымают балдахин из амбры и алоэ.
Напитки зыблются, пленительно пьяня,
Жаровня царская полным-полна огня.
Армянский уголь здесь, он поднимает пламя,
Подобен негру он, вздымающему знамя.

Чтоб черный цвет затмить — где созданы цвета?
Лишь только от огня зардеет чернота).
Иль выучен огонь чредой времен упорных,
Что похищают цвет волос, как уголь, черных.
Сад пламени, а в нем садовник — уголь; он
В саду фиалки жнет, тюльпанами стеснен.
Так люб зиме огонь, как лету вздох рейхана
Рейханом зимним став, огонь возрастает рьяно
Тут кубки пышные подобны петухам;
Что вовремя зарю провозглашают нам.
Их огненным нутрам завидуя и сладким,
То утки на огне, то следом — куропатки.
Вот снеди жареной воздвигнута гряда.
Вот перепелками наполнены блюда.
Вот к яблокам уста прижали апельсины,
А к чашам золотым — рубиновые вина.
Нарциссы ясных глаз! Фиалки! Словно сад,
Всю эту ширь шатра воспринимает взгляд.
К гранатам нежно льнут те ветерки, в которых
Есть изворотливость, как в пляшущих танцорах.
Все пьют и полнят мир душой своей живой,
Все утро проведя за чашей круговой.
Звук чангов, проносья во вздохах легкозвонных,
Завесы все сорвал: всех выдал он влюбленных.
О пехлевейский лад! О чанга грустный звон!

И в камне бы огонь зажег столь нежный стон.
Вздохнула кеманча, подобно Моисею,
И вымолвил певец: «Я с ней поспорить смею»
И песню он запел и струнам дал ответ:
Веселью мой привет и радости — привет!
О, как бы сладкий сад, сад жизни, был прекрасен,
Когда б осенний хлад был саду не опасен!
О, как бы весел был чертог, чертог времен,
Когда б на все века он мог быть сохранен!
Но ты не доверяй холодному чертогу:
Чуть место обогрел — тебя зовут в дорогу.
О праха монастырь! О мир — непрочный храм!
Так выпей же вина — предай его ветрам!
Дрошедший смутен день, грядущий день — неведом.
За днем умчавшимся другой умчится следом.
Хоть день сегодняшней как будто бы нам дан, —
Но вечер близится, и этот день — обман.
Так смейтесь же, уста! Так отлетай, кручина!
Пусть в мир и нам в сердца вливают радость вина!
На эту ночь одну промолви сну: «Долой!»
Ведь бесконечно спать придется под землей,

Возвращение Шапура

Хосров уже хмелен. Не медлит кравчий. Звуки
Порхают: чанг поет о встречах, о разлуке.
Рабыня нежная вошла, потупя взгляд,
И вот услышал он (пропавший найден клад!):
«Шапур приема ждет. Впустить его иль надо
Сказать, что поздний час для встречи с ним — преграда?»
Хосров обрадован. Вскочил, затем на трон
Себя принудил сесть, к рассудку возвращен.
Он входа распахнуть велит сейчас же полог.
Дух закипел: ведь был срок ожиданья долог.
И жил с душою он, раздвоенной мечом,
И скорбной тьмой одет и радостным лучом.
Мы ждем — и сердце в нас разбито на две части.
Взор не сводить с дорог — великое несчастье.
Невзгода каждая терзает нашу грудь.
Невзгоды худшей нет — безлюдным видеть путь.
Коль в горести, о друг, ты смотришь на дорогу, —
Со счастьем дни твои идти не могут в ногу.
И вот Шапур вошел — Парвиз его позвал —
И поцелуями он прах разрисовал.
И, стан расправивши, стоял он недвижимо
С покорностью, что нам в рабах вседневно зрима.

И, на художника склонив приветный взор,
Хосров сказал: «Друзья, покиньте мой шатер».
Шапура он спросил про горы и про реки,
Про все, на что Шапур в скитаньях поднял веки.
С молитвы начал речь разумный человек:
«Пусть шаха без конца счастливый длится век!
Войскам его всегда лететь победной тучей.
С его чела не пасть венцу благополучии.
Его желаниям — удаче быть вождем,
Пусть дни его твердят: «Мы лишь удачи ждем».
Все бывшее с рабом в пути его упорном
Является ковром — большим, хитроузорным.
Но если говорить получен мной приказ, —
Приказ я выполнил; послушай мой рассказ»,
С начала до конца рассказывал он мерно
О непомерном всем, о всем, что беспримерно,
О том, что скрылся он, как птица, от очей,
Что появился он, как между скал ручей,
Что он у всех ручьев был в предрассветной рани,
Что смастерил луну, уподобясь Муканне,
Что к лику одному — другой припал с алчбой,
Что бурю поднял он умелой ворожкой,
Что сердцу Сладостной, как враг, нанес он рану
И к шахскому ее направил Туркестану.
Когда его рассказ цветка весны достиг,

Невольный вырвался у властелина крик.
«Мне повтори, Шапур, — вскричал он в ярой страсти, —
Как сделалась Луна твоей покорна власти?»
И геометр сказал: «Я был хитер, и рок
Счастливым твой пошел моим уловкам впрок.
Был в лавке лучника твой мастер стрел умелый,
И выбрал нужный лук, давно имея стрелы.
Едва сыскав Ширин, не напрягая сил,
Серебряный кумир уже я уносил.
Уста Ширин ни к чьим устам не приникали.
Лишь в зеркале — в хмелю — свои уста ласкали.
И рук не обвила вокруг человека. Ночь
Своих кудрей не вить лишь было ей невмочь.
Так тонок стан ее, как самый тонкий волос,
Как имя Сладостной, сладки уста и голос.
Хоть весь смутила мир прекрасная Луна,
Пред образом твоим смутилась и она.
Ей сердце нежное направивши в дорогу,
Я на Шебдиза речь направил понемногу.
Летящую Луну конь поднял вороной.
Так все исполнено задуманное мной.
Здесь, утомившийся, остался я на время,
Хоть должен был держать я путницу за стремя.
Теперь, все трудности пути преодолев,
Она в твоём саду, среди приветных дев».

Художника обняв, подарками осыпал
Его Хосров, — и день Шапуру светлый выпал.
На рукаве своем «Сих не забыть заслуг» —
Парвизом вышито. Был им возвышен друг.
Луна в источнике, миг их нежданной встречи,
Поток ее кудрей — все подтверждало речи.
Смог также государь немало слов найти,
Чтоб рассказать о том, что видел он в пути.
Да, пташка милая — им вся ясна картина —
Перепорхнула вмиг в пределы Медаина.
Решили все. «Я вновь, — сказал Шапур, — лечу,
Подобно бабочке, к прекрасному лучу.
Вновь изумруд верну я руднику. Дурмана
Жди сладкого опять от нежного рейхана».

Шапур второй раз едет за Ширин

Прекрасен край, где смех свою находит сень,
Прекрасен день, когда он молодости день.
На свете ничего нет благодатней жизни.
Что юности милей? Вино веселья, брызны!

Вселенной властелин, венец державных прав,
Был юн и радостен, имел веселый нрав.
Глотка вина испить не мог бы он без песни,
За песней чаша дней казалась полновесней.
Не плату он давал своим певцам за труд —
То жемчуг им дарил, то лал, то изумруд.
И вот он пировал, вино его кипело,
Вошла Михин-Бану, с Хосровом рядом села.
Ей оказал Хосров особенный почет.
Приятно речь его любезная течет.
Снедь подана; Хосров — им прервана беседа, —
«Барсема вача» ждет от чинного мобеда.
За каждой трапезой, что совершал Хосров,
Обычай сей блюсти он с радостью готов,
«Барсема вача» в том обычное значенье,
Что приступить к еде дается разрешение.
Мобед решает все. Он молвит; снедь одна
Годна к приятию, другая не годна.
Вот госпоже Хосров сказал: «Вина отведай»,
И потчевал ее за тихую беседой.
И с той, которой все для радости дано,
Из чаши царственной царевич пил вино.
Когда ж он захмелел, испив из горькой чаши,
Он речь повёл о той, что всех на свете краше.
И, молвя о Ширин, он слов не оборвал,

Ликующий в душе, он — соболезновал.
«Твоя племянница выросла такой пригожей,
Такою стройною и с дивной розой схожей,
Но необузданный ее похитил конь!
И скрыт ее очей пленительный огонь?
Сегодня был гонец; с ним все решая вместе,
Мы поняли, что к нам о ней доходят вести.
Коль я останусь тут недели две, — Луна
Отыщется. Поверь, — узнаем, где Она.
За розою гонца отправлю я, продлится
Недолгий срок, сюда влетит она, как птица».
Услышала Бану, что молвил ей Хосров,
И от волнения найти не может слов.
Как прах, на землю пав, склоняется в поклоне,
И вся ее душа в ее протяжном стоне.
«О, где жемчужина? Коль зрю ее во сне,
То не в объятых зрю, а в моря глубине.
Тем, кто, добыв ее, в мою укроет душу,
Всю душу я отдам. Я клятвы не нарушу».
Перед престолом вновь она подымлет стон:
«О месяц и Зухре! Сей лобызайте трон!
От Рыбы до Луны, везде собирая дани,
Ты на обширный мир свои протянешь длани!
Ведь говорила я, она придет. Не слаб
Мой дух пророческий, а светлый рок — твой раб

Он помощь нам подаст, — и мы найдем дорогу,
Добычу приведем к дворцовому порогу.
Но если хочет шах послать за ней гонца,
То надо привести сюда скорей гонца.
Ему Гульгуна дам, Гульгун мой быстроногий
Родной Шебдиза брат; с ним все легки дороги.
Шебдиза бурный бег и яростен и прям.
Так мчится и Гульгун, когда он не упрям.
Когда Шебдиз у той, с черногазельим взглядом,
Сумеет лишь Гульгун с Шебдизом мчаться рядом.
Когда Шебдиз не с той, что всех светлее лун,
Достоин ей служить лишь огненный Гульгун».
«Гульгун поможет нам. Пусть скакуна такого
К Шапуру отведут!» — решение Хосрова.
Сел на седло Шайур, Хосрову дорогой.
Под ним гарцует, конь на поводу — другой.
Он в Медаин к Ширин свой бег направил скорый,
Но с месяц все ж искал тот месяц ясновзорый.
Стал сад Хосрова пуст, усладу не храня,
К нагорному дворцу Шапур погнал коня.
Стучит. Открыли дверь. Не говоря ни слова,
Страж пропустил его, узрев печать Хосрова.
И радостно идет в покой безвестный он,
В чертог, построенный для светоча времен.
Но лишь взглянул вокруг — где радости избыток?

Он хмурится: дворец? Иль место лютых пыток?
Как! Драгоценный перл с камнями в ладу?
В раю рожденная запрятана в аду?
Стал лик его — рубин. Земли коснулся лаком
Он пред жемчужиной в смущении великом.
Хвалы ее красе он все же смог найти.
Затем спросил ее о трудностях пути.
Сказал, что будет он, как прежде, ей пригоден,
Что от ее колод колодник не свободен.
Что и невзгоды все и трудности прошли,
Что уж отрадный свет вздымается вдали.
«Пусть беспокойство ты перенесла такое,
Невзгоды кончены, ты дождалась покоя.
Но грустен этот край, он горестен, уныл,
Кто разум твой смутил и в сумрак заманил?
Как может светлая быть с этой мглою рядом?
Как может гурия довольствоваться адом?
Да, повод к этому, пожалуй, есть один:
Ведь ты — рубин; в камнях всегда лежит рубин».
В его речах узрев всю живопись Китая,
К своим желаньям ключ внезапно обретая,
Ширин прикрыла лик стыдливою рукой
И, восхвалив гонца, дала ответ такой:
«Когда б решилась я в напрасном упованье
Все беды передать в своем повествованье,

Все то, что на своем я видела пути,
Я не смогла бы слов для этого найти.
Был мне указан край: когда ж достигла сада,
Нашла проклятых в нем; взяла меня досада, —
Ведь без присмотра рой прислужниц посягнул
На чин дворца; в саду раскинулся разгул.
И руки, как Зухре, открыв, они в замену
Стыдливости свою всем объявили цену!
Невесте должно быть невинней голубиц.
Я удаления искала от блудниц.
Я от неистовых, едва их постигая,
Уединенного потребовала края.
Они же в ревности — ведь этот пламень яр —
Забросили меня в край беспричинных кар.
О город горести! О, нет мрачнее мира!
От горечи черны здесь камни, словно мирра.
Смолчала я, найдя удел мой полным зла.
Я с ними ладила. Что сделать я могла?»
Шапур сказал: «Вставай! К пути готовься снова.
Все указания имею от Хосррва».
И на спину коня вознес он розу роз,
В сад шахских помыслов Сладчайшую повез.
И, на Гульгуна сев и кинувши ограды,
Ширин была быстрее, чем быстрые Плеяды.
Благой Хумою стал блистательный Гульгун.

И мчалась, как пери, сладчайшая из Лун.
А вдалеке Хосров, меж горького досуга,
Все друга поминал, все ожидал он друга.
Да! Ожидание — тягчайшая беда.
Но кончится оно — все радостно тогда.
О ты, что вдаль взирал, не опуская вежды!
Надеющийся! Глянь — исполнены надежды.

Хосров узнает о смерти отца

Чуть опьяненный, шах вздремнул; мечтает он:
Его благой удел свой позабудет сон.
И вот спешит гонец, и вот он в шахском стане,
И развернул Слону рассказ об Индостане.
Фарфор китайский — взор: он влагой полонен.
Как волос негра — стан: весь изогнулся он.
О крючья черных строк О черная кручина!
Бесчинна смерть, — и пуст и Зенга трон и Чина.
Где шах? Лишь ты зрирай на все его края.
Ему лишь посох дан, уж нет ему копья!
Владыка мира, верь, уж не увидит мира,

А ты — владычеству, тебе дана порфира.
И приближенные, а было их не счесть,
Друг другу не сказавшему послали весть.
«Остерегайся. В путь собирайся во мгновенье.
Мир выскользнет из рук, опасно промедленье.
Хоть в глине голова, — ты там ее не мой.
Хоть слово начал ты, умолкни, как немой».
Когда Хосров узрел, что дней круговоротом
Он трону обречен и горестным заботам, —
Постиг он: с индиго хранит поспешный рок
Бакан, и уксус дней от меда недалек,
И воздух, что родят земли неверной доли, —
То шершня кружит он, то в нем летают пчелы.
Опала, почести, любовь, и злость, и яд
С напитком сладостным — все это дни таят.
Земля! Какой ручей ты не засыплешь прахом?
Твой камень много чаш одним ломает взмахом
Кто скован бытием — идет путями бед.
Покой — в небытии. Пути другого нет.
Брось на ветер скорей свой груз напрасный — душу!
Замкни темницу зла, моря забудь и сушу.
Весь мир — индусский вор: чтоб он не отнял кладь,
Чтоб не скрутил тебя, — с грабителем не ладь.
Знай, в этой лавочке ты не отыщешь нитки
Без колющей иглы, лишь иглы в ней в избытке.

Вот тыквенный кувшин, вода в нем что кристалл,
Что ж от водянки ты, как тыква, желтым стал?
Деревьям лишь тогда в весенней быть одежде,
Когда все почки их разломаются, — не прежде.
Пока не сломит рок согнувшийся хребет,
Он снадобья не даст для исцеленья, нет!
Наденешь саван ты, зачем же — молви толком —
Как шелковичный червь, ты весь облекся щелком?
Зачем роскошество — носил бы полотно.
Тебя в предбаннике разденут все равно.
В простой одежде будь, она пойдет с тобой
Пока ты бродишь здесь дорогою любою.
Ты отряхни подол от множества потреб,
Доволен будь, когда один имеешь хлеб.
Творить неправду, мир, намерен ты доколе?
Тебе — веселым быть, мне- корчиться от боли?
Я в горе — почему ж твой слышится мне смех?
Я свержен — и тебе я не хочу утех.
Ты продаешь ячмень, а нам кричишь: пшеница!
Ячмень в твоём пшене сгнивающий таится.
Я — лишь зерно пшена, и желт я, как ячмень.
Пшеницы мне не дав, молоть меня не лень?
Довольно предлагать да прибирать пшеницу,
А мне — быть жерновом, перетирать пшеницу!
Уж лучше в омуте, где ночь, лишь ночь одна,

Ловить ячменный хлеб я буду, как луна.
О Низами! Из дней уйди ты безотрадных,
Весь этот грустный мир оставь для травоядных.
Питайся зернами да езди на осле.
Ты жди Исы, томясь в земном, житейском зле.
Ты — ослик. Вот и кладь! Одну ты знай заботу.
Ведь ослики — не снедь. Их ценят за работу.

Хосров восходит на трон вместо отца

Когда промчалась весть, что царствования груз
Велением творца сложил с себя Ормуз,
Шах, в юном счастье не ведавший урона,
В столице поднялся на возвышенье трона.
Хоть в мыслях лишь к Ширин влекла его стезя,
Все ж царство упустить наследнику нельзя.
То государства он залечивал недуги,
То взоры обращал он в сторону подруги.
И за строительство его уж люди чтут,
Уж много областей он охранил от смут.
В несчастья вверженных залечивалась рана:

Шах справедливостью затмил Ануширвана.
Но вот закончились насущные дела.
Опять к любви, к вину душа его влекла.
Мгновенья не был он без чаши, без охоты.
Когда ж он о Ширин вновь полон стал заботы,
Спросил придворных он, что слышали о ней.
Ему ответили: «Уже немало дней,
Как из дворца, что там, где сумрачно и хмуро,
Она умчалась прочь. С ней видели Шапура».
Круговращеньем бед внезапно поражен,
Шах небо укорял. Но что мог сделать он?
Воспоминания он предавался негам,
И черный конь прельщал его горячим бегом.
Как ночь, его Шебдиз, ну, а Луны — все нет!
Он камнем тешился, но помнил самоцвет.

Шапур привозит Ширин к Михин-Бану

Ширин в ее края примчал художник снова, —
Но встреча не сбылась: там не было Хосрова.
С Гульгуна сняв Ширин, в цветник Михин-Бану

Ее он снова ввел, как светлую весну.
И снова гурия меж роз родного края
Дарила свет очам, огнем очей играя.
И приближенные, и слуги, и родня,
Которые давно такого ждали дня,
Увидевши Ширин, ей поклонились в ноги
И, прахом ставши, прах лобзали на дороге.
И благодарственным молениям и дарам
Предела не было, и был украшен храм.
А что с Михин-Бану? Да словно от дурмана,
Ей тесно сделалось в пределах шадурвана.
Как сердцу старому, что стало юным вновь,
Что мнило умереть, а в нем разыграла кровь.
Беглянки голову Бану к себе прижала, —
И пробудился мир и начал жить сначала.
Как ласкова Бану! Какой в ней пламень жил!
Ну что бы сотней строк все это изложил?!
Введя Ширин в простор дворцового предела,
Ей предложила все: «Что хочешь, то и делай!»
Покровами стыда ей не затмив чела,
Ей омрачить чела печалью не могла.
Ведь понимала все: ее побег — сноровка
Неопытной любви, влюбленности уловка.
И в шахе виделись ей признаки любви.
Ей шепот лун открыл огонь в его крови.

Вино бродящее укрыть она старалась,
Свет глиною укрыть — хоть солнце разгоралось.
Бану твердит Луне: «Покорной надо стать,
Домашний, тихий мир, как снадобье, принять».
И с ней она нежна и создала — в надежде
Все прошлое вернуть — все то, что было прежде.
И снова куколок прекрасных, как весна.
Дано ей семьдесят, — чтоб тешилась она.
Круговорот небес, что кукольник, баюкал
И пробуждал к игре сереброгрудых кукол.
Ширин, увидев их, — как прежнюю порой,
Луною рассекла веселый звездный рой.
Ширин опять в дому. Как праздник новоселья-
Опять открыт базар досуга и веселья.

Бегство Хосрова от Бехрама Чубине

Победы ключ сверкнул. Он грозен стал: могуч
Рассудок — золотой преодолений ключ.
Рассудок победит могучих с их мечами.
Венец, прельщая всех, царит над силачами.

Лишь разуму дано тьму воинов смести,
Мечом ты их сметешь не больше десяти.
На трон взошел Парвиз. Все помыслы Бехрама
К Парвизову венцу влекли его упрямо.
И он схватил венец, когда к нему простер
Он руку ловкую. Был ум его остер.
И клевету творить Бехраму — не в обузу.
Он всем шептал: «Хосров пронзил глаза Ормузу»,
Хоть знал он, что когда Юсуф умчится вдаль,
Якубу — света нет: все затемнит печаль.
Он тайно разослал посланья людям разным,
Благое сказав рисунком безобразным.
«Ребенку ли владеть вселенной суждено?
Отцеубийце быть владыкой не дано.
Ста братьев кровь прольет он за глоток напитка,
Напитка, что в домах имеем до избытки.
Арфисту царство даст: над арфами дрожит,
Что царство! Песнею он больше дорожит.
Горячий — он путей к делам не примечает,
Незрелый — он добра от зла не отличает.
Клеймо любовных игр горит на нем. И страсть
К неведомой Ширин над ним простерла власть.
Зол, обезглавливать за малое готовый.
Утратив голову, не обретают новой.
Оковы бы сковать, чтоб им греметь на нем!

Исправить бы его железом и огнем!
Пусть покорится нам! Не покорится — верьте,
Отцеубийцу нам предать разумней смерти.
Ему закройте путь, нежданный меч воздев,
И знайте — я иду, могущественный лев».
Вот так-то этот лев, взыскующий признанья,
Свел шахских подданных с дороги послушанья.
И видит шахиншах — счастливый рок смущен.
И подданных своих в смятенье видит он.
И силу счастья он крепил казной златою,
И слепоту врага он множил слепотою.
И так тянулись дни. Но враг привел войска, —
И тотчас поднялась восстания рука.
Опоры не было — был сломлен трон Парвиза, —
И с трона пересел он на спину Шебдязя.
От вихрей, взвившихся из-за камней венца,
Он голову унес: она ценней венца.
Уж венценосца нет. Владычества порфира
И мира — брошена возжаждавшему мира.
Когда по воле звезд узрел смятенный шах
Меча Бехрамова над головою взмах, —
В сей шахматной игре, что бедами богата,
Без «шаха» для него уж не было квадрата.
С уловок сотнею, свой потерявши сан,
По бездорожию проникнул он в Арран.

Оттуда он в Мугань направился: в Мугани

Жила Ширин; в сей храм свои понес он дани.

Встреча Хосрова и Ширин на охоте

Сказитель говорил: мое познание пей.

Когда Хосров Парвиз, домчавшись до степей,

Стрелял и стрелы в дичь без счета попадали, —

Вдали взметнулась пыль: неслась Ширин из дали.

В кругу своих подруг с дворцового двора

Ширин охотиться отправилась с утра.

И два охотника, одним замкнуты кругом,

Коней пустили вскачь, охотясь друг за другом.

И стройных два стрелка, дворцов покинув сень,

Друг в друга целились, как целятся в мишень.

Два друга — им любовь, как хмель, затмила око —

Пылая, всех друзей оставили далеко.

Хосров — ему венец рука судьбы дала;

Ширин — та сто венцов с Хосрова сорвала.

Здесь — гиацинты кос над нежной розой гнутся,

А там — по розам щек их лепесточки вьются.

Здесь — амброю кудрей прикрыты уши там —
Арканы мускуса сползают по плечам.
Здесь — облачко пушка вокруг Луны играет,
Там — подбородка грань Луну оберегает.
Глазами так они друг другу жгут глаза,
Что на зрачках у них уж светится слеза.
Вблизи Ширин — Парвиз; их бег согласный страстен.
Гульгуна обогнать Шебдиз уже не властен.
Ну как заговорить? Она Ширин — иль нет?
Парвиз ли перед ней? Достаточно ль примет?
И вот назвали их. И вот, узнав друг друга,
Без чувств, упав с коней, они лежат средь луга.
Беспамятство прошло, и, головы подняв,
Они свой жемчуг слез рассыпали меж трав.
И, встав, беседуют, по правилам дворцовым
Друг другу поклялись. Но много ль молвишь словом?
О благе и о зле сказали все, — и вот
Примолкли: «Ждать и ждать!» — лишь это разум жжег.
И, чтоб связать с землей ширь голубого крова,
Как птицы на древа, на седла сели снова.
Тут каждый, кто скакал, поводья натянул,
Коней под лунами глухой умолкнул гул.
И видят спутницы: Луна и Солнце рядом
И, встретясь в синеве, друг друга манят взглядом.
В их души обронен огонь любовных снов.

Как бы вдавились в топь копыта скакунов.
И подъезжавших всех дивило это диво:
Они — равны красой, все в них равно красиво.
Шептали муравьи, что в тесный круг сползлись:
«Взгляни, сам Соломон и савская Билькис».
Все новые войска спешили, подъезжали,
Хосрова и Ширин рядами окружали.
Когда сомкнулся строй на склонах ближних гор,
Стон сдавленной земли был для Быка — укор.
И говорит Ширин: «Твой свет на всех высотах!
Как тысячи рабов, и я в твоих тенетах.
Твой царственный престол земле дарует честь.
О благе твой венец в лазурь направил весть.
Хотя семь областей, во всем их протяженье,
В твоём, о царь земли, находятся владенье, —
Недалеко от нас — подарок пышный твой —
В узорах висится шатер наш кочевой.
Коль снизойдет к нам шах и примет просьбу нашу, —
Чтоб услужить ему, я стан свой препояшу.
Коль слон пожалует на муравья ковер, —
В восторг придет мураш, его заблещет взор».
Промолвил государь: «Коль ты принять готова,
Войду, возликовав, под сень благого крова».
Склонилась ниц Ширин, чтоб юношу почтить,
И славословий вновь ему сплетает нить.

На сменных скакунах она к Бану послала
"Служителя, — и та не медлила нимало:
Известье получив, хозяйственных хлопот
Не уstraшается: Хосрова в гости ждет.
И Солнце и Луну осыпали дарами.
Навстречу выехав, под синими горами.
Юнца в какой дворец направила судьба!
Что было схоже с ним? Лишь райская туба.
Дворец приподнят был под купол небосвода,
Как два майдана, ширь от входа и до входа.
Прощения прося за скромный дар, послы
Роскошеством даров заполнили столы.
И здесь Парвиз такой осыпан был казною,
Что повестью о ней не скажешь ни одною.
А «дело о Ширин»? Звучит лишь крик: «Ширин!» —
В душе царя. Пред ним чей сладкий лик? — Ширин.

Наставление Михин-Бану Ширин

Когда свое зерно крестьянин бросит чистым, —
Родится чистым то, что было в прахе мгlistом.

Коль чистый человек имеет чистый род,-
Бредя в земной грязи, подол он подберет.
И чистая Бану была в невольном страхе,
Узнав и о Ширин и о влюбленном шахе.
Раздумия с них никак ей не избыть.
Ну как ей с хвостом огонь соединить?
И говорит она: «Ширин, моя ты сладость
Не только для меня, ты всем прекрасным радость.
Твой черный томный взор — сто царских областей
От Рыбы до Луны длина косы твоей.
Две тени у тебя, и тень вторая — счастье.
Благополучие, Ширин, твое запястье.
Ты освещаешь мир сияньем красоты,
А красота твоя — в чертоге чистоты.
Ведь ты — сокровище; так будь запечатлена.
Ведь благо есть в миру, и есть в нем то, что тленно.
Лукаво и хитро умеет мир играть:
И красть жемчужины и яхонт растирать.
Мне сердце весть дало, и мне, о роза, мнится,
Что хочет царь царей с тобой соединиться.
Коль сердце отдал он, то счастья ты не кличь
Иного: дивную ты заманила дичь.
Но, увидев его от нетерпенья пьяным
Не покоряйся ты, Ширин, его обманам.
Он так остер; тебе — слова любви новы.

Страшусь: бесплатно он отведаёт халвы.
Он посрамленную тебя оставит; страстный,
К другой он бросится, охвачен страстью властной,
Я не хочу, Ширин, — мою запомни речь, —
Чтоб ты скорей, чем хлеб, к нему попала в печь.
Ведь десять тысяч роз есть у него красивых.
Об этом говорят слова людей неживых.
Коль мчится сердцем он к великолепию роз,
Привяжется ль к одной, обвитый цепью роз?
Но коль не сможет он тайком схватить алмаза,
Не отвратит лица, чтоб не купить алмаза.
Узнав, как ты чиста, как ты ясна на взгляд —
Ко мне он явится. Так правила велят.
Озарена небес ты будешь чистым лоном,
И наградит земля тебя царевым троном.
Коль чистоту души мечты твои таят, —
Противоядием преодолеешь яд.
Но если б овладеть тобою смог влюбленный,
Тебя он, верно б, счел беспечной, опьяненной.
Смотри, чтоб над тобой позор твой не навис.
Стыдом в умах людей была покрыта Вис.
Он — месяц, ты — луна, и род наш так же славен.
Да, мы — Афрасиаб, коль он Джемшиду равен.
Поверь, не мужество мужчинам вслед бежать,
Такая смелость, верь, невестам не под стать.

Сорвали много роз, чуть приодетых в росы,
Вдохнули аромат — и бросили в отбросы.
Немало было вин, что привлекали взор,
Но чуть вкусили их — и вылили во двор.
Ты ведаешь сама: под праведности знаком
Нет лучше нежных игр, чем озаренных браком».
И сладость пьет Ширин, к Бану склонив лицо,
Чтоб вдеть совет в ушко, как рабское кольцо.
Ведь сердцем отвечать на сладостное слово,
Столь близкое душе, давно она готова.
И клятву крепкую дает Ширин. Зарок
Она дает Бану: «Твой выполню урок.
Хоть пью любовь к нему я огненною чарой,
Клянусь, что будем с ним мы лишь законной парой».
Так молвила Ширин и клятвою такой Уверенность
Бану вернула и покой.
Та разрешила ей в дому и на майдане
Быть с гостем, чтоб иных не жаждал он свиданий.
Чтоб он в безлюдии не требовал утех
И все, что говорит, чтоб говорил при всех.

Описание весны и веселья Хосрова и Ширин

Уж старец-небосвод, одетый в бирюзу,
Дал молодость цветам и оживил лозу, —
И нежных роз цветник для юных и для старых
Вновь блещет в розовых и золотых пожарах.
Пусть роза царствует! Фиалки, как павлин,
Свой расстилают хвост по зелени долин.
О, сколько птиц! О звон — к любви звать готовый!
В былых влюбленностях жар пробудился новый.
Веселым стал Хосров: Ширин с ним хороша.
И вспомнил мир весну, веселием дыша, —
Влюбленный, радостный, отринув проволочку,
Играя, разорвал он розы оболочку.
А та — внесла свой стяг, — ведь так отрадно ей:
Прогнали воронов отряды голубей.
Жасмин за кравчего. Призыв нарцисса: «К чаше!»
Фиалка с розою в хмелю нежней и краше.
Снял с женственных цветов покровы ветерок
И оживлял и звал всех тех, кто изнемог.
А ветер зашумел, затем — единым духом
Согнул «зрачок быка», выиграл «слоновым ухом».
Земля — ковер; взгляни — весь в анемонах он.
«Мышиных ушек» он узором озарен.
Вот кипарисы ввысь свои вздымают станы,

Свои рубахи рвут от страстности тюльпаны.
Фиалок завиток сцепился с завитком,
А слух шиповника зашептан ветерком.
Рейханы прячут лик, страшась отдаться взорам,
Древа плодовые — под свадебным убором.
А воздух, росами осыпав каждый луг,
Дал изумруду перл движеньем легких рук.
Земля родящая свое забыла бремя:
Уж родилось цветов ликующее племя.
Пьяны веселием газели: сосунки
Снуют близ матерей, игривы и легки.
Фазаны на рейхан роскошным опереньем
Склоняются; рейхан украшен их гореньем.
И ветка каждая — весны цветущий дар.
И роза каждая взяла в ладонь нисар.
Вот песни соловьев, вот песни куропаток —
В них нетерпение, в них страсти отпечаток.
В те дни, когда кругом любовью все полно,
Грех не любить. Весной — влюбляться суждено.
Хосров с Прекрасною бродили днем и ночью,
Склоняя взор к цветам и к травок узорочью.
То пили на лугу сок благодатный роз,
То на горах они собирали пламень роз.
Они с вином в руках, меж роз, по изумруду,
Хмельные в этот день подъехали к Шахруду.

И спешились они; и плещется Шахруд.
Сидят: поет певец, звенит и плачет руд.
С сахароустою легко достигнешь чуда:
Как сахарный тростник, простой тростник Шахруда.
Красу окрестностям ее дарует стан,
Как жемчуг ракушке порой дает нейсан.
Глянь, мускус этих кос дороже амбр; пропала
Вся спесь у сахара пред медом рдяным лала.
Ее улыбок мед весь сахар приманил,-
И в Хузистане плач варений слышен был.
Кусту прекрасных роз промолвил стан:
«Достоин Ты охранять меня, ты мой надежный воин».
Жасмин, что краше роз казаться мог легко,
Страдал: был по уши влюблен в ее ушко.
А роза, разглядев ее глаза, во власти
Свирепой ревности рвала себя на части.

Хосров убивает льва во время пира

С Ширин гуляет шах меж радостных долин.
Прекрасно все окрест, прекрасно, как Ширин.

Когда желанная — вершина мирозданья,
То место каждое есть место любованья.
И отдыха ища, глядят: невдалеке
Лишь лилии цветут на сладостном лужке.
И, колышками прах в таком раю ударив,
С поспешностью шатер воздвигли государев.
Гулямы, девушки вокруг шатра видны —
Иль вереница звезд блестит вокруг луны?
Сидят Хосров с Ширин и песен внемлют звуку,
Они ведь за ноги повесили разлуку.
Вот кравчий накренил рубиновый сосуд,
И струны говорят: дни радости несут.
Влюбленность и вино! В них — неги преизбыток.
Пьянит царя царей сей смешанный напиток.
И вот внезапно лев скакнул из-за куста,
И в воздух взвил он пыль ударами хвоста.
Как пьяный, бросился к стоянке он с размаха,
И наземь воины попадали со страха.
И, подскочив к шатру и яростью горя,
Сын логовищ лесных взметнулся на царя.
В рубахе, без меча, в свою удачу веря,
Нетрезвый шахиншах опережает зверя.
До уха натянул он лука тетиву —
И грузно рухнул лев: пронзил он сердце льву.
Льва обезглавили. И вскоре светло-бурой,

Умело содранной все любовались шкурой.
И повелось в стране с Хосрововых времен:
Хоть пиршествует царь — меч сохраняет он.
Хоть мощен был Парвиз, как лев пустыни дикой,
Но был владыкой он — медлительны владыки.
В хмелю он победил своим умением льва.
Не хмелем славен стал, а одоленьем льва.
И эту крепкую, приученную к луку,
Спасенная Луна поцеловала руку.
Как розовой воды коснулся сладкий рот.
И рот в ладонь царя горсть сахара кладет.
С прекрасных уст печать уста царя сломали,
Чтоб не ладони сласть, а губы принимали.
Поцеловав уста, он вымолвил: «Вот мед!
Вот поцелуев край, куда наш путь ведет».
Тот поцелуй гонцом был первым, чтоб второго,
Такого же, ей ждать от жадного Хосрова,
Но хоть и множество мы выпьем ночью чащ,
Все ж чаша первая милей всех прочих чащ.
О хмель, что нам испить дают впервые чаши!
Что нам привычных вин неогневые чаши!
При первой чаше мы восторг найдем в вине,
Испив последнюю, печаль найдем на дне.
И роза первая среди весенних станов
Благоуханнее десятка гюлистанов.

В жемчужнице зерну отрадно первым быть.
Что зерен перед ним последующих нить!
И мало ли плодов мы сладостных встречали,
И что же! Каждый плод нам сладостней вначале.
И вот напиток нег обжег влюбленным рот, —
И отвели они поводья всех забот.
Спеша к безлюдному чертогу или лугу,
Как молоко к вину, тянулись друг ко другу.
Так руку за добром протягивает вор,
Увидевши, что страж смежил беспечный взор.
И за врагом они одним следили глазом,
Другим они к цветам тянулись и к алмазам.
Лишь на мгновенье враг позабывал свой страх.
Они лобзание хватали второпях.
Когда в руках Ширин вина не примечалось, —
То птица райская к ее устам не мчалась.
Когда ж она была беспечной от вина,
То и на ней была любовная вина.
Так мощно он сжимал ее в объятье рьяном.
Что горностаи ее в шелку скрывался рдяном.
Так рот его впивал атлас ее щеки,
Что меж румяных роз возникли васильки.
Тогда, из-за стыда пред синими следами,
И по небу Луна шла синими садами.
Держа в час трезвости и в ночи пьяных гроз

Белила в скляночке, подобно розе роз.

Хосров и Ширин остаются одни

Весной, в такую ночь, каких у нас немного.

Блеснул блаженства лик, судьбы пришла подмога,

В день обратила ночь высокая луна:

Ведь чашу подняла огромную она.

И в лунном пламени — о света переливы! —

Вновь полилось вино под зыбкой сенью ивы.

И пересвисты птиц и крики: «Нушануш!»

И где разлуки грусть? Она ушла из душ.

Луна ручью в стихах передавала тайны.

Их ветер толковал — толмач необычайный.

Сад кипарисов-слуг сновал на берегах.

Весенняя пора кипела в их сердцах.

Один не кубок взял, а бубен. У другого

Сосуд с водой из роз. И вина льются снова,

И чаша не один свершила круг, — и сна

Сердца возжаждали от сладкого вина.

И, разрешение спросивши у Хосрова,

Все с пиршества ушли, с веселого, с царева.
И виночерпиям уж не хватало сил.
И дремный дух певцов покоя запросил.
Без соглядатаев укромный пир! Подобен
Он розе без шипов: он сладок и незлобен.
С пути терпения шах удалился; он
Уж загоняет дичь в желания загон.
Он кудри Сладостной своими сжал перстами,
Забывши о перстах, простершихся над нами.
Ее целует он: «Я — в рабстве, ты — мой рок.
Я — птица. Дай зерна. Попал я в твой силок.
Ты прошлому скажи: быть не хочу с тобою.
Упьемся новым днем и новою судьбою.
Здесь только ты да я! Ну, оглянись, взгляни!
Чего страшиться нам? Ты видишь — мы одни.
Горит моя душа! Я жажду благостыни!
Ведь ты — моя судьба; будь ею ты и ныне!
Любовь — плодовый сад, родиться должен плод.
Во мне надежда есть, а в чем ее оплот?
Пускай воздвигнут мост из камня голубого, —
Коль мост непроходим, о нем не молвят слова.
Овечью печень ждет собака мясника,-
Да знает лишь свою: в ней горькая тоска.
И тьма солончаков, казавшихся водою,
Рты жаждущих воды зарыла под землю.

И в чашу для чего смертельный налит яд,
Который сладостью является на взгляд?
Сверлят жемчужину, когда она влажнее.
Сверлить ее потом ведь было бы сложнее.
Молочным следует барашка свежевать —
Его, подросшего, ведь может волк задрать.
Лишь только голубок начнет взлетать высоко, —
Ласк не увидит он: в него вопьется сокол.
Подобной льву не будь, смири ненужный гнев.
Есть руки у меня, чтоб стал смиренным лев.
Хоть горд нагорный путь прыгучего джейрана,
Есть руки длинные у хитрости аркана.
Пускай ветров быстрее газель несется вскачь, —
Собака шахская не знает неудач.
Что родинки беречь, таить под спудом кудри?
Ты, подать уплатив, поступишь всех премудрей.
Купец! Где сахар твой? Знать, сто харваров есть?
Что ж двери на замке, коль сахара не счесть?
Ведь индиго, торгаш, находит спрос; уныло
Не хмурься. Вскрой тюки, будь ты хоть в глубях Нила».

Ответ Ширин Хосрову

И сахар дать ответ ему был нежный рад.
И был ответ его — сладчайший табарзад.
«Я прах, — и пребывать со мной на царском троне
Для шаха значило б — в напрасном быть уроне.
Сочту ль за скакуна я своего осла?
Коня арабского догнать я б не смогла.
И хоть как всадница могу я подвизаться, —
С охотником на львов мне все ж не состязаться.
Моя уклончивость имеет цель, о да!
Кто сахар ест в жару? Не вышло бы вреда!
Остынем, государь! Немного подождать бы,
Чтоб сахар был тебе и мне... во время свадьбы».
Тут на ее губе жемчужинка зажглась.
И змеями она от уст обереглась.
Хоть мысль ее — строга, но клятву дав, иное
Вещала ей душа, в томленьях тайных ноя,
Пусть, рассердясь, она, как острие, остра, —
Не страшно: розы жар — роскошнее костра.
Пусть гнев ее встает жестокой львиной гривой, —
В нем нежный горностаи укрыл свои извивы.
Пусть лук ее бровей натянут, — не грозна
Стрела ее очей, а томности полна.
Пусть взор ее — копьё, — ведь круг войны все шире,

Но взор к боям готов и к сотням перемирий.
«Не наноси мне ран», — твердят уста; спроси
Ты их еще разок, услышишь: «Наноси».
Хотя ее уста прикрыло покрывало, —
Но все ж свое ушко она приоткрывала.
Колечко рта сомкнув и отклонив лицо,
Все ж понесла в ушке покорности кольцо.
То прихотливый взгляд ввергал в одни мученья,
То милосердного он полон был значенья.
Лик отвратит, и вот — прельстительна коса.
«Простите лик», — твердит ее спины краса.
Ширин, узрев царя в алчбе кипучей, страстной
И честность в сей игре увидевши напрасной, —
Явила блеск спины, моленья отклони:
Ведь белой серою не загасить огня.
Иль, может быть, явя в стыдливом бегстве спину,
В нем думала зажечь раскаянья кручину?
Не то! Ее спины слоновокостный трон
Напоминал царю, чтоб трон свой занял он.
А может быть, она так поступила, дабы
Он знал, что у любви есть разные михрабы.
Что странного? Одна исчезла сторона,
Сказав: прельстись другой, еще светлей она.
Игра лукавых дев: прогонят с глаз, — и рады
Метать в изгнанников приманчивые взгляды.

Суровый скажет взгляд: «Уйди», — но, погляди, —
Взгляд утешающий сказал: «Не уходи».
«Нет», — молвила, но, глянь, — «да» молвила б охотней.
За это я годов пожертвовал бы сотней!

Ответ Хосрова Ширин

Глядит Хосров: Луна не хочет нипочем
Для страждущего стать внимательным врачом.
Дерзнул он вымолвить: «О нежащая души!
Свои укоры брось. Утихни и послушай.
И ты пила вино, и мне давала пить,
К чему ж мне пьяным быть, тебе же трезвой быть?
Трезва ли ты? О нет, ты в сладостном дурмане.
Ты ведь подобна мне; не думай об обмане.
Где пташка сердца? Где? Признайся, ведь она
Уж соколом любви в копиях унесена.
Коль гайну утаить ты в сердце мнишь, — терпенье
Зови: ведь с сердцем ты должна вступить в боренье-
Иль свертывай шатры, — и, протрубив отбой,
Беги с равнин войны к Капелле голубой.

От торга, что мечом ведется заостренным,
Спасаться и бежать дозволено влюбленным.
Ты знаешь: наземь тот повергнется в бою,
Кто не сумел сдержать заносчивость свою.
Ты сердцу своему, что жестко и упорно,
Дай приказание быть нежным, хоть притворно:
Коль скажет мне: «Я друг», — за друга и приму.
Мне — будет радостно, не горестно ему.
Шутя предсказанный, благой удел сбывался
Нередко. В добрый час ряд нежных дел сбывался.
Сказал один мудрец в далекие года:
«Себе отрадное предсказывай всегда.
Коль утратишься бед — прийти поможешь бедам,
Предскажешь доброе — оно возникнет следом».
Пусть твой рубин мне даст один лишь поцелуй.
Коль он запрещен Мне, его мне не даруй.
Но и молить о нем, губительна и яра,
Ты запрещаешь мне! Я в пламени пожара.
Мне страшно: раздирать свой завтра будешь лик,
Сразив влюбленного, что в горести поник.
И кровь моя хватать тебя за полы станет:
Кровь страстных не умрет и в просьбах не устанет.
Скажи мне: если ты быть нежной не склонна,
И в поцелуев счет игра тебе странна,
И целовать твой рот я не дерзаю строгий,-

Так что ж мне целовать, рукав твой иль пороги?
Мне поцелуй на срок — ведь я не нищий — дай.
О рте не говорю: для пробы пищи дай!
Дав поцелуй один, взамен получишь десять.
Торговля добрая! Всей прибыли не взвесить!
Харвары сахара припрятала к чему?
Открыла б лучше дверь стремленью моему!
Все разрешишь — на все получишь разрешенье,
Всего лишишь — сама изведаеть лишенья.
Пусть из ключа воды взял много водонос,-
Ключ, вечно льющийся, ущерб не понес.
Я — туча, влага — ты; не слит ли я с тобою?
И со своей душой готовиться ль мне к бою?
Индиец дерзостный твой локон: в свете дня
Нагрыв, начисто ограбил он меня.
Коль не управлюсь я с твоим индийцем черным,
Сам, как индиец-вор, я стану непокорным.
Хоть будет с топором к тебе ломиться вор, —
Лишь крикнешь на него — уронит он топор.
Но руку молодцу ведь не отрубят? Гладко
Все у него идет: есть воровская хватка.
Ты локона аркан на шею мне набрось,
Хоть дичью тощею разжиться довелось.
Будь покупателем — тебе продам я душу.
Будь кравчим — и вовек я пира не нарушу.

Тебя узрев, сдержать пыланье не могу.
Светильник дружбы я горящим берегу.
Кольцо твоих кудрей пусть на ухо мне ляжет!
Я — раб. Пускай твой рот купить меня прикажет.
Вести лобзаньям счет — вот сладостный удел!
Лобзанья дай! Считать их так бы я хотел!
Приди, чтоб вместе мы вступили в двери счастья.
Мы станем счастливы! Судьба полна участия.
Так сладостно дышать в сегодняшнюю ночь!
День завтрашний — в пути, его не превозмочь.
Платить наличными нам эта полночь рада.
Ждать одолжения грядущего не надо.
Брось локоном играть! Со мною поиграй.
Мне руку помощи сегодня ночью дай.
Я сердцем изнемог, меня здоровым сделай.
В свой райский сад принять меня достойным сделай.
Ты сладостней души, ты — радости поток!
Тебя в объятях сжать мне предназначил рок.
Что сладостнее — уст иль ног твоих касаться?
Все может в сладости и в прелести равняться.
Все тело сладостно, и все влечет уста!
Да! Названа «Ширин» была ты неспроста!
Так сладость расточай, ликуя, не с оглядкой!
Не Сладостная ты, коль быть страшишься сладкой!»

Хосров умоляет Ширин

И видит шах: Ширин, его слова проран,
Не кротко говорит, забыв свой кроткий нрав.
Он молвит: «О Луна, горящая, высоко!
Упрек друзей — не зло; страшусь ли я упрека?
Но как хвалить людей, в которых сердца нет,
Которые молчат молениям в ответ?
Я лишь к тебе стремлюсь, о Сладостной мечтая:
Любого поборю, тебя приобретаю.
Я вижу: локон твой меня опутал. Ты —
Победу празднуешь, я — рухнул с высоты.
Ты клятвы не нарушь. Об этом ли толкуем?
Ты отрезви меня одним лишь поцелуем.
Хоть молви, что ко мне придет счастливый век:
«Хоть мертвым да пойдет на волю Мубарек».
Свиданий розами наполни мне кошницу.
Разлука стелет мне на ложе власяницу.
Пусть розы наших встреч мне свой шербет сулят!
О ты, цветник! Даруй ты мне хоть аромат!
В руке — твой локон; ты, опьянена, — причина

Того, что горькая умчалась прочь кручина.
С тобою пью вино — как радости не быть?
Ты здесь — ну как с тобой и сладости не быть?
Ты здесь — и золотым становится мой пояс,
И счастье светит мне, на радость не скупое,
Со мной расстанешься, что камень со змеей, —
Без розы буду я, ты- без колючки злой.
Коль сеть мою поправ, помчишься по раздолью, —
Расстанусь с головой, ты — с головою болью.
Вот сердце! На, бери! Коль хочешь, можешь съесть!
Я думал: друга нет, теперь я вижу — есть!
Когда твой светлый лик мне сердце жечь не будет,
Я сердце сохраню, но свет оно забудет.
Коль требовать мой глаз взаимности начнет,
Пускай мучительный почувствует он гнет.
Но если от тебя моя душа в истоме
Уйдет — невеста к ней придет лишь только в дреме.
Коль ты теперь пошлешь мне хоть один укор, —
Один твой волосок пресечь сумеет спор».
Уснул он, прошептав любовных слов немало,
И локон Сладостной рука его сжимала.
...Лишь кубок небеса пустили круговой,
Напиток пурпурный расплескивая свой,
Проснулся государь и кубок поднял снова.
Еще вчерашний хмель бродил в уме Хосрова.

И ухватила вновь его за полы страсть,
И пламени опять его зажала пасть.
Забушевал огонь вскипающей отравы,
Как будто бы напал на высохшие травы.
Ширин он сжал, сказав: «Я медлить не хочу».
Он будто на тахту натягивал парчу.
Спасен онагра бок от жадной львиной пасти:
Находчивой не быть у сильного во власти.
И, распалившись увидевши царя,
«Не надо, — молвила, — безумствовать, горя.
Что распалить себя? Ведь жребий незавидный
Мне сделаться, о шах, в твоих глазах бесстыдной.
Нехорошо, что ты таким огнем объят:
Ведь с разогретых роз чуть веет аромат.
Коль господин с рабом в своих речах не сдержан,
Соблазнам дерзостным его слуга подвержен.
Зачем пытаешься с рабами рассуждать,
Коль надо промолчать иль наказанье дать?
Царь, ежели под ним царевый конь хромает,
Как нужного достичь, смутись, не понимает.
Когда минует срок твоей невзгоде, — верь,
Тобой любимое к тебе ворвется в дверь.
И пьяный для очей разумных не находка,
Коль с чашей он сидит, а на ногах — колодка.
Ты к царству устремись, а я невдалеке,

Ты в руку власть возьми, а я в твоей руке.
Венчанный! Без твоей быть не хочу я чести.
И честь твоя, и я — мы быть желаем вместе.
Честолюбива я, и под ноги тебе
Повергну душу. Я — верна твоей судьбе.
Возрадуйся, ведь ты откроешь двери власти.
Ликуй, твой светел рок, минуют все напасти.
От царственных удач к любви пойдет стезя.
В тревоге отыскать сокровища нельзя,
С терпеньем ты найдешь все, что тебя чарует,
В покое обретешь ту, что покой дарует.
Язык, потом — слова; глаза, а после — свет.
Поднимется лоза, вино приходит вслед.
Не в яростном жару у мудрых дело зреет,
«От жаркой беготни козел не разжиреет».
Не должно мне, о нет, в изгнании твоём
Быть прихотью твоей, с тобою быть вдвоем.
Могу ли дружбою связаться я нестрогой,
Быть другом, что ведет недоброю дорогой?
Пусть ты и власть твоя- вы будете друзья,
Тогда, о шахиншах, с тобой сдружусь и я.
Боюсь, что коль во мне одна твоя услада, —
Меж царством и тобой останется преграда.
Коль будешь возвращен к могуществу судьбой, —
То буду я, увы, утрачена тобой.

Наследьем древним был весь мир в роду Хосрова.
Ему ль наследьем стать наследника другого!
Ты хочешь мир схватить — не медли же, не стой!
Завоеватели владеют быстротой.
Чреда верховных дел идет путем размерным,
Но царство должно брать ударом быстрым, верным.
В любого шаха ты попристальной взглядишь, —
Решеньем быстрым он в свою вознесся высь.
Ты юн, и мощен ты, ты создан для державы.
Ты родом царственен, прекрасный, величавый.
Стреножена страна: сбрось узы мятежа.
Очнись, и робкий враг покается, дрожа.
Индийца, что, напав, твои поклажи вырвал,
По-тюркски твой венец в мгновенной краже вырвал,
Ударь мечом — и прочь отпрянет голова!
Да канут все следы былого колдовства!
Рука царя, что все добудет в жизни нашей,
То быть должна с мечом, то с пиршественной чашей.
Ты должен меч поднять и кликнуть клич; ведь шесть
Пределов мира есть, и войска в них не счесть.
Удача, вымолвив: «С Хосровом рядом встану», —
Направит камень твой ко вражескому стану.
Иль руку приложу я к делу твоему,
Иль руки за тебя в молитве подниму».

Хосров покидает Ширин и направляется в Рум.

Венчание Хосрова с Мариам.

И царь был распален ее великим жаром.

И на Шебдиза он вскочил во гневе яром.

Он грозно выкрикнул: «Меня не скоро жди!

Коль море иль огонь увижу впереди,

Клянусь: я от огня не отвращу Шебдиза,

И что его прыжку морей кипучих риза!

Не думаешь ли ты, что буду спать и впредь?

Ручаюсь: дремлющим Хосрова не узреть.

На высоту слона теперь я земли взрою,

И боевых слонов для смотра я построю.

И стану я, как слон, — могучий, грозный слон.

Я на подушке спал. Я ныне пробужден.

Я, все забыв, осла завел на эту крышу.

Свести сумею вниз! Я зов рассудка слышу.

Кувшин, что сделал я, теперь не берегу.

Сумел его слепить — разбить его смогу.

Меня ли разжигать, в меня вперяя очи,

Иль обучать гореть во мраке долгой ночи,

Неисполнением желанья устрашать,
Иль мужеству меня надменно обучать?
Моя любовь к тебе меня миров лишила!
О страсть! Тьму-темь, людей она голов лишила!
Я знал бы, коль во мне ты не родила смут:
Опять края венца мне волосы сожмут.
Не голову ль мою поймала ты арканом?
Сняла его, но все ж я пленным был и пьяным.
Ты мне дала вина смертельное огня,
И опьяненного связала ты меня.
И опьяненному твердишь ты: «Поднимайся,
На трезвого врага неистово бросайся».
Да, мы сразимся с ним! Я вражий сброшу гнет.
Но дай сперва уйти из тягостных тенет.
Душа, опомнившись, движенья захотела.
По следу двинусь я мне радостного дела.
Да, наставленья мне хорошее дано.
И совершится все, что ныне быть должно.
Ты мне сказала все о том, каков я ныне.
Ты мне поведала о зле, о благостыне.
В былом подвластен мне был необъятный дол.
Мой славен был венец, мой славен был престол.
В скитальца ты меня мгновенно обратила,
В того, кто в горестях бесменно, обратила.
Я был пришит к седлу любовною тоской.

Какой бы вихрь занес сюда меня? Какой?
Пока твоя приязнь сверкала мне украдкой,-
И речь твоя ко мне текла, как сахар, сладкой.
Тобою от любви я ныне отрешен.
На мой отъезд приказ тобою мне вручен.
Я знал, что я уйду, лишь срок укажет небо,
Ведь злонамеренным я гостем вовсе не был.
Был потчеван тобой, — и медлил потому.
Уйду, коль хлеба ты мне сунула в суму».
Гилянского коня направив из ограды,
Путем гилянским он повел свои отряды.
Сердитый на Ширин, он мрачен был, угрюм.
Поход ускоривши, направился он в Рум.
Он знал: стрела врага лететь в него готова.
Венца не стало. Шлем — вот он, венец Хосрова!
Он, зная, что пути оберегал Бехрам,
Скакал без усталости по долам и горам.
Четырехкрылый был под ним орел; дракона
Хранил у пояса Бехрам! Страшись урона!
И вот к монастырю примчался он; монах
Ютился там. То был «Всепостиженья шах»
Ему грядущее немало дел открыло,
И для Хосрова он истолковал светила.
Все стало явственней. Он мудрый дал совет.
Он изречениями открыл Хосрову свет.

И к морю поспешил Хосров, и переходы
Он делал одвуконь. И вот сверкнули воды.
Он гнать вдоль берега гнедого не устал,
В Константинополе кайсару он предстал.
И призадумался тогда владыка Рума,
И важное чело избородила дума.
Удачею он счел для дома своего
Приезд Хосрова в Рум; и обнял он его.
Узнав, что в числах звезд приязнь, а не коварство,
Прибывшему решил свое вручить он царство.
И дать — хоть воздвигал он христианства храм —
Парвизу в жены дочь — царевну Мариам.
И меж владыками в ночь свадьбы было много
Условий скреплено; все обсудили строго.
О Мариам, о нем, кто счастья встретил свет,
О том, какой он смог румийцам дать ответ,
Как с Ниатусом он хитро, хвостом павлина
Построил рать, о всех походах властелина
Не стану говорить; о том сказал иной —
Бреду, а он уснул, пройдя свой путь земной.
Коль захочу я сбить былым рассказам цену,
Сказитель будущий собьет мне разом цену.

Сражение Хосрова с Бехрамом и бегство Бехрама

Дни пиршества прошли, и начал собирать
Хосров Парвиз в поход обещанную рать.
Войска созвал кайсар; все, что сулил, — утроил.
Он, с золотым умом, все золотом устроил.
И собранных полков таков был грозный рой,
Что будто бы гора катилась за горой.
Железная гора, пыля, передвигалась,
Как будто, вся дрожа, земля передвигалась.
Шах оглядел бойцов, и тысяч пятьдесят
Он отобрал; о них предания гласят.
Он вышел в ночь, решив связать Бехрама туго.
И чашею стал шлем, одеждою — кольчуга.
Когд» Бехрам узнал, что поднят бранный клич,
Как сильный лев, решил добычу он достичь.
Но с лисьей хитростью судьба замыслит гибель, —
И сила льва — ничто. Какая в силе прибыль?
Лицом к лицу войска, мечи обнажены,
Средине и крылам приказы вручены.
Свист стрел и лязг мечей в своей звенящей силе
С ума свели бы львов, слонов бы умертвили!
Услышал бы мертвец литавров страшный вой.

От воя разум свой утрачивал живой.
Златоподкованных коней в рубинах брони.
То — кровь: она была на латах, на попоне.
И ржанье скакунов, чья полыхала грудь,
Вливало яростно в земное ухо ртуть.
И всадников мечи, как молнии, плескали.
Все львы воспрянули, внезапно зубы скаля.
Смерть бытию в тот час творила западню.
Сей гнев и Судному не мог бы сниться дню.
Смерть направляла в грудь и заостряла дротик
И закружила всех в своем водовороте.
Навис железный лес, мчит остря, грозя, —
И бегство поняло, что убегать нельзя.
В тех зарослях онагр от льва не знал спасенья,
А от клинков и лев не обретал спасенья.
Не ветер проникал под розы лепестки,
А под доспехи — стрел мгновенные броски.
Орлы кровавых стрел! У них, пробивших латы,
На крыльях коршуна написаны бераты.
Кольчугорезы, в медь вбирающие яд,
Кольчугоносцев сном погибельным поят.
И кровью — брызги ввысь до самых звезд несутся!
Вкруг медных манджуков полны до края блюда.
Ломались копья. Ветр, что так по ним рыдал,
К парчамам подлетев, им кудри распускал.

И, обезглавленных мужей увидя, в муке
Земля раскрыла грудь, заря раскрыла руки.
И перевязи все отброшены; рассечь
Один готов врага, другой — роняет меч.
Несется тюркский крик, труба ревет, стеная.
Что громче тюркского взывающего ная?
Распущенных знамен багряные шелка —
Огонь, струящийся по гушам тростника.
О, сколько здесь мечей! И кровь на них не стынет!
Не столько камешков раскинуто в пустыне!
О, сколько стрел в виски внедряет смертный яд!
Не столько листьев шлет на землю листопад!
И на спину слона воздвигли трон Хосрова,
И мощь его меча к сражению готова.
Пред яростным слоном стоял Бузург-Умид.
Он с астролябией; он срок определит.
Базар врага шумел. Но вот пришло мгновенье —
И на базаре том настало запустенье.
Тогда Бузург-Умид сказал царю: «Спеши.
Удачен гороскоп; все разом разреши.
Коль шахматной доской войны прельстился, — следуй
Вперед. Стреми слона. Ладьею бей с победой».
И царь погнал слона, и войско отстранил.
К Бехраму он летал, как закипевший Нил, —
И под слона поверг, промчавшись смертным логом,

Он слонотелого, взмахнувши слононогом.
Губителен врагу был завершённый бой.
Был награжден Хосров приятной судьбой.
Текла потоком кровь, что битва источила,
И не мячи она, а головы влачила.
Как негра волосы, вились арканы; лих
Румиец каждый был, набрасывая их.
И с каждого врага мечом индийским смог он
Вмиг срезать голову, как бы индийский локон.
Как боль, что страждущим порой приносит свет,
Бехрамцев ужас жжет; для них спасенья нет.
Кого же увела спасения дорога?
Бехрама одного да раненых немного.
Бехрам был мощным львом, но бледен стал, понур.
Низвергнут он судьбой, как был низвержен Гур.
Не ждал ни ночью он, ни днем дурного глаза.
Да рок его обжег огнем дурного глаза.
Погибли все; гляжу — и смертный вижу пир.
Быть может, спасся тот, кто взор закрыл на мир?
Когда Бехрама в прах звезда повергла злая,
Хосрову радость он доставил, не желая.
Мир много гумен жжет как будто невзначай.
Сего забавника шутить не обучай.
Какой не вознесет он кипарис! Но скорбью
Он в час назначенный все кипарисы сгорбит.

Какой из красных роз, что нежно он взрастил,
Увянуть не дал он, какой не пожелтил!
Не все нам сахар есть, хоть сахар нам и сладок.
Пьем чистое вино, но выпьем и осадок.
Здесь подмели — твой дом, там подметают — свой.
Здесь об пол бьют ногой, там бьются головой.
Тут музыканта саз свои возносит звоны,
А там — прислушайся! — там плакальщика стоны.
Но звук — от скорби ли, от саза ли возник —
Под сводом, зримым нам, звучит лишь краткий миг,
Вселенной логово — все жгучее горнило —
От роз и от шипов следов не сохранило.
Ведь черно-белый конь наш мир задорно мчит.
Нельзя, чтоб он не бил ударами копыт.
На синем скакуне несется рок и разом
Наскочит; от него бежит в испуге разум.
Все на других, о друг, надеешься? Пойми,
Что все изменчиво; мир не в ладу с людьми.
Был на Бехрама зол небесный свод, и снова
На трон торжественно возводит он Хосрова.
Бехрама хмурого не к Чину ль путь повлек?
И где верховный чин? Его отринул рок.
Что ж! Небо ведь не раз венцы с царей снимало.
Под сей завесою таких забав немало.

Восшествие Хосрова на престол в Медаине во второй раз

Когда из знака Рыб луна свой лик взнесла, —
Луна Парвизова в знак шахства проплыла.
Под благосклонных звезд благоприятным кровом
Хосров Парвиз воссел на троне бирюзовом.
И воссоздал тогда в пределах стран земных,
На радость подданных, он славу дел своих.
Когда великое собрал он царство снова
И вновь державных дел крепка была основа, —
Хосров свой поднял трон от праха до Плеяд.
Дал морю — жемчуга, земле — алмазный клад.
Таких сокровищ блеск не видел мир воочью.
Светлей, чем лунный луч, они сверкали ночью.
Как лев, свой занял он благословенный трон.
Благословения от храбрых слышал он.
Его печать прияв, мир позабыл томленье, —
И мира целого он видел мирволенье.
Его величие — сияния поток.
Второго солнца свет весь озарил восток.
И гул шумливого и радостного стана

От Балха людного дошел до Шахиджана.
И вот когда престол Хосровов стал пригож,
Ресницы Сладостной свой начали грабеж.
И можно ль отвратить от сердца эту муку?
И как призвать сюда ту, что сразит разлуку?
Воздвигла Мариам Хосрову пышный трон.
Тем тронном был Иса к зениту вознесен.
Но пусть владычества достиг он, словно клада, —
Подруги не было, — и где была услада?
Я знаю, радости он знал от Мариам,
Но дух летел к другой, неистов и упрям.
То с чашей горькою стенал он: «Где ж удача?»,
То чашу сладкую пригубливал он, плача,
То сердцу говорил: «Чем жар твой возбужден?
Любовь тебе мила иль падишахский трон?
Любовь и царство! Нет, им не ужиться рядом!
Иль к царству устремись, иль к сладостным отрадам.
Встарь барсу неким львом совет был мудрый дан:
«Ослицу на приплод пусти или в Зенджан».
И если, взявши трон, я не вздыхал бы сиром, —
Моя душа сполна все получила б с мира.
Но должен я купить, коль спит счастливый рок,
За сто хотанских царств любимой волосок!
Я с милой спал в саду, луна была на небе.
Мне ложе сторожил недремный светлый жребий.

Уснул счастливый рок, — и пробудился я,
И сердца не нашел. Где милая моя?
Где радости пиров, звенящих вновь и снова.
Цветущий рай, не мгла пристанища земного?
Где созерцание луноподобных лиц?
Где пребывание с царицею цариц?
Где сладкая Ширин и сладкие реченья,
Как бы сладчайших вод сладчайшие теченья?
Где та бездремная полночная пора?
Где сказок череда, что длилась до утра?
Где розы лепесток тугой, сахароносный,
Харвары сахара, что собран с розы росной?
Где руки, что плели среди дворцовых стен
Серебряных тенет благожеланный плен,
И розы-сладостной к щеке прикосновенье,
И гиацинтов кос плетенье, расплетенье?
О, где объятий жар, где ласковость Луны
В безлюдье, в сладкий час полночной тишины,
И кубок, данный мне с приветом и любовью,
И час, когда я ник к блаженства изголовью?
Слова, что молвил я, слова, что слышал я, —
Мне сон их нашептал или мечта моя?
Твердят мне: «Весел будь. Ты — солнце; ни обида,
Ни скорбь не омрачат древнейший трон Джемшида».
Но как же наполнять мне сладким смехом рот?

Ютятся стоны в нем; им наступил черед.
Кого мне призывать? К каким взывать усладам?
Злой ветер пролетел моим весенним садом.
«Ты малодушен был!» — смеется надо мной
Рассудок мой, дразня, мой разжигая зной.
Враги отсутствуют — расти удачи стали,
Мой друг отсутствует — и множатся печали.
Незоркий соловей! Твой неудачлив рок:
Ты гнездный пух сменил на шелковый силок.
Без пользы я стремлюсь к садам великолепья:
Дал ноги оковать я золотою цепью.
Мне цепи не сорвать! Узка моя стезя!
Мне с цепью улетать к возлюбленной нельзя!
Коль дела об одной мы с сердцем не рассудим,
То как же, царствуя, страдать по стольким людям?
Сто утешителей мне надобно иметь.
Сто горьких горестей возможно ли терпеть?
Я на себя с ослов перелагаю грузы,
Посмешищем ослов от этой став обузы.
И солнце и луна — они горят костром,
Сдружившись над земным раскинутым ковром.
Рассеянна душа, — и мраком все одето,
Рассеян сердцем был, — и вот не стало света.
Пусть полон синий сад цветущих звезд игрой, —
Не мощен звездный свет: ведь звезд разрознен рой.

Рассеян свет свечи, — ив нем не стало жара,
Сосредоточенный — властнее он пожара.
Не хочет сердце, нет, чтоб царством правил я.
А с сердцем враждовать не хочет мысль моя.
Вновь сердцу суждена с судьбою темной схватка,
Ко мне, окрепшему, вернулась лихорадка.
Мышь в норку ящериц пробраться не смогла, —
И глупой ко хвосту подвязана метла.
И так уж черный негр обличьем не прекрасным
Страшит, а заболев, он делается красным».
Себя корит Хосров, к себе взывает он:
«Ты силу получил, ты властью осенен.
А коль имеем власть, судьбу смиряем нашу.
Ты властен — женщина с тобой поднимет чашу.
Не должен человек с собою в распре быть.
Всевластный может ли о власти позабыть?
Власть у тебя — и страсть все обрести готова.
«Власть» — лучшего судьба найти не сможет слова.
Все достижения всевластному легки.
Зерном ведь всяких птиц заманишь ты в силки.
Для пропитания посеяна пшеница,
Сей снова, а трава с ней рядом уродится.
Есть власть — и беды все мы можем превозмочь.
Пускай безвластие от нас умчится прочь!»
Так с сердцем пламенным не раз он вел беседу.

Когда придет любовь — терпенья нет и следу.
Но твердо протерпел он разлученья срок,
И час пришел: зарю к нему направил рок.

Стенания Ширин в разлуке с Хосровом

Так в книге начертал великий мастер слова,
Тот словомер, чья речь готова для улова:
Ширин, когда ее оставил шах одну,
Была как бы в цепях, была как бы в плену.
Из влажных миндалей шли розовые струи,
К цветущим миндалям стремясь, как поцелуи.
Овечкой бедною, зарезанной она
Упала в трепете, отчаянья полна.
И в ней не стало сил; она лежит устало.
И с муравьиный глаз ее сердечко стало.
Смел ветер урожай, развеял полный ток!
И наземь ниспадал кровавых слез поток.
Запуталась в силках. Где милый? Стал далек он.
Она в смятении, как беспокойный локон.
Разлука стелет ей свой горестный рассказ.

Колени в жемчугах из моря черных глаз.
То падает она, — пьяна она от муки, —
То в исступлении заламывает руки.
Уста безмолвствуют, иссушен бедный рот.
Сидит у ручейка, что из очей течет.
Прекрасный кипарис дрожит, как листик ивы.
Что мускус рядом с ней и нежный мех красивый!
Вот на земле она. Лежит, как смятый знак,
И мускусных кудрей разбрасывает мрак.
Ногтями, что сродни лишь лепесткам несрина,
Терзает розы щек. О горести пучина!
На сахар уст ключи из миндалей пошли.
Уннаб! Он ноготков кусает миндаля.
То мечется, как мяч, свою смиряя рану,
То изгибается, подобная човгану.
Весна — огнем луны преображенный путь —
Уж распадается как пролитая ртуть.
В ночных набегах мук ее души дорога, —
И лагерь сердца пал, — но мук в засаде много.
И прянули они из мрака на конях,
Терпенья первый полк они разбили в прах.
От корня печени до сердца — разграбленью
Все было предано, все предано томленью.
Султан души разбит; насилу спасся он,
Свой препоясав стан, приветствуя полон.

То день она кляла, когда заныло сердце, —
Как бессердечная, в сердцах бранила сердце,
А то кричала: «Рок! Ты горшей с той поры,
Как существует мир, с людьми не вел игры!
Все, что желанно мне, о чем томлюсь в разлуке,
Ты выхватил из рук, сперва давая в руки.
Ширин! Твоя нога задела ценный клад,
Но за находку ты не видела наград.
Весне открывши дверь, сама, ветров усердней,
Убила ты весну, схватив колючки терний.
Ты светоч избрала из светочей, и свет
Его задула ты, — и светоча уж нет.
К живой воде пришла, и вмиг вода пропала
За то, что с жадностью ты к влаге не припала.
Что у печи нашла? Пылание огня.
Он истомил тебя, все милое гоня.
И ныне ты в огне и в тяжких клубах дыма.
Без нужды ныне ты отчаяньем томима».
То с неба возвещал ей благостный Суруш:
«Ты чаемого жди. Есть утешитель душ».
То див страстей ей мозг укором жег суровым:
«Должна была, Ширин, ты мчаться за Хосровом».
Пробыв немало дней в отчаянья краю,
Ширин в другой предел направила ладью.
С дорожной пылью рок ее сродняет строгий.

Она минует пыль мучительной дороги.
И ко двору Бану приблизилась она.
И стала для Бану ее тоска ясна.
Душа Михин-Бану рыдающей внимала.
Разумных слов Ширин слышала немало:
«Немного потерпи, твоя пройдет беда.
Ты цепью скована, поверь, не навсегда.
Что быстрочастной быть, как роза? Будь мудрее.
Тем раньше рухнет мост, чем водный ток быстрее.
Взгляни, дано мячу и падать и взлетать.
Знай, всякий, кто упал, — поднимется опять.
Прозябнуть, а потом — взрасти всем должно зернам.
В срок все, что связано, развяжет рок проворно.
Желанье сладостней, когда его я длю.
Все быстропьющие — мгновенно во хмелю.
Кто понукать коня для бега не устанет, —
Обгонит всех. Потом — от спутников отстанет.
Осел, что шестьдесят легко взял менов, — он,
Приняв еще пяток, не будет утомлен,
А тучи, что летят, как мчащиеся бури,
Все выплачутся вмиг, — и нет уж их в лазури!
Дух в нынешней беде смирением одень.
Кто знает, что тебе пошлет грядущий день?
Ты унижения была сносить готова,
Немало горестей терпела от Хосрова.

Он бесполезен был? Что ж! Скорбь угомони.
Бояться нечего: не съедено яхни.
Настал терпенья час, и счастье светит скудно.
Не торопись, ведь вверх воде взбираться трудно.
Когда придет пора воде помчаться вниз, —
С ней счастье потечет, к тебе придет Парвиз.
Ты скажешь: «Я добро и зло постичь сумела»,
Когда своим ключом раскроешь створки дела.
Сине-зеленою нам кажется парча,
А в складках скрылся цвет багряного луча.
Немало мест, что нам простой землею мнятся,
А там и бирюза и яхонты таятся».
И удалось Бану — кто был бы ей под стать? —
Кумир, что без четы, с терпеньем сочетать.
И опытный Шапур, властитель изречений,
Привел ей несколько тончайших заключений.
И сердце жаркое в покой заключено,
О милом памятью утешено оно.
Ширин сносила дни, что горестно летели,
Без счастья прочного, без сердца в нежном теле.

Завещание Михин-Бану

Бану тоску Ширин стремилась превозмочь.
Опять ее Луна должна украсить ночь.
Но к благу бытия пресытившись любовью
Она, призвав Ширин однажды к изголовью,
Ей подает ключи: «Сокровища принять
Готова будь, Ширин, твоя уходит мать».
С недугом тяжкий спор стал глуше, бесполезней:
От благоденствия Бану пришла к болезни.
Недуга быстрого ее промучил зной;
Отвергло тело — дух, дух — мир отверг земной.
Рок разлучил ее с отрадой жизни краткой, —
И мир столь сладостный она вручила Сладкой.
Ушел ее закат за черный небосклон,-
И в землю снизошла, покинув царский трон.
То мирозданья власть; иного нет удела.
Всем веснам свой предел земля иметь велела.
Хоть склянка из камней, но склянка не снесет
Удар кремня, и все свой обретет черед.
Судьба творит стекло, иначе не бывает,
Но каждое стекло она же разбивает.
Пусть мудрая пчела скопить сумела мед, —
В чем польза, коль сама весь этот съела мед?
Вкруг зримого всего не вихри ли завывли?

Ты зримым не пленись: оно — пригоршня пыли.
И ветер, налетев, раскинет складки риз.
И травы разметет, и сломит кипарис.
В основу ветер взят, и вот — жильё готово.
Не радуйся жилью: плоха его основа.
Из-за чего в силках ты бьешься? Посмотри:
Нам дан гнилой орех, лишь пустота внутри.
Как заяц, как лиса, прельщаться ль в жизни краткой
Сном рока заячьим да лисьею повадкой?
Охотники на львов! Их мощный ряд — не мал.
Но сей лисице барс их в должный срок подмял.
Я взором опыта на мир взглянул, — и что же?
С чесанием руки все наслажденья схожи.
Так хорошо руке! А тронь, а снова тронь, —
И скоро руку жжет мучительный огонь.
Хоть сладостно пьянит благая чаша мира,
Похмелье — лишь оно останется от пира.
Забудь свою печаль: ее не стоит свет,
И радости твоей твой мир не стоит, нет!
Уставил яства мир направо и налево, —
Но вкусишь только то, что умещает чрево.
Сто кладов у тебя иль только лишь динар, —
Лишь то, что сможешь съесть, от мира примешь в дар.
Пока во здравье ты, пока не стал ты хилым,
Твой дух всем сумрачным противостанет силам.

Коль поколеблен дух, коль в нем не стало сил —
Напрасно бы у звезд здоровья ты просил.
Твой улыбнется рот земному пепелищу,
Коль естество твое усваивает пищу.
Коль человек взомнит: «Уж мне надежды нет», —
Путей спасения он забывает след.
Мир и дела его — все кажется мне ядом.
Ешь осторожно снедь; мирским не верь уладам.
О жадный! Кто жадней могильных злых червей!
Ты пояс подтяни, как скромный муравей.
Недуг обходит тех, кто скромн, а сегодня.
Как и вчера, умрет обжор дебелых сотня.
Не надо истреблять чрезмерно много трав,
Иль станешь ты искать лекарственный состав.
Коль будешь хлеб вкушать, как долю гюльшакара,
Ты тело не отдашь в неволю гюльшакара.
Как роза, блещет все, что не пошло на снедь,
Но съеденным плодам уж не блистать, а тлеть.
Зачем стяжаешь ты, коль жизни ты не просишь?
Спеша к мирским делам, зачем ты их поносишь?
Тому дает покой житейский горький дол,
Кто в нем подобно мне приюта не нашел.
Кто поселился в нем, тот должен на потребу
Иметь хоть горсть воды к ниспосланному хлебу.
Ты, смятой глины ком, — в смятении не будь!

Ты — прах, но пусть твоя не изнывает грудь.
Стыдится мир того, кто может из-за мира
В уныние прийти, чей дух блуждает сиро.
О пропитанье, друг, ты не имей забот:
Кто жизнь тебе послал, тебе и снедь пошлет.
Как небо ни хитро, как небо ни зловеще, —
Две клячи — день и ночь — оно посменно хлещет.
Знать, одвуконь езда ему на ум пришла —
То оседлает свет, то сумрак у седла.
Коль унесен отец в сей горестной стремнине,
Как сыну, в свой черед, не близиться к кончине?
Когда индийца — мир — убьет наследник, он
Клинком отмщения не будет поражен.
В ладу с индийцем ты, отца убившим? Воин!
Как не бесстрашен ты, — быть сыном не достоин.
Кинь горбуну стрелу в изогнутый хребет!
Он весь твой род убил, в нем снисхожденья нет.
Пока небесный свод свой лук тугой имеет, —
Жир нагулять себе добыча не сумеет.
Коль по траве олень идет к приюту льва, —
Клинками острыми становится трава.
Ты ль в безопасности? Подумай, друг любезный,
Ведь за тобою — смерч, а пред тобою — бездна.
Страшись! На сей реке спокойствия печать,
Но ей дано людей спокойно поглощать.

Найти ль цветущий сад, что, побежденный днями,
Не стал бы пустырем с обглоданными пнями?
Пред мудрецом наш мир не горестно ль возник?
Кто сладостно живет, тем горек смертный миг.
Тот, кто весь этот свет со скорбью озирает.
Тот, светочу сродни, сияя, умирает.
Взлюбивших мир сравню с кустом цветов лесных:
Лобзают руки тех, что обезглавят их...
Вот проповедник наш, кричит он: «Как солому,
Брось мир, — я подниму, он пригодится дому!»
А вот подвижник наш, в сто человеческих сил
Он молит: «Скинь его, чтоб я его носил!»
Но если хрупкий мир — расколотая чара,—
Все царства на земле не стоят ни динара.
Гостинец пустоте, небытию припас, —
Та сущность чистая, что обитает в нас.
Сказали мудрецы всезнающие: «Верьте,
Кто плох, а кто хорош, — узнается в день смерти».
Есть женщины, они — мужи в предсмертный миг.
Иной дрожащий муж от смерти прячет лик.
Творец! Когда наткнушь на камень и с разлета
Нырнет моя ладья во мрак водоворота, —
Ты одари меня, под кров благой возьми,
Успокоением возрадуй Низами!

Воцарение Ширин

И перешла к Ширин Михин-Бану держава.
От Рыбы до Луны о ней сверкнула слава.
И справедливости возрадовался люд.
Былые узники свободный воздух пьют.
Все угнетенные забыли время гнета:
Ширин с времен своих отбросила тенета.
Уж не взимался сбор у городских ворот,
Налогов не платил за пажити народ.
Облагоденствовав и город и селенья,
Ширин, не ждя даров, сыскала восхваленья.
И вот и перепел и сокол уж друзья,
И даже волк с овцой встречались у ручья.
Народ и дальних мест и живший недалеко,
Царицу полюбил бесхитростно, глубоко.
Обилье все росло, все ширилось оно.
Сам-сто смогло давать единое зерно.
Добра исполнен шах — и щедрых трав цветенье
Рождает не цветы, а ценные каменья.
У злонамеренных сады иссушит рок.

Добра исполнен шах — и путь его широк.
И ширь и тесный лог в его краю счастливом
Гордятся временем и шахом справедливым.
У шаха, коль он — шах, дух не снует во тьме.
Нет злодеяния у шаха на уме.
Но о царе царей к Ширин не мчатся вести.
Хоть царство у нее, но сердце не на месте.
Хоть кейхосровову она имеет власть,
В пустыню смотрит взор, а в этом взоре — страсть.
От караванов ждет и ждет, сгорая, снова
Живительных вестей о странствии Хосрова.
Узнав, что счастлив шах, что, как Юпитер, он
От праха до Плеяд свой прежний поднял трон,
Она рассыпала сокровища, — и люду,
Законы дружбы чтя, их раздарила грудю.
Но весть о Маркам ей муку принесла:
Законы Маркам строжайшие блюла.
И в Руме Мариам принудила Хосрова
В великой верности дать клятвенное слово.
Ширин, поведавши о горести такой,
Вздыхая горестно, утратила покой.
«Судьба, — твердит она, — мне все свершает назло».
Ширин, как мул в грязи, в страданиях завязла.
Она царила год, храня свои края,
Ни птахи не спугнув, щадя и муравья.

Как мрак разбойных глаз, и сердце стало темным,
Как буря локонов, и дух стал беспокойным.
Ширин устрашена: ее тоска вот-вот
Честь справедливых дел в смятении сметет.
Другого не нашел сей кипарис исхода,
Чтоб чистым был диван, как в дни былого года,
Как только, чтоб сиял пред ней один — Хосров,
Причина всей тоски и всех кручин — Хосров.
Решительности нет, ее душа устала.
Ведь твердости всегда влюбленным не хватало.
Наместник принял власть и все свершал один.
Ношением венца пресыщена Ширин.

Прибытие Ширин в Медаин

Гульгун навьючен; в путь пуститься вышло время.
Ширин в седле, Шапур ее хватает стремя.
Ширин сбиралась в путь, окружена гурьбой
Красавиц; только тех взяла она с собой,
От коих в дни трудов и в час досужий смеха
И помощь ей была и светлая утеха.

Динары и парчу с собой она взяла.
Четвероногих взять приказ она дала:
«Верблюдов и коней, овец, коров!» И долам
Дано наполниться потоком их веселым.
К чертогу горному спешит она; стада
За нею тянутся, как зыбкая гряда.
И в раковине блеск вновь затаился щедрый.
И драгоценный лал вновь погрузился в недра.
Индийской топи мгла клад убрала от глаз,
В кремнистый лог тоски запрятался алмаз.
Но от жемчужины блеснул окрестный камень.
Так мрачный храм огня вмиг озаряет пламень.
От лика Сладостной, что розовой весны,
Тюльпаны меж камней нежданные видны.
От пламени Ширин, что разгорался яро,
В горячем воздухе все больше было жара.
И царь, проведавши, что друг невдалеке,
В надежде возомнил: срок миновал тоске.
Но страх пред Мариам сражал огонь порыва:
Глядела Мариам в глаза его пытливо.
Не знал он, как завлечь Ширин в свой паланкин,
Не ведал, как бы мог он встретиться с Ширин.
Лишь вестью о Луне, лишь ветром он доволен,
Что плыл с ее путей. Он вновь любовью болен.
Взывая каждый миг: «Где милая моя?»

Он извивается в томленье, как змея.

Хосров просит у Мариам снисхождения к Ширин

Лишь из кармана тьмы явился месяц, — горы
Прикрыли им чело, явив свои просторы.
Из трапезной пошел в опочивальню шах.
Опять одну Ширин в своих он видел снах.
Но лишь его слова о Сладкой зазвучали,
Рот грустной Мариам стал горьким от печали.
В своей тоске поник пред Мариам Хосров.
Ису он поминал среди потока слов.
«Я знаю: хорошо то, что Ширин далеко.
Мне в рану сыпать соль ее не может око.
Все ж радостны враги, поступок мой браня,
И обеславлена она из-за меня.
Когда б сюда Ширин явилась без опаски,
Все к справедливой бы приблизилось развязке.
Из горного дворца позволь Ширин мне взять,
Среди дворцовых дев приют ей оказать.
Когда на лик Ширин взгляну хоть ненароком,

Пускай расстанусь я с моим горячим оком».

Сказала Мариам: «О миродержец! Ты,
Как звезды, на людей взираешь с высоты.
С тобою распрю мир оставил за вратами,
Склоняешь небеса ты властными словами.
Коль имя Сладостной твоей душе — халва,
Тебе не сладостна и неба синева.
Ты с мягкой халвой свои уста сливаешь.
К чему ж остывший рис ты все подогреваешь?
К чему тебе шипы? Здесь каждый финик — твой.
Верь, лишь бездымную все тешатся халвой.
В один ларец меня упрятать с ней — затея
Не вавилонского ли это чародея,
Что знает множество присказок, и народ
Сзываючи, пустить готов любую в ход?
Нас разлучат с тобой Ширин лукавой руки.
Тебе — довольным быть, мне ж — горевать в разлуке.
Ведь чары Сладостной я знаю хорошо.
Такие сказки я читаю хорошо.
Есть жены, до пяти не сосчитают с виду,
А хитростью пути отрежут Утариду.
На обливных горшках узоры рассмотри:
То — жены; ясный блеск, да мерзостно внутри.
И верности искать в миру, что полон яда,
У сабли, у коня, у женщины — не надо.

Мужскую верность ты жене не вложишь в грудь.
Промолвил «женщина» — о верности забудь.
Мужчины ищут путь, что служит им защитой.
Но в женах не найдут игры они открытой.
Из левого бедра мы вышли. Должен знать.
Что в левой стороне вам правой не сыскать.
Что тянешься к Ширин? Она не знает бога.
Тебе лишь бедами грозит ее дорога.
Узнаешь ревность ты, она — пучина бед.
Когда ж ты не ревнив, ты не мужчина, нет!
Так шествуй же один — и, лилии подобно,
Веселое чело ты вознеси свободно».
И молвит Мариам с горячностью большой:
«Клянусь я разумом и мудрою душой,
И кесаря венцом, и шахиншаха саном, —
Коль двинется Ширин к прекрасным нашим странам,
Петлею мускусной тоску я утолю
Тобой обижена, себя я удавлю.
Пусть ей меж голых гор чертог послужит кровом.
Ведь населенных мест не видеть лучше совам».
Из речи Мариам Хосров постиг одно:
Двум женщинам вовек ужиться не дано.
Он после речь свою с конца другого строил,
Терпенье проявил и ласковость утроил.
И приезжал Шапур к Хосрову; из долин

Печальных привозил он вести о Ширин.
И возвращался он с уловкою привычной.
От кровопийцы вез ответ он горемычной.
Ширин такой игре дивится: столько дней
Томленья сносит шах, все думая о ней!
Все ж сердцем ведала: его любовь — не ржава,
Но в терпеливости нуждается держава.

Хосров посылает Шапура за Ширин

Шапуру вымолвил однажды властелин:
«Доколе тосковать я должен о Ширин?
Ты в башню Лунный свет введи ночной порою,
И словно лал в ларце я там его укрою.
Свой возвратив престол, державу берегу
И быть с желанною открыто не могу.
Страшусь, что Мариам в неистовой печали
Сама себя распнет, как их Ису распяли.
Для сладостной Луны не лучше ль — посмотри —
Мне тайным другом быть; так дружатся пери.
Хоть на ее пути свои обжег я ноги,

Хочу ее беречь, как руку, что в ожоге.
Коль явно все свершу, жене не угодив, —
Вмиг, дива оседлав, она мелькнет, как див».
«Спокоен будь, — сказал художник островзорый, —
Я начерчу тебе китайские узоры».
И прибыл к замку он. Был замок — пенный шквал,
Шквал, что не пену вод, а пену вин взвивал.
Склонясь перед Ширин, сказал Шапур с участием,
Что следует порой заигрывать со счастьем.
«Чтоб гнаться за тобой, есть Рахш, но остриям
Царевых стрел сверкать мешает Мариам.
Он должен чтить ее. Он молвил мне угрюмо:
«В том клятву шахскую я дал владыке Рума».
Так выйди же со мной, мы сядем на коней,
В укомной башне ждут, — и мы помчимся к ней.
Будь с милым, час назначь утехы, а не плача.
Сумеешь — улетит соперницы удача».

Упреки Ширин Шапуру

Кумир в безлюдье злом, в злой пустоте Луна,

Что вся изнемогла, что все была одна,
Вскричала гневная, блестя очами строго:
«Стыдись речей своих, не ведающий бога!
Сомкни уста! Мой мозг ты словно сжечь готов!
Молчи! Достаточно безумных этих слов.
Дано тебе сверло, да не для всех жемчужин!
Не каждый помысел с умелой речью дружен!
Не к каждому ручью отыщется стезя!
Пусть руки могут все, — всего свершить нельзя!
Ты справедливым был? Об этом я не знаю.
Что ты несправедлив, теперь я понимаю.
Пусть удалит господь тебя от низких дел!
Пускай рассудок твой укажет им предел!
Ты царства моего лишил меня, а ныне
Взломил души лишить — последней благостыни.
Как лют разбойник мой! Я — словно крепость, он
Метнул в нее огонь, — и мой напрасен стон.
Я здесь, а там к другой спешит душа Хосрова,
Базар любовный там он затевает снова.
Честь утекла моя, но не замочен он.
Как будто я — ничто, ничем он не смущен.
О, как дозволено разбойнику такому
Меня, достойную, предать бесчестьем злему!
Нет! Он в бою со мной так разогнал коня,
Что с ним уже ничто не примирит меня!

Из замка мне бежать, когда б он был и раем,
Не должно, хоть судьбы мы будущей не знаем.
Хотя бы не Шалур, дочь кесаря пришла, —
Ее с позором бы из замка прогнала.
Что басни мне твердить! Ведь не хмельна я, право!
Меня не уловить играющим лукаво!
Да что царя хвалить иль слать ему хулу!
Господь! Ты знаешь все. Ты не прощаешь злу.
Молящему о том свои отдам я губы.
Нет, не берут халвы рукой такою грубой.
Весеннему цветку милей на землю пасть,
Чем в ветре осени метаться и пропасть.
Уж лучше, если псы на ловле схватят, — дабы
Не устроятся львов, вгрызающихся в слабых.
Приди, все сам скажи и сам ответ мне дай.
Есть ноги у тебя, других не утруждай.
Лев, чей умелый лов народ повсюду славит,
Лишь на своих ногах весть о себе доставит.
Ты ноги мне связал. Своих не мучишь ног.
Ты шлешь ко мне других, хоть сам прийти бы мог.
Не на чужих плечах свои таскаю грузы.
Не зубы посланных перегрызают узы.
Долготерпенья жар горит в моей крови.
Меня «Красавицей Терпенья» ты зови.
Но и в чужом краю, вдали родного дома,

Вольна в поступках я, с неволей незнакома». Но хоть упрек Ширин о камни бьют стекло, Смиряет сердолик ее упреков зло. Весь гнев ее слова излили на Шапура, — И сердцу легче вновь; взглянув не так уж хмуро, Шапуру молвила: «О, ты красноречив, И речь твоя течет, как плавных вод прилив. Когда приветствовать ты шаха будешь снова, То передай ему... мое послушай слово: «Так говорит Ширин: неверный! Не поймет Моя душа, где речь мне сладкая, как мед? Я мнила, что бродить не суждено мне сирю, — Ты ж покупателем другого стал кумира. Я прошлый облик твой в душе не берегу, Ведь сердце отворил ты моему врагу. Да от неправых дел твой дух влечется к правым! Да вспомнишь вздох Ширин ты сердцем нелукавым! Ты — счастье спящее. С тобой ли мне дружить? Ты — рок. Могу ли я с тобой в согласие быть? Ведь я унижена. Зачем искать такую? Ведь если я — раба, пошли мне отпускную. Нет! Я тебе ровня! И мой возвышен трон. Припомни, что мой рок тебе не подчинен. Меня поставил вниз, но буду я другою. Знай: на твои врата я обопрюсь ногою.

Рассыплю зерна я кипящих слез, — и вмиг
На мой порог взбежишь; я твой услышу крик.
Ты на моей крови сад насаждал с усладой,
Плоды собираешь ты. А я? Я — за оградой.
От твоего огня не стало мне теплей,
Но дымом взор мой жжешь все чаще ты и злей.
Как вероломен ты! Ведь ты мой стан разграбил.
И честь, принявши вновь свой царский сан, разграбил.
Ты был скитальцем, — я дружить с тобой хотела.
Ты дело совершил — и нет до Сладкой дела.
Меня ты вверг в позор; он тяжек и глубок.
Ты свой забросил щит в надменности поток.
Ты подписал приказ, ты мне назначил муки.
Уйдя, поверг меня в мучения разлуки.
Картину ты сыскал в румийской мастерской.
К армянской сладости что ж тянешься рукой?
Цветы румийского ты обрываешь дола,
Так не терзай венец армянского престола.
Страшусь: не зажигай ты снова свой огонь.
Огонь рождает дым; ты прошлого не тронь.
Ты не бросай шипов в полу судьбы. Послушай.
Не надо сыпать соль на разлученных души.
Ты ввержен в сладкий сон меж царственных пиров.
Что ж, отвернись от всех скитальческих шатров.
Пускай терзаюсь я, забудь ко мне дорогу,

Чтоб я могла себя отдать служенью богу.
Считай, что заманил ты птицу снова в сеть,
Но птица снова в степь сумела улететь.
Теперь безгорестных ночей я не имею,
И благосклонности твоей я не имею.
О, как терплю я гнет мучительных дорог!
Ведь охромел мой конь, а мой привал далек.
И сколько слез я лью, меня сжигает горе.
Пред ними ад — свеча, и с каплей схоже море.
И в море, где в огне горит моя ладья,
И в райских долах я, и в адских горнах я.
И все ж близ адских бездн, о сладостной отчизне
Припомнив, я тайком ищу истоков жизни.
Могу ли не скорбеть в пустыне без тебя?
Тот год была с тобой, а ныне — без тебя.
Твоей землянки дверь засыпана землею,
Моей воды поток потек над толовою.
О, долго ль мне ладью потоком слез вести!
О, долго ль дружеским свиданьям цвести!
Ведь без тебя мое не завершится дело,
Чтоб зреть ему, должны быть вожделенья зрели.
Покуда бытия не оборвется нить,
Больной надежд на жизнь не может не хранить.
Рассудок мой велит лишь к мудрости стремиться.
Но выводы любви не на ее странице.

На пегом скакуне уверенный ездок,
Ристалищем любви помчавшись, — изнемог.
Творит ученый смесь, что умудряет разум.
Но смесь дают тому, кто уж теряет разум.
Ты терпеливого влюбленным не зови.
В тревоге сладостной — рождение любви.
Терпенье не идет путем любви счастливым.
Любви блаженный жар не свойствен терпеливым.
Но пусть в тоске Ширин и в горе. Никогда
Пусть шаха не гнетет подобная беда!»
И вот, когда Ширин прочла всю повесть, землю
Поцеловал Шапур и вымолвил он: «Внемлю.
Решенье царственной всех наших слов ценней.
Твоя уместна речь», — и он поник пред ней.
Пусть мысль его была сверлить его готова,
Не говорил Шапур, сперва не взвесив слова.
Да, слово каждое, что твой рождает рот,
Ты взвесь, как золото, пуская в оборот.

Начало любви Ферхада

Серебряный кумир был весь исполнен гнева.
Подобная пери, в шелках шуршащих дева,
Там, где меж хмурых гор раскинулась тоска,
Не знала ничего приятней молока.
Хотя бы сто сортов халвы пред нею было,
И то бы молоко ей пищею служило.
Но далеко паслись ей нужные стада,
И путь к ним требовал немалого труда.
Вкруг логова тоски, по скатам гор разлитый,
Желчь источающий, рос лютик ядовитый.
И гнал стада пастух, проведавши про яд,
Туда, где пастбища угрозы не таят.
Ночь локоны свои широко разметала,
В ушко продев кольцо из лунного металла.
В кольце тоски Луна, что жжет, тоской поя,
Кольцом до самых зорь свивалась, как змея.
Пред ней сидел Шапур; готовясь вновь к дорогам,
Он с грустною Луной беседу вел о многом.
В заботы, что несла услада рая, он
Вникал, и обо всем он был осведомлен.
Узнав, что пастбища в такой дали от стана,
Внимающий расцвел, как лепестки тюльпана.
Индусом пред Луной он свой склоняет лик.
Как пред Юпитером Меркурий, он поник.
«Есть мастер-юноша, — сказал он, — будешь рада

Ты встретить мудрого строителя Ферхада.
Все измерения он разрешает вмиг.
Эвклида он познал и «Меджисте» постиг.
С искусною киркой склонясь к кремнистой глыбе,
Начертит птицу он, сидящую на рыбе.
Он розе пурпурной даст пурпур, и меж гор
Скале железом даст китайский он узор.
Пред ним поник весь Рум; и, сделав камень плоским,
На нем рисует он, его считая воском.
Помочь твоей беде, я знаю, он бы смог.
Он — ключ, и каждый шип он обратит в цветок.
Без мастера ни в чем достичь нельзя предела.
Но мастера найдешь, и завершится дело.
Мы с ним — ровесники; в Китае рождены.
И мастером одним нам знания даны.
Тот мастер ведал все; как лучшую награду,
Мне бросил он калам, кирку вручил Ферхаду».
Когда умолк Шапур, с души Сладчайшей гнет
Был снят, — докучный гнет хозяйственных забот.
День зеркало свое подвесил, и закрыла
Ночь многоокая все очи — все светила.
И стал Шапур искать, и вскоре разыскал
Того, кто был сильней неколебимых скал.
Он ввел его к Ширин. Приветливо, с поклоном,
Как гостя важного, его почтил он тронном.

Вошел, с горою схож и всех ввергая в страх,
Ферхад, что груды скал раскидывал в горах.
Был высотой силач, что мощный слон; почила
В Ферхаде двух слонов чудовищная сила.
И каждый страж из тех, кем был гарем храним,
Его приветствуя, склонился перед ним.
Он засучил рукав, как должен был по званию,
Он, препоясанный, встал пред широкой тканью.
В смущенье был Ферхад: рок на своем пиру
Вел за завесою какую-то игру.
И вот — ночной набег! Внезапное злодейство!
Рок развернул свое за тканью лицедейство.
С улыбкой, что в себя весь сахар собрала,
Вся сладость Сладостной свой голос вознесла.
Два сахарных замка сняла Ширин с жемчужин.
Стал сахар с жемчугом в одном звучанье дружен.
И пальма сладкая те финики дала,
Чья сладость финики терзала, как игла.
И сахар сладость слов — о молоко с хурмою! —
Почтя, сказал, что мед без них пойдет с сумою.
И сахар услышал: мир сахарный возник, —
И отряхнул полу от Хузистана вмиг.
Ее ведь Сладкою назвали, — и на диво
Беседу Сладкая вела сладкоречиво.
Ну что сказать еще? Да все, что хочешь, друг!

Пленял и птиц и рыб ее речений звук.
Когда уста Ширин свой сахар источали,
С поклоном леденцы Сладчайшую встречали.
Едва на сборище Ширин откроет рот, —
Сердца внимающих в полон она берет.
Сражала речью всех! От Сладкой оборона,
Клянусь, не найдена была б и для Платона.
В Ферхада слух вошла речь Сладостной, — и жар
В нем запылал, и дух в нем стал кипуч и яр.
Смятенная душа вздох извергает жгучий, —
И падает Ферхад, как падают в падучей.
Удар по темени Ферхада жег, — и он
Крутился, как змея, ударом оглушен.
Ширин, увидевши, что сердце у Ферхада,
Как птица трепеща, свой плен покинуть радо,
Взялась его лечить, но лишь сумела сеть,
Рассыпав зерна слов, вновь на него надеть.
«О мастер опытный, — услышал он от Сладкой, —
Ты разрешенною обрадуешь загадкой.
Желание мое, о мастер, таково,
Чтоб услужили мне твой ум и мастерство.
Ты, зная мудрый труд и замыслами смелый,
Сей заверши дворец своей рукой умелой.
Ведь стадо — далеко, а в молоке — нужда,
Дай талисман, чтоб нам иметь его всегда.

Меж стадом и дворцом в фарсанга два преграда:
Уступы скал, и в них проток устроить надо,
Чтоб пастухи в него вливали молоко,
Чтоб мы сказать могли: достали молоко»,
И, сладкоречия журчанию внимая,
Впал в немощность Ферхад, речей не понимая.
В свой жадный слух вбирать еще он маг слова,
Но что в них значилось, не знала голова.
Хотел заговорить — да нет! — умолк он сразу.
Он перст беспомощно прикладывает к глазу.
Он вопрошает слуг: «Что приключилось тут?
Я пьян, а пьяные как ощупью бредут.
Что говорила мне, мне говорите снова,
Что просит у меня, о том просите снова».
И слуги речь Ширин пересказали вновь,
По приказанию слова связали вновь.
Когда постиг Ферхад красавицы веленье,
Его запечатлел в душе он во мгновенье.
И в, мыслях приступил он к сложному труду,
Подумав: «Тонкое решение найду».
Он вышел, сжав кирку, за ремесло он снова
Взялся; служить любви рука его готова.
Так яростно дробил он мускулы земли,
Что скалы воском стать от рук его могли.
Был каждый взмах кирки, когда ломал он камень,

Достоин тех камней, чей драгоценный пламень.
Он рассекал гранит киркою, чтоб русло,
Что он вытесывал, меж кряжами прошло.
Лишь месяц миновал, — и путь, киркой пробитый,
Вместить бы смог поток в разъятые граниты.
От пастбища овец до замковых ворот
Он камни разместил, укладывая ход.
И так он все свершил, что водоемы рая
Пред ним простерлись бы, ступни его лобзая.
Так слитно ялитамн он выложил проток,
Что между плитами не лег бы волосок.
Ложбиной, созданной рукой творца умелой,
Сумели струи течь, гонимы дланью смелей.
Пусть кажется порой: безмерного труда
Рука преодолеть не сможет никогда.
Но сто булатных гор, воздвигнутых от века,
Сумеют разметать ладони человека.
Где то, чего б не смял всеильный род людской?!
Лишь смерти не сразить невечною рукой.

Приезд Ширин к месту работ Ферхада

И вот возникло то, что людям незнакомо:
Стекает молоко в пределы водоема.
И мастером Луне известие дано:
Водохранилище им сооружено.
И гурия, прибыв, всему дивясь глубоко,
Вкруг водоема шла, прошла и вдоль протока.
Ей мнилось: водоем и новое русло
Здесь только божество расположить могло.
Не дело смертного водоразделы рая,
Где бродят гурии, у млечных рек играя!
Услышал от Ширин хваление Ферхад:
«Да будешь промыслу божественному рад!»
И счастлив он, призыв от луноликой слыша.
И был посажен он всех приближенных выше.
«Мне нечем наградить такое мастерство.
Тут и помощникам не сыщешь ничего».
У дивной меж камней, и в полумраке ясных,
В ушах светились две жемчужины прекрасных.
И каждая красой венцу была равна.
Дань города была — жемчужинам цена.
И серьги сняв, Ширин с пьянящею мольбою
Сказала: «О, прими! Продай ценой любую.
Когда смогу добыть я лучшее — ценой
Достойной оплачу все то, что предо мной».

Жемчужины приняв, их восхвалив, — проворно
Ферхад к ногам Ширин бросает эти зерна.
И устремился он, смиряя горе, в степь.
Слезами заливал он, словно море, степь.
Нет! Страстью не затмит он созданного дела!
Он ждал, чтоб даль его забвением одела.

Плач Ферхада от любви к Ширин

Лишь сердцем к образу он Сладостной приник, —
Из сердца глубины любовь исторгла крик.
И вмиг все дни его мучительными стали.
И руки крепкие как бы навек устали.
И от людей бежать пришла ему пора.
Он падал, как больной, поднявшийся с одра.
В смятенье мчался он в ущелия и в степи.
И с ним врывался стон в ущелия и в степи.
Он, стройный кипарис, поникшей розой стал,
Как роза, в ста местах рубаху он порвал.
Рвя тернии с пути, он сгорбился. Несчастный
Шипы из ног своих вытаскивал всечасно.

Что нужды, что полу рвут терны, что от плеч,
Быть может, голову ему отторгнет меч.
Обуреваемый неудержимой страстью,
Он нетерпения охвачен был напастью.
Вокруг него нисар пурпуровый возник:
В тюльпанов заросли он обращал свой лик.
Рыданьем в воздухе свои он ставил мрежи.
Разбили небосвод и стон его, и скрежет.
Застигнутый огнем, рассудок изнемог,
Из сердца взвившийся огонь его обжег.
Сто смертоносных ран горят в груди Ферхада,
И дерзкая душа идти на гибель рада.
Для мук и бедствия он как бы стал метой.
Где грань страдания? Не сыщешь грани той.
Людей он избегал в краю сердечной смуты,
Как бы железа — див иль словно ведьма — руты.
Он рад беде, хоть взят печалью за полу:
Рад запустенью клад, забившийся во мглу.
Страдал он, снадобья от ярых мук не зная,
Как разомкнуть навек страданий круг, не зная.
И страстотерпец был безмерно одинок.
Был мир его друзей и спутников далек.
Страсть, сжав его в руках, в него впивалась взглядом.
И забывал Ферхад, что связан он с Ферхадом.
Он чашу бед своих направил бы к Ширин.

Да кто б отнес ее к Прекрасной? Он один.
И прячься и смущен хмельной любви загадкой,
Слова сладчайшие слагает он о Сладкой.
И, сердцеогненный и опьяненный, мнит,
Что сердце каждого подобный жар таит.
Тот, чей замучен дух пыланьем, полагает,
Что вся подлунная в пыланьях полыхает.
Лишь имя Сладостной всплывет в его мечтах, —
Упав, стократно он земной целует прах.
К ней обращая лик, не ведая надежды,
Он душу разрывал, как рвут свои одежды.
Как неумный конь, Ферхад снует вокруг,
И каждый дикий зверь для страждущего — друг.
Из шири, из силка для всех с пронзенным сердцем,
Шли звери, чтобы грусть делить со страстотерпцем.
Зверь землю подметал, другой — страдальцу смог
Для сна постлать траву, иной лежал у ног.
Ферхад с газелями делил уединенье,
А то с онаграми текли его мгновенья.
Он лани видел плач, свои с ней слезы слив.
Порой расчесывал он космы львиных грив.
Он жизни не берег, он был пресыщен миром,
Несчастье вокруг него тугим крутилось виром.
И радость, что могла б томление спугнуть,
Он гневно прогонял, храня свой скорбный путь.

И к горю, дружному с его стремленьем страстным,
Спешил он, как спешат, скача с конем запасным.
Он лика своего слезами мыл сафьян.
Он мнил: Сухейля свет глазам печальным дан.
Не спал он, хоть и вся спала вокруг природа.
Ведь если друга ждут, не преграждают входа.
Душа отвергла кладь, что называлась «я».
Он жил, чужую кладь в дому своем тая.
Он сбросить навсегда свое хотел бы тело,
И в теле друга быть — душа его хотела.
Но в клетке сломанной уж места птице нет.
Царь вышел воевать, огней в столице нет.
Так волю с волею иной связал он туго,
Что отличить не мог двух слитых друг от друга.
Он, встретив пламень злой иль благодатный свет,
Лишь видел череду благих иль злых примет.
Вес образы вокруг он видел, как задачу,
И в них искал примет, вещающих удачу.
Но каждый любящий отвергнет знак дурной
Иль предназначит зло он для души иной.
И образ, будь он плох иль будь он сладок небу,
Пригодным сделает себе он на потребу.
Он к замку подходил в неделю только раз,
От замка Сладостной не отрывая глаз.
И вновь стремился он в спасительные степи,

Вновь славя давшую мучительные цепи.
И к млечному пруду в ночах, издалека
Он брел, что лань, и пил немного молока.
И нету для него иных желаний в мире...
Лишь этот водоем пред ним в подлунной шири.
И, не смыкая глаз, во тьме бродил он тут,
Где расположен был им выложенный пруд.
Стал сопричастен мир его любовным ранам:
Об одержимом весть раскинулась по странам.

Хосров узнает о любви Ферхада

И передал царю один из царских слуг
То, что сказал ему его ближайший друг.
Он слышал, что Ферхад, рыдающий в пустыне,
Лишь о себе весь мир твердить заставил ныне,
Что устремления любовного напасть
В пустыню бедняка заставила попасть.
От страсти к красоте, что всем сжигает очи,
Стеная, бродит он во мраке долгой ночи.
Он говорит: «Душа из-за Ширин больна!»

И речь его громка, и всем она слышна.
Ни стрелы, ни мечи, разящие с размаха,
Ни старцы, ни юнцы в нем не рожают страха.
Но знаю: лишь душой привязан он к Луне,
Лишь слухом о красе довольствуясь вполне.
Серебротелую всечасно поминая,
Про самого себя не помнит он, стеная.
В неделю раз он к ней приходит в замок; есть
Ему услада в том: о ней услышит весть.
Едва лишь внял Хосров нежданному рассказу,
К грабительнице душ страсть возрастает сразу.
В соревновании бойцы отважней бьют,
Два соловья нежней над розою поют.
Коль двое второпях становятся у, лавки,
Ты должен от купца ждать на товар надбавки.
Хосрова сердцу вновь ристалище дано:
Тот, сердце бросивший, с Хосровом заодно.
И по-иному шах заревновал подругу.
Придал соратник жар ревнивому недугу.
Все просит мысль его: «Ты делу помоги».
Не в глине ль он увяз? Не вытащить ноги!
Когда недуги нас охватят или скорби,
То стройный кипарис свой стан высокий сгорбит.
Очам болящего подмога не видна,
Ведь мысль болящего, как сам больной, больна.

Во здравье человек — и мысль его здорова,
А хил — всех дел его колеблется основа.
Врач, щупавший, леча, биенье многих жил,
В жару свой щупать пульс другому предложил.

Совещание о Ферхаде

И, отобрав людей из приближенной знати,
Шах в совещательной задумался палате.
«Как одержимого неистовство сдержать?
Как этой костью нам игральной сыграть?
Коль сохранить его — мое погибнет дело.
Сразить невинного — мне честь не повелела.
В могуществе царя я мыслил быть один.
На праздник мой прийти решил простолюдин.
Прекрасною Луной мне празднество готово.
Безумца позвала, чтоб радовать Хосрова».
И дали мудрецы царю такой ответ:
«Удача лишь тебе свой зажигает свет.
И венценосные перед тобой во прахе.
И прахом ног твоих окрест клянутся шахи.

Да будут, слоено мир, твои бессмертны дни, —
Да счастью вечному сопутствуют они!
Ему, чтоб для царя не стало вновь обузы,
Из золота скуем, не из железа, узы.
Ведь зелье от тоски — лишь золото, да, да.
Да! С золотом та смесь целебная всегда.
Ты призови его, ты в нем роди надежды,
Чтоб он на золото свои приподнял вежды,
За золото Ферхад и веру отметет,
За сладость звонкую от Сладкой отойдет.
Ведь с золотом мошна немало глаз гасила.
В железе от него оскудевала сила.
Коль золотой глупца не отмести метлой,
Тогда займи его работой над скалой.
Чтоб до поры, когда его иссякнет время,
Напрасно бы он бил в скалы гранитной темя».

Хосров вызывает к себе Ферхада

И, речи выслушав, уж не бродя впотьмах,
Гор сокрушителя велел доставить шах.

И вот ввели его, могучего, как горы.
Вокруг стоял народ, в него вперяя взоры.
В страданье он склонил открытое чело.
Забвение всего на мощного нашло.
Он в тягостной тоске, в смятении глубоком
Стоял, овеянный неблагоприятным роком.
На шаха не взглянув и не взглянув на трон,
Ногами в прах, как лев, уперся крепко он.
Он, унесенный прочь томленьем по Прекрасной,
Счел думу о себе и о царе — напрасной.
Ферхаду мощному оказан был почет.
Предложенным дарам ты потерял бы счет.
Слоноподобный сел, почтен многообразно.
Ларь с золотом, как слон, вздымался для соблазна.
Но в госте яхонтов огни сохранены,
И золото и прах для чистого — равны.
Поняв, что лучший дар могучему не нужен,
Хосров разверз уста — ларец своих жемчужин.
На острые слова, что складывал Хосров,
Гость острые слова был складывать готов.

Спор Хосрова с Ферхадом

Хосров спросил: «Ты кто? Тут все я знаю лица».

Ферхад: «Мой край далек, и Дружба — в нем столица».

Хосров: «Чем торг ведут, зайдя в такую даль?»

Ферхад: «Сдают сердца, взамен берут печаль».

Хосров: «Сдавать сердца — невыгодный обычай».

Ферхад: «В краю любви не каждые с добычей».

Хосров: «Ты сердцем яр. Опомнись спеши».

Ферхад: «Разгневан ты, я ж молвил — от души».

Хосров: «В любви к Ширин тебе какая радость?»

Ферхад: «Сладчайшая душе влюбленной — сладость».

Хосров: «Ты зришь ее всю ночь, как небосклон?»

Ферхад: «Когда усну. Но не доступен сон».

Хосров: «Когда гореть не станешь страстью злою?»

Ферхад: «Когда усну, прикрыв себя землею».

Хосров: «А если ты войдешь в ее чертог?»

Ферхад: «Я голову склоню у светлых ног».

Хосров: «А коль она твое поранит око?»

Ферхад: «Скажу: рази, второе — недалеко».

Хосров: «Когда б другой Прекрасную сыскал?»

Ферхад: «Узнал бы меч, хоть был бы тверже скал».

Хосров: «Коль к ней дойти тебе не станет мочи?»

Ферхад: «Что ж! Издали луна ласкает очи».

Хосров: «Быть вдалеке не надо от луны».

Ферхад: «Больным нужна ограда от луны».

Хосров: «Коль «все отдай» она промолвит строго?»

Ферхад: «Я с воплями прошу об этом бога».

Хосров: «Коль вымолвит: «Где ж голова твоя?»

Ферхад: «...то сей заем вмиг с шеи сброшу я».

Хосров: «Любовь к Ширин исторгни ты из тела».

Ферхад: «О, чья б душа погаснуть захотела?»

Хосров: «Найди покой, не жди благого дня».

Ферхад: «Спокойствие запретно для меня».

Хосров: «Твоя стезя — явить свое терпенье».

Ферхад: «Горя, нельзя явить свое терпенье».

Хосров: «Стань терпелив, и в сердце будет свет»,

Ферхад: «Хотел бы я... да вот уж сердца нет».

Хосров: «Полно скорбей любви опасной дело».

Ферхад: «Чего милей любви всевластной дело?»

Хосров: «Ей сердце дал, хоть душу сбереги».

Ферхад: «Томлюсь. Душа и сердце — не враги».

Хосров: «Чего-нибудь страшишься в этой муке?»

Ферхад: «Лишь тягости мучительной разлуки».

Хосров: «Хотел бы ты наложницу? Ответь».

Ферхад: «Хотел бы я и жизни не иметь».

Хосров: «Зачем горишь в такой любви великой?»

Ферхад: «Осведомись у сладостного лика».

Хосров: «Ты принужден о Сладостной забыть».

Ферхад: «Но без души, нам сладостной, не жить!»

Хосров: «Она — моя, забудь, что в ней услада».

Ферхад: «Забвения не стало для Ферхада».

Хосров: «Коль встречу с ней, что скажешь мне — врагу?»

Ферхад: «Небесный свод я вздохом подожду».

Что вымолвить в ответ, не ведал ум Хосрова.

И увидал Хосров: его бессильно слово.

И вымолвил друзьям: «Меж земнородных нет,

Умеющих бросать так огненно ответ.

Я золотом речей его не оплетаю.

Его, как золото, на камне испытаю».

И, как железный меч, он обнажил язык,

Чтоб к глыбе каменной алмаз кирки приник:

«Мы ищем путь прямой, удобный для дороги.

Нам трудно обходить окрестных гор отроги.

Ты в каменной горе пророй просторный путь,

Ведь он послужит мне, об этом не забудь.

Никто бы не сумел за это взяться дело,

Лишь знание твое его бы одолело.

Ты честью Сладостной мне поклянись; другой

Не знаю клятвы я такой же дорогой.

Ты должен выполнить большую просьбу эту.

Ты должен выполнить простую просьбу эту».

И многомогущий муж дает ему ответ:

«Я гору уберу, к тому преграды нет.

Давай условимся! Трудом займусь я старым,

Но обязательство я выполню не даром,
И сердце шахское мне клятву дать должно:
Пусть Сахар Сладостной с себя стряхнет оно».
Разгневался Хосров; едва лишь не простерла
Его рука булат, чтоб вражье ранить горло.
Но мыслит: «Не страшусь, хоть все ему суля.
Не взрыть ему горы — там скалы, не земля.
А хоть бы и земля, — и с ней не будет сладу!
А хоть бы взрыл ее, — куда снесет громаду?»
И быстро говорит: «Согласен я; когда
Забуду договор — да будет мне беда!
Яви в своем труде, стан подтянув потуже,
Всю силу, что живет в таком могучем муже».
И вымолвил Ферхад, не ведающий лжи;
«О справедливый шах; мне гору укажи!»
И подведен к горе, что Бисутуном ныне
Зовут, каменотес, терзавшийся в пустыне,
И явно, что Ферхад свой блеск не сохранит,
Что вся гора тверда, что вся гора — гранит.
Но с радостной душой, подбодренный Хосровом,
Шел разрыватель гор, горя порывом новым.
Взлетел он на гору, как бурный ветер яр,
И подпоясался, и первый дал удар.
И вот он с первым же руки своей движеньем
Стал покрывать скалу одним изображеньем:

Киркою стан Ширин он высек; так Мани
Свой украшал Эрженг, творя в былые дни.
И, лишнего киркой не совершая взмаха,
На царственном коне изобразил он шаха.
Так юная творить ему велела кровь.
Он был возвышенным, вела его — любовь.
Но с юным — злая весть должна коснуться слуха
Что сделала судьба — горбатая старуха!

Рассекание горы Ферхадом и жалобы его

Недолго высекал те образы Ферхад,
Был изваянием покрыт гранитый скат.
И рассекать скалу с утра до темной ночи
Он начал. Сладостной пред ним сияли очи.
Чтоб гору побороть, свою он поднял длань.
За гранью грозная откальвалась грань.
Ударит он киркой в расщелину гранита —
И башня тяжкая от стен его отбита.
Ударит — гору с гор руки низвергнет взмах,
Свержением громад людей ввергая в страх.

И яхонты сверлил алмазами ресниц он,
И гору умолял пред ним склониться ниц он:
«Гора! Хоть встала ты гранитною стеной,
Ты дружелюбней будь — рассыпья предо мной.
Ну, в честь мою лицо ты раздери немного!
Дай, чтоб кирке моей везде была дорога!
А нет — клянусь Ширин! — кроша тебя, круша,
Покуда будет жить во мне моя душа,
Тебя терзать начнет, клянусь, мое упрямство,
Поставлю душу я с тобой на ратоборство».

Ширин направляется к горе Бисутун, и конь ее падает

В один счастливый день тех благостных годин
Сидела меж подруг прекрасная Ширин.
И в дружеских речах, рожденных для услады,
Невзгод и радостей раскидывались клады.
Одна припомнила отраду прошлых дней,
И сердцем радостным все радовались с ней.
Другая, новых дней предсказывая сказку,
Грядущей радости придумала завязку.

Немало плавных слов, ласкающих сердца,
Подруги заплели — не видно и конца.
Но речь звенящая сцепляется не втуне:
Услышала Ширин слова о Бисутуне.
И молвит весело подательница благ:
«Я водрузить хочу на Бисутуне стяг.
Шепнула мне душа, что мне увидеть надо,
Как рушится скала под натиском Ферхада.
Быть может, искорка, ничтожная на вид,
От камня отлетев, мне сердце оживит».
И оседлать коня велит она, — и гибкий
Оседлан ветерок разубранною зыбкой:
Гульгун был далеко, — и, полного огня,
Другого взять Ширин позволила коня,
И скачет, заблестев весною золотою,
Красавицам Ягмы равняясь красотою,
И скачет, заблестев нарциссами очей.
Как сто охапок роз под россыпью лучей.
Пусть большей нежности, чем в ней, и не приснится.
Но на коне Ширин стремительна, как птица.
Она, что гурия, взлетела на седло,
Ничто с ней быстротой равняться не могло.
Вбивают гвозди в синь ее коня подковы,
И над землей она — бег небосвода новый.
Когда, разбрасывая мускус и несрин,

К горе, вся в серебре, подъехала Ширин, —
От блеска щек кремни раскопанного стана
Зажглись рубинами из копей Бадахшана.
К горокопателю, подобному горе,
Мчит гору гурия, сверкая в серебре.
Ее рубины чтя, покорный приговору,
Ферхад, как рудокоп, рубил упорно гору.
Как смерить мощь его, когда он рыл гранит?
И мер таких наш мир безмерных не хранит!
С гранитным сердцем друг бросал в него камень,
Но, чтобы гору скрыть, он все напруг уменье.
Сам с гору, гору рыл и днесь, как и вчера,
А горе перед ним, как Демавенд-гора.
Но для того отбил края он от гранита,
Что радости он ждал и милой от гранита.
Он омывал гранит рубином жарких слез.
Но час пришел: гранит к нему рубины взнес.
Когда же уст Ширин увидел он два лала, —
Пред ним сокровище в граните запылало.
Булат в его руке стал сердца горячей,
И стала вся скала, что глинистый ручей.
Одной рукой вздымал он, словно глину, камень,
Другой бил камнем в грудь, скрывающую пламень.
Вонзилась в грудь любовь; он видел светлый мир.
Что идол каменный! Ведь перед ним — кумир.

И с молоком в руке у Сладкоустой чаша.
И молвила она: «Испей во здравье наше».
И чаша Сладостной к устам поднесена.
И чаша сладкая осушена до дна.
Коль кравчий — Сладкая, — о счастья избыток!
Не только молоко, яд — сладостный напиток.
Рассудка этот пир влюбленного лишил,
И кравчий пиршество оставить порешил.
Стан Сладкой отягчен: парчи не гибки струи.
Конь Сладкой утомлен под гнетом пышной сбруи.
Будь золотой скакун, под нею той порой,
Все ж под серебряной склонился бы горой.
Конь, равный ветерку, что мчится лугом росным,
Упал под ездоком; своим жемчугоносным.
Но лишь увидел тот, в ком трепетала страсть,
Что с вихря милая готова наземь пасть, —
Коня усталого, отдавшийся порыву,
Он поднял над землей, схватив его за гриву.
Он в замок снес Ширин; Ферхадова рука
Обидеть не могла на ней и волоска.
И положил ее он на ковер, и снова
Он к Бисутуну шел, к труду опять готовый.
И вновь с киркою он, вернувшись из палат.
И те же камни вновь дробит его булат.
На горный кряж взошел, хоть сердце мучил пламень.

На кряже головой вновь бился он о камень.
Как лань, узревшая на высях призрак трав,
Он бросил солончак, на кладбище взбежав.

Хосров узнает о поездке Ширин. Гибель Ферхада

Вседневно хитростно искал владыка мира
Каких-нибудь вестей о действиях кумира.
Он больше тысячи лазутчиков имел.
Был каждому из них дан круг особых дел.
Лишь пальчиком Луна дотронется до носа,
Они спешат к царю для нового доноса.
Когда на Бисутун вошла Ширин и там
Узрела кряж сродни булатным крепостям,—
Все соглядатаи промолвили владыке:
«Ферхад увидел рай в ее прекрасном лице,
И сила дивная в Ферхаде возросла:
Силач взмахнет киркой — и валится скала.
Восторгом блещет он, в его душе разлитым.
Он, меж гранитных глыб, сам сделался гранитом.
Железом, что дробит угрюмых скал табун,

Сутулой сделает он гору Бисутун.
Воинственен, как лев, твой недоброжелатель
И рвет недаром кряж, ведь он — кладоискатель.
Лисица победит, в уловках зная толк,
Хоть в состязание с ней вступит сильный волк.
Хоть груда ячменя увесистой динара,
Весы шепнут: «Динар, ты ячменю не пара».
Коль с месяц он свою еще промучит грудь, —
То из спины горы наружу выйдет путь».
И шах изнемогал от этой яркой схватки.
Как сохранить рубин? Не разрешить загадки!
И старцев он спросил, гоня кичливость прочь:
«Какими мерами могли бы вы помочь?»
И старцы молвили, не медля ни минуты:
«Коль хочешь, шахиншах, распутать эти пути,
Ты дай Ферхаду знать среди его вершин,
Что смерть внезапная похитила Ширин.
Немного, может быть, его ослабнут руки, —
И он прервет свой труд от этих слов разлуки».
И принялись искать глашатая беды,
Чей хмурый лоб хранит злосчастия следы,
Того, кто как мясник в крови вседневной сечи,
Того, кто из усов огонь смертельный мечет.
И вот научен он дурным словам; сулят
Иль золото ему, иль гибельный булат.

Идти на Бисутун, свершить худое дело
Он должен. Для него иного нет удела.
И дерзостный пошел, вот перед ним — Ферхад.
Кирку сжимала длань, не знавшая преград.
Ферхад, что дикий лев, с себя сорвавший путы.
Рыл гору он, как лев, напрягшийся и лютый.
О лике сладостном слагая песни, бил
Он яростно гранит; он словно пламень был.
Ферхаду вымолвил нежданного глашатай,
Как будто горестью неложною объаты»: «Беспечный человек! Вокруг себя взгляни.
Зачем в неведение свои проводишь дни?»
Ферхад: «Я друга чту, и для него с охотой
Я время провожу, как видишь, за работой.
Того я друга чту, чьи сладостны слова
И кем на жизнь мою получены права».
И вот когда узнал горькоречивый вестник:
Тут ворожит Ширин — пленительный кудесник,
Он, тягостно вздохнув, сказал, потупя взгляд:
«О смерти Сладостной не извещен Ферхад!
О, горе нам! Когда сей кипарис веселый
Был сломлен бурей, подувшей в наши доли,
Мы амброю земли осыпали Луну,
Снесли дорогой слез на кладбище Весну.
И, прах похоронив прекрасной черноокой,

Направились домой мы в горести глубокой». В Ферхада за клинком он направлял клинок, Вздыхал за стоном стон, чтоб сильный изнемог. Когда «О Сладкая! — сказать посмел. — О горе!» — О, как такой вещун не онемел, о, горе! Чье сердце этих тайн хотело б не хранить? Внимал им или нет — не смеешь говорить! Когда в Ферхадов слух метнули вестью злою, — С вершины пал Ферхад тяжелою скалою. Вздохнул Ферхад, и вздох был холоден: копье Казалось, в грудь его вонзило острие. Рыдая, молвил он: «Не зная облегченья, Я ведал тяжкий труд, и смерть полна мученья. Пускай пастух овец бесчисленных пасет, Волк жертву нищего из стада унесет. Да, цветнику сказал шербетчик, рвущий розу: «Вернуть все взятое не забывай угрозу». Проворный кипарис покрылся прахом! Ах, Зачем же мне чело не осыпает прах? Румяных лепестков развеяна станица! Зачем же мне сады, когда вокруг — темница? Уж пташка унеслась в край отдаленный свой! Зачем же не кричу я тучей громовой? Погас над миром свет, горевший звездным знаком! Зачем же в этот день мир не покрылся мраком?

В небытии с Ширин свидание мое!
Я, не промедливши, уйду в небытие!»
Оповестил о ней он и моря и сушу,
И, прах поцеловав, свою он отдал душу.
Веем ведомо: судьбе иного дела нет,
Как души отнимать, гасить для смертных свет.
К злосчастному стремясь, рок позабыл о мере,-
И входят бедствия, все распахнувши двери.
Он видит: счастья нет, лишь горечь дни сулят:
Он вложит сахар в рот — тот обратится в яд.
За розу ухватясь, он скажет: «Ты близка мне».
Не росы на него посыплются, а камни.
Увидит бурный мир, увидит: мир — не гладь.
Из мира этого свою забрать бы кладь!
Поводья свесились, неудержимо время,
А юности нога попасть не может в стремя.
Свой рок преодолеть придет тебе пора,
Лишь только ты уйдешь из этого шатра.
В четвертых небесах прибудешь к серафимам,
Чтоб в сонме светочей все ж сделаться незримым.
Мир — див; храни свой дух — да будет скован див!
Дух добронравием от дива оградив.
Не делай для себя свой нрав суровый адом.
Пусть раем станет он, ведя других к уладам.
Коль человекен ты, послушай речь мою:

Не только в небесах, но ты и здесь — в раю.
О глаз! Беспечный глаз! Ты мир узри воочью.
Мир обними, как те, недремлющие ночью.
Как долго под землей ты будешь спать, о друг!
Крутящихся небес тебя забудет круг.
Лет пятьдесят игры злокозненной промчится,-
Сей костью глиняной доколь тебе кичиться?
Пусть и пять тысяч лет — срок воровской игры,-
Брось кость, ведь все равно играешь до поры.
Что крепче, чем кремень? Под ветра частым взмахом
Он все же стал песком, он стал зыбучим прахом.
О коврик кожаный — земля! И вновь и вновь
На этот коврик льют одну лишь только кровь!
Кровавые дожди впитала эта суша.
Кто мог бы из-под них спасти и Сиявуша?
В песчинках взвившихся, что закрутил бурун,
Несется Кей-Кобад иль мчится Феридун.
И людям не найти на всем земном покрове
Горсть глины без людской, людьми пролитой, крови.
Кто знает, что таил сей вековечный храм,
Счет вечерам его и счет его утрам?
Столетие пройдет — и все течет сначала.
Лишь век умчится прочь — уж век другой примчало.
И с веком человек свой также кончит век,
Чтоб он на сущность дней своих не поднял век.

Но что в крупицах дней среди тысячелетий
Увидеть сможешь ты иль услышать на свете?
Все ж и добро и зло в столетье каждом есть,
И в том для мудрого о некой тайне весть.
Коль ты не хочешь быть в гонении бескрайном,
Ты век не поучай другого века тайнам.
Чреда ночей и дней, что пегий конь, летит,
От бега времени ничто не защитит.
Хоть ты на сто наук свершил свои набеги,
Тобой не будет взят в поводья этот пегий.
Себя боготворить не должен ты, о нет!
Забвение себя — спасения завет.
Котел земли кипел по воле звезд, но что же?
Необработанной земля подобна коже.
Небес игорный дом, незримый для очей,
Все деньги отобрал у многих богачей.
Иль кажется тебе, что ты с невестой? Мудрый!
Мечту на ветер брось, не будь с сереброкудрой.
Быть может, грянет смерч, и злой его полет
Невесту — жизнь твою — с землею разведет.
Придет ли смерч иль нет, забудь свою усладу.
Не зажигай в ночи напрасную лампаду.
На горсти праха ты. В твоей горсти лишь прах.
Хоть руку для земли зажег бы ты впотьмах, —
Ей будет нипочем твою увидеть муку,

Ей не присыпать, нет, израненную руку!
Нам тягостная плоть созвездьями дана,
Так часто мучима недугами она!
Ведь с кровли прыгнуть вниз нетрудно. Только в злости
Твой неизбежный рок твои сломает кости.
Но люди, что во сне не ощущают тел,
Не смогут пострадать от многих сотен стрел.
Свое дыхание, что управляет нами,
Мы ветром осени прикармливаем сами.
Но мертв твой каждый вздох, когда в нем нет любви.
Твой каждой вздох сочтен; ты страстно проживи.
Ты, умирая, смерть встречай бесстрашным взглядом,
Но в страсти, человек, ты должен быть Ферхадом,
Любил, чтоб на кирку приладить рукоять,
Строитель дерево гранатовое брать.
Была ему кирка помощницею верной,
Всегда с подручною в борьбе его безмерной.
Когда его вещун тоскою захлестнул, —
Кирку он за гору в отчаянье метнул.
Кирка впилась в гранит, а рукоять отбило, —
Вошла во влажный прах, а после вот что было:
Гранатовый побег из рукояти взрос,
И, ставши деревом, гранаты он принес.
И каждый этот плод всех снадобий полезней.
И немощных любых излечит от болезней.

Не зрел их Низами, но измышлять не стал,
А в древней книге он об этом прочитал.

Смерть Мариам

Не радуйся, Хаким, так волили созвездья:
За все свои дела дождешься ты возмездья.
Знай, будет оценен поступок твой любой!
Рок препоясался — следит он за тобой.
Когда Хосров послал, все зная про Ферхада,
Ширин свое письмо, исполненное яда,
Так было сумрачным угодно небесам,
Чтоб в Руме царствовать не стала Мариам.
Твердят: «Отравы злой ее убила сила.
Ведь это месть Ширин, что также яд вкусила».
Но, истину блюдя, не слушай, что твердят:
Низвергнул Мариам лишь властной мысли яд.
Индусы, видел я, являли силу мысли, —
Вмиг листья свежие, как мертвые, повисли.
И, одурманив люд, они порой луну,
Как шар сияющий, бросали в вышину.

Лишь только Мариам прекрасная навеки
Замкнула сладкий рот и опустила веки, —
Как, ощутив себя уж не в ее руках,
Всю вольность прежнюю вкушает шахиншах.
Когда сгорел престол — как дерево Марии;
Как пальма, шах расцвел, как «дерево Марии».
Но все же Мариам оказан был почет, —
И в сумрачном дворце день горестно течет.
И месяц шах провел в молитвенном обряде,
Не трогал тронных дел и в черном был наряде.
Лишь обо всем Ширин была извещена,
Почуяла меж роз и тернии она:
Ей было радостно свою оставить гневность, —
Ведь чистоту души уничтожает ревность.
Но все ж росли печаль и сокрушенье в ней:
Прозрела Судный день за сменой смертных дней.
В течение месяца, чтоб быть душой с Хосровом,
Веселья под своим она не знала кровом.
А месяц миновал — и в душах нету ран,
И мир уже забыл свой горестный изъян.
И предалась Ширин уверенной надежде:
Пошлет ему письмо и вспыхнет он, как прежде.
Все, все слова души в него метнет она,
Как в почву сеятель бросает семена.

Сочувственное письмо Ширин Хосрову по поводу смерти Мариам, написанное в отместку

Взяла она калам; за первую вторая
Строка обдумана; реченья подбирая
Столь сладковейные, как майская листва, —
Так заплела она начальные слова:
«Во имя господа, что там, на звездном троне,
Прощает смертного, воздевшего ладони,
Владыки светлого небесной стороны, —
Кому служения людские не нужны.
Питая существа, с них не берет он платы.
И лал вправляет он в камней подземных латы.
И птиц на высях гор и тварь в глубинах рек
Он в горькую тоску ввергает не навек.
За добрые дела он все прощает людям,
Мы в бедствиях всегда к нему тянуться будем.
Все длань его взнесла — от Рыбы до Луны,
Он знает все дела — от Рыбы до Луны.
Два цвета знает он: в тьме — полночь, полдень — ярок.
То горький колоквент, то сахар их подарок.
В дворце и золотом и черном слышит он

То свадебный напев, то стоны похорон.
Твоей невесте, шах, не стало в мире места, —
Не бойся: для тебя есть не одна невеста.
Она ушла во тьму, — была ведь не впотьмах:
Ведь ведала, что скор на пресышенье шах.
Пусть лучше у него подруги нет на ложе, —
Ну что ж, насыщен он! Она ушла — ну что же!
Он снова бросит взор на розовый цветник
И молвит: «Предо мной цветок иной возник».
Грущу: ушла во мрак нежнейшая из кукол.
А свет ее, как всех, и нежил и баюкал.
О нежный сердцем шах, не плачь! Иль ты не рад,
Что клад укрыт в земле? Она была ведь — клад.
Ты горе не вкушай, тебя разрушит горе.
Ведь землю жесткую и ту иссушит горе.
Ах, сердце хрупкое от горя кто спасет?
Всех с этой нежностью во взоре кто спасет?
О шах! От Мариам ты отведи поводья,
Не скажет и Иса, где все ее угодыя.
Пусть нежная жена сошла в подземный дол,
Не надо покидать свой царственный престол.
Ты в кубок лей вино, не лей в свой кубок слезы.
Горюя, новых бед накличешь ты угрозы.
Живи, покуда смерть не встала у ворот.
Пусть умерла она. Родившийся — умрет.

Смерть смертного узрев, не каждый будет в горе
Дни долгие влачить, — он все забудет вскоре,
Оставившим наш мир обиды не чини.
Терпения хотят — не слез хотят они.
Коль тело смертного подвергнется недугам, —
То власти царственной не быть к его услугам.
Что взносишь над ручьем ты вопли в вышину?
Пусть Тигр уменьшился на капельку одну.
Над Тигром пей вино, оно — твоя услада.
Одной корзины нет из всех корзин Багдада.
Души бессонницу дремотой потуши.
Ушедшая из глаз пусть выйдет из души.
Хоть стройный кипарис исчез из сада мира, —
Останься, ты — душа, ты — вся услада мира.
В почете должном будь, и вечно будь один.
Горит прекраснее единственный рубин.
Для солнца кто ровня? Назвать была б обида.
Два солнца чтить нельзя — таков устав Джемшида.
Двум птахам сладко спать под снегом зимних пург.
Ты должен быть один: ты — сказочный Онмург.
Утратил ценный дал, но ты ведь царь, и щедро
Бесценных лалов ряд тебе откроют недра.
Та голова ценней, с которой равной нет.
Ценней алмаз, чей свет — неповторимый свет.
Газель умчалась прочь; но, друг великолепий,

Газелей множество твои вмещают степи.
Пусть зернышко одно утратил твой хырман, —
Да будет целый ток тебе судьбою дан!
Пусть розы нет, — забудь, что есть на свете терны,
Мир воскресит цветы течением размерным.
Останься, пусть ушла румийская краса, —
Не плачь о Мариам: останется Иса».

Поездка Хосрова к замку Ширин под предлогом охоты

Лишь только свет воздвиг свой позлащенный стяг
И мрак он разогнал, как скопище бродяг, —
Припомнил царь: на дичь так радостна охота!
И счастья попытать пришла ему охота.
В душе была Ширин, как свет бывшего дня,
И в степи весело направил он коня.
Вот най, вот барабан! Гремят его раскаты, —
И закружился мир, веселием объятый.
Знаменоносцев ряд вздымает шелк знамен.
Кто смел, спешит к царю — ловитвою прельщен.
Царь блещет на коне. Как должно по обрядам,

Венчанный строй владык идет с Шебдизом рядом.
Шел слева Ниатус. Как он, забыв свой сан,
С рукою у седла шел справа богдыхан.
Пылает лик царя. Душа Хосрова рада,
И набекрень надел венец он Кей-Кубада.
И солнце молвило: «К ноге его прильну!»
А конь кольцо рабынь повесил на луну.
Как будто над луной зыбучей тучей вея,
Над головой царя струился стяг Кавея.
Все в золоте мечи вокруг царя горят, —
Как будто вокруг царя оград замкнулся ряд.
Сквозь них протиснуться — напрасная отвага.
Никто сквозь этот строй не мог бы сделать шага.

Свидание Хосрова с Ширин

Узрев Луну, что свет простерла по округам,
Для тополя сего он сердце сделал лугом.
Увидев гурию, что здесь, в земном краю,
Ворота заперла, как гурия в раю.
Увидев светлый ум, готовый к обороне,

Чуть не повергся в прах сверкающий на троне.
И с трона он вскочил, чтоб вмиг облобызать
Пред ней свои персты, — и сел на трон опять.
С мольбой о милости он к ней приподнял длани,
Он осыпал ее сластями пожеланий:
«Как тополь, ты стройна, юна и хороша.
Да будет радостна всегда твоя душа!
Твое лицо — заря; с ним блещет вся природа.
Ты — стройный кипарис, опора небосвода.
От свежести твоей во мне весенний свет.
Поработил меня учтивый твой привет.
Ты ткани и ковры постлала по дорогам,
И мчался я к тебе, как будто бы чертогом.
Ушных подковок лал, исполненный огня,
Дала ты для подков мне верного коня.
За ценным даром вновь я одарен был даром;
От жарких яхонтов мой лик пылает жаром.
Ты — россыпь радостей! Как лучший дар возник
Передо мной твой лик! Да светится твой лик!
Я — молоко, ты — мед. Твои усладны речи.
И выполнила ты обряд почетной встречи.
Но для чего врата замкнула на замок?
Ошиблась ты иль здесь мне что-то невдомек?
Меня назначила ты в плен земле и водам —
Сама же в высоте явилась небосводом.

Но я не говорил, что, мол, вознесена
Хосрова мощь над той, что светит, как луна.
Нет, я ведь только гость. Гостей приезжих взоры
Не упираются в железные затворы.
Опасным пришлецом могу ли быть и я?
Ведь для меня лишь ты- источник бытия!
Приветливых гостей, приблизившихся к дому,
Высокородные встречают по-иному.
Ведь если смертен я, — ты также не пери,
И с райских жительниц примера не бери».

Возвращение Хосрова от замка Ширин

Уж солнце, как газель хотанскую, уводит
Веревка мрака в ночь, и вот на небосводе
Газелей маленьких за рядом вьется ряд, —
То звезды на лугу полуночном горят.
Царь, что газель, в чью грудь стрела вошла глубоко,
Внял яростным словам Ширин газелеокой.
И хлопья снежные помчались в мрак ночной,
И капельки дождя мелькали, как весной.

От горести гора слезливой стала глиной.
И сердце ежилось, бредя ночной долиной.
Снег, словно серебро, пронзал окрестный мрак;
И на Шебдиза пал серебряный чепрак.
Звучал упреками Хосрова громкий голос,
Черноволосую не тронув ни на волос!
Как долго он молил, как жарко! Для чего?
Сто слов — да не годны! Все! Все до одного!
Молил он и вздыхал — был словно пьян — все глубже
Вонзались стрелы в грудь — о, сколько ран! — все глубже.
И вот еще текла в своем ненастье ночь,
А царь, нахмурившись, от врат поехал прочь.
То он к Шебдизу ник, то, будто от недуга
Очнувшись, все хлестал и торопил он друга.
Он оборачивал лицо свое к Ширин,
Но ехал, ехал прочь. Он был один! Один!
И ночи больше нет — ее распалась риза,
Но нет и сильных рук, чтоб направлять Шебдиза.
Царь воздыханья вез, как путевой припас;
Он гроздь жемчуга на розы лил из глаз.
«Когда бы встретил я, — так восклицал он в горе,
Колодезь путевой, иль встретил бы я взгорье»
Я спешил бы здесь, и я б не горевал,
Навеки близ Ширин раскинувши привал»,
То вскинет руки царь, то у него нет мочи

Не плакать, — и платком он прикрывает очи.
И вот военный стан. Царем придержан конь,
А сердце у царя как вьющийся огонь.
Серебряный цветок освободили тучи,
И месяц заблистал над этой мглой летучей.
И царь вознес шатер до блещущих небес,
Для входа подвязав края его завес.
Но не прельщался царь всей прелестью вселенной,
Он сердце рвал свое, как рвет одежды пленный.
Он, позабыв покой, сжав пальцами виски,
Не поднимал чела с колен своей тоски.
Придворным, и ловцам, и стражам, и дестурам
Царь повелел уйти; остался он с Шапуром.
Как живопись творя, стлал пред царем Шапур
Узоры, говоря: «Не будь, владыка, хмур».
На пламень горести он лил благую влагу.
Смеяться в горький час имел Шапур отвагу.
«Тебя от горечи хочу я уберечь:
Поверь, нежна Ширин. Ее притворна речь.
Столь омрачившимся останешься доколе?
Ты рвешься к финикам, ты знай — и пальма колет».
Хосров — он не сводил с Шапура жадных глаз —
Обильным жалобам открыл потайный лаз:
«Ведь видел ты, с какой пришла ко мне отравой
Та, что весь мир смутит улыбкою лукавой?

И бог не страшен ей! Смела, дерзка она!
Ну что же, женщина — так значит нескромна.
Я шапку снял пред ней и бросил пред собою.
Как стройный кипарис, я встал пред ней с мольбою.
Но оттолкнула трон с порфирию она,
Ствол царственный снесла секирою она.
В мороз ее душа не сделалась горячей.
Ее безжалостность увидел каждый зрячий.
И речь ее была — секира и стрела.
В словах почтительных так много было зла.
Есть тернии в любви, но в этот час вечерний
Без меры я познал уколы этих терний.
Но и в моей груди ведь тоже сердце есть.
И злоба тоже ведь у страстотерпца есть.
Пусть как Харут она, слетевший с небосклона,
Пусть в родинке ее все чары Вавилона,
Но так был холоден ее зимы налет,
Что для меня Ширин уж не Ширин, а лед.
Но от моей любви, терпевшей поношенья,
Мне ведом — О Шапур! — источник утешенья!
Ребенка скверный нрав известен мамке.
Нет Соседа, чтоб не знал, каков его сосед.
Ширин — мой тайный враг! Мрак под личиной света.
Таится ненависть под нежностью привета.
Как жаден был мой пыл, как был напрасен он!

И вот, отверженный, рассудка я лишен.
Не слушала она: крутилась непогода;
И речь моя текла как будто больше года.
Мне в тьме полуночной свечи не принесла.
Бальзама мне от ран в ночи не принесла.
Хоть, встретить Сладкую для каждого отрада,
Хоть сладостна Ширин, — мне новых встреч не надо!
Ведь встреча всех обид мне не искупит, нет!
Ведь с горьким вкусом хлеб никто не купит! Нет!
Быть под ногой слона, быть мертвым на кладбище
Отрадней, чем просить у злого скряги пищи.
Быть лучше под водой, быть рыбой, чем свои
Моления нести в пристанище змеи.
Отрадней землю рыть. Да! Лишь не довелось бы
В дом недостойною свои направить просьбы!
Жемчужин чистых блеск не в чистых ли морях?
Кто роет черный прах — найдет лишь черный прах.
Покинь пустую копь! Иль, чтоб душа угасла,
Мне быть светильником, в котором нету масла?!
Жизнь стоит ли вручать той прихотливой, той
Лукавой, для кого она лишь звук пустой?
Клянусь, еще таит подлунная долина
С павлином равную подругу для павлина».

Свадьба Хосрова и Ширин

Всем розам небеса, сперва сказав: «Пробудим
Вас в день весны», — потом их предлагают людям.
Великий рок, венцу жемчужины даря,
Венец в жемчужинах наденет на царя.
Пловцы ныряют вглубь на поиски жемчужин,
Чтоб стал жемчужин блеск с венцом царевым дружен.
Став слаще, чем джуляб, прекрасней, чем пери,
Ширин, позвав царя, промолвила: «Бери,
Пей сладкий кубок мой, пребудь в истоме сладкой,
Ты сладостно забудь все в мире, кроме Сладкой».
В словах, являющих величие и честь,
Ширин потайную царю послала весть:
«Не прикасайся ты сегодня ночью к чаше:
Два опьянения не входят в сердце наше.
Что яство для людей, чей ум затмит вино?
Поймет ли — солоно ль, не солоно ль оно?
Хмельной, найдя все то, к чему стремился страстно,
Промолвит: «Я был пьян, все бывшее — неясно».
И те, что во хмелю откроют свой замок,
Потом бронят воров, и всем им невдомек».

По нраву эта весть пришлась владыке мира.
«Исполню, - молвил он, — веление кумира».
Но пьют в веселый день!... Будь сломлена печать!
Себя на празднике не надо огорчать!
Пел снова Некиса, бренчал бербет Барбеда,-
Звенела над Зухре их нежная победа.
То, полный сладости, пел мелодичный руд:
«Пусть делятся радости, пусть чаши все берут!»
То кубок прозвенит, сверкая пред Барбедом:
«Всегда удачи свет тебе да будет ведом!»
И в сладостных мечтах о сладостной Ширин
Хосров испробовал немало терпких вин.
И промежутки царь все делает короче
Меж кубками. И вот проходит четверть ночи.
Когда же должен был, почтителен и тих,
К невесте царственной проследовать жених, —
Его, лежащего без памяти и речи,
К ней понесли рабы, подняв к себе на плечи.
И вот глядит Ширин: безвольный, допьяна
Царь упоен вином. Себя укрыв, она
Тому, кто все забыв, лежит как бы сраженный,
Другую милую отдаст сегодня в жены.
Она схитрила, что ж, — ты так же поступай
С тем, кто придет к тебе, упившись через край.
Из рода матери всегда жила при Сладкой

Старуха. Словно волк была она повадкой.
И с чем ее сравнить? О диво! О краса!
Скажу: как старая была она лиса.
Две груди старая, как бурдюки, носила.
И плеч ушла краса, колен исчезла сила.
Как лук изогнутый» была искривлена
С шагренью схожая, шершавая спина.
Ханзол, несущий смерть! Кто глянул бы не косо
На щеки, — в волосках два колющих кокоса.
Ширин, надев наряд на это существо,
Послала дряхлую к Парвизу для того,
Чтоб знать, насколько царь повержен в хмель могучий
И сможет ли Луну он отличить от тучи.
Старуха полога раздвинула края,-
Как будто из норы к царю вползла змея.
Как сумрак хмурая — таких не встретишь часто,-
Была беззубая, но все ж была зубаста.
Царю, когда к нему вошла сия лиса,
Уже овчинкою казались небеса.
Но все ж он мог понять, — он на усладу падкий:
Не так весенние ступают куропатки.
Не феникс близится — ворону видит он.
Влез в паланкин Луны чудовищный дракон.
«В безумстве я иль сплю? — он прошептал со стоном.
Где ж поклоняются вот таким драконам?

Вот кислотица! Горбунья! Что за статья!
Да как же горькая сумела Сладкой стать?»
Хосрова голова пошла как будто кругом.
Решил он: сей карге он сделался супругом.
...Старуший слышен крик... Промолвила Луна:
«Спасти ее!» И вот к царю идет она.
К лицу прибавив семь искусных украшений,
Откинув семь завес, вошла; плавней движений
Не видел мир. Пред ней — ничто и табарзад.
Вся сладость перед ней свой потупляет взгляд.
Она — что кипарис, сладчайший из созданий.
Она — сама луна, закутанная в ткани.
Что солнце перед ней, хотя она луна!
Ста драгоценней стран подобная весна!
Подобной красоты мир не смущали чары.
Все розы в ней одной, в ней сладости — харвары.
Она — цветы весны. О них промолвишь ты:
Одним счастливым, знать, подобные цветы!
Блестящий Муштари пред ней померкнет. Пава
Пред плавною Ширин совсем не величава.
Ее уста — любовь. О, как их пурпур густ!
Но все ж ее уста еще не знали уст.
Весь Туркестан попал в силок ее дурмана.
Лобзания Ширин ценнее Хузистана.
О розы свежих щек! Состав из роз, взгляни,

Заплакал от стыда; его печальны дни.
Ты, томный взор, нанес сердцам несчастным раны!
О поволока глаз! Ты грабишь караваны!
Ширин! Ведь ты вино: уносишь ты печаль.
Нет горя там, где ты. Оно уходит вдаль.
О сахар сахара, о роза роз! О боже!
Она явилась в мир сама с собою схожей.
И царь протер глаза: они ослеплены.
Так бесноватых жжет сияние луны.
И, как безумцы все, смущен он был Луною
И хмеля сонного затянут глубиною.
...И пробудился царь. Ночи свершился ход.
Царь видит пред собой наисладчайший плод.
Невесту светлую ему послало небо, —
Пылающий очаг, назначенный для хлеба.
Ушел небиза хмель за тридевять земель.
Сладчайший поцелуй согнал с Парвиза хмель,
Он словно вин испил необычайных, новых.
И сад расцветших роз был сжат в руках царевых.
Лишь покрывало с уст, как эта ночь, ушло, —
Терпение царя мгновенно прочь ушло.
Краса весь разум наш вмиг обратит в останки.
Мани своим вином отравят китайянки.
Ворвался в Хузистан в неистовстве ходжа,
Лобзаний табарзад похитил он, дрожа.

Таких рассветных вин, как эти, — не бывало.
Таких блаженных зорь на свете — не бывало!
И начал он собирать охапки сладких роз.
И сам он розой стал в часы веселых гроз,
И молвил он любви, что миг пришел, что надо
Уже вкушать плоды раскрывшегося сада.
То яблок, то гранат он брал себе к вину,
То говорил, смеясь: «К жасмину я прильну».
И вот уже слились два розовых их стана.
И две души слились, как розы Гюлистана.
Сок розы в чашу пал, о радости моля
И сахар таять мог в плену у миндаля.
Так сутки протекали, и вот вторые сутки.
Нарцисс с фиалкой спят, и сладок сон их чуткий.
Так два павлина спят в тиши ночных долин...
Поистине красив склонившийся павлин!
Они, покинув сон, прогнав ночные тени,
Послали небесам немало восхвалений.
И, тело жаркое очистивши водой,
Молитвы должны свершили чередой.
Все близкие к тому, кто был на царском троне,
Окраской свадебной окрасили ладони:
В хне руки Сементурк, в хне руки Хумаюн,
В хне руки Хумейлы, и лик их счастья — юн.
Однажды царь сидел в своем покое, взглядом

Окидывая дев, с ним восседавших рядом.
Им драгоценности он роздал. Запылал
В их ожерелиях за лалом рдяный лал.
Он отдал Хумаюн Шапуру, — сладким садом
Его он наградил, сладчайшим табарзадом.
Затем дал Хумейлу царь Некисе, а вслед
Красотку Сементурк в дар получил Барбед.
Ну а Хотан-Хотун премудрую и видом
Прелестную Хосров связал с Бузург-Умидом.
С почетом отдал царь Шапуру всю страну,
В которой некогда цвела Михин-Бану.
Когда вступил Шапур в предел своих владений,
В них множество воздвиг прославленных строений.
Та крепость в Дизакне, чья слава немала,
Шапуром, говорят, построена была.
И одаряет вновь всей радостью Хосрова
Благожелательство небесного покрова.
Свершенья, молодость и царство — лучших уз
Вовек не видел мир, чем их тройной союз.
И дня без лютни нет, и ночи нет без кубка...
Все в мирных днях забыть — нет правильной поступка.
Лишь радости вкушай, их так приятен вкус,-
И огорчений злых забудешь ты укус.
Он пил, дарил миры, он радовал народы.
И в наслаждениях текли за годом годы.

Когда ж прошли года и духом он прозрел,
То устыдился он всех дерзновенных дел.
И белый волос стал у щек неожиданным стражем.
«О молодость, прощай!» — его увидев, скажем.
Быть в мире иль не быть? Граница — волосок,
И волосок — седой. И час твой — недалек.
Для взора смертного все чернотой одето —
Лишь только до зари, до вспыхнувшего света.
Мы греемся в саду, пока снежинок рой
Не ляжет на листву серебристой камфорой.
Постигни молодость! Она — пыланье страсти.
Весь мир, вкушая страсть, в ее всеильной власти.
Но седовласый рок возьмет права, и он
Твою изгонит страсть. Таков его закон.
«Как быть? — у старика спросил красавчик с жаром.
Ведь милая сбежит, когда я буду старым».
И отвечал старик, уже вкушавший тишь:
«Друг, в старости ты сам от милой убежишь».
Коль ртуть на голове — она бежит от мира,
Бежит от серебра напрасного кумира.
От мрака локонов печаль умчится вдаль.
Черноволосых взор — пугает он печаль.
Войска тоски бегут перед тобой, нубиец.
Ведь только радуясь, живет любой нубиец.
Окраска черная глазам на пользу: рьян

И радостен, юнец стремится в Индостан.
Все понял царь и внял он белому жасмину.
Он в юных днях — как я — постиг свою кончину.
Хотя Хосров сдержал любой бы свой обет,
Но мир обманывал, и царь страшился бед.
То на золотой доске он в нард играл, то бегом
Шебдиза тешился, былым отдавшись негам.
То он Барбеда звал, то слушал водомет,
То обнимал Ширин, как бы вкушая мед.
Ширин и царский трон, Барбед и бег Шебдиза —
Излюбленный предел всех радостей Парвиза.
И вспомнил он, — смутясь, все предвещавший сон,
И сад его души был мраком полонен.
Все то, что создали, он знал, земля и воды,
Хоть так прекрасно все, сотрут, разрушат годы,
До полнолуния растут лучи луны,
Потом — уменьшатся, потом — уж не видны.
Я дереву в саду, в саду плодовом внемлю:
«Созревшие плоды повергну я на землю».

Наставления Ширин Хосрову о справедливости и знании

Был светлый день; Ширин про мудрость, про дела
Правления с царем беседу повела:
«О царь, есть мудрецы по их направься следу!
О справедливости давай вести беседу.
Стремился долго ты мечты осуществлять,
Ты чаянья свои осуществишь опять.
Ты милостиво дал цвести твоим пределам,
Но их не погуби несправедливым делом.
Страшись! Отшельники молитвословный жар
Вздывают с просьбою о ниспосланье кар.
И старой женщины молитва на рассвете
Тебя за это все в тугие схватит сети.
Без пользы закричишь, горе глаза воздев,
Когда тебя сметет их справедливый гнев.
Был древле ряд зеркал в руках владык взнесенных
Зеркал, затмившихся от вздохов угнетенных.
Когда счастливым дням с тобой не по пути,
Удачу не во всем сумеешь ты найти.
Когда листок древес уже свисает хилый,
В нем с ветром осени бороться нету силы.
Насилий не чини, не угнетай свой край
И подданных своих приветливо ласкай.
Я в страхе: может быть, то повторится снова,
Что некий царь сказал. Его я помню слово:

«Я счастьем был храним, — оно ушло, и вот
Оковы разомкнул озлобленный народ»,
Он думал, что народ был обделен вселенной.
Он думал, что владел один лишь он вселенной.
Чванливо думая, что в жизни все течет
Лишь только для него, — утратил он почет,
Другой счастливец встал — и царь, всем несший муку,
С напрасною мольбой протягивает руку,
А если б не язвил он сотней жал народ,
Его бы одного всегда желал народ.
Ты знаньем овладел и царством целым тоже,
Ты с черным волосом, но ведь и с белым тоже.
Будь к вечности готов, дни хрупки и легки...
Недолог твой привал — увязывай тюки.
Ты золото с серебром сольешь в единый слиток,
Но Судный день сотрет сокровищ преизбыток.
Храни тебя господь, но все же посмотри,
Что унесли с собой ушедшие цари?
Когда хранишь свой скарб, то он твой враг и мститель.
Раздашь его — и он твоих путей хранитель.
Ты летопись прочти: где Дарий, где Джемшид?
Всех солнечный огонь посменно сокрушит!
Напевов девяти внимая всем усладам,
Ты умудряй свой дух их сокровенным ладом».

Описание Шируйе и конца царствования Хосрова

Хосров премудрости достигнул высоты,
И наглухо забил он лавку суеты.
Был у Хосрова сын от Мариам. С пеленок,
Дыша, он дурно пах. Казалось — это львенок.
Он звался Шируйе. Знал я и ведал свет,
Что он, когда ему лишь девять было лет,
Промолвил про Ширин во дни отцовской свадьбы:
«Ширин под пару мне! Вот мне кого поймать бы!»
О вере ли его поведать, о любви,
Про знанье иль про злость, горящую в крови?
Весь наполнял дворец он мрачным дымным смрадом.
И на него Хосров взирал суровым взглядом.
И так сказал Хосров: «Мудрец Бузург-Умид!
От сына этого душа моя скорбит.
Он отвратителен, а в некие минуты
И страшен. От него в грядущем ладу я смуты.
Злокознен он, как волк, что рыщет, что не сыт:
Он и для матери опасности таит.
Хорошего не ждать от тех, кто полон скверны.

Все в пепел обратит огонь такой неверный.
Кого бы речью он сумел к себе привлечь?
Ему лишь самому его приятна речь.
Нет фарра, сана в нем. В нем только смрад пожара.
Он на фарсанг бежит от сана и от фарра.
Он дым, всклубившийся из моего огня.
И, мною порожден, бежит он от меня.
Я голову в венце вознес над целым светом,
Но, коль наследник он, — какая польза в этом?
Не любит он Ширин, сестер не любит он.
И, глядя на меня, он злобой омрачен.
Что красота ему! Он — что осел: закрыто,
Ослу прекрасное. Ему милей корыто.
Змееныш мной рожден, так, стало быть, и я, —
Наверно, думает мой «славный» сын — змея.
Чтоб сделаться плодом, цветок возник не каждый.
И сладость сахара сокрыл тростник не каждый.
В былом отцеубийц немало я найду.
Железо — из руды и все же бьет руду.
И множество чужих с врожденным чувством чести
Нам ближе, чем родня, исполненная лести».
«О прозорливый шах! — сказал Бузург-Умид. —
Твой ум — познать и свет и тьму тебя стремится.
Пускай твоя душа в нем злое примечала.
Но сущности твоей в нем кроются начала.

Ты с сыном не враждуй, на нем твоя печать,
От кровной связи кровь не надо отлучать.
Никто не станет, шах, бить деревцо граната, —
В венце своих плодов горит оно богато.
А тута деревцо и треплют и трясут, —
Ведь головою вниз детей повесил тут.
Ты благ — и сын твой благ. Ведь слепок самый точный.
Сажаемый чеснок — и выросший плод чесночный.
Когда кроют парчу, владыка, то к чему
Обрезки отвергать? — Берут их на кайму.
Пускай строптив твой сын, забудь свои невзгоды.
Строптивость не страшна — ее смиряют годы.
Он юн. Но буйных дней промчится череда, —
От буйства в старости не станет и следа».

Хосров уединяется в храм огня.
Шируйе заключает его в темницу

Решает царь Хосров, уже усталый телом,
Что должен храм огня быть царственным пределом,
Что суеты мирской забыть он должен след,

И лишь огню служить, как праведный мобед.
И в храм ушел Хосров, земному чуждый долу.
И прыгнул Шируйе, как лев, к его престолу.
Ликует львенок, пьет, — сильна его рука,
Но все ж за шахом он следит исподтишка.
И вот отвергшему житейские обузы
Он мрак темничный дал, дал не свободу — узы.
Он злобствовал: блестел зубов его оскал.
И лишь одну Ширин к царю он допускал.
Но говорил Хосров: «Я пью живую воду:
С Ширин и в сотнях уз я чувствую свободу!»
И молвил царь Луне, ему подавшей пить:
«Ты не грусти, Ширин, так может с каждым быть.
Но грянувших ветров нежданные оравы
Терзают кипарис, им незаметны травы.
Стрела, возжаждавши желанного достичь,
Всегда охотится на избранную дичь.
Землетрясение раскалывает горы, —
Возвышенным страшны созвездий приговоры.
Пусть счастья больше нет, твое участие — есть.
Но если ты со мной, то, значит, счастье — есть».
И сладкоустая чело к нему склоняла,
И от чела его печали отгоняла:
«Текут дни радости, дни плача — чередой,
За неудачею удача — чередой.

Коль рок смешает все в неистовстве упорном,
Погибнет тот, кто все увидит в свете черном.
Ты цепи мыслей злых из разума гони, —
С цепями на ногах свои проводишь дни.
Чтоб рок свой победить, в тебе не хватит силы, —
Но многие спаслись и на краю могилы.
Не всех здоровых, верь, минует страшный жар,
Не каждый жар больных — погибельный пожар.
Порою думаешь: замок ты видишь сложный, —
Глядь, это не замок; ты видишь ключ надежный.
Очисти премудрый дух, забудь свою тоску.
Ведь к горю горе льнет, как влага льнет к песку.
Кто трон твой захватил? Ведь это лишь Муканна, —
Он сотворит луну для вящего обмана.
Но с этакой луной мир все же будет мглист:
Его не озарит железа круглый лист.
В стране, где черный дух во все проникнул тьмою,
Снежинки черными покажутся зимою.
Бесчинствам не дивись, будь стойким-до конца, —
Встречай насмешкою деяния глупца.
Бесстыдны наши дни, им в совести — нет нужды.
Чуждайся этих дней, они величью чужды.
К кому по совести относится наш свет?
К тому, что не рожден и в ком уж жизни нет.
Кто на века войдет в непрочную обитель?

Так не грусти, что в ней и ты не вечный житель.
Когда бы мир забыл про смену дней, про тлен, —
То не было бы, верь, и в царствах перемен.
Хосрову небеса, крутясь все снова, снова,
Трон царский отдали, забыв про Кей-Хосрова.
И розовый цветок, украсивший цветник,
Блеснул слезой росы, но тотчас же поник.
Утративши блага, что ценит наше племя,
Вздохни и вымолви: «С меня свалилось бремя».
Пусть ценится людьми все, что имеешь ты,
Пускай твой скарб возьмут, но уцелеешь ты!
Влекомый к радости, ты с лютней схож. Невольно
Вскричишь: когда колки подкручивают — больно.
Как сладко не иметь заботы никакой!
Из всех мирских услад всех сладостней покой.
Дремли, коль у тебя вода с краюхой хлеба.
Беспечность — вот страна под ясным светом неба.
Ты голову держи поднятою всегда.
О ней заботиться — тяжелая беда!
Пусть в крепких узах ты, пусть ты в кругу ограды,
Ведь крепко берегут сокровища и клады.
Ты не считай, что ты низвергнут с высоты.
Два мира — два твоих везира. Ты есть ты.
Ты — сердце мира, царь! Для плеч твоих — порфира.
И снова ты в игре свой вырвешь мяч у мира.

Ты избран меж людьми! Творец, тебя любя,
Весь мир сверкающий раскинул для тебя.
Будь радостен! Забудь тоску земного дола!
Что этот плен венца! Что этот плен престола!
Для царства сделай ты, печали отстраня,
Престолом — целый мир, венцом — светило дня».
И царь внимал Ширин. И каждое реченье
Одушевляло дней поспешное течение.
И чтобы скорбь царя утишить, превозмочь,
Не раз Ширин с царем всю коротала ночь.

Шируйе убивает Хосрова

Полуночь, скрыв луну, как будто гуль двурогий,
Сбивает небеса с назначенной дороги.
Бессильны времена, хоть мощь у них и есть.
И слепы небеса, хоть звездных глаз не счесть.
Ширин стопы царя в цепях червонных, пени
Сдержав, взяла к себе на белые колени.
И сладостный кумир с цепями черных кос
На золотую цепь ронял алмазы слез.

Прекрасная стопы, натертые до крови,
Ласкала и, склонясь, к ним прижимала брови.
Журчала речь ее, как струй чуть слышных звон:
Под звуки нежных слов нисходит сладкий сон.
И в слух царя лила, лила она усладу.
Слова царя в ответ к ее склонялись ладу.
Когда уснул Хосров, когда умолкнул он,
Передался Ширин его спокойный сон.
Спит нежная чета, а звездные узоры
Свои бесстыдные на них бросают взоры.
Хотела крикнуть ночь: «Злодейство у ворот!»,
Но мгла гвоздями звезд ее забила рот.
И бес сквозь роузан, взор устремивши книзу,
Уже пускается к Сладчайшей и к Парвизу.
Он беспощадностью похож на мясника.
Рот — пламень, а усы — два черные клинка.
Как вор укрытый клад, глядя сурово, ищет —
Так ложе царское, так он Хосрова ищет.
Нашел... и пересек он тяжестью меча
Хосрова печень... Так! Погашена свеча!
И крови под мечом взметнулся ток летучий,
Как пурпур молнии бросается из тучи.
И, разлучив чету, сей бес, удачей пьян,
Как сумрачный орел, взметнулся в роузан.
И царь, в блаженном сне погубленный навеки,

Все ж приоткрыл уста и чуть приподнял веки.
Весь кровью он залит... Глядит он, чуть дыша...
Смертельной жаждою горит его душа.
Подумал царь: «Ширин — жемчужину жемчужин
Я пробужу, скажу: глоток воды мне нужен».
Но тут же вспомнил тот, чей взор покрыла мгла.
Что множество ночей царица не спала.
«Когда она поймет, к какой пришел я грани, —
Ей будет не до сна среди ее стенаний.
Нет, пусть молчат уста, пусть дышит тишина,
Пусть тихо я умру, пусть тихо спит она».
Так умер царь Хосров, ничем не потревожа
Ширин, уснувшую у горестного ложа.

Пробуждение Ширин

Кровавый ток лился, все расширялся он...
Нарциссы глаз Ширин свой позабыли сон.
Порой, в былых ночах, о горестях не зная,
Она бросала сон при сладких звуках ная.
А ныне — не гляди, иль сердце заболит! —

Кровь жаркая царя проснуться ей велит.
Как птица, вскинулась от хлынувшего света.
Ее ужасный сон ей предвещал все это.
И сорвана Ширин с Хосрова пелена, —
И видит кровь она, и вскрикнула она.
Увидела не сад, не светлое созданье:
Встречает взор ее разрушенное зданье.
Престол, что без венца, ее увидел взор,
Светильник брошенный: все масло выкрал вор.
Разграблена казна, ларец лежит разъятый,
Войска ушли. Где вождь? Сокрылся их вожатый!
И мраком слов своих Ширин чернила ночь
И плакала; затем пошла неспешно прочь.
И с розовой водой вернулась к изголовью,
Чтобы омыть царя, обрызганного кровью.
Льет амбру с мускусом — и крови больше нет,
И тело царское сверкает, словно свет.
И тот последний пир, что делают для властных,
Устроила Ширин движеньем рук прекрасных.
И, раматами овеявши царя,
На нем простерла ткань алее, чем заря.
Усопшего царя как будто теша взоры,
Надела и сама роскошные уборы.

Шируйе сватается за Ширин

Для сердца Шируйе Ширин была нужна,
И тайну важную да ведает она.
И молвил ей гонец, его наказу вторя:
«С неделю ты влачи гнет выпавшего горя.
Недельный срок пройдет — покинув мрак и тишь,
Ты двухнедельною луной мне заблестишь.
Луна! В твоей руке над миром будет сила.
Все дам, о чем бы ты меня ни попросила.
Тебя, сокровище, одену я в лучи,
От всех сокровищниц вручу тебе ключи».
Ширин, услышав речь, звучащую так смело,
Вся стала, словно нож, вся, как вино, вскипела.
И молвила гонцу, потупясь: «Выждем срок!»
Так лжи удачливой раскинула силоч.
И скоро Шируйе такой внимает вести:
«Когда желаешь ты царить со мною вместе,
Ты соверши все то, что я тебе скажу.
Я благосклонностью твоею дорожу.
Уже немало дней я чувствую всей кровью,
Что я полна к тебе растущеею любовью.

И если в дружбе я, как ведаешь, крепка, —
Все для меня свершить должна твоя рука.
В своих желаниях я так необычайна, —
Но есть в них, Шируйе, и сладостная тайна.
В тот час, когда с тобой соединимся мы,
Я все тебе скажу среди полночной тьмы.
Прошу: ты пышный свод дворцового айвана
Снеси, хотя достиг он яркого Кейвана.
И дальше: повели, чтоб выкинули вон
Из царского дворца Хосрова древний трон.
Чтоб след могущества разрушили, чтоб рьяно
Взыграл огонь и сжег весь пурпур шадурвана.
Джемшида чашу, царь, вели сломать, чтоб к ней
Не мог нас привлекать узор ее камней:
И коль Парвиза власть уже не ширит крылья,
Пускай Шебдизу, царь, подрежут сухожилья.
Когда исполнят все, исполнят все подряд, —
Пусть погребения свершается обряд.
Дай шахматы царя из яхонтов на зелье
Целебное — сердцам подаришь ты веселье.
Пусть голубой поднос разломают, — бирюза
Пусть в перстнях и серьгах всем радует глаза.
Не слушай, как Хосров, ты без конца Барбеда,
Навеки изгони ты из дворца Барбеда.
Когда моих забот исчезнет череда,

Служением тебе так буду я горда!
И я склонюсь к тебе той сладкою порою
И тайну замыслов, как молвила, открою».
И сердце Шируйе отрадою полно,
По слову Шируйе все было свершено.
Все замыслы Ширин свершились друг за другом:
Все сделал Шируйе, чтоб стать ее супругом.
«Твой выполнен приказ», — услышала она.
И пылом радостным прекрасная полна.
Все из вещей царя, все из одежд царевых, —
От обветшалых риз и до нарядов новых,-
Все нищим раздавать велит она скорей.
Все на помин души — души царя царей.

Смерть Ширин в усыпальнице Хосрова

Заря меж облаков встает не в зыби ль сладкой?
Но сладкий день, взойдя, принес погибель Сладкой.
Хабешский негр, во тьме несущий камфору,
Рассыпал тюк — и луч прошел по серебру.
Из крепости смотрел на месяц чернокожий —

И вдруг оскалил рот, смеясь, как день пригожий.
Вот кеянидские носилки, лишь заря
Блеснула, сделала царица для царя...
Носилки в золоте; в кемарское алоэ
Рубины вправлены, напомнивши былое.
И царь, как повелел времен древнейших чин,
На ложе смертное положен был Ширин.
В назначенный покой, Ширин услышав слово,
На царственных плечах цари внесли Хосрова.
И там пред мраморным бесчувственным лицом
Носилки обвили торжественным кольцом.
И каждый палец стал у бедного Барбеда
Калам расщепленный. Весь мир был полон бреда.
На этот хмурый мир взирал Бузург-Умид.
Он, миру верящий, от мкра ждал обид.
Стенал он: «Небеса да внемлют укоризне:
Лишился жизни шах — и нас лишил он жизни.
Где всех народов щит? Где слава всех царей?
Где стяг и острый меч, что всех мечей острей?
Где тот, чья на миры легла победно риза?
Где скрылся наш Кисра? Где нам сыскать Парвиза?
Коль к переезду ты далекому готов,
Равно, Джемшид ли ты, Кисра, иль ты — Хосров!»
Прислужниц и рабов понура вереница.
Средь них, как кипарис, идет Ширин-царица.

В кольцо ее серег сокровища морей,
На плечи за кольцом легло кольцо кудрей.
Насурьмленных бровей растянутые луки,
Хной, как пред свадьбою, окрашенные руки.
И золотой покров течет с ее чела,
И ткань Зухре огнем вдоль стана потекла.
Кто мог бы смертные так провожать носилки?
Прохожих опьянял и страстный взор и пылкий.
Как опьяненная, сопровождала прах,
Идя с припляскою, как будто на пирах.
Все, глядя на Ширин, решали вновь и снова:
«Не в горести она от гибели Хосрова».
И думал Шируйе, в себе таящий тьму,
Что сердце Сладостной склоняется к нему.
И всю дорогу шла с припляскою царица.
Вот купол перед ней... Вот шахская гробница.
Рабыни скорбные столпились за Ширин,
Роня жемчуг слез на щек своих жасмин.
Внесли царя под свод. Вкруг сумрачного ложа
Встал за вельможею, безмолвствуя, вельможа.
И у Ширин жрецом был препоясан стан,
И в склеп вошла Ширин — и ею знак был дан
Гробничный вход прикрыть. И вот в наряде алом
К носилкам царственным идет она с кинжалом.
И, рану обнажив носителя венца,

Прижала алый рот ко рту ее рубца.
И так же в печень, в бок царица захотела
Свой погрузить кинжал, свое пронзая тело.
И ложе царское ее покрыла кровь,
Как будто кровь царя, растекшаяся вновь.
И вот она с царем без возгласа, без речи,
Уста прижав к устам, к плечам прижавши плечи.
Но вскрикнула она, от рта отъявши рот...
И слышит за дверьми сгрудившийся народ,
Что две души слились, что в теле нету муки,
Что нет в душе тоски, что нет сердцам — разлуки.
Тебе, чьим пламенем для смертных озарен
Был этот брачный пир, — да будет сладок сон!
Пусть тот да ощутит всевышнего десницу,
Кто тихо вымолвит, прочтя сию страницу:
«Аллах, оберегай могильный этот прах!
Двух пламенных прости, о благодный аллах!»
Осанна Сладостной, осанна сладкой смерти!
О смертные, любви, все победившей, верьте!
Так умирают те, что страстно влюблены,
Так души отдавать влюбленные должны.
И женщина ли та, в которой столько воли?
Муж с женщиною схож, когда боится боли.
Порою сладостно бегущая с плеча
Скрывает тканых львов изгибами парча.

Взмыл на дорогах зла самум слепой и дикий,
Жасмин он оборвал, снес кипарис великий.
И тучи поднялись из-за морей беды,
И грозы грянули из черной их гряды.
И ветер из равнин как бы единым взмахом
Весь воздух слил в одно с взнесенным черным прахом.
Лишь о случившемся сумели все узнать, —
Восславили Ширин. И возгласила знать:
«Прославим этот час! Земля, в просторах злачных
Невест, подобных ей, рождай для пиршеств брачных!
Мутриба в Африке, мутриба на Руси
Создать подобный пир — напрасно не проси».
...Все, положив с царем прекрасный прах царицы,
Ушли и наглухо замкнули дверь гробницы.
И размышляли все над сладостным концом.
И на гробнице так начертано резцом:
«Узнай, Ширин, чей прах взяла сия могила,
Себя своей рукой в знак верности убила».

Смысл сказа о Хосрове и Ширин

О ты, что мудростью сродни былому сказу,
Не думай, что сейчас ты внял пустому сказу:
Вняв сказу этому, пролей потоки слез,
Омой мою Ширин водой из горьких роз.
Она весенним днем, подобно розе милой,
Склонилась над своей безвременной могилой.
Кыпчакский мой кумир! Мой нежный хрупкий знак!
Погибла, как Ширин, и ты, моя Афак.
Прекрасен лик и стан, и разум твой был ярок!
Дербентом правящий тебя мне дал в подарок.
Ее фата была как воинский доспех,
А рукава узки. К ней не проник бы грех.
Всем недоступная и всех прекрасных строже —
Она стелила мне супружеское ложе.
По-тюркски тронулась в кочевья, словно нож
В меня вонзив, свершив не тюркский ли грабеж?
Но коль тюрчанки нет и тщетны все погони,
Над тюркорожденным, господь, простри ладони.

Соруригит – «Художественная литература», 1986, пятитомн.

Copyright – Азернешр, 1989, с сокр.

Перевод – К. Липскерова

Низами Гянджеви

Лейли и Меджнун

Переводчик(и): Стрешнева Татьяна Валерьевна

Причина сочинения книги

Однажды, благоденствием объят,

Я наслаждался, словно Кай-Кубад.

«Не хмурься, — думал, — брови распрями,

Перечитай „Диван“ свой, Низами».

Зерцало жизни было предо мной!

И будто ветер ласковой волной

Волос коснулся, возвестив рассвет,

Благоуханных роз даря букет.

Я — мотылек, светильник мной зажжен;

Я — соловей, — сад словно опьянен,

Услышав трели, что слагал певец,

Слов драгоценных я раскрыл ларец.

Калам свой жемчугами отточа,

Я стал велеречивей турача.

Я полагал: «Твори, настал твой час —

Судьба благоприятствует сейчас.

Доколе проводить впустую дни?
Кончай с бездельем, вокруг себя взгляни!
Верши добро и вкусишь от щедрот!
Кто в праздности живет — никчемен тот».
Бродягу-пса удача обошла,
И не заслужит пустобрех мосла.
Мир — это саз, коль жить с ним хочешь в лад,
Настрой его на свой, особый лад.
Тот гордо дышит воздухом родным,
Кто, словно воздух, всем необходим.
Подобием зеркала надо стать.
Чтоб сущий мир правдиво отражать.
Коль ты противоречишь всем вокруг,
То издает твой саз фальшивый звук.
«О, если б муж, причастный к сонму сил,
Заказ достойный мне сейчас вручил!»
Так о работе я мечтал, когда
Явилась вдруг желанная звезда.
«Трудись, счастливец, позабудь про сон
И будешь ты судьбой вознагражден!»
И совершилось чудо наконец —
Посланье шаха мне вручил гонец.
Я с наслажденьем вчитываться смог
В пятнадцать дивных, несравненных строк.
Светились буквы, разгоня мрак,

Как драгоценный камень шаб-чираг.
«Властитель слов, кудесник, Низами,
Раб дружбы верной, наш привет прими.
Вдыхая воздух утренней зари,
Пером волшебным диво сотвори.
Найди проникновенные слова,
Достигни совершенства мастерства.
Любовь Меджнуна славится в веках,
Воспой ее в возвышенных стихах.
Так опиши невинную Лейли,
Чтоб жемчугами строки расцвели.
Чтоб прочитав, я молвил: „Мой певец
И впрямь усладу создал для сердец.
Любовь возвел на высший пьедестал
И кистью живописца расписал“.
Шахиной песен повесть стать должна,
И слов казну растрачивай сполна.
У персов и арабов можешь ты
Убранство взять для юной красоты.
Ты знаешь сам, двустиший я знаток,
Подмену замечаю в тот же срок.
Подделкою себя не обесславь,
Чистейшее нам золото поставь.
И не забудь: для шахского венца
Ты отбираешь перлы из ларца.

Мы во дворце не терпим тюркский дух,
И тюркские слова нам режут слух.
Песнь для того, кто родом знаменит,
Слагать высоким слогом надлежит!»
Я помертвел, — выходит, что судьба
Кольцо мне вдела шахского раба!
Нет смелости, чтоб отписать отказ,
Глаз притупился, слов иссяк запас.
Пропал задор, погас душевный жар, —
Я слаб здоровьем и годами стар.
Чтоб получить поддержку и совет,
Наперсника и друга рядом нет.
Тут Мухаммед, возлюбленный мой сын, —
Души моей и сердца властелин,
Скользнув в покой как тень, бесшумно-тих,
Взяв бережно письмо из рук моих,
Проговорил, припав к моим стопам:
«Внимают небеса твоим стихам.
Ты, кто воспел Хосрова и Ширин,
Людских сердец и мыслей властелин,
Прислушаться ко мне благоволи,
Восславь любовь Меджнуна и Лейли.
Два перла в паре — краше, чем один,
Прекрасней рядом с павою павлин.
Шах просит сочинить тебя дастан,

Царю Иран подвластен и Ширван,
Ценителем словесности слывет,
Искусства благодетель и оплот.
Коль требует, ему не откажи,
Вот твой калам, садись, отец, пиши!»
На речи сына я ответил так:
«Твой ум остер и как зеркало зрак!
Как поступить? Хоть замыслов полно,
Но на душе и смутно и темно.
Предписан мне заране узкий путь,
С него мне не дозволено свернуть.
Ристалище таланта — тот простор,
Где конь мечты летит во весь опор.
Сказанье это — притча давних дней —
Веселость мысли несовместна с ней.
Веселье — принадлежность легких слов,
А смысл легенды важен и суров.
Безумья цепи сковывают ум,
От звона их становишься угрюм.
Зачем же направлять мне скакуна
В края, где неизведанность одна?
Там ни цветов, ни праздничных утех,
Вино не льется и не слышен смех.
Ущелья гор, горючие пески
Впитали песни горестной тоски.

Доколе наполнять печалью стих?
Песнь жаждет слов затейливо-живых.
Легенды той, грустней которой нет,
Поэты не касались с давних лет.
Знал сочинитель, смелость в ком была,
Что изломает, приступив, крыла.
Но повелел писать мне Ширваншах,
И в честь его дерзну в своих стихах,
Не жалуясь на замкнутый простор,
Творить, как не случалось до сих пор.
Чтоб шах сказал: „Воистину слуга
Передо мной рассыпал жемчуга!“
Чтоб мой читатель, коль не мертвый он,
Забыв про все, стал пламенно влюблен».
И если я поэзии халиф,
Наследник, настоянье проявив,
На уговоры тратил много сил,
Чтоб я ларец заветный приоткрыл.
«Любви моей единственный дастан, —
Промолвил сын, — души моей тюльпан,
Стихи тобою тоже рождены,
И братьями моими стать должны.
Они — созданыя духа твоего,
Рождай, пиши, являя мастерство.
Сказ о любви, и сладость в нем и боль,

Он людям нужен, как для пищи соль.
Мысль — это вертел, а слова — шашлык,
Их нанизав, напишешь книгу книг.
Вертеть шампур ты должен над огнем,
Чтоб усладить едою всех потом.
Легенда, как девичий нежный лик,
Который к украшениям не привык.
Но, чтоб невеста восхищала взор,
Одень ее в сверкающий убор.
Она — душа, природный тот кристалл,
Который ювелир не шлифовал.
Дыханием легенду оживи,
Воспой в стихах величие любви.
Твори, отец! А я склонюсь в мольбе,
Чтоб вдохновенье бог послал тебе!»
Реченья сына — глас самих судеб!
Совету внемля, сердцем я окреп.
В бездонных копиях, в самой глубине
Стал эликсир искать, потребный мне.
В поэзии быть кратким надлежит,
Путь длительный опасности таит.
Размер короткий, мысли вольно в нем,
Как скакуну на пастбище степном.
В нем мерный бег морских раздольных волн,
Движением и легкостью он полн.

Размером тем писалось много книг —
Никто в нем совершенства не достиг.
И водолаз доселе ни один
Перл не достал из плещущих глубин.
Бейт должен быть с жемчужиною схож,
В двестишнях изъяна не найдешь.
Я клад искал, трудна моя стезя,
Но отступиться в поисках нельзя.
Я вопрошал — ответ мой в сердце был,
Копал я землю — вмиг источник бил.
Сокровищем ума, как из ларца,
Я одарил поэму до конца.
Создать в четыре месяца я смог
Четыре тыщи бейтов, звучных строк.
Коль не было б докучных мелочей,
Сложил бы их в четырнадцать ночей.
Да будет благодатью взыскан тот,
Кто благосклонно встретит этот плод.
О, если б расцвести она смогла б,
Как «си», «фи», «дал», когда придет раджаб!
Пятьсот восемьдесят четвертый год
Поэмы завершенья принесет.
Закончен труд, я отдых заслужил,
На паланкин поэму возложил.
К ней доступ я закрою на запор,

Пока мой шах не вынес приговор.
Жалоба на завистников и злопыхателей
О сердце, не удерживай порыв,
Не должен быть оратор молчалив.
Средь златоустов, на арене слов,
Я превзошел искусных мастеров.
Достаток мой — усилий долгих плод,
Сокровищница мысли мне дает.
Открыв простор волшебному коню,
Свое я Семиглавье сочиню.
Такое мне досталось волшебство,
Что отрицать бессмысленно его.
За чародейство слов — творцу почет,
«Зерцалом тайн» прозвал меня народ.
Меч языка разящий создал стих,
Он чудотворен, как пророк Масих,
И обладает силою такой,
Что «Джазр-асамм» раскроется глухой.
В моих словах святой огонь живет —
Тот, кто коснется, пальцы обожжет.
Поэзии могучая река
Прославилась в мой век на все века.
А дармоеды, их презренный сброд,
Кормиться счастливы от моих щедрот.
Добычу лев сражает наповал;

Объедками питается шакал.
Я съесть могу лишь то, что в силах съесть,
Но прихлебаев у меня не счесть.
Завистники, аллах, избавь от них!
Злословят и хулят мой плавный стих.
Передо мной пластаются, как тень,
Но за глаза поносят всякий день.
Газели сочиню — раздумий плод —
Злоречный за свои их выдает.
Двустешия торжественных касыд
Он подражаньем жалким осквернит.
А если сочиняет он дастан,
Скажу я так: подделка и обман.
Не полновесным золотом монет,
Фальшивой медью он дурачит свет.
Мартышка людям подражать взялась —
Зерцалом звездным стать не может грязь.
Сияет и лучится яркий свет,
Но тень за ним скользит бесшумно вслед.
О наша тень, ничтожна и смешна,
За человеком следует она.
Столь неотступно, тою же тропой,
За провожатым следует слепой.
Пророк был тени собственной лишен, —
Чужими он тенями окружен.

Знай, океан с прозрачной глубиной
Не замутит бродячий пес слюной.
Бесчинства желтоухие творят, —
От гнева щеки у меня горят.
Я — океан в спокойных берегах,
Гляжу на них с усмешкой на устах,
Я — светоч, пальцем по нему стуча,
Хотят, чтоб ярче вспыхнула свеча.
Я не железный, тяжело зло сносить,
Зачем с каменносердыми мне быть.
Пусть я прославлен как добытчик слов,
Но у меня немало есть врагов.
И бесноватость не избыть врагам;
Недуг приходит к ним по четвергам.
Чтоб оправдаться, мой обчистив двор,
Хозяина поносит наглый вор.
Когда облава на воров идет:
«Держите вора!» — первым вор орет.
Пускай воруют, так тому и быть, —
Но злоязычья не могу простить.
Талант мой видят, но не признают,
Без пониманья образы крадут.
Коль зрячий вор, да будет он слепым!
А коль он слеп, то станет пусть немым!
Сгорая от стыда, терплю их срам.

Мое молчанье на руку врагам!
Быть может, здесь потребна прямота,
Ступай и крикни: «Дверь не заперта!»
О, если б я корыстью был ведом,
Какое бы несчастье было в том!
Скрывая в рукавах весь мир щедрот,
Смотреть не стану, как ворует сброд!
Для слуг моя распахнута сума,
Пусть пользуются этим задарма.
Жемчужин у меня моря полны —
Мне мелкие воришки не страшны.
Сокровище хранят замок и меч.
А рута красоту должна сберечь.
От сглаза мать дала мне руту в дар,
Железным стал я, как Исфандиар.
Мне «Низами» прозвание дано,
Имен в нем тыща и еще одно.
Обозначенье этих букв благих
Надежней стен гранитных крепостных.
Хранит мое богатство бастион,
И я от постыгательств огражден.
Сокровищнице в крепости такой
Подкоп не угрожает никакой.
Где жемчуга, там змеи тут как тут.
Колючки сладкий финик стерегут.

Кто удостоен славы на земле.
Завистойной подвергается хуле.
Был братьями Юсуф за красоту
В колодезную брошен темноту.
Иса с дыханьем благостно-живым
Был в Иудее мучим и гоним.
Чтит Мухаммеда набожный араб,—
Преследовал его Абу-Лахаб.
И на земле никто не избежал,
Вкушая мед, пчелиных острых жал.
Просьба о прощении за свои жалобы
С тех пор, когда мое возникло «Я»,
Не обижал я даже муравья,
Жемчужин не искал в чужих морях,
Помехой не служил в чужих делах.
Сам недругов порочить не мастак —
Я не хулил завистливых собак.
С достоинством и выдержкою льва
Я слушал поносящие слова.
Я знал, что ярость лучше затаить
И лучше о врагах не говорить.
Но доблестью считать я не привык
Сносить насмешки, прикусить язык.
Купец, выдавший не один базар,
Оценит и похвалит наш товар.

Враг, вздумав руку на меня занести,
Сам враг себе, свою пятнает честь.
Пусть сердце вздор докучный не гнетет,
Достанет сердцу собственных забот.
Ты, сердце, — роза, нежен твой цветок,
Лобзай того, кто рвет тебя не в срок.
Хлеб собственною кровью добывай,
Коль безголовый, шапку не снимай.
Уж лучше унижение испытать,
Чем с торгашами дружбу затевать.
Об отказе от служения царям
Стань тем лучом, что согревает мир,
Не для тебя Джамшида пышный пир.
Тебе царей подачки не нужны,
С бесчестием они сопряжены.
С опаской в царский заходи чертог,
Царь — пламень жаркий, ты — соломы стог,
И от огня, пускай дает он свет,
Подальше лучше быть, таков совет.
Был мотылек огнем свечи прельщен,
Но, прилетев на пир, испепелен.
О виночерпий, я с трудом дышу,
Вина благословенного прошу.
Того вина, что чище серебра,
Того, что открывает мир добра.

О том, что не следует отнимать у людей насущный хлеб

Будь счастлив долей собственной своей

И посягать на хлеб чужой не смей.

Заносчиво надев чужой халат,

Сам пред судьбою будешь виноват.

Коль птица к солнцу устремит полет,

Ее за дерзость солнце обожжет.

Колеса переедут ту змею,

Что пред арбою ляжет в колею.

Бряцающий оружием захид,

Вступая в драку, будет сам избит.

Бессмысленно лисе бороться с львом,

Гранитных стен не расшибают лбом.

Друг кравчий, восклицая: «Пей до дна!»

Налей мне искрометного вина,

Чтоб, эликсиром радости объят,

Я стал счастливым, словно Кай-Кубад.

О радости служения народу

Коль ты не камень — действуй и живи,

Коль не хромец — дороги не прерви.

Отряхивая пыль с усталых ног,

Шагай вперед по войлоку дорог.

Пляши, коль надо, не сходя с тропы,

Пусть на пути колючие шипы.

Отдай коня, пешком иди вперед,

С лицом открытым, не страшась невзгод.
Устав в пути, себя не береги,
Груз донести другому помоги.
Знай, если будешь немощью объят,
Тебе поможет в трудный час собрат.
О, виночерпий, наполняй бокал,
Налей вина, чтоб дух мой воссиял.
Блаженный ток в крови моей бурлит,
Лаская душу, сердце обновит.
Начало повести
Сказитель, перед тем как начинать,
Стал жемчуг слов сверлить и подбирать.
Жил некогда в Аравии один
Великий муж, арабов властелин.
Стараньем шейха амиритов край
Поистине расцвел, как божий рай.
Земля, его дыханьем вспоена,
Была благоуханнее вина.
Муж доблестный всем обликом своим
Ни с кем другим на свете несравним.
Он украшал Арабский халифат
И, как Гарун Аджамский, был богат.
Как в скорлупе таящийся орех
Судьбою огражден от бедствий всех.
Но милостью других не обделя,

Сам был свечой, лишенной фитиля.
Он жаждал сына, так ракушка ждет,
Что в ней волшебный жемчуг расцветет.
Так хлебный колос клонится пустой
Без полновесной силы золотой.
Шейх тщетно уповал, что, сжалясь, рок
Дозволит древу новый дать росток:
У кипариса на закате дней
Побег взрастет из свившихся корней.
И на лугу фазан в палящий день
Под молодой листвой обрящет тень.
Счастливец тот, с кем рядом сын растет,
В потомках он бессмертье обретет.
Шейх к милосердью высшему взывал,
Дирхемы щедро нищим раздавал.
«Родись, мой месяц, мой желанный сын!»
Жасмин сажал он, но не рос жасмин.
В пустой ракушке силился опять
Жемчужную он завязь отыскать.
Не знал он, тщетно вознося мольбу,
Что слезной просьбой искушал судьбу.
Не ведал он, печалью угнетен,
Что в ожиданье каждом свой резон,
Что связано все тесно на земле,
И смысл особый есть в добре и зле.

Что если кем-то был отыскан клад,
То лучше не найти его в сто крат!
И в списке дел, что будут на пути,
Иные лучше вовсе обойти.
Ведь счастья не находят люди те,
Что пребывают в вечной суете.
Ключ к тайне ищут, к той, что на замке,
Не ведая, что ключ у них в руке.
Шейх, чтоб родился столь желанный сын,
В глубинных копиях свой искал рубин.
Молениям слезным внял благой творец
И первенца послал он наконец.
На розовый бутон похож сынок.
Не роза, нет! — манящий огонек.
Жемчужинка блестящая. При нем
Сменилась ночь неугасимым днем.
Весть разошлась по всем концам страны,
Отец сорвал замок своей казны.
Он роздал все. Так роза наземь в срок
За лепестком роняет лепесток.
Чтобы недугов мальчик не знавал,
Он добрую кормилицу призвал.
Не мать, а время нянчилось с сынком
И благостным поило молоком.
Был молока священного глоток

Как преданности будущей залог.
Та пища, что вкушал он, с каждым днем
Любовь и стойкость укрепляли в нем.
Индиго, окропившее чело,
Восторженные чувства в нем зажгло.
И, проливаясь, капли молока
Росой казались в венчике цветка.
Кто глянет в колыбель — произнесет:
«Соединились молоко и мед!»
Сиял младенец в люльке вырезной,
Покоясь двухнедельною луной.
«Талант любви ребенку богом дан!»
И наречен был Кейсом мальчуган.
Год миновал, и убедились все,
Что мальчику в пленительной красе
Сама любовь, благословляя в путь,
Вложила перл в младенческую грудь.
До трех годков, играя и шутя,
Резвясь в садах любви, росло дитя,
В семь лет кудрявый, прелестью живой,
Тюльпан напоминал он огневой.
А в десять лет — твердили все уста,
Что легендарной стала красота.
При виде лучезарного лица
Молились все о здравии юнца.

Родитель, восхищен и умилен...
Был в школу мальчик им определен.
Наставник мудрый отыскался в срок,
Наук обширных истинный знаток.
Он с лаской обучал, как истый друг,
Способнейших детей пытливый круг.
Желал учитель, чтобы каждый мог
Добра и прилежанья взять урок.
В те времена, преданье говорит,
Для девочек был в школу путь открыт.
Из разных мест, стекаясь в знанья храм,
Совместно дети обучались там.
Талантов кладезь, несравненный лал,
Кейс знаний суть мгновенно постигал.
С ним вместе обучалась в школе той,
Жемчужной ослепляя красотой,
Дочь племени соседнего одна.
Была она прелестна и умна,
Нарядней куклы и луны светлей,
И кипариса тонкого стройней,
Мгновенный взгляд, скользящий взгляд ее
Был, как стрелы разящей острие.
Газель с невинной робостью в глазах
Властителей земли ввергала в прах,
Арабская луна красой лица

Аджамских тюрков ранила сердца.
В кудрях полночных лик ее сиял,
Казалось — ворон в когти светоч взял.
Медвяный ротик, сладость скрыта в нем,
Был чуть приметным отгнен пушком.
И эту восхитительную сласть,
Чтобы никто не смел ее украсть,
Отец Лейли и весь достойный клан
Оберегали словно талисман.
Той красоте волшебной надлежит
Шахбейтом стать в звучании касыд.
И капли слез, и проступивший пот
Поэт влюбленный жемчугом сочтет.
Не нужны ей румяна и сурьма, —
Была природа щедрою сама.
И родинка на бархате ланит
Сердца и восхищает, и пленит.
Не потому ль с любовью нарекли
Ее лучистым именем Лейли.
Кейс увидал и понял, что влюблен,
И был в ответ любовью награжден.
Мгновенным чувством он охвачен был,
И путь любви им предназначен был.
Им первая любовь, фиал налив,
Дала испить, сердца соединив.

О первая любовь, один глоток
Дурманной силой сваливает с ног.
Пригубив вместе розовый настой,
Они влюбленной сделались четой.
Любви вручив бестрепетно себя,
Кейс сердце отдал, душу погубя.
Но сколь любовь Лейли ни велика,
Была она застенчиво-робка.
Друзья вникали в трудный смысл наук,
Не размыкали любящие рук.
Друзья над арифметикой корпят,
Влюбленные словарь любви твердят.
Друзья уроки учат, как и встарь,
А у влюбленных свой теперь словарь.
Друзья зубрят глаголы день за днем,
Влюбленные воркуют о своем,
Отстав в науках, бросив все дела.
Любовь их вдохновляла и вела.
О том, как Лейли и Кейс полюбили друг друга
Когда очнется утренний восток,
Юсуфоликий царь приходит в срок.
И базилики ласковый рассвет
В лимонно-золотой окрасит цвет,
Лейли играла с солнцем, как дитя,
Лучами подбородок золотя.

Сдержать восторга люди не могли,
Взглянув, как солнцeveет лик Лейли.
Так сонм к Зулейхе приглашенных жен
Красой Юсуфа был заморожен,
Что восхитясь при виде красоты,
Забыв лимон, порезали персты.
Могуществом любви ошеломлен,
Кейс пожелтел, стал желтым, как лимон.
И круг друзей, кого ни назови,
Сиянье озаряло их любви.
Пришла пора, и в этом нет чудес,
Что вздох влюбленных достигал небес.
Любовь, души опустошая дом,
Обрушилась на них двойным клинком.
Сердца похитив, унесла покой,
Наполнив грудь смутительной тоской.
Сначала шепотком, а после вслух
Преследовать влюбленных начал слух.
С их робкой тайны сорван был покров.
Секрет стал притчей улиц и дворов.
О чуде чистом, как святой аят,
С осудою насмешливой твердят.
Лейли молчала, Кейс был тоже нем,
Но тайна их известна стала всем.
Так спрятанного мускуса зерно

Сладчайший запах выдаст все равно,
Так предрассветный дерзкий ветерок
Чадры приподымает уголок.
Пусть каждый, сокровенно терпелив.
Любви смятенно сдерживал порыв,
Но долго ль можно им любить тайком?
Не скроешь солнца свет под колпаком.
Когда томленьем преисполнен взгляд,
В уединенье тайну не хранят.
Ведь сердце Кейса локоны Лейли
Как шелковые цепи оплели.
Рассудок приказал скрывать порыв,
Но взор безмолвный был красноречив.
Не в силах колдовство преодолеть,
Кейс угодил в расставленную сеть.
Став пленником любви, попав в силки,
Не находя спасенья от тоски,
Одной любимой он принадлежал
И без нее не жил и не дышал.
Так скачет конь у бездны на краю,
Погибель не предчувствуя свою.
И Кейса те, чей немощен скакун,
Теперь с усмешкой стали звать: «Меджнун!»
Меджнун — безумец! Взор его блуждал
И прозвище невольно подтверждал.

Людским судом любовь осуждена,
И от Меджнуна спрятана луна.
От кривотолков, что кругом росли,
Как загнанная лань была Лейли.
Жизнь для нее теперь не дорога, —
Из глаз точились слезы-жемчуга.
Меджнун, кляня несправедливый рок,
С ресницы каждой слезный лил поток.
На улицах и где базар бурлил,
Он с болью в сердце среди людей бродил.
Слагая песни дивные свои,
Газели о мучительной любви,
Он шел и пел, а вслед кричал народ:
«Глядите все, безумный, сумасброд!»
Пословица гласит недаром так:
«Держи узду, не то сбежит ишак!»
И слыша поношения кругом,
И вправду помутился Кейс умом.
Страдая, безысходностью объят,
Разъял на части сердце, как гранат.
От всех скрывал он тайну в глубине,
Что делать с сердцем, если грудь в огне?
Тот беспощадный огненный язык,
Сжигая сердце, в мозг его проник.
Он в горе, но любимой рядом нет,

Тоскующим он ищет взглядом — нет!
Днем мечется везде, не спит в ночи,
Подобьем став истаявшей свечи.
Где для души лекарство обрести?
Одна Лейли могла его спасти.
Надежды нет, жесток его удел,
Через порог он перейти не смел.
Чуть тронет небо утренняя синь,
Босой он убежал в пески пустынь.
Лейли скрывают, видеть не велят,
Вдохнуть не позволяют аромат.
И он к ее шатру тайком спешит,
Ночь оглашая пением касыд,
Чтоб замкнутую дверь облобызать
И до рассвета воротиться вспять.
Туда стремясь, как ветер буревой,
Путем обратным брел едва живой.
Туда летел, как будто стал крылат,
Обратно по колючкам шел назад.
Туда он неся, как поток весной,
Обратно полз скалистой крутизной.
Ступни изранив, страстью одержим,
Туда он мчался, словно конь под ним.
Как будто ветер знойный гнал туда,
Где прыдала прозрачная вода.

Когда б не злая власть судьбы самой,
Вовек не возвратился бы домой!
Отец Меджнуна отправляется сватать Лейли
Пути закрыты, двери на замке.
Разрушен мост и нет воды в реке.
Меджнун в ночи, от мук оцепенев,
Читал свои газели нараспев.
А утром вновь, исполнившись надежд,
С друзьями отправлялся в горный Неджд.
Был каждый друг, что шел за ним вослед,
Простоволос и в рубище одет.
«Кейс сумасшедший — общий приговор —
Безумец жалкий, племени позор!»
Родитель, слыша жалобы кругом.
Тревожился о сыне дорогом.
А тот, любовью властной одержим,
К увещеваньям близких был глухим.
Когда любовь затмит весь белый свет,
Бессильны уговоры и совет.
Истерзанный сыновнею бедой,
Отец от горя сделался седой.
Груз тяжелых размышлений не избыть,
Не ведал он, как дальше поступить.
Друзей и домочадцев, удручен,
Расспрашивать о сыне начал он.

Отцу услышать было суждено
То, что известно родичам давно.
Он думать стал, как лучше поступить,
Чтоб розу клеветой не очернить.
Достоинно увенчать союз сердец,
Жемчужиной украсить свой венец.
За счастье сына все он дать готов,
Не пожалев ни денег, ни даров;
Совет старейшин, выслушав его,
Благословенье дал на сватовство.
«Жемчужина, что ярче всех слывет,
Украсит по достоинству твой род».
И торопясь, чтоб время не тянуть,
Старейшины собираться стали в путь.
При этом рассуждали здраво так:
«Безумного спасет счастливый брак!»
Когда отец решение узнал,
Он вытер слезы и душой воспрял.
В богатые одежды облачен,
Торжественный кортеж возглавил он.
Все родичи красавицы Лейли —
И стар, и млад встречать гостей пошли.
Как предписал обычай и закон,
Обряд гостеприимства соблюден.
Был в честь приезжих пир на славу дан —

Раскинут хлебосольный дастархан.
Когда приличья время истекло,
Гостей спросили: «Что вас привело?
Случилась радость или вдруг беда?
В любой нужде поможем мы всегда».
Звучали так ответные слова:
«Мы ищем с вами близкого родства.
У вас невеста, а у нас жених,
Благословит господь союз двоих.
Сын полюбил и сам в ответ любим.
Сердца влюбленных мы соединим.
Мой сын в песках от жажды изнемог,
А дочь твоя — живой воды исток.
Вода ключа, прозрачна и чиста,
Утешит душу, насладив уста.
Цель посещения ясного ясней,
Я без смущенья говорю о ней
Ты знаешь сам, что род наш именит,
Старинные обычаи хранит.
Моя казна несметно велика,
И сила войск надежна и крепка.
Продай мне жемчуг дивной красоты,
И, поклянусь, не прогадаешь ты.
Знай, мне цена любая по плечу,
Запросишь много — вдвое заплачу.

Пришел купец достойный на базар,
Коль ты разумен — уступи товар!»
Отец невесты слушал и молчал,
Ответ его сурово прозвучал:
«Чтоб ни решил я, что бы ни изрек,
Все небосвод предвидел и предрек.
Ты понапрасну убеждал меня
Вступить в горнило, полное огня.
Я понял, ты не дружбою влеком,
А поступил со мною, как с врагом.
Пусть благороден ваш старинный род,
Но сын твой болен, слух о том идет.
А если он безумьем одержим,
Мы за него Лейли не отдадим.
Лечи его молитвой и постом,
Повремени пока со сватовством.
Не предлагай нам жемчуг свой больной,
Не затевай напрасный торг со мной.
С изьяном жемчуг темен, не блестит
И ожерелья он испортит вид.
Купив твой жемчуг, что скажу родне,
Арабы не простят проступок мне.
Забудь об этом, свадьбе не бывать,
И нам с тобою хватит толковать!»
Отказ услыша, каждый амирит

Почувствовал и боль, и жгучий стыд.
Обиженно, окольной стороной,
Вернулись амириты в край родной.
Как иностранцы, чья судьба горька,
Им не понять чужого языка.
Родные рады все на свете дать,
Чтоб ум больного просветлел опять.
Но те советы, что дала родня, —
Как хворост для палящего огня.
«У нас красавиц столько, — говорят, —
Невесты той прекрасней во сто крат.
Как жемчуг зубки, губы — как рубин,
Не устоит пред ними ни один.
В парчу одеты, схожие с весной,
Струятся кудри мускусной волной.
Красавиц восхитительных не счесть,
А ты решил чужую предпочесть?
Здесь нам найти невесту разреши —
Кумира, утешение души.
Ты с ней весь путь пройдешь рука в руке.
Пусть сахар растворится в молоке».
Плач Меджнуна от любви к Лейли
И поученья выслушав родни —
Укоры и попреки в них одни, —
Меджнун, свой ворот ухватив рукой,

Порвал одежду, мучимый тоской:
«Тому, чей разум погружен во тьму,
Кто мертвым стал, — одежда ни к чему!»
Так шел в песках, скрывая слезный лык.
По Азре стосковавшийся Вамик,
Так, прихватив нехитрый скарб с собой,
Тюрк с караваном бродит кочевой.
Зачем ему кольчуга или щит?
Повязкою он тело защитит.
...Бродягой чужеродным с виду став,
О тернии одежду разорвав,
Кейс жаждал смерти, больше ничего,
«Ла Хаула! Спаси нас от него!»
Твердили, видя, как он брел в пыли...
А он стонал: «Лейли!» и вновь: «Лейли!»
Преследуем недоброю молвой,
В лохмотьях, с непокрытой головой,
Он равнодушен к добрым был и злым,
Не замечая тех, кто рядом с ним.
Свои газели распевал везде.
О йеменской пленительной звезде.
И бейты вдохновенные свои
Он наполнял сиянием любви.
Но каждый, кто видал, сколь странен он,
Вздыхал, его несчастьем удручен,

Ему нет дела до людских осуд,
Не все ль равно, каким его сочтут.
Ни жив ни мертв, в ничто вперяя взор,
Он в книге бытия свой облик стер.
Чуть билось сердце, был он словно прах,
Лежащий на бесчувственных камнях.
Его перемололи жернова —
В грязи и струпьях, плоть едва жива.
Он — как свеча, спаленная бедой,
Осиротевший голубь молодой.
На сердце клейма всех печалей злых,
Чело покрыла пыль дорог земных.
И не стерпев глумления толпы,
Он сел на коврик в пыль, сойдя с тропы,
Дав волю причитаньям и слезам:
«Что делать мне, где отыскать бальзам?
Вдали от дома, сбился я с пути
Обратной мне дороги не найти.
Отвергнул я родительский порог,
А к дому милой путь сыскать не мог.
Разбилась с добрым именем бутылъ,
Ее осколки покрывает пыль.
И доброй славы барабан пробит,
Грядущий подвиг он не возвестит.
Охотница! Я — загнанная дичь,

Меня легко и ранить и настичь.
Любимая, кумир моей души,
Молю тебя, души меня лиши.
Коль пьяный я, то значит пьян давно,
Пьян иль безумен — это все равно.
Безумным, пьяным, как ни назови,
Я сердце потерял из-за любви,
Меня опутал ловчей сетью рок,
Никто на помощь поспешить не смог.
Все у меня нескладно, все не в лад,
Дела поправить я смогу навряд.
О, если б я раздавлен был скалой,
Мой прах разнес бы ветер силой злой,
О, если бы внезапный грянул гром,
Испепелила молния б мой дом,—
Нет никого, кто б, пожалев меня,
Живого сжег бы в кипени огня.
Или дракону бросил прямо в пасть,
Чтоб мир забыл позор мой и напасть.
Я — выродок в безумии своем,
Я опозорил благородный дом.
Я — недостойный сын, поправший честь,
Чье имя всеу стыдно произнестъ.
Пусть буду я повержен и убит.
За кровь мою никто не отомстит.

Товарищи веселья и забав,
Прощайте все, вы правы, я неправ.
Бутыль с вином в моих руках была,
Не удержал я хрупкого стекла.
Стекло разбито, но его унес
Поток пролитых безутешных слез.
О, подойди, осколков нет, взгляни,
Ты не поранишь нежные ступни.
Кто состраданием не наполнил грудь,
Пускай уйдет, не преграждая путь.
Потерян я, искать напрасный труд.
Не тратьте слов, они бессильны тут.
Вы, муки доставляющие мне,
Дозвольте быть с бедой наедине.
Я сам уйду, меня не надо гнать,
Сам скакуна сумею оседлать.
Как постудить? Ослабли ноги вдруг,
Подай мне руку, помоги, о друг.
Я жив тобой, зачем мне жить скорбь,
Я, жертвой став, погибну за тебя.
О, приласкай, участие прояви,
Счастливой вестью душу обнови.
И если я безумьем обуян,
Скинь с нежной шеи черных кос аркан.
Меня петлей душистой задуши,

Дыхания последнего лиши,
Ведь тот секрет, что в сердце я берег,
Прикосновеньем локон твой извлек.
Твой каждый локон мой унес покой
Не силою, а властью колдовской.
Иль руку дай тому, кто изнемог,
И умереть дозвошь у дивных ног.
Грешно сидеть без дела, знаю сам,
На горе — я повязан по рукам.
Знай, изреченье древнее гласит:
„За милосердьє бог вознаградит“.
Тот, кто живет беспечно, без забот,
Согбенного работой не поймет.
Ведь сытый не постигнет никогда.
Сколь дорога голодному еда.
Тот знает, сколь опасно жжет огонь,
Кто сунул в пламя голую ладонь.
Адама дети, разны мы судьбой:
Ты — ветвь самшита, я — сравним с щепой.
О добрый свет моей больной души,
Куда уводишь душу, расскажи?
Молю я о прощении у всех,
Любить тебя — неужто это грех?
Из тысячи ночей та ночь светлей,
Когда, решившись, станешь ты моей.

Коль этот шаг безумный совершим,
Пусть этот грех сочтут грехом моим.
Я многогрешен, чести я лишен,
Но сострадай — и буду я прощен.
Твоя жестокость словно пламя жжет,
Когда же милосердие придет?
Коль гнев твой вспыхнет, как огонь, жесток,
Его погасит слез моих поток.
Луна моя, взор отвести боюсь,
Я на тебя гляжу — не нагляжусь.
Лучи влекут, заманивают в сеть,
— Нельзя безумцам на луну смотреть.
Тебя от всех хочу оберегать,
Я даже к тени начал ревновать.
За мной повсюду следует она,
И столь же безрассудно влюблена.
В плену душа, но что за произвол, —
То не игра, а худшее из зол.
Любовью безнадежно томим,
Бессильем я прославился своим.
Пусть радость встречи безрассудно ждать —
Я продолжаю слепо уповать.
В бреду ребенок увидал больной
Из золота кувшин с водой речной.
Проснувшись, тщетно ждет воды глоток

И теребит свой пальчик, как сосок.
Согнулись ноги, будто буква „лам“,
Две буквы „йай“ под стать моим рукам.
Я именем твоим прославлен, знай,
И в нем сплелись от боли „лам“ и „йай“.
Мой скорбный дух страданья извели.
Все это сотворила ты, Лейли.
Что делать мне с любовью, не пойму?
Нельзя доверить тайну никому.
Как матери святое молоко,
Любовь в меня проникла глубоко.
Пока живу, покуда я дышу,
Безмолвной тайне я принадлежу».
Промолвив все, он наземь пал ничком,
Но люди позаботились о нем.
И сострада, с жалостью немой,
Они страдальца отнесли домой.
Порой любовь — беспечная игра,
Вмиг промелькнет, как юности пора.
Но есть любовь — залог предвечных благ.
Влюбленных не отпустит ни на шаг.
Не превозмочь ее, не одолеть,
Она в бессмертье простирает ветвь.
Меджнун возвел любовь на пьедестал,
Он суть любви единственной познал.

Безропотно неся сладчайший гнет,
Подобно розе той, что ветер гнет.
На лепестках, что вихрь, сорвав, унес,
Дрожат росинки розоцветных слез.
Той ароматной, розовой водой
Я насыщаю дух и разум свой.
Отец увозит Меджнуна в Каабу
Когда любви неутоленной стяг
Луною воссиял на небесах,
Того, чья страсть столь светлою была,
Сопровождала общая хула.
«Безумец!» — к этой стыдной кличке он
Как каторжник к цепям приговорен.
Судьба благая отвернулась зло, —
Старание родных не помогло.
Отец молился только об одном —
Чтоб мрак ночной сменился ясным днем.
Чтоб исцеленье даровал господь,
И разум смог недуг пребороть,
В сопровожденье горестных родных
Он побывал во всех местах святых.
Но все напрасно. Родственный совет
Решил, что средства от болезни нет.
Как дальше поступить? — Беда не ждет,
Одна Кааба юношу спасет.

О, если б излечить она смогла б,
Земли и неба выпранный михраб!
И, как велит обычай мусульман,
Готовить к хаджу стали караван.
И сквозь пустыню, в край святой земли,
Верблюды нагруженные пошли.
В украшенный удобный паланкин
Родителем, как месяц, спрятан сын.
А сам отец с измученным лицом,
Как пленный раб, отмеченный кольцом,
Пред нищими все золото, что берег,
Сынам песков рассыпал, как песок.
И тот богатый край, как говорят,
Дар получив, богаче стал в сто крат.
Истерзан непосильной маетой,
Отец в Каабе припадал святой.
В Каабу, как дитя, он сына ввел,
Чтоб дух святой к больному снизошел.
«Здесь, милый сын, не место для утех,
А исцеленье от злосчастий всех.
Молись, кольцо Каабы сжав в руках,
Чтобы кольцо беды разъял аллах.
Скажи: „Господь, твоя безмерна власть,
Спаси больного, отврати напасть.
Длань надо мной прощенья протяни,

На путь повиновения верни.
В плену любовном я страшусь любви,
Избавь меня от тяжких уз любви!“»
Отец сказал «любовь», и, вздрогнув вдруг,
Меджнун, очнувшись, поглядел вокруг.
Воспрянув, как змея, чей прерван сон,
Вскочил с земли и распрямился он.
И зарыдал, потом захохотал,
Кольцо Каабы в цепких пальцах сжал.
И произнес: «Отец мой, посмотри,
Похож я ныне на кольцо в двери:
Я раб любви, любовь в моей крови,
Отдам я душу за кольцо любви.
Мне говорят: „Чтоб в счастье пребывать,
Забудь любовь, спешి ее предать“.
В одной любви источник сил моих,
Умрет любовь — и я погибну вмиг.
Любовь мое пронзила естество,
Служить ей — назначение его.
Сердца, где не нашла любовь приют,
Пусть не стучат и от тоски умрут.
О повелитель сущего, аллах,
Я умоляю, распростертый в прах:
В твоей я власти, дух мой умертви,
Но только не лишай меня любви!

Уму, молю, прозренья силу дай,
Сурьму с ресниц моих не вытирай.
Я пьян любовью до скончанья дней,
О, опьяняй меня еще сильнеей.
Суровый окрик слышу я: „Внемли,
Освободись, убей любовь к Лейли!“
О господи, мученья мне продли,
Но разреши увидеть лик Лейли.
Жизнь отними, судьбу мою не дли.
Пусть бесконечной будет жизнь Лейли.
Стал от любви я тоньше волоска,
Да удалится от Лейли тоска.
Истерзан я, горька моя судьба,
До смерти мне носить кольцо раба.
Вином, Лейли, налей мне чашу всклянь,
Ее чеканом имя отчекань.
Стать жертвой красоты ее дозвожь,
Прости ей, боже, кровь мою и боль.
Пусть я свечой истаю восковой,
Не утешай меня, тоску удвой.
Пока живу, пускай из года в год
Любовь всепобеждающе растет!»
Отец внимал в отчаянье немом
И обреченно думал об одном:
«Напрасно все, беда сомкнула круг,

Неизлечим мучительный недуг».
Домой к родным он возвратился вспять,
Чтоб об моленье сына рассказать:
«Увидел я безумия лицо,
Когда Каабы стиснул он кольцо.
Услыша вопль, я волю дал слезам,
И волноваться начал, как Замзам.
Я уповал — слова святых молитв
От мук избавят, разум просветив,
Пути безумья сына вдаль влекли,
Себя он клял, молился за Лейли!»
Отец Меджнуна узнает о намерении племени Лейли
А кривотолки между тем ползли,
Став достояньем племени Лейли.
«Мол, некий отрок, смилуйся, аллах!
Лишась рассудка, жизнь влачит в песках.
Свой разум потерял он неспроста,
Повинна в том девичья красота».
О всем хорошем и о всем дурном
Болтали люди праздным языком.
От этих слухов, полных клеветы,
Лейли в тисках душевной маеты.
Злословьем род Лейли не пощажен:
Ее родитель был оповещен:
«Знай, некто, чей рассудок омрачен,

Позорит род, достойный испокон.
Простоволосый, обрядясь шутом,
Сей пес бродячий твой бесчестит дом.
То вдруг запляшет, то стенает он,
То землю лобызает, исступлен.
Преследуя безнравственную цель,
Слагает за газелями газель.
Позора ветер вдаль стихи несет,
Их с восхищеньем слушает народ.
Безумцем рода честь посрамлена,
Доколе унижаться нам, шихна?
Лейли свечою тает восковой,
Ее погасит натиск ветровой.
От суесловий бедная больна —
Ущербною становится луна!»
Разгневанный шихна потряс мечом:
«Сталь станет и судьей, и палачом!»
На лезвие зловеще вспыхнул свет.
Воскликнул вождь: «Меч скажет мой ответ!»
И эти речи, полные угроз,
Отцу Меджнуна вскорости донес,
Проведавший об этом амирит:
«Беда нам неминуемая грозит.
Шихна и кровожаден, и жесток,
Как пламя, жгуч, неистов, как поток.

Меджнун еще не ведает пока,
Сколь для него опасность велика.
Пока не поздно, мы предупредим
О бездне, что разверзлась перед ним».
Шейх растерялся и в испуге он,
Оповестил родных в округе он,
Чтоб рыскали везде, как вихрь степной,
Злосчастного найдя, любой ценой
Иль улестить, иль грозно припугнуть,
Но в дом родной немедленно вернуть!
Все обыскали из конца в конец,
Но тщетно все — исчез в песках беглец!
Неужто он погиб, как быть теперь?
Его порвал, должно быть, хищный зверь!
И каждый друг, слезами полня взгляд,
Тревогой и волненьем был объят.
Пустыня поглотила все следы,
Нет для родных ужаснее беды.
А тот несчастный, с раненым умом,
Блуждал в песках, отчаяньем влеком.
От суеты и дел мирских далек,
Забрел в скитаньях в дальний уголок.
В охотничьих угодах, как слепой,
Не дичь, а пыль он видел пред собой.
Лиса, коль благодушна и сыта,

Не тронет куропатки никогда.
Пусть сокол жаждой крови обуян,
Но если сыт, то будет цел фазан.
Сухой лаваш — вся пища бедняка,
Богатый не живет без шашлыка.
Недаром мудрость древняя гласит:
«Захочешь есть — чумизой будешь сыт!»
И справедливы лекарей слова:
«Что при холере — смертный яд халва!»
Любые яства — для Меджнуна яд
И как полынь они во рту горчат.
Он, в немощи ничем не дорожа,
Не отличал динара от гроша.
О нет, хоть велика была печаль,
Она светла, и нам его не жаль.
Печаль, заполюняя естество,
Позволила не помнить ничего.
Он клад искал, но отыскать не мог,
Доступных нет к сокровищу дорог.
Ведомый путеводною звездой,
Однажды странник шел пустыней той.
Из племени он был Бану-Саад,
Вдруг среди песков его приметил взгляд:
Ручей струится в мареве песка,
И человек простерт у родника.

Как краткий бейт, он столь же одинок,
Где стихотворец рифмой смысл облек.
Как лук, согнутый чьей-то волей злой,
Где верность долгу сходна со стрелой.
Казалось, он не нужен никому, —
Тень заменяла круг друзей ему.
Заметил путник, в изумленье встав,
Что юноша красив и величав.
О том о сем он начал свой расспрос,
Меджнун ответных слов не произнес.
Отчаявшись услышать что-нибудь,
Продолжил человек свой дальний путь.
И к амиритам поспешая, он
О виденном поведал, удручен.
Что, мол, Меджнуна, люди, видел я,
Свернулся он на камне, как змея.
Больной, безумный, жалкий вид явив,
Он корчится в припадке, словно див.
Так плоть свою сумел он извести,
Что исхудал бедняга до кости.
Отец несчастный, услышавший весть,
Покинул быстро дом и все, что есть.
Сам, словно див, блуждая среди скал,
Меджнуна бесноватого искал.
Взывал к нему в отчаянье отец

И увидал безумца наконец.
Приникнув к камню, сын, живой едва,
Газелей нараспев твердил слова.
А из глазниц, вдоль исхудалых щек,
Струился вниз кровавых слез лоток.
В самозабвенье, умоисступлен,
На первый взгляд казался пьяным он.
Его узрев, собрав остатки сил,
Отец мягкосердечно возгласил:
«Мой милый сын, очнись, сынок, садад!»
Меджнун, как тень, приник к его стопам.
«Престол моей души, главы венец,
Беспомощность мою прости, отец.
Не вопрошай, молю, и не учи,
А воле провидения вручи.
Я не хотел, свидетель в том аллах,
Такую боль читать в твоих глазах.
Но ты пришел, как светлый дух возник,
Мне черный стыд огнем сжигает лик.
Ты знаешь все! Простить меня нельзя,
Судьбой мне предначертана стезя!»
Отец наставляет Меджнуна
И, сострадая сыну своему,
Сорвал отец с седой главы чалму,
Израненную птицей застонал,

И день его полночный мрак объял.
Промолвил он: «О, как измучен ты,
Став книгою, где вырваны листы.
О, возлюбивший безрассудства друг,
О, злополучный раб сердечных мук;
Чей глаз недобрый в том виной, скажи,
Кем проклят ты, о перл моей души?
За что в тебя судьба вонзает шип?
Иль кровник жаждет, чтоб мой сын погиб?
Бездумный ты поступок совершил,
Кто зрение твое запорошил?
Влюбленнее бывают, спору нет,
Что ж ты один влачишь все бремя бед?
И разве ты, скажи, не изнемог,
Терпя и поношенье и упрек?
При жизни сердцу уготован ад,
Когда над ним столь страшный суд творят.
Честь запятнал ты, эта страсть вредна,
Источник слезный вычерпан до дна.
Чувствительным родился ты на свет,
И стойкости в тебе, к несчастью, нет.
Я вижу то, что скрыто от других, —
Зерцало чувств мятущихся твоих.
Зеркальная поверхность столь чиста, —
В нем истины сияет правота.

Добро и зло — все отразит оно,
Суровой беспристрастности полно.
Очнись, мой сын, тебе ль меня не жаль
Остывшую ковать не надо сталь.
Я понимаю, ты лишился сил,
Вдали от милой, изнывая, жил.
Но мог бы ты хотя б единый раз
Родных наведать, успокоить нас.
Страсть — ярый конь. Безумный бег чиня,
Измучаешь себя, загнав коня.
Ты опьянен невидимым вином,
Нельзя мечтать неведомо о чем
Оставил нас, а налетевший шквал
Мой урожай разнес и разметал.
Чеканом славы наш чеканен род,
Чекан позора нам не подойдет.
Ты руд берешь — меня кидает в дрожь,
Не струны руда — наше сердце рвешь.
То пламя, что любовь в тебе зажгла,
Спалив твой дух, сожжет меня дотла.
Ищи бальзам, чтоб он тебе помог,
Зерно посея и верь — взойдет росток.
Знай, дело беспросветное подчас.
Надеждою одаривает нас.
Жди, уповай, и время подойдет —

Мгла расточится, заблестит восход.
Преодолей судьбу, сынок, очнись,
К благополучью прежнему вернись.
Не выпустишь удачу из руки —
Вновь станешь счастлив, року вопреки.
И все узлы распутывая впредь,
Господства перстень сможешь вновь надеть.
Пусть беды мира связаны узлом,
Не поддавайся, сын, борись со злом.
Когда терпенье будешь проявлять,
То счастье возвратишь себе опять.
Знай, капельки сливаются не зря —
Из капель образуются моря.
Ведь из песчинок тех, что не видны,
Сложились горы звездной вышины.
Будь терпелив и сдержан, срок придет —
Не каждый сразу жемчуг обретет.
Мужчина безрассудный недалек,
Он слеп, как червь, и, как червяк, безног.
Лиса отнимет долю у волков,
Она хитра, а серый — бестолков.
Ты жертвуешь душой, а между тем
Забыли думать о тебе совсем.
У той, что розой пышно расцвела,
Не сердце, а гранитная скала.

Тот, кто о ней заводит разговор,
Тебе несет бесчестье и позор.
Яд горя страшен, ранит душу он,
Как будто уязвляет скорпион.
Займись-ка делом, вот мои слова,
Уймется пусть глумливая молва.
По голове слона индиец бьет.
Чтоб Индию забыл он в свой черед.
Ох мой сынок, дыхание мое,
Вернись, ты — упование мое!
В, чем смысл мытарства в выжженных песках?
Не в том ли, что родитель твой зачах?
Что ждет тебя? Куда, зачем идти —
Колдобины и ямы на пути!
А цепь позора — лишь она страшна,
Ужасней, чем карающий шихна.
Шейх обнажил недаром грозный меч,
Ты безрассудству дал себя завлечь.
Вернись к друзьям, стань весел и здоров,
Презри расчеты злых клеветников!»
Ответ Меджнуна отцу
Умолк отец, всю горечь чувств излив,
Ответ Меджнуна был медоточив:
«О ты великий, словно небосвод,
Надзвездных достигающий высот,

Твой лик арабам мускус даровал,
А я твои становья разорял.
Кыбла моих молений — твой чертог,
Существованья бренного исток.
Пускай аллах твои года продлит,
Вся жизнь моя тебе принадлежит.
Совет твой каждый, ты не ведал сам,
Мне на ожоги сердца лил бальзам.
Как поступить? Лицо мое черно,
Не знал я, что упасть мне суждено. —
На скорбный путь, где суждено пропасть,
Влекла меня неведомая власть.
Закованный, влача железный груз,
Сам по себе оковы сбить не тщусь.
И бремя непомерное влеку,
Так суждено судьбою на веку!
Один я всю печаль земли постиг,
Мир не рождал подобных горемык.
Виновна ль тень, что угодила в грязь,
Или луна, что мглой заволоклась?
Так повелось — ни слон, ни муравей
Не властвуют над участью своей.
Такою боль таю я в глубине,
Что даже камни сострадают мне.
Меня судьба преследует, губя,

Нельзя уйти от самого себя.
Куда исчезнуть мне с тропы земной?
Стать не могу ни солнцем, ни луной.
Но если ничего не изменить,
То лучшее из дел — дела забыть.
Блаженных дней мне не знать вовек, —
Злосчастный я, пропащий человек.
Как молния, палящая уста,
В теснине рта улыбка заперта.
Мне говорят: „Куда пропал твой смех,
Как можно плакать на виду у всех?“
Я не смеюсь, забота лишь о том,
Чтоб смех мой не спалил живых огнем!»
Лейли отправляется гулять по саду
В степи раскрыла роза свой шатер.
И с розой встретясь, розов стал простор,
Как любящих счастливые черты,
Улыбчивы весенние цветы.
Стяг желто-алый миром сотворен,
Его соткали роза и пион.
Вплетаясь в соловьиный пересвист,
Сад шелестит, лепечет каждый лист.
Жемчужины росы растенья пьют
И зеленеют, словно изумруд,
Тюльпана огнецветного цветов

Скрыл в сердцевине траурный ожог.
И локоны фиалки расплели,
Склоняясь на лугу к стопам Лейли.
В бутоне розы волею судьбы
Запрятаны колючие шипы.
А роза, уподобившись рабе,
Атласную одежду тклет себе.
На водной глади лилии листы
Раскиданы, как пленников щиты.
Лейли в саду, и все цветы спешат
Ей подарить пьянящий аромат.
Самшит кудрявый ветви долу гнет,
Гранат до срока наливает плод.
Томления исполненный нарцисс
Свой взор стыдливо опускает вниз.
Под солнцем искрясь, словно кровь из ран,
Расцветший пламенеет аргаван.
Серебряной росистой рекой
Обрызганы жасмины и левкой.
Для поцелуев рдяные цветы
Открыли розы, девственно чисты.
Разъял касатик истомленный зев,
Свой язычок, как синий меч воздев.
Смолк ворон ночи, прикусил язык,
И щебет утра стал разноязык,

Турач поработенный, словно раб,
Сжег собственное сердце, как кебаб.
На всех чинарах — вестники зари —
Заворковали глухо сизари.
И как Меджнун, певец любви своей,
Зарокотал, защелкал соловей.
Когда царица роз открыла взор
И на заре покинула шатер —
Все розы восхищенно расцвели,
Встречая пробуждение Лейли.
Но слезы на фиалковых глазах,
Как дождевые капли на цветах.
Прислужницы ступают вслед за ней
Жемчужины вокруг той, что всех ценней.
Они — тюрчанки, их точеный стан,
Как у прекрасных дев арабских стран.
Средь идолов, как ангел, шла она.
Не сглазить бы! Нежнее, чем весна!
С подругами встречая новый день,
Лейли вошла под лиственную сень.
Тюльпан ей кубок преподносит в дар.
Нарцисс медвяных дарит рос нектар,
Фиалки у нее берут урок,
Как завивать искусней лепесток.
Тень с кипарисом пери хочет слить.

Жасмины белизною удивить,
И, в благодарность, шелестящий сад
Ей, как харадж, вручает аромат.
Ни кипарис, ни пальмы, ни цветы —
Иная цель у юной красоты.
Ей надо уголок найти такой,
Чтоб поделиться с кем-нибудь тоской.
Быть может, соловей ее поймет.
Иль ветерок, что средь ветвей снует.
Он в цветнике, порхая там и здесь,
О том, кто вдалеке, прошепчет весть.
Уняв ее волнение и печаль.
Вновь легковейный унесется вдаль.
Туда свой шаг направила Лейли,
Где пальмы аравийские росли,
Казалось, что художник создавал
Резное совершенство опаял.
И высились они на зависть всем,
Движеньем указуя путь в Ирем.
Нет уголка чудесней этих мест!
Лейли пришла туда с толпой невест.
На зелени травы тотчас возник
Благоуханный розовый цветник.
И роза, видя прелесть юных дев,
От зависти склонилась, побледнев.

Там, где в росе омыла лик Лейли,
Казалось, кипарисы возросли.
Докучен для Лейли подружек смех,
Намного лучше ей покинуть всех.
Под движущейся тенью Навесной
Наедине мечтает быть с весной.
Как соловьиный стон невыразим,
Был плач ее о том, кто столь любим.
Так, убиваясь, плакала она,
Что сострадала ей сама весна.
«Любимый мой, где ты, в какой дали?
Мы на беду друг друга обрели.
О, благородный, стройный кипарис,
Приди ко мне, хоть раз один явись!
О, если б ты цветник мой посетил
И сердца жар дыханьем охладил!
Пусть к кипарису припадет платан
В счастливый день, что солнцем осиян.
Неужто ты разлуку превозмог
И посетить раздумал мой чертог?
Но все равно, пришли хотя б тайком
Мне весточку с попутным ветерком!»
Вдруг вдалеке, разборчиво едва,
Знакомые слышались слова.
Пел чей-то голос, будто для двоих,

Меджнуном сочиненный грустный стих:

«Меня добронравья лишает Лейли.

Надежда меня вдохновляет Лейли.

Меджнун утопает в кровавых волнах,

Спокойно на муки взирает Лейли.

Отверстые раны на сердце его,

Их солью, смеясь, посыпает Лейли,

Шагает по терниям жгучим Меджнун,

В шатре на шелках засыпает Лейли.

Он стонами грудь разрывает свою,

О играх беспечных мечтает Лейли.

Меджнун изнывает на знойном песке,

В весеннем саду пребывает Лейли.

Нуждою гонимый, он верит в любовь,

В чьи очи с улыбкой взирает Лейли?

Меджнуна разлука лишила ума,

Неужто блаженство вкушает Лейли?»

Лейли внимала. Капли жарких слез

Могли расплавить каменный утес.

Одна из бывших с нею стройных дев

Взирала на нее, оторопев.

И прияла, сколь тяжело двоим,

Разлуки гнет обоим нестерпим.

Лейли замкнулась, возвратясь домой,

Так в раковине жемчуг дорогой

Красу свою запрятать норовит
И тайну сокровенную хранит.
Но та, которой стал секрет знаком,
Все нашептала матери тайком.
«Ведь только мать вольна в беде помочь,
Отыщет средство и утешит дочь!»
И мать, узнав, исполнившись тоски,
Забилась птицей, пойманной в силки.
«Один безумен! — плакала она, —
Хмельна другая, словно от вина.
Как вразумить? Аллах, где сил мне взять?
Дочь я могу навеки потерять!»
Но поняла, что здесь помочь нельзя,
И горевала, молча боль снося.
Лейли таиться от родных должна,
Так в паланкине облачном луна
Туман вдыхает, что вокруг нее.
Кинжал вонзает в сердце острие.
Она в страданиях дни влачит свои.
Тот, кто любил, тот знает власть любви!
Сватовство Ибн-Салама
Сад радости, где счастьем должно быть,
Вдруг сочинитель вздумал заклеить, —
В тот день, когда Лейли, войдя в цветник,
Явила миру лучезарный лик,

Узрев ее средь шелеста весны,
Померкли розы, зависти полны.
При виде кос, что по плечам вились,
Душистыми цепями завились...
В тот самый день забрел в цветущий сад
Один араб, чей род Бану-Асад.
Был молод он, пригож и сановит,
Среди арабов чтим и знаменит.
Роднёю достославной окружен,
О процветанье рода пекся он.
Успех его сопутствовал делам,
И звался он «Сын мира» — Ибн-Салам.
Он был удачлив, как никто иной,
И обладал несметною казной.
Увидев свет пылающей свечи,
Он вздумал поступить, как вихрь в ночи.
Но об одном забыл он на беду,
Что ветер со свечою не в ладу.
Он, возвратясь с дороги в край родной,
Соединиться жаждал с той луной.
Но истина забыта им одна —
Не про него затеплена луна.
Настойчивый в решенье до конца,
Араб нашел надежного гонца.
Чтоб тот, старанье проявив, помог

Луну упрятать в свадебный чертог,
Чтоб, умоляя у отца в ногах,
Динары рассыпал, как жалкий прах.
И в уговорах, не жалея сил,
Несметные сокровища сулил...
Гонец, искусный в деле сватовства,
Не посягая на льстивые слова,
Униженно склоняясь до земли,
Стал у родных просить руки Лейли.
И благосклонно обойдясь с гонцом,
Так свату отвечали мать с отцом:
«Пускай аллах твои продолжит дни,
Мы ценим просьбу, но повремени, —
Подул в цветник студень ветерок,
Наш первоцветный розан занемог.
Поправится, дай бог, она вот-вот.
Пускай жених со свадьбой подождет.
Для общей пользы их соединим,
Да будет небо милостиво к ним!
Но только не сейчас, минует срок,
Еще недужен утренний цветок.
На радость нам болезнь избудет он,
И расцветет на радость наш бутон.
Пусть увенчает свадебный венец
Союз счастливый любящих сердец».

Благоразумным этим вняв словам,
Терпения набрался Ибн-Салам.
Стал женихом, исполненным надежд,
Пыль ожидания отряхнув с одежд.
Науфал посещает Меджнуна
Не ведала Лейли, что делать ей,
Любовь скрывать чем дольше, тем трудней.
Девичья честь во власти пересуд,
Ославили ее и чанг, и руд.
О ней судачит и шумит базар,
Газели распевают млад и стар, —
Усердствуют заезжие певцы,
И шепчутся безусые юнцы.
В тревоге и смятении она,
Днем нет покоя, ночью не до сна.
Меж тем Меджнун, слепой судьбой гоним,
Пустыней брел, отчаяньем томим.
В седых песках его терялся след,
И хищники за ним бежали вслед.
Спешил он к Неджду, длани простерев,
Выкрикивая бейты нараспев.
Любовь его в тот горный край влекла,
Он шел как дух добра, не гений зла.
По терниям ступал он босиком,
Как кеманча, стена под смычком.

И слыша безысходный этот зов,
Любой ему сочувствовал без слов.
В краю пустынном мирно проживал
Достойный муж, чье имя Науфал.
Он добрым был, хоть с виду и суров —
Защитник вдов, радетель бедняков.
Но этот кроткий муж, впадая в гнев,
Врагов своих крушил, как ярый лев.
Он был богат и не считал казны,
Но не о том мы рассказать должны.
Однажды, в окруженье гончих свор,
Он для охоты выбрал тот простор,
Где средь забытых богом голых скал
Зверь дикий рыскал и приют искал.
Вдруг пред собой он юношу узрел,
Страданья перешедшего предел.
Стоял он на израненных ногах,
С горящим взором, изможден и наг.
Вокруг него — поверить в то нельзя! —
Лежали звери мирно, как друзья.
Расспрашивать стал ловчих Науфал,
И с удивленьем повесть услышал:
«Мол, так и так, любовь повинна в том,
Что распростился юноша с умом.
Слагает бейты средь песков сухих

И ветеркам вверяет каждый стих.
Тем ветеркам, что донести смогли
Благоуханный вздох его Лейли.
Он облакам, свершающим полет,
Стихи читает сладкие как мёд.
Все странники спешат сюда свернуть,
Чтоб на страдальца нищего взглянуть.
С ним делятся последнею едой,
Коль пищи нет, то чашею с водой.
Ту чашу поднимает он с трудом,
К ней припадает пересохшим ртом.
И пьет во здравье той, кто всех милей,
Не думая об участи своей».
Сочувствием проникся Науфал.
«Как поступиться знаю, — он сказал, —
Коль возлюбивший сам в ответ любим,
Мы любящих сердца соединим».
И тут с коня, чьи ноги, как бамбук,
Проворно наземь соскочил он вдруг.
Меджнун обласкан был и тотчас зван
С ним разделить походный дастархан.
Муж утешать больного начал так,
Что от горячих слов Меджнун размяк.
Вдруг Науфал заметил, в свой черед,
Что юноша съестного не берет.

Не пробует изысканнейших блюд,
Хоть, словно тень, и немощен и худ.
О чем бы речь они ни завели,
Он говорить мог только о Лейли.
С участливым терпеньем Науфал
Расспрашивать тогда Меджнуна стал.
И, слушателя доброго найдя,
Меджнун, поев, стал кротким, как дитя.
Он друга обретенного дивит
Двустисььями газелей и касыд.
На шутки шуткой отвечал при всех,
Все радостней его, все звонче смех.
А тот, который этого достиг,
Обитель упования воздвиг,
Так говоря: «Далек твой свет живой,
Но не растай свечою восковой.
Я на весы богатство положу,
А не поможет, силу приложу.
Схвачу Лейли, как птицу на лету,
Соединю двойную красоту.
Кремень запрягал таинство огня, —
Сталь высекает искры из кремня.
Пока с луной не заключишь союз,
Аркан из рук не выпущу, клянусь!»
И, возрожденья чувствуя канун,

Пал на колени перед ним Меджнун:

«Надежда — услаждение души,

Коль в обещаньях этих нету лжи.

Но я безумен, разве вправе мать

Родную дочь безумному отдать?

Сломает розу вихрь, задев крылом,

Она — луна, я — див, рожденный злом.

И если злобный див владеет мной,

Не совместим я с дивною луной.

Напрасно тщились рубище отмыть,

Я весь в грязи, мне грех не замолить!

Ты черный коврик долго отскребал —

Напрасный труд — белее он не стал!

Иль чудотворна у тебя рука,

Что ты спасти задумал бедняка?

Довериться тебе страшусь, мой друг,

Ты обещанья не исполнишь вдруг, —

Того, кто за тобой посмел пойти,

Без помощи оставишь на пути.

Я не смогу желанною достичь,

И ускользнет непойманная дичь.

Грохочет барабан, но посмотри,

Сколь важен с виду — пуст зато внутри.

Коль счастье мне сулишь не на словах,

Пускай тебя благословит аллах.

Но если все — один мираж пустой,
Оставь меня с безумною мечтой.
Не поступай судьбе наперекор,
Дозволь мне жить, как жил до этих пор!»
И, причитаньям внемля, Науфал
Помочь ему немедля возжелал.
Он, благородной жалостью объят,
Поклялся и как сверстник, и как брат,
Господством всемогущего творца,
С Меджнуном быть до самого конца:
«Свидетелям да будет в том пророк,
Я поступлю как лев, а не как волк,
Забуду я про сон и про еду,
Но обещанье свято соблюду.
Прошу тебя, в спокойствии живи,
Оставь безумства дикие свои,
Увещеваньям ласковым внимай,
Мятущееся сердце обуздай.
Верь, клятва нерушима и свята,
Тебе открою райские врата!»
Вино надежды он сумел налить,
И жаждущий безумец начал пить.
Он укротить сумел свой буйный нрав,
Спокойным с виду и послушным став.
И, всей душой поверя в уговор,

Сумел залить пылавший в нем костер.
Надеждою счастливой осиян,
Поехал к Науфалу в дальний стан.
В горячей бане смыл и пыль и прах,
С ним восседал на дружеских пирах.
Стал пить вино, и повязал чалму,
И сладкозвучный чанг играл ему.
И с восхищеньем слушать все могли
Газели, что слагал он в честь Лейли.
Щедрей дождя, что льется на луга,
Дарил хозяин гостю жемчуга.
Меджнун в парче, он в досталь ест и пьет,
Похорошев от дружеских забот.
Согбенный стан вновь строен, как бамбук,
Лик восковой стал розов и упруг.
Вновь, словно месяц средь лучей светло,
Средь мускусных кудрей сквозит чело.
Зефир в его дыхание привнес
Тот аромат, что похищал у роз.
И, как улыбка солнечной весны,
Сверкают зубы снежной белизны.
Пустыня, что бесплодна и гола,
Связующую цепь оборвала.
Цветник, что, как в ознобе, трепетал,
Воскресшей розе рдяный кубок дал.

В Меджнуне ум и сдержанность слились,
Мудрец он, украшающий меджлис.
Гостеприимства полный Науфал
На все лады любимца ублажал.
Он веселился только с ним вдвоем,
За гостя поднимал бокал с вином,
Для двух друзей в беседах о Лейли.
Три месяца мгновенно протекли.
Меджнун упрекает Науфала
Друзья однажды в час вечеровой
За чашею сидели пировой.
Но потемнев лицом, став грустным вдруг,
Читать Меджнун двустишья начал вслух:
«Стон, словно дым, клубится в небесах,
Обмана ветер мой развеял прах.
Ты клялся мне, давал святой обет,
Но в обещаньях громких правды нет.
Сулил нектар преподнести мне в дар,
Но где же твой обещанный нектар?
Ты предал сердце, улестил меня,
Теперь я понял — это западня!
Я долго ждал, — смиренней быть нельзя,
Что ж ты молчишь и опустил глаза?
Не верю я красивым словесам, —
Душевных ран не вылечит бальзам.

Довольно мне покорным быть судьбе,
Пойми меня — опять я не в себе.
Трепещет сердце, вновь оно в крови,
Виною — обещания твои!
Где благородства светоносный дух?
На помощь другу не приходит друг!
Что ж обещанья не исполнил ты,
Правдивый муж, поборник доброты?
Я разлучен, судьба моя горька,
Я истомлен, нет рядом родника.
Дать воду истомленному — закон,
Дать денег разоренному — закон.
Цепь, что была разъята на беду,
Соедини, иль я с ума сойду!
Добудь Лейли, святой обет сдержи,
Иль в муках умереть мне прикажи!»
Битва Науфала с племенем Лейли
И от упреков горьких Науфал
Податливей свечного воска стал.
И на ноги вскочил, и сам не свой
Надел поспешно панцирь боевой.
Сто ратников избрал он для войны,
Чьи, словно птицы, быстры скакуны.
Он предвкушеньем битвы упоен,
Так за добычей мчится лев вдогон.

К становью он подъехал, но сперва
Послал гонца, чтоб передал слова:
«На ваше племя я иду войной.
Обиды пламя овладело мной.
Желаем мы, чтоб тотчас привели
Пред наши очи юную Лейли.
И я ее доставлю в свой черед
Тому, кто возлюбил и счастья ждет.
Кто жаждущему в зной подаст воды,
Того аллах избавит от беды!»
Угрюмо племя слушало посла,
Разбив добрососедства зеркала.
«Пусть знает угрожающий войной,
Что небо не расстанется с луной,
Дотронуться до блещущей луны
Рукою дерзкой люди не вольны.
Сиять ей вечно, землю озарив,
Пусть сгинет посягатель, черный див.
Сосуд скудельный; громом разобьет,—
Кто поднял меч, сам от меча падет!»
Пришлось послу везти дурную весть,
Дословно передать, что слышал здесь.
Отказом уязвленный Науфал
Вторично в стан Лейли гонца послал.
«Им передай, — кричал он сгоряча,—

Скакун мой резв, сверкает сталь меча,
Я на врагов обрушу ураган,
Смету с дороги супротивный стан!»
Посол вернулся вскоре, — в этот раз
Вдвойне был оскорбителен отказ.
Гнев Науфала, столь он был велик,
Что взмыл из сердца огненный язык.
Казалось, ярость в бой полки вела,
И сталь из ножен вырвалась, гола.
Воинственные клики слышит высь,
Гор снеговые пики затряслись.
Все воины в крутящейся пыли,
Как львы, рванулись на родных Лейли.
Как в многошумном море две волны,
На поле боя сшиблись скакуны.
С мечей струилась кровь, красней вина,
Земная твердь тряслась, опьянена.
Все в дело шло — и копья, и клинки,
И в рукопашной схватке — кулаки.
Рой стрел пернатых, злобой обуян,
Пил птичьим клювом кровь смертельных ран.
Разила сталь со всею силой злой,
И головы слетали с плеч долой.
Арабские ретивы скакуны,
Их ржанье долетает до луны.

От молний смерти, озаривших день,
Ломалась сталь и плавился кремьень.
Отточен остро блещущий клинок,
Он тонок, как дейлемца волосок.
Как луч восхода, с десяти сторон
Лучились диски на концах знамен.
И черный лев, и гневный белый див
Ярят коней, пески пустыни взрыв.
За каждого, вступающего в бой,
Меджнун готов пожертвовать собой,
Скакун бойца копытами топтал, —
Меджнун от состраданья трепетал.
Жалел друзей он гибнущих своих
И сокрушался, видя смерть чужих.
Кружился, как паломник в хадже он,
И примиренья жаждал для сторон.
И только стыд безумца смог сберечь.
Чтоб на друзей он не обрушил меч.
И если б не осуда, был готов
Он перейти на сторону врагов.
Когда б не насмежалась вражья рать,
Друзьям он стал бы головы срубать.
Когда б посмел, то умолил бы рок,
Чтоб он на смерть сподвижников обрек.
Он, если б в сердце не было преград,

Соратников сразил бы всех подряд.
И, возбужденный, страстно уповал,
Чтоб проиграл сраженье Науфал.
Молился он, рассудку вопреки,
Чтоб взяли верх враждебные клинки.
Убит его сторонник наповал —
Меджнун убийце руку целовал.
А мёртвого из племени Лейли
Оплакивал, склоняясь до земли.
Держал свое копьё он, как слепой,
Желая проиграть скорее бой.
Шла в наступленье Науфала рать —
Меджнун врагов пытался заслонять.
Противник рвался в битву, осмелев, —
Меджнун торжествовал, рыча, как лев.
Один боец спросил его в сердцах:
«Что вертишься, суди тебя аллах!
Я жизни для тебя не берегу,
А ты, видать, способствуешь врагу!»
Меджнун в ответ: «Постичь тебе нельзя,
Мне не враги возлюбленной друзья.
С врагом сражаться должно на войне,
Но близких убивать возможно ль мне?
На поле боя, там, где тлен и смрад,
Вдыхаю я покоя аромат.

Те, кто покой предвечный обрели,
Сражались за спасение Лейли.
Всем сердцем ей одной принадлежу...
За счастье милой душу положу.
И если я к любви приговорен —
„Жизнь за любовь!“ — таков любви закон.
Коль за Лейли мне жизнь не жаль отдать,
Неужто вам я стану сострадать?»
Сраженьем опьяненный Науфал,
Как разъяренный слон, вперед шагал.
Стрела свистела, души унося,
Меч опускался, воинов разя.
Хлестали струи крови, горячи,
И головы скакали, как мячи.
Его бойцы, хвастливы и сильны,
Сражались до восшествия луны.
И амброй ночи окропив чело,
Сиянье дня померкло и ушло.
Грузинка меч взметнула, чтоб скорей
У русской срезать светлый шелк кудрей.
Отгрохотала до утра война,
И поле боя стало полем сна.
К утру свернулся черный змей кольцом
Заххак рассвета посветлел лицом.
И копыта снова стали жалить так,

Как будто лютых змей кормил Заххак.
Но конники из племени Лейли
Громоздкой тучей, двинувшись, пошли,
Как молнии грозовою порой,
Взметнулся стрел неуголенный рой.
Тут Науфал почувствовал: «Беда,
Для мира надо распахнуть врата!»
Посредника направил из родных,
Чтобы просить о мире для живых,
«Мол, бесполезен был кровавый спор,
Начнем любезный сердцу разговор.
Ведь пери виновата в том сама,
Что юношу смогла свести с ума.
Не жаль мне ни сокровищ, ни казны,
Но те, кто, любит, вместе быть должны.
Да будет сладок ваш ответ, как мед.
Бог за добро сторицей воздает.
Коль сахару вкусить нам не дано,
Не стоит пить прокисшее вино.
Решенья справедливые нужны,
За благо будет спрятать меч в ножны!»
С вниманием был выслушан гонец, —
Жестокой распре наступил конец,
Коней вражды решая расседлать,
Враги отряды возвратили вспять.

Смолк грохот боя, стихло, все кругом,
Мир стал на страже с поднятым копьём.
Меджнун упрекает Науфала
Узнав о мире, яростью ведом,
Меджнун помчался на коне гнедом.
Упрек его вонзился, как клинок:
«Влюбленным ты воистину помог!
Хвала тебе — обет сдержал сполна!
Невелика ему, видать, цена!
Ты потрясал воинственно мечом,
Чтоб оказаться после ни при чем.
Не ты ли клялся, важен и хвастлив,
Что будет связан и наказан див,
Что конь помчится, словно ураган,
Что захлестнет любого твой аркан?
Святой обет нарушив, на беду,
Ты у врагов пошел на поводу.
Тот, кто врагом был только на словах,
Теперь меня готов втоптать во прах.
Дверь, пред которой я молиться мог,
Ты предо мною запер на замок.
Спасибо, друг, все чаянья мертвы,
Я луком стал, лишенным тетивы.
Нить дружбы оборвав, победе рад,
Конь сделал королю и шах и мат.

Пастух стрелу на волка наострил,
Но в пса сторожевого угодил.
Хоть ты за благородство вознесен,
Но на поверку — праздный пустозвон!»
Насмешкой уязвленный Науфал
Меджнуну так резонно отвечал:
«Увидев, что победа не близка,
Мои немногочисленны войска,
Я хитростью решил врага отвлечь
И до поры упрятать в ножны меч.
Я кликну клич — на зов со всех сторон
Придут бойцы из родственных племен,
На ишаков я снова двину рать,
С дороги нашей их клянусь убрать».
И на призыв Медина и Багдад
На помощь за отрядом шлют отряд.
Со всех краев спешат на ратный сбор,
Чтоб разрешить в бою кровавый спор.
И ночью, от горы и до горы,
Заполыхали заревом костры.
Вторая битва Науфала
Кто берегал в душе несметный клад,
Воистину был царственно богат.
Громаду войска двинул Науфал,
И созерцавших ужас обуял.

Пыль от шагов до неба поднялась,
Абу-Кубайс вершина затряслась.
Услышав приближение беды,
Враг содрогнулся и сомкнул ряды
Старейшины из племени Лейли
На гору сопредельную взошли.
Увидел вождь, в отчаянье немом,
Войска заполонили окоем.
Сверкает меч, нацелен грозно лук,
И барабана непрерывен стук.
Все ближе длинных труб надрывный вой.
«Как поступить? Неравным будет бой».
Бездонный ров разверзся перед ним,
Поток ревущий был неотвратим.
С лица земли живых он может сместь, —
Но отступить не дозволяет честь!
И воины столкнулись, грудью в грудь, —
Мечи нашли свой смертоносный путь.
Там, где песок кровавый ток вобрал,
Рубин, переливаясь, выросстал.
Казалось, даже меч был устыжен
От злодеяний, что свершает он.
Устали все, но только Науфал
Ни устали, ни жалости не знал.
Сражался он, как яростный дракон,

Удар мгновенный — и боец сражен.
И булавы его тяжелый брус
Мог многоглавый сокрушить Эльбрус.
Обрушит меч булатный с высоты —
Из книги жизни вырваны листы.
Был в смертной схватке воин не один
Положен в погребальный паланкин.
Пословица гласит: «Разящий меч
Способен воду из кремня извлечь».
Когда единство движет в бой войска,
Победа неизбежна и близка.
Для Науфала и бойцов его
Все предвещало вскоре торжество.
Ожесточась, без жалости в сердцах,
Они своих врагов разбили в прах.
Кто не убит был сразу наповал,
Тог кровью ран смертельных истекал.
Старейшины из племени Лейли,
Прах сыпя на главы, к врагам пошли.
Пред Науфалом, ползая у ног,
Запричитали: «Вождь, не будь жесток!
Не продолжай губительной войны,
Мы все убиты или пленены.
Копье и меч вздетый опусти,
Подай нам длань, поверженных прости.

Зачем казнить безвинный наш народ,
Есть высший суд, он всех живущих ждет.
Коль мы обет нарушим — горе нам,—
Пусть вновь заплещет меч по головам.
Повергли мы щиты к стопам твоим,
О, снизойди, будь милостив к живым.
Зачем терзать нас, причиняя боль,
И добивать нас, беззащитных, столь!»
Исполнясь состраданьем, Науфал
Их причитаньям и молениям внял,
Промолвив так: «Я спрячу меч в ножны,
Но вы невесту привести должны!»
И серым став с лица, как серый прах,
Отец невесты отвечал в слезах:
«Храбрый муж, чей славе нет конца,
Достоин ты престола и венца.
Пусть безмятежно длятся дни твои.
Я немощен, душа моя в крови.
Меня арабы честные корят,
С аджамцем злонамеренным ровнят.
И мучает, и совесть мне гнетет
Судьба детей, надрывный плач сирот.
В молящие глаза страшусь взглянуть,
Кровь в жилах трудно бьется, словно ртуть.
Своей добычей дочь мою считай,

С рабом ничтожным в браке сочetaй.
Я счастлив буду выполнить приказ,
Лейли тебе доставлю в тот же час.
Коль ты костер палящий разведешь
И, словно руту, дочь мою сожжешь,
В колодец бросишь, где бездонно дно,
Или мечом казнишь — мне все равно.
Я все снесу и в случае любом
Твоим останусь преданным рабом.
Но диву не отдам родную дочь,
Он на цепи быть должен, словно зверь.
Она — сиянье дня, он — мрак слепой,
Огонь не может ладить со щепой.
Безумец жалкий, бесом одержим,
Он презираем всеми и гоним,
Бродящий по пустыням и горам
С такими отщепенцами, как сам.
С ним куролесит непотребный сброд,
Позоря и пятная славный род.
Бесчестья несмываемо пятно,
В глазах моих он мертв давным-давно.
И аравийский ветер, друг степей,
Позор разносит дочери моей.
Лейли невинна, но о ней кругом
Судачат люди праздным языком.

Меджнуну дочь отдам и вместе с ней
Позор влачить мне до скончанья дней.
Не лучше ль угодить дракону в пасть,
Чем испытать насмешек злобных власть?
Внемли мольбам скорбящего отца,
Не дай позор изведать до конца.
Откажешь мне, и бог свидетель в том,
Судить я буду дочь своим судом.
Расправиться с луной сумею сам,
Ее останки брошу алчным псам.
Чтоб нам бесчестья злого не терпеть
И о войне не думать больше впредь,
Пусть бедное дитя терзает пес,
Чем лютый див, что горе всем принес.
Укусит пес — но в этом нет стыда,
Бальзам излечит раны без следа.
От ядовитых языков людских
Противоядий нету никаких».
Он кончил речь и скорбно замолчал.
С вниманьем слушал старца Науфал.
И, милосердья простирая длань,
Растроганно промолвил: «Будет, встань,
Я — победитель, зла не совершу,
Я дочь отдать по-доброму прошу.
Коль ты не хочешь, что ж, да будет так, —

Насильно не свершится этот брак.
Старинная пословица права:
„Хлеб плесневелый, горькая халва —
Та женщина, которую силком,
Насилье совершая, вводят в дом“.
Вершить с молитвой свадьбу надлежит.
Военной распрей я по горло сыт!»
И те, кто слышать эту речь могли,
Жалели от души отца Лейли:
«Меджнун безумной страстью одержим,
Пусть он простится с помыслом дурным.
Он, все права утративши свои,
Не смеет стать хранителем семьи.
Мы шли в сраженье за него, а он
Молился, чтобы друг был побежден.
Для стрел мишенью каждый воин стал,
А он нас и ругал и проклинал.
Тем, у кого сознание темно,
Смеяться или плакать — все одно.
Ведь тот союз, что кровью окроплен,
Несчастьем для двоих сопровожден,
Ей жизнь прожить с безумцем надлежит,
Тебе всю жизнь влачить за это стыд!
Мы имя наше в славе сохраним
И вмешиваться дальше не хотим».

И Науфал, разумным вняв словам,
Бойцов своих отправил по домам.
...Меджнуну вновь по прихоти судьбы
Вонзились в сердце острые шипы.
На Науфала он в слезах напал,
И гнев его, как лава, клочкотал.
«О ты, который верным другом был,
Свои обеты ныне позабыл.
Зачем решил сияющий восход
Ты променять на мрачный день невзгод?
Мою добычу выпустил из рук,
Так чем же ты помог, ответствуй, друг?
Подвел меня туда, где тек Евфрат,
Не дав испить воды, низвергнул в ад.
Ты, нацедив в пиалы мед густой,
Дал мне полынный отхлебнуть настой,
Сам предложил мне сахар, а потом
Смахнул, как муху дерзкую, платком.
Неопытной рукою нить сучил
И превосходный хлопок загубил».
Все высказал Меджнун, судьбу кляня,
Рванув уздечку, вскачь погнал коня,
Не видя ничего перед собой,
Мрачнее черной тучи грозовой.
Он влагой слез пустыню орошал

И этим жар душевный утишал,
А Науфал, вернувшись в свой предел,
С друзьями о страдальце сожалел.
Он, неизменный дружбе до конца,
Людей послал по следу беглеца.
Но тщетно, словно в вечность, канул он,
И след его песками заметен.
И понял каждый, кто понять желал,
Причину, по которой он пропал.
Старуха ведет Меджнуна к шатру Лейли
Когда небесный странник свет зажег,
Зарозовел предутренный восток.
И лишь в зрачках чернеть остался мрак,
Как сокровенный камень Шаб-Чираг.
Меджнун, как ворон, вдруг затрепетал,
Как мотылек, что свечку увидал,
И мысленно шипы убрав с пути,
В край, где жила Лейли, решил пойти.
Ее становья дым вдохнув с тоской,
Он побледнел, за грудь схватясь рукой.
Протяжный вздох похожим был на стон.
Так стонет тот, кто к жизни пробужден.
Вдруг он увидел — нищенка бредет,
А вслед за ней на привязи юрод.
В оковах тяжких с головы до пят,

Казалось, он судьбе подобной рад.
Старуха, торопясь, дорогой шла,
И на веревке бедного влекла.
Меджнун пред нищей в удивленье встал
И вопрошать ее в смятенье стал:
«Кто этот муж, что, на свою беду,
Вслед за тобой идет на поводу?»
И услышал ответные слова:
«Перед тобой злосчастная вдова.
Тот, кто оковы вынужден таскать,
Не сумасшедший вовсе и не тать.
Мы за собой не ведаем вины, —
До нищенства нуждой доведены.
Друг на аркане вслед за мной идет,
Поет и пляшет у чужих ворот.
Той малостью, что вместе соберем,
И живы мы, и кормимся вдвоем.
Стараемся дарованное нам
Все разделить по-братски, пополам.
Крупинкой самой малой дорожим,
Дележ по справедливости вершим».
Когда Меджнун признанья смысл постиг,
К ногам старухи он с мольбой приник.
Он стал взывать: «С бедняги цепь сними,
Свяжи меня, в товарищи возьми.

Знай, это я безумьем заклеюмен,
Я заслужил оковы, а не он.
Меня води с собою по дворам,
Я заслужил бесчестие и срам.
Все, что добуду, на цепи влеком,
Тебе пусть достается целиком!»
Воспрянула старуха всей душой,
И, в предвкушенье выгоды большой,
От спутника немедля отреклась
И связывать Меджнуна принялась.
Веревкой ловко окрутила стан,
Вкруг шеи обвила тугой аркан.
За побирешкой он, вздымая прах,
Побрел с цепями на худых ногах.
Как будто пьяный шел под звон оков,
И хохотал, и прыгал у шатров.
«Лейли», — он звал, людей смеша до слез,
В него кидавших камни и навоз.
Он устремлялся к Неджду, в тот простор,
Где цвел надеждой и манил шатер.
И наконец залетный ветерок
Донес становья близкого дымок.
Меджнун пал наземь, вровень став с травой,
В рыданьях схожий с тучей грозовой,
Он бился лбом о камни, вопия:

«О ты, из-за которой гибну я!
Я, возлюбив тебя, презрел закон,
От всех мирских забот освобожден.
Но, скован по рукам и по ногам,
Истерзанный, я ныне счастлив сам.
Свершая грех, не милости ищущу,
Я сам себе злодейства не прошу.
Тебя я умоляю об одном:
Суди меня, но собственным судом.
Хоть я из лука целился в бою,
Но поразили стрелы грудь мою.
Я на твоих сородичей напал,
Но своего меча я жертвой стал.
Я, став причиной учиненных зол,
К тебе с повинной, скованный, пришел.
Теперь от цепи цепенеет, глянь,
Лук против вас нацелившая длань.
За грех я расплатился тяжело —
Ужасное возмездие пришло.
Не снисходи ко мне и не жалеяй,
В твоей я власти, — кровь мою пролей!
Я без тебя живу, меня вини
И на кресте преступника распни.
О ты, что и в неверности верна,
Невинность пред тобой вины полна,

Безвиновен я и не содеял грех,
Но пред тобою я виновней всех.
Иль в милосердьe вдруг ты снизойдeшь,
Или вонзишь в меня презрeнья нож.
Подай мне вeсть, пока ещe живу,
Длань возложи на скорбную главу.
Готов погибнуть я из-за тебя,
Чтоб ты предлог нашла прийти, скорбя.
Казни меня — благословенен меч,
На твой порог он дал мне жертвой лeчь.
Я все прощу, не ведая обид,
Я — Исмаил, а не исмаилит.
В моей груди свеча горит светло,
Но это пламя сердце обожгло.
Коль голова моя — свечной нагар,
Обрежь фитиль, пусть ярче вспыхнет жар.
У ног твоих мне умереть дозволяй,
Жить не могу, невыносима боль.
Ты недоступна до скончанья дней,
И жизнь все безнадежней и темней.
На что мне голова? Она больна,
Страданьями и ревностью полна.
Твори, что хочешь, тело обезглавь,
Счастливой будь, а горе мне оставь!»
И цепи на себе порвав рывком,

Стрелкою взвившись, пущенной стрелком,
Молниеносно, словно метеор,
Он поспешил бегом к отрогам гор.
На Неджд взобрался, по камням скользя,
Себе удары с воплем нанося.
Его сумели все же разыскать,
Узрели то, что лучше не видеть.
Рыдающая мать, седой отец
В отчаянье постигли наконец:
«Возврата нет, родных Меджнун забыл»,
И, одичавший, он оставлен был.
Воспоминанья стерлись и ушли,
Мир потускнел пред именем Лейли.
А если говорили об ином,
Он убегал иль забывался сном.
Отец выдает Лейли за Ибн-Салама
Ловец жемчужин свой продолжил сказ,
Медоточиво речь его лилась,
Когда с войной покончил Науфал,
А одержимый в горы убежал,
Отец Лейли, войдя в ее шатер,
Такой повел обманный разговор,
Он криво повязал свою чалму,
Все изложив, как надобно ему:
«Узнай, Лейли, народ обязан мне,

Что поражение избежал в войне.
Ведь Науфал — казни его господь! —
Нас не сумел в сражение побороть.
Твой полоумный, что навлек беду,
Им изгнан был, мы кончили вражду.
В горах теперь скрывается беглец,
Он от тебя отрекся наконец!»
Не поднимая бледного лица,
Лейли в молчанье слушала отца.
Семейные обычаи блюла,
Но слезы в одиночестве лила.
И от пролитых втайне жгучих слез
Нарциссы робких глаз — краснее роз.
Дорожки слез легли вдоль нежных щек,
Посолонел от них сухой песок.
Вокруг бамбука слезный водоем
Кроваво-красным наполнился огнем.
Кто ей поможет, кто подаст совет,
Когда друзей и близких рядом нет?
На плоской крыше, как змея в мешке,
Она металась в ноющей тоске.
Ее дыханья трепетный зефир
Благоуханьем взбудоражил мир.
Мужи из ближних и далеких мест
Шли сватать ту, что краше всех невест.

Чтоб завладеть манящей красотой,
Не жаль казны звенящей золотой.
Друг перед другом проявляли прыть,
Жемчужину пытаясь раздобыть.
К ней тянут руки, ведь не зря влечет
Еще сокрытый в улье сладкий мед.
Но, дорожа жемчужиной, отец
От посягательств охранял ларец.
Сама Лейли, как ваза из стекла,
Себя от хищных взоров берегла.
На людях притворяться ей дано
И улыбаться, даже пить вино.
Так свет струит свеча во тьме ночной,
Дотла в тоске сгорая неземной.
Нет, не двулична роза, коль шипы
Хранят ее от прихотей судьбы.
Лейли, страданья не чиня родным,
Терпела муку, улыбаясь им.
А между тем, вокруг ее шатра
Толпились свахи с самого утра.
И, услышав об этом, Ибн-Салам
Решил не мешкать и приехал сам.
Тщеславием кичливым обуян,
Он свадебный возглавил караван.
В подарок для родных и для гостей

Вез маны амбры и тюки сластей.
И черный мускус, и багряный лал.
Он роскошью хвастливой удивлял.
Сам для ночных рубах цветной атлас
Рачительно он выбрал про запас.
Пригнал верблюдов тысячу числом
И скакунов арабских под седлом.
За золото вступают в бой полки —
А у него с собою сундуки.
Метал перед гостями на коврах
Казну горстями, как сыпучий прах.
Столь он безмерно щедрость распростер,
Что золотом засыпан был шатер.
С дороги отдохнув денек иль два,
Он вестника призвал для сватовства.
Велеречивый муж, искусный сват,
Смягчить мог камень, затупить булат.
Такие совершал он чудеса,
Что мог бы позавидовать Иса.
Все, чем гордятся Чин, Таиф и Рум, —
Изделья, восхищающие ум,
Сокровища, которым нет цены,
Родителям Лейли привезены.
Сват, красноречья завладев ключом,
Похвальные слова струил ручьем:

«Наш Ибн-Салам среди храбрых львом слывет,
Арабов он и гордость, и оплот.
Мечом прославя свой высокий сан,
Муж знаками величья осиян.
Коль крови жаждешь — он прольет поток,
Захочешь злата — сыплет как песок.
Тебя избавит от осуды зять,
Твоей казне оскуды не знаять!»
Так много ловкий сват наговорил,
Что бедного отца ошеломил.
Тут, сколь не исхитряйся, не крути, —
Пришлось ему к согласию прийти.
Увы, отец не отвратил напасть
И вверх свою луну дракону в пасть.
Когда невеста дня, восстав светла.
Из рук Джамшида чашу приняла,
И русский отрок, юн, русоволос,
Арабу дал накидку ярче роз,
Отец невесты с раннего утра
За украшенье принялся шатра.
Был сам жених и весь приезжий клан
За праздничный усажен дастархан.
Дивя размахом весь арабский мир,
Под музыку и песни грянул пир.
Он длился долго, как велит закон,

Союз венчая дружеских племен.
Росла дирхемов груды высоко —
Дань матери Лейли за молоко.
В опочивальню, как заведено,
Снесли на блюдах сласти и вино.
Злосчастная металась, как во сне,
Сгорала, как алоэ на огне.
Слезинки, затмевая звездный взгляд,
Ей розы щек без устали кропят.
Рубиновые стиснуты уста, —
Изнемогает в муке красота.
Ждет новобрачный, празднично одет;
Невесте мрачной опостылел свет.
Разбилась чаша возле уст ее,
Полыни горче сладкое питье.
На шип наступишь — ногу занозишь,
На пламя дунешь — губы опалишь.
Род в единенье — словно кисть руки,
Беда, коль палец отсекут враги.
Кто оскорбляет своевольем род,
Того родным он боле не сочтет.
Змея ужалит палец — ждаться невмочь,
Отсечь его немедля надо прочь.
Гармония спасает нас от бед,
Смерть наступает, коль согласия нет.

Лейли теперь в томительной тоске —
От гибели душа на волоске!
Ибн-Салам приводит Лейли в свой дом
Когда в лазурном небе распростер
Свое сиянье утренний шатер
И челн полночный, белых взяв рабынь,
За окоем уплыл в густую синь.
Жених, как полномочный властелин,
Украшил для невесты паланкин.
И с пышностью, чтоб видеть все могли,
В нем понесли торжественно Лейли.
Ее супруг, руководим добром,
Вручил господство над своим добром.
Стремился он супруге угодить,
Воск лаской и терпеньем растопить.
С восторгом юной пальмы видя стать,
Он попытался финики достать.
Но чуть рукою тронул гибкий ствол,
Как шип ему все пальцы исколол.
Пощечины удар столь крепок был,
Что чуть супруга наземь не свалил.
«Не подходи! — она схватила нож. —
Себя убью, но ты сперва умрешь!
Клянусь аллахом, богом всех времен,
Не для тебя кумир был сотворен,

Мечом, коль жаждешь, кровь мою пролей,
Знай, никогда не буду я твоей!»
Был Ибн-Салам доволен, отступив,
Хотя бы тем, что уцелел и жив.
Он понял, что отвергнут неспроста —
Не для него сияет красота.
Все ж от Лейли, настойчив и упрям,
Решил не отступаться Ибн-Салам.
Он, с двухнедельной встретившись луной,
Пленный, сердце отдал ей одной.
Он был в нее без памяти влюблен.
«Не преступлю запрета — понял он, —
Ее сочту за счастье лицезреть,
Уйдет она — мне лучше умереть».
И осознав, что груб был и неправ,
Просить стал о прощенье, зарыдав:
«Да будет так! Коль преступлю обет,
То незаконным я рожден на свет!»
И с той поры он соблюдал зарок:
Вздыхал, не смея преступить порог.
А роза, украшающая сад,
С дороги не сводила грустный взгляд.
Ждала, что ветер, сжалясь в свой черед,
Весть из пещеры горной принесет.
И вечером, и с раннего утра

Спешила на дорогу из шатра,
Вдали от всех над участью своей
Стенать, как безутешный соловей.
Хватило бы ей весточки одной.
Чтоб утешенье дать душе больной.
Терпения в разлуке лишена,
Неутоленно плакала она.
И тайна, проступившая клеймом,
Всем стала явной, словно ясным днем.
Столь нестерпима боль душевных мук,
Что ни отец не страшен, ни супруг.
Когда любовь бессмертна в небесах,
Бессильны здесь упреки или страх.
Меджнун дружит со зверями
Сказитель вдохновенный начал сказ,
Все изложив правдиво, без прикрас:
Тот, кто от взоров прятал скорбный лик,
Иссушенный пустыней базилик,
Отца оплакав, полный скорбных дум,
Вновь колесил в пустыне, как самум.
Его дороги бедствий привели
Туда, где обитал народ Лейли.
Вдруг свиток он увидел, а на нем
«Лейли», «Меджнун» начертано пером.
Но имя той, которую любил,

С пергамента он ногтем соскоблил.
Ему сказали: «Видеть нам чудно —
Из двух имен оставлено одно».
Он возразил: «Кто любит и любим,
Довольствуется именем одним.
Кто истинно и преданно влюблен,
С любимой вовек неразделен».
Тут некто в удивленье спросил:
«Зачем себя оставить ты решил?»
Он отвечал: «Назначено судьбой
Ей быть ядром, мне — крепкой скорлупой
Я — скорлупа, лишённая ядра,
Без сердца я — пустая кожура».
Так вымолвив, он, в грудь себя бия,
В пустыне скрылся, словно Рабия.
И долго вдалеке, как слезный всхлип,
Звучал уныло песенный насиб.
Он как онагр, поводья оборвав,
Бежал к зверям, закон людской поправ.
Без пищи и воды, полуживой,
Кореньями питался и травой.
Среди зверей, их дружбой дорожа,
Нашла покой мятежная душа.
И звери шли к нему издалека,
Служа ему, как верные войска.

Рога и обнаженные клыки
Надежнее, чем воинов клинки.
Звериный лагерь вокруг него залег
И жизнь его заботливо берег.
Он для зверей — властительный султан,
Премудрый, добрый, словно Сулейман.
В жару над ним орел, слетая с гор,
Широких крыльев раскрывал шатер.
Его увещеваньям кротким вняв,
Избыли звери свой свирепый нрав.
Клыкастый волк ягненка стал щадить,
Лев за онагром перестал следить.
Козу вскормила львица молоком,
Волк вылизал зайчонка языком.
Он брел в песках, ладонь прижав к груди
А звери рядом шли и впереди.
Когда ложился спать он, утомясь,
Лиса с него хвостом стирала грязь.
И на ногах следы кровавых ран
Заботливо зализывал джейран.
С оленями устроясь на ночлег,
Лицом он зарывался в теплый мех.
И когти меченосные воздев,
Ночной покой стерег косматый лев.
Волк, как дозорный, колесил кругом,

Чтоб враг на лагерь не напал тайком.
Свирепый тигр, забыв, что он жесток,
Доверчиво лежал у самых ног.
В пустыне звери бросили вражду
Живя отныне в мире и в ладу.
Средь хищников Меджнун, оставя страх,
Царил как полновластный падишах.
А между тем молва прошла окрест,
И люди опасались этих мест.
Ведь если б враг пришел сюда со злом,
То был бы вмиг наказан поделом.
Но отступал зверей ворчащий круг,
Когда являлся настоящий друг.
Покорны мановению руки,
Вмиг убирались когти и клыки.
Так жил он, благодатью осиян,
Как стадо охраняющий чабан.
От хищников двуногих в стороне,
Судьбой своей довольствуясь вполне.
А люди надивиться не могли,
И если караваны мимо шли,
Не в силах любопытства одолеть,
Хотелось всем на чудо поглядеть.
И странники прервать спешили путь,
Чтоб на него хоть издали взглянуть.

И пребывал в надежде пилигрим,
Что трапезу разделит вместе с ним.
А тот сидел средь тигров и пантер,
Являвших послушания пример.
Едва один кусок отведав сам,
Все остальное отдавал зверям.
Зимою долгой, слабый, чуть живой,
Делил с зверями хлеб насущный свой.
И хищники пустынь со всех сторон
Шли к своему кормильцу на поклон,
Возрадовались звери, что всегда
У них есть и защита и еда.
Свободных, с независимым умом,
Благодеянье делает рабом.
Огнепоклонник бросил псу мосол,
И пес за ним на край земли пошел.
Притча
Преданье мне запомнилось одно:
Жил в Мерве властелин давным-давно.
Держал он лютых псов сторожевых —
Шайтанов сущих, яростных и злых.
Как дикие лесные кабаны,
Псы были и свирепы, и страшны.
Одним прыжком они, являя прыть,
Могли верблюда навзничь повалить.

Во гневе шах себя не помнил сам,
Он слуг бросал на растерзанье псам.
Был среди слуг один, хоть с виду тих,
Но дальновидней и умней других.
В его душе гнезвился тайный страх,
Что и его неверный в дружбе шах
Швырнет собакам, гневом обуян,
И разорвут клыки газелий стан.
И загодя, все взвесив и учтя,
С псарями шаха дружбу заведя,
На черный двор, где псы рычали, злы,
Он стал носить и мясо и мослы.
Кормил собак он, робость позабыв,
К себе голодных злыдней приучив.
И псы, приход кормильца сторожа,
У ног вертелись, ласково визжа.
Шах дурно спал и рассердился вдруг
На этого тишайшего из слуг.
Велел он тем, чьи как у псов сердца,
На растерзанье псам отдать юнца.
Те, кто собак опасней в много раз,
С охотою исполнили приказ.
Его швырнули в клеть, чтоб там клыки
Страдальца разорвали на клоки.
С рычаньем псы, что ростом больше льва,

К бедняге, щерясь, бросились сперва.
Но своего любимца распознав,
Запрыгали, хвостами завиляв.
И, головы на лапы положив,
Легли, кольцом лохматым окружив.
Питомца няни берегают так...
День миновал, ночной сгустился мрак.
Когда заря затеплила свечу,
Небесную окрасила парчу,
Шах, пробудясь, постиг, что был не прав,
И каяться стал, подданных призвав:
«Я был мгновенным гневом ослеплен,
Невинный джейраненок мной казнен.
Скорей на псарню надо поспешить,
Чтоб хоть останки у собак отбить!»
Тут к шаху во дворец вбежавший псарь
Промолвил так: «Великий государь,
Сей отрок, видно, ангел во плоти,
И сам господь решил его спасти!
Встань, погляди на чудо из чудес:
Растерзанный собаками воскрес.
Сидит, по счастью, и здоров и жив,
На пасти псов печати наложив.
Твоих драконов дружба высока —
Не тронули они ни волоска!»

Счастливым тем, что отрок уцелел,
Шах во дворец его вести велел.
И тот, кто к смерти был приговорен,
Из псарни вновь в чертоги водворен.
Властитель видит, что предстал пред ним
Спасенный отрок, жив и невредим.
Тут, с трона встав, раскаявшийся шах
Вымаливать прощенье стал в слезах.
«Ответствуй, — он спросил, — могло ли стать,
Как лютой смерти смог ты избежать?»
Тот отвечал: «О шах, с недавних пор
С подачкой я ходил на псовый двор.
Я заслужил любовь у лютых псов,
И зубы их замкнулись на засов.
Тебе рабом служил за годом год —
Смерть в благодарность получил в расчет.
Ведь друга ты, сердясь по пустякам,
Швырнул на растерзание клыкам.
Но преданность — отличие собак,
Пес — верный друг, а ты — заклятый враг.
Пес дружбу подарил мне за мосол.
А ты меня в могилу чуть не свел!»
Так случай удивительный помог
Дать шаху человечности урок.
Тиран проснулся, будто долго спал,

Собак и псарню впредь не вспоминал.
Постигнуть смысл сей притчи поспеши:
«Благодеянье — крепость для души».
Меджнун кормил зверей, за это он
Был как стеной их дружбой огражден.
Нет крепости надежней и верней,
Чем окруженье преданных зверей.
Он шел пустыней — горя пилигрим,
Косматогривой свитою храним.
Таким же будь, спеши добро творить,
Чтоб слез кровавых после не пролить.
Делись последним, всем, что даст судьба,
И тем халифа превратишь в раба!
Письмо Лейли к Меджнуну
Он в изначальных прочитал строках:
Да будет милосерден к нам аллах!
Господне имя во главе письма —
Прибежище и чувства и ума.
Мудрее мудрых, истинно велик
Постиг он безъязыкого язык.
Он разделил десницей свет и мрак,
Он всех насытил, ласков и всеблаг.
Возжег на небе хор ночных светил,
Людьми он твердь земную расцветил.
Нетленной жизнью душу наделив,

Величием предвечным осенив,
Он людям мир вручил — заветный клад,
Что всех сокровищ выше во сто крат.
И разума огонь в душе возжег,
И осветил им двух миров порог.
Как скатный жемчуг мысли расцвели,
Когда любовь вела калам Лейли:
«В письме моем, как шелк, слова нежны,
И утешеньем стать они должны.
От пленницы послание тому,
Чей дух восстал и сокрушил тюрьму.
Как ты живешь, о странник, на земле,
Семи небес посланник на земле?
О верный в дружбе, истины оплот,
Тот, от кого любовь свой свет берет.
О кровью обагривший горный скат,
От взоров затаившийся агат,
О мотылек трепещущей свечи,
Источник Хызра, блещущий в ночи,
О ты, кто мир в волнение привел,
Когда в песках с оленем дружбу свел,
Цель для насмешек, плачущий навзрыд,
День воскресенья нас соединит.
О беспощадно изнуривший плоть,
Чью жизнь беда смогла перемолоть.

Из-за меня ты сердце сжег дотла,
Вокруг тебя осуды и хула.
Кому верна я до скончанья дней,
Кто сам священной верности верней.
О жизнь моя, блаженный свет души,
С тобою я, а ты, с кем ты, скажи?
С мечтой о счастье я разлучена,
Но я твоя невеста и жена.
Муж, что меня скрывает под замком,
До сей поры мне чужд и незнаком.
Жемчужиной алмаз не завладел,
И заповедный жемчуг уцелел.
Поныне запечатан тайный клад,
Бутоны не тронут, недоступен сад.
Муж величав, и знатен, и велик,
Но пред тобой ничтожен и безлик,
Кичился белой луковкой чеснок,
Но расцвести, как лилия, не мог.
Так огурец, который перезрел,
Лимоном желтым зваться захотел, —
Хоть кислый он и так же желт на цвет,
Но аромата в нем и вкуса нет.
Мечтала в этом мире я и в том
Одно гнездо с тобою свить вдвоем.
О, если б знал ты, как я не права, —

Зачем дышу, зачем еще жива?
Пускай сурово покарает рок
Того, кто горе на тебя навлек.
Твой каждый волосок дороже мне,
Чем целый мир, расцветший по весне.
Ты чист, как Хызр, о, милость прояви,
И, словно Хызр, мне душу оживи.
Я — тусклая луна, ты — солнце дня,
Издаю молю, прости меня!
Прости, что не могу к тебе прийти,
Невольный грех, любимый, отпусти!
Отец твой умер, страшной вестью была,
Одежду я, рыдая, порвала,
Царапала себе лицо и грудь,
Когда ушел он в свой последний путь.
Шипами проколола я глаза,
Плащ траурный мой был, как бирюза.
И слезы я, как дочь, над ним лила
И весь обряд печальный соблюла.
Но робость не сумела победить —
Тебя я не посмела навестить.
Здесь в жизни бранный путь влачу земной,
Душой нетленной я с тобой, родной.
Возлюбленный, я знаю, ты чуть жив,
Будь, умоляю, многотерпелив.

Земная наша временна юдоль,
Со временем поладь, смиряя боль.
Прикрой глаза, мой плачущий бедняк,
Чтоб над слезами не смеялся враг.
Будь мудрым и тоску превозмоги,
Чтоб над тобой не тешились враги.
Там, где весной бросали зерна в грязь,
Стеной шуршащей нива поднялась.
Забудут все, что пальмы ствол шершав,
В корзины сладких фиников собрав.
Шипами стебель розы окружен,
Настанет срок — распустится бутон.
И не горюй, что нет друзей вокруг,
Я — друг твой верный, беззаветный друг.
Не жалуйся на то, что одинок,
Друг одиноких и заблудших — бог.
В слезах, как туча, утопаешь ты,
Как молния, свой дух сжигаешь ты.
Отец ушел, но жизнь продолжил сын,
Рудник иссяк, но найден в нем рубин».
Меджнун прочел письмо, зарделся он,
Как розы расцветающий бутон.
«О мой аллах, о господи!» — твердил,
От радости в себя не приходил.
И новых сил почувствовал исток, —

Жизнь возвратил божественный листок.
Он вестника в своих объятых сжал,
Благоговейно руки лобызал.
Вдруг спохватился: «Как писать ответ?
Коль нет бумаги и калама нет?»
Мгновенно, с расторопностью писца,
Гость, вынув из походного ларца
Калам, бумагу и пузырь чернил,
Меджнуну их почтительно вручил.
Из-под калама строчки полились,
Тончайшими узорами сплелись.
Слова, как ожерелье, он низал,
О пережитом горе рассказал.
Ответное письмо вложив в ларец,
В обратный путь отправился гонец.
Как вихрь пустыни, скрылся он вдали,
Спеша вручить послание Лейли.
И обмерла она, письмо схватив,
Его листы слезами оросив.
Ответ Меджнуна на письмо Лейли
Молитвенно звучит начало строк:
«Нет бога, кроме бога, — вечен бог!
Он видит явь и скрытое от глаз,
Он создал перл и огранил алмаз.
Властитель неба и Семи планет,

Серебряным созвездьям давший свет.
Он мрак ночной сияньем дня сменил.
Любовью наше сердце окрылил.
Садам и пашням вешний дождь послал,
Помощником нуждающихся стал».
И торопясь, едва успев вздохнуть,
Меджнун стал излагать посланья суть:
«Покой утратив, я письмо пишу
Той, в чьей душе прибежище ищу.
Нет, я ошибся, — кровь в груди кипит,
Пишу я той, что мной не дорожит.
Ты, счастья потерявшая ключи,
Посланье от страдальца получи.
Я — мелкий прах, растоптанный бедой,
Чью жажду утоляешь ты водой?
У ног твоих лежу, не в силах встать,
Чей пояс ты решила развязать?
Я мучаюсь от тайной маеты:
Кого в печали утешаешь ты?
Сияет мне в мечтах твое лицо,
Чужое у тебя в ушах кольцо.
Твой лик — Кааба, я — твой верный раб;
Порог твоей обители — михраб.
О, мой бальзам, ты недоступна мне...
Не погуби, стань жемчугом в вине!

Корона — ты, но не моей главы,
Не для меня похищена, увы!
Сокровище захвачено врагом,
А пред друзьями свился змей клубком.
О сад Ирема, царство красоты,
Мой рай небесный, недоступна ты.
О ключ от кандалов и от цепей,
Бальзам от страсти пагубной моей.
О сострадай, ведь я — ничтожный прах,
Не добивай, я — придорожный прах.
Согрей, приветь сей скудный прах земной,
Чтоб цвел он впредь, как будто ветвь весной.
Земля цветет от дружеских забот,
В пыли завянут розы от невзгод.
У ног твоих простертый я лежу,
Не будь жестокой, — об одном прошу.
Кто жалостлив к несчастным стать не смог,
Мучитель тот, бесстыден и жесток.
Прославлен я, как раб твой и слуга,
Меня отвергнув, обретешь врага.
Влачить любую тяжесть прикажи,
Знай, кротость — украшенье госпожи.
К твоим ногам слагаю щит и меч,
Но изменившей жизни не сберечь.
Оружие свое бросаешь ты,

Врагам тем самым помогаешь ты.
Когда себя кинжалом ранишь в грудь,
Тем убиваешь друга, не забудь!
Приветливостью, лаской и добром
Свободолюбца сделаешь рабом.
Кто куплен за дирхем, не верь тому,
Он даже с глаз готов украсть сурьму.
Власть над рабами не имеет тот,
Кто в рабстве у земных страстей живет.
Твори добро во имя доброты,
И подчинить людей сумеешь ты.
И я — твой раб, я в ухо вдел серьгу,
Не продавай покорного слугу.
О ты, в стране живущая чужой
С избранником и новою родней,
Ты не дала пригубить мне вина,
Как горный лед, со мною холодна.
Что ж, повелев, чтоб день сменила тьма,
Теперь рыдаешь надо мной сама?
Ты жизнь мою и душу отняла
И позабыть меня легко смогла.
Ты, пожалев подковы для коня,
Велишь скакать мне в капище огня.
Слова сжигают пламени сильней,
И головни я сделался черней.

Но коль меня язвить тебе не жаль,
Себя, будь осторожна, не ужаль.
У лилии был долог язычок,
Его садовник лезвием отсек.
Влюбленных выдает, так говорят,
Невольный вздох, улыбка, полувзгляд.
Но холодом полны черты твои,
Ты равнодушна, нет примет любви.
Презрев любви священный договор,
Ты счастлива с другим с недавних пор.
Обманщица, тобою он любим,
А я осмеян, предан и гоним.
Где наши вздохи, клятвы в тишине,
Где счастье то, что ты сулила мне?
Коль преступила верности обет,
То нет любви и преданности нет.
Тебе не жаль меня, — едва живой
С разбитым сердцем я навеки твой.
А я — все тот же: дух мой изнемог,
Но головой припал на твой порог.
Я жду, как чуда, чтобы вдруг возник
Твой светозарный, твой лучистый лик.
Кто лицезрит — блаженство познает,
Несчастлив тот, кто безнадежно ждет.
Счастливец он и баловень удач —

Жемчужиной владеющий богач.
Сад соловья весною звал на пир,
Но ворон, налетев, склевал инжир.
Гранат в саду взлелеял садовод,
Но прокаженный пожирает плод.
Несправедливым мир был с давних пор,
Сокровище скрывая в недрах гор.
О, неужели розовый рубин
Не вырвется из каменных теснин?
Когда луну, что свет дает очам,
Дракон терзать не будет по ночам?
И шершень улетит, не тронув мед,
И вновь луна свободу обретет?
Ключ от казны мне в руки попадет,
И казначей докучный прочь уйдет?
Умрет дракон, не тронув тайный клад,
И зеркала, как прежде, заблестят.
И разбегутся в страхе сторожа,
И выйдет из темницы госпожа.
О светоч мой, супруг твой — мотылек,
Не мудрено, что свет его привлек.
Хоть от твоих упреков гибну сам,
Пусть здравствует достойный Ибн-Салам.
Добро и зло исходят от тебя,
О лекарь мой, зачем лечить, губя?

Железные у крепости врата?
Жемчужина в ракушке заперта.
Хоть локоны твои сплелись в силок —
Страшусь, чтоб змей тебя не подстерег.
И подозренье, медленно и зло,
Мне в любящее сердце заползло.
Ведь я ревную в губельной тоске.
К ничтожной мошке на твоей щеке.
И мнит влюбленный в ревности слепой,
Что это коршун кружит над тобой.
Метаться буду смыслу вопреки,
Покуда мошку не сгоню с щеки.
Меня, как в притче, с тем купцом сравнишь,
Кто, не продав товара, ждет барыш.
Я горевал, что розу не сорвал,
Жемчужину чужую сберегал.
О мой жасмин, бреду тропой невзгод,
От слез ослеп, от жажды сохнет рот.
Когда б ты знала: разум мой погас,
Еще безумней я во много раз.
Я без тебя давно уже не „я“ —
Бесплотный призрак, отсвет бытия.
Любовь — коль ей не отдана душа,
Безделица, не стоит ни гроша.
Твоя любовь явила мне чело,

И даже без тебя мне жить светло.
Со мной всегда твой тайный свет живой,
Я счастлив тем, что ранен был тобой.
Бальзама нет от смертных ран любви.
Любимая, будь счастлива, живи!»
Лейли призывает Меджнуна
Лейли — игрушка в чьей-то злой игре
Была рабыней в собственном шатре.
Единственного друга лишена,
Неведением измучена, она,
Став пленницей судьбы, в ночи и днем
Грустила о возлюбленном своем.
Как дальше жить? Все нестерпимей ей
Тяжелый груз невидимых цепей.
Супруг в ночи бессонной до утра
Глаз не спускал с заветного шатра.
Страшился одного, что вдруг жена
Сбежит в кумирню, от любви пьяна.
Весь день он ей старался услужить,
Подарками и лаской ублажить.
Напрасно он старался, каждый раз —
В глазах Лейли презрительный отказ.
Однажды ночь темней других была,
И возле меда не виляла пчела.
В полночном мраке видеть не могли,

Как ускользнула из шатра Лейли.
И встала на скрещенье тех дорог,
Где соглядатай подстеречь не мог.
«Прохожий попадетсЯ здесь, бог даст,
И о любимом вести передаст».
Так и случилось... Странник вдруг возник —
Услужливый и ласковый старик.
На Хызра старец походил во всем, —
Он для заблудших был проводником.
Игрушка рока, пленница невзгод
Его спросила: «Мудрый звездочет,
Ты много знаешь, всюду побывал,
Неужто ты Меджнуна не видал?»
Ответил добрый старец: «О луна,
Юсуф в колодце, где вода темна.
И в сердце у него бушует шквал —
Ведь лунный свет затмился и пропал.
Знай, по кочевьям он бредет в пыли...
„Лейли, — взывает он, и вновь: — Лейли!“
Тоскливый вопль сопровождает шаг:
„Лейли, Лейли!“ — звучит во всех ушах.
Он одичал, как зверь бредет во мгле,
Не помышляя о добре и зле».
И от рыданий стан Лейли прямой
Согнулся долу, как тростник речной.

С ее очей, мерцавших, как нарцисс,
Агаты слез на щеки полились.
Воскликнула она: «Вини меня,
Из-за меня затмилось солнце дня!
Я, как Меджнун, с бедой обручена,
Но между нами разница одна:
Он бродит там в нагорной вышине,
А я в колодце на глубинном дне».
И бусы сорвала, а жемчуга
Насыпала в ладони старика.
«Возьми, — сказала, — и пускайся в путь,
Найди страдальца, вместе с ним побудь.
Прийти хоть ненадолго умоли,
Чтоб светоч свой увидела Лейли.
Укрой его в укромном уголке
От любопытных взоров вдалеке.
Где будет он, — мне скажешь шепотком,
Чтоб я взглянула на него тайком.
И с полувзгляда сразу я пойму,
Любима ль я, нужна ль еще ему.
Быть может, он прочтет мне о любви
Газели вдохновенные свои.
Чтобы стихи распутать помогли
Узлы судьбы измученной Лейли».
И старец, жемчуга забрав без слов,

Покинул ту, что чище жемчугов.
С собой одежду взял, чтоб хоть слегка
Одеть полунагого бедняка.
Пустыню, горы из конца в конец —
Все обыскал рачительный гонец.
Нигде Меджнуна не найдя следов,
Отчаяться уже он был готов.
И наконец в ущелье, среди скал,
Простертого недвижно отыскал.
Вкруг хищники свирепые рычат.
Его оберегают, словно клад.
Меджнун вскочил, он рад был старику,
Как сосунок грудному молоку.
Прикрикнул на зверей, и звери вмиг
Уняли свой недружелюбный рык.
Тогда старик, одолевая страх,
К Меджнуну, торопясь, направил шаг.
Почтительный сперва отдав поклон,
С учтивой речью обратился он:
«О ты, подвижник истинной любви,
Пока любовь жива, и ты живи!
Лейли, чья совершенна красота,
Хранит любовь и в верности тверда.
Она, не видя блеск твоих очей,
Не внемля звуку ласковых речей,

Поверь, мечтает только об одном:
Наедине с тобой побыть вдвоем.
И ты, увидя светозарный лик,
С себя разлуки цепи сбросив вмиг,
Прочтешь газели дивные свои,
И вновь начнется празднество любви.
Растут там пальмы, и, вздымаясь ввысь,
Резные листья, как шатер, сплелись.
Под ними травы стелятся ковром,
Родник вскипает звонким серебром.
В уединенной заросли лесной
Ты встретишься с Лейли, с твоей весной!»
С поклоном старец, как волшебный джинн,
С одеждой новой развязал хурджин.
Меджнун, руководимый стариком,
Смиренья обвязался кушаком.
И, торопясь, последовал за ним...
Так, истомленный жаждой пилигрим
Стремится, нетерпением объят,
К тем берегам, где плещется Евфрат.
А вслед за ним, следя издалека,
Шли звери, словно верные войска.
На этот раз, умилосердясь, рок
Ему достичь желанного помог.
Под пальмой лег он, звери отошли,

И в нетерпенье начал ждать Лейли.
А старец встал неслышно у шатра
И прошептал: «Лейли, ступай, пора!»
Она рванулась птицей из тенет,
Спеша к тому, кто, изнывая, ждет.
Вдруг сердце у нее зашло в груди, —
Лейли стоит, не в силах подойти.
И шепчет тихо старцу: «Как мне быть?
Я шагу дальше не могу ступить.
Пылает светоч мой таким огнем,
Что, ближе подойдя, я вспыхну в нем.
Я чувствую, что гибель мне грозит —
Любовь грехопаденья не простит.
Возвышенная книга мне дана, —
Грехом не запятнаю письма,
Чтоб от стыда не мучаться потом
И непорочной встать перед Судом.
Но если друг мой истинно влюблен
И совершенством духа наделен,
Запретную пускай оставит цель
И, удостоив нас, прочтет газель.
Из уст сладчайших будет суждено
Испить стихов пьянящее вино!»
Весну оставя, старец поспешил
К тому, кто ждал, уже лишенный сил.

Меджнун лежал под пальмою ничком
В беспмятстве глубоком и немом.
Над юношей склонясь, старик седой
Его обрызгал слезною водой.
Простертый на земле очнулся вдруг
И, увидав, что рядом добрый друг,
Он голосом, звенящим как свирель,
Запел печально дивную газель.
Меджнун поет газель Лейли
«О, где ты, где? Ты чья? И где все мы?
Навек твои, бредем в объятых тьмы.
Аллаху слава, — суждено нам петь
О том страданье, что нельзя терпеть.
Мы каемся, не совершив греха;
Дерюгу носим, разорвав меха.
Блаженный в горе дух наш окрылен,
Освобожденный от цепей времен.
Летучей мышью с солнцем подружась,
В воде мы тонем, жаждою томясь.
Мы — побежденной рати главари,
Слеплого стали звать в поводыри.
Нас род отверг, а мы горды родней;
Кичился месяц тем, что был луной.
Не выйдет трюк, коль опьянен трюкач,
Без ног и без стремян несемся вскачь.

Тоскуя по тебе, влачимся вдаль,
Ты, только ты — и горе, и печаль.
Пусть мы живем неспешно в мире сем,
Но быстро мы в объятия тьмы уйдем.
Ты приказала: „От тоски умри!“
В слезах я умираю, о, смотри!
И если знак тобою будет дан,
Ударю я в предсмертный барабан.
Волков зимой страшат мороз и снег,
И потому столь тепел волчий мех.
Напрасно „Доброй ночи!“ мне желать, —
Ночь без тебя не может доброй стать.
Уходишь ты, явиться не успеv:
Ты пожинаешь не окончив сев.
Одной душой мы были на беду,
Что ж наши души ныне не в ладу?
Я должен преступить земной порог,
Чтоб ты прийти ко мне нашла предлог.
Душа моя безмерный гнет влачит,
Избавь ее от бремени обид.
Она тоской истерзана в груди —
Мне поцелуем душу возроди!
Душа, не одержимая мечтой,
Пускай слетает с уст, как вздох пустой.
Твои уста сокровище таят:

Исток блаженства, вечной жизни клад.
Весь мир — твоя невольничья ладья,
Мы все — рабы, но всех смиренней я.
Любимая, ты есть, пусть не со мной,
Но ты живешь, и в этом смысл земной.
Коль в сердце я тебя не сберегу,
Пускай оно достанется врагу.
Мы — это я, одно мы существо,
Двоим достанет сердца одного!
Мое страдает в ранах и крови,
Отдай свое мне, милость прояви!
Ты — солнце, я горю в твоём огне,
С тобою я всей сутью бытия,
О, если бы найти такую нить,
Чтоб нас навек смогла соединить!
Где мы с тобой такой чекан найдем,
Чтоб отчеканить нас сумел вдвоем?
Мы сходны с миндалем в своей судьбе,
Два ядрышка в единой скорлупе.
Я без тебя — ничто, утратил лик, —
Упавший в грязь, изношенный чарыг.
С тобою я всей сутью бытия,
Что ты отвергнешь, отвергаю я.
Я изнурен, и сам смогу навряд
Себя на твой перечеканить лад.

Мой бедный разум ослабел от бед,
Мне даже думать о тебе не след.
Душа моя, как тонкий лист, дрожит.
Она не мне — тебе принадлежит.
Собаки бродят у твоих шатров,
Я — пес бродячий, потерявший кров.
Возьми меня, определи в псари,
Вели мне: „За собаками смотри!“
Знай: звери есть, что пострашней собак,
Они подстерегают каждый шаг.
К чему мне блеск дирхемов золотых,
Мне родинки твои дороже их.
За родинку манящую одну,
Всю отдал бы звенящую казну.
Дождь плачет, чтобы весны расцвели;
Меджнун льет слезы о своей Лейли.
Луна моя, твой ярк ореол,
И от него свой свет Меджнун обрел,
Следят индусы за шатром твоим,
Меджнун средь них, но он для глаз незрим.
Я — опьяненный страстью соловей,
Рыдающий над розою своей.
Рубины ищут люди в недрах скал,
Я драгоценность в сердце отыскал,
О мой аллах, чудесный миг пошли,

Пусть призовет меня моя Лейли.
И вспыхнет ночь, прозрачная, как день,
И мы уйдем под лиственную сень.
Ушко в ушко шептаться там начнем,
Наполнив чаши праздничным вином.
Тебя прижав к груди, как кеманчу,
В душе сберечь, как дивный лал, хочу.
Хмелея от нарциссов глаз твоих,
От гиацинтов локонов витых,
На пальцы их хотел бы навивать,
Нахмуренные бровки распрямлять.
И знать, что в лунном тающем дыму
Ты мне навек досталась одному.
И подбородок — округленный плод,
И взор стыдливый, и румяный рот
Ласкать хочу нежнее ветерка,
Сережек бремя вынув из ушка.
Слезами орошая твой касаб,
Стихи слагал бы, как влюбленный раб.
К твоим стопам повергнув целый сад,
Цветущих роз дурманный аромат,
В объятья заключив тебя свои,
Поведал бы о мытарствах любви.
Пока мы дышим, любим и живем,
Любимая, приди, зачем мы ждем?

Не будь фантомом средь пустынь глухих,
Стань чистой влагой на устах сухих!
Я жажду, и душа изнемогла:
Она в груди, как зернышко, мала.
Ты зернышка надежды не дала,
Но кровь мою харварами лила.
Я горем пьян не по своей вине,
Ты отказала в райском мне вине.
Но праведным в раю разрешено
Пить в небесах священное вино».
И страстотерпец, мученик судьбы
В пустыню устремил своя стопы.
А та, чья с кипарисом схожа стать,
В шатер печально возвратилась вспять.
Кончина Ибн-Салама, мужа Лейли
Миг миновавший нам понять дает,
Что все непрочно в мире, все пройдет.
Все сущее, с начала до конца,
Послушно указанию Творца.
Пергамент тот, который нам вручен,
Судьбой давно заполнен с двух сторон.
Что наш рассудок в список занесет,
То провиденье не берет в расчет.
И редко эти совпадут счета, —
Выходит, жизнь напрасно прожита.

Бывает, к розе тянешься рукой,
А на поверку — это шип нагой.
Иль виноград — пусть зелен он на цвет
Зато на вкус спелей и слаще нет.
И голод тот, что столь несносен нам,
Желудка боль врачует, как бальзам.
Во всем противоречья есть зерно, —
Стихией управлять нам не дано.
Коль так, благоразумье прояви
И кислый уксус медом назови.
Лейли, что похищала все сердца,
Страданиям не ведала конца.
Сокровище — она, но зоркий змей
Везде ревниво следовал за ней.
О, неужель жемчужине пропасть,
Не выпустит луну драконья пасть?
И дух ее в томленье изнывал,
Как в грубом камне драгоценный лал.
Она, судьбы удары вынося,
Терпела то, что вынести нельзя.
Муж дни и ночи был настороже,
Жена таила боль в своей душе.
Она, как пери, скована была,
Не устояв пред темной силой зла.
В уединенье плача каждый раз,

При муже слезы смахивала с глаз.
Пила вино печали, в том вине
Осадок горьких слез мутнел на дне.
Как ей мечталось хоть единый миг
Открыто плакать, не скрывая лик.
Подтачивает душу боль души,
Как ни таи печаль и ни глуши.
Стыдясь супруга и его родни,
Она тоскливо проводила дни.
Чуть муж уйдет, весь день она с утра
Стоит, как изваянье, у шатра.
Потом в слезах, кляня неправый рок,
Бессильно опускалась на песок.
Но быстро поднималась, стон уняв,
Шаги супруга издали узнав.
И, опуская долу грустный взор,
Поддерживала робко разговор.
Сыграл с ней шутку самовластный рок,
На муку нестерпимую обрек.
...Но беспощадной волею времен
Круговорот судьбы был завершен.
Отвергнутый супруг, кляня удел,
От униженья вскоре заболел.
Стал чахнуть не по дням, а по часам
Надломленный печалью Ибн-Салам.

Жар, возрастая, мог с ума свести,
Пронизывая тело до кости.
Сосуд с душою треснул пополам,
В беспамятстве метался Ибн-Салам.
Искусный лекарь делал все, что мог:
Он щупал пульс, давал лекарства в срок.
И наконец, усиьем лекарей
Больной стал оживленной и бодрей.
Свершилось чудо, иль помог бальзам,
Но поправляться начал Ибн-Салам.
Когда в подушках начал он сидеть
И, отощавший, снова стал полнеть,
Забыл про воздержания зарок,
Он на еду и на питье налег.
Умеренность и длительный покой
Порой недуг снимают как рукой,
И стойкости примерной научив,
Дают здоровье тем, кто терпелив.
Но Ибн-Салам, почуяв сил приток,
Советами благими пренебрег.
Муж стал застольем злоупотреблять,
И лихорадка возвратилась вспять.
Сжигая тело, омрачая ум,
Кружиться начал огненный самум.
Из глинозема сложенный дувал

Пред натиском стихий не устоял, —
Землетрясения первая волна
Ударила — и треснула стена.
Второй удар еще сильнее был
И треснувшую стену завалил.
Еще два дня, хрипя, дышал больной,
Измаявшись в обители земной.
Но, погружаясь медленно во мглу,
Сосуд души разбился о скалу.
Супруг ушел, переступив порог,
В тот мир, где нет ни скорби, ни тревог,
В предвечный край, куда уйдем и мы...
Мир все возьмет, что нам давал взаимы.
В долг не бери травинку — выйдет срок
И возвращать тебе придется стог.
А если взял, то, не вступив в торги,
Заимодавцу в срок верни долги.
Работай, каждым мигом дорожа.
Лень точит душу, как железо — ржа.
Разбей ларец, где мыслей жемчуга,
Как голубь, с башни взвейся в облака.
Ведь семь берез на четырех корнях,
Где звезды, как заклепки на щитах.
Коль войско смерти вызовут на бой,
То упадут, рассыпавшись трухой.

Когда наутро, пробудясь, восток
Зажжет своим огнем огромный ток,
А на закате наших вздохов дым
Оденет небо пологом седым, —
Жизнь учит нас: весь мир, что явлен нам,
Наполненный огнем и дымом храм.
...Лейли свободной стала, но она
Была кончиной мужа смущена.
Хоть из ловушки вырвался джейран,
Но муж — есть муж, и он судьбою дан.
То не притворство: жаль супруга ей,
Но о любимом скорбь еще сильнеей.
Вдова на людях волосы рвала,
Но слезы о возлюбленном лила.
Смерть Ибн-Салама — грустный был предлог,
Чтоб истину никто узнать не мог.
Рыдая возле мужнего одра,
Она желала милому добра.
Он был ее ядром, ее судьбой,
Муж — оболочкой, тонкой скорлупой.
Все ж ей обычай нужно соблюдать,
Ни перед кем лица не открывать.
Должна теперь не год, а целых два
В шатре сидеть безвыходно вдова.
Просить аллаха отпустить грехи,

В слезах читать печальные стихи.
Обычаям покорна и верна,
Она должна в печали быть одна.
И, соблюдая траур, с этих пор —
Чужих людей не допускать в шатер.
Теперь ей осужденья не страшны,
Сочувствовать ей близкие должны.
Так причитала над своей судьбой,
Что содрогался купол голубой.
Страданью отдалась она во власть
И плакала отныне не таясь.
Лейли свободна, ей дышать легко,
Страх и опасность скрылись далеко.
Приближение осени и кончина Лейли
Настала осень, и на землю вниз
Капелью рдяной листья сорвались.
Казалось, кровь ветвей из малых пор
Сочится, вырываясь на простор.
Садов желтеет худосочный лик.
Водой проточной не звенит родник.
То золото, что блещет на земле,
Зимою уподобится золе.
Нарцисс озябший спрятаться спешит,
Сошел с престола царственный самшит.
Жасмин увял, и роза отцвела,

Как будто книгу горести прочла.
Шквал лепестков над вянущей травой,
Как змеи у Заххака над главой.
Извечный круг природы завершен,
Сад оскудел, он пуст и обнажен.
Так пред стихией, в ужасе дрожа,
Бросают скарб, ничем не дорожа.
Слабея сердцем, изнывает сад,
Но пьяным соком полон виноград.
Индус-садовник, всюду, где пришлось,
Развесил гроздья виноградных лоз.
И эти гроздья так черны на взгляд,
Как головы кудрявых негрят.
Головки их, покорно свесясь вниз,
Орнаментом украсили карниз.
Гранату шепчет персик: «Берегись,
Эй, увалень, на землю не свались!»
Гранат, как печень, треснув поперек,
Кроваво-красный источает сок.
Фисташка клюв раскрыла: «Не губи!» —
К ней состраданья полон уннаби.
Над цветником, над пышностью его
Победно осень правит торжество.
Лейли с престола вешней красоты
Упала в черный кладезь маеты.

Цветник не в срок сгубил недобрый сглаз,
Светильник жизни на ветру угас.
И золото повязки головной
Заменено косынкою льняной.
Стан, облаченный белоснежным льном.
Слабей тростинки, чахнет с каждым днем.
Как месяц молодой, Лейли тонка,
Стан-кипарис дрожит от ветерка.
Страсть сердца, овладев ее умом,
Сжигает тело гибельным огнем.
Роса померкла, обратясь в туман,
Ланит бледнеет розовый тюльпан.
Бросает лихорадка в жар и в стынь,
И сахар уст стал горек, как полынь.
Лейли больна — она изнемогла, —
Нашла фазана острая стрела!
Посев сжигает знойный суховей...
И матери пришлось открыться ей.
Ту тайну тайн, что мучает и жжет,
Лишь сердце материнское поймет!
«О мать моя, кто в этом виноват.
Что с молоком ягненок выпил яд!
Мой караван идет в последний путь,
Слабею я, суровою не будь.
Чем кровь свою с дыханьем каждым пить,

Зачем терзаться, для чего мне жить?
Страданья горечь молча я пила,
Отрава эта губы мне сожгла,
Чуть вздох трепещет, и чуть внятна речь —
Мне тайну сердца больше не сберечь.
С нее завесу мне сорвать пора —
О мать моя, в дорогу мне пора!
Прости меня, прости и обними,
Последний вздох, последний взгляд прими!
Разлука с милым виновата в том,
Что я незримым уйду путем.
Моим глазам послужит пусть сурьмой
Прах тех дорог, где шел любимый мой.
Пусть на прощанье мой омочит лик
Он розовой водою слез своих.
Пусть вместо роз у скорбного одра
Его дыханья веет камфара.
Пусть капли крови саван окропят,
Он для меня как свадебный наряд.
Венчальную на дочь надень фату,—
Невестою под землю я сойду.
Когда мой странник, что бредет вдали,
Услышит весть, что больше нет Лейли,
Он поспешит застать меня в тщете,
Увидев погребальную тахтэ,

Он упадет в отчаянье немом
На холм, где спит луна могильным сном.
Над прахом он, похожий сам на прах,
Забьется в причитаньях и слезах.
Едины мы и в горе, и в судьбе...
Его оставлю в память о себе.
Во имя неба, не терзай его,
О мать, молю, не презирай его.
Не упрекай страдальца, я прошу,
Поведай то, что я тебе скажу:
Ласкай его, заботой окружи,
Он мне дороже собственной души.
„Когда Лейли ушла, — промолви так, —
В безвестный край, в глухой подземный мрак,
В предсмертное впадая забытье,
„О мой Меджнун!“ — слетело с уст ее.
Своей любви единственной верна,
В небытие взяла любовь она.
А как ушла? Не спрашивай о том:
Лишь о тебе кручинилась одном.
Пока жила, до окончанья дней,
Грусть по тебе сопутствовала ей.
В последний путь судьба вручила выюк —
В нем боль утраты и тоска разлук.
Земля сомкнула тяжкий свой покров,

Но в глубине не умолкает зов.
Так на скрещенье жизненных дорог
Ждут весть от тех, кто дорог и далек.
Оглядываясь, вдаль она бредет,
И страшно ей идти одной вперед.
Ступай за ней, в томленье ждет она
В предвечности, в сокровищнице сна“».
Сорвался вздох, чуть слышно шелестя,
Последняя слеза скользит, блестя.
Доверив тайну той, что всех родней,
Лейли ушла беззвучно в мир теней.
И матери безмерная беда
Немилосердной Страшного суда.
С волос седых мать сбросила чадру,
Их разметала с воплем на ветру.
В невыразимой муке и тоске
Себя, отчаясь, била по щеке.
Рыдая в голос, волосы рвала
И, причитая, доченьку звала.
Как дальше жить ей — старой и седой?
Иссяк родник с живительной водой.
Щекою грела хладное чело,
Но все напрасно, не вернуть тепло.
Нет, не водой омыла дочь она,
А влагой слез, что словно кровь красна.

Так безысходно убивалась мать,
Что небеса ей стали сострадать.
От слез багряных, окропивших лик,
Кровавым камень стал, как сердолик.
В мерцанье скорбных слез была луна
Как в ожерелье звезд погребена.
Дочь умастив, не примираясь с бедой,
И амброю, и розовой водой,
Мать отдала, уже избывши страх,
Земле — земное, праху — мертвый прах.
Зашла луна, померкла в тьме ночей,
Один остался горя казначей.
Траурная песнь Меджнуна
«Друзья, глядите на течение дней,
Глядите на печаль души моей!
О, поглядите, навсегда ушла
Та, что с собою жизнь мою взяла!
Тот, кто не видел, поглядеть спеша
На плоть мою, лишённую души!
Глядите, звезды, с горней вышины
Сколь своды склепа мрачны и тесны!
Павлин прекрасный в красоте своей,—
Теперь, глядите, — пиршество червей!
Та, что несла покой всем на земле,
Глядите, спит теперь в могильной мгле!

Ту красоту, что мир смутить могла,
Глядите все, — могила отняла!
Ту, чьим владеньем стала красота,
Могильная сдавила теснота!
Глядите, перл по чьей-то воле злой
Могильною навек укрыт землей!
Глядите, перл по чьей-то воле злой
Измученный невзгодами, поблек!
Где лунный кипарис, — спросите вы, —
Повержен вниз, на пыль, глядите вы!
Глядите, ужасаясь без конца,
На небосвод, терзающий сердца!
Глядите, люди, сколь азартен он —
В игре бесчестной ставит жизнь на кон!
На небо гляньте, сколь обманна высь, —
Разрушит все, за что б мы не взялись!
На лик мой гляньте, он от слез кровав,
Разлуку с милым ликом испытав!
Ее тюльпанный я не вижу лик,
Глядите — желт я, как зимой цветник!
В тоске по цветнику ее ланит,
Глядите, сколь я жалок стал на вид!
Глядите, хищный зверь в сухих песках
Со мною здесь в сочувственных слезах!
Глядите, дни навеки отцвели,

Сгустилась ночь, тоскуя по Лейли!
Глядите, если силы есть взглянуть,
На горем изувеченную грудь!
Глядите все, сколь безысходна грусть,
И жалость вам сердца наполнит пусть.
Могила, что священна и чиста,
Глядите, кровью сердца залита!
Глядите, здесь, под сенью гробовой,
Та, что судьбу мою взяла с собой!
Укрыла смерть ее крылом своим,
Глядите, мертв я, хоть слышу живым!
Я жаждал смерти, но зашла луна,
Глядите, сколь судьба моя темна,
Глядите, нить любви оборвалась,
Живой, горячей кровью запеклась!
В драконьей пасти сгинула луна,
Шипом, глядите, роза казнена!
Глядите, мир открыл ворота тьмы,
Он пожирает нас, и гибнем мы!
Глядите, славой здесь позор зовут,
Честь презирают и позором чтут!
Глядите, я у смерти на весах,
Крупницей невесомой лег мой прах!
Смотрели все, — я жизнь от смерти спас,
Глядите, погибаю я сейчас!

Глядите, люди, пери умерла,
И оглянитесь на свои дела!
В поступках ваших, гляньте, нет цены —
Дела господни вы свершить должны!
Глядите все, кого вы погребли,
Бог милосерд — уйду я вслед Лейли!
Она, глядите, к господу ушла,
Всем милостям господним нет числа!
Я задержался, не ушел вослед,
Глядите на меня — презренной нет!
Но день грядет, и, сжалившись, аллах
Соединит наш дух на небесах!»

* * *

Все горькие слова он исчерпал,
И сетовал, и плакал, и стenal.
Он о камня бился головой,
Стал каждый камень красным, как живой.
И тернии, возросшие кругом,
От жарких вздохов вспыхнули огнем.
Не только камни, но и каждый след
Кроваво-красный обозначил цвет,
Тоскующий, от слез изнеможен,
С трудом огромным шаг направил он,
Неудержимо, как поток речной,
К могиле заповедной и родной.

И, руки распластав, на холм он лег,
Лобзая солнцем выжженный песок.
Бесплотный, словно тень и легкий прах,
На жизнь свою он сетовал в слезах.
И только звери рыскали кругом,
Печалуясь о друге дорогом,
Вплотную подойдя к тому холму,
Не подпуская никого к нему.
И люди, проходившие окрест,
С опаской избегали этих мест.
Не только люди, даже муравей
Страшился преступить заслон зверей.
Так, в смертных муках, без еды и сна
Стирал он в книге жизни письма.
В юдоли скорби, в пагубе страстей
Перечеркнул листы он жизни всей.
Дня два иль три бедняк полуживой
Промыкался среди псов деревни той,
Кыблой могила стала для него,
Не замечал он больше ничего.
С могилы слезных глаз не отводил,
Вставал, кружился, чтоб упасть без сил.
Последняя страница прочтена
Той книги жизни, что нам всем дана.
Кончина Меджнуна у могилы Лейли

Пришла пора избраннику-певцу
Свое сказанье подвести к концу.
Тот слезный урожай был столь высок
Зерном соленным он наполнил ток.
И небо, запуская жернова,
Глотало слезы, их смолов сперва.
А тот, который слезы проливал,
Так исхудал, что тенью тени стал.
Вздых еле тлел на сомкнутых устах,
И день его померкнул и зачах.
Изнеможенный, встал он над холмом,
Там, где спала невеста вечным сном.
Его ладью кружила водоверть,
Неотвратимо надвигалась смерть.
В предсмертной отрешенности, своей,
Раздавленный судьбою муравей.
Воздев с укором длани в небеса,
Разжав ладони и закрыв глаза,
Сквозь слезы, испустив чуть слышный вздох,
Три бейта прочитав с трудом он мог:
«Тебя я заклинаю, о аллах,
Величьем сил в надзвездных небесах.
Молю, от мук меня освободи,
К возлюбленной невесте приведи.
Избавь от жизни тягостной земной,

Дорогой трудной в мир веди иной!»
Промолвив тихо головой склонясь,
Могильный холм обнял в последний раз.
«Любимая!» — раздался тяжкий стон,
И с жизнью навсегда расстался он.
Покинул перекресток тех дорог,
Откуда мы уйдем в недолгий срок.
Стезею той, велением творца,
В небытие уходят все сердца.
Нет ран таких, чтоб их глухую боль
Не растревляла слез пролитых соль.
Ты — охромевший мельничный ишак,
Стал желт с лица, источник сил иссяк,
Беги отсюда, если плоть жива, —
Все равнодушно смелят жернова.
Оставь сей дом, переступи порог,
Поторопись, грядет, бурля, поток!
Седлай верблюда, собирайся в путь,
Мост должен рухнуть, это не забудь!
Племя Меджнуна узнает о его кончине
Когда Меджнун покинул мир земной,
Упреки и осуду взяв с собой,
Когда на холм невесты пав ничком,
Сомкнул глаза, заснув предвечным сном,
В чертоге чадном счастье не найдя,

Ушел, покой предвечный обретя.
Он на могиле милой, — слух идет, —
Лежал непогребенный целый год.
Кольцом сидели звери вокруг него,
На миг не оставляя одного.
Спал величаво он, как шахиншах,
А звери сторожили стылый прах,
Как со святыни не сводя очей —
Ни ясным днем, ни в темноте ночей.
И человек уйти спешил скорей,
Едва заслыша грозный рык зверей.
Казалось людям издали порой,
Что у могил кишит пчелиный рой.
И полагали, что Меджнун, как встарь,
Среди зверей царит как государь.
И нет почетней цели у зверья,
Чем охранять звериного царя!
Не знали, что царю пришел конец —
Вихрь разметал корону и венец...
Что в мертвых жилах капли крови нет,
Что бел, как жемчуг, высохший скелет.
От солнечных лучей распалась плоть,
Осталась праха брэнная щепоть.
И перл создання, светоч жизни сей —
Всего лишь связка высохших костей.

Но волки неусыпно стерегли
Надгробье над могилою Лейли,
Чтоб посетитель не вступил ногой
На скорбный прах могилы дорогой.
Друг друга люди защищать должны,
Не странно ли, что звери столь верны?
Но год прошел, и звери разбрелись,
И страхи постепенно улеглись.
Страж времени, стоящий возле врат,
Сорвав замок, открыл заветный клад.
И люди вскоре, смелость обрета,
На место заповедное придя,
Узрели, что средь высохшей травы
Белеют кости, пусты и мертвы.
И по наитью, внутренним чутьем
Медждуна угадали в прахе том.
Молва по всей Аравии прошла,
И о влюбленных память ожила.
К святилищу проторена стезя,
Там собрались родные и друзья.
И, присмотревшись, стали причитать,
И на себе одежду разрывать.
Его останки в траурной тиши, —
Ракушку без жемчужины души,
Очистили, слезами оросив,

И мускусом, и амброй умастив.
Сам прах его благоуханным был,
Дыхание любви он затаил.
Все сокрушенно плакали о нем,
Слезами Кейс омыт был, как дождем.
Подняв благоговейно на руках,
Земному праху возвратили прах.
И рядом с той могилой погребли,
Где вечным сном спала его Лейли.
Исчезло осужденье навсегда, —
Им в мире спать до Страшного суда.
Покоиться в обители одной,
В тишайшей колыбели земляной.
А в память об ушедших, говорят,
Вокруг могил чудесный вырос сад.
Он расцветая в укор садам иным, —
Приют для тех, кто любит и любим.
И каждый, кто страданьем истомлен,
Придя сюда, был тотчас исцелен.
Касался он надгробных плит рукой —
И обретал отраду и покой.
Не покидал священный тот цветник
До исполненья чаяний своих.
Конец

Оглавление

Причина сочинения книги

Жалоба на завистников и злопыхателей

Просьба о прощении за свои жалобы

Об отказе от служения царям

О том, что не следует отнимать у людей насущный хлеб

О радости служения народу

Начало повести

О том, как Лейли и Кейс полюбили друг друга

Отец Меджнуна отправляется сватать Лейли

Плач Меджнуна от любви к Лейли

Отец увозит Меджнуна в Каабу

Отец Меджнуна узнает о намерении племени Лейли

Отец наставляет Меджнуна

Ответ Меджнуна отцу

Лейли отправляется гулять по саду

Сватовство Ибн-Салама

Науфал посещает Меджнуна

Меджнун упрекает Науфала

Битва Науфала с племенем Лейли

Меджнун упрекает Науфала

Вторая битва Науфала

Старуха ведет Меджнуна к шатру Лейли

Отец выдает Лейли за Ибн-Салама

Ибн-Салам приводит Лейли в свой дом

Меджнун дружит со зверями

Притча

Письмо Лейли к Меджнуну

Ответ Меджнуна на письмо Лейли

Лейли призывает Меджнуна

Меджнун поет газель Лейли

Кончина Ибн-Салама, мужа Лейли

Приближение осени и кончина Лейли

Траурная песнь Меджнуна

Кончина Меджнуна у могилы Лейли

Племя Меджнуна узнает о его кончине

Низами Гянджеви

СЕМЬ КРАСАВИЦ

Перевод с фарси - В. Державина

НАЧАЛО ПОВЕСТВОВАНИЯ О БАХРАМЕ

Тот, кто стражем сокровенных перлов тайны был,
Россыпь новую сокровищ в жемчугах раскрыл.

На весах небес две чаши есть. И на одной
Чаше - камни равновесья, жемчуг - на другой.

А двуцветный мир то жемчуг получает в дар
Из небесных чаш, то - камня павшего удар.

Таково потомство шахов. Перлом заблистать
Может шахский сын - и камнем тусклым может стать.

Не во всем отцу подобен сын и не всегда.
И жемчужину рождает камень иногда.

Дан такой пример был в прошлом, в поученье нам, -

Ездигирд был грубым камнем, жемчугом-Бахрам.

Тот - карал, казнил, а этот одарял добром, -

Был булыжник рядом с перлом, острый шип с плодом.

Тем, кто в кровь о тот булыжник ноги разбивал,

Сын его для исцеленья свой бальзам давал.

И когда в глазах Бахрама первый луч дневной

Омрачен был этой ночи славою дурной,

Мудрецы и звездочеты вещие страны,

Искушенные в деяньях солнца и луны,

Взвесили созвездья неба, думая, что тут

Лишь дешевый блеск свинцовый вновь они найдут.

Но они чистейшей пробы золото нашли,

Жемчуг в море, драгоценность в камне обрели.

И увидели величье, славный путь побед,

Лучезарный свет в тумане предстоящих лет.

Пламенел тогда в созвездье Рыбы Муштари,

А Зухра горела справа, под лучом зари.

Поднялась в ту ночь к Плеядам месяца глава,
Апогей звезды Бахрама был в созвездье Льва.

Утарид блеснул под утро в знаке Близнецов,
А Кейван от Водолея отогнал врагов.

Встал Денеб против Кейвана, отгоняя тень,
Мирно в знак Овна входило Солнце в этот день.

Так сошелся в гороскопе вещей круг светил.
Муштари в созвездье Рыбы счастье возвестил.

Со счастливым гороскопом, что описан вам,
При благоприятных звездах родился Бахрам.

Ездигирд - его родитель, неразумный шах,
Стал раздумывать в прискорбье о своих делах.

Что ни делал он - все тщетно, прахом все ушло,
Ибо семена насилья порождают зло.

Хоть имел детей и раньше этот властелин,
Умирали все, остался лишь Бахрам один.

И к решению звездочеты мудрые пришли,
Что воспитывать Бахрама надобно вдали,

Что его в страну арабов надо отослать,
Что его у мужа чести надо воспитать.

Молвили, что там, быть может, счастье он найдет
И друзей в Арабистане верных обретет.

Вопреки установленьям строгой старины,
Перенести росток решили в сад иной страны.

Ездигирд себялюбивый сына не любил,
Он спокойно на чужбину сына отпустил.

Для него решил в Йемене он поставить трон,
Чтоб от смут земли Аджамы был он удален.

И в страну Йемен к Нуману он послал гонца,
Чтобы царь Нуман Бахраму заменил отца.

Он просил, чтобы Бахрама взял к себе Нуман,
Чтоб в саду Нумана вырос и расцвел тюльпан,

Чтоб его наукам царским обучили там,

Чтоб страну научился управлять Бахрам.

Сам Нуман за ним приехал и увез домой
Сына шаха, - скрыл в чертоге месяц молодой.

Тот родник, чей морем позже разлился поток,
Сохранил и как зеницу ока он сберег.

Минуло четыре года; мальчик подрастал;
Как степной онагр, он резвым и красивым стал.

И тогда Мунзиру - сыну - молвил властелин:
"Он растет, но огорченьем скован я, мой сын.

Климат здесь сухой, весь край наш солнцем раскален.
Он же - с севера, и нежен по натуре он.

Нам возвышенное место надо отыскать,
Нам его в прохладе горной надо содержать,

Где бы северный лелеял тело ветерок,
Где бы отдых был приятен, сон ночной глубок,

Чтобы в климате хорошем рос он, как орел,
Чтобы крылья он и перья крепкие обрел,

Чтобы запятнать природу шаха не могли
Этот зной и сухость праха, дым и пыль земли".

О ПОСТРОЕНИИ ХАВАРНАКА И О ДОСТОИНСТВАХ СТРОИТЕЛЯ СИМНАРА

Ездил шах Нуман с Мунзиром среди гор и скал,
Мест хороших для Бахрама долго он искал,

Где б от солнечного зноя не было вреда,
Где бы ветерок прохладу приносил всегда.

Не могли в стране такого места отыскать,
Где бы вырастить Бахрама им и воспитать.

И решили светлый замок с башней возвести.
Нужно было для постройки зодчего найти.

Много было иноземных зодчих и своих,
А для дела не годился ни один из них.

Но однажды до Нумана долетела весть:
"Шах! Такой, тебе пригодный, мастер в Руме есть.

Слава дел его по странам катится рекой;
Словно воск, податлив камень под его рукой.

Строить быстро и красиво он имеет дар,
Он из рода Сима, имя славному - Симнар.

Красотой его построек всякий изумлен,
В Сирии в горах Ливанских зданья строил он,

И в стране, где Нил лазурный падает с небес,
Каждое его создание - чудо из чудес.

Хоть себя Симнар лишь зодчим скромно называл,
Он художников славнейших миру воспитал.

Стоя там, где строить зданье он предполагал;
Паутину балок в небе взором он свивал.

Он, как Булинас из Рума, разумом глубок;
Открыватель талисманов, маг и астролог,

Знает он о нападенье яростной луны
И о мести солнца - тайну звездной вышины.

Он для вас дворец, как платье царское, соткет.

На дворце такой высокий купол возведет,

Что созвездья, словно пояс, купол обовьют,

И ему Плеяды сами светоч отдадут".

Сердце вспыхнуло в Нумане, жгли его, как жар,

Эти вести, это имя чудное - Симнар.

Он послал гонца, который бойко говорил

По-румийски. Тот Си-мн-ара быстро соблазнил

Бросить Рум. И вот к Нуману зодчий привезен.

Услышав, чего хотели от него, и он

Воспылал желаньем - дело начинать скорей,

Возвести дворец, достойный отпрыска царей.

Пятилетие трудился над постройкой он.

Был рукою златоперстой дивно возведен

Замок, башенки вздымавший к звездам и луне,

Сновиденьем возникавший в синей вышине.

И второй Каабой в мире этот замок стал.

Был резьбой он весь украшен, золотом блистал,

Горною лазурью, краской, что красней зари.

Наподобье неба сделан купол изнутри;

Опоясывали небо девять сфер вокруг,

Полный образов, что создал Север, создал Юг, -

Купол был тысячеликим, сказочным Лушой.

Созерцая свод, усталый отдыхал душой.

Дивною дарил прохладой он и в летний зной.

А когда горел, как солнце, купол под зарей,

Гурия завязывала очи полотном.

Словно рай, красив, удобен был прекрасный дом.

Будто небо в славе солнца, свод горел огнем.

Бычьей кровью камень с камнем скован в своде том.

Был подобен купол небу, влаге и огню;

Трижды цвет свой и сиянье он менял на дню.

Как невеста, он одежды пышные сменял.

Синим, золотым и снежным светом он сиял.

Пред зарей, когда лазурным небосвод бывал,
Плечи мглою голубою купол одевал.

А когда вставало солнце над земной чертой,
Свод пылал, как солнце утра, - ало-золотой.

Тень от пролетающего облачка падет -
Снежно-белым делается весь дворцовый свод.

Цвета неба - он миражем в воздухе висел,
То румийцем белым был он, то, как зиндж, чернел.

Вот Симнар работу кончил - снял леса со стен,
Красотой своей постройки взял сердца он в плен

Стен и купола сиянье разгоняло мрак.
Замку новому название дали - "Хаварнак".

И великую награду шах Симнару дал.
Половины той награды он не ожидал.

С золотом и жемчугами длинный караван
Тяжко вьюченных верблюдов дал ему Нуман,

Чтоб и в будущем работал на него Симнар.

Если в пору не раздуешь ты в тануре жар,

Злополучное жаркое будешь есть сырьем,
Но сторицей возвратится, что за труд даем.

А когда такую милость зодчий увидал,
Молвил: "Если б ты мне раньше столько обещал,

Я, достойное великой щедрости твоей,
Зданье создал бы - красивей, выше и пышней!

Багрецом, лазурью, златом башни б расцветил,
И поток столетий блеска б их не погасил.

Коль желаешь - будет мною зданье начато
Завтра ж! Этот замок будет перед ним ничто.

В этом здании - три цвета, в том же будет сто!
Это - каменное; будет яхонтовым то.

Свод единственный - строенья этого краса,
То же будет семисводным - словно небеса!"

Пламенем у падишаха душу обняла
Эта речь и все амбары милости сожгла.

Царь - пожар; и не опасен он своим огнем
Только тем, кто в отдаленье возведет свой дом.

Шах, что розовый кустарник, ливнем жемчугов
Сыплет. Но не тронь - изранит жалами шипов.

Шах лозы обильной гроздь на плечи друзей
Возложив, их оплетает силою ветвей.

И, обвив свою опору, верных слуг своих, -
Из земли, без сожаленья, вырвет корень их.

Шах сказал: "Коль этот зодчий от меня уйдет,
Он царю другому лучший замок возведет".

И велел Нуман жестокий челяди своей
Зодчего схватить и сбросить с башни поскорей.

О, смотри же, как судьбою кровожадной он
Сброшен с купола, который им же возведен!

Столько лет высокий замок он своей рукой
Строил. И с него мгновенно сброшен был судьбой!

Он развел огонь и сам же в тот огонь попал.

Долго восходил на кровлю - вмиг с нее упал.

В высоте ста с лишним гязов замыкая свод,

Он не знал, что, труд закончив, гибель там найдет.

Выше хижины он замка строить бы не стал,

Если бы свою кончину раньше угадал,-

Возводя престол, расчисли ранее всего,

Чтобы не разбиться, если упадешь с него.

И взвилось петлей аркана до рогов луны

Имя грозное Нумана с дивной вышины.

И молва, что он волшебник, с той поры пошла,

И владыкой Хаварнака шаха нарекла.

ОПИСАНИЕ ДВОРЦА ХАВАРНАКА И

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НУМАНА

Хаварнак, когда он домом для Бахрама стал,

Чудом красоты в подлунном мире заблистал.

И прославленный молвою, окружен хвалой,

Назвался "Кумирней Чина", "Кыблою второй"

Сотни тысяч живописцев, зодчих, мудрецов
Приходили, чтоб увидеть лучший из дворцов.

Тот, кто видел, восхищенья удержать не мог
И вступал с благоговеньем на его порог.

Там - на всех дверях чертога, что вздымался ввысь,
Изречения узором золотым вились.

Над Йеменом засияла вновь Сухейль-звезда
Так светло, как не сияла прежде никогда.

Поли красавиц, как под звездным куполом Йемен,
Стал тот замок, словно полный жемчуга Аден.

И, прославленный молвою, стал известен всем
Хаварнаком озаренный берег, как Ирем.

Как Овен на вешнем небе ярко светит нам,
Хаварнак светил, и рядом с ним светил Бахрам.

Проводил Бахрам на кровле ночи до утра.
В небе чашу поднимала за него Зухра.

Видел стройные чертоги в отсветах зари,
Полная луна - над кровлей, солнце дня - внутри.

В глубине палат сияли факелы в ночи,
С кровли путникам светили, как луна, в ночи.

И всегда отраднй ветер веял меж колонн,
Запахом садов, прохладой моря напоен.

Сам Бахрам, лишь постепенно обходя дворец,
Дивное его величье понял наконец.

За одной стеной живую воду нес Евфрат,
Весь в тени дерев цветущих и резных оград.

А за башней, что, как лотос, высока была,
Молока и меда речка, скажешь ты, текла.

Впереди была долина, сзади - свежий луг,
Пальмы тихо шелестели и сады вокруг.

Сам Нуман, что здесь Бахраму заменил отца,
Часто с ним сидел на кровле своего дворца.

Над высокой аркой входа он на зелень нив
Любовался с ним часами, светел и счастлив.

Даль пред ними - вся в тюльпанах, как ковер, цвела,
Дичью полная - к ловитве души их звала.

И сказал Нуман Бахраму: "Сын мой, рад ли ты?
Хорошо здесь! Нет подобной в мире красоты".

Рядом был его советник. Чистой веры свет
Мудрому тому вазиру даровал Изед.

И сказал вазир Нуману: "В мире все пройдет,
Только истины познание к жизни приведет.

Если свет познания брезжит в сердце у тебя,
Откажись от блеска мира - правду возлюби!"

И от жара этой речи, что, как пламя, жгла,
Содрогнулся дух Нумана, твердый как скала.

С той поры как семь небесных встали крепостей,
Не бывало камнемета этих слов сильней.

Шах Нуман спустился с кровли в час полночной мги,

Молча он, как лев, к пустыне устремил шаги.

Он отрекся от сокровищ, трона и венца.

Прелесть мира несовместна с верою в творца.

От богатств, какими древле Сулейман владел,

Он отрекся; сам изгнанья он избрал удел.

Не нашли нигде ни шаха, ни его следов,

Он исчез, ушел от мира, словно Кей-Хосров.

Хоть Мунзир людей на поиск тут же снарядил,

Не нашли, как будто ангел беглеца укрыл.

Горевал Мунзир, потерей удручен своей,

Он провел в глубокой скорби много долгих дней.

Выпустил кормило власти из своей руки...

Стал дворец его высокий черным от тоски.

Но утихло в скорбном сердце горе наконец;

Власть его звала, к правленью призывал венец.

Он искоренил насилье твердою рукой,

Ввел законы, дал народу счастье, мир, покой.

А когда он полновластным властелином стал,
Ездигирд ему признание и дары послал.

А Бахрама, словно сына, шах Мунзир растил.
Был отцом ему. Нет, больше и роднее был.

Сын Нуман был у Мунзира; выросал, как брат,
Он с Бахрамом. Оба шахский радовали взгляд.

Ровня был Бахрам по крови, одногодок с ним,
Он не разлучался с братом названным своим.

Вместе обучаться стали грамоте они,
За игрой веселой вместе проводили дни,

На охоту выезжали вместе в дни весны,
Никогда, как свет и солнце, не разделены.

Так Бахрам в высоком замке прожил много лет?
Помыслы его премудрый направлял мобед.

К знанию был Бахрама разум с детства устремлен.
Как достойно сыну шаха, был он обучен.

Изучал Бахрам арабский, греческий язык.

Старый маг его наставил тайне древних книг.

Сам Мунзир, многоученый и разумный шах,

Объяснял ему созвездий тайны в небесах.

Ход двенадцати созвездий и семи светил

Ученик его прилежный вскоре изучил.

Геометрию постиг он, вычислял, чертил.

Алмагест и сотни прочих таинств изучил.

Он, ночами наблюдая звездный небосвод,

Стал читать светил движенье и обратный ход.

Ум его величьем мира стройным был объят.

Знания перед ним раскрылись, как бесценный клад.

И, увидя в восхищенье, что его Бахрам

Зорок мыслью, в постиженье знания упрямя,

Все, что разум человека за века постиг,

Все, чем стал он перед небом и землей велик, -

Все Мунзир законов стройных кругом вместе слил

И, как книгу, пред Бахрамом наконец открыл.

И Бахрам, учась прилежно, стал в конце концов

Искушен во всех науках - даре мудрецов.

Были вняты все таблицы звездные ему,

Сокровенное он видел сквозь ночную тьму.

Астролябией и стержнем юга он владел,

Он узлы деяний неба развязать умел.

И когда наукой книжной был он умудрен,

Боевым владеть оружием стал учиться он.

Он игрою в мяч, искусством верховой езды

Мяч выигрывал у неба и его звезды.

А когда в степи он ветер начал обгонять,

На волков и львов с арканом начал выезжать.

А в степи заря рассвета и лучи ее

Пред копьем его бросали на землю копье.

Вскоре он в стрельбе из лука равного не знал,

Птицу в высоте небесной он стрелой пронзал.

Полный весь колчан порою посылал он в цель.

Каждою своей стрелою попадал он в цель.

Так пускал он стрелы густо, так рубил мечом;

Что никто бы не укрылся от него щитом.

На скаку, в пылу охоты он копьё метал,

На скаку в кольцо копьем он метким попадал.

Острием копья колечко с гривы льва срезал

И кольцо с замка сокровищ он мечом снимал.

На ристалище, когда он лук свой брал порой,

В волосок он - за сто гязов попадал стрелой.

Все, что в поле на ловитве взгляд его влекло,

От летящих стрел Бахрама скрыться не могло.

Так в науках и в охоте перед ним всегда

Реяла его удачи яркая звезда.

Доблестью его гордились ближние царя,

С похвалою о Бахrame всюду говоря.

Говорили: "То он в схватку с ярым львом вступил.

То он барса на охоте быстрого сразил".

И такие о Бахраме всюду речи шли,

И его "Звездой Йемена" люди нарекли.

БАХРАМ НАХОДИТ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕМИ КРАСАВИЦ

В Хаварнак однажды прибыл из степей Бахрам,

Предался отдохновенью, лени и пирам.

По бесчисленным покоем как-то он блуждал,

Дверь закрытую в проходе узком увидал.

Он ее дотоль не видел и не знал о ней;

Не входил в ту дверь ни ключник и ни казначей.

Тут не медля шах от двери ключ у слуг спросил.

Ключник тотчас появился, ключ ему вручил.

Шах открыл и стал на месте - сильно изумлен;

Будто бы сокровищницу там увидел он,

Дивной живописью взоры привлекал покой.

Сам Симнар его украсил вещью рукой.

Как живые, семь красавиц смотрят со стены.

Как зовут, под каждой надпись, из какой страны.

Вот Фурак, дочь магараджи, чьи глаза черны,
Словно мрак, и лик прекрасней солнца и луны.

Вот китайского хакана дочь - Ягманаз, -
Зависть лучших дев Китая и твоих, Тараз.

Назпери - ее родитель хорезмийский шах.
Шаг ее, как куропатки горной, легкий шаг.

В одеянии румийском, прелести полна,
Насринуш, идет за нею - русская княжна.

Вот магрибского владыки дочь Азариюн,
Словно утреннее солнце девы облик юн.

Дочь царей румийских.- диво сердца и ума.
Счастье льет, сама счастлива, имя ей - Хума.

Дочь из рода Кей-Кавуса, ясная душой
Дурасти - нежна, как пальма, и павлин красой

Этих семерых красавиц сам изобразил
Маг Симнар и всех в едином круге заключил.

А посередине круга - будто окружен
Скорлупой орех - красивый был изображен

Юный витязь. Он в жемчужном поясе, в венце.
И усы черны, как мускус, на его лице.

Словно кипарис, он строен, с гордой головой.
Взгляд горит величием духа, ясный и живой.

Семь кумиров устремили взгляды на него,
Словно дань ему платили сердца своего.

Он же ласковой улыбкой отвечает им,
Каждою и всеми вместе без ума любим.

А над ним Бахрама имя мастер начертал.
И Бахрам, себя узнавши, надпись прочитал.

Это было предсказанье, речь семи светил:
"В год, когда воспрянет в славе витязь, полный сил, -

Он добудет семь царевен из семи краев,

Семь бесценных, несравненных, чистых жемчугов.

Я не сеял этих зерен, в руки их не брал;
Что мне звезды рассказали, то и написал".

И любовь к семи прекрасным девам день за днем
Понемногу овладела молодым царем.

Кобылицы в пору течки, буйный жеребец -
Семь невест и льву подобный юный удалец.

Как же страстному желанью тут не возражать.
Как же требованиям страсти тут противостоять?

Рад Бахрам был предсказанью звездному тому,
Хоть оно пересекало в жизни путь ему.

Но зато определяло жизнь и вдалеке вело,
Исполнением желаний дух его влекло.

Все, что нас надеждой крепкой в жизни одарит,
Силу духа в человеке удесятерит.

Вышел прочь Бахрам и слугам дал такой наказ:
"Если в эту дверь заглянет кто-нибудь из вас,

Света солнечного больше не видать тому:

С плеч ему я без пощады голову сниму".

Стражи, слуги, и вельможи, и никто другой

Даже заглянуть не смели в тайный тот покой:

Только ночь прольет прохладу людям и зверям.

Взяв ключи, Бахрам к заветным подходил дверям,

Отпирал благоговейно и, как в рай, вступал:

Молча семь изображений дивных созерцал.

Словно жаждущий, смотрелся в чистый водоем.

И, желаньем утомленный, забывался сном.

Вне дворца ловитвой вольной шах был увлечен,

Во дворце же утешался живописью он.

БАХРАМ БЕРЕТ ВЕНЕЦ

Только в золотой короне утро над землей

На подножии рассвета трон воздвигло свой,

Полководцы и вельможи шахов поднялись

И с войсками на майдане ратном собрались.

Все войска Арабистана ожидали там,
Против них войска Аджамы тоже стали там.

Стражи царского зверинца из глубоких рвов
Вывели двух разъяренных людоедов-львов.

Приковали львов цепями рядом к двум столбам,
Чтоб меж ними невредимо не прошел Бахрам.

Тут зверинца главный сторож, богатырь-храбрец
Под охрану львов могучих положил венец.

Золотой венец меж черных этих львов лежал,
Словно между двух драконов месяц заблистал.

Но не таза гром драконов черных испугал,
Таз судьбы и меч Бахрама тьму с небес прогнал.

По земле хвостами били, яростью горя,
Эти львы, они рычали, будто говоря:

"Кто посмеет подойти к нам и корону взять?
Кто посмеет у дракона клад его отнять?"

Но рожден с железным сердцем славный был Бахрам,
Много львов убил, дракона победил Бахрам.

На цепях те львы ходили, растерзать грозя,
На полет стрелы к ним было подойти нельзя.

По условию мобедев, должен был Бахрам
Первым выйти за короной к двум огромным львам.

Если, мол, возьмет корону - будет шахом он,
Примет чашу золотую и взойдет на трон.

Если ж не возьмет - от трона отречется пусть
И туда, откуда прибыл, вновь вернется пусть.

То условие без спора принял шах Бахрам,
Он спокойно с края поля подошел ко львам.

Он охотником в Йемене самым первым слыл,
Он за жизнь свою до сотни львов степных убил.

И арканом львов ловил он, и стрелой стрелял,
И копьём своим, и сталью острой убивал.

Разве сотню львов убивший побоится двух?

Он, как сталь, в охоте львиной закалил свой дух.

Он своей кольчуги полы за кушак заткнул,

Подошел, как вихрь палящий, прямо к львам шагнул.

Сам на львов, как лев пустыни, грозно зарычал

И венец рукою левой между ними взял.

Эти львы, увидя доблесть львиную его,

И бесстрашие и отваги львиной торжество,

Ринулись, как исполины, на него. Скажи:

Острые мечи в их пасти, в лапах их - ножи.

Захотели шахской кровью свой украсить пир,

Захотели миродержцу тесным сделать мир.

Но Бахрам зверей свирепых грозно проучил,

Кровью этих львов свой острый меч он омочил.

Обезглавил их и злобе положил конец.

Он живым ушел с майдана и унес венок

Возложил его на темя и воссел на трон,

Так судьбой своей счастливой был он одарен.

Тем, что он неустрашимо взял венец у левов,
Сверг Бахрам лису с престола древнего отцов.

БАХРАМ ВОСХОДИТ НА ПРЕСТОЛ ОТЦА

Гороскоп, что о рожденье шаха возвестил,
Исполнялся благосклонной волею светил.

И по звездам, хоть не видя шаха самого,
Звездочеты наблюдали путь судьбы его.

Видели, что трон Бахрама был в созвездье Льва,
Совершались предсказанья давнего слова.

В сочетанье с Утаридом, солнце в апогей
Поднималось - обещаьем долгих, славных дней.

В знак Овна Зухра входила, Муштари вставал
Со Стрельцом. И дом Бахрама раем расцветал.

Месяц был в десятом знаке, а Бахрам в шестом
Знаке неба. С чашей - месяц, а Бахрам - с мечом.

А рука Кейвана стала чашею весов,
Чашею сокровищ мира и его даров.

С добрым предзнаменованьем, счастьем одарен,
Добронравный шах Ирана поднялся на трон.

То не трон, корабль удачи морем перлов плыл.
Столько подданным своим он перлов раздарил,

Столько вынести он сокровищ слугам приказал,
Так он сам великодушьем царственным блистал,

Что сидевший на престоле шахом до него,
Одеяние носивший и венец его,

Увидав великолепье нового царя,
Слыша, как он мудро судит, милостью даря,

Первый подошел и молвил: "Славься, государь!
Истинный ты шах вселенной и над нами царь!"

И мобеда: "Шах великий" - нарекли его,
Венценосные - "владыкой" нарекли его.

И Бахрама всяк, по мере разума и сил,

Всюду - тайно или явно - славил и хвалил.

Так Бахрам венцом высоким в мире заблистал,

Так он шахом горизонтов и владыкой стал.

И, прославивши молитвой небо и судьбу,

Справедливости своей он прочитал хутбу.

ТРОННАЯ РЕЧЬ БАХРАМА-ГУРА

О СПРАВЕДЛИВОСТИ

Он сказал: "На отчий трон я возведен судьбой,

Бог мне даровал победу и никто другой.

Я хвалу и благодарность небу воздаю.

Тот, кто верит в бога, милость обретет мою.

Я о милости не должен вечного молить,

Бога я могу за милость лишь благодарить.

Я у львов корону отнял. Меч ли мне помог?

В этом подвиге помог мне всемогущий бог.

И когда обрел венец я и высокий трон,

Должен быть я справедливым, чтоб одобрил он.

Если даст он, так во всем я буду поступать,
Чтоб никто не мог в обиде на меня пенять.

Вы друзья мои, вельможи моего дворца,
Пусть дороги ваши будут прямы до конца.

Знайτε, кто из вас от кривды низкой отойдет,
В справедливости спасенье верное найдет.

Если кто не будет ухо правое держать,
У того придется уху левому страдать.

Я для всех, как подобает истому царю,
Правосудья и защиты двери отворю.

Мы теперь во имя правды в руки власть берем,
Злом за зло платить мы будем, за добро - добром.

И пока стоит на месте синий небосвод,
Слава тем, кто в край блаженный с миром отойдет.

А живущим всем мы будем, как надежный щит,
Одарим добром, надеждой, не творя обид.

Где вину простить возможно, лучше там простить.

Зла не делай там, где можно милость допустить".

Так намеренья благие обнаружил он,

И ему вельможи низкий отдали поклон.

С приближенными беседу час иль два он вел,

А потом, сойдя с престола, отдыхать пошел.

Правил он страною мудро, правый суд вершил,

И народ был благодарен, бог доволен был.

Для совета звал он светлых разумом мужей,

Не было в стране раздоров, смут и мятежей.

О ТОМ, КАК ПРАВИЛ БАХРАМ-ГУР

Счастливо на трон Ирана шах Бахрам взошел,

Совершенством и величьем озарил престол.

На семи золотых подножьях трон его стоял,

Поясом с семью значками стан он повязал.

Был венец двуцветный Чина на кудрях его,

Из парчи кафтан румийский на плечах его.

Он добром с пределов Рума подати взимал,
Благом он с хакана Чина обложение брал.

Он законы правосудья учредил в стране,
Злобу покарал, а правду наградил вдвойне.

Справедливых и гонимых сам он ограждал,
Угнетателей унизил, алчных покарал.

И ключом к замку печалей стал его дворец,
Благоденствие настало в царстве наконец.

Государство процветало, обретя покой,
И при нем дышать свободно стал народ простой.

Овцы множились, богатый расплодился скот,
На полях лилось живое изобилье вод.

Всякий плод пошел обильно на деревьях зреть,
Чистым золотом монеты начали звенеть.

Шах Бахрам вникал повсюду сам во все дела;
Если видел зло, искал он тайный корень зла.

И последовали шаху все князья земли,
И окраины Ирана также расцвели.

Все, что гложло в запустенье в дни его отца,
Расцвело и разрешилось у его дворца.

Стражи кладов и владельцы замков крепостных
Крепости ему вручили и ключи от них.

Дневники приказов свыше каждый обновлял,
Каждый жизнь свою на службу шаху отдавал...

Шах делами государства окружал себя,
Подданным добра желая, утруждал себя.

Разоренные хозяйства вновь обогатил,
Беглецов в родное лоно лаской возвратил.

Он овец своих от волка злого защитил,
Сокола своею властью с голубем сдружил.

Обольщенья старой смуты он изгнал навек,
Хищничество, лихоимство всякое пресек.

Сокрушил, разбил опоры он врагов своих.

Поддержал друзей надежных он в делах мирских

Человечность он законом для себя избрал.

"Лучше благо, чем обида", - людям он сказал.

"Оскорбленье унижает. Лучше убивать

Ненавистников, но душу их не оскорблять.

Лучше смерть, чем оскорбленье. Коль нельзя простит!

Нераскаянных злодеев, лучше уж казнить.

И бичи и унижение - гибели лютей".

Справедливостью своею он привлек людей.

Был он щедр. И по величью духа своего

Не оставил без вниманья в царстве никого.

Видел он: лишь пыль печали, скорби и забот

Древняя обитель праха мудрому несет.

Но душой своей в печали не поник Бахрам,

Предался веселью, неге, ласкам и пирам.

Да, в непрочности вселенной убедился он,

И душою в наслажденья погрузился он.

Он лишь день один в неделю отдавал делам.

Шесть же дней - любви и неге отдавал Бахрам.

Без любви теперь не мог он даже дня дышать,

В ворота любви стучал он. Как же не стучать?

Есть ли смертный, что любовью не был бы пленен?

Кто лишен любви, ты скажешь, жизни тот лишен.

И любви провозгласил он в мире торжество,

И четы влюбленных стали свитой его.

Жизнь беспечно принимал он - с чистою душой,

Правосудье совершал он - с чистою душой.

При Бахраме не в почете были плеть и меч.

А в казну богатство стало отовсюду течь.

Стал Аджам, как плодоносный сад в цвету ветвей,

А Бахрам, как солнце, лаской одарял людей.

То, что явно властелину, не понять рабу,

Уповал завистник алчный все же на судьбу.

Но погибнет тот, кто бога вечного забыл,
Тот, кто в сердце состраданье к людям истребил.

И всегда, когда нечестье низкие творят
И за свой достаток бога не благодарят,

То в конце концов богатство их скудеть начнет,
Будут их пытать железо, пламя, кровь и пот.

ЗАСУХА И МИЛОСЕРДИЕ БАХРАМА

Были в некий год жарою спалены поля,
И зерна не уродила щедрая земля.

Был такой во всем Иране страшный недород,
Что голодный пахарь начал есть траву, как скот.

Мир от голода в унынье голову склонил,
Хлеб у скупщиков богатых страшно дорог был.

Весть о бедствии народном шаху принесли,
Молвили: "Простерся голод по лицу земли.

Смерть, страдания, людоедство на земле царят;
Словно волки, люди падаль и людей едят".

И Бахрам решил немедля бедствие избыть.

Двери всех своих амбаров он велел открыть.

А правителям окраин отдал он приказ,

Чтобы людям царских житниц роздали запас.

Написал: "Во всех селеньях пусть и в городах

Люди хлеб берут бесплатно в наших закромах.

У богатого за деньги забирайте хлеб,

Голодающим бесплатно раздавайте хлеб.

А когда не будет ведать голода страна,

Птицам высыпьте остатки вашего зерна.

Чтоб никто в моих владеньях голода не знал,

Чтоб никто от недостатка пищи не страдал!"

А когда голодных толпы к житницам пришли

И домой мешки с пшеницей царской унесли,

Шах зерно в чужих владеньях закупить велел

И закупленное снова раздавать велел.

Он усердствовал, сокровищ древних не щадя,
Милости он сыпал гуще вешнего дождя.

Хоть подряд четыре года землю недород
Посещал, зерно от шаха получал народ.

Так в беде он истым Кеем стал в своих делах,
И о нем судили люди: "Подлинный он шах!"

Так избыл народ Ирана горе злых годин;
Все ж голодной смертью умер человек один.

Из-за этого бедняги шах Бахрам скорбел,
Как поток, зимой замерзший, дух в нем онемел,

И, подняв лицо, Яздана стал он призывать,
И о милости Яздана стал он умолять:

"Пищу ты даруешь твари всяческой земной!
Разве я могу сравняться щедростью с тобой?"

Ты своей рукой величье малому даешь,
Ты величью истребленье и паденье шлешь.

Как бы я ни тщился, хлеба в житницах моих

Недостанет, чтоб газелей накормить степных,

Только ты - победоносной волею своей

- Кормишь всех тобой хранимых - тварей и людей.

Коль голодной смертью умер человек один,

То поверь, я неповинен в этом, властелин!

Я не ведал, что бедняга жил в такой нужде,

А теперь узнал, но поздно, не помочь беде".

Так молил Бахрам Яздана, чтобы грех простил,

И Бахраму некий тайный голос возвестил:

"За твое великодушие небом ты прощен,

И в стране твоей отныне голод прекращен.

Да! Подряд четыре года хлеб ваш погибал,

Ты ж свои запасы людям щедро раздавал,

Но четыре года счастья будет вам теперь,

Ни нужда, ни смерть не будут к вам стучаться в дверь!"

И четыре круглых года, как сказал Яздан,

Благоденствовал и смерти не видал Иран.

Счастливы шах, что добротою край свой одарил
И от хижин смерть и голод лютой удалил.

Люди новые рождались. Множился народ.
Скажешь: не было расхода, был один доход.

Умножалось население. Радостно, когда
Строятся дома; обильны, людны города.

Дом за домом в эту пору всюду возникал,
Кровлею к соседней кровле плотно примыкал.

Если б в Исфахан из Рея двинулся слепец,
Сам по кровлям он пришел бы к целям наконец.

Если это непонятно будет в наши дни,
Ты, читатель, летописца - не меня - вини.

Народился люд, явилось много новых ртов,
Пропитанья было больше все ж, чем едоков.

На горах, в долинах люди обрели покой,
Радость и веселье снова потекли рекой.

На пирах, фарсанга на два выстроившись в ряд,
Пели чанги и рубабы и звучал барбат.

Что ни день - то, будто праздник, улица шумна.
Возле каждого арыка был бассейн вина.

Каждый пил и веселился, брань и меч забыл,
И, кольчугу сняв, одежды шелковые шил.

Ратный шум, бряцанье брани невзлюбили все,
О мечах, пращах и стрелах позабыли все.

Всякий, у кого достаток самый малый был,
Радовался, услаждался и в веселье жил.

Ну, а самым бедным деньги шах давать велел
На потехи. Всех он видеть в радости хотел.

Каждого сумел приставить к делу он в стране.
Чтобы жизнь была народу радостна вдвойне,

На две части приказал он будний день разбить,
Чтоб сперва трудиться, после - пировать и пить.

На семь лет со всей страны он подати сложил,

Ствол семидесятилетней скорби подрубил.

Тысяч шесть созвать велел он разных мастеров:

Кукольников, музыкантов, плясунов, певцов.

Он велел их за уменье щедро наградить

И по городам, по селам им велел ходить, -

Чтоб они везде ходили с песнею своей,

Чтобы сами веселились, веселя людей.

Меж Тельцом и Близнецами та была пора, -

Рядом шла с Альдебараном на небе Зухра.

Разве скорбь приличествует людям той порой,

Как Телец владычествует на небе с Зухрой?

БАХРАМ И РАБЫНЯ

Поохотиться, порыскать захотел Бахрам

По долинам травянистым, по глухим горам.

В степь рассветною порою он коня догнал

И, пустив стрелу, в онагра быстрота попал.

Вровень с Муштари звездой в небе плыл

Стрелец, Муштари достал стрелою царственный стрелец.

А загонщики из поля дальнего того

Стадо легкое онагров гнали на него.

И охотник, нетерпением радостным томим,

Сдерживал коня на месте, что играл под ним.

Вот пускать он начал стрелы с тетивы тугой.

В воздухе стрела свистела следом за стрелой.

Промаха не знал охотник, прямо в цель он бил,

Пробегающих онагров много подстрелил.

Если есть онагр убитый и кувшин вина -

Полная огня жаровня алчущим нужна.

Дичь степную настигали за стрелой стрела

И без промаха пронзали, словно вертела.

Даже самых быстроногих шах не пропускал,

Настигал, и мигом им он ноги подсекал.

Шах имел рабу, красою равную луне;
Ты такой красы не видел даже и во сне.

Вся - соблазн, ей имя - Смуга, иначе - Фитна,
Весела, очарованьем истинным полна.

Петь начнет ли, на струнах ли золотых играть -
Птицы вольные слетались пению внимать.

На пиру, после охоты и дневных забот,
Шах Бахрам любил послушать, как она поет.

Стрелы - шахово оружие. Струны - стрелы дев.
Как стрела, пронзает сердце сладостный напев.

Стадо вспугнутых онагров показалось там,
Где земля сливалась с небом. Поскакал Бахрам

По долине в золотистый утренний туман,
Сняв с крутой луки седельной свой витой аркан,

На кольцо он пусковое положил стрелу,
Щелкнул звонкой тетивой и пустил стрелу.

В бок онагру мчащемуся та стрела вошла,
И, целуя прах, добыча на землю легла.

За короткий срок он много дичи подстрелил;
А не стало стрел - арканом прочих изловил.

А рабыня, отвернувшись, поодаль сидела, -
От похвал воздерживалась - даже не глядела.

Огорчился шах, однако слова не сказал.
Вдруг еще онагр далеко в поле проскакал.

"Узкоглазая тюрчанка! - шах промолвил ей, -
Что не смотришь, что не ценишь меткости моей?

Почему не хвалишь силу лука моего?
Иль не видит глаз твой узкий больше ничего?

Вот - онагр, он быстр на диво, как поймать его?
От крестца могу до гривы пронизать его!"

А рабыня прихотливой женщиной была,
Своенравна и упряма и в речах смела.

Молвила: "Чтоб я дивилась меткости твоей,

Ты копытце у онагра с тонким ухом сшей".

Шах, ее насмешки слыша, гневом пламенел,

Он потребовал подобный ветру самострел.

И на тетиву свинцовый шарик положил.

В ухо шариком свинцовым зверю угодил.

С ревом поднял зверь копытце к уху, на бегу,

Вырвать он хотел из уха жгучую серьгу.

Молнией, все осветившей, выстрел шаха был.

Он копыто зверя к уху выстрелом пришил.

Обратись к рабыне: "Видишь?" - он спросил ее.

Та ответила: "Ты дело выполнил свое!

Ремесло тому не трудно, кто постиг его.

Тут нужна одна сноровка - только и всего.

В том, что ты сейчас копыто зверя с ухом сшил, -

Лишь уменье и привычка - не избыток сил!"

Шаха оскорбил, озлобил девушки ответ,

Гнев его блеснул секирой тем словам вослед.

Яростно ожесточилось сердце у него,
Правда злобою затмилась в сердце у него.

Властелин, помедли в гневе друга убивать,
Прежде чем ты вновь не сможешь справедливым стать!

"Дерзкую в живых оставлю - не найду покоя.
А убить - женоубийство дело не мужское.

Лишь себя я опозорю", - думал гневно шах.
Был у шаха полководец, опытный в боях.

Шах сказал: "Покончи с нею взмахом топора -
Женщина позором стала моего двора.

Нам не дозволяет разум кровью смыть позор".
Девушку повез вельможа в область ближних гор.

Чтобы, как нагар со свечки, голову ее
С тела снять, привез рабыню он в свое жилище.

Дева, слезы проливая, молвила ему:
"Если ты не хочешь горя дому своему,

Ты беды непоправимой, мудрый, не твори,
На себя моей невинной крови не бери.

Избранный и задушевный я Бахраму друг,
Всех рабынь ему милее я и всех супруг.

Я Бахрама услаждала на пирах досуг,
Я вернейших разделяла приближенных круг.

Див толкнул меня на шалость - дерзок и упрям,
Сгоряча, забыв про жалость, приказал Бахрам

Верную убить подругу... Ты же два-три дня
Подожди еще! Сегодня не казни меня.

Доложи царю обманно, что раба мертва.
Коль обрадуют владыку страшные слова, -

О, убей Фитну тогда же! Жизнь ей не нужна!
Если же душа Бахрама будет стеснена

Сожаленьем, то бесследно отойдет беда.
Ты избегнешь угрызений совести тогда.

Кипарис судьбы напрасно в прах не упадет.

Хоть Фитна теперь ничтожна, но - пора придет -

За добро добром тебе я возьму сполна!"

Ожерелье дорогое тут сняла она,

Полководцу семь рубинов лучших отдала.

А цена тому подарку велика была,

Дань с Омана за два лета - полцены ему.

Полководец внял совету мудрому тому.

И не сделал ни на волос он вреда Фитне.

Молвил: "Будешь в этом доме ты служанкой мне.

Ни при ком Бахрама имя не упоминай.

"Наняли меня в служанки", - всюду повторяй.

Данную тебе работу честно выполняй.

О тебе я позабочусь - не забуду, знай!"

Тайный договор скрепили, жизнью поклялись;

Он от зла, она от ранней гибели спаслись.

Пред царем предстал вельможа через восемь дней,

Стал Бахрам у полководца спрашивать о ней.

Полководец молвил: "Змею я луну вручил
И за кровь ее рыданьем выкуп заплатил".

Затуманились слезами шаховы глаза,
И от сердца полководца отошла гроза.

Он имел одно поместье средь земель своих -
Сельский замок, удаленный от очей мирских.

Стройной башни над холмами высился отвес,
Омываемый волнами голубых небес.

Шестьдесят ступеней было в башенной стене,
Кровля башни поднималась к звездам и луне.

С сожаленьями своими там - всегда одна -
Постоянно находилась бедная Фитна.

В том селении корова родила телка,
Ласкового и живого принесла телка.

А Фитна телка на шею каждый день брала;
За ноги держа, на башню на себе несла.

Солнце в мир несет весну - и несет Тельца.

А видал ли ты луну, что несет тельца?

Женщина же молодая, хоть и с малой силой,
Каждый день тельца на кровлю на себе вносила,

За шесть лет не покидала дела. Наконец
Стал быком шестигодовым маленький телец.

Но красавица, чье тело легче лепестка,
Каждый день наверх вносила грузного быка.

Шею нежную, как видно, груз не тяготил,
Бык жирел, и у рабыни прибывало сил.

С полководцем тем сидела вечером одна
Узкоглазая с душою смутною Фитна.

И четыре крупных лапа - красных, как весна,
Из ушных своих подвесков вынула она.

Молвила: "Ты самоцветы ценные продай
И, когда получишь плату, мне не возвращай;

Накупи баранов, амбры, розовой воды,

Вин, сластей, свечей, чтоб ярко осветить сады.

Из жарких и вин тончайших, амбры и сластей
Пиршественный стол воздвигни в замке для гостей.

Как приедет к нам властитель, ты встречать поди,
На колени стань пред шахом, на землю пади;

Под уздцы коня Бахрама хоть на миг возьми!
Душу распластай пред шахом - позови, прими!

Нрав хороший у Бахрама - ласковый, простой.
Коль приедет он, довольны будем мы с тобой.

Здесь, на башне, достающей кровлей облаков,
Пир устроим мы, прекрасней дарственных пиров.

Если замысел удастся, то, клянусь тебе:
Ожидает нас великий поворот в судьбе".

Полководец самоцветов брать не захотел,
Ибо тысячей таких же ценностей владел.

Из казны своей он денег сколько надо взял.
Царственный припас для пира скоро он достал.

Все там было, чем богаты Фарс и Индостан:

Птица, рыба, дичь, корица, перец и шафран,

И рейхан, и вин кувшины, и гора сластей,

Чтоб суфра благоухала амброй для гостей.

Все хозяин изготовил. И остался там

Ожидать, когда на ловлю выедет Бахрам.

В дни ближайшие делами утомленный шах

Поохотиться, порыскать захотел в горах.

Но пред тем как он в ущельях дичи настрелял,

Дичи собственной добычей сам нежданно стал.

Поутру он меж холмами ехал налегке

И увидел зелень, воды, замок вдалеке.

Густолиственный тенистый он увидел сад,

Словно край обетованный мира и услад.

На ветру листва играет, утешая взгляд.

Шах воскликнул: "Чье все это? Кто же так богат?"

Чуть селения властитель это услышал, -
Он у стремени Бахрама в этот миг стоял,-

На колени пал и землю он облобызал.

"Ласковый к рабам владыка! - шаху он сказал, -

Здесь моя земля. Тобою мне она дана.

Пала капля из фиала твоего вина

В дом раба, и благом стала для него она.

Коль тебе пришлись по сердцу тень и тишина

Моего угла простого - тем возвышен я!

Ты с простыми - прост. Природа счастлива твоя.

Я молю: войди в калитку сада моего!

Старому слуге не надо больше ничего.

От твоих щедрот великих раб твой стал богат.

И построил здесь я замок с башней до Плеяд.

Башня свежими садами вся окружена.

Если шах на башне выпьет моего вина.

Звезды прах у входа в башню будут целовать,

Ветер амброй вдоль покоев будет провевать.

Муха принесет мне меду, буйвол - молока!"

Понял шах: чистосердечны речи старика.

"Быть по-твоему! - сказал он. - Нынче же приду

Отдохнуть после охоты у тебя в саду".

И Бахрам со свитой дальше в поле ускакал.

Приказал хозяин слугам чистить медь зеркал.

Все проверил, был порядок всюду наведен.

Словно рай, коврами кровлю изукрасил он;

Из диковинок индийских - лучшие достал,

Из китайских и румийских - лучшие достал,

И - ковер к ковро - на землю прямо разостлал,

Как песок по ним рассыпал адамант и лал.

Вот, ловитвой насладившись, подскакал Бахрам,

И скакун хутгальский шаха прыгал по коврам.

Шах на верхнюю ступеньку лестницы встает.

Видит - купола над башней несказанный взлет,

Свод высок, - от Хаварнака он свой род ведет,
Пышностью он попирает звездный небосвод.

А суфра благоухает розовой водой,
Амброй, винами и манит сладостной едой.

И когда Бахрам свой голод сладко утолил,
Начал пир и вкруговую винный ковш пустил.

А когда он пить окончил гроздий алый сок,
Капельки росы покрыли лба его цветок,

Молвил он: "О, как радушен ты, хозяин мой!
Чудно здесь! Твой дом обилен, как ничей иной.

И настолько эта башня дивно высока,
Что арканом ей обвили шею облака.

Но на шестьдесят ступеней этой высоты
В шестьдесят годов - как станешь подыматься ты?"

Тот ответил: "Шах да будет вечен! И при нем
Кравчим гурия да будет, а Замзам - вином!

Я мужчина, я привычен к горной крутизне,
И по лестнице не диво подыматься мне.

А вот есть красавица - обликом луна,
Словно горностаи султана, словно шелк, нежна:

Но она быка, который двух быков грузнее,
Каждый день на башню вносит на девичьей шее,

Шестьдесят ступеней может с ношею пройти
И ни разу не присядет дух перевести.

Этот бык - не бык, а диво; то не бык, а слон,
Жира своего громаду еле тащит он;

В мире из мужчин сильнейших нет ни одного,
Кто бы мог хоть на полпяди приподнять его;

Но быка того на плечи женщина берет
И на кровлю башни вносит - под высокий свод".

Шах Бахрам от удивленья палец прикусил.
"Где ты взял такое диво? - старца он спросил.-

Это ложь! А если правда - это колдовство!

И покуда не увижу чуда твоего,

Не поверю я!" И тут же привести велел

Эту женщину; мгновенья ждать не захотел

Вниз по лестнице хозяин быстро побежал,

Женщине, быка косящей, все пересказал.

Сребротелая все раньше знала и ждала,

И она готова с шахом встретиться была;

Одеяньями Китая стан свой облекла,

И своих нарциссов томность розам придала,

Обольщенья сурьюмою очи подвела,

Тайных чар огнями взоры томные зажгла.

Плечи, как венцом, одела амброю кудрей;

Локоны черны, как негры, на щеках у ней,

Родинка у ней индуса темного темней, -

Рвутся в бой индус и негры - воинов грозней.

Маковка в венце жемчужин южной глубины,

Покрывало словно Млечный Путь вокруг луны.

А в ушах они рубинов и камней зеленых

Превратили в буйный рынок, скопище влюбленных,

Применила семь она снадобий сполна

И как двухнедельная поднялась луна.

Вот она к быку походкой легкой подошла,

Голову склонив, на шею чудище взяла,

Подняла! Ты видишь - блещет самоцвет такой

Под быком! При этом блеске, словно бык морской,

Он бы мог на дне пучины по ночам пастись

И - ступенька за ступенькой - побежала ввысь

Женщина и вмиг на кровлю круглую вбежала,

У подножия престола шахского предстала

И, смеясь, с быком на шее перед ним стояла.

Шах вскочил, от изумленья ничего сначала

Не поняв. Воскликнул: "Это - наважденье сна!"

С шеи на пол опустила тут быка Фитна,

И, лукаво подмигнувши, молвила она:

"Кто снести способен наземь то, что я одна

Вверх благодаря чудесной силе подняла?"

Шах Бахрам ответил: "Это сделать ты могла

Потому, что обучалась долгие года,

А когда привыкла, стала делать без труда;

Шею принаравливала к грузу день за днем.

Тут - лишь выучка одна, сила - ни при чем!"

А рабыня поклонилась шаху до земли

И сказала: "Терпеливо истине внемли!

Ты за долг великой платой должен мне воздать.

Дичь без выучки убита? А быка поднять -

Выучка нужна? Вот - подвиг совершила я!

В нем не сила, в нем видна лишь выучка моя?

Что же ты, когда онагра подстрелить умел,

Ты о выучке и слова слышать не хотел?"

Милую по тем упрекам вмиг Бахрам узнал;

В нетерпенье покрывало он с луны сорвал,

Ливнем слез ланиты милой жарко оросил.

Обнимал ее, рыдая, и простить просил.

Выгнал прочь и злых и добрых, двери притворил,

Молвил: "Хоть тебе темницей этот замок был,

Я, послав тебя на гибель, убивал себя.

Ты цела, - а я разлукой истерзал себя".

Села дева перед шахом, как сидела встарь

И сказала: "О смиривший смуту государь!

О разлукою убивший бедную Фитну!

О свиданьем ожививший бедную Фитну!

Пыл моей любви меня же чуть не задушил.

Шах когда с копытом ухо у онагра сшил

Не пернатою стрелою - шариком свинца,

Небеса поцеловали руку у стрельца.

Я же, если в сдержанности доброй пребыла,

От любимого дурное око отвела;

А всему, что столь прекрасно кажется для нас,
Нанести ущерб великий может вредный глаз.

Я ль виновна, что небесный прилетел дракон
И любовь затмил враждебным подозреньем он?"

Взяли за сердца Бахрама милые слова,
Он воскликнул: "О, как верно! О, как ты права!

Был бы этот перл навеки камнем раздроблен,
Если б он слугою честным не был сбережен".

И призвавши полководца, наградил его,
И рукой, как ожерельем, шах обвил его.

Как никто теперь не дарит из земных царей,
Одарил его и отдал целый город Рей.

Ехал шах домой, весною реял над страной,
Сахар на пиру рассыпал. В брак вступил с Луной.

И пока не завершили долгий круг года,
В наслажденье, в ласке с нею пребывал всегда.

БАХРАМ ЖЕНИТСЯ НА ДОЧЕРЯХ

ПАДИШАХОВ СЕМИ СТРАН

Всею душою в наслажденья погрузился шах,

Ибо он устал в походных пребывать трудах.

Судьбы подданных устроил сам сперва Бахрам,

А уж после приступил он и к своим делам.

Он попраля врагов Ирана твердою пятой

И предался неге мира с чистою душой.

И пристрастие бывшее стал он вспоминать,

Что в трудах - за недосугом - начал забывать.

Как Аржанг, семи блиставший мира поясам,-

Хаварнак и семь портретов вспоминал Бахрам.

И в душе Бахрама Тура разгорелась вновь

К этим гуриеподобным девушкам любовь.

Семь волшебных эликсиров в мире он открыл

И семью огнями пламя страсти погасил.

Первая была - царевна Кесза дворца,

Но у ней в живых в ту пору не было отца.

Он засватал перл бесценный рода своего

И за тысячи сокровищ получил его.

А потом к хакану Чина он послал гонцов

И письмо с угрозой, скрытой средь любезных слов.

Дочь просил он у хакана и казну с венцом

И вдобавок дань двойную на году седьмом.

Отдал дочь хакан Бахраму и послал дары:

Груз динаров и сокровищ, чаши и ковры.

Вслед за тем Бахрам кайсару вдруг нанес удар, -

Вторгся с войском в Рум. Немалый там зажег пожар.

Спорить с ним не стал объятый ужасом кайсар,

Выдал дочь свою и с нею дал богатый дар.

И людей в Магриб к султану шах послал потом

С чистым золотом в подарок, с тронном и венцом.

Что ж! Магрибскую царевну получил Бахрам.

Посмотри, как в той женитьбе ловок был Бахрам.

А когда был кипарис им стройный увезен,
В край индийский за невестой устремился он.

Разумом раджу индусов так пленил Бахрам,
Что и дочь индийца в жены получил Бахрам.

И когда в Хорезм направил шах Бахрам посла,
Хорезм-шаха дочь женою в дом к нему вошла.

Он царя, саклабов даром дорогим почтил,
Дочь его - алмаз чистейший - в жены попросил.

Так вот - от семи иклимов - у семи царей
Взял он в жены семь прекрасных перлов-дочерей;

И привез к себе, и с ними в счастье утопал,
Юности и наслажденью полностью воздал.

ЗИМНИЕ ПИРЫ БАХРАМА И ПОСТРОЕНИЕ СЕМИ ДВОРЦОВ

В некий день, едва лишь солнце на небо вошло,
Небосвод в серебристом блеске обнажил чело.

Радостен и лучезарен, ярко озарен

.Был тот день. Да не затмится он в чреде времен!

В это утро шах собранье мудрецов созвал.

Как лицо прекрасной девы, дом его блистал.

Не в саду садились гости, а входили в дом,

Ибо день тот был отраднй первым зимним днем.

Все убранство в дом из сада унесли.

И сад Опустел, погасло пламя множества лампад.

Смолкли соловьи на голых, мокрых деревьях.

Крик ворон: "Держите вора!" - слышится в садах.

От индийца родом ворон, говорят, идет -

Диво ль, что индиец вором стал и сам крадет.

Вместо соловьев вороны царствуют в садах,

Вместо роз шипы остались на нагих кустах.

Ветер утренний - художник, что снует везде,

Он серебряные звенья пишет на воде.

Холод у огня похитил мощь, - и посмотри:

Из воды мечи кует он под лучом зари.

И с копьем блестящим вьюга всадником летит,
Над затихшей речкой острым снегом шелестит.

Молоко в кувшинах мерзнет, превращаясь в сыр.
Стынет в жилах кровь живая, воздух мглист и сыр.

Горы в горностай оделись, доли - в белый пух,
Небосвод в косматой шубе дремлет, хмур и глух.

Хищник зябкий травоядных стал тропу следить,
Чтоб содрать с барана шкуру, чтобы шубу сшить.

Голова растений сонно на землю легла,
Сила их произрастанья в глубь земли ушла.

Мир-алхимик на деревьях лист позолотил
И рубин огня живого в сердце камня скрыл.

В благовонья тот алхимик розы превратил
И в кувшине под печатью крепкой заключил.

Словно ртуть, вода густая стынет на ветру
И серебряной пластиной скрыта поутру.

Теплый шахский дом, блистая стеклами окон,
Совмещал зимою свойства четырех времен.

Золотым углем жаровен и живым огнем
Леденящий зимний воздух нагревался в нем.

А плоды и вина сладко усыпляли мозг,
Дух и сердце умягчали, словно мягкий воск.

На углях горел алоэ, жарко тлел сандал;
Как индийцы на молитве, дым вокруг вставал.

Для поклонников Зардушта рдел живой огонь,
Был источником веселья золотой огонь.

В устье каменном, в жаровнях ярко рдел огонь,
Словно шелк золотоцветный, пламенел огонь.

Пламя - ягода грудная - угли разожгло,
Киноварью сердцевину угля налило.

Яблоком без сердцевины красный уголь рдел,
В сердцевине он гранатом спелым пламенел.

Россыпью он тлел янтарной, окроплен смолой,
Жарко искрился, подернут пеплом и золой.

Чернотой раскаленной пламенел сандал,
Как тюльпаны в косах гурий, кровенел сандал.

Тюрком - но румийской крови - яркий был огонь,
Чтил народ наш от Зардушта и любил огонь.

Пламя жизни - свет Юнуса, купина Мусы.
Сад чудесный Ибрагима, пиршество Исы.

Черным мускусом ложились грани на углях,
Словно пятна на старинных медных зеркалах.

И пылал огонь рубином в тусклой черноте;
Скажешь: так рубин в пещерной блещет темноте.

Пламя обостряло зренья, словно самоцвет,
Открывая взгляду желтый, красный, синий цвет.

Был живой огонь невесты юной веселей,
В блеске искр и в ожерелье мускусных углей.,

В золоте, в дыму алоэ брачный был чертог

Пиршественный, как гранатный розовел цветок.

Ярко убран был шелками пировой покой,
Куропатка с перепелкой в нем - рука с рукой -

Над огнем вертелись. Вместе с ними, чередой,
Оперенье сняв, кружился вяхирь молодой.

Желтый пламень дров горящих, дымом окружен,
Кладом золотым казался, дым на нем - дракон.

Адом был огонь и раем. В суть огня вникай:
Ад он - жаром пепелящим, ярким светом - рай.

Обитателям кумирен он - горящий ад.
Сад он райский для прошедших узкий мост - Сират.

Древний Зенд Зардушта гимны пламени поет,
Маг, как мотылек крылатый, вокруг огня снует.

Лед сверкающий водою делается в нем;
Жалко мне! Зачем назвали мы огонь - огнем?

Над дворцом, как кипарисы, кровли поднялись;
Вина, словно кровь фазана, красные лились.

Цвета перьев голубиных, рея, облака
С неба вяхирей бросали вниз для шашлыка.

Старое вино в кувшине глиняном тогда
Было влажно, словно пламя, сухо, как вода.

И слепцы в ту пору пили - полглотка хотя б,
И хребтовый из онагра жарили кебаб.

В славный зимний день с друзьями пировал Бахрам.
Пил вино, как подобает пить вино царям.

Вина сладкие, жаркое, музыка, друзья, -
Это зимнею порою одобряю я.

Как улыбка уст румяных, в чаше блеск вина,
Коль вином горячим в стужу чаша та полна.

Музыкой разгорячен был у застольцев мозг,
Сердце в теплоте отрадной таяло, как воск.

Мудрецы путем веселья за вином пошли.
Искрящийся остроумьем разговор вели.

Каждый радостно, открыто шаху говорил
То, что в сердце благородном ото всех таил.

Словно звенья золотые, потекли слова,
Полилась рекой живою общая молва:

"Государь, престол твой в мире подлинно велик,
Славы, прежде небывалой, ныне ты достиг.

И законов столь разумных не было и нет
В царствах нынешних и в царствах отошедших лет,

Фарром над твоей главою озарил ты нас,
Счастьем, доброю судьбою одарил ты нас.

Стал у каждого наполнен изобильем дом;
Отстоял ты нас, возвысил царство над врагом.

Все дано нам: безопасность, изобилье, честь.
Остальное - все пустое, коль основа есть.

Если есть достаток в доме, мир и благодать,
Ни рубинов нам, ни перлов незачем искать.

Если есть у нас великий, щедрый шах такой,

Все имеем мы для счастья - мир, добро, покой.

Молим мы, чтоб нас небесный гнев не посетил,
Чтоб от глаза нас дурного вечный защитил.

Обращаемся с молитвой к светлым небесам,
Чтоб вовеки благосклонны звезды были к нам,

Чтобы счастье и в грядущем осеняло нас,
Чтобы радостью и миром озаряло нас.

Чтоб вовек из дома шаха, волей мудрых звезд,
Урожая наслаждений ветер не унес.

Да живет наш царь! Веселье да пребудет с ним!
За него и жизнью наших мы не пощадим!"

Так на том пиру гласила общая молва.
Каждый из гостей одобрил сердцем те слова.

Собеседованье мудрых радостно текло,
Всем казалось - дом согрело этих слов тепло.

Некий славный иноземец среди них сидел,
Князь по крови, благородством духа он владел.

Светлый ликом, словно солнце, звался он Шида;
Живописец - чувств исполнен, вдохновлен всегда,
Геометр и математик, врач и астроном,
Был он в зодчестве прославлен дивным мастерством.

Словно воск, податлив камень был в его руках,
Яркий блеск его мозаик не погас в веках.

Он узорною резьбою зданья украшал,
И по извести картины красками писал.

На дворцы, что он построил, сведущий, взгляни! -
Восхитил бы он Фархада сердце и Мани.

Разума ему Язданом дан был дивный дар,
Обучал его искусству прежде сам Симнар.

Он расписывать Симнару стены помогал
В дни, когда Симнар Нуману замок воздвигал.

Тот Шида Бахрам а сразу полюбил душой,
Он увидел в шахе разум, чувства блеск живой.

Поднялся он из застолья, перед шахом встал,
Поклонился, сел на место вновь и так сказал:

"Если будет мне согласие шаха и указ -
Устраню я от Ирана наговор и сглаз.

Я ученый и астролог. До высоких звезд
Мною знания тайн небесных перекинут мост.

Был провидения дан мне при рожденье дар,
Зодчеству меня премудрый научил Симнар.

Зрел я тайное, на звездный глядя небосвод,
Что планет стечение шаху зла не принесет.

И пока в кумире праха жить он обречен,
Пусть светил небесных гнева не страшится он.

Тело шаха будет цело, как его душа,
На земле он будет, словно на небе Луна.

Предначертано мне было, чтобы я пришел
И для шаха семь высоких здесь дворцов возвел.

Чтобы семь цветов небесных радуги я взял,

Чтобы дом семи чертогов семицветным стал.

Семь прекрасных жен Бахраму судьбами даны,
Семь красавиц; каждой свойствен цвет ее страны.

Надо, чтоб дворец у каждой ей по цвету был,
Чтобы с цветом сочетался цвет семи светил.

В соответствии с движеньем неба и планет,
За семь дней своих неделя изменяет цвет.

И в согласии с движеньем вечных звезд и дней
Каждый день пускай приходит шах к жене своей.

И в то время как пирует шах с одной из жен,
Пусть он будет в цвет планеты этой облачен.

Если шах душой высокой примет мой совет,
Озарит его поступки немрачимый свет.

И деяния он будет царские свершать,
И от жизни безмятежно радости вкушать".

Шах ответил: "Я согласен. Эти семь дворцов
Златоверхих ты построишь среди моих садов.

Но и мне в свой срок придется к богу отойти,
Так зачем же здесь заботы лишние нести?

Говоришь, что семь чертогов мне построишь ты,
Что внутри, подобно раю, их устроишь ты?

В тех чертогах поселится только страсть моя,
Ну, а где же буду бога славословить я?

Коль в семи чертогах славить буду божество,
Где же будет храм? Где бога встречу моего?"

Но подумал про себя он: "Заблуждаюсь я,
Маловажно, во всюду сущем сомневаюсь я.

Тот, кто землю наполняет и небесный свод,
Слово искренней молитвы всюду он поймет".

И с Шидой, премудрым зодчим, спорить шах не стал,
Неким новым вождельем дух его пылал.

То, что в росписях Симнара прежде видел он,
Где он был семью земными пери окружен,

То свершилось; он исполнил данный им обет,
Семь красавиц взял он в жены, словно семь планет.

Он слова Шида глубоко в сердце заключил,
Ибо тот в деяньях мира тайных сведущ был.

Он с ответом торопиться в этот день не стал,
Ничего Шида на это он не отвечал.

Но, душою покорившись звездам и судьбе,
Зодчего через неделю вызвал он к себе.

Чертежи семи строений сам он рассмотрел,
Все, что нужно для постройки, дать он повелел.

Выдал деньги для постройки, отрядил людей
И велел Шида постройку начинать скорей.

Выбор для закладки зданья все же был не прост,
Выждал зодчий сочетанья благосклонных звезд.

Гороскоп сперва составив, зодчий-звездочет
Выбрал наконец счастливый первый день работ.

Вознеся сперва молитву пред лицом творца,

Заложил Шида основу первого дворца.

Семь чертогов он два целых года возводил,

Ежедневно на рассвете на леса всходил.

Да! Поистине - ты скажешь - зодчий был велик!

Семь невиданно прекрасных он дворцов воздвиг.

Был у каждого свой тайный гороскоп, свой цвет.

С честью выполнил строитель данный им обет.

Шах Бахрам, придя, увидел среди своих садов

Семь дворцов, как семь небесных светлых куполов.

Знал он, что достигли слухи отдаленных стран,

Как безжалостно с Симнаром поступил Нуман.

Был Нуман за то сурово всюду осужден,

Что премудрого Симнара смерти предал он.

Чтоб Шида был им доволен, счастлив был весь век,

Шах ему богатый город подарил - Бабек.

Он сказал: "Нуман ошибку тяжкую свершил,

Я судить его не волен, - знал он, что творил".

Не по скупости Нуманом был Симнар убит,

Не по щедрости так щедро и Бахрам дарит.

Таково предначертанье в жизни сей земной, -

Здесь всегда один в убытке, с прибылью - другой,

Этот жаждою томится, гибнет тот в воде,

И награду за Симнара воздают Шиде.

Мудрый ведает: грядущий день от нас закрыт.

Поражен своей судьбою - человек молчит.

ОПИСАНИЕ СЕМИ ДВОРЦОВ

В дни, когда - в венце Кубада - шах после войны

Фарр сияния хосрова поднял до луны,

Под усилиями упорных мастерских резцов,

Семь - подобных Бисутунам - поднялось дворцов.

Встало семь дворцов - до неба - в пышных куполах,

Каждый купол был воздвигнут на семи столбах.

Окружил дворцы стеною зодчий. И Бахрам

Поднялся на эту стену, словно к небесам.

Семь дворцов Бахрам увидел, словно семь планет.

В соответствии планетам у дворцов был цвет.

И во всем Шида премудрый дал отличья им

В соответствии великим поясам земным.

Первый купол, что Кейвану зодчий посвятил,

Камнем черным, словно мускус, облицован был.

Тот, который был отмечен знаком Муштари,

Весь сандаловым снаружи был и изнутри.

А дворец, что был Бахрамом красным озарен,

Розовел порфиром, красен был в основе он.

Тот, в котором зодчий знаки солнца усмотрел,

Ярко-желтым был, как солнце, золотом горел.

Ну, а купол, чьим уделом был венец Зухры,

Мрамором лучился белым, как венец Зухры.

Тот же, чьею был защитой в небе Утарид,

Бирюзой горел, как в небе Утарид горит.

А построенный под знаком молодой Луны,
Зелен был, как счастье шаха, как наряд весны.

Так воздвиг Шида для шаха славных семь дворцов,
Семь цветных, как семь планетных в мире поясов.

Цвет свой семь пределов мира шаху принесли.
Как хозяйки семь царевен в семь дворцов вошли.

Каждая царевна замок выбрала себе
По ее происхождению, цвету и судьбе.

Внутреннее все убранство в каждом из дворцов
Свойственных ему оттенков было и цветов,

В те дворцы по дням недели шах Бахрам входил
И с одною из красавиц время проводил.

Он в субботу, в день Кейвана, в черный шел дворец,
Как ему по гороскопу предсказал мудрец.

В воскресенье - желтый замок посещал Бахрам,
И по очереди в каждом пировал Бахрам.

И в каком дворце за чашей ни садился он,
В цвет дворца и цвет планеты был он облачен.

И полна очарованья, блеска и ума,
Госпожа дворца садилась близ него сама.

Каждая хотела сердце шахское пленить,
Привязать его, халвою шаха накормить.

И они ему, за пиром тайным без гостей,
Рассказали семь волшебных старых повестей.

Хоть воздвиг Бахрам когда-то дивных семь дворцов,
Но не спасся все ж от смерти он в конце концов.

Низами! От сада жизни отведи свой взгляд!
В нем шипами стали розы, и шипы язвят.

Вспомни: в ад поверг Бахрама рай его страстей
В этом царстве двух обманных, мимолетных дней.

ИНДИЙСКАЯ ЦАРЕВНА

ПОВЕСТЬ ПЕРВАЯ

Суббота

Образы семи красавиц сердцем возлюбил,
Шах Бахрам в неволю страсти отдал сам себя.

В башню черную, как мускус, в день субботний он
Устремил стопы к индийской пери на поклон.

И в покое благовонном до ночной поры
Предавался он утехам сладостной игры.

А когда на лучезарный белый шелк дневной
Ночь разбрызгала по-царски мускус черный свой,

Шах у той весны Кашмира сказки попросил -
Ароматной, словно ветер/, что им приносил

Пыль росы и сладкий запах от ночных садов, -
Попросил связать преданье из цветущих слов,

Из чудесных приключений, что уста слюной
Наполняют, приклоняют к ложу головой.

Вот на мускусном мешочке узел распустила

Та газель с глазами серны и заговорила:

"Пусть литавры шаха будут в небесах слышны

Выше четырех подпорок золотой луны!

И пока сияет небо, пусть мой шах живет.

Пусть к его ногам покорно каждый припадет.

Пусть не будет праздно счастье шахское сидеть,

Пусть он все возьмет, чем хочет в мире овладеть!"

Восхваленье кончив, пери - роз кашмирских куст -

Начала бальзам алоэ источать из уст.

Рассказала, взор потупя в землю от стыда,

То, о чем никто не слышал в мире никогда.

СКАЗКА

"Мне поведал это родич царственный один,

Величавый старец, в снежной белизне седин:

"Некогда сияла в сонме райского дворца

Гурия с печальным складом нежного лица.

Каждый месяц приходила в замок наш она,
И была ее одежда каждый раз черна.

Мы ее расспрашивали: "Почему, скажи,
В черном ты всегда приходишь? Молвим: удружи

И открой, о чем горюешь, слиток серебра?
Черноту твоей печали выбелить пора!

Ты ведь к нам благоволеньем истинным полна;
Молви, почему ты в черном? Почему грустна?"

От расспросов наших долгих получился толк.
Вот что гостья рассказала: "Этот черный шелк

Смысл таит, имеет повесть чудную свою,
Вы узнать ее хотите? Что ж, не утаю,

А от вас расспросов многих я сама ждала...,
Я невольницею царской некогда была.

Этот царь был многовластен, справедлив, умен;
В памяти моей живет он - хоть и умер он.

Скорби многие при жизни он преодолел
И одежду в знак печали черную надел.

"Падишах в одежде черной" - в жизни наречен,
Волей вечных звезд на горе был он обречен.

Весел в юности - печальным стал он под конец.
Смолоду он наряжался в золото, в багрец;

И за ласку и радушье всюду восхвален,
Людям утреннею розой улыбался он.

Замок царский подымался до Плеяд челом.
Это был гостеприимный, всем открытый дом.

Стол всегда готов для пира - постланы ковры.
Гостю поздней или ранней не было поры.

Знатен гость или не знатен, беден иль богат -
Всех равно в покоях царских щедро угостят.

Царь расспрашивал пришельца о его путях,
Где бывал и что изведал он в чужих краях.

Гость рассказывал. И слушал царь его рассказ,

До восхода солнца часто не смыкая глаз.

Так спокойно, год за годом мирно протекал.

От закона гостелюбья царь не отступал.

Но однажды повелитель, как Симург, пропал.

Время шло. Никто о шахе ничего не знал.

Горевали мы; в печали влекся день за днем,

Вести, как о птице Анка, не было о нем.

Но внезапно нам судьбою царь был возвращен;

Словно и не отлучался, снова сел на трои.

Молчалив он был и в черном - с головы до пят.

Были черными - рубаха, шапка и халат.

После этого он правил многие года,

Только в черное зачем-то облачен всегда,

Без несчастья - одеяньем скорби омрачен,

Как вода живая, в вечном мраке заключен.

С ним была я, и светили мне его лучи...

И однажды - с глазу на глаз - горестно в ночи

Он мне голосом печальным жаловаться стал:

"Посмотри, как свод небесный на меня напал,

Из страны Ипема силой он меня увлек

И навеки в этот черный погрузил поток.

И никто меня не спросит: "Царь мой, где ты был?"

Почему седины черной ты чалмой покрыл?"

И, ответ обдумывая и словам его

Молча внемля, прижималась я к ногам его.

Молвила: "О покровитель вдов и горемык...

О властитель справедливый, лучший из владык!

Искушать тебя - что небо топором рубить, -

Кто дерзнет? Один ты волен тайное открыть".

Что достойна я доверья, понял властелин -

Мускусный открыл мешочек, просверлил рубин

И сказал: "Когда я в мире сделался царем,

Возлюбил гостеприимство, всем открыл свой дом.

И у всех, кого я видел, - добрых и дурных, -
Спрашивал о приключеньях, что постигли их.

И пришел однажды ночью некий гость в мой дом,
Были плащ, чалма и туфли - черные на нем.

По обычаю, велел я угостить его.
Угостивши, захотел я расспросить его.

Начал: "Мне, не знающему повести твоей,
Молви, - почему ты в платье - полночи темней?"

Он ответил мне: "Об этом спрашивать забудь.
Никогда к гнезду Симурга не отыщешь путь".

Я сказал: "Не уклоняйся, друг, поведай мне,
Что за чудеса ты видел и в какой стране?"

Отвечал мой гость: "Ты должен, царь, меня простить,
Мне ответа рокового в слово не вместить.

Не поймут, не разгадают люди тайны той,
Кроме смертных, облаченных вечной чернотой".

Умолял его я долго правду рассказать,

Моего томленья, видно, он не мог понять.

Всем мольбам моим как будто он и не внимал.

Преодо мной завесы тайны он не подымал.

Но, увидев, как встревожен я, как угнетен,

Своего молчанья словно устыдился он.

Вот что он поведал: "Город есть в горах Китая.

Красотой, благоустройством - он подобье рая,

А зовется "Град Смятенных" и "Скорбен Обитель".

В нем лишь черные одежды носит каждый житель.

Люди там красивы; каждый ликом, что луна,

Но, как ночь без звезд, одежда каждого черна.

Всякого, кто выпьет в этом городе вина,

В черное навек оденет чуждая страна.

Что же значит одеяний погребальный цвет, -

Не расскажешь, но чудесней дел на свете нет.

И хотя бы ты велел мне голову снести,

Больше не могу ни слова я произнести".

Молвил это и пожитки на осла взвалил,

Двери моего желанья наглухо закрыл.

Был мой дух его рассказом странным омрачен.

Я вернуть велел пришельца. Но уж скрылся он.

Свет погас. Рассказ прервался. Наступила тьма...

Стало страшно мне. Боялся я сойти с ума.

Продолжение рассказа начал я искать,

Пешку мысли так и этак начал подвигать.

Но, чтоб стать ферзем, у пешки не нашлось дорог,

Я взобраться по канату на стену не мог.

Обмануть себя терпеньем я хотел тогда.

Ум еще терпел, а сердцу горшая беда.

Проходила предо мною странников чреда.

Всех я спрашивал. Никто мне не открыл следа...

И решил я бросить царство, - хоть бы навсегда!

Родичу вручил кормило власти и суда,

Взял запас одежд и денег я в своей казне,
Чтоб нужда в пути далеком не мешала мне.

И пришел в Китай. И многих встречных вопрошал
О дороге - и увидел то, чего искал.

Город, убранный садами, как Ирема дом.
Носит черные одежды каждый житель в нем.

Молока белее тело каждого из них.
Но как бы смола одела каждого из них.

Дом я снял, расположился отдохнуть с пути
И присматривался к людям целый год почти.

Но не встретил я доверья доброго ни в ком,
Губы горожан как будто были под замком.

Наконец сошелся с неким мужем-мясником.
Был он скромн, благороден и красив лицом.

Чистый помыслами, добрый, смладу он привык
От хулы и злого слова сдерживать язык.

Дружбы с ним ища, за ним я следовал, как тень.

И встречаться с новым другом стал я каждый день.

А как с ним сумел я узы дружбы завязать,

Я решил обманом тайну у него узнать.

Часто я ему подарки ценные дарил,

Языком монет о дружбе звонко говорил.

С каждым днем число подарков щедро умножал,

Золотом - весов железных чаши нагружал,

День за днем свои богатства другу отдавал,

Исподволь и осторожно им завладевал.

И мясник, под непрерывным золотым дождем,

Стал к закланию готовым жертвенным тельцом.

Так подарками моими был он отягчен,

Что под грузом их душою истомился он.

Наконец меня однажды он в свой дом привел.

Был там сказочно богатый приготовлен стол.

Всех даров земных была там - скажешь - благодать.

Хорошо умел хозяин гостю угождать.

А когда мы, пир окончив, речи повели, -
Множество подарков ценных слуги принесли.

Счесть нельзя богатств, какие мне он расточил.
Все мои - к своим подаркам присоединил.

Отдав мне дары с поклоном, сел и так сказал:
"Столько, сколько ты сокровищ мне передавал,

Ни одна сокровищница в мире не вмещала!
Я доволен и своею прибылью немалой.

Друг, зачем же нужно было столько мне дарить?
Чем могу за несказанный дар я отплатить?

Стану, как ты пожелаешь, я тебе служить.
Жизнь одна во мне, но если смог бы положить

Десять жизней я на чашу тяжкую весов, -
Я не смог бы перевесить данных мне даров!"

"Разве душу перевесит этот жалкий хлам?" -
Молвил я и сделал бровью знак моим рабам,

Чтоб они в мое жилище быстро побежали,
Чтоб еще в подвале тайном золота достали.

Золотых монет, в которых чистый был металл,
Дал ему я много больше, чем дотоль давал.

Он же, не угадывая, что хитрю я с ним,
Мне сказал смущенно: "Был я должником твоим, -

Отдарить тебя, я думал, мне пришла пора...
Ну - а ты в ответ все больше даришь мне добра...

Устыжен я. И не знаю, как теперь мне быть.

Не затем, чтобы обратно в дом твой воротить,

Все твои дары сегодня я тебе поднес,
А затем, что в нашем скромном доме не нашлось

Ничего, чем за щедроты мог бы я воздать.
Но к богатству ты богатство даришь мне опять.

Слушай же - отныне буду я твоим рабом,
Иль свои дары обратно унеси в свой дом".

И когда я убедился в дружбе мясника,
Увидал, что бескорыстна дружба и крепка, -

Я ему свою поведал горестную повесть,
Ничего не скрыв, поведал, как велела совесть.

Рассказал ему, что бросил трон и царство я
И тайком ушел в чужие дальние края,

Чтоб узнать, зачем в богатом городе таком
С радостями ни единый житель не знаком.

Почему, не зная горя, горю преданы
Горожане здесь - и черным все облачены...

А когда мясник почтенный выслушал меня,
Стал овцой. Овцой от волка, волком от огня -

Он шарахнулся, и, словно сердце потерял,
Словно чем-то пораженный, долго он молчал.

И промолвил: "Не о добром ты спросил сейчас.
Но ответ на все должник твой нынче ж ночью даст".

Только амброй оросилась к ночи камфара

И к покою обратились люди до утра,

Мой хозяин молвил: "Встанем, милый гость, пора,

Чтоб увидеть все, что видеть ты хотел вчера.

Встань! Неволей в этот день я послужу тебе,

Небывалое виденье покажу тебе!"

Молвил так, со мною вышел из дому мясник,

Вел меня среди сонных улиц, словно проводник.

Шел он, я же - чужестранец - позади него.

Двое было нас. Из смертных с нами - никого.

Вел меня он, как безмолвный некий властелин.

За город привел в пределы сумрачных руин.

Ввел в пролом меня, где тени, как смола, черны,

Словно пери, скрылись оба мы в тени стены.

Там увидел я корзину. И привязан был

К ней канат. Мясник корзину эту притащил

И сказал: "На миг единый сядь в нее смелей,

Между небом и землею будешь поднят в ней.

Сам узнаешь и увидишь: почему, в молчанье

Погруженные, мы носим ночи одеянья.

Несказанная корзине этой власть дана,

Сокровенное откроет лишь она одна".

Веря: искренностью дружбы речь его полна,

Сел в корзину я. О - чудо! Чуть ногами дна

Я коснулся - слоено птица поднялась она,

Понеслась корзина, словно вихрем взметена,

И в вертящееся небо повлекла меня.

Чары обвили корзину поясом огня.

До луны вздымавшаяся башня там была.

Сила чар меня на кровлю башни подняла.

В узел, черною змеею, свился мой канат.

Брошен другом, там стоял я, ужасом объят.

Я стонал, об избавленье господя моля.

Сверху небо - и во мраке подо мной земля.

Высоко на кровле башни, в страхе чуть дыша,
Я сидел. От этой казни в пуп ушла душа.

Было страшно мне на небо близкое взглянуть,
А глядеть на землю с неба как я мог дерзнуть?

И от ужаса невольно я глаза закрыл,
И покорно темным силам жизнь свою вручил,

И раскаивался горько я в своей вине.
Горевал я об отцовском доме и родне...

Не было от покаянья радостнее мне.
Полный горьких сожалений, я горел в огне.

Надо мною проплывало время, как во сне,
Вдруг примчалась птица с неба, села на стене,

Где один я плакал в горе. Села, как гора,
Велика, страшна, громадна, - черного пера.

Хвост и крылья, как чинары - густы и тенисты.
Лапы, как стволы деревьев, толсты и когтисты.

Как колонна Бисутуна - клюв ее велик,

Как дракон в пещере - в клюве выгнулся язык.

И чесалась эта птица, перья отряхала,
Расправляла хвост и шумно крыльями махала,

И когда она подкрылье черное чесала, -
Раковину с перлом алым на землю бросала,

Пыли мускусной вздымала облако до звезд
Каждый раз, как расправляла крылья или хвост.

Вскоре птица погрузилась надо мною в сон,
И в ее пуху дремучем был я схоронен.

Думал: "Коль за птичью ногу крепко ухвачусь,
С помощью ужасной птицы наземь я спущусь,

Пусть внизу беду любую для себя найду...
Силой же своей отсюда вовсе не сойду.

Злобный человек со мною подло поступил,
Предал мукам, клятву дружбы низко преступил.

Или он моим богатством завладеть желал -
И затем меня на гибель верную послал?.."

Так томился я, покамест не зардела высь.

Смутно голоса земные снизу донеслись.

Сердце птицы застучало бурно надо мной.

Птица крыльями всплескала бурно надо мной.

Крылья шире корабельных поднятых ветрил.

Встал я, лапу страшной птицы крепко обхватил,

А она поджала лапы, крылья развела

И, как буря, сына праха к солнцу понесла.

И меня с утра до полдня птица та носила.

Солнце гневно жгло. От зноя я лишился силы.

Вдруг - увидел: небо стало надо мной вращаться;

То - огромными кругами начала спускаться

Птица на землю. Земная тень ее влекла:

И когда копыя не выше высота была,

Возблагодарил я птицу: "Ну, спасибо, друг" -

И ее кривую лапу выпустил из рук.

Словно молния, упал я на цветущий луг, -
Весь в росе благоуханной он блестел вокруг.

Добрый час, смежив зеницы, я в траве лежал.
Где я, что со мною дальше будет, я не знал.

В сердце у меня тревога улеглась не вдруг.
Наконец открыл я веки, поглядел вокруг.

Бирюзы небес лазурней почва там была.
Пыль земная на густую зелень не легла.

Сотня тысяч разнообразных там цветов цвела.
Зелень листьев бодрствовала, а вода слала.

Тысячами ярких красок взоры луг пленял.
Ветер, полный благовоний, чувства опьянял.

Гиацинт петлей аркана брал гвоздику в плен.
Юной розы рот багряный прикусил ясен.

И язык у аргавана отняла земля,
Амброю благоуханной там была земля.

Был там золотом песок, камни - бирюзой,

В ложе яшмовом поток - розовой водой.

У его кристально-светлых и холодных вод
Блеск и цвет, как подаянье, кланчил небосвод

Как во ртути, в струях рыбы ярче серебра,
Берега, как два огромных сказочных ковра.

Изумрудные предгорья в полукруг сошлись.
Лес в предгорьях - дуб индийский, кедр и кипарис.

Там утесы были чистым яхонтом, опалом.
Дерева горели цветом золотым и алым.

Сквозь кустарники алоэ, смешанных с сандалом,
Ветер веял по долине и окрестным скалам.

Верно- сонм небесных гурий создавал ее
И от засухи и бури укрывал ее.

Небосвод "сапфирной чашей" называл ее.
А Ирем "усладой нашей" называл ее.

Ничего нигде я краше в мире не видал.
Ликовал я и дивился, словно клад считая.

Вдоль и вширь прошел долину, все я оглядел.

И хвалу творцу над нею, радостный, пропел.

Чащей шел и, чуя голод, рвал плоды и ел.

Отдохнуть под кипарисом свежим захотел.

Лег, уснул, тревог не зная и докучных дел,

Небеса благословляя за такой удел.

Только полночь погрузила землю в синь и тьму

И, убрав багрец, на тучи нанесла сурьму,

Мне в лицо пахнул отрадно с горной вышины

Легковейный и прохладный ветерок весны.

Пронеслась гроза, апрельской свежестью полна,

Быстрым дождиком долину взбрызнула она.

Напоился дол широкий свежестью ночной

И наполнился красавиц молодых толпой,

Прелестью была любая гурии равна,

Шли они передо мною, как виденья сна.

Будто чудом породила ночи глубина
Мир красавиц светозарных, свежих, как весна,

Мир пьяней и чародейней рдяного вина.
Тела белизна у каждой хной отненена,

Уст рубин алей тюльпана, - кровь не так красна
Выкуп, взятый с Хузиетана, тем устам цена.

Золотых запястий змеи на руках у них.
Перлы звучные на шее и в серьгах у них.

А в руках красавиц свечи яркие горят;
Хоть нагара не снимают, - свечи не коптят.

Стана гибкостью любая в плен брала мой взгляд,
Обещая и скрывая тысячи услад.

И ковер и трон, звездою блещущий вдали,
Эти гурии-кумиры на плечах несли..

На траву ковер постлали, водрузили трон.
Ждал я, что же будет дале, - словно видел сон.

Только время миновало малое с тех пор,

Нечто ярко засияло, ослепляя взор.

Будто бы луна спустилась наземь с высоты,
Легким шагом приминая травы и цветы.

То владычица красавиц - не луна была.

Эти пери лугом были, а она была

Кипарисом среди луга, и над их толпой,
Словно роза, возвышалась гордой головой.

Вот воссела, как невеста, госпожа на трон,
Спал весь мир, а только села - мир был пробужден.

Еле складки покрывала совлекла с лица -
Некий падишах, казалось, вышел из дворца,

Белое румийцев войско впереди него,
Черное индийцев войско позади него.

А когда одно мгновение, два ли, миновало,
Девушке, вблизи стоявшей, госпожа сказала:

"Я присутствие чужое ощущаю здесь.

Чую - существо земное между нами есть.

Встань скорее и долину нашу обойди
И, кого ни повстречаешь, - всех ко мне веди".

Та, рожденная от пери, мигом поднялась,
Словно пери над долиной темной понеслась.

Изумись, остановилась, лишь меня нашла,
За руку меня с улыбкой ласково взяла

И сказала: "Встань скорее, полетим, как дым!"
Ждал я этих слов, ни слова не прибавил к ним.

Как ворона за павлином, я за ней летел,
Перед троном на колени встать я захотел.

Стал я в самом нижнем круге средь подруг ее
Молвила она: "Ты место занял не свое.

Не к лицу тебе, я вижу, выглядеть рабом;
Место гостя - не в скорлупке, а в зерне самом.

Подымись на возвышенья, рядом сядь со мной
Ведь приятно и Плеядам плыть перед луной".

Я ответил: "О царица из страны зари,
Своему рабу подобных притч не говори!"

Трон Балкис ему не место, это знает он.
Только Сулейман достоин занимать твой трон",

Молвила: "Здесь ты хозяин. Подойди и сядь.
Станешь ты у нас отныне всем повелевать.

Буду властна над тобою только я одна.
Сокровенное открою только я одна.

Ты мой гость, а мой обычай - почитать гостей"
Понял я, что мне осталось покориться ей,

Чувствовал, что я лишаюсь воли... И на трон
За руку служанкой юной был я возведен.

И с прекрасной девой рядом на престоле том,
Речью ласковой утешен, сел я. А потом

Стол для пира повелела госпожа принести.
Принесли нам стол служанки, - яств на нем не счесть.

Чаши были - цельный яхонт, стол же - бирюза.

Вызывал он вожделенье, радовал глаза.

А когда я сладкой пищей голод утолил
И напитком благовонным сердца жар залил, --

Появились музыканты, кравчие ушли.

И неведомое бедным жителям земли

Счастье, думал я, доступно, близко стало мне...

Нежно песня дев хвалою зазвучала мне.

Струны руда зазвенели, бубен забряцал.

Вихрь веселой многоцветной пляски засверкал.

Не касаясь луга, неся легкий круг подруг.

Будто ввысь их поднимали крылья быстрых рук.

А потом - поодаль сели девы пировать.

Кравчие не успевали чаши наполнять.

От вина и сильной страсти обезумел я.

Мне казалось - закипала в жилах кровь моя.

К госпоже сахарноустой руки я простер,

И у ней живым согласьем засветился взор.

Подкосила ноги эта дивная краса.

Я упал к ногам желанной, как ее коса.

Начал я у девы милой ноги целовать,

Возразит - я с большей силой стану целовать.

Уж надежды птица пела мне из тьмы ветвей,

Если б двести душ имел я, - все бы отдал ей.

"О скажи, услада сердца, - я молил ее, -

Кто ты, сладостная? Имя назови свое!"

"Я тюрчанка с нежным телом, - молвила она, -

Нежною Тюркназ за это в мире названа".

Молвил я: "Как дивно сходны наши имена!..

Звуком имени со мною ты породнена.

Ты - Тюркназ, что значит - Нежность. Я -

Набег - Тюрктаз.

Я молю тебя: немедля нападем сейчас

На несметных дивов горя - их огнем сождем,

Утолим сердец томленья колдовским вином!

Все забудем... Обратимся к радости любви...

И душою погрузимся в радости любви!"

Я прочел в ее улыбке и в игре очей:

"Видишь - счастье судьбою занялось твоей!..

Видишь, час благоприятен... Нет вокруг людей...

Снисходительна подруга- так целуй смелей!"

Предо мною дверь лобзаний дева отперла -

Тысячу мне поцелуев огненных дала.

Вспыхнул я от поцелуев, словно от вина.

Шум моей кипящей крови слышала луна.

"Нынче - только поцелуй, - молвила она, -

Взявши в руку эту чашу, пей не вдруг до дна.

И пока еще ты можешь сдерживать желанье -

Кудри гладь, кусай мне губы, похищай лобзанье.

Но когда твой ум затмится страстью до того,

Что узды уже не будет слушать естество, -

Из толпы прислужниц, - в коей каждая девица,
Словно над любовной ночью вставшая денница, -

Ты какую бы ни выбрал, я освобожу,
И служить твоим желаньям я ей прикажу,

Чтоб она в укромном месте другу моему
Предалась, была невестой и слугой ему,

Чтобы притушила ярость твоего огня,
Но - чтобы в ручье осталась влага для меня.

Каждый вечер, только с неба сгонит мрак зарю,
Я тебе один из этих перлов подарю".

Молвив так, толпу прислужниц взором обвела.
Ту, которую для ласки годною сочла,

Мановеньем чуть заметным к трону позвала
И ее, с улыбкой нежной, мне передала.

И луна, подаренная мне, меня взяла
За руку и в сумрачную чашу увела.

Был пленен я родинкою, стал рабом кудрей.

Под навесом листьев шел я, как во сне, за ней.

И меня в шатер укромный привела она.

Я поладил с ней, как с нижней верхняя струна.

Там постель была роскошно раньше постлана,

Легким шелком и коврами ярко убрана.

И затылками подушки ложа смяли мы.

Целовались и друг друга обнимали мы.

Отыскал я роз охапку между ивняков.

Потонул в охапке белых, алых лепестков.

Перл бесценный, сокровенный в раковине был,

Снял с жемчужницы печать я, створки отворил.

Я ласкал свою подругу до дневной поры,

В ложе, амброю дышавшем, полном камфары.

Встал я из ее объятий при сиянье дня.

Приготовила проворно дева для меня

Водоем златой, сиявший яхонтовым дном.

И водой благоуханной я омылся в нем.

Знойный полдень был, когда я вышел из шатра.

Гурии, что пировали на лугу вчера,

Все исчезли. Я остался там у родника

Одинокий - наподобье желтого цветка,

Утомленный и с похмельем тяжким в голове,

Влажным лбом своим склонился я к сухой траве.

От полудня до заката продремал я там.

Счастье бодрствует, покамест спит счастливец сам.

Только мускусный мешочек ночь-газель раскрыла

И на небо мускус черный с амброй положила,

Из носилок сна я поднял голову тогда.

Встал я, как побег кленовый, где журчит вода.

Как минувшей ночью, туча с ветром пронеслась,

И жемчужным над долиной ливнем пролилась.

Ветер подметал долину, ливень поливал.

Ветер сеял розы, ливень лилии сажал.

А когда в долине встала амбровая мгла,
Розовая - в сто потоков - влага потекла.

Это вновь минувшей ночи гурии пришли,
Трон с покровом драгоценным снова принесли

На лугу опять поставлен трон был золотой,
Занавешенный шелками, дорогой парчой.

Вновь пошел у них веселый, беззаботный пир.
Смехом, пеньем и волненьем был разбужен мир

Встали девушки в сиянье факелов ночных.
Села грабящая сердце госпожа среди них.

Девушкам она велела, чтоб меня нашли,
Чтобы снова к ней с почетом гостя привели.

Я на зов пришел охотно. И на трон меня
По обычаю бывшего усадили дня.

Бирюзовый стол для пира принесли они,
Яства подали и вина и зажгли огни.

Был утишен голод, жажда мной утолена,

Сладко, стройно сговорилась со струной струна.

Голову вино вскружило, жилы обожгло.

И опять вино с любовью дружбу завело.

И моя Тюркназ явила милость мне опять,

Своего раба решила снова обласкать.

И дала она подругам знак движеньем глаз,

Чтоб они ушли, оставив с глазу на глаз нас.

Тут огонь любви из сердца бросился мне в мозг.

Сразу мозг мой растопился, словно мягкий воск.

В нетерпенье я рукою стан ее обвил,

Деву взял на грудь к себе я и себя забыл.

Но владычица сказала мне, как и вчера:

"Эта ночь - не мне с тобою. Нынче - не пора.

Если можешь быть доволен леденцами ты, -

В эту ночь со мной сливайся лишь устами ты.

Знай: кто требует немного - много тот возьмет.

А страстей своих невольник - в нищету впадет".

Я воскликнул: "Пусть же средство госпожа найдет,

Ибо скрыт я с головою глубиною вод.

Как смола, черны и цепки змеи кос твоих,

Я же стал умалишенным, я достоин их.

Посади меня ты на цепь, чтоб не бушевал,

Чтоб невольник исступленный путы не порвал.

Видишь: ночь проходит, брезжит за горой заря,

Я конца речам не вижу, ночь проговори!

Иль убей меня... Не жаль мне жизни для тебя,

Вот мой меч, под ним склоняю голову, любя.

Нет, я знаю: от рожденья ты мне не чужда,

Если ты ручей гремучий, я - в ручье вода.

Жажду я; не дашь мне влаги - я тогда умру.

Станет жизнь моя летучим прахом на ветру.

Помоги... я погибаю... О, спаси меня!

Воду я искал, а воды унесли меня.

Мукой долгих ожиданий не томи меня,
Хоть глотком блаженной влаги напои меня!

Пусть игла скорей вонзится в шелковые ткани,
Иль золы горячей брошу я в глаза желаний...

Не упал еще осел мой, цел бурдюк на нем.
Птица в ночь на ветку села, но умчится днем".

"Нынче будь покорен! - дева отвечала мне. -
Пусть Шабдизова подкова полежит в огне.

Если к цели вожденной нынче не придешь,
Яркий свет свечи бессмертья завтра обретешь,

Так не продавай за каплю весь источник вод.
Все, что нынче яд, то завтра превратится в мед

Нынче ты свои желанья на замок замкни,
И за это счастлив будешь в будущие дни.

Ты целуй меня сегодня, локоны мне гладь,
В нарды же с моей рабою будешь ты играть.

Сад есть у тебя - зачем же сада избегать?

Птица есть - зачем же птичье молоко искать?

И хоть я тебя покину скоро, - знай - я тоже
И сама тебе достанусь, но достанусь позже.

Если в сеть поймашь рыбу в глубине пруда,
То луну поймать рукою можно не всегда".

Как увидел я, что медлит в той игре она,
Осторожен стал, сговорчив; чашами вина

Стал перемежать лобзанья, и, смирясь в беде,
Пост блюсти решил я, жарясь на сковороде.

Но от огненных лобзаний и огня вина
Стала вновь душа Меджнуна пламенем полна.

И опять моя тюрчанка, в сердце у меня
Увидавши исступленье ярого огня,

Из своих прислужниц юных мне одну дала,
Чтоб опять ее служанка жар мой уняла.

Я в шатер пошел с другою девой, как вчера,
И опять гасил желанья сердца до утра.

На коврах водил до света с пери хоровод,

А когда одежды неба выстирал восход

И разбила ночь-красильщик с краскою кувшин,

Очутился я сидящим на лугу - один;

И в груди моей желанье было лишь одно:

Чтобы ночь пришла скорее, чтобы пить вино

Мне с кумирами Китая, пери обнимать,

И ласкающую сердце - к сердцу прижимать.

Ночь вернулась с полной чашею услад.

Снова трон мой был превыше блещущих пляд...

Так за ночью ночь летели, полные весельем,

Пеньем, хмелем поцелуев, сладостным похмельем.

С вечера - огни и песни, радости вина,

А к рассвету - гостю в жены гурия дана.

Днем мне свежий сад - жилище, а ночной порой -

Рай, где мускусная почва, дом же - золотой.

В нем, как царь страны блаженства, я владел луной.

Все, чего хотел, являлось мигом предо мной.

Ну а я - неблагодарный - хмурился, вздыхал

И, блаженством обладая, большего искал.

Время шло... И вот тридцатый вечер настает,

Кроя мускусною тенью синий небосвод.

Амброю - кудрявый облак - вея в вышину,

За косы к себе с любовью притянул луну.

И гроза с благоуханным ветром пронеслась.

Освежающим в долину ливнем пролилась.

Шум раздался, звон запястий, слышный до небес.

Факелами озарился дол и влажный лес.

Вновь поставили рабыни трон на свежий луг,

И певицы и плясуньи трон обстали вокруг.

Солнцеликая явилась между них луна,

Мускусом кудрей прикрыла грудь свою она.

И свирели зазвенели, зазвучал напев.

Рдяное вино разлили руки кравчих-дев.

И царица гурий свите молвила своей:

"Разыщите, приведите друга поскорей..."

У ручья меня служанки на лугу нашли

И меня к своей царице снова привели.

Поклонился ей и сел я справа от нее,

Ожило во мне желанье прежнее мое.

С опьянением вспыхнул в сердце и любовный пыл

Я рукою черный локон, как канат, схватил.

Дивы похоти с каната снова сорвались,

Бесноватого канатом связывать взялись,

В паутине кос тяжелых мухой я застрял,

В эту ночь канатоходцем я невольно стал.

Бесновался, как осел я, видящий ячмень,

Или словно одержимый в новолунья день.

И, как вор сребролюбивый пред чужим добром,

Весь дрожа, я потянулся вновь за серебром.

Обнял стан ее. Ослаб я. Так мне тяжело было.

Руку на руку тогда мне дева положила.

Руку эта зависть гурий мне поцеловала,

Чтоб убрал от клада руку я. И так сказала:

"Не тянись к запретной двери, ибо коротка,

Чтоб ее достигнуть, даже длинная рука.

Вход в рудник закрыт печатью, и печать крепка,

И нельзя сорвать печати с двери рудника.

Пальмою ты обладаешь - так терпи, крепись,

Фиников незрелых с пальмы рвать не торопись.

Пей вино и знай: жаркое скоро вслед придет.

На зарю гляди, за нею солнца свет придет".

Я ответил ей: "О солнце сада моего,

Свет очей моих, услада взгляда моего!

Словно роза вертограда - щек твоих заря,

Я умру с тобою рядом, пламенем горя.

Жаждающему показала чистый ты ручей,
А потом ему сказала: "Рот замкни, не пей".

Жизнь моя тобою снова брошена в огонь.
Вновь заветная подкова брошена в огонь.

Как луны набег свирепый отразить могу?
Как пылинкой малой солнце я закрыть могу?

Отведу ли руку - если ты в моих руках?
И пойду ль на муку - если ты в моих руках?

У меня душа, ты видишь, подошла к губам,
Жарче поцелуй!.. Не надо слов холодных нам.

Как мне быть, коль вьюк с верблюда моего упал?
Помоги, избавь от муки, ибо час настал.

Скоро волк свирепых высей - хищный небосвод -
И по-волчьи и по-лисьи нападать начнет.

Словно лев голодный, прянет прямо на меня.
И повергнет ниц, как пардус пламенный, меня.

Если дверь не отопрешь мне нынче, знай, к утру

От томления и муки жгучей я умру.

Как цари и падишахи к гостю снизошли б,
Снизойди к моим молениям, ибо я погиб!..

Изнемог я... И терпенья у меня не стало!"
"Руку удержи... Все будет... - госпожа сказала,-

Увенчать твое желанье - в том моя судьба.
Ибо ты - мой повелитель, я - твоя раба.

Бедный дар такому гостю будет ли хорош?
Все же - то, что ищешь ныне, позже обретешь.

У меня бери сегодня все, что сердцу любо:
Щеки, грудь я губы, - кроме одного, что грубо.

Кроме перла одного лишь - всей моей владей
Кладовой. И помни: ждет нас тысяча ночей,

Полных счастья. Но коль сердце пышет от вина,
Дам тебе служанку, словно полная луна,

Но чтоб нынче ты подол мой выпустил из рук".
Я, не разумея смысла, слышал только звук

Сладкой речи. Сам себе я говорил: "Не тронь!"

Но железо было остро я горяч огонь.

Молвил я: "Ты, струны тронув, их лишила лада,

Тысячи погибли с горя, не нашедши клада.

Но когда ногой наткнулся я на самый клад,

Удержу ли руку, видя даже сто преград?

Как свечу на этом троне, ты зажги меня,

Или четырьмя гвоздями пригвозди меня.

Или на ковре услады предо мной пляши,

Иль на кожаной подстилке головы лиши.

Ты моя душа и сердце, зренья и сознание,

Без тебя мрачнее смерти мне существование.

Коль желаемого мною нынче я добьюсь,

Даром получу, - хоть жизнью даже расплачусь.

Ты зажги меня сегодня ночью, как свечу.

В горе я. И, лишь сгорая, горе излечу.

Слышишь? Кровь во мне бушует...

Так поторопись С казнью, чтоб палач скорее оборвал мне жизнь!"

Тут - как мне кипенье крови и безумья пыл

Повелели - на цветок я натиск совершил.

Страсть мою, что пламенела, не утолена,

Страсть мою меня молила удержать она.

И она клялась мне: "Это будет все твое.

Завтра ночью ты желанье утолишь свое.

Потерпи одни лишь сутки. Завтра, - говорю, -

Дверь к сокровищу сама я завтра отворю.

Ночь одну лишь дай мне сроку! Быстро ночь пройдет.

Ведь одна лишь ночь - подумай: только ночь, не год!"

Так она мне говорила. Я же, как слепой

Иль как бешеный, вцепился в пояс ей рукой,

И во мне от просьб желанной девы возросло

Во сто раз желаний пламя. До того дошло,

Что рванул я и ослабил пояс у нее.

А царица, нетерпенье увидав мое,

Мне сказала: "На мгновенье ты глаза закрой.

Отомкну сейчас сама я двери кладовой.

Отомкнув перед тобою дверь, скажу: "Открой..."

И тогда, что пожелаешь, делай ты со мной!"

Я на сладкую уловку эту пойман был,

Выпустил из рук царицу и глаза прикрыл.

И - доверчиво - ей сроку дал я миг, другой.

И когда услышал слово тихое: "Открой..." -

Я, с надеждою на деву бросив быстрый взгляд,

Увидал: пустырь, корзину и над ней канат.

Ни подруги близ, ни друга не увидел я.

Вздых горячий да холодный ветер - мне друзья.

Как отставшая от солнца тень в закатный час, -

Тень-Тюркназ отстал от солнца своего - Тюркназ..

А перед моей корзиной друг мясник предстал.

Заклучил меня в объятья, извиняться стал.

"Если бы сто лет твердил я, - мне мясник сказал, - Т
Я бы не поверил, если б сам не испытал.

Тайное ты нынче видел, - что нельзя узнать
Иначе. Кому ж об этом можно рассказать?"

И, палимый сожаленьем горьким, я вскипел,
В знак тоски и утеснения черное надел.

Я сказал: "О угнетенный горем, как и я,
Бедный друг мой! Мне по нраву стала мысль твоя, -

Пребывающим в печали черной и в молчанье -
Черное лишь подобает это одеянье".

Шелк на голову набросив черный, словно ночь,
Я из града вечной скорби ночью вышел прочь.

С черным сердцем появился я в родном дому.
Царь я - в черном. Тучей черной плачу потому!

И скорблю, что из-за грубой похоти навек
Потерял я все, чем смутно грезит человек!"

И когда мой шах мне повесть эту рассказал, -

Я - его раба - избрала то, что он избрал.

В мрак ушла я с Искендером за живой водой!..

Ярче месяц - осененный неба чернотой.

И над царским тронем черный должен быть покров.

Черный цвет прекрасен. Это лучший из цветов.

Рыбья кость бела, но скрыта. Спины рыб черны.

Кудри черные и брови юности даны.

Чернотой прекрасны очи и осветлены.

Мускус - чем черней, тем большей стоит он цены.

Коль шелка небесной ночи не были б черны, -

Их бы разве постилали в колыбель луны?

Каждый из семи престолов свой имеет цвет,

Но средь них сильнейший - черный. Выше цвета нет".

Так индийская царевна в предрассветный час

Пред царем Бахрамом дивный кончила рассказ.

Похвалил красу Кашмира шах за сказку-диво,

Обнял стан ее и рядом с ней заснул счастливый

ТУРКЕСТАНСКАЯ ЦАРЕВНА

ПОВЕСТЬ ВТОРАЯ

Воскресенье

В час, когда нагорий ворот и пола степей

Позлатились ярким блеском солнечных лучей,

В воскресенье, словно солнце поутру, Бахрам

В золотое одеянье облачился сам.

И подобен солнцу утра красотой лица,

Он вошел под свод высокий желтого дворца.

Сердце в радости беспечной там он утопил,

Внемля пенью, из фиала золотого пил.

А когда померк лучистый тот воскресный день

И в покое брачном шаха воцарилась тень,

Шах светильнику Китая нежному сказал,

Чтоб она с прекрасным словом свой сдружила лад.

Попросил кумир Турана повесть рассказать
Сказочную, - дню, светилу и дворцу под стать.

Просьбу высказав, он просьбы исполненъя ждал.
Извинений и уверток шах не принимал.

И сказала дочь хакана Чина - Ягманаз:
"О мой шах, тебе подвластны Рум, Туран, Тараз.

Ты владык земли встречаешь пред дворцом твоим,
И цари хвалу возносят пред лицом твоим.

Кто тебе не подчинится дерзостной душой,
Под ноги слону да будет брошей головой".

И рассказ царевны Чина зазвучал пред ним;
Он струился, как кадильниц благовонный дым.

СКАЗКА

"В некоем городе иракском, я слыхала, встарь
Жил и правил добрый сердцем, справедливый царь.

Словно солнце, благодатен был и ясен он,
Как весна порой новруза, был прекрасен он.

Всякой доблестью в избытке был он наделен,
Светлым разумом и знаньем был он одарен.

Хоть, казалось, от рожденья он счастливым был,
В одиночестве печальном жизнь он проводил.

В гороскопе, что составил для него мобед,
Он прочел: "Тебе от женщин угрожает вред".

Потому и не женился он, чтоб не попасть
В бедствие, чтоб не постигла жизнь его напасть.

Так вот, женщин избегая, этот властелин
Во дворце и дни и ночи проводил один.

Но владыке жизнь такая стала докучать,
По неведомой подруге начал он скучать.

Несколько красавиц юных он решил купить.
Только не могли рабыни шаху угодить.

Он одну, другую, третью удалить велел,
Ибо все переходили данный им предел.

Каждая хотела зваться - "госпожа", "хатун",
Жаждала богатств, какими лишь владел Карун.

Б гоме у цзяря горбунья старая жила,
Жадной, хитрой, словно ведьма, бабка та была.

Стоило царю рабыню новую купить,
Как старуха той рабыне начинала льстить.

Начинала "госпожою Рума" называть,
Принималась о подачке низко умолять.

И была любая лестью гой обольщена,
И владыке неприятна делалась она.

А ведь в мире этом речи льстивые друзей
Многим голову кружили лживостью своей.

Лживый друг такой - в осаде, не в прямом бою,
Как баллиста, дом разрушит и семью твою.

Шах иракский, хоть и много разных он купил
Женщин, но среди них достойной все не находил.

На которую свой перстень он ни надевал,

Видя: снова недостойна, - снова продавал.

С огорченьем удаляя с глаз своих рабынь,
Шах прославился продажей молодых рабынь.

Хоть кругом не уставали шаха осуждать,
Не могли его загадки люди разгадать.

Но в покупке и продаже царь, от мук своих
Утомившись, утоленья страсти не достиг.

Он, по воле звезд, супругу в дом ввести не мог,
И рабыню, как подругу, в дом ввести не мог.

Провинившихся хоть в малом прочь он отсылал,
Добродетельной рабыни, скромной он искал.

В этом городе в ту пору торг богатый был,
И один работорговец шаху сообщил:

"От кумирен древних Чина прибыл к нам купец
С тысячей прекрасных гурий, с тысячей сердец.

Перешел он через горы и пески пустынь,
Вывез тысячу тюрчанок - девственных рабынь.

Каждая из них улыбкой день затмит, смеясь,
Каждая любовь дарует, зажигает страсть.

Есть одна среди них... И, если землю обойти,
Ей, пожалуй, в целом мире равных не найти.

С жемчугом в ушах; как жемчуг, не просверлена.

Продавец сказал: "Дороже мне души она!"

Губы, как коралл. Но вкраплен жемчуг в тот коралл

На ответ горька, но сладок смех ее бывал.

Необычная дана ей небом красота.

Белый сахар рассыпают нежные уста.

Хоть ее уста и сахар сладостью дарят,

Видящие этот сахар люди лишь скорбят.

Я рабынями торгую, к делу приучен,

Но такую красотой сам я поражен.

С веткой миндаля цветущей схожая - она

Верная тебе рабыня будет и жена!"

"Покажи мне всех, пожалуй, - шах повеселел. -
Чтобы я сегодня утром сам их посмотрел!"

Тот пошел, рабынь привел он. Шах при этом был,
Осмотрел рабынь, с торговцем долго говорил.

И, хоть каждая прекрасна, как луна, была,
Но из тысячи - прекрасней всех одна была.

Хороша. Земных красавиц солнце и венец, -
Лучше, чем ее бывалый описал купец.

Шах сказал торговцу: "Ладно! Я сойду с тобой!
Но скажи мне - у рабыни этой нрав какой?"

Знай, купец, когда по нраву будет мне она,
И тебе двойная будет выдана цена..."

Отвечал купец китайский шаху: "Видишь сам -
Хороша она, разумна, речь ее - бальзам.

Но у ней - дурная, нет ли - есть черта одна:
Домогательств не выносит никаких она.

Видишь ты: тюрчанка эта дивно хороша,

Истинно она, скажу я, во плоти душа.

Но откроюсь я: доньне, кто б ни брал ее,
Вскоре - неприкосновенной - возвращал ее.

Кто б ее ни домогался, шах мой, до сих пор,
Непреклонная, давала всем она отпор.

Коль ее к любви хотели силою склонить,
На себя она грозила руки наложить.

Нрав несносный у рабыни, прямо я скажу,
Да и сам, о шах, придирчив ты, как я гляжу.

Если так ты непокладист нравом, то навряд
С ней дела пойдут, о шах мой, у тебя на лад.

Если ты ее и купишь и к себе возьмешь,
То, поверь, ко мне обратно завтра отошлешь.

Прямо говорю - ты эту лучше не бери,
Из моих рабынь другую лучше присмотра,

Если выберешь согласно нраву своему,
То с тебя я за покупку денег не возьму".

Шах всю тысячу красавиц вновь пересмотрел,
Ни одной из них по сердцу выбрать не сумел.

Вновь он к первой возвратился. В сердце шаха к ней
С каждым взглядом страсть живая делалась сильней.

Полюбил ее, решил он в дом рабыню взять,
Хоть не знал еще, как в нарды будет с ней играть.

Раз увидев, не хотел он расставаться с ней.
Ласково решил он мягко обращаться с ней.

Он свою предосторожность в сердце усыпил,
В нем любовь возобладала, деву он купил.

И велел он казначею заплатить скорей
Серебром за ту, чьи ноги серебра белей.

Чтоб убить змею желанья, взял рабыню он,
Но ему разлуки с нею угрожал дракон.

Периликая, в гареме шахском поселясь
Как цветок на новой почве в доме прижилась.

Как бутон, она раскрылась - в ярких лепестках,
Но ни в чем ее влюбленный не неволил шах.

И в домашние заботы вся погружена,
Исполнительной хозяйкой сделалась она.

Все она в своих покоях двери заперла,
Только дверь одна - для шаха - отперта была.

Хоть вознес ее высоко шах, как кипарис,
Но она, как тень, клонила голову вниз,

И явилась та горбунья и взялась ей льстить,
Чтоб согнуть тростник высокий и ее сгубить.

Что ж рабыня? Волю гневу тут дала она;
Разбранив в сердцах, старуху прогнала она.

"Я невольница простая, не царица я,
Быть не госпожой, служанкой доля здесь моя!"

Падишах, когда все это дело разобрал,
Понял все он и старуху из дому прогнал.

А к невольнице такая страсть горела в нем,

Что своей рабыни вскоре сам он стал рабом.

И, прекрасную тюрчанку сильно любя,
Он любви не домогался, сдерживал себя.

Хоть в ту пору, несомненно, и сама она
Уж была, должно быть, втайне в шаха влюблена.

С нею был в опочивальне как-то ночью шах,
Завернувшись в шелк китайский, кутаясь в мехах.

Окружил ее - как крепость, скажешь, ров с водой,
Страстью изнывал влюбленный рядом молодой.

И не менее, чем в шахе, страсть пылала в ней.

И, открыв уста, с любовью так сказал он ей:

"О трепещущая пальма в шелесте ветвей,
О живое око сердца и душа очей!

Кипарис перед тобою крив, - так ты стройна!

Как отверстие кувшина пред тобой луна!

Знаешь ты сама - тобою я одной дышу...

На вопрос мой дать правдивый я ответ прошу.

Если от тебя услышу только правду я,
То, как стан твой, распрямится и судьба моя".

Чтоб ее расположение разбудить верней,
Розы свежие и сахар стал он сыпать ей.

И такую рассказал он притчу: "Как-то раз
О Балкис и Сулеймане слышал я рассказ.

Радостью их и печалью сын прелестный был,
Только не владел руками он и не ходил.

Молвила Балкис однажды: "О любимый мой,
Посмотри - здоровы телом оба мы с тобой.

Почему же сын наш болен? Силы рук и ног
Он лишен! За что так горько покарал нас бог?

Надо средство исцеленья для него открыть.
Ты премудр, и ты сумеешь сына исцелить.

И когда придет от бога Джабраил к тебе,
Расскажи ему о нашей бедственной судьбе.

А когда от нас на небо вновь он улетит,
Пусть в скрижаль запоминанья там он поглядит:

Есть ли средство исцеленья сына твоего?
Пусть он скажет: что за средство? Где достать его?

Может быть, наш сын любимый будет исцелен,
Может - жар моей печали будет утолен!"

Сулейман с ней согласился и поклялся ей
Все исполнить. Джабраила ждал он много дней.

И когда к нему спустился с неба Джабраил,
Он его об исцеленье сына попросил.

Скрылся ангел и вернулся вскоре в дом его,
От кого же? Да от бога прямо самого.

Джабраил сказал: "Два средства исцеленья есть-
Редкие, но под рукою оба средства здесь, -

Это - чтобы, сидя рядом со своей женой,
Был ты с ней во всем правдивым, а она с тобой.

Коль правдивыми друг с другом сможете вы быть,

Вы сумеете мгновенно сына исцелить".

Встал тут Сулейман поспешно и Балкис позвал,
Что от ангела он слышал, ей пересказал.

Радовалась несказанно тем словам Балкис
И что средства исцеленья сыну их нашлись.

Молвила: "Душа открыта пред тобой моя!
Что ни спросишь ты, отвечу только правду я!"

Сулейман - вселенной светоч - у нее спросил:
"Образ твой желанья будит, всем очам он мил.

Но скажи мне, ты желала только ли меня
Всей душой и сердцем, полным страстного огня?"

И ответила царица: "Верь душе моей:
В мире ты источник света! Кто тебя светлей?

Но хоть молод и прекрасен ты и мной любим,
Хоть никто с тобой в подлунном мире несравним,

Хоть красив ты, добр и нежен, повелитель наш,
Хоть велик и лучезарен, словно: райский страж,

Хоть над явным всем и тайным назван ты главой,
И хоть властен над вселенной дивный перстень твой

Хоть прекрасен ты, как солнце яркое в лучах,
Хоть счастливый ты владыка и вселенной шах,

Но коль юношу-красавца вижу - то, не лгу:
Побороть своих желаний все ж я не могу!"

И едва лишь прозвучало слово тайны сей,
Сын ее безрукий с ложа руки поднял к ней:

"Мать! Руками я владею! - громко крикнул он. -
Исцелен я и от чуждой помощи спасен!"

Потрясенная смотрела пери на него,
Исцелившегося видя сына своего.

И сказала: "О владыка духов и людей,
Ты всех доблестней, всех выше в мудрости своей!

Ты открой мне тайну, сына нашего любя!
Ноги исцелить - зависит ныне от тебя.

На единственный вопрос мой дай ты мне ответ:

Счета нет твоим богатствам, и числа им нет.

Горы золота собрал ты, перлов, серебра,
Молви: втайне ты чужого не хотел добра?"

И пророк творца вселенной так ответил ей:

"Да, богат я, всех богаче я земных царей.

И сокровища от Рыбы все и до Луны
Под моей лежат печатью в тайниках казны.

Здесь меня богатством щедро вечный одарил,
Но и все же, кто б с поклоном в дом мой ни входил,

На руки ему смотрю я: с чем, мол, он идет?
И хороший ли подарок мне, царю, несет?"

Только Сулейман великий те слова сказал,
Сын пошевелил ногами, поднялся и встал.

Он сказал: "Отец! Взгляни-ка, вот я стал ходить!
Ты меня сумел, премудрый, словом исцелить!"

"Если сам посланник бога, - деве шах сказал, -

Сухоруких и безногих дивно исцелял,

То правдивыми, конечно, нам не стыдно быть

И стрелу в добычу прямо с тетивы спустить.

О единственная в мире, о моя луна,

Я люблю тебя, но что же так ты холодна?

Я страдаю и тоскую, мукой я горю,

На тебя в томленье сердца издали смотрю.

Ты прекрасна несравненной, дивной красотой!..

Почему же так сурова и жестка со мной?"

И красавица владыке своему вняла,

В ответа лучше правды чистой не нашла.

"Это все, - она сказала, - не моя вина!

А у нас в роду, к несчастью, есть черта одна:

Мать, и бабка, и прабабка у меня, о шах,

Все, едва лишь выйдя замуж, умерли в родах.

Знать, на нас на всех проклятье - в браке умирать,

Потому - мужчине сердце я боюсь отдать.

Не хочу я, мой владыка, - я не утаю, -
Ради радостей мгновений жизнь губить свою.

Жизнь дороже мне. И лучше мне безмужней жить,
Чем испытать отраву страсти и себя сгубить.

Не любви, о шах, я жажду - жизни жажду я!
Вот тебе и явной стала тайна вся моя.

Крышку с тайны сняв, как хочешь, так и поступай,
У себя оставь, коль хочешь, а не то продай.

Вот, о царь, я все сказала, правду возлюбя,
Я не спрятала, не скрыла тайны от тебя.

Я надеюсь, шах вселенной, что и ты теперь
Предо мной своей загадки приоткроешь дверь:

Почему рабынь прекрасных падишах берет
В дом к себе- и их меняет чуть не сотню в год?

И недели не живет он ни с одной из них,
И души не отдает он ни одной из них?

Приголубит и приблизит к своему лучу,
А потом ее поспешно гасит, как свечу?

До небес сперва возносит, холит и дарит,
И с презрением отбросит, и не поглядит?"

Шах ответил: "Путь возвратный открывал я им,
Так как не был ни одною искренне любим.

Поначалу все бывали очень хороши;
А потом - куда девалась доброта души?..

В царском доме, как царицы, привыкали жить.
Мне они переставали преданно служить.

Ведать меру должен каждый, кто душой не слеп,
Не для всякого желудка годен чистый хлеб.

Нет, железный лишь желудок может совладать
И с несвойственною пищею, чтоб не пострадать.

Если к женщине мужчина страстью ослеплен,
Много ей недостающих свойств припишет он.

Но ведь женщина - былинка, ветер мчит ее, -

Как же сердцем положиться можно на нее?

Если золото увидит, то - в конце концов -

Голову она склоняет чашею весов.

Скажем: жемчугом незрелый полон был гранат,

А когда созрел он - зерна лалами горят.

Женщина, что виноградник, - нежно зелена,

Недозрев; когда ж созрела, то лицом черна.

Наполняет ночь сияньем яркий блеск луны,

И в достоинстве мужчины чистота жены.

Все рабыни, что бывали здесь перед тобой,

Были заняты всецело только лишь собой.

Мне из всех из них служила только ты одна,

Вижу - истинным усердьем ты ко мне полна.

Хоть любви твоей лишен я, все же я не лгу, -

Без тебя теперь спокойно жить я не могу".

Много шах своей рабыне слов таких сказал,

Но к желаемому ближе ни на пядь не стал.

От него она, как прежде, далека была.

Как и прежде, не попала в цель его стрела.

И под бременем печали этот властелин

Шел по каменистым скалам день за днем один.

Рядом был родник желанный, жаждой он горел

Нестерпимой. Проходило время, он терпел.

Та горбунья, что когда-то во дворце жила

И которую рабыня в гневе прогнала,

Услыхала, что несчастье дома терпит шах,

Что пред собственной рабыней он склонен во прах,

Что лишился, околдован, сил могучий муж,

И сказала: "Ну, старуха! Мудрость обнаружь!

Не пора ли на горячку чары навести

И заставить эту пери в дивий пляс пойти?

Я то в паланкине солнца живо брешь пробью!

Не гордись, луна! Разрушу крепость я твою,

Чтобы мною не гнушались, чтоб ничья стрела
Угодить в мою кривую спину не могла!"

Весь свой ум пустила бабка в ход и наконец
Умудрилась и проникла к шаху во дворец.

Чтобы пал и посрамился гордый тот кумир,
К хитрости она прибегла древней, словно мир.

Шаху молвила: "Неужто с молодым конем
Ты не сладишь, чтоб ходил он под твоим седлом?"

Ты послушайся старуху: два-три дня пред ней
Ты оседывай бывалых под седлом коней.

Иль тебе не приходилось самому, видать,
Норовистого трехлетка в табуне хватать?"

И попался шах на хитрость и подумал:
"Что ж, Из такой колодки будет и кирпич хорош!.."

Вскоре новая явилась дева во дворце -
Огнеокая, с улыбкой милой на лице.

Хороша она, учтива и ловка была,

Нравом добрая, живая, всем она взяла.

В доме живо осмелела, осмотрясь, она,
И игрой азартной с шахом занялась она.

Сам хозяин ставить нарды стал проворно ей
И проигрывать все игры стал притворно ей.

С первой девою, как прежде, дни он проводил,
Со второй - в опочивальню на ночь уходил.

Целый день бывал с одною, ночь бывал с другой.
Нежен был с одной, желанья утолял с другой.

Оттого, что со второю уходил он спать,
Стала первая пожаром ревности пылать.

И хоть шаха ревновала все сильней она
И мрачилась, как за тучей ясная луна,

Но она ему, как прежде, преданной была,
Ни на волос от служенья шаху не ушла.

Думала: "Судьба, как видно, чудеса творит!
Не из печки ли старушки мне потоп грозит?"

И терпела и таила жар она в крови,
Но - ты знаешь - от терпенья пользы нет в любви.

Улучивши время, к шаху раз она пришла
И такую речь смущенно с шахом повела:

"Ты со мной однажды начал правду говорить,
Так со мной и дальше должен ты правдивым быть.

Если радостны и ясны дни весны с утра,
Так зачем же так ненастны, мглисты вечера?

Я хочу, мой шах, чтоб вечно дни твои цвели,
Чтоб тебе любовь и счастье вечера несли.

Поутру ты мне напиток сладкий дал...
Так что ж Ты мне этот едкий уксус вечером даешь?

Не вкусив, ты мной пресыщен и меня отверг.
В жертву льву меня ты отдал, в пасть дракона вверх.

Был так нежен ты, но что же стал ты так жесток?
Иль не видишь, что от муки дух мой изнемог?

Ты змею завел, - ты хочешь гибели моей?
Коль убить меня задумал, так мечом убей!

В дом к себе меня привел ты, сильно любя...
Кто такой игре жестокой научил тебя?

Так открой же мне всю правду! Я изнемогла! -
Коль не хочешь, чтобы здесь я тут же умерла!

Заклинаю, шах мой, жизнью и душой твоей -
Если правду скажешь - снимешь ты замок с дверей, -

Я и свой замок открою, небом я клянусь,
Что во всем тебе, о шах мой, нынче ж покорюсь!"

Шах, ее в своих оковах крепких увидав,
Эти речи, эти клятвы девы услышав,

Ничего от милой сердцу укрывать не стал,
Все, что нужно и не нужно, он ей рассказал:

"Страсть к тебе - давно, как пламя, обняла меня,
Довела до исступленья и сожгла меня.

Я терпел, но все сильнее сердцем тосковал,

Я от муки нестерпимой полумертвым стал.

И горбатая старуха мне помочь пришла

И, как зелье колдовское, мне совет дала.

И велела мне похлебку бабка та сварить,

Той похлебкою сумел я душу исцелить.

Но была тебе, как видно, ревность тяжела.

Ты ее душой и сердцем, видно, не снесла.

А ведь воду нагревают только над огнем,

И железо размягчают только над огнем.

С горечью на это средство все ж решился я,

И прости - твоею болью исцелился я.

Охватил от малой искры жизнь мою пожар,

А старуха, как колдунья, раздувала жар.

Но теперь, когда со мною ты чиста, как свет,

Больше в старой той колдунье надобности нет.

Надо мной сегодня солнце подошло к Тельцу.

И, как видно, зимний холод не грозит дворцу".

Так он много слов прекрасных деве говорил
И вниманием тюрчанки очарован был.

Звезды счастья над главою шахскою сошлись,
Он с любовью тонкостанный обнял кипарис,

Соловей на цвет, рососою окропленный, сел,
И расцвел бутон, певец же сладко опьянел.

Попугай взлетел из клетки, как крылатый дух,
И поднос сластей увидел без докучных мух.

Рыба вольная из сети в водоем ушла,
Сладость фиников созревших в молоко легла.

Сладостна была тюрчанка, прелести полна,
Отвечала страстью шаху своему она.

Шах завесу с изваянья золотого снял,
Под замком рудник, сокровищ полный, отыскал,

Драгоценностей нашел он много золотых,
Золотом своим богато он украсил их.

Золото нам наслажденья чистые дарит,
И халва с шафраном, словно золото, горит.

Не гляди на то, что желтый он такой - шафран!
Видишь смех, что вызывает золотой шафран?

Золото зари рассветной по душе творцу,
Поклонялись золотому некогда тельцу.

И в румийских и багдадских банях - только та
Глина ценится, что, словно золото, желта".

Так кумир прекрасный Чина сказку завершил,
Шах Бахрам ее с любовью обнял и почил.

СЛАВЯНСКАЯ ЦАРЕВНА

ПОВЕСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Вторник

В некий Дея месяца день, что был короче Ночи
Тира месяца, самой краткой ночи,-

Хоть все дни недели он красотой затмил,

Это пуп недели был - красный вторник был,

День Бахрама - рдел он, блеском равен был огню,

Ну, а шах Бахрам был тезка и звезде и дню...

В этот день все красное шах Бахрам надел,

К башне с красным куполом утром полетел,

Там розовощекая славянская княжна -

Цветом сходна с пламенем, как вода - нежна -

Перед ним предстала, красоты полна,

Словно заблестала полная луна.

Только ночь высоко знамя подняла

И на своде солнца шелк разорвала,

Шах у девы-яблони, сладостной, как мед,

Попросил рассказа, что отраду льет

Слушателю в сердце. И вняла она

Просьбе, и рассказывать начала она:

"Ясный небосвод - порог перед дворцом твоим,

Солнце - только лунный рог над шатром твоим!

Кто стоять дерзнет пред лучом твоим?

Пусть ослепнет тот под лучом твоим!"

И, свершив молитву, яхонты раскрыла

И слова, как лалы, к лалам приобщила.

СКАЗКА

Начала: "В земле славянской был когда-то град,

Разукрашен, как невеста, сказочно богат.

Падишах, дворцы и башни воздвигавший в нем,

Был единой, росшей в неге, дочери отцом,

Околдовывавшей сердце, чародейноокой,

Розошкой, стройной, словно кипарис высокий.

Чье лицо, как светлый месяц, нет - еще милей.

Дан был солнцем и Бурджейсом светлый разум ей.

И от зависти великой мускус изнывал

И слабел, когда дыханье кос ее впивал.

Словно сон нарцисса, томна темь ее очей,

Аромат цветка несрина - раб ее кудрей.

А вздохнет - и кипарисом всколыхнется стан;

Лик прекрасный разгорится, как заря румян.

Не улыбкой сладкой только и красой она, -

Нет, - она в любой науке столь была сильна,

Столь искушена, что в мире книги ни одной

Не осталось, не прочтенной девой молодой.

Тайным знаньям обучалась; птиц и тварей крик

Разумела, понимала, как родной язык.

Но жила, лицо скрывая кольцами кудрей,

Всем отказом отвечая сватавшимся к ней.

Та, которой в мире целом равной не сыскать,

Разве станет о безвестном женихе гадать? -

Но когда молва по свету вести разнесла,

Что с высот Ризвана к людям гурия сошла,

Что ее луна и солнце в небе породили,

А созвездья и планеты молоком вскормили, -

Каждый был великой страстью к ней воспламенен,
И мольбы любви помчались к ней со всех сторон.

Взять один пытался силой, золотом другой,
Ничего не выходило. Падишах седой,

Видя дочки непреклонность, выбился из сил,
Но спастись от домогательств средств не находил.

А красавица, которой был на свете мил
Только мир уединенья, чьей душе претил

Пыл влюбленных, отыскала гору в тех краях -
Крутобокую, с вершиной, скрытой в облаках.

Замок на горе воздвигла, где клубится мгла...
Скажешь ты: на круче горной выросла скала.

И она отца просила - отпустить ее,
Тот, хоть не желал разлуки, детище свое

Отпустил: как соты меда, спрятал в замке том,
Чтоб назойливые осы не влетали в дом.

Этот замок над обрывом каменным стоял,
В небо бронзовые башни грозно он вздымал.

В высоте над облаками он витал, как сон,
Опоясан пропастями, крепко защищен.

И оттоль княжна разбою тропы заперла,
Глотки алчные заткнула, хищных изгнала.

Ведь она в любой науке сведущей была,
Чудеса умом крылатым совершать могла.

Тайну всех светил небесных, мудрая, прочла,
И на тайну тайн арканом мысль ее легла.

Знала, что сухим и влажным делать надлежит,
Отчего вода пылает, пламя холодит,

Знала, что даруют звезды, что судьба творит,
Отчего, как яркий светоч, разум наш горит.

Отчего он, словно солнце, светит нам в пути;
Знала все, что может людям пользу принести.

Но когда в том замке стихли все тревоги в ней,

Диво-дева отвратила душу от людей.

И поставила у входа в горное нутро

Много грозных талисманов, созданных хитро.

Из гранита и железа - замка сторожа

Высились, мечи в ладонях кованых держа.

Смельчака, который входа в замок тот искал,

Талисман - меча ударом - тут же отсекал.

Кто дерзнул проникнуть в замок, сразу погибал.

Лишь один привратник тайну талисманов знал.

Этот, в тайну посвященный верный страж ворот,

Знал, куда ступать, и шаг вел особый счет.

Если бы со счета сбился хоть однажды он,

Сталью грозною мгновенно был бы поражен.

А врата твердыни, к небу высившей отвес,

Для людей незримы были, как врата небес.

Если б самый мудрый зодчий их сто дней искал.

Все же их, как врат небесных, нам не указал.

И была хозяйка замка - пери красотой -
Рисовальщицей китайской царской мастерской.

Челке гурии подобной - был калам ее
Полям раковин, дающим перлам бытие.

И княжна однажды краски и калам взяла,
В рост на белый шелк свой образ светлый нанесла.

На шелку, как бы из света, тело соткала,
И в стихах прекрасных надпись, как узор, сплела:

"Если в мире кто желает мною обладать
И твердынею, которой силою не взять,

Пусть, как бабочка, бесстрашно он летит на свет,
Пусть он будет храбрым. Места здесь для труса нет,

Жаждающий добычи этой, знай - тебе нужна
Жизней тысяча и больше, а не жизнь одна.

Пусть вся жизнь на трудный будет путь устремлена,
И четыре ты условия соблюди сполна:

Имя доброе, во-первых, доброту имей.

Во-вторых, умом раскинув, победить сумей

Чары грозных талисманов, ставших на пути,

В третьих, - коль, разрушив чары, сможешь ты пройти,

То найди ворота. Мужем станет мне лишь тот,

Кто ко мне не через крышу, через дверь войдет.

И четвертое: направься в город. Буду там

Ждать тебя я и загадки трудные задам.

Только тот, кто все условия выполнит вполне,

Только тот отважный витязь мужем будет мне,

Тот, кто все мои условия преодолеет, - он

Сокровенным камнем счастья будет одарен.

Но погибнет тот, кто, взявшись, дела ее свершит.

Пусть он был велик, - унижен будет и убит.

И, в таком порядке надпись заключив, она

Слуг покликала. И, свиток им вручив, она

Отдала приказ: "Идите к городским вратам,

Этот свиток пригвоздите к городским вратам.

Пусть любой - и кто б он ни был, - лик увидев мой,

Пожелает, чтобы стала я его женой.

Пусть прочтет мои условия и сюда придет,

Овладеет мной и замком или же умрет".

К городским воротам лунный образ прикреплен,

Кто его хоть раз увидел - навсегда влюблен.

И молва о нем все страны мира обошла,

Вновь князей и падишахов с места подняла.

Бросив трон, презрев величье, из любой страны

Скачут, притчей необычной воспламенены.

Этих нрав сгубил горячий, молодость - других.

Всякий жизнь бросал на ветер. И не стало их.

Всякий, встав на путь опасный, был уж обречен.

Радую врагов, несчастный - шел на гибель он.

Как бы кто ни домогался, как бы ни хитрил, -

Ни единый талисманов тайну не открыл.

А иной, познавший мощь их, муж - умом глубок -
Разбивал два-три, но прочих превозмочь не мог.

Свой позор, свое бесславые видя, шел под меч.
Там голов прекрасных, юных много пало с плеч.

Избавленья иль пощады было ждать нельзя:
учителю поведал, ничего не скрыл.

И старик его заветным знаньем подарил.
И всезнающего витязь возблагодарил.

Был слепой - вернулся зрячим он в родной предел,
Стал готовиться на подвиг, праздно не сидел.

Все обдумал, все припас он нужное в пути,
Чтоб опасным подземельем без вреда пройти.

Он волшебных талисманов силу разгадал,
Против каждого - особо - средство он достал.

В путь он выступил, одежды красные надев -
Крови знак и гневных жалоб на небесный гнев.

Ты сказал бы: в море крови плащ он обагрил,
И глаза его горели, как в ночи берилл.

Обуздал свои желанья, в помыслах велик,
И о горе и позоре мира вопль воздвиг.

Объявил: "Не для себя я путь пробить хочу,
Я за кровь ста тысяч храбрых отомстить хочу!

Или головы живущих сразу излечу
От безумья, иль своею жизнью заплачу!"

Вот за городской чертою, под пятою гор,
Пред железным замком девы он разбил шатер.

И едва о том в народе протекла молва,
Что явился юный мститель мужественной льва,

Всяк ему в великом деле помогать хотел,
Чтоб скорее он чудесным замком овладел.

Так заботами народа и умом своим
Он облекся, как надежным панцирем стальным.

И затем идти на подвиг разрешенья он

Испросил у падишаха, как велел закон.

Вот в ущелье талисманов удалец шагнул,
Брешь пробил и заклинанье первое шепнул.

Разом чары талисмана первого разбил,
Связи прочих талисманов он разъединил.

Друг за другом их арканом в пропасть повалил;
К башням замка несказанным путь себе открыл.

Он от чар очистил гору. И из всех мечей -
Только верх горы оставил, что меча острей.

И искать в стене ворота начал он, ремянной
Колотушкой ударяя в шкуру барабана.

Вслушался, как отдается звук вокруг стены.
И по отзвуку ворота были найдены.

Откликаясь барабану, пел подземный ход.
Он подвел подкоп и выше к створам тех ворот.

Лишь о том хозяйка замка мудрая узнала,
Тут же человека с вестью к витязю послала:

"О, подкопы подводящий, что тебя вело?

Знать, тебе достигнуть цели счастье помогло.

Если ты сумел осилить чары сторожей,

А потом нашел ворота крепости моей,

Ты теперь направься в город и еще два дня

Потерпи, - прошу об этом; подожди меня.

Я тебя в дому отцовском повстречать хочу, -

Я загадками твой разум испытать хочу,

У тебя четыре тайны стану я пытаться;

Коль ответы на вопросы ты сумеешь дать, -

О, навек тогда ты другом будешь для меня.

И желанным и супругом будешь для меня".

И когда свою удачу витязь увидал,

Повернул коня и в город быстро поскакал.

Шелк сорвал с ворот высоких и рабу вручил,

Оживил в сердцах веселье, горе умертвил.

Головы со стен на землю опустить велел,
И оплакать, и с почетом схоронить велел.

И, благословляем всеми, воротясь домой,
Горожан велел к себе он звать на пир большой.

Люди толпами до ночи в дом его текли,
И дареными шелками стены расцвели.

И пред ним все горожане клятву принесли:
"Если шах тебе не выдаст Дочку, то внемли:

Шаха мы убьем и бросим шахский труп в пыли,
А тебя поставим шахом всей своей земли.

Ибо шах жестокосердный нас мечом казнил,
Ты ж от злого наважденья нас освободил".

А прекрасная невеста, как и весь народ,
Радовалась, что удачно сватовство идет...

Лишь растерла черный мускус меж ладоней ночь
Над ладьей луны, с подушек стала шаха дочь,

С сердцем радостным уселась в паланкин она.

И, дорогу озаряя, шла пред ней луна.

Во дворец подземным ходом дева прибыла,

Встретив деву, даже челядь замка расцвела.

И отец расцвел, как роза, детище обняв,

По единственной в разлуке дочке заскучав.

И рассказывала дева все, что было с ней,

Что судьба за это время совершила с ней.

Вспоминала тех, что в битве соиты ею были,

Яму рыли ей и сами в яму угодили.

О влюбленных, что отважно, словно львы, рвались

И вотще теряли силы и теряли жизнь.

Молвила, что бросить замок ей пришла пора,

Что пришел и стал пред нею витязь, как гора

Коль из четырех условий он исполнил три

И, разрушив талисманы, отыскал внутри

Скал - подземный ход и замка замкнутую дверь, -

Пусть четвертое условие выполнит теперь.

Шах спросил ее: "А в чем же трудности его?

И зачем условий столько? Хватит одного!"

Дочь сказала: "Коль рассудком он не обделен -

Пусть четыре мне загадки разгадает он.

Не скрываю - разгадать их очень тяжело.

Разгадает - увенчаю я его чело.

Но пускай, где знает, станет витязь на постой,

Коль его осел застрянет на дороге той.

Поутру, когда заблещет солнцем небосклон,

Пусть мне шах окажет милость и взойдет на трон;

Пусть придет и витязь, ставший женихом моим.

Лик закрывши покрывалом, сяду я пред ним.

И безмолвные вопросы буду задавать,

Он же мне без замедленья должен отвечать".

Шах сказал: "Все так и будет, - это решено

Все, что ты ни пожелаешь, будет свершено!"

Так старик отец беседу с дочкой завершил
И, уйдя в свои покои, мирно опочил.

Лишь эмалевое небо озарило мир, -
Утром, по обычаям кеев, шах устроил пир.

Много старых, именитых пригласил гостей,
Мудрых, в жизни искушенных, праведных людей.

Витязя того он принял на пиру своем
И его своим алмазным увенчал венцом.

Стол богатый был в чертоге для гостей накрыт,
Как столы у падишахов ставить надлежит.

Скажешь: все дары земные украшали стол.
Блюда, чаши золотые украшали стол.

И когда поели гости всласть ото всего,
И вкушавших утолилось пищей естество, -

Шах велел перед диваном, что был мудр и стар,
Златом тайн о камень знаний нанести удар.

Вот жених перед невестой сел лицом к лицу, -

Мол, в какой игре лукавый спор придет к концу?

Вот за витязем царевна стала наблюдать,

Им, как куклою таразской, начала играть.

Из ушей своих два перла вынула сперва

И такие казначею молвила слова:

"Гостю нашему два перла эти отнеси -

И ответа на вопрос мой у него проси".

И посланец не замедлил выполнить приказ.

Гость объем жемчужин смерил, взвесил их тотчас.

И из драгоценных перлов, что с собой носил,

Три других, подобных первым, сверху положил.

Дева-камень, вместо первых двух увидев пять,

Взявши гирьку, также стала вес их измерять,

Взвесив и узнав, что равен вес у пятерым,

Той же гирькой раздавила, в пыль растерла их.

Пыли сахарной щепотку бросила туда,

Все смешала и послала гостю вновь тогда.

Но ему была загадка трудная легка,
У прислужника спросил он чашу молока,
Сахар с жемчугом в ту чашу всыпал, размешал.
Принял все гонец и чашу к госпоже помчал.

Этот дар пред ней поставил. Выпила невеста
Молоко, а из осадка замесила тесто.

И на пять частей, по весу равных, разделила.
И сняла свой перстень с пальца и гонцу вручила.

То кольцо надел на палец витязь и в ответ
Отослал пославшей перстень - дивный самоцвет,

Яркий, чистый и блестящий, как полдневный свет,
Изнутри лучил он пламень, блеском был одет.

Этот камень положила дева на ладонь,
Ожерелье распустила. Яркий, как огонь,

Самоцвет в нем отыскала, первому во всем
Равный, блестящий во мраке солнечным лучом:

Третьего не подобрать к ним, их не подменить:

На одну их нанизала золотую нить.

И послала перлы морю иль - сказать верней -

Солнцу отдала Плеяды в щедрости своей,

И когда на них разумный взоры обратил, -

Самоцвет от самоцвета он не отличил.

Дать себе он голубую бусину велел,

С самоцветами на нитку бусину надел.

Воротил их той, что с пери спорит красотой.

Та же - бусину на нитке видя золотой -

Сладко рассмеялась, губок распечатав лалы, -

Бусину на ожерелье тут же навязала,

Самоцветы в уши вдела и отцу сказала:

"Встань, отец, и делай дело, - спор я проиграла!

Но я рада, ибо рада счастью своему!

Вижу: счастье дружелюбно мне, как моему

Ныне избранному другу. Вижу: по уму

И красе нет в целом мире равного ему.

Мудры мы, и с нами дружат мудрые умы;
Но его познание выше, чем достигли мы".

Падишах был околдован медом слов ее
И сказал: "О ты! Ты - ангел, детище мое!

Каждый твой вопрос я видел и его ответ,
Но молчанья покрывалом был их смысл одет.

По порядку, друг за другом, я прошу открыть,
Что вопросы и ответы те могли таить".

Вскормленная в поклоненьях, в холе, в неге сладкой,
Складки занавеса тайны над своей загадкой

Приоткрыла, отвечала: "Я с ушей сняла
Перлы и вопрос свой первый ими задала.

Две жемчужины послала я ему сначала:
"Жизнь - два дня лишь! Понимаешь?" - я ему сказала.

К двум моим он три прибавил. Это говорит:
"Если даже пять - так тоже быстро пролетит".

Я растерла и смешала сахар с жемчугом,
И в ответ ему послала сахар с жемчугом.

Пыль жемчужная, что с пылью сахарной смешалась,
Означает жизнь, что сильной страстью омрачилась,

Оторвать их друг от друга, разлучить нельзя,
Ни заклятьем, ни наукой отделить нельзя.

В чашу молока тогда он всыпал эту смесь,
И на дно тяжелый жемчуг опустился весь,

И растаял легкий сахар в чаше молока.
И была ему загадка трудная легка.

А как молоко из чаши этой испила,
Я Себя пред ним дитятей малым назвала.

А когда ему я перстень свой отослала,
Тем на брак со мной согласие витязю дала.

Самоцвет мне дав бесценный, он хотел сказать,
Что ему во всей вселенной пары не сыскать.

Я вернула вместе с первым равный самоцвет,
"Видишь, мы с тобою пара", - мой гласил ответ.

К самоцветам этим третий подбирать он стал,
Третьего ж на белом свете он не отыскал,

Бирюзой меня решил он чистой одарить,
Чтобы счастье от дурного глаза защитить.

И украсилась я тою светлой бирюзой,
Пред его склонилась волей, словно пред судьбой.

На моей сокровищнице вещая печать, -
Бусина любви да будет грудь мне украшать!

А за то, что пять сумел он кладов отыскать,
Музыку царей могла бы я пять раз сыграть".

Шах, увидев, что обьезжен конь и укрощен,
Что под плеткой сыромятной выровнялся он,

По обрядам брачных празднеств, тут же поутру
Приготовил все, рассыпал сахар на пиру.

Как звезду Зухру Сухейлю, отдал дочь свою.

Пир устроил несказанный, как пиры в раю.

Благовоньями в чертоге пол осыпан был.

Там он кипарис и розу рядом посадил.

Вот последний гость покинул падишахский дом,

Витязь наконец остался с милою вдвоем.

И когда искавший лалы россыпей достиг,

Умирал и воскресал он в свой предсмертный миг.

Целовал в ланиты, в губы он стократ ее,

Он покусывал то финик, то гранат ее.

Совладел алмаз прекрасный с перлом красоты.

Сокол сел на грудь фазану, павши с высоты.

Талисман свой он увидел на груди ее.

Он любовь, и мир, и счастье в ней нашел свое.

Жил он в радости с любимой, лучшей не просил.

Цвета щек ее - он платья красные носил.

Ибо тою красотой он рассеял мрак.

Предзнаменованием выбрал красные одежды,

Ибо тою красотою он рассеял мрак.

Он всегда имел убранство красное, что мак.

"Шах в багряных бармах" - был он прозван потому,

Что в багряном цвете радость выпала ему.

Красный цвет красою блещет, коей в прочих нет,

Этим лал ценней алмаза - алый самоцвет.

Золото "червонной серой" называешь ты;

Нет у золота одежды лучше красоты.

Кровь, с душою связанная, оттого красна,

Что тонка, легка в полете, как душа, она.

Если красоты телесной в мире ищешь ты,

Помни: розы щек - основа всякой красоты.

Роза лучшая не будет ханшею садов,

Если нет у ней горящих кровью лепестков!"

А когда рассказ царевна кончила чудесный,

Словно россыпь роз, зарею вспыхнул мрак небесный.

И лицо Бахрама в этом блеске алых роз
Стало красным, с ароматным сходно соком роз.

Он к славянской красной розе руку протянул,
Обнял стан ее и в неге близ нее уснул.

ИРАНСКАЯ ЦАРЕВНА

ПОВЕСТЬ СЕДЬМАЯ

Пятница

В пятницу, когда светило, вставши из-за гор,
Белым светом озарило ивовый шатер,

Шах - в одежде белой, в блеске белого венца -
Устремил шаги к воротам белого дворца.

В пятом знаке Зодиака белая Зухра
Пять поклонов пред Бахрамом отдала с утра.

И покамест не напали Зинджи на Хотан,
Шах счастливый не покинул радостей майдан.

А когда сурьмой небесной сумрак обострил
Взгляд луны прекрасноликой и глаза светил,

Стал Бахрам подругу ночи нежную просить -
Сладостный рубин речений перед ним открыть

Чтобы эхом, отраженным от дворцовых стен,
Пела повесть, забирая слух и сердце в плен.

И царевна, славословье трону вознеся
И о шахском долголетье небосвод прося,

Прочитав сперва молитву вечному творцу,
Чтобы дал сиянье счастья трону и венцу,

Молвила: "Коль шаху сказка надобна моя,
То - поведать все, что знаю, рада буду я".

СКАЗКА

"Мать моя была душевной доброты полна,
Сред старух была ягненком истинным она.

Чтобы мне не скучно было, помню, как-то днем
Мать моих веселых сверстниц пригласила в дом.

К трапезе она радушно всех их позвала,

Кушаньям - как говорится - не было числа.

Дичь, баранина и с тмином всяческая снедь, -

Перечислить угощений мне и не суметь.

Не припомню я названий лакомств дорогих,

Розовой халвы, миндальной - и сластей других

Все там было, чем осенний урожай богат -

Яблоки из Исфахана, рейский виноград.

Но о гроздьях и гранатах речь я отложу,

Лучше о гранатогрудых девах расскажу.

Сыты лакомой едою были все давно

И пригубливать устали сладкое вино.

Смех, веселье, разговоры тут пошли у нас.

За смешным рассказом новый следовал рассказ.

Та - про чет, а та про нечет, - все наперебой...

Каждой рассказать хотелось о себе самой.

Очередь до среброгрудой девушки дошла,

Хороша она, как сахар с молоком, была.

Лишь она заговорила - птичий хор в саду

Смолк и рыбки золотые замерли в пруду.

Упоительный открыла слов она родник,

А язык ее рассказа - был любви язык.

Нас она повеселила повестью такой:

"Жил-был юноша - любезен и хорош собой.

Юному Исе в науках был подобен он,

Как Юсуф, был светел сердцем и беззлобен он.

Люди знанья за ученость славили его,

Верующие примером ставили его.

Сад был у него - прекрасный, как Ирема сад,

Амброю благоухавший, радовавший взгляд.

В нем рождались, раскрывались райский плод и цвет,

Шла молва, что им подобных в целом мире нет.

Все сердца тянуло в этот лучший из садов,

Где росли и расцветали розы без шипов.

Если поискать, - конечно - шип один нашли б,
Но защитой от сглаза вырос этот шип.

Под тенистыми ветвями там ручьи текли.
Там нарциссы над ручьями, лилии цвели.

Пеньем птичек оглашался лиственный шатер,
Звонкий щебет их сливался в сладкозвучный хор.

Кипарисы возвышались кровлями дворца,
В говор горлинок вплетались возгласы скворца.

У подножий кипарисов сладостная тень
В сад на отдых призывала, навевая лень.

Этот сад благоуханный с четырех сторон
Был высокою стеною крепко огражден!

Окружил свой сад хозяин глиняной стеной,
Чтобы в тень его проникнуть глаз не мог дурной.

Не один богач о саде сказочном вздыхал
И завистливые взгляды издали бросал.

Юноша-хозяин часто заходил в свой сад -

Отдохнуть от шума, зная городского рад.

Подрезал он кипарисы и сажал жасмин,
Мускус смешивал и амбру сада властелин.

На лужайках сам фиалки сеял он весной,
Новые сажал нарциссы там он над водой.

Проводил в саду хозяин целый день порой
И лишь поздно возвращался вечером домой.

Вот однажды ранним утром в сад он свой пошел,
Изнутри калитку сада запертой нашел.

Но в саду своем он звуки чанга услышал,
Хоть вчера к себе он в гости никого не звал.

Песни радости услышал он в саду своем,-
Веселились, и смеялись, и играли в нем.

Множество в саду звучало женских голосов,
Изнутри закрыты были двери на засов.

Горожанки молодые, видно, здесь сошлись;
Знать, они в его владенья с ночи забрались.

Долго он стоял у двери сада своего...

Ключ - на сторожа надеясь, он не взял его.

В двери, стража вызвать силясь, он стучал и звал.

Гости - слышно, веселились, а садовник спал.

Вкруг стены своей высокой юноша пошел,

Трещину в углу дувала ветхого нашел.

И, увидев, что не может он войти в свой дом,

В собственной своей ограде сделал он пролом.

Так проник он потихоньку в сад, и, осмотрясь,

Словно вор, в своих владеньях он пошел таясь,

Чтоб увидеть, что за гости у него гостят,

И проведать, что за повод был для входа в сад,

Чтоб разведать потихоньку, что за шум в саду,-

Не попал ли уж садовник-старичок в беду?

Среди этих - озарявших сад его - цветов,

Наполнявших свод зеленый звоном голосов,

Были две жасминогрудых, привлекавших взгляд,
Вдоль стены они ходили, охраняя сад,

Чтоб не перелез ограду дерзкий кто-нибудь
И не мог луноподобных гурий тех спугнуть.

Только он пошел в пределы сада своего,
Эти девушки за вора приняли его.

Палками его избили; на землю потом
Повалив, его связали крепким кушаком.

Но незнанию - в преступленье ими обвинен, -
Был избит, и исцарапан, и унижен он.

Девушки, связав беднягу, перестали бить, -
Но они его словами начали казнить:

"Был бы всяк твоим поступком дерзким возмущен!
Нет хозяина на месте! Жаль - в отлучке он!

Если дерзкий вор посмеет брешь в стене пробить -
То садовник властен вора палками избить!

Ты немного поцарапан. В цепи заковать

Надо бы тебя, негодный, и властям предать.

Ах ты, вор, сломавший стену! - не уйдешь теперь!

Если бы ты вором не был, ты вошел бы в дверь!"

А хозяин им ответил: "Этот сад - мой сад.

Я захлебываюсь дымом - от своих лампад.

Как лиса, в дыру пролез я... И к чему слова -

Вход сюда открыт всегда мне шире пасти льва.

Если кто в свои владенья входит воровски--

Упустить их быстро может из своей руки".

Сильно девушки смутились. Все же - им пришлось

О приметах разных сада повести расспрос.

Верно он на все ответил. Повиниться им

Приходилось. И осталось помириться им.

Девушки владельца сада впрямь признали в нем,

Он красив был, юн, любезен и блистал умом.

Если женщина такого видит, ты ее

Не удержишь, откажись ты лучше от нее.

И по духу был им близок и приятен он,
Был от плена тут же ими он освобожден.

Живо крепкий развязали шелковый кушак,
Всхлипывая - извини, мол, если что не так...

Умоляя, чтоб хозяин юный их простил,
Расторопность проявили и великий пыл.

Чтобы гнев он свой на милость к ним сменил вполне,
Принялись пролом поспешно затыкать в стене.

В щель терновник набивали, камни и тростник,
Чтобы вор и впрямь в ограду сада не проник.

И, в смущении краснея, к юноше пришли,
В оправдание - рассказы длинно завели:

"Так хорош твой сад, что в мире все затмит сады, -
Пусть обильны будут сада этого плоды!

Молодые горожанки - ото всех тайком -
Полюбили собираться тут - в саду твоём.

Все красавицы, чья прелесть славится у нас,
Луноликие - утеха и отрада глаз,

Как светильник, полный ярких недымящих свеч, -
Очень любят это место наших тайных встреч.

Ты простишь ли нас, что были мы с тобой дерзки
И что воды возмутили чистые реки?

Но сейчас ты на красавиц наших поглядишь
И с любой из них желанье сердца утолишь.

В этот час они все вместе, верно, собрались.
Так - скорее к ним, смелее с нами устремись!

И которая из гурий взгляд твой привлечет,
Укажи нам, чтобы нечет превратился в чет;

Только скажем мы два слова - и придет она.
И к ногам твоим покорно упадет она!"

Услыхал хозяин речи эти, и огнем,
Пробудившись, вожденье запылало в нем.

Страсть его природе чистой не чужда была,

Шум затеяли и хохот, слышный до луны.

Видел он: среди них задорней всех одна была -

Весела, лицом румийским розово-смугла,

Подбородок - словно солнце утренних высот,

Губы нежные, как пальмы финиковой плод.

Быстрый взгляд ее стрелою острой поражал,

Смех ее - веселый, звонкий - сахар расточал.

Этот кипарис гранаты в воду уронил,

А свои гранаты влагой щедро напоил.

Всякому, кто в эти чары попадал, как в сеть,

Овладеть хотелось ею или умереть.

И таким гореть лукавством взгляд ее умел,

Что терял свой ум разумный, трезвенник пьянел.

Был пленен хозяин юный красотой луны -

Больше, чем огнем индийцы в храмах пленены.

От души его преграды веры отошли...

Праведник, кляни неверье! Верных восхваляй!

Через час те девы-стражи вновь пришли вдвоем.

Быстрые, любовным сами полные огнем.

В ту беседку две газели легкие пришли,

Что газелей к водопою барса привели.

Прибежали, нетерпением пламенным полны

Пред хозяином любезным искупить вины.

Не сошел еще хозяин с места своего,

прем стали, как хаджибы. спрашивать его:

"О хаджа! Из тех красавиц, что ты видел здесь,

Опиши скорей - какую нам к тебе привезть?"

Юноша словами живо им нарисовал

Ту, чей облик так в нем сильно сердце взволновал.

Только молвил, те вскочили и расстались с ним,

Уподобясь не газелям, а тигрицам злым.

И в саду неподалеку вмиг нашли ее,

Лаской, хитростью, угрозой привели ее.

Ни одна душа их тайны не могла узнать'
А узнала бы, так, верно б, ей несдобровать.

Привели луну в беседку - и смотри теперь -
Чудо: заперли снаружи на щеколду дверь...

А настроили сначала, словно чанг, на лад
Эту пери, что хозяйский так пленила взгляд.

Рассказали по дороге девы обо всем -
О хозяине прекрасном, добром, молодом.

И не видевши ни разу юношу, она
Уж была в него - заочно - страстно влюблена.

А взглянула - видит: лучше, чем в рассказе, он:
Видит - золото, в рассказе ж был он посребрен.

Юношу лишил терпенья, жег любовный пыл.
Он со стройным кипарисом в разговор вступил.

"Как зовут тебя?" - спросил он. "Счастье", - та в ответ.
"Молви, пери, чем полна ты? - "Страстью!" - та в ответ.

"Кто красу твою взлелеял?" - Отвечала: "Свет!"

"Глаз дурной да не коснется нас с тобою!" - "Нет!"

"Чем ты скрыта?" - "Ладом саза", - девушка сказала.

"В чем твое очарованье?" - "В неге", - отвечала.

"Поцелуемся?" - спросил он. "Шесть десятков раз!"

"Не пора ли уж?" - спросил он. - "Да, пора сейчас!"

"Будешь ли моей?" - "Конечно!" - молвила она.

"Скоро ль?" - "Скоро", - отвечала юная луна.

Дальше сдерживать желанье не имел он сил.

Скромность он свою утратил, стыд свой погасил.

Как она свой чанг, за кудри гурию он взял.

Обнял стан ее и к сердцу горячо прижал.

Целовать он начал страстно сладкие уста -

Раз, и десять раз, и двадцать, и еще до ста.

Поцелуи распалили вожделенье в нем,

Запылала пуще жажда наслажденья в нем.

Он целебного напитка захотел испить,

Он живой воды в потоке захотел добыть.

Скажешь ты, что на онагра черный лев напал,
Всеми лапами онагра мощными подмял.

Но беседка эта ветхой, дряхлою была
И под тяжестью двойною трещяну дала.

И обрушилась внезапно, с треском развалясь.
Так не кончилось их дело дурно в этот раз.

Он раскаянья избегнул, хоть и был смущен.
Прянула она направо, а налево-он.

Чтобы люди их увидеть вместе не могли,
Вмиг они разъединились, в стороны ушли.

Скрылся юноша в чащобе лиственных купин;
Тосковал он и томился горько там один.

И к подругам воротилась тюркская луна,
Хмуря брови, сожалений искренних полна.

Музыкантшей и певицей девушка была;
Села грустная - и в руки чанг она взяла.

И из струн исторгла звуки. И у ней сама
Песнь сложилась, что влюбленных свесть могла б с ума:

"Пусть поет, рыдает чанга моего струна
Всем, кто болен тем недугом, чем и я больна.

Кто влюблен, тот в сердце носит тягостный недуг,
Я больна, неразделенной мукой я полна!

О, доколь скрывать я стану жгучую любовь?
Горе мне! - я говорю вам. Да - я влюблена!

Разума меня лишает, мучит страсть меня.
Нет терпенья мне. Любовью я опьянена.

Хоть влюбленных презирает этот злобный мир,
Но раскаянье?.. Об этом даже мысль грешна!

Грех раскаиваться в сильной, искренней любви!
Я раскаиваться в страсти сердцем не вольна.

Только тот влюблен, кто душу за любовь отдаст.
В мире истинным влюбленным гибель не страшна!"

Так она, в газели страстной сетуя судьбе,

Всю невольно разболтала правду о себе.

Те два перла, что держали нить в своих руках,
Смысл сокрытый понимали в песнях и стихах.

Поняли они, что грустен юноши удел,
Что меж ними там разлуки ветер пролетел.

И они нашли Юсуфа бедного того, -
Словно Зулейха, вцепились вновь они в него.

Повели они расспросы - что произошло?..
Рассказал он все, как было. Горе их взяло,

Что расставленные ими сети порвались.
И налаживать все дело вновь они взялись.

"Ночевать в саду придется нам сегодня всем.
Мы займемся лишь тобою, более - ничем.

А придумать уж сумеем повод мы любой, -
Никого мы не отпустим ночевать домой.

И наедине ты будешь вновь с луной своей.
И бери в свои объятия ты ее смелей!

Обнаруживает белый день дела людей, -
Все скрывает ночь завесой темною своей".

Так сказали и расстались эти девы с ним.
И скорей пошли к подругам молодым своим.

Только ночь куницей черной скрыла наконец
Вечер - красный, как буртасский шелковый багрец,

Только солнца гвоздь укрылся за чертой степей
И зажглась кольчуга ночи тысячей гвоздей,

Исполняя обещанье, девы те пришли
И хозяину тюрчанку-пери привели.

Тополь жаждущие корни окунул в волну,
Солнце знойное настигло робкую луну.

Рядом - гурия, и больше никого кругом, -
Тут пещерный бы отшельник согрешил тайком

Юношу любовь палящим вихрем обвила,
От желания в кипенье кровь его пришла.

То, о чем не подобает разговор вести,
Говорю тебе, читатель; бог меня прости.

С нею он свое желанье утолить хотел,
Он жемчужину рубином просверлить хотел.

Кошка дикая по ветке кралась той порой,
Наблюдая за мышиною земляной норой.

Кошка прыгнула и с шумом вниз оборвалась,
А влюбленным показалось, что беда стряслась,

Что неведомым несчастьем угрожает ночь...
И, вскочив, они в смятенье убежали прочь.

Бросили они друг друга, шума устрашась.
Посмотри: опять лепешка их недопеклась.

Грустная - к своим подругам девушка пришла,
Полная тоски сердечной, чанг она взяла

И запела песню, струны трогая рукой:
"Снег растаял. Аргаваны расцвели весной.

Горделиво стан свой поднял стройный кипарис,

И со смехом вокруг ограды розы обвились.

Соловей запел. Веселья вспыхнули огни.

И базара наслаждений наступили дни.

И садовник сад украсил, радующий взгляд.

И державный шах явился, осмотрел свой сад.

Чашу взяв, вина из чаши он испить решил.

Но упал внезапно камень, чашу ту разбил.

О, ограбивший мне сердце! Множишь только ты

Муки сердца. Дать мне радость можешь только ты.

Я стыжусь тебе признаться, как терзаюсь я,

Сердце без тебя уныло, жизнь темна моя!"

Знающие тайну лада этих грустных слоч

Тайну пери вновь узнали из ее стихов.

И печалась и вздыхая, двинулись опять

Эти девы в чашу сада - юношу искать.

Словно вор, укравший масло, страхом удручен,

Возле брошенной сторожки притаился он.

Там, где ивы нависали низко над ручьем,
Он лежал в глубокой муке, наземь пав лицом.

Еле-еле отозвался он на голос их,
Пораженный этим градом неудач своих.

Две наперсницы в тревоге повели расспрос,
И в досаде были обе чуть ли не до слез.

Но подумали: "Не поздно! Еще длится ночь..."
И пошли, чтобы влюбленным в деле их помочь.

Успокоили подругу, что, мол, нет беды...
И цветку послали кубок розовой воды.

Вот к возлюбленному пери та явилась вновь,
В ней еще сильней горела к юноше любовь.

За руку ее хозяин, крепко взяв, повел
В чащу сада и глухое место там нашел.

Где был густо крепких сучьев свод переплетен,
Будто на ветвях деревьев был поставлен трон.

Он красавицу в укромный этот уголок,
Нетерпением пылая, как в шатер, увлек.

Пышную траву, как ложе, для нее примял,
И, горя восторгом, к сердцу милую прижал.

Как жасмин - на саманидских шелковых коврах
Наконец была тюрчанка у него в руках.

Вновь он вместе был с прекрасной девой молодой.
Млея, роза истекала розовой водой.

Наконец была в объятьях у него луна.
Он ласкал ее. В обоих страсть была сильна.

Быстро кости продвигал он, клетки захватил,
Он соперницу, казалось, в нардах победил.

Миг один ему остался - крепость сокрушить
И бушующее пламя влагой потушить.

Полевая мышь на ветке, возле лежа их,
Подбиралась осторожно к связке тыкв сухих,

Что на дереве повесил садовод-старик.

Мышь веревку этой связки перегрызла вмиг.

На землю упала связка; раскатясь кругом,
Загремели тыквы, словно барабанный гром,

Будто грянул отступленья грозный барабан*
На ноги вскочил хозяин, страхом обуян.

С грохотом вторая связка наземь сорвалась -
И опять газель от барса вихрем унеслась.

А хозяин думал: "Стража в барабаны бьет,
Мухтасиб, стуча в литавры, с гирями идет..."

Бросив туфли, он в смятенье - тоже наутек.
Где бы спрятаться, искал он в чаше уголок.

Задыхаясь от испуга, трепеща, бледна,
К двум подругам прибежала бедная луна.

Время некое молчала; дух перевела,
В руки чанг взяла, завесу тайны подняла.

Так запела: "Я слыхала, смущена душой,
Что влюбленный повстречался с девой молодой.

Он желанного добиться от нее хотел,
Знойною объят любовью, истомлен тоской.

К сердцу юную тюрчанку он хотел прижать, -
Быть в объятиях кипариса лилии весной.

Яблоков ее, гранатов жадно он хотел,
Всей душою он тянулся только к ней одной.

Чтобы двери клада перлов наконец открыть,
Прикоснуться к тайной двери он хотел рукой,

Иву красную прозрачной кровью обогреть
И смешать на чистом блюде леденцы с халвой.

Вдруг напрасная тревога, страшный стук и гром...
Налетел и все развеял ветер ледяной.

По цветку в тоске остался робкий мотылек,

Умирающий от жажды - без воды живой.

Почему в неверном ладе песню ты ведешь?
Заиграй же в верном ладе наконец со мной!

Милый, ты в неверном ладе свой настроил чанг!

Но зато уж буду верно я играть с тобой!"

Лишь газель свою пропела пери, в тот же миг

Быстрый ум ее наперсниц правду всю постиг.

Снова обе побежали юношу искать,

Чтоб исправить и наладить их дела опять.

Страшно пристыжен, испуган, - где-то под кустом -

С вытянутыми ногами он лежал ничком.

Девы ласково беднягу подняли с земли

И расспросы осторожно, мягко повели.

Он ответил, что ни в чем он тут не виноват,

Что холодный адский ветер вторгся, видно, в сад...

А наперсницы, воскликнув: "Это ничего!" -

Все рассеяли сомненья в сердце у него.

Развязали этот узел живо. И - гляди -

Ожила опять надежда у него в груди.

В поучение сказали: "Опыт свой яви!

И настойчивее надо быть в делах любви!

Выбери небезопасней место для гнезда,

Чтоб напасть не прилетала новая туда.

Зорко вас теперь мы сами будем охранять,

Тут на подступах, как стражи, будем мы стоять".

И к подруге воротились и опять взялись

Уговаривать прекрасный, стройный кипарис.

Чтоб она набег свой тюркский совершила вновь,

Чтоб пошла и подарила юноше любовь.

И пошла она, всем сердцем юношу любя.

Увидав ее, хозяин позабыл себя.

Он за локоны, как пьяный, ухватил ее.

В угол сада потаенный потащил ее.

Там укромная пещера вырыта была, -

Куполом над ней сплетаясь, жимолость росла.

И жасмины поднимали знамя над стеной.

Сверху - заросль, а под нею - вход пещеры той.

Места лучшего хозяин больше не искал;

Местом действия пещеру эту он избрал.

Разорвав густую заросль, путь он проложил

И красавицу проворно за собой втащил.

Расстегнул на ней он платье, позабыв вро стыд.

Расстегнул и то - о чем мой скромный стих молчит.

Обнял эту роз охапку, все преграды смел...

И уверенной рукою приступ он повел.

Палочка не окунулась в баночку с сурьмой,

А уж свод горбатый новой занялся игрой;

Несколько лисиц в пещере пряталось на дне,

Чтобы позже на охоту выйти при луне.

Выследил их волк свирепый; голоден он был,

А на этих лис давненько зубы он точил.

В этот миг, прокравшись к лисам, начал он их рвать.

Лисы в ужасе от волка бросились бежать,

Выскочили из пещеры. Волк за ними вслед,

Прямо по чете счастливой, здесь не ждавшей бед.

Рухнул столп любви хозяйской. Рать увидел он,

На ноги вскочил он, визгом, лаем оглушен.

Весь в земле, в пыли, метался он по сторонам.

Что в его саду случилось - он не ведал сам.

В ужасе не понимал он, что ему начать,

Где спастись теперь не знал он - и куда бежать?

Девы, что взялись усердно помогать ему,

Что от всей души хотели счастье дать ему,

Что стояли, словно стражи, на его пути,

Милую его схватили, не дали уйти.

"Что за подлые уловки? - ей они кричат. -

Ах ты этакая! Бесы, что ль, в тебе сидят?

Долго ли еще ты будешь этак с ним шутить?

Иль по злобе хочешь вовсе в нем любовь убить?

Да ведь даже с незнакомым так шутить нельзя!

А тебе, злодейка, это извинить нельзя.

На какие ты уловки хитрые пошла,

Сколько раз его ты за ночь нынче прогнала?"

Та клялась, что невиновна, начала рыдать.

Но подруги не хотели клятвам тем внимать.

Услыхал хозяин звуки гневных голосов,

Подоспел - свечу увидел между двух щипцов.

Их упреки и угрозы услышал хаджа,

На лице любимой слезы увидал хаджа.

"Стойте! - крикнул он. - Не смейте больше обижать

Ту, что нужно, как дитяню, нежно утешать.

Берегитесь вы и знайте - нет на ней вины,

Но дела судьбы и в малом кознями полны.

Как ни ловок муж проворный на пути* земном

Но является он неба вечного рабом.

И сегодня нам не дьявол, а пречистый бог
Помешал и удержаться от греха помог.

Нам препятствия решило небо возвести,
И несчастьем преградило все оно пути.

Тот, кого с дороги правды див не совратит,
Сердцем чист. А чистый сердцем зла не совершит

Кто к греховному привязан от рожденья, тот
Стороною от дороги праведных идет.

Эту деву был бы каждый в жены взять счастлив.
Поступать нечестно с нею мог бы только див.

И неужто эту пери может оскорбить
Тот, кто мужествен, способен искренне любить!

По пути греха не может верный муж пойти,
Если встанет добродетель на его пути.

Если яблоню весною сглазит глаз дурной,
То никто плодов не вкусит с яблони такой.

Твари здесь на нас смотрели сотней тысяч глаз,
И поэтому не вышло ничего у нас.

Что прошло, - пускай. Не будем плохо поминать.
В том же, что осталось, должен честь я сохранять.

Клятвой тайною и явной здесь поклялся я,
Перед небом и землею обещался я:

Если ночь благополучно наконец пройдет
И охотницу добычей дичь сама возьмет, -

То отныне я пред богом обручаюсь с ней
И по всем законам брака сочетаюсь с ней".

Девушки его речами были смущены,
Набожностью столь примерной были сражены.

Две сообщницы склонились перед ним главой,
Воскликая: "Слава чистой совести такой,

Что посеяла благие в сердце семена,
Что дурному совершиться не дала она!

О, как много мнимых тягот видим мы кругом,

Что нежданно озаряют счастьем и добром!

О, как часто от несчастий человек храним
Тем, что горько называл он бедствием своим!"

А, когда светильник мира над горами встал
И сияньем с горизонта глаз дурной прогнал,-

Астролябии рассвета стрелка замерла
И столпы небес паучьей сетью оплела,

С ярким факелом в деснице ветер прискакал,
И хозяина из сада в город он умчал.

От непрошенных помощниц тех освобожден,
Вновь султана знамя поднял по-хозяйски он.

Но вчерашней ночи пламя тлеющим костром
Вспыхивало - и сильнее пламенело в нем.

В городской свой дом вернувшись, слово он сдержал.
Цели он своей немедля добиваться стал.

С той ночной луною браком сочетался он,
Уплатил калым достойный, как велит закон.

Чистый перл непросверленный лалом просверлил,
И когда петух проснулся, Рыбу усыпил.

Погляди: от птиц до Рыбы - и теперь и встарь -
Жаждут именно того же человек и тварь.

Он счастливец был, что воду чистую открыл,
И в дозволенное время сам ее испил.

Он нашел родник, как солнце чистый, - в нем -
добро, - Как жасмин чистейший, белый, словно серебро.

Происходит свет прекрасный дня - от белизны.
И от белизны небесной светел блеск луны.

Чистых нет цветов. С изъяном каждый в мире цвет,
Кроме белого, - в одном лишь в нем изъянов нет.

Все, что чистотой блистает, все, что запятнать
Невозможно, мы привыкли "белым" называть.

И в часы служений богу, перед алтарем
Вечного, мы в одеянье белом предстаем".

А когда жасминогрудой пери смолкла речь,
Шах Бахрам ее в объятья поспешил привлечь.

И таких ночей счастливых много славный шах,
Веселясь, провел в прекрасных тех семи дворцах.

И его высокий этот свод благословил,
И семи небес ворота перед ним раскрыл.

ХАКАН ПРОСИТ У БАХРАМА ПРОЩЕНИЯ

В день, когда хакан услышал о делах царя,
Отойти от зла решил он, благо сотворя.

Распря он закончить миром поручил послам,
Написал письмо, надеясь, что простит Бахрам.

Он писал: "Виновник смуты наконец казнен;
В нем был корень всех напастей, им я был смущен.

Он хитрил и льстил; он миру и тебе вредил.
Подлой ложью, на вражду он дух мой возбудил.

Простодушного - он ловко обманул меня,
На войну с тобой - 'великим - он толкнул меня.

Он писал: "Страна богата, путь тебе Открыт.

Как прочтешь письмо - не медли. Скорый - победит.

Шах страной не управляет, только пьет вино.

Все дела его - пустое хвастовство одно.

Я с тобой теперь на дружбу пояс повяжу,

Приходи с мечом, а шаха сам я поражу".

О твоих деяньях славных я, мой шах, узнал

И увидел, что изменник мне бесстыдно лгал.

В пору брани, в пору мира все вершит Бахрам,

Что великим подобает совершать царям.

Я, как прежде, раб твой верный. В Чине - у себя -

Я хакан. Но эфиопский раб я для тебя!

Дочь моя - раба, служанка твоего дворца;

Прах твоих порогов выше моего венца.

Все послания злодея, что писал он мне,

Где о падишахе мира дерзко лгал он мне,

Я свернул и отдал в руки преданных послов,

Чтобы их прочел великий царь мой и хосров".

А когда Бахрам те письма принял от гонца,

Их прочтя, он разъярился, как калам писца.

Воздал богу он, что правду наконец обрел.

Все дела рукою твердой в царстве он повел.

И когда в дурном и добром суть увидел он,

Справедливостью одною был Бахрам пленен.

Как красавицу, он правду страстно полюбил,

Отпустил он семь красавиц и о них забыл.

Корни всех других стремлений подрубил в себе,

Ради правды жил и счастлив был в своей судьбе.

ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕЛ БАХРАМА И ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЕГО В ПЕЩЕРЕ

Нанизавший лалы нити повести нетленной,

Что немолчным наполняет звоном слух вселенной.

Так сказал: "Когда семь башен, с чашами вина,

Перед шахом заключили сказок круг сполна,

Разум в куполе, что замком был его уму,

О летящем своде мира подал весть ему:

"Мудрый, удались от капищ идольских земли!

Убегай уничтоженья: вечному внемли!"

Этот голос у Бахрама дух воспламенил.

Шах от сказки и обмана взоры отвратил.

Видел: свертывают звезды бытия ковер,

Золотые своды замков превращая в сор.

Он семь куполов отвеял от очей, как сон;

В дальний - к куполу иному - путь собрался он.

Ведь один тот купол тленьем будет пощажен;

В нем до дня Суда правдивый дремлет, опьянен.

Семерых седых мобедов шах призвать велел,

Семь дворцов семи мобедам передать велел;

Вечный пламенник под каждым сводом засветил;

В храмы пламени жилища страсти превратил.

Стал шестидесятилетним старцем властелин;
Забелел в кудрях-фиалках седины жасмин.

Стал служить Бахрам, как богу, истине одной,
И чуждался неизменно радости земной.

Но однажды, чуждым ставший ловле и пирам,
С избранными на охоту выехал Бахрам.

Но не ловля, не добыча в степь царя влекла:
Сделаться добычей неба - цель его была.

Рать рассыпалась по степи. Каждый повергал
Или гура, или ланя. Лишь Бахрам искал

Одинокую могилу для жилья себе.
Убивал порок и злобу бытия в себе.

Не охотился на ланя, в лани - зло таится...
В солонцах, где лань к потоку в полдень не стремится

Вдруг онагр, резвей, красивей прочих, в облаках
Пыли показался, - мчался в сторону, где шах

Ждал его. Он понял: этот ангелом хранимый

Зверь - ему указывает неисповедимый

Путь в селения блаженных. Устремил коня

За онагром. И могучий - с языком огня

Схожий легкостью и мастью - конь его скакал

По пескам, глухим ущельям, среди пустынных скал.

Конь летел, как бы четыре он имел крыла.

А охрана у Бахрама малая была, -

Отрок или два - не помню. Вот - пещеру шах,

Веющую в зной прохладой, увидел в горах.

Кладзем зиял бездонным той пещеры зев.

И онагр влетел в пещеру; шах вослед, как лев,

В щель влетел, в пещере ярый продолжая лов;

Скрылся в капище подземном, словно Кей-Хосров.

Та пещера стражем двери стала для Бахрама,

Другом, повстречавшим друга в тайном месте храма.

Вдруг обвал пещеры устье с громом завалил

И Бахрамову охрану там остановил.

И хоть поняли: в пещеру эту нет пути,

Но обратно не решались отроки идти.

Вглядывались в даль степную, тяжело дыша, -

Не пылит ли войско в поле, шаху вслед спеша

Так немалое в тревоге время провели.

Наконец к ним отовсюду люди подошли,

Увидали: вход в пещеру камнем заслонен

И в мозгу змеи - змеинный камень заключен.

Отроки им рассказали все, что знали сами;

Как Бахрам влетел в пещеру, как потом камнями

Завалился вход. Не верил отроков словам

Ни один: "Глупцы-мальчишки вздор болтают нам!

Как слоноподобный телом богатырь Бахрам

Поместился в щель, где впору жить одним кротам?"

И не ведали, что, вещей увидавши сон,

В Индостан ушел скучавший на чужбине слон.

Он - слону подобный силой - скован роком был,

А расторгнуть цепи рока нет под солнцем сил.

Но чтоб местопребыванье шахское узнать,

Плетками юнцов несчастных начали стегать.

Громко закричали слуги, плача и божась,

Вдруг, как дым, из той пещеры пыль взвилась, клубясь

И раздался грозный голос: "Шах в пещере, здесь!

Возвращайтесь, люди! Дело у Бахрама есть".

Но вельможи отвалили камни и зажгли

Факелы и в подземелье темное вошли.

Видят: замкнута пещера в глубине стеной.

Много пауков пред ними, мухи - ни одной.

Сотню раз они омыли стену влагой глаз.

Шаха звали и искали сто и больше раз

И надежду истожили шаха отыскать.

И о горе известили государя мать.

И перед пещерным зевом стали, как змея,
Вереницею, в безмолвье реки слез лия.

И, истерзанная скорбью, мать пришла Бахрама.

И она искала сына долго и упрямо;

Сердцем и душой искала, камни взглядом жгла,
Розу под землей искала - острый шип нашла.

Кладезь вырыла, но к кладу не нашла пути;

В темном кладезе Юсуфа не могла найти.

Там, где мать, ища Бахрама, прорывала горы,-

До сих пор зияют ямы, как драконьи норы.

И пещерою Бахрама-Гура до сих пор

Это место именуют люди здешних гор.

Сорок дней неугомимо глубь земную рыли.

Уж подпочвенные воды в ямах проступили

Под лопатами, но клада люди не нашли.

Небом взятого не сыщешь в глубине земли.

Плоть и кость земля приемлет, душу - дар небесный -

Небеса возьмут. У всех, кто жив под твердью звездной,

Две есть матери: родная мать и мать-земля.

Кровная лелеет сына, с милым все деля;

Но отнимет силой сына мать-земля у ней.

Двух имел Бахрам богатых сердцем матерей,

Но земля любвеобильней, видимо, была:

Так взяла его однажды, что не отдала

Никому, ни даже кровной матери самой!..

Разум матери от горя облачился тьмой.

Жар горячечный ей душу иссушил, спалил.

И тогда старухе голос некий возгласил:

"О неистовствующая, как тигрица, мать!

Что несуществующего на земле искать?

Бог тебе на сохраненье клад когда-то дал;

А пришла пора - обратно этот клад он взял.

Так не будь невежественна, не перечь судьбе,

С тем простишь, что рок доверил временно тебе!

Обратись к делам житейским. Знай: они не ждут.

И забудь про горе, - это долгий, тщетный труд..."

И горюющая гласу вещему вняла;

От исчезнувшего сына думы отвела,

Цепи тяжких сожалений с разума сняла

И делами государства разум заняла.

Трон и скиптр Бахрама-Гура внукам отдала.

В памяти потомков слава их не умерла:

Повествующий, чье слово нам изобразило Жизнь

Бахрама, укажи нам - где его могила?

Мало молвить, что Бахрама между нами нет,-

И самой его могилы стерт веками след.

Не смотри, что в молодости именован тавром

Он клеймил онагров вольных на поле! Что в том?

Ноги тысячам онагров мощь его сломила;

Но взгляни, как он унижен после был Могилой.

Двое врат в жилище праха. Через эти - он
Вносит прах, через другие - прах выносит вон...

Слушай, прах! Пока кончины не пришла пора:
Ты - четыре чашки с краской в лавке маляра.

Меланхолия и флегма, кровь и желчь, от ног
До ушей, как заимодавцы, зиждут твой чертог

Не навечно. И расплаты срок не так далек.
Что ж ты сердце заимодавцам отдаешь в залог?

Умершие, что в могиле темной лица скрыли,
Взятый в долг свой цвет и запах персти воротили.

И до дня Суда, години грозной и великой,
Ни один из них живущим не откроет лика...

Нашей жизни ночь - опасность; на путях у нас
Страх, и страж уснул, и шарит вор в домах у нас.

Пусть землю обольщенный землю ест. Но что ж,
Сильный, ты ножу слабейших сердце предаешь?

Хочешь, чтоб тебе подвластно стало небо, - встань

И, поправ его пятою, над землей воспрянь!

Не оглядывайся только, - в высоту стремясь
Неуклонно, - чтоб на землю с неба не упасть.

Твой кушак - светило неба. Ты - Танкалуша
Звездных ликов. Цепи снимет с них твоя душа.

В каждом лике, как в зеркале, сам витаешь ты.
Что же знаменьями тайны их считаешь ты?

Но хоть ты от ощущений звезд всегда далек, -
Дух твой, разум твой навеки светы их зажег.

Кроме точки изначальной бытия всего,
Все иное- только буквы свитка твоего.

Знай: ты страж престола бога и его венца.
Ведома тебе дорога мудрости творца.

Ты гляди на добродетель, только ей внимли,
Не уподобляйся гаду, что ползет в пыли.

Помни: все, чем обладаешь, - ткали свет и тьма.
Помни: все, чего желаешь, - яркий луч ума!

О, скорей от рынка скорби отврати лицо!

Огонь, вода, земля и воздух здесь свились в кольцо.

Хоть четыре дымохода в хижине, - тесна

И темна для глаз и сердца и душна она.

Две есть двери в мире, словно в воровском дому.

Этот мир мы тащим, словно странничью суму.

Помни: до того, как будешь изгнан из села, -

Собери свои пожитки и навьючь осла.

В путь возьми с собою душу, тело позабуди:

Тело - тяжкий груз, и труден будет дальний путь.

В мир вступая, ведай: скоро должен ты уйти Прочь.

Так будь же осторожен на своем пути

Через этот мир. Умом он быстрым наделен, -

Медленный в борьбе с тобою, быстр в убийстве он.

Пусть неправомерно пленник будет им убит, -

В списке смерти ни единый им не позабыт.

Хоть сто тысяч раз сыграешь ловко, - все равно
Благ земных не вкусишь больше, чем предрешено.

Льдом окованный, есть в чаше неба водоем.

Чтобы не застыть навеки в дивно ледяном

Воздухе высот, куда мы скоро отойдем, -
Надо сделаться живыми, прежде чем умрем!

Царь земной, стоящий в славе, словно небосвод,
В час негданный утратит славу и умрет.

Никому не подначальный мир убил его;
Ни за что - бегущим диском раздавил его

Но росы медвяной капли с терна бытия
Смертный, собирай - покамест длится жизнь твоя,

Чтоб о них у двери мрака ты не пожалел -
В час, когда исторгнут душу меч и жала стрел.

Ты отринь отраду мира, прежде чем уйти
В смерть, чтобы успеть от смерти душу унести.

Человек двумя делами добрыми спасет

Душу: пусть дает он много, мало пусть берет.

Много давшие - величья обретут венец.

Но позор тебе, обжора алчный и скупец.

Только тот достоин вечной славы, кто добра

Людам хочет, ценит правду выше серебра.

Можно ль привязаться к службе, - даже у царей, -

Что беременна опалой близкою твоей?

Не гляди на взлет надменный башни в облаках,

Помни, что и эти стены превратятся в прах.

Что ты мнил своим минбаром - плахою твоей Делается.

Что ж робеешь? Будь смелей пред ней!

Смертный пусть до звездной сферы вознесет венец,

Но земное вниз земного свергнет наконец.

Пусть хосров, достигнув неба славою дел своих,

Дань берет с семи великих поясов земных, -

Все же в некий день увидишь мертвым и его,

Обездоленным, лишенным на земле всего.

Нападений тьмы избегнуть не вольна земля.

На сокровищнице мира бодрствует змея.

Сладкий сок имеет финик и шипы свои.

Где целительный змеиный камень без змеи?

Все, что доброго и злого судьбы нам дарят, -

Это суть: услада в яде, и в усладе яд.

Был ли кто, вкусивший каплю сладкого сначала,

Вслед за тем не ощутивший мстительного жала?

Мир, как муха, у которой медом впереди

Полон хоботок; а жало с ядом - позади.

Боже! Дай всегда идти мне правильным путем,

Чтобы мне раскаиваться не пришлось потом!

Двери милости отверзни перед Низами!

Дом его крылом - хранящим в бурю - обними!

Дал ему сперва ты славу добрую в удел;

Дай же под конец благое завершение дел!

Низами Гянджеви

ИСКЕНДЕР-НАМЕ

В ДВУХ КНИГАХ

Перевод с фарси – К. Липскерова

КНИГА I

ШАРАФ-НАМЕ

(КНИГА О СЛАВЕ)

НАЧАЛО РАССКАЗА И ИЗЛОЖЕНИЕ ИСТИНЫ О РОЖДЕНИИ ИСКЕНДЕРА

Воду жизни, о кравчий, лей в чашу мою!

Искендера благого я счастье пою.

Пусть в душе моей крепнет великая вера

В то, что дам сей напиток сынам Искендера!

Тот, кто царственной книгой порадует вас,
Так, свой стих воскрешая, свой начал рассказ:

Был властитель румийский. Вседневное счастье
К венценосцу свое проявляло участие.

Это был всеми славимый царь Филикус.
Услужал ему Рум и покорствовал Рус.

Ионийских земель неустанный хранитель,
В Македонии жил этот славный властитель.

Он был правнук Исаака, который рожден
Был Якубом. Края завоевывал он.

Чтил все новое, думал о всем справедливом, —
И с овцой дружный волк был в те годы не дивом.

Так он злых притеснял, что их рот был закрыт,
Что повернул он Дария в зависть и в стыд.

Дарий первенства жаждал, и много преданий
Есть о том, как с царя он потребовал дани,

Но румиец, правленья державший бразды,

Предпочел примиренье невзгодам вражды:

С тем, которому счастье прислуживать радо,

В пререканье вступать неразумно, не надо.

Он послал ему дань, чтоб от гнева отвлечь, —

И отвел от себя злоумышленный меч.

Дарий — был ублажен избытком дара.

Царь — укрыл нежный воск от палящего жара

Но когда Искендера година пришла,

По-иному судьба повернула дела.

Он ударил копьем, — и, не ждавший напасти,

Дарий тотчас утратил всю мощь своей власти

Старцы Рума составили книгу свою

Про отшельницу, жившую в этом краю.

В день, когда материнства был час ей назначен

Муж был ею потерян и город утрачен.

Подошел разрешиться от бремени срок,

И мученьям ужасным обрек ее рок.

И дитя родилось. И, в глуши умирая,
Мать стонала. Тоски ее не было края:

«Как с тобой свое горе измерим, о сын?
И каким будешь съеден ты зверем, о сын?»

Но забыла б она о слезах и о стоне,
Если б знала, что сын в божьем выкормится лоне

И что сможет он власти безмерной достичь
И, царя, обрести тьму бесценных добыч.

И ушла она в мир, непричастный заботам,
А дитяти помог нисходящий к сиротам.

Тот ребенок, что был и бессилен и сир,
Победил силой мысли все страны, весь мир.

Румский царь на охоте был вмиг опечален,
Увидав бедный прах возле пыльных развалив

О беспомощность! К женщине мертвой припав,
Тихий никнет младенец меж высохших трав,

Молока не нашедший, сосал он свой палец,
Иль, в тоске по ушедшей, кусал он свой палец..

И рабами царя — как о том говорят —
Был свершен над усопшей печальный обряд.

А ребенка взял на руки царь, — и высоко
Приподняв, удивлялся жестокости рока.

Взял его он с собой, полюбил, воспитал, —
И наследником трона сей найденный стал.

Все же в древнем дихкане была еще вера
В то, писал он, что Дарий — отец Искендера.

Но сличил эту запись дихкана я с той,
Что составил приверженец веры святой, —

И открыл, к должной правде пылая любовью,
Что к пустому склонялись они баснословью.

И постиг я, собрав все известное встарь:
Искендера отец — Рума праведный царь.

Все напрасное снова отвергнув и снова,

Выбирал я меж слов полновесное слово.

Повествует проживший столь множество дней,

Излагая деянья древнейших царей:

Во дворце Филикуса, на царственном пире

Появилась невеста всех сладостней в мире.

Был красив ее шаг и пленителен стан,

Бровь — натянутый лук, косы — черный арка!

Словно встал кипарис посреди луговины.

Кудри девы — фиалки, ланиты — жасмины.

Жарких полдней пылала она горячей...

Под покровом ресниц мрело пламя очей.

Ароматом кудрей, с их приманкою властной, Переполнился пир, словно амброю страстной.

Царь свой взор от нее был не в силах отвлечь,

Об одной только дивной была его речь.

И в одну из ночей взял ее он в объятья,

И настал в жаркой мгле миг благого зачатья.

Словно тучей весенней повеяла мгла
И жемчужину в глуби морской зачала.

Девять лун протекло по стезям небосклона,
Плод оставил в свой час материнское лоно.

В ночь родин царь велел, чтоб созвал звездочет Звездочетов, — узнать, как судьба потечет,
Чтоб открыл ему тайну, чтоб в звездном теченье Распознал звездных знаков любое значенье.

И пришел предсказателей опытных ряд,
Чтоб взглядеться в тот мир, где созвездья горят.

И, держа пред собой чертежи и приборы,
На движенья светил старцы подняли взоры.

В высшей точке горело созвездие Льва,
На предельный свой блеск обретая права.

Многозвездный Овен, вечно мчащийся к знанью, Запылав, устремился от знанья к деянью,

Близнецы и Меркурий сошлись, и, ясна,
Близ Тельца и Венеры катилась луна.

Плыл Юпитер к Стрельцу. Высь была не безбурна. Колебало Весы приближенье Сатурна.

Но воинственный Марс шел и шел на подъем
И вступил в свой шестой, полный славою, дом.

Что ж мы скажем на то, что явили созвездья?
Небу — «Слава!» Завистникам — «Ждите возмездья

Не дивись же, что звездным велениям в лад
Из ростка распустился невиданный сад.

Звездный ход был разгадан по древним примерам,—
И пришедшего в мир царь назвал Искендером.

Ясно старцам седым семь вещали планет,
Что возьмет он весь мир, что преград ему нет.

Все сказал звездочет обладателю Рума,
Чтоб ушла от владыки тревожная дума.

В предвкушении благ, славой сына прельщен
Казначея призвав, сел владыка на трон.

В светлом сердце царевом тревоги не стало,
И просящим он роздал сокровищ немало.

Славя Месяц душистый, надежд не тая,
Пил он сладкие вина в саду у ручья.

ОБУЧЕНИЕ ИСКЕНДЕРА

Дай мне, кравчий, с вином сок целительных трав:
Хоть стремился я в рай, пил я горечь отрав!

Иль всплывет мой челнок, верный путь выбирая,
Иль пойду я на дно и достигну я рая.

И подрос кипарис, и негаданно рано
Встал на ножки, ступая красивой фазана..

Он из люлечки к луку тянулся; к коню
Он с постельки бросался, подобный огню.

У кормилицы стрел он просил, и в бумагу
Или в шелк он стрелял. Проявляя отвагу,

Вырос крепким, и, отроком ставши едва,
Выходил он с мечом на огромного льва.

И в седле властно правил он, будто заране
Он бразды всего мира сжимал в своей длани.

Отвергающий алчности шумный базар,
Принимает весь мир, как живительный дар.

Он достаток найдет, — нет блаженной удела,
Чем нести мерный труд ежедневного дела.

Будет радость ему долгим веком дана,
Если сдержит он ход своего скакуна.

Он добро расточать не желает без счета
И не ведает скупости вечного гнета.

Все жалеть — это жить в тесноте и с трудом.
Ничего не жалеть — бросить в печку весь дом.

Делай благо себе и родимому дому
Только так, чтоб не делать плохого другому.

Летописец дихканов из книги о них
Взял рассказ, — и его я влагаю в свой стих.

Филикус, осененный судьбою удачной,
Разодевший все царство в наряд новобрачный,

Мудрым сыном был горд; был обрадован он
Тем, что честью владык Искендер наделен,

Что в очах Искендера сиянье блистало
То, которым блистать его сану пристало.

Всех достойных отцов тем гордятся сердца,
Что достоинства сына достойны отца.

«За науки, мой сын! Высшей ценности камень
Только после граненья проявит свой пламень».

Никумаджис премудрый — а был он отцом
Аристотеля — начал занятия с юнцом.

Сердце отрока речи премудрой внимало,
И наук изучаемых было немало.

Строй всех царственных дел, изощренность искусств, — Все для силы ума, для подвижности чувств.

Царский сын привыкал к тем наукам служенью, Размышленье над коими — путь к постиженью.

Мудрый старец жемчужину мира повел
В полный славы всезвездной возвышенный дол.

Он открыл ему высшее. Много ли встретим
Тех, кому довелось открывать это детям?

Целый год достославный царевич свой слух
Лишь к наукам склонял; был он к прочему глух.

Острым разумом в глуби наук проникая,
Он блистал, острословьем людей увлекая.

Аристотель, с царевичем вместе учась,
Помогал ему; крепла их братская связь.

Были знанья отца не к его ли услугам?
И делился он ими с внимательным другом.

Никумаджис-наставник увидеть был рад,
Что рассудок царевича — блещущий клад,

И усилил старанье он в деле науки,—
Ведь сокровища клада дались ему в руки!

Видя небом царевичу данный указ,
Он проник в него зоркостью пристальных глаз.

Пожелав, чтоб и сын упомянут был тоже

В том указе, который всех кладов дороже, —

Вместе с сыном вступил он под царственный кров

С речью важной и полной пророческих слов:

«Ты возрастешь до небес и тебе станет ведом

Путь на быстром коне от ученья к победам.

Всех неправых мечом ты заставишь молчать,

Ты свою в целый мир скоро вдавишь печать.

О державе твоей будут сонмы преданий,

Семь кишверов тебе вышлют пышные дани.

Все державы земли сделав царством одним,

Применшь в руки весь мир, вечным счастьем храним.

Вот тогда-то припомни былые уроки,

Жадность брось — от нее все иные пороки.

Почитая меня, с моим сыном дружи,

Ты почтенье свое и ему окажи.

Согласуй с его мнением дела своей славы,

Ибо мудрый советник дороже державы.

Ты — счастливый, а в нем — верных знаний полет.

Для счастливого знающий — лучший оплот.

Там, где ценится знание, — недремное счастье

Тотчас в звездах правителя примет участие.

И удача, сверкая, умножит свой свет,

Если примет от мудрости должный совет.

Чтоб достигнуть луны многославным престолом,

По ступеням науки всходи ты над долом».

И царевич дал руку учителю в знак,

Что он выполнит все. И он вымолвил так:

«Верь, лишь только свой трон я воздвигну над миром
Сын твой будет моим неизменным везиром.

Я советов его не отвергну, о нет!

Размышляя, приму его каждый совет».

Да! Когда для него стало царство готово,

Искендер, воцарившись, сдержал свое слово.

Разгадал Никумаджис — глава мудрецов, —

Что дитя это сломит любых гордецов,

И чертеж ему дал, — тот, в котором для взора

Были явственны знаки побед и позора.

«Все, — сказал он, — исчисля, вот в эти лучи

Имя вражье и также свое заключи.

В дни войны ты все линии строго исследуя,

Узнавая, чей круг обозначен победой.

Увидав, что врагу служат эти черты,—

Устрашайся того, кто сильнее, чем ты».

Мудрый труд почитая услугой большою,

Взял чертеж Искендер, с благодарной душою.

И в грядущем, среди бурных и радостных дней,

Он заранее знал о победе своей.

Так он жил, преисполнен огня и терпенья,

И котлы всех наук доводил до кипенья.

И затем, что он к мудрости был устремлен,

О всех старцах премудрых заботился он.

В деле каждом считался он с мастером дела, — Потому-то удач и достиг он предела.

А царевича сверстник, наперсник и друг
Изучал всех искусств обольстительный круг.

Очень ласковым был он всегда с Искендером,
В дружелюбие служа ему должным примером.

И не мог без него Искендер повелеть
Даже слугам на вертел насаживать снесь.

К Аристотелю шел он всегда за советом,
Все дела озарял его разума светом,

И над высями гор продолжал небосвод
Свой извечный, крутящийся, медленный ход,

И ушел Филикус из пристанища праха,
И наследного свет заблистал шахиншаха.

Что есть мир? Ты не чти его смертных путей.
Уходи от его кровожадных когтей.

Это древо с шестью сторонами четыре

Держат корня. Мы, пленники, распяты в мире.

Веют вихри, и листья на дереве том
Увядают, — и падают лист за листом.

Любование садом земным скоротечно.
Нет людей, что в саду оставались бы вечно.

И возрастают посевы своею чредой.
Всходит к небу один, смотрит в землю другой.

Ты желаешь иль нет, — здесь не будешь ты доле,
Чем другие. Не думай о собственной воле!

У людей своевольных — так было досель —
На базаре воры вырезают кошель.

Ты у мира в долгу — всех гнетет он сурово.
Что ж! Отдай ему долг и уйди от скупого.

Шорник шел с кузнецом. Их задача была
Получить старый долг от больного осла.

Сбросил серый седло со спины своей хилой,
С ног подковы стряхнул с неожиданной силой.

И, свободно дыша, все отдавши долги,
Отдохнул. Смертный! Так же себе помоги!

Пылен путь бытия. Без печали и страха
Кинь свой долг и уйди от пылящего праха.

ИСКЕНДЕР ВОСХОДИТ НА ТРОН ОТЦА

Вновь забвенья хочу! Дай мне, кравчий, вина,
Чтоб сверканьем была эта чаша полна!

Дай вина, что играет, с невзгодами споря,
Что врачует сердца изнуренных от горя!

Тот, кто смел на слова налагать свой запрет,
Разломил на базаре немало монет.

Подбирать их, поверь, мне была неохота,
Я ведь знал: это — медь, хоть на ней позолота.

Если б вел я свой перст по ошибкам других,
Все бы знали, что им не покорствуем стих.

Но моя так прочна и надежна опора,

Что не хочет мой перст ни укоров, ни спора.

Хоть моих зложелателей знаю дела,

Никому не желаю ни горя, ни зла.

Чашу с ядом я пью и в томленья глубоком

Я ищу добродетели, спорю с пороком.

По пути своему, что был труден и благ,

Я ступал, и всегда был уверен мой шаг.

Я дубил эту кожу, трудясь без обмана,

Чтоб на ней ни следа не осталось изъяна.

И всечасно молюсь я на этом пути,

Чтоб господь не позволил с него мне сойти.

Тот, кто чертит рисунок, достойный черченья

(Только точный рисунок исполнен значенья),

Так намерен свой новый рисунок начать:

На весь мир налегла Искендера печать,

Вновь румийский венец засверкал, — и повсюду Правосудье царя стало ведомо люду.

Все, что было отцом установлено, он,
Обсуждая, вводил в обновленный закон.

Соблюдая незыблемо все договоры,
Не расширил границ и не вызвал он ссоры.

Все цари, Филикусу подвластные, с ним
Не хотели войны; мир был всюду храним.

То же золото Дарию слал он, что встаре
Получал от отца его сумрачный Дарий.

И быстрее, чем отец, привлекал он сердца,
И бросал всех он в трепет быстрее отца.

И хоть в силе достиг наивысшей он грани,
Не с кем было померяться силою длани.

Мощь руки Искендера была такова,
Что вязал он узлом ухо мощного льва.

Веселясь, вскинув лук, предназначенный к бою,
Сотни стрел сн метал с быстротою любою.

Лишь охоту на львов себе ставил он в честь,

Хоть им сбитых онагров нельзя было счесть.

Он храбрейших дивил и — вещают сказанья —

Что мудрейших сражал он обилием знанья.

И чертой своей черною первый пушок,

Словно мускусом, щеки его обволоок.

И сей мускус, владыку чертой своей теша,

Зачеркнул все черты очертаний Хабеша.

Да! Когда всех границ рассечет он черты,

Чертежей всего мира порвутся листы.

Был могуч его стан, сердце знаньем блистало.

Лишь подобным ему быть на троне пристало!

Все, чего он искал, все, чего он хотел,

Дивной помощью звезд получал он в удел.

Стал курильницей Рум, полный блеска и славы.

Будто бросили в Рум ароматные травы.

В каждом доме изваянный был Искендер.

О румийском царе ведал каждый кишвер.

То свои он являл для собрания тайны,
То один проникал в мироздания тайны.

На пирах пил вино меж веселых юнцов,
В одиночестве помнил слова мудрецов.

Столько дел милосердья свершил он, что людям вспомнить все не дано; исчислять их не будем.

Он решал только то, что другим не во вред.
Он в решениях шел правосудию вслед.

Снял он подать с купцов; в довершение помощи
С горожан приказал снять повсюду налоги.

Все поборы с дихканов сложил, и дары
Нес он бедным, не знавшим счастливой поры.

Тратя денег на зданья за грудую груду,
Он все терны подсек, — розы были повсюду.

Снял он подать с купцов; в довершение помощи
Внес в Хабеш и Египет благой аромат.

Были руки его, словно молнии в туче.

Та — с венцом, эта — меч поднимает летучий.

Руки — чаши весов, та и эта нужна:

Эта — золотом, та — вся железом полна.

На престоле своем он, внимающий многим,

То как золото сиял, то железом был строгим.

Он был столь справедлив, столь сиял его ум,

Что весь мир восклицал: «Как блаженствует Рум!»

Аристотель, придворный советник, о друге

Ведал все: о делах его знал, о досуге.

Искендер слушал мудрого каждый совет,

Потому-то так скоро прошел он весь свет,

Если властный велик и советник на славу,-

Весь последует мир их благому уставу.

ДАРИЙ ТРЕБУЕТ ОТ ИСКЕНДЕРА ДАНЬ ОТВЕТ ИСКЕНДЕРА

Кравчий! Чашу, как яркое зеркало, дай!

Ее место в руке! Как блестит ее край!

Выпью чашу, — и стану властней Кей-Хосрова!

И увижу весь мир, если выпью я снова.

* * *

Поспеши! От неправды ладони омой!

Будь правдив, чтоб указ этот выполнить мой!

Для чего у земли твоя служба радива?

Это — гулей дорога, пристанище дива.

Мир отнимет, что дал мне за много годин,

Он давал — по глоткам, а отнимет — кувшин.

Так вода дождевая сберется, и вскоре

Обратится в поток, убегающий в море.

Так пойдем, будем веселы, друг мой! Зачем

За дирхемом беречь каждый новый дирхем?

Смерть предстанет в пути... с ней не сыщется слада, Что ж не сыпать нам золото нашего клада!

Ведь Карун, все сокровища мира собрав,

Все же скрылся в земле под покровами трав.

В сад Шеддада внесли кирпичи золотые.
Но пресек смертный час его грезы пустые.

Нет деревьев на свете, которых вовек
Топором не ударит седой дровосек.

* * *

Описавший престол, и венцы и уборы,
Начал так: славный царь, все прельщающий взоры,

В некий день, полный неги, среди опахал
От превратностей рока в тиши отдыхал.

То с пустой был он чашей, то, лалом играя,
Наполнялась та чаша до самого края.

Был он мудрости друг. Был он знанью сродни.
Мудрецы были с ним. Не хмелели они.

И, внимая звучанью различного лада,
Разрешать все вопросы была их услада.

Искендеру, сидевшему с чашей вина,

Толковал звездочет всех светил письмена.

И сверкали все чаши, как в молнийном блеске.

В винах сладость была, и веселье — в их плеске

У внимающих струнам кружились умы

И от песен полны были сладостной тьмы.

Слезы чаш воскрешали печали, и стона

Был исполнен сладчайший напев органон;

О смычки! От их сладких ударов смогло

Переполниться влагой сухое русло.

И в чертоге, который от края до края

Был в цветах, словно сад благодатного рая,

Искендер-повелитель, хранимый судьбой,

Возвышался, как месяц в ночи голубой.

Появился гонец, послан Дарием. Словом

Он владел, был он знатен, казался готовым

На почтительность. Выполнив рабский поклон, Восхвалил Искендера и Дария он.

И румийца прославив и блеск его сана,
Начал он излагать пожеланья Ирана.

«Дарий шлет свой привет, — он промолвил, — и царь Просит дани, ему посылавшейся встарь.

Почему ожерелья, венцы и каменья
К нам отправить опять не дал ты повеленья?

Или немощь увидел ты в наших делах,
Что оставил тебя твой почтительный страх?

Ты к былому вернись. Наш указ тебе ведом.
Приведет тебя спесь к неожиданным бедам».

Запылал Искендер... И, внезапен и яр,
Пламень сердца словам да неистовый жар.

Так царя Искендера нахмурились брови,
Что посланец запнулся на прерванном слове, —

И, увидев такой непредвиденный гнев,
Он с трепещущим сердцем стоял, побледнев.

Лютым жаром охвачен был царь, и досаду
Изливая, рассудка забыл он преграду.

Много слов он сказал, устранивших гонца,
Как порой говорит обладатель венца.

У кого есть решенья благая основа, —
Тот, забывшись, не скажет излишнего слова

Если можешь ты в ярости сдерживать речь, —
От врагов ты сумеешь себя уберечь.

Хоть бы в речь свою вплеп ты слова величанья,
Все же речь твоя будет опасней молчанья.

Ведь «язык твой из мяса, — я слышал слова, —
Из железа — клинок». Поговорка права.

Коль не прячешь ты гнева, горящего в жилах,
То себя самого охранять ты не в силах.

Некий муж, что от Кея вел славный свой род,
Описал всех событий стремительный ход:

В дни, когда драгоценности, шлемы, престолы
Посылались из Рума в иранские доли,

Золотое яйцо, это ведал посол,
Меж даров жадный Дарий однажды нашел.

И ковер, шитый золотом, послан был тоже, —
Тот ковер, что казался всех кладов дороже.

И лишь поднял гонец слов настойчивых меч
И о дани былой вновь повел свою речь,

Закричал повелитель всех смертных созданий:
«У всеславного льва ты потребовал дани!

Все иначе пошло! Дней не стало былых!
Нет уж более в гнездах яиц золотых!

И ковры эти древние свернуты роком!
Не мечтай, что бывшее вернешь ненароком!

Не всегда из горы добывают рубин,
Мир — то в мире, то — в громе военных годин.

Длительная заносчивой речи тебе не пристало!
Иль желаешь, чтоб снова железо блистало?

Счастлив будь, что мечом я железным твой трон

И не тронул, — что все еще держится он!

Если, выйдя на Зинджей поспешным походом,
Не подверг твое царство я бранным невздам, —

Ты, довольно сокровищ приняв от меня,
Должен дать мне покой! Или с этого дня

Буду мыслить о схватке вседневно, всечасно.
Не влеки меня к этому! Это опасно.

Я отрину любовь! Узришь ты, побледнев,
Мою грозную власть, мой играющий гнев!

Иль забыто тобою, безумным владыкой,
Что за головы снес я в пустыне великой,

И в какие пределы водил я войска,
И каких силачей бьет вот эта рука?

Тот, кто слал тебе в дар и венцы и каменья,
Не пошлет тебе дани, как знак униженья.

Меч египетский мой ты увидишь, — не дань!
Ты о золоте, царь, говорить перестань.

В неоглядную даль я простер свои длани,
Только равный с меня мог бы требовать дани!

Грозной смуты не сей, своей спеси не дли, —
Или станешь бедой для иранской земли.

Тебе мир и покой и достаток подарен, —
Так не будь за блага эти неблагодарен.

Сохрани свой Иран, пожалей свои дни,
Мысли праздные быстрым пером зачеркни.

Ты за данью послал, — труд свершил ты напрасный,
С властным ты говоришь, — будь почтителен, властный»

Это выслушав слово, иранский посол
Позабыл пожеланье, с которым пришел.

В своем сердце почувствовав тяжкую рану,
Он сейчас же помчался к родному Ирану.

И когда у престола отчет был им дан,
Он увидел: высокий сгибается стан.

И гонца устрасил своим яростным криком
Грозный Дарий, вскипевший во гневе великом¹.

«Он мне равен! Он Дарию равен? О нет!
С его именем нету на свете монет».

Столько злости и жгло и терзало владыку,
Что желтело лицо у внимавшего крику.

Но со смехом внезапным царь вымолвил ;«Вот
Что решился творить голубой небосвод:

Дел, подобных сему, свет не видывал встаре.
Искендер захотел, чтоб унился Дарий!

Искендер!.. Хоть бы Кафские встали хребты!
Кто взнесется, скажи, до моей высоты?

Хочет мошка с орлом состязаться! На горе!
Он — мельчайшая капля, я — мощное море!»

И немедля посла вновь отправивши в Рум,
Стал ответа он ждать, был он тих и угрюм.

Он и мяч и човган дал в дорогу вельможе,

Хмурясь, мерку кунжута послал он с ним тоже.

Тайну этого дара открыл он послу,
И зажгла злая радость очей его мглу.

И посол вновь помчался знакомой дорогой,
Чтоб исполнить, что следует, с точностью строгой.

Но когда пред румийским предстал он царем,
Весь он вспыхнул в смущенье неожиданным огнем..

И, чело опустив, он склонился с поклоном
И простерся, как раб, перед блещущим троном.

И затем стал плести он словесную нить,
Чтоб сладчайшею речью слух царский пленить:

«Повелители мира дают повеленья,
Посылают послов лишь для их выполнения.

Что исполнить велишь, повелитель земли?
Все твой выполнит раб, распростертый в пыли...»

Но постиг Искендер: что-то скрыто за лестью.
И явился посол с неотрадною вестью.

Закричал он послу: «С чем ко мне ты пришел?»

И словесную нить вмиг распутал посол.

Привезенные вещи под пристальным взглядом

Он достал и с собой положил он их рядом.

Открывая подарок для царственных глаз,

Выполнять он стал Дария строгий наказ.

О човгане с мячом речь повел он сначала:

«Ты — дитя, а дитяти забава пристала.

:

Ну, а если ты все же затеешь войну, —

Лишь тревогу ты сыщешь, тревогу одну!»

И рассыпав кунжут, он промолвил проворно:

«Чтоб войска мои счесть, — сосчитай эти зерна».

Но увенчанный славой властитель царей

Разгадал предвещанье победы своей.

«Так, — промолвил он, — притча могла бы начаться: Ловит ловкий човган то, что может умчаться.

Может статься, затем он послал мне човган,

Чтобы я у него взял човганом Иран.

Мне дарованный мяч не сочту за обиду, —
Скажет каждый мудрец: схож с землей он по виду.

Если в руки земной мне вручается шар,
Значит первенство в мире мне послано в дар».

Так он понял значенье игры, — потому-то
Стало ясно ему и значенье кунжута.

Он сказал, разбросать повелевши кунжут:
«Пусть ко мне во дворец тотчас птиц принесут».

И хоть всюду кунжутом был пол разузoren,
Во мгновенье не стало разбросанных зерен.

Царь сказал: «Это знаменье мне не во зло.
Из кунжута, как масло, оно истекло.

Коль войска твои — этот кунжут, вереницы
Моих войск исключают их, как эти вот птицы».

Дал он мерку зерна мелкой руты тому,
Кто доставил кунжут, и промолвил ему:

«Если множество войска у Дария, — ведай,
Сколько войск я сберу, чтоб вернуться с победой».

И посол, увидав, что сгущается мгла.
Вмиг навьючил поклажу свою на осла.

Вновь опасность над ним свою руку простерла.
Стала речь его ядом, сжимающим горло.

Тяжко Дарий смущен был ответом: гласил
Он о мощном обилии вражеских сил.

И поддержки иранцев потребовал Дарий,
Чтоб всю мощь проявить в своем крепком ударе.

И от Гура, Китая, Хорезма, Газны
Стали конниц железных подковы слышны.

Крепче Кафской горы взял он рати: могли бы
Мять железо они, скал раскалывать глыбы.

Пожелавшие войско прикинуть на счет,
Увидали, что войско течет и течет.

Лишь одних легкоконных, идущих отрядом,
Девятьсот было тысяч. Под сумрачным взглядом

Полновластного Дария, — словно волна
За волною текла; вся бурлила страна.

Шел он в Рум. Шел по странам путем он суровым, Оставляя развалины, годные совам.

Мча в Армению тьмы войсковых своих сил,
Ноги ветру он взвихренным прахом скрутил.

За страну страну проходил он, и вскоре
Вся земля затряслась, все запенилось море.

Злак полег перетоптанный: стал он таков
От подбитых шипами железных подков.

Хоть стремленье владык благотворно, но все же
Не оно ли порой с разорением схоже?

ИСКЕНДЕР ГОТОВИТ ВОЙСКО ДЛЯ ВОЙНЫ С ДАРИЕМ

Кравчий, дух мой взнеси! Животворно вино!

Оживлюсь, если выпито будет оно,

А поглотит меня его пламя живое, —
Плоть недужную примет вино огневое.

* * *

Нам дороже всего нужных сведений свет,
В мире трудно ступать, если знания нет.

Тот высокого в мире достигнет удела,
Кто разумно взирает на каждое дело,

Кто с расчетом свои измеряет пути
И умеет поклажу от вора спасти.

Он того не отбросит от клади дорожной,
Что послужит в скитаниях службы надежной.

Полустертую шкуру, — и ту сохрани:
Ведь она пригодится в холодные дни.

В ледниках некий смертный сомкнул свои вежды,
Ибо теплой с собою не взял он одежды.

* * *

Говоривший о шахе, исполненном сил,
Так ответил тому, кто его спросил:

Лишь в Армению ввел войско страшное Дарий,
Судный день наступил; все дымилось в пожаре.

Но не знал Искендер, что армяне в плену
И что полчища Дарий повел на войну.

Толпы скорбных росли, все стонали от горя
И вопили: «Иранцы у самого моря!»

Каждый путь, каждый горный грохочущий скат
Почернел от пришельцев, одетых в булат.

«Близок враг, — Искендеру сказал соглядатай, —
Но в пути опьянен он добычей богатой.

Если б царь захотел, то набегом ночным
Он сумел бы мгновенно разделаться с ним».

Царь ответил. Его изречение гласило:
«Побеждает не тайно дневное светило.

Воровского пути не должно быть следа,
Если царственный вожьд натянул повод».

И лазутчик второй так промолвил: «По странам
Столько ратей собрал тот, кто правит Ираном,

Что недаром знакомые с делом войны,
Сосчитать их желая, весьма смущены».

И реченье владыки опять прозвучало:
«Тот же нож ста быков не кромсает ли сало?!

И когда лютый волк разъярится вконец,
Не один ли он ринется в стадо овец?»

Смелым словом он вновь утвердил свою славу,
И ответ его войску пришелся по нраву.

Царь внимал возраставшим тревогам. Дракон
На румийской земле. К Руму движется он.

И когда сумрак тучи наполнился громом
И мечи в нем сверкнули сверканьем знакомым, —

Царь к дворцовым вратам созывать повелел
Всех владевших мечом, всех носителей стрел.

Из Египта, Руси и от франкской границы

Вслед румийцам отрядов текли вереницы.

И когда для их счета уж не было мер,
О храбрейших узнать пожелал Искендер.

Их шестьсот было тысяч, — мечтавших о бое
В одиночку и знавших оружие любое.

И когда общий сбор завершили сполна,
Царь собранье созвал без певцов и вина.

Собрались мудрецы из придворных и знати,
Чтоб на воск воспринять знаки царской печати.

И о Дарии речь и о деле войны
Начал дивный воитель среди тишины.

«Мощный царь, — он сказал, — столь достойный
служенья,
Сжал в руке свой меч и возжаждал сраженья.

Что нам должно свершить? Примириться ли с ним
Иль сразиться? Ведь мы перед схваткой стоим.

Если смело свой меч мы не вынем из ножен,

Тотчас будет конец нашей славе положен.

Если ж я с венценосного скину венец,
Может быть, правосудью настанет конец.

Как из царства мне гнать порождение Кеев?
Мне ль желать, чтоб свершилось падение Кеев?

За такую заносчивость ждать я могу,
Что судьбою победа вручится врагу.

В чем решение? Какою ступая дорогой,
Мы не будем судьбою наказаны строгой?

Вы, на мудрость простершие ваши права,
Дайте нужный ответ мне на эти слова». :

Те, чье знание весь мир было взвесить готово,
Со вниманьем прослушали царское слово,

И когда для ответа настала пора,
Властелину земли пожелали добра:

«Да цветет это царское древо, чья сила

Велика и о мощи своей возгласила!

Пусть держава твоя будет вечно жива,

Пусть врага твоего упадет голова!

Все слова твои — свет. Весь исполнен ты света,

Для чего тебе светоч людского совета?

Но коль нам на совет повелел ты прийти,

Мы пришли. Ослушанье у нас не в чести.

Вот что в мысли приходит носителям знания

И мужам хитроумным, достойным признанья:

Если ненависть жжет злое сердце врага

И ему только гибель твоя дорога,

Злость и ты разожги! К неизменным удачам

На коне нашей злости мы яростно скачем.

Юный ты кипарис, ива старая — он.

Кипарис ведь не может быть с ивой сравнен!

Сад зарос, и садовнику ведь не впервые

Подрубить в старых зарослях ветви кривые.

В шелк прекрасного царства, как блещущий день

Мир — благую невесту — о светлый, одень!

Враг — насильник. Низвергнуть насильника злого, —

Нет у подданных Дария в сердце иного!

Что страшиться врага, если враг твой таков

Что и в доме своем он имеет врагов!

Зачеркни ты каламом правление злое,

Чтоб народ позабыл все насилье былое.

Коль пресытилось царство врагом твоим, — в бой Выходи, и да будет он сброшен тобой!

Печь готова, сажай в нее противни с хлебом.

Мчать коня на врага тебе велено небом.

Мы к стопам твоим мысли сложили. Меж нас; Несогласия нет. Наш ты выслушал глас.

Кто к желанью царя здесь не сделал бы шага?

В чьем бы сердце сыскалась такая отвага?»

Но сказали мужи, все решив меж собой,

Что владыке нельзя первым ринуться в бой.

Должно вызова ждать, уваженье имея
К достославному трону великого Кея.

И тогда, руководствуясь мудростью слов Многодумных наставников и мудрецов,

Царь, в согласии с ними свой замысел строя,
Порешил выйти с войском, готовясь для боя.

В некий день, от крутящихся в небе времен
Получив предвещанье счастливое, он,

Под знаменами встав, своим царским указом
Повелел всем войскам своим выступить разом.

И воссел на коня всеми славимый шах,
Неизменной победой владевший в боях.

Этот лев был с мечом... не с ключом ли, которым
Он весь мир отмыкал своим натиском скорым?

Все войска были — пчелы с их множеством жал. Столько пчел все же в ульях никто не держал,

Создавая свой знак, чтоб явить свое пламя,
Вспомнил он Феридуна победное знамя.

И когда звездный ход открывается нам,
В час, когда небосвод ласков к верным сынам,
Выше Кеева стяга, прельщавшие око,
Волны синей парчи укрепил он высоко.

Пятьдесят было в древке аришей; оно
Из сосны было стругано?: сотворено.

И дракон был на стяге сапфировом вышит,
И казалось взиравшим: он пламенем пышет.

Выше — черные кисти, как грозную тьму,
Опускали по древку свою бахрому.

За фарсанги могли видеть все без усилия:
Черный реет орел, вскинув яркие крылья.

Вел войска полыхавший в отваге дракон.
Пред войсками вздымался на стяге дракон.

Клубы пыли сей смуты весь мир затемнили.
Что принудило к распре? Лишь пригоршня пыли!

Но на землю — на серую кошку — права
Не возьмешь ни по-волчьи, ни с храбростью льва.

Мир — неверная снедь: есть в ней сладость, но рядом Вкусишь печени горечь, столь схожую с ядом.

Свод простерт над землей, нам погибель суля. Небосвод — чаша с кровью, а с прахом — земля.

Гибель шлют они всем, тело смертное руша,
Ведь на них запеклась даже кровь Сиавуша.

Коль земля все, что скрыла, явила бы вновь,—
Все просторы земли затопила бы кровь.

Ты — беспомощен; области смертные — строги:
В их предел для помощника нету дороги.

Но коль помощь не внидет в сей замкнутый край,
Что напрасно зывать? Примиришь. Не зывай.

Сделай угол свой крепостью. Помощь другая
Лишь в молчанье. Молчи, сам себе помогая.

БОИ ДАРИЯ С ИСКАНДЕРОМ ПРИ МОСУЛЕ

Подойди, виночерпий! Вино ты подашь

И отмеришь сегодня мне несколько чаш!

Я возжаждал вина наилучшего, чтобы
Хоть на час избежать этой жалкой трущобы.

* * *

И лазурный, над нами крутящийся свод,
И небесных светил предназначенный ход, —

Не пустая игра. Сей завесы узоры
Не затем, чтобы тешить беспечные взоры.

В ней с премудрым значением каждая нить,
Но откуда они, — кто б помог разъяснить?

Как нам ведать, на что вскинем завтра мы веки?
Кто от наших очей удалится навеки?

Кто на кладбище из дому будет снесен?
Кто увидит, что светлый сбывается сон?

* * *

О добре и о зле повествующий снова
О великих царях начал мерное слово:

Когда принял фагфур день пришедший, а ночь,
Взяв динар, жемчуга свои бросила прочь, —

Оба войска сошлись и, как два полукруга,
Словно Кафский хребет, встали друг против друга.

И железных шипов на ристалище зла
Разбросали для конных врагов без числа.

Крик начальников слышался. Передовые
Продвигались ряды. Все сердца боевые

Позабыли покой. Так столпились войска.
Что у сжатых бойцов затрещали бока.

И примолкли два войска, отряды построя
Не пустив еще в бой ни единого строя, —

Верно, думали все: будет мир заключен.
И мечи не покинут спокойных ножон.

Но кичливы и молоды недруги были.
Пламень с влагой сошлись и о мире забыли.

Был нарушен покой, и возникла беда,

И жестокому бою пришла черед:

Устремляясь на зла огневую дорогу,
Не стремились цари к миролюбья порогу.

Барабаны забили. Литавры в уста
Стало небо лобзать. И небес высота

Звоном сотен зеркал огласилась; в их звоне
Свирепел каждый слон, несший их на попоне.

С воплем тем, что вздымал тюркский воющий най, Вопли тюркских бойцов огласили весь край.

Стали рыканьем львов пробужденные трубы,
Зовы звонких рогов в мозг вонзались, как зубы.

Непрестанно свистел звук змеистых плетей, Возлетавший в пределы небесных полей.

Кто слышал о неистовстве столь же великом?
Горячили друг друга все воины криком.

Будто рушились горы, и сам Исрафил,
Страшный суд возвещая, в трубу затрубил.

Пыль объяла весь воздух. Весь мир в этой буре, Потеряв повода, позабыл о лазури.

Чепраки и шеломы окутывал прах.

Высь была на земле, а земля в небесах.

Мгла над смертными стопами руки простерла,

И арканы сжимали хрипящие горла.

Подымал испаренья дыхания жар.

От мечей, как от молний, рождался пожар.

Так чихали мечи от крутящейся пыли,

Что несчастные души над полем поплыли.

Полководец иранский поставил с утра

Все войска в должный строй. Начинаясь игра.

И о правом крыле он подумал: урона

Не могла понести эта лапа дракона.

Вслед за этим он левое создал крыло.

Словно море железа в порядок пришло.

Так стремился он к мощному их единенью,

Что свет солнца не справился с плотною тенью.

Сердцевины рядов. Всех спасла бы она

В миг смятенья, булатная эта стена.

Но и царь Искендер, словно воск уминая,

Создал пальму из войск. Он от края до края

Подготовил свои подкрепленья. Потом,

Дав мечи и кольчуги просившим о том,

Роздал шлемы бойцам, — так вот щедрые грозы

Льют сверкающий дождь на румяные розы.

Все ряды его войск были, словно скала.

Середина рядов неприступна была.

Мерный строй всех бойцов увидав, не дивитесь

Что в рядах не один жаждал подвига витязь.

И внезапная смерть черный взвихрила прах,

И у светлых небес свет померкнул в очах.

Всюду кровь потекла, — где ей сыщется мера!

Запылала земля, словно красная сера.

Из засад крепких луков, и гибель и стоны

Породив, друг за другом летели драконы.

Вился в кольцах аркан, словно алчный дракон, Пожирать вражий клад стал с поспешностью он.

Так свирепо рычали слоны боевые,
Что все львы пригибали от ужаса выи.

И бойцы поднимать не жалели чела:
Меч над каждым сверкал, полон гнева и зла.

Состраданье пропало. Тут ждал бы удара
Даже сын от отца. Битва сделалась яра.

И от мира далек был спасенья шатер,
И по древкам знамен плыл кровавый узор.

Столько стрел прорвалось сквозь пробитые брони
Что горячих стрелков покраснели ладони.

Так огнем ратоборства весь край был покрыт,
Что взлетали огни из-под конских копыт.

Посреди своих войск, в этом яром пожаре,
Черным львом всем казался озлобленный Дарий.

В жажде недруга стиснуть и к праху пригнуть
Он расправил свою многомогущую грудь.

Там, где руку вздымал он в свирепом запале,
Сотни вражьих голов возле ног его пали.

Налетев на врага, — он лишал его сил,
Ударяя, — он голову вражью сносил.

И покрыл всю окрестность в бою своем страстном
Он атласом румийским разодранным, красным.

Но и царь Искендер, не жалея себя,
Начал страшный свой суд, нападавших рубя.

Тотчас руки в сраженье пустил он умело,
И в руках у него два меча заблестело.

И мечам, чьи лучи так сверкали в пыли,
Отказать в своей жизни враги не могли.

Если в череп слона бил он жалом кинжала,
Миг — и туша слона черным прахом лежала.

Если б в реку он бросил свой пламенный гнев,

То зажег бы и реку палящий посев.

В гневе был он, что лев, разъяренный в погоне,

И от этого льва мчались в ужасе кони.

И смутившийся Дарий услышал слова:

«Наши львы устрашились румийского льва.

Да минует его, о владыка, пощада!

Даже нашим слонам с ним бы не было слада.

Прикажи всему войску — скорее, скорей! —

На царя Искендера направить коней!»

Тотчас Дарий велел, с мощным недругом споря,

Устремиться войскам, словно бурное море,

Всею силой, всем прошлым боям не в пример,

К тем рядам, пред которыми сам Искендер.

В битву мигом иранцев помчались отряды.

Каждый скачущий всадник, не зная пощады.

Крепко в обе руки взял сверкающий меч,

Чтобы встречному недругу шею рассечь.

Искендер, увидав страшный натиск и зная,
Что грозит ему смертью напасть эта злая,

Дал приказ, чтоб немедленно ринулись в бой
Все войска, чтоб отряды ценою любой

Путь врагу пресекли, чтоб властитель Ирана
Вмиг постиг: в его сердце смертельная рана.

И, сомкнувшись, все воины, как саранча,
В мире подняли бой, мир в сраженье топча

Вновь посыпались дроты. Мечи заблестели.
Муравью между стрелами не было щели:

Словно пчелы гилянские, тысячью жал
Рой неистовых стрел черный прах поражал.

К Искендеру враги все теснились упорней,
Но стоял он, как ствол, чьи незыблемы корни.

Некий мощный иранец, свой выпрямив стан,
Налетел на царя, словно сам Ариман.

Молодой кипарис покачнулся. Ударом
Потрясен был он быстрым: соперником ярим

Был разрублен кафтан и кольчуга была
Прорвана. Так булат ощутила скала.

Уцелела рука повелителя света,
Хоть была она все же булатом задета, —

И хоть раны глубокой избег он едва,
Но была у врага снесена голова.

Искендер устрашен был врагом этим смелым
И победу свою счел он тягостным делом.

И в неожиданном смущении он захотел
Дать груди своей отдых от вражеских стрел.

Но, на счастье свое в неизменной надежде,
Вновь стоять он решил так же твердо, как прежде.

И узрев свой победный, сверкающий стяг
И постигнув: падет им настигнутый враг, —

Вновь сверкнул он мечами своими, и снова

Его мощная грудь к новой схватке готова.

И бойцы проливали без устали кровь,
Никли наземь, вставали и падали вновь.

Утомленных румийцев тесня понемногу,
Им повсюду иранцы закрыли дорогу, —

И когда меж румийцев послышался стон,
Смертный час захотел взять их тотчас в полон.

Но румийцы, внезапно воспрянувши снова,
Отразили напор, их сжимавший сурово,

И вокруг яркого стяга сомкнули свой круг,
И не стал он добычею вражеских рук.

Зиндж камня собрал, чтоб венец сделать новый,
А фагфур бросил трон свой из кости слоновой.

И, себя украшая, лазурная мгла
Вместо зеркала в небо луну подняла.

Все бойцы возвратились к стоянкам устало,
Прекратили вражду. Время дремы настало.

Смыли кровь с жарких тел. Пыль омыли с лица.

Но покоем неполным дышали сердца.

Не промедлят созвездья на своде высоком.

День взойдет. Что назавтра задумано роком?

* * *

Засверкал апельсин, будто из-за угла

Продавец его поднял. Растаяла мгла.

Все войска поднялись. Их ряды заблестали.

Львы опять на охоту готовиться стали.

И мечом, и копьем, и тугой тетивой

Мир явил много силы своей боевой.

Всюду стон поднялся. Повод выпал у многих.

Из стремян выскользали наездников ноги.

Были два полководца у Дария. Жив

Был в них жар услуженья, но был он и лжив.

Эти двое измучились гнетом царевым, —

Он не раз оскорблял их несдержанным словом.

И взалкали они его крови, свой гнев

Утолить пожелали, его одолев.

К Искендеру явьясь, злomu замыслу рады,

У румийца они попросили пощады:

«Мы у Дария служим, встречаемся с ним,

Он доступнее нам, чем вельможам иным.

Всех он жалит неправдою и поношеньем.

И вонзить в него меч стало нашим решением.

Мы намерены завтра пролить его кровь,

Чтоб великий Иран сделать праведным вновь.

Продержись этот вечер на этом же месте,

Завтра враг твой падет, он узнает о мести.

Водрузит он свой стяг, но не сможет пресечь

Он удара. Готов наш отточенный меч.

А за помощь великую, — слуг своих верных

Наградишь ты ключом от сокровищ безмерных.

Мы богатства хотим. Нам богатства вручишь.

Золотое деянье ты златом почтишь».

Обещал Искендер их исполнить желанье;

Руку дал он предателям в знак обещанья,

Хоть не верил им царь, — как же статья могло,

Что проникло в их ум столь ужасное зло!

Но ведь каждый любое предпринял бы дело,

Лишь бы только несчастье врагов одолело.

Правосудием стала расправа, — и царь

Вспомнил мудрость пословицы, сложенной встарь:

«Зайца в каждом краю — это ведает всякий —

Только этого края поймают собаки».

И когда молвил тот, чей рассудок велик,

Тем, в чьем разуме умысел черный возник,

Что вручит он им ключ от сокровищ, что может

Их порыв оценить, что их делу поможет, —

И для низких ничем стали верности дни,

И к убийству готовиться стали они.

В час, когда жаркий лал взял безвестный грабитель

И желали дознаться, кто сей похититель, —

Заподозрив луну и узрев ее свет,

Все сказали: «Все ясно, сомнения нет».

Два враждебные войска, уставши от боя,

И в тиши распоясавшись, ждали покоя.

Но уж много неробких во мгле голубой

Начинали назавтра готовиться в бой.

ПОБЕДА ИСКАНДЕРА НАД ДАРИЕМ И СМЕРТЬ ДАРИЯ

Круговой своей чаши, о кравчий, огнем

Дай сиянье всему. Я мечтаю о нем:

Этот пламень сжигает в рубиновой чаше

Все печали, что в сердце мы приняли наше.

* * *

Хоть на этой земле нам отраден привал,

К торопливости все же нас кто-то призвал.

Две калитки в саду, столь отрадном для взора,
Но железного нет на калитках затвора.

Ты, в калитку войдя, оглядись. Впереди
Есть другая калитка. Побудь — и уйди.

Не безмерно люби ароматную розу,
Неизбежной разлуки припомни угрозу.

Береги свой счастливый, свой нынешний день.
Все бывшее — ничто. Все грядущее — тень.

Этот путь не для радости нам назначали,
А, быть может, для горести и для печали.

Пригласили на свадебку ослика — он
И воды натаскал и мешком нагружен.

* * *

Вот что этому вслед стихотворцем радивым
Было явлено всем в его слове правдивом:

Светлый день отснял и покровом густым
Скрыл его полыханье полуночный дым,

И луною, чтоб радовать смертные очи,
Приукрасился сумрак спустившейся ночи.

На переднем краю всех частей войсковых
До утра были зорки глаза часовых.

Караулы кружили, как жерновы. В скалах
Куропатки кричали. Немало усталых,

В тяжелой дреме узрев боевого слона,
Застонав, пробуждались от страшного сна.

Отдыхало бойца распростертое тело,
Но забвенью к нему все ж прийти не хотело.

И молились в тиши все войска, чтоб текла,
Бесконечно текла полуночная мгла,

Чтобы день заслонила она им собою,
Чтобы долго не звал он их к новому бою.

А цари размышляли, томительный гнев
Друг на друга в безмолвии преодолев:

«День взойдет, о своем вспомнив светлом начале,
Чтоб от черного белое мы отличали, —

И мы рядом поедем.. На кратком пути
К примерению путь мы сумеем найти.

Повод к поводу, между войсками по лугу
Проезжая, мы дружбу изъявим друг другу».

Но советники Дарию дали совет,
Угасивший благого намеренья свет.

Не воспринял никто столь возможного блага.
Царь услышал: «Сражайся! Победна отвага!

Ведь румиец поранен. В борении с ним
Превосходство бесспорное мы сохраним.

Выйдем завтра на бой. И в сраженье упорном
Всех уложим румийцев на поле просторном».

Так сказали одни, а другие мужи
Предлагали дорогу уловок и лжи.

Два злодея за битву свой подали голос:

«Не падет ни один с повелителя волос!»

Но и царь Искендер под луной, в тишине,
По-иному подумал о завтрашнем дне.

Может статься, что двух полководцев дорога
Его храбрости — все ж неплохая помога.

И открыл он соратникам душу свою:
«День взойдет, и мы завтра в Мосульском краю,

Вновь приступим к достойному славному бою,
Мышцы нашей души укрепляя борьбою.

Если мы победим — мы над миром царим.
Если Дарий — то царство возглавится им.

Судный день всем живущим неведом грядущий,
Все ж на завтра его нам назначил всесущий»,

И лежали бойцы, видя страшные сны,
Предвещаньем и ужасом темным полны.

Двери света раскрылись над ближней горою,
И блеснула вселенная новой игрою:

Просо звезд замесив, мир украсивши наш,
Испекла она в небе горячий лаваш.

И войска задрожали, что тяжкие горы,
И в смятенье пришли все земные просторы.

Царь из рода Бахмана, восстав ото сна,
Чтоб удача была ему в руки дана,

Чтоб для боя ни в чем не сыскалось помехи, —
Осмотрел все колчаны, щиты и доспехи.

Сотни гор из булата воздвиг он, и клад
Он решил сохранить между этих оград.

Кончив с правым крылом, озаботился левым:
И оно для врага станет смерти посевом.

Крылья в землю вросли. Был придержан их пыл. Недвижим был железный, незыблемый тыл.

Царин стал в сердцеvine отряда, и, вся,
Возвышалось над ним знамя древнего Кея.

Искендер взял на бой свой нетронутый меч;

К смертной схватке сумел он его приберечь.

Всем храбрейшим, овеянным воинской славой, Приказал он идти у руки своей правой.

Многим лучникам, левой стрелявшим рукой,
Быть он слева велел. И порядок такой

Он назначил для тех, кто и службой примерной
И всей силой — охраною был ему верной:

Вкруг него встать стеною, — не то, что вчера.
Был он — словно булат, был он — словно гора

Огласился простор несмолкаемым криком.
Небеса возвестили о гневе великом.

Зарычала труба, как встревоженный лев.
Смелый змей заплясал. И заплакал напев

Иступленно вопящего тюркского ная,
Все сердца страшной дрожью дрожать заставляя.

На слонах загремели литавры, — и в Нил
Не один, ужаснувшись, нырнул крокодил.

Завопила труба, — и у лучников многих
На бегу подкосились от ужаса ноги.

Грозный треск от пустых барабанов пошел,
И качнулись все горы, зазыбился дол.

Копья были в жару, — и, как будто в недуге,
Чтобы воздух глотнуть, пробивали кольчуги.

Ливень стрел стал неистов и был он таков,
Что про дождь свой забыла гряда облаков.

Два кровавые моря взыграли. Повсюду
Видел воин тюльпанов багряную грудку.

О цинковке своей многоцветной земля
Позабыла, по ветру ее распыля.

Ртуть мечей засверкала в клубящейся мути, Разбегались бойцы с торопливостью ртути.

Столько копий булатных вонзилось в тела,
Что в горах за скалою дрожала скала.

Так, врубаясь, мечи скрежетали от злости,
Что рассыпались гор загремевшие кости.

Столько стрел в колесо небосвода вошло,
Что оно быть поспешным уже не могло.

Так стремились к устам остроклювые дроты,
Что устам и дышать уж не стало охоты.

Стали копья шипами запретных оград.
А щиты — словно тесный тюльпановый сад.

Всех настиг Судный день, страшный День воскресенья! И не стало исхода, не стало спасенья.

Столько всадники яростных бросили стрел,
Что швыряли колчан: он уже опустел.

И тела громоздились потомков Адама,
И работала смерть, и быстра и упряма.

О себе на побоище каждый радел.
Кто подумал о том, сколько брошенных тел!

Кто в одежде печали готовится к бою?
Только синий кафтан под кольчугой иною.

Речь прекрасная, помню, была мне слышна, —

Кто-то мудрый сказал: «Смерть на людях красна».

Смерть убьет одного, а заплачет весь город.

Разорвет на себе он в отчаянье ворот.

А весь город умрет где-то там вдалеке, —

И никто не заплачет в глубокой тоске.

Столько мертвых простерлось на горестном лоне,

Что пред страшной преградою пятились кони.

И на Тигре кровавом, как желтый цветок,

Отраженного солнца качался челнок.

Но румийские копья в сраженье сверкали

Горячей, чем заката багряные дали.

Меч иранский, сражаясь, так жарко сверкал,

Что согрел сердцевину насупленных скал.

Так враги развернули меж грома и гула

Судный день на прекрасной равнине Мосула!

Рассыпались отряды иранцев, и прах

Всю равнину покрыл. Был один шахиншах.

Позабыло о нем его войско. Упорно
Продолжалась борьба. В поле стало просторно.

Нелюбим был придворными Дарий — и он
Их заботою не был в бою окружен.

И внезапно, мечами ударив с размаху,
Нанесли двое низких ранение шаху.

Наземь Дарий повергся. Его не спасут,
Над смятенной землей Страшный начался суд.

Сотрясая простор, пало дерево Кея.
Тело, корчась, лежало, в крови багровея.

Тело мучилось в горе, в нежданной беде.
Светоч с ветром не в дружбе, — они во вражде.

Поспешили убийцы к царю Искендеру
И сказали: «Мы приняли должную меру.

Мы зажгли наше пламя, не хмурь свою бровь,
Для тебя мы властителя пролили кровь.

Лишь удар нанесли, — и прошло его время.

Он целует теперь твое царское стремя.

На него погляди, больше нет в нем огня,

Омочи его кровью копыта коня.

Мы исполнили все, что тебе обещали,

Ты нам повода также не дай для печали:

Передай в наши руки обещанный клад,

Мы стоим в ожидании щедрых наград».

Искендер, увидав, что два эти злодея

На убийство владыки пошли, не робея,

Что при них и ему безопасности нет, —

Пожалел, что он дал им свой царский обет.

Каждый мощный, узрев, что с ним равный во прахе, Неизбежно пребудет в печали и в страхе.

И спросил Искендер: «Изнемогший от ран,

Где простерт покровитель народов и стран?»

И злодеи туда привели государя,

Где ударом злодейским повержен был Дарий.

Искендер не увидел, взглянувши вокруг,
Ни толпы царедворцев, ни стражи, ни слуг.

Что пришел шахиншаху конец, — он увидел,
Что во прахе был кейский венец, — он увидел.

Муравьем был великий убит Соломон!
Перед мошкой простерся поверженный слои!

Стал подвластен Бахман змея гибельным чарам.
Мрак над медным раскинулся Исфендиаром.

Феридуна весна и Джемшида цветник
Уничтожены: ветер осенний возник!

Где наследная грамота, род Кей-Кобада!
Лист летит за листом, — нету с бурей слада!

И спешит Искендер, вмиг покинув, седло,
К исполину во прахе и хмурит чело,

И кричит он толпе подбежавших придворных:
«Заточить полководцев, предателей черных,

Нечестивцев, кичливых приспешников зла,
Поразивших венчанного из-за угла!»

И склонился к царю, как склоняются к другу,
Расстегнул он его боевую кольчугу,

Головы его мрак на колен своих свет
Положил, — и такому участью в ответ

Молвил Дарий, открыть своих глаз уж не в силах: «Встань из крови и праха. Не чувствую в жилах

Животворного пламени. Пробил мой час.
Весь огонь мой иссяк. Мой светильник погас.

Так ударил мне в бок свод небесный недобрый,
Что глубоко вдавил и разбил мои ребра.

О неведомый витязь, свой бок отстрани
От кровавого бока. Ушли мои? дни,

И разодран мой бок наподобие тучи»
Все ж припомни мой меч смертоносный, могучий...

Ты властителя голову трогать не смей
И не смейся: судьба: насмеялась над ней.

Чья рука протянулась, дотронуться смея,
До венца, — до наследья великого Кея?

Береги свою длань. Еще светится день,
Погляди: это — Дарий... не призрак, не тень.

Небосвод мой померк, день мой бледный недолог,
Так набрось на меня ты лазоревый полог.

Не гляди: кипарис распростертый ослаб.
Не зрирай на царя, — он бессильней, чем раб.

Не томи состраданьем: я в узах. Я пленный.
Лишь в молитве меня поминай неизменной.

Я — венец всей земли. Смертной муки не множь:
Если я задрожу, — мир повергнется в дрожь.

Уходи! И, заснув, я все связи нарушу.
Праху — тело отдам, небесам — свою душу.

Смерть близка. Не снимай меня с трона, — взревет Страшной бурей вращающийся небосвод.

Истекает мой день... Уходи! Хоть мгновенье Одиночества дай... Мне желанно забвенье.

Если вздумал венец мой, себе на беду,
Ты похитить, — помедли! Ведь я отойду.

А когда отрешусь я от мира, — ну что же!
Унесешь мой венец, мою голову — тоже».

Искендер застонал: «О великий! О шах!
Близ тебя — Искендер. Пал зачем ты во прах?

Почему к твоему я припал изголовью
И забрызган твой лик твоей царскою кровью?

Но к чему эти жалобы? Все свершено!
Что стенанье? Тебе не поможет оно!

Если б к звездам поднялся челом ты венчанным,
Я служеньем служил бы тебе неустанным.

Но у моря — ко мне снисходительным будь! —
Я стою в волнах крови, в крови моя грудь.

Если б я заблудился иль было б разбито
На пути роковом Вороного копыто, —

Может статься, твой вздох не терзал бы меня.

И такого не знал бы я страшного дня...

Я клянусь! Я творцу открывал свою душу.

Я сказал, что я смерть на тебя не обрушу.

Но ведь камень внезапный упал на стекло.

Нет ключа от спасенья. Несчастье пришло.

Ведь остался из отпрысков Исфендиара

Ты один! О, когда бы мгновенна и яра

Смерть меня сокрушила, и я бы притих

С побледневшим челом на коленях твоих!

Но напрасны моления! Ранее срока

Мы не вымолим смерти у грозного Рока.

Каждый волос главы наклоненной твоей

Сотен тысяч венцов мне милей и ценней.

Если б снадобье было от гибельной раны,

Я нашел бы его, — все объехал бы страны.

Да исчезнут все царства! Да меркнет их свет,

Если Дария больше над царствами нет!

В кровь себя истерзай над престолом, который

Опустел, над венцом, что не радует взоры!

Да исчезнет навек смертоносный цветник!

Весь в шипах садовод. Он в крови, он поник!

Грозен мир. Ниспровергнут безжалостно Дарий

Подавая нам дар, яд скрывает он в даре.

Нету силы помочь кипарису. И плач

Я вздымаю. Заплачь, мое сердце, заплачь!

В чем желанье твое? Подними ко мне вежды.

Что пугает тебя? Что дарует надежды?

Прикажи мне любое! Обет я даю,

Что с покорностью выполню волю твою».

Слышал стон этот сладостный тот, кто навеки

Уходил, и просительно поднял он веки

И промолвил: «О ты, чей так сладок удел,

О преемник благой моих царственных дел!

Что отвечу? Ведь я уже в мире угрюмом,
Я безвольнее розы, несомой самумом.

Ждал от мира шербета со льдом, — но в ответ
Он на тающем льду написал про шербет.

От бесславья горит моя грудь. И в покрове
Я простерт. Но покров мой — из пурпурной крови.

И у молний, укрытых обильным дождем,
Иссыхают уста и пылают огнем.

Ведь сосуд наш из глины. Сломался, — жалеем,
Но ни воском его не починим, ни клеем.

Все бесчинствует мир. Он еще не притих.
Он приносит одних и уносит других.

Он опасен живущим своею игрою,
Но и спасшихся прах он тревожит порою.

Видишь день мой последний... Вглядись: Впереди
День такой же ты встретишь. Так правду блюди!

Если будешь ей верен всегда, то в пучину
Не падешь и отрадную встретишь кончину.

Я подобен Бахману: сдавил его змей
Так, что он и не вскрикнул пред смертью своей.

Я — ничто перед силою Исфендиара,
А постигла его столь же лютая кара.

Все в роду моем были убиты. О чем
Горевать? Утвержден я в наследстве мечом.

Царствуй радостно! Горькой покорствуя доле,
Я не думаю больше о царском престоле.

Но желаешь ты ведать, чего б я хотел,
Если плач надо мной мне пошлется в удел?

Три имею желанья. Простер свою длань я
К миродержцу. Так выполни эти желанья!

За невинную кровь — вот желанье одно —
Быть возмездью вели. Да свершится оно!

Сев на кейский престол — вот желанье второе, — Милосердые яви в государственном строе.

Семя гнева из царской исторгнув груди,

Мое семя, сынов моих, ты пощади.

Слушай третье: будь хладным и сдержанным с теми, Что мой тешили взор в моем царском гареме.

Но прекрасную дочь мою Роушенек,

Мной возвращенную нежно для счастья и нег,

Ты возвысь, осчастливь своим царственным ложем.

Мы услады пиров нежноликими множим.

В ее имени светлом — сиянья печать;

Надо Солнцу со Светом себя сочетать».

Внял словам Искендер. Все сказал говоривший.

Встал внимавший. Навек засыпал говоривший...

Мрак покрыл небосвод, покоривший Багдад,

Скрывший царский дворец и весь царственный сад,

Сбивший плод с древа Кеев и сшивший для дара

Синий саван — огромное Исфендиара.

День отвел от земли свой приветливый взгляд.

Стал невидим рубин. Появился агат, —

И всю ночь Искендер сокрушался, взирая

На того, кто был славен от края до края.

Он взирал на царя, но рыдал о себе:

Тот же выпьет он яд, шел он к той же судьбе.

И рассвет на коне своем пегом встревожил

Все вокруг и коня разнуздал и стреножил.

Приказал Искендер, чтоб обряжен был шах,

Чтобы прах опустили в родной ему прах,

И под каменным сводом к его новоселью

Чтоб воздвигли дворец с золотой колыбелью.

И когда сей чертог был усопшему дан,

Мир забыл, кто виновник бесчисленных ран.

Обладателей тел почитают, покуда

В их телах есть душа, что чудеснее чуда.

Но когда их тела покидает душа,

Все отводят свой взор, удалиться спеша.

Если светоч погас, — безразлично для ока,
На земле он стоял иль висел он высоко.

По земле ты бродил иль витал в небесах,
Если сам ты из праха, сойдешь ты во прах.

Много рыб, что расстались с волнами родными, Поедаются вмиг муравьями земными.

Вот обычай земли! На поспешном пути
Все идут, чтобы идти и куда-то уйти.

Одному в должный срок он стоянку укажет,
А другому «вставай» раньше времени скажет.

Ты под синим ковром, кратким счастьем горя,
Не ликуй, хоть весь мир — яркий блеск янтаря.

Как янтарь, станет желтым твой лик. И пустыней
Станет мир. И пойдешь за одеждою синей.

Если в львином урочище бродит олень,
Его срок предуказан, мелькнет его день.

Словно птица, собирайся в отлет свой отрадный,

Не пленяйся вином в этой пристани смрадной.

Жги, как молния, мир! Не жалея ничего!

Мир избавь от себя! А себя — от него!

Мотылек — легкокрыл. Саламандра — хромая,

Все ж их манит огонь, чтобы сжечь, обнимая.

Будь владыки слугой иль владыкою будь, —

Это горесть в пути, или горести путь.

Вечный кружится прах. И, охвачены страхом,

Мы не знаем, что скрыто крутящимся прахом.

Это старый кошель, полный складок, и он

Затаил свои клады; не слышен их звон.

Только новый кошель будет звонок. А влага

Зашипит, если с влагой впервые баклага.

Кто б узнать в этой «Башне молчанья» сумел

Всю былую чреду злых и праведных дел?

Столько мудрых томил в своих тленных пределах

Этот мир! Умертвил столько воинов смелых!

Свод небесный — двухцветен. Кляня и любя,

Он двойною каймою коснулся тебя:

То ты ангелом станешь всем людям на диво,

То тебя он придавит, как злобного дива.

Он, что хлеба тебе дать под вечер не смог,

Утром в небо поднимет свой круглый пирог.

Для чего в звездной мельнице, нам на потребу

Давшей это ничто, — быть признательным небу?

Ключ живой обрета, пост воспримешь легко.

Будь, как Хызр. Что нам финики и молоко!

Уходи от того, в ком есть сходство со зверем,

Люди — дивы, а дивам мы души не вверим.

Мчатся в страхе онагры, — их короток век: Человечность свою позабыл человек.

От людей и олень, перепуган без меры,

Мчится в горы, на скалы, в глухие пещеры.

В темной роще, листву с легким шумом задев, Вероломства людей опасается лев.

Благородства расколот сверкающий камень!

Человек! Человечности где же твой пламень?

«Человек» или «смерть»? Ты на буквы взгляни, —

И поймешь: эти двое друг другу сродни.

Мрачен дух человека и в злобе упорен,

Как зрачок человека, он сделался черен.

Но молчи и значенье молчанья пойми!

Говорить о сокрытом нельзя, Низами!

Ты меж спящих иль нет! Мертвецов они глуше!

Ты усни иль заткни хлопком тотчас же уши.

У лазурного свода учись: небосклон

С желтым — желт, с красным — красным становится он.

По ночам, когда звезды сплетают узоры,

Многоцветным сияньем он радует взоры;

Светлым днем, когда светит великий алмаз,

Он приятен всем людям, хоть он — одноглаз.

ИСКЕНДЕР ВОСХОДИТ НА ПРЕСТОЛ В СТОЛИЦЕ ИСТАХРЕ

Кравчий! Магов полночный светильник мне дай!

Он — прозренье мое. Надо мной не стенай!

Из него в свою душу вбираю я масло,

Чтобы сердце мое пламенело, не гасло.

Ты скажи мне, о слово, алхимиков клад,

Как ты сделалось камнем волшебных услад?

Из тебя создавались дворцы и палаты,

Но в тебе ни крупницы не видно утраты.

Где у нас ты рождаешься? Где? Не скрывай!

Если ты издалека, то где же твой край?

Ты исходишь от нас, но ты нами незримо.

Создавая рисунки, ты неуловимо.

В мастерской наших душ лишь тобой мы живем.

Наш язык — он служитель в приказе твоём.

Если ты будешь виться, волшебная птица,

То и память о нас на земле сохранится.

Как возвышен познавший весь круг твоих чар!

Да раскупит народ его звучный товар!

Да вручает он всем драгоценное слово,

Огорчая удачей завистника злого!

Приходи, обладатель сверкающих слов,

Изложи все законы словесных основ.

И о витязях пой и, владеющий знаньем,

Вызывай отошедших своим заклинаньем.

* * *

Излагающий мудро былые дела,

Тот, пред кем проясняется древняя мгла,

Молвил так: под безмерным шатром бирюзовым, Указующим путь к устремлениям новым.

Искендер снова поднял свой воинский стан

И оставил прельщавший его Исфахан.

И в Истахре, в приюте царя Каюмерса,

Перед ним весь Иран покоренный отверзся.

На главу возложил он венец, и на трон
Он воссел, и стране дал могущество он.

И вельможи, царя почитавшие твердой
Государству опорой, с осанкою гордой

Приходили к царю: приносили они
Подношенья тому, кто возвысил их дни.

От истоков и Нила и Ганга, из края
Черных Зинджей, из желтых просторов Китая

С изобильною данью примчались послы
И, вручая дары, возносили хвалы.

И на троне, под сенью дворцового крова,
Искендер снял печать с драгоценного слова:

«Восхваляю того, кто в мой разум вселил
Для хвалы постиженья божественных сил,

Кто чело мое поднял из праха, вздымая
До горящего звездами светлого края,

Кто из Рума привел меня в дальний Иран,
Воском сделав хребты мне дарованных стран,

Кто возвысил меня своим словом единым,
Чтоб небесный шатер стал моим паланкином,

Кто мне также вручил свой суровый наказ,
Чтоб не смел отводить я от истины глаз,

Чтоб чинил правосудье, чтоб скорбным и бедным Светлой сделалась ночь в моем царстве победном.

Указует мне разум дорогу к творцу,
Правосудьем дарую сиянье венцу.

Избираю сегодня прямую дорогу,
Ибо к страшному завтра приду я порогу.

К дню отчета приду по такому пути,
Потому с спасеньем хочу я идти.

Ни слона, ни сверчка, дав сияние трону,
Я рукою насилья отныне не трону.

Серебра не желаю и золота я
Отнимать у других. В этом правда моя.

Не хочу, хоть насилья увижу немало,
Чтоб насилье мое целый мир донимало.

Снял с больших я и малых селений налог.
Дань снимаю со стран: я к подвластным не строг.

Если в руки дается мне благо мирское, —
Им делюсь я с людьми, чтоб остаться в покое.

И ключи от богатства, и помощь свою,
И опору житейскую всем я даю.

Вознесу всех искусных. Не дам я помощи
Лишь безумным, — цепями стяну я их ноги.

Тех не чту, кто живет на чужой только счет,
Но беспомощный люд пусть ко мне притечет.

У здоровых и дельных не будет заботы:
Не позволю оставить я их без работы.

Если примется кто-то за труд и притом
Все ж не сможет прожить ежедневным трудом,

Облегчу я ему трудовую дорогу
И, казну раскрывая, приду на помощь.

Знание с верой призвал я. Мне служат они. Справедливости дам я базарные дни.

Сея благо, страшусь при свершенье посева
Лишь одних — устрашившихся божьего гнева.

Всех преступников злых раздробят жернова,
Но иным — на прощенье вручу я права.

Мир украшу я щедростью. Мне ведь не ново
Золотую казною поддерживать слово.

Подчиню я рассудку свой огненный нрав.
Угнетенных спасу, угнетателей сжав.

Злом отвечу на зло злодеяний стократных.
За добро — сто деяний свершу благодатных.

Накажу за неправду деяний былых,
Обласкаю всех тех, кто раскается в них.

Если враг зашумит, — быстро смолкнет он снова;
Если ж он промолчит, — не скажу я ни слова.

Лишь основа добра для меня дорога,

Если явится зло, то оно — от врага.

Все просеять хочу через разума сито,

Чтоб одно только благо мной было добыто.

Колесо водяное боится ль труда?

Им чистейшая людям дается вода.

Все, что меч мой нашел, все, что взял он на свете, Настигает удар моей хлещущей плети.

Не успел еще меч всю страну одолеть,

Как уже ударяет разумная плеть.

Для того я взошел на престола ступени,

Чтоб упавших поднять, их заслышавши пени.

Я и солнце и туча. Таков я всегда.

В левой длани — огонь, в правой длани — вода.

Вражьи скалы прожгу: было так не однажды.

Если ж встречу посева, — спасу их от жажды.

Я не сам к вам из Рума явился в Иран, —

Был мне должный указ вседержателем дан,

Чтоб ключи подобрал я к познанию, чтобы

Отделил я от истины плевелы злобы,

Чтоб соратникам правды я поднял чело,

На приспешников лжи чтоб обрушил я зло.

Нищету я смету. Отгоню от лазури,

Чтоб не гасли светильники, лютые бури,

Я восставлю дома, их от бед оградив.

Станет ангелом каждый мной встреченный див.

Справедливость внесу кипарисом. Охрана

Будет всем. Дерзкий сокол не схватит фазана.

Волк уснет меж ягнят, свою злость одолев,

И не тронет онагров смилившийся лев.

Злых к добру устремлю. От деяния злого

Отведу в темный час человека благого.

Тех людей, что поднять столь высоко я смог,

Не склоню уже больше у чьих-либо ног.

Если сердце терзаю я недругу злому, —
Все ж его на терзанье не дам я другому.

Никого не извел я, подсыпавши яд.
Бью открыто. Цари ничего не таят.

Никого не учил я неистовству гнева.
Без нужды ничьего не сжигал я посева

Если сам я кого-то сломя, то и сам
Исцелю. Мною найден целебный бальзам.

Если боль я вселю в чье-то смертное око,
То лечебный состав у меня недалеко.

Да поможет создатель мне в трудных делах!
Да вселит в дурноглазых смиренность и страх!»

ПОВЕСТВОВАНИЕ О НУШАБЕ

Дай мне, кравчий, вина, что во мраке ночей
Укрепляет наш дух, словно чистый ручей!

Я сгораю, ведь скорби во мне преизбыток.

Научился я пить твой отрадный напиток.

* * *

Так прекрасна Берда, что январь, как и май,

Для пределов ее — расцветающий рай.

Там на взгорьях в июле раздолье для лилий.

Там весну ветерки даже осенью длили.

Там меж рощ благовонных снует ветерок,

Их Кура огибает, как райский поток.

Там земля плодородней долины Эдема.

«Белый сад» переполнен цветами Ирема.

Там кишаций фазанами дивно красив

Темный строй кипарисов и мускусных ив.

Там земля пеленою зеленой и чистой

Призывает к покою под зеленью мгlistой.

Там в богатых лугах и под сенью дубрав

Круглый год благовонье живительных трав.

Там все птицы краев этих теплых. Ну, что же...

Молока хочешь птичьего? Там оно — тоже.

Там дождем золотым нивам зреющим дан

Отблеск золота, блещут они, как шафран.

Кто бродил там с отрадой по благодным травам,

Тот печален земных не поддастся отравам.

Но Берда ниспровергнута. Ветра рука

Унесла из нее и парчу и шелка.

В ней осыпались розы, пылавшие ало,

В ней не стало нарциссов, гранатов не стало.

Устремись к ее рощам, войдя в ее дол,

Ты бы только щепу да потоки нашел.

Или травы, что здесь в златоцветах блистали,

Из зерна справедливости древле возрастали?

Если правда здесь вновь утвердится, — красив

Снова станет узор здешних пастбищ и нив.

Да, коль шах обратит взор свой к этому лону,

Вновь он даст украшения древнему трону.

Этот край прозывался Харумом, потом.

Был Бердою учителем назван, и в нем,

Породившем прославленных мощное племя,

Много кладов укрыло поспешное время.

Где цвело столько роз, взор людской утоля?

Где еще столько кладов укрыла земля?

* * *

Там поведал мудрец, клады слов разбирая,

Воцарилась в стране, что прекраснее рая,

Нушабе. За отрадною чашей вина

Круглый год, веселясь, проводила она.

Непорочной газелью бродя по долинам,

Красотою была она схожа с павлином.

И была она, славой сияя большой,

Что мудрец, — благоденствием, что ангел — душой.

Ровно тысяча дев с ней была. И их лица

Окружали ее, словно лун вереница.

Тридцать тысяч гулямов служило при ней,

Все имели они быстроногих коней.

Но мужам был заказан предел ее крова:

В свой дворец не впустила б она и родного.

Только жены вели ее царства дела,

И к мужам благосклонной она не была.

Все советницы были разумны, — к чему же

Было им помышлять о каком-либо муже?

А гулямы, которыми край был храним,

Проживали в уделах, назначенных им.

Даже к тени дворца иль дворцовой ограды

Не посмели б они устремить свои взгляды.

Но приказ Нушабе исполняя любой,

За нее они всюду вступили бы в бой.

Царь, приведший войска к этим нивам и водам, Воздвигая шатер, что был схож с небосводом,

Увидал и луга и безмерный посев,
И спросил, всю окрестность сию оглядев:

«Кто в раю этом правит? Каким властелином Безмятежность дана этим светлым долинам?»

Отвечали царю: «Все, что в этой стране,
Вручено небесами прекрасной жене.

Разум зоркой владычицы с мудростью дружен.
А по крови она чище лучших жемчужин.

Сердце чистой — прозрачный, благой водоем.
И печется она о народе своем.

Много мужества в ней. Древней былью повеяв,
Говорит ее храбрость о доблести Кеев.

Венценосна она, но не носит венца.
И войска не видали царицы лица.

Есть гулямы у ней. Но ни днем и ни ночью
Не видали жены они этой воочью.

Много дивных, чья грудь, словно нежный жасмин,
Ей во всем помогает. Лишь сахар один

Равен сладостью с этими женами. Люди
Не видали гранатов круглей, чем их груди.

Горностаи и шелка в вечной дрожи на них:
Посрамятся, — не ведали нежных таких!

Если б с неба взглянули на них серафимы, —
Тотчас пали бы наземь, любовью палимы.

Блещет каждая в роце и светит в дому,
Как светильник иль солнце, спугнувшее тьму,

Так сияют они, что опасно для ока
Поглядеть на красавиц хотя б издалека.

Кто б их голос услышал в их райском краю, —
Их бы прихоти отдал всю душу свою.

Их в жемчужинах шеи, а уши их в лалах.
Их из лалов уста, жемчуг в ротиках алых.

Чье заклятье над ними — не знаем, но страсть
Не простерла на них свою жаркую власть.

Их приятель — напев, их забвение — в чаше.

Ничего им на свете не кажется краше.

Это воля премудрой и чистой жены

Отгоняет от них сладострастные сны.

И чертоги ее с пышным капищем схожи,

И туда беспрепятственно дивные вхожи.

И она, хоть мужчинам к ней доступа нет,

Каждый день созывает свой царский совет.

У нее во дворце есть большая палата,

Что не только ковром златотканым богата:

Там хрустальный поставлен блистающий трон,

И рядами жемчужин он весь окаймлен.

Весь дворец ее блещет каменьеv лучами

И, как светоч иль месяц, сияет ночами.

Каждым утром, взойдя на высокий престол,

Взор царица возносит в заоблачный дол.

Всем, кто в этой палате, невестою мнится

Меж невест служащих эта царица.

И все жены цветут. В созерцанье они

И в веселье проводят счастливые дни.

Но в дремоте своей и за радостным пиром

Они помнят того, кто сияет над миром.

И жена, чье чело так пристало венцу,

Не жалеет себя в поклоненье творцу.

И не спит во дворце, схожем с божеским раем,

В прозорливости мудрой. О доме мы знаем,

Что из мраморных глыб. Ночью, словно луна,

Одинокая, в дом этот входит она.

Там за тихим, для всех недоступным порогом,

До утра она страждет, склоняясь пред богом.

Лишь ко сну она голову склонит, — и вот

Вскинет снова, как птичка, которая пьет.

И затем в окруженье пери она снова

Пьет вино и внимать милым песням готова.

Так она управляет стремлений конем:

В ночь — сюда повернет, а туда — светлым днем.

В ночь молитвам она предана, а с рассветом

Хочет радостной быть — видит благо лишь в этом.

Так ведет меж подруг она круг своих дней.

Пребывают гулямы в заботах о ней».

Искендер, обольщенный такими речами,

Все хотел бы увидеть своими очами.

Вся окрестность цвела, воды мчались по ней,

Дол казался алхимиков камня ценней...

За вином, в изобилие таком небывалом,

Искендер отдыхал, наслаждаясь привалом.

Но уже к Нушабе весть пришла во дворец,

Что блестит недалеко румийский венец.

И готовиться стала она к услуженью,

Ибо знала: весь мир — под румийскою сенью.

И, румийцу служа, как царю своему,

Наилучшие яства послала ему.

Кроме птиц для стола и животных отборных,

И коней под седло многоценных, проворных —

Злаки, блеском своим привлекавшие взгляд,

Ароматную снедь и приправы, и ряд

Златокованных чаш, чтоб свершать омовевья,

И плоды и вино, что дарует забвенья,

Мускус, травы, чей дух полон сладостных чар,

За харварами сахара новый харвар,—

Для того, кто царил так премудро и мощно,

От нее привозили и денно и ночью.

Искендеру подарки и яства даря,

Не забыла она и придворных царя.

И, ее благородством пленясь и делами,

Все царицу Берды осыпали хвалами.

Искендер еще больше направить свой путь

К Нушабе захотел, чтоб хоть глазом взглянуть,---

Так ли скрытен дворец в ее райской столице,

Так ли дело правленья покорно царице,

Так ли властна она, так ли облик пригож,

Правда ль слухи о ней, или все это ложь?

* * *

Сумрак ночи — Шибдиз над горами большими

Был подкован подковами дня золотыми.

Сел в седло Искендер. Путь он хитрый нашел:

К Нушабе он отправился, словно посол.

И с коня соскочив у дворцового входа,

Государь отдохнул. До небесного свода

Поднимался дворец, и казалось: пред ним

Все склонилось и был он лазурью храним.

Увидав, что гонец на дворцовом пороге,

Всполошились рабыни и в царском чертоге

Доложили царице о дивном после
От Владыки, что блеск даровал их земле:

«Этот светлый гонец схож с крылатым Сурушем,
Что с благим предвещаньем спускается к душам;

В нем великого разума светится свет,
И сияньем божественным весь он одет».

И свой тронный покой Нушабе осветила,
Путь запретный она в золотой обратила.

Луноликих она разместила в ряды.
С двух сторон расцвели золотые сады.

Мускус тягостных кос оплетья жемчугами,
Вся она в жемчугах заблестала шелками.

И прекрасным павлином казалась она,
И сияла она, и смеялась она,

И воссела в венце на сверкающем троне
С апельсином, наполненным амброй, в ладони.

Повелела она, чтоб гонца к ней ввели,

Соблюдая весь чин ей подвластной земли.

Но посланец, как лев, отстранивший препону,

Появился в дверях и направился к трону.

И меча он не снял и, как должно гонцу,

Он земного поклона не отдал венцу.

Быстролетно окинул он огненным взором

Весь чертог, полный блеска и света, в котором

Райских гурий за рядом увидел он ряд

И который был райским дыханьем объят.

Столько светлых на девах сверкало жемчужин.

Что, взглянув, ты бы пролил немало жемчужин.

И узоры ковра, словно лалы горя,

Разогрели подковки сапожек царя.

Словно россыпи гор и сокровища моря

Воедино слились, весь чертог разузоря.

Поглядев ни посла — и медлителен он,

И пред ней не свершил он великий поклон,

Как пристало послу пред царицей иль шахом —

Нушабе была смутным охвачена страхом.

«Расспросить его должно, — решила она, —

Что-то кроется здесь! В нем угроза видна!»

Но окинув гонца взором быстрым, как пламень. —

Так менялы динары бросают на камень, —

Лишь мгновенье она колебалась. Посол

Приглашен был воссесть рядом с ней на престол.

Был достоин сидеть он с царицею рядом.

Узнан был Искендер ее пристальным взглядом.

Семь небес голубых восхвалила жена

И восславила вслед Миродержца она,

Но догадки своей не открыла, нескромной

Не явилась и, взор свой потупивши томный,

Не сказала тому, кто смышлен и могуч,

Что в руке ее к тайне имеется ключ.

Искендер, по законам посольского чина,
Как почетный гонец своего господина,

Восхваливши царицу прекрасной страны
И сказав, что ему полномочья даны

Тем царем, что велик и чья праведна вера, —
Начал так излагать ей «слова Искендера»:

«О царица, чья слава сияет светло,
Чье величье— величье всего превзошло,

Почему, хоть на день свои бросив угоды,
Ты ко мне повернуть не желаешь поводья?

Иль я слабость явил, что презрен я тобой?
Иль нанес тебе вред, что полна ты враждой?

Где отыщешь ты меч и тяжелый и смелый,
Где отыщешь ты метко разящие стрелы,

Что спасли бы тебя от меча моего?
Путь ко мне обрети. Он вернее всего.

На пути в мой шатер запыли свои ноги.

Устрашись! Мне подобные могут быть строги.

Если я по путям твоим вздумал идти,
Бросив тень своей мощи на эти пути, —

Почему к моему не пришла ты престолу?
Почему не склонила главы своей долу?

Ты, царица, подумала лишь об одном:
Ублажить меня снедью, плодами, вином,

Блеском утвари ценной, — я принял все это,
Но и ты не отвергни благого совета.

Сладко видеть тебя с твоим блеском ума.
Всею даруешь ты счастье, как птица Хума.

Размышлений дорога премудрой знакома,
К нам ты завтра явись в час большого приема».

Замолчал Искендер, и склонил он чело
В ожиданье ответа. Мгновенье прошло,

И раскрыла тогда Нушабе для ответа
Свой прелестный замочек пурпурного цвета:

«Славен царь, у которого мужество есть
Самому доставлять свою царскую весть.

Я подумала тотчас о шахе великом,
Лишь вошел ты, блистая пленительным ликом.

Ты не вестник — в тебе шахиншаха черты.
Ты — не посланный, нет! Посылающий — ты.

Твое слово, как меч, шею рубящий смело,
Ты, грозя мне мечом, изложил свое дело.

Но меча твоего столь высоким был взмах,
Что постигла я мигом, что ты шахиншах.

Искендер! Что твердишь о мече Искендера?
Как же ныне тобой будет принята мера

Для спасенья? Зовешь меня — сам же в силок
Ты попал. Поразмысли, беспечный ездок!

Залучило тебя в мой дворец мое счастье.
Я звезду свою славлю за это участие!»

Молвил царь: «О жена, чей прекрасен престол!

К подозреньям напрасным твой разум пришел.

Искендер — океан, я — ручей, и под сенью

Лучезарной ты солнце не смешивай с тенью.

На того не похож я, царица моя,

У кого много стражей таких же, как я.

Не влекись, госпожа, к размышленью дурному

И Владыку себе представляй по-иному.

Без гонцов неужели обходится он

И посланья свои сам возить принужден?

У царя Искандера придворных немало.

Утруждать свои ноги ему не пристало».

И опять Нушабе разомкнула уста:

«Вся надежда твоя, Миродержец, пуста.

Не обманешь меня: Искандера величья

Ты не скрыл, своего не скрывая обличья.

Величавый! Твои величавы слова.

Шкурой волка не скроешь всевластного льва.

И послам под сиянием царского крова

Не дано так надменно держать свое слово.

Не смягчай своей спеси — столь явной, увы!—

Не склонив перед нами своей головы

Кровожадно вошел бы сюда, и спесиво

Только царь, для которого властность не диво.

Есть еще кое-что у меня про запас,

Чтобы тайну свою от меня ты не спас».

Молвил царь: «О цветущая дивной красою!

Речи льва исказаться не могут лисою.

Пусть тебе я кажусь именитым, но все ж

Я — гонец и с царем Искендером не схож.

Что могу я сказать о веленье Владыки?

Повторил я лишь то, что промолвил Великий.

Ты надменным считаешь послание, но

Разрешать ваши споры послу не дано.

Если резкой тебе речь посредника мнится, —

Вспомни: львом, не лисою я послан, царица.

Есть устав Кеянидов: по царским делам

Ни обид, ни вреда не бывает послам.

Я лишь ключ от замка государственной речи,

Так не бей по ключу, будь от гнева далече.

Поручи передать мне твой чинный ответ.

Я отбуду, мне дела здесь более нет».

Нушабе рассердилась: с отвагою львиной

Вздумал солнечный свет он замазывать глиной!

Загорелась, вскипела и, гневом полна,

В нетерпенье великом сказала она:

«Для чего предался нескончаемым спорам?

Глиной солнце не мажь!» И, блеснув своим взором,

Приказала она принести поскорей

Шелк, на коем начертаны лики царей.

Угол свитка вручив Искендеру, сказала
Нушабе: «Не глядит ли вот тут, из овала

Некий лик? Не подобен ли он твоему?
Почему же начертан он здесь, почему?

Это — ты. Иль предашься ты вновь пустословью? Тщетно! Своды небес не прикроешь ты бровью».

По приказу жены развернули весь шелк,
Многославный воитель невольно умолк:

Он увидел себя, он узрел — о коварство! —
В хитрых дланях врага свое славное царство.

И, в нежданный рисунок вперяя свой взор,
Он застыл: тут бесплодным окажется спор!

Желтизной его лик мог напомнить солону,
Да не даст его бог ухищрению злomu!

Нушабе, увидав, что смущен этот лев,
Стала мягкой, всю гневность свою одолев.

И сказала она: «О возлюбленный славы!
У судьбы ведь нередки такие забавы.

Ты звездою благою ко мне был ведом,
Так считай своим домом сей царственный дом.

И тебе я покорною буду рабыней.
Здесь ли, там ли — я буду повсюду рабыней.

Для того показала тебе я твой лик,
Чтобы в сущность мою ты душою проник.

Я — жена, но мой круг размышления шире,
Чем у женщин иных. Много знаю о мире.

Пред тобою о лев, я ведь львицей стою,
И тебе я всегда буду равной в бою.

Если я, словно туча, нахмурюсь, — то с громом
Будет мир ознакомлен и с молний изломом.

Львам я ставлю тавро, знаю силу свою.
Крокодиловый жир я в светильники лью.

От любви увлекать меня к бою не надо.
Укорять ту, что вся пред тобою, — не надо.

Ты шипы не разбрасывай — сам упадешь.

Дай свободу другим — сам свободу найдешь.

Коль меня победишь, — не добудешь ты славы.

В этом люди увидят бесчинство расправы.

Если ж я, повея ратоборства игру,

Одолею тебя, я ведь шаха запру.

Пусть меня ты сильней, бой наш будет упорен.

Я прославлена буду, а ты опозорен.

Говорил постигавший всех распрей судьбу:

«Никогда не вступай с неимущим в борьбу.

Так он будет стремиться к добыче, что, ведай,

Не тебе, а ему породниться с победой».

Знай, хоть край мой в границы свои заключен,

Я слежу за владыками наших времен.

Знай, от Инда до Рума, от скудной пустыни

До пространства, что божьей полно благостыни, —

Разослала повсюду художников я

И мужей, проникающих в тьму бытия,

Чтоб, возрев и прислушавшись к общему толку

Мне подобья царей начертали по шелку.

Так из каждого края, что мал иль велик,

Мне везут рисовальщики царственный лик.

И гляжу я в раздумье на эти обличья.

И, чтоб тоньше постичь царских ликов различья,

Я о тех, по которым я взор свой веду,

От мужей многоопытных сведений жду.

Письмена их прочтя, их с рисунком сличая,

Узнаю я властителя каждого края.

И любого царя с головы и до пят

Изучает мой взор. Мои мысли кипят.

И мужей, захвативших и воды и сушу,

Я пытаюсь постичь и проникнуть в их душу.

Я сличаю державных, — кто плох, кто хорош.

Есть наука об этом. Наука — не ложь!

Я царей изучаю внимательно племя.

Не в одних лишь уладах течет мое время.

На раздумий весах узнаю я о том,

Кто из всех властелинов бесспорно весом.

Мне на этом шелку, о венец мирозданья!

Ничего нет милей твоего очертанья!

Словно слава над ним боевая парит.

И о мягкости также оно говорит».

И царица, сияя подобно невесте,

По ступеням сошла, чтоб на царственном месте

Искендер был один. Будь хоть каменным трон — Никогда двух всевластных не выдержит он.

Потому лишь игра мучит сердце любое,

Что два шаха в игре и соперников двое.

И, покинув свой трон, перед шахом жена

Стройный стан преклонила, смиренья полна,

И затем, на сидение сев золотое,

Услужать ему стала. Смущенье большое

Искендера объяло. Стал сам он не свой

Перед этою рыбкою хищной такой.

Он подумал: «Владеет она своим делом.

И полно ее сердце стремлением смелым.

Но за то, что свершить она должным сочла, —

Ей от ангелов горних пошлетя хвала.

Все ж бестрепетной женщине быть не годится: Непомерно свирепствует смелая львица.

Быть должны легковеснее мысли жены.

Тяжкой взвешивать гирей они не должны.

Быть в ладу со стыдливостью женщинам надо.

Звук без лада — лишь крик. Есть ли в крике услада?

«Пусть жена за завесою лик свой таит,

Иль в могиле укроется», — молвил Джемшид.

Ты не верь даже той, что привержена вере.

Хоть знаком тебе вор, — запирай свои двери.

Безрассудный посол! — он себя поносил —

Для защиты своей не имеешь ты сил.

Над тобою нежданные беды нависли.

Ты попался! Ну что ж! Напряги свои мысли!

Если б встретил врага, а не женщину ты,

Если б в ней не таилось ее доброты,

Ты давно бы забыл о возвратной дороге: Обезглавленным пал бы на этом пороге.

Если ныне я целым отсюда уйду,

На желанья свои наложу я узду.

И лица своего прикрывать я не стану.

Прибегать безрассудно к такому обману.

Коль нежданного плена обвил меня жгут,

То не нужно мне новых мучительных пут.

Мы спасаем букашку, упавшую в чашу,

Применяя не силу, — находчивость нашу.

Терпеливым я стану. Все это лишь сон.

Он исчезнет. Ведь буду же я пробужден!

Я слышал: человек, предназначенный казни,
Шел смеясь, будто вовсе не ведал боязни.

И спросили его: «Что сияешь? Ведь срок
Твоей смерти подходит, твой путь недалек».

Он ответил: «Коль жизни осталось так мало,
То в печали ее проводить не пристало».

Был разумен его беспечальный ответ.
И во мраке создатель послал ему свет.

Хоть порой должный ключ мы отыщем не скоро,
Но откроем мы все-таки створку затвора,

Еще много иного сказал он себе
И решил покориться неожиданной судьбе.

Если мощный в пути одинок, — то не диво,
Что в своем одиночестве встретит он дива.

Коль без лада певец свой затянет напев,
В своем сазе насмешку услышит и гнев.

И, познав, что напрасным бывает хотенье, Растревоженных мыслей смирил он смятенье.

Победит он терпеньем постыдный полон!

И на счастье свое понадеялся он.

Нушабе приказала, ему служа,я,

Чтобы те, что подобны красавицам рая,

Всевозможною снедью украсили стол

И чтоб яствами лучшими весь он расцвел.

И рабыни, сверкая, мгновенно, без шума,

Приготовили стол для властителя Рума.

Сотни блюд принесли, и вздымались на них Бесконечные груды различных жарких,

И хлебов, чья душистость подобилась чуду,

И лепешек румяных внесли они груды.

Чтоб рассыпать по ним, словно россыпь семян,

Много сладких печений. Был нежен и прян

Дух пленительный хлебцев; в усладе сгорая,

Ты вдыхал бы их амбру, как веянье рая.

Кряж такой из жаркого и рыбы возник,
Что подземныегнулись и Рыба и Бык.

От бараньего мяса и кур изобилья
У смеющейся скатерти выросли крылья.

И миндаль и фисташки забыли свой вкус, —
Так пленил их «ричар», так смутил их «масус».

И от сочной халвы, от миндальных печений
Не могли леденцы не иметь огорчений.

«Полуде» своей ясностью хладной умы
Прояснило бы те, что исполнены тьмы.

И напиток из розы — фука — благодатный
Разливал по чертогу свой дух ароматный.

Златотканую скатерть отдельно на трон
Постелили. Был утварью царь удивлен.

Не из золота здесь, не для снеди посуда:
На подносе — четыре хрустальных сосуда.

В первом — золото, ладами полон второй,

В третьем — жемчуг, в четвертом же — яхонтов рой.

И когда в этом праздничном, пышном жилище Протянулись все руки к расставленной пище,

Нушабе Искандеру сказала: «Любой

Кушай поданный плод, — ведь плоды пред тобой».

Царь воскликнул: «Страннее не видывал дела!

Как бы ты за него от стыда не зардела!

Лишь камня в сосудах блестят предо мной.

Не съедобны они. Дай мне пищи иной.

Эта снедь, о царица, была б нелегка мне,

Не мечтает голодное чрево о камне.

На желанье вкушать — должной снедью ответь,

И тогда я любую отведаю снедь».

Рассмеялась луна и сказала проворно:

«Если в рот не берешь драгоценные зерна,

То зачем ради благ, что тебе не нужны,

Ты всечасно желаешь ненужной войны?»

Что ты ищешь? Зачем столько видишь красы ты
В том, чем люди вовеки не могут быть сыты?

Если лал несъедобен, скажи, почему
Мы, как жалкие скряги, стремимся к нему?

Жить — ведь это препятствий отваливать камень.
Так зачем же на камни наваливать камень?

Кто камня сбирал, тот изгрызть их не мог;
Их оставил, уйдя, словно камни дорог.

Лалы брось, коль не весь к ним охвачен пристрастием
Этот щебень в свой срок оглядишь с
безучастьем».

Царь упрекам внимал. Он прислушался к ним.
И, не тронув того, что сверкало пред ним,

Царь сказал Нушабе: «О всевластных царица!
Пусть над миром сиянье твое разгорится!

Ты права. Выйдет срок — в этом спора ведь нет —
Станет камню простому сродни самоцвет.

Но полней, о жена, я б уверился в этом,
Если б также и ты не влеклась к самоцветам.

Коль в уборе моем и блестит самоцвет,
То ведь с царским венцом вечно слит самоцвет.

У тебя ж — на столе самоцветов мерцанья.
Так направь на себя все свои порицанья.

Накопив самоцветы для чаш и стола,
Почему ты со мною столь строгой была?

О владельце камней худого ты мненья —
Почему же весь дом твой покрыли каменья?

Но разумной женою ты, кажешься мне,
И твои поученья уместны вполне.

Да пребудешь ты вечно, угодно богу, —
Ты, что даже мужам указуешь дорогу!

О жена! От себя твое золото я
Отставляю. И в этом заслуга твоя».

И счастливая этой великой хвалою,
Совершивши поклон, до земли головою

Преклонясь, — повелела она лишь тогда

Пред царем Искендером поставить блюда.

И, поспешно испробовав явства, сияя,

Их царю предложила и, не уставая,

Хлопотала, пока Искендер не устал

От еды и в дорогу готовиться стал.

Взяли клятву с царя, что не станет угрюма

Участь светлой Берды от нашествия Рума.

Дав охранную грамоту, сел он в седло,

Поскакал; на душе у царя отлегло.

Понял он: от лукавой игры небосвода

Оградил его бог. Сколь отрадна свобода!

И, уйдя от всего, чем он был утрашен,

Благодарность вознес вседержителю он.

* * *

Шар игральный у дня ночь взяла, но при этом

Разодела весь мир лунным сладостным светом.

Хоть пропал золотой полыхающий шар,
Но серебряных шариков реял пожар.

Вспомнил благостный сон о царе Искендере
И закрыл ему веки — души его двери.

Отдыхал Властелин до мгновений, когда
Мгла исчезла. Сиянью настала чреда.

Поднял голову царь, чтоб за радостным пиром
Встретить утро, что, яро вставая над миром,

Апельсином сразило рассвет. Пропылал
Он, покрывшийся кровью, как пламенный лал.

И когда было небо в сверканиях лала,
Нущабе к Повелителю путь свой держала.

И была под счастливой звездой она,
Как плывущая ввысь золотая луна.

За конем луноликой, сверканьем играя,
Шли рабыни, как вестницы светлого рая.

Сто Нахид помрачнели б наверно пред ней:

Ста Нахид ее пальчик единый ценней.

И предстал царский стан перед взором царицы,
Там нет счета шатрам, там коней вереницы.

Там от золота стягов, от шелка знамен
Прах фиалковым стал, розов стал небосклон.

Между сотен шатров с их парчовым узором
Путь к царю не могла разыскать она взором.

Но, людей расспросив, прибыла ко двору, —
К подпиравшему небо цареву шатру.

Золотые подпоры, из шелка канаты
И гвоздей серебро... Краше румской палаты

Для приемов шатер. И приема жена
Попросила, и спешила эта Луна.

И позволили ей преклонения дани
Принести и пройти под шатровые ткани.

И узрела она: со склоненным лицом
Венценосцы стоят под единым венцом.

Перед тем, кого чтили все жители мира,
Пояс к поясу встали властители мира.

И одежд их сверкающих яркий багрец
Был опасен для глаз и для робких сердец.

И стеной они росписью, чудилось, были:
О движенье, о слове они позабыли.

И невеста из замка извела страх:
В замке труднодоступном находится шах.

Преклонясь, Нушабе начала восхваленье.
Всех могучих она привела в умиление.

Повелел государь, — и сверкающий трон
Принесли. Был из чистого золота он.

Царь Луну усадил на возвышенном месте,
Ниже — тех, кто сопутствовал этой невесте.

Он прибывшей хороший прием оказал,
Что приезд ее благ, Нушабе он сказал.

Успокоилось сердце жены, и Властитель
Приказал, чтоб явился пиров управитель

И чтоб стольник скорей угощенья принес
И пустил вкруговую обильный поднос.

Но сперва, словно взят из источников рая,
Заструился «джуляб», духом розы играя.

Столь усладный напиток не только Хосров, —
И Ширин не имела для званых пиров!

А затем белотканые скатерти стлали,
И поплыл запах амбры в небесные дали.

Все блага, что давало богатство земли,
В тяжких грудах поспешно на стол принесли:

Из муки серебрястой, просеянной дважды,
Были поданы... луны — подумал бы каждой.

Словно свертки шелков — для услады царей! —
Засиял свежий хлеб, — жаркий труд пекарей.

На подносах из золота целую груду

Хлебцев разных внесли; хлеб разложен был всюду,

Лишь лепешки одной не нашлось на столе —

Той, что в небе, пылая, светила земле.

Все поев, как положено, сладостной влаги

Пожелали. И жбаны раскрылись и фляги.

До полудня за чашами время прошло,

И когда пламень дружбы вино разожгло, —

Опьянения радость разгладила брови

Тем, кто к пиршествам жаркой исполнен любви,

И за струнной игрой до вечерней зари

Провели с Нушабе свое время пери.

И когда в черный цвет свод оделся высокий,

И к подушкам прильнуть так хотели бы щеки,

Молвил царь милоликим, словам их в ответ:

«Уезжать вам сегодня не следует, нет!»

Я хочу, чтобы завтра возникло от Рыбы

До Луны пированье, чтоб все мы могли бы,

Как нам Кеи велели и сам Феридун, —

Усладиться вином и звучанием струн.

Может статья, в огне, наполняющем чаши,

Испекутся дела несвершенные наши.

Позабудем о всем, чем нас мир покарал.

Исцелит наши души столетний коралл.

Пусть ланит наших станут прекрасными розы: Раскрасневшись, становятся страстными розы.

Коль мы прах напоим ценной амброй вина, —

Для мытья головы станет глина годна!»

Что же! Радость пери, преклоненных пред шахом, Одержала победу над девичьим страхом.

И была Нушабе на царевом пиру

Так светла, как Зухре в небесах поутру.

Властной амброй дыша, глубока, чернокрыла

Стала ночь и мешочек свой мускусный вскрыла,

А из мускусных кос милых дев свой аркан

Сделал царь, сладкой амбры усилив дурман.

И Луну и Юпитер арканом сим властным
Он заставил спуститься на землю к прекрасным.

Пированьем была эта страстная ночь.
И сверкали пери, — так хотелось им смочь

В пламень бросить подкову: хорошая мера,
Чтоб, колдуя, любовью зажечь Искендера!

Царской волей зажглись благовоний костры,
Словно маги в ночи затевали пиры.

Так он взвихрил огонь, что в хмелю позабыли
Все о скарбе, — о том, чем так связаны были.

За вином, струны звонкие слушая, он
Всю провел эту ночь. Посветлел небосклон.

По лазури багрянец прошел полосою,
Черный соболь нежданно стал рыжей лисою.

Снова стал веселиться зеленый простор.
И был царственный снова разостлан ковер.

Кипарисов ряды снова подняли станы",
Куропатки мелькнули, блеснули фазаны.

И запели пери. Им казалось, что пьян
И любовью и солнцем обильный Михрган.

И когда цвета яшмы запенились вина,
Тотчас яшмовой стала небес половина.

ИСКЕНДЕР НАПРАВЛЯЕТСЯ В ИНДИЮ

Дай с расплавленным золотом чашу, — оно
Красной серой становится. Мудро вино.

Дай мне снадобья, кравчий, чтоб медь моя стала «Красным львом», — чтоб всезнаньем она заблестала.

* * *

Скакуна погоняй, путь удобен степной.
Скоро сможешь покончить с дорогой земной.

Из краев, где твой дух мучит скорбь и досада,
Мчись к Эдему, спеши и домчишься до сада.

Как прельстился ты прахом под сменою лун?

Прах пожрал даже то, чем прельщался Карун.

Путь спасенья — смиренье. Так шествуй дорогой, Словно солнце, единственной, верной и строгой.

Хоть и ждет на дороге сверканье ножей,

Возят вьюки купцы, не страшась грабежей.

Если нет на дороге лихого народа,

Значит, путь не приносит прямого дохода.

Там, где клады находят, веков испокон

Сторожит эти клады опасный дракон.

* * *

Тот, кто стройный рассказ вел по должному чину,

Так открыл нам ядро, взрезав дел сердцевину:

Царь из Балха ушел и пришел он в Газну,

И покинул он горького моря волну.

И вожди приходили к нему отовсюду,

И решил Повелитель: «Я в Индии буду!»

И промолвил он тем, кого чтит искони:

«Свет счастливой звезды мне лобзает ступни:

Весь Иран обратил я в румийцев угодыя, —

В край индийский хочу повернуть я поводья.

Я к коварному Кейду направлю коня,

Чтоб коварного в нем не осталось огня.

Если выйдет навстречу ко мне он с поклоном, —

Буду щедрым, пленю его этим полоном;

Если ж в распряю меня он захочет вовлечь,

Что ж, тогда буду я, шея Кейда и меч.

Я его поверчу! Он, быть может, отважен,

По он будет сидеть там, где будет посажен!

Вновь направлюсь я вдаль, — свод небесный не хмур, И копьё мое встретит испуганный Фур;

Но, венец его взявши, я медлить не стану:

На неведомый край хана ханов нагряну.

И пойду на Тараз, и пойду я на Чач;

Я весь мир захвачу в быстрой смене удач!»

Принял каждый, мечтавший о дерзостном бое,
Это слово царя, как велье любое.

В день, когда положение звезд предрекло,
Что удачи звезда засияет светло,

Искендер, чье чело небеса осветило,
Сел в седло. Из Газны поспешает светило, —

И уже дивной Индии взор его рад.
Вся дорога в придворных — сверкающий сад.

Все решал Миродержец и быстро и смело,
Так и с Кейдом хотел мигом кончить он дело, —

Над страной его бурный поднять ураган
И насытить поклажею свой караван.

Но, опомнившись, тотчас забыл он об этом, — Остановлен он был многомудрых советом.

И гонца он к индийцу послал, чтоб гонец
Так промолвил, явившись в индийский дворец:

«Выходи, если ты приготовился к бою.

Я, как черная туча, стою пред тобою.

Если выйдешь ко мне, не оружием стуча,

А моленья шепча, — не увидишь меча.

Ведь нарцисс поднялся бы, выросла б его сила.

Если б туча дождями его оросила,

Ведь оделась бы роза в убранство свое,

Если б жаркое солнце пригрело ее.

Если я рассержусь, — ужаснутся просторы,

Если вздрогну, — качнутся и доли и горы.

Над землею высоко я трон свой возвел,

Я не сплю. Опасайся. Я — зоркий орел.

Кто всклокочил бы волосы в ярости страстной,

Тот лишь на волос был бы от смерти ужасной.

Пусть края ваших гор — как печи под лучом,

Ваши горы своим одолею мечом!

Жду ли золота здесь, жду богатства иного ль? Магрибинского золота видел я вдоволь!

Иль красавиц ищу, — их очей и речей?

Но ведь солнце Хорезма горит горячей!

Иль добыча камней царит в моей думе?

Самоцветы в избытке имеются в Руме.

Мой из Индии меч; ныне снедь мне нужна.

Съесть я ныне смогу боевого слона!

Не проешь своей подати, — вспомни-ка друга:

На румийце индийская блещет кольчуга.

Сбережешь свой венец, коль запомнишь слова. Вышлешь дань — хорошо, нет — слетит голова!»

И у Кейда посланец, привычный к двуличью,

Сеть расставил свою пред внимательной дичью.

Он индийцу явил те слова из огня,

Что пылали ужаснее Судного дня.

И, узрев пред собой страшный день воскресенья,

Кейд решил: осторожность — дорога спасенья.

Все, что ныне сбылось — снилось Кейду во сне,

И не раз размышлял он о завтрашнем дне:

«Нет, с румийским царем спор напрасный не нужен:

Он всю землю прошел, с небесами он дружен.

Как ом Дария.сверг! С той поры что свершил!

Он в Хабеше, в краю Бухары что свершил!»

Кейд не счел рассудительным быть непокорным,

Не к покою идти, а к бореньям упорным.

Понял он, что велик этот пламенный лев

И что надо смирить его царственный гнев.

И раскрыл он уста, и вознес восхваленья,

И сказал, что исполнит он все повеленья:

«Если в мире царю быть мудрейшим дано, —

Значит, миром правленье ему суждено.

Пусть луна ему служит подножием престола,

Но да сходит он к жителям скорбного дола!

В моем сердце живет к шахиншаху любовь, —

Что ж грозит он войной, что же хмурит он бровь?

Если хочет, — сокровищ отдам половину,

Если хочет, — венец с головы своей скину.

Если жизни моей он желает, — свое

Вырву сердце, окончу свое бытие.

И венец, и престол, и казну, не жалея,

Я отдам, если вышлет ко мне казначея.

Не царя он увидит во мне, не врага.

Искендер — господин, я — покорный слуга.

Если хочет он власти, — я буду безволен,

И рабом своим будет Великий доволен.

Если ж Властный не так благосклонен к рабу

И желает напрасно идти на борьбу,

Я укроюсь и распря с Великим отрину,

Но под ноги слона своей жизни не кину,

И пускай на мой край он войною встает,

Все же крови моей государь не прольет.

Если даст мне приют, — протрубят мне не трубы ль Славных дней? С ним останусь. Ведь это не убыль.

Если с войском нагрянет, то я ведь не хром,
Скрыться можно: немало пристанищ кругом.

Если ж царь на меня снисходительным взором
Поглядит и скрепит наш союз договором,

И не будет ущерба владеньям моим;
И от всякой напасти я буду храним,—

Дам царю я четыре подарка. На свете
Ничего нет ценней, — вот даяния эти:

Лишь с луною сравнимая дочь моя... Нет!
Не с луною, а с солнцем! Велик ее свет;

Дивный кубок из яхонта: кубок вздымая,
Пьешь и пьешь из него, — все ж он полон до края!

Прозорливый мудрец — все раскрыто пред ним.
Он таимое видит мышленьем своим;

Старый врач, изучивший недугов явленья

И несущий стелаящим день исцеленья.

Если б царь был дарами доволен вполне,
То отраду большую доставил бы мне».

Согласился гонец: «Если эти четыре
Дивных дара, прекраснее многого в мире,

Ты направишь царю, — будешь взыскан судьбой:
Всей земли повелитель сроднится с тобой;

Он поставит тебя в череде именитых,
И не быть твоим просьбам среди позабытых».

Выбрал Кейд из премудрых придворных своих
Одного, кто для дел многотрудных таких

Был пригоден. Его к шахиншаха порогу
Он отправил с гонцом Искендера. В дорогу

Дал указ он посланцу, в указе смешав
Нужный жир и обильную сладость приправ.

Возвратился посол к Искендеру, и рядом
С ним был важный индеец, сверкающий взглядом.

И они, бросив седла, спеша ко двору,
Засияли, как розы в садах поутру.

И увидел индиец из древнего рода,
Что шатер этот выше шатра небосвода,

И поклоном подмел перед троном он прах
И промолвил царю о великих дарах.

Все слова, что посланцу положены чином
Вознести, коль он послан своим господином,

Он вознес и подробно сказал обо всем,
Что готовилось в дар его зорким царем.

Запылал Искендер. Медлить не было духа.
Глаз возжаждал того, что слышало ухо.

Нетерпением зажегся он с этой поры,
Торопился принять он все эти дары;

Обласкал он посланца под царственным кровом
И посулом щедрот и приветливым словом.

К Кейду послан с другими был сам Булинас,
И был вскрыт Искендером сокровищ запас.

И письмо, что всю Индию делало воском
И румийским индийцем, сверкавшее лоском

Разукрашенных строк, было послано льву
От Стрелка, что напруг своих слов тетиву.

В нем являло уловки умелое слово,
Что все души прельщать было вечно готово.

В нем немало звучало ответных похвал
За хвалы, что Великому Кейд воздавал.

И писец сумрак мускуса слил с камфарою,
И с охранною грамотой ранней порою

Булинас и другие познанья сыны
Путь свой начали к шаху индийской страны.

Ожидая, что встретит готовых к обману,
Прибыл румский мыслитель к индийскому стану.

Но узрел он, что, благом приветным дыша,

Не коварна — прозрачна индийца душа.

И склонился мудрец и коснулся он праха:

Кейд был в царском венце, в ярком поясе шаха.

Дал он Кейду письмо, дав лобзанье письму,

Также ключ от сокровищ вручил он ему.

Был прочитан весь лист неробевшим дебиром,

И как будто бы небо качнулось над миром.

ПОХОД ИСКЕНДЕРА ИЗ ИНДИИ В КИТАЙ

Дай мне, кравчий, вина! Цвет вина — аргаван.

Дряхлый старец, испив его, юностью пьян.

Дай мне сил молодых! Дней отвергни угрозу!

В аргаван обрати мою желтую розу.

* * *

Вновь я счастье узнал, — так звучи же мой сказ!

Чтоб на сазе сыграть, вновь настроил я саз.

На сплетение слов счастье вскинуло вежды,

Исполняется свет величайшей надежды.

Свой рассказ излагая, рассказом пылай.

Довести до конца эту книгу желай.

Расскажи, о воитель, набегом счастливым

Что свершил ты в бою с Фуrom фуров кичливым.

* * *

Тот, кто всем огласил о минувшем отчет,

Вновь завесу раскрыл. Вновь рассказ потечет.

С Кейдом кончено. Властный, владеющий миром,

То за дичью гонялся, то тешился пиром.

И на Фура он двинулся. Яростный лик

Многославного Фура мгновенно поник.

Лишь взглянул Искендер, приготовившись к бою, —

И в силок зложелатель попал головою.

Царь зажег его край. Кровь забила ключом.

Царь венец с него снял... с головою — мечом.

И когда стал ненужен он миру земному, —
Его край покоренный был отдан другому.

Вновь царя потянуло к скитальческим дням.
Этот край нес беду ветроногим коням.

Есть три твари, которым опасны три края,
И живут они там, долгой жизни не зная:

Кони — в Индии, в Парсе — слоны, а Китай
Вреден кошкам. Не вымыслом это считай.

И, увидев, что гибнут не в скачке погони,
А от вод и отравы его быстрые кони,

Царь из Индии тронулся в горный Тибет,
Из Тибета в Китай. Лишь венца его свет

Над Тибетом сверкнул, — словно шумным потехам
Предались все войска: мир наполнился смехом.

Царь спросил: «Что за радость в безвестном краю
Где бы должно оплакивать долю свою?»

Отвечали ему: «Цвет шафранный равнины
Все сердца веселит, веселит без причины».

Царь дивился весьма. Взор людской уголя,
Желтым цветом людей веселила земля.

И по тяжким путям в затрудненье немалом
Шел он вдаль и привал совершал за привалом.

Не заметил он крови в степи, но она
Вся, увидел он, мускусом ценным полна.

Сотни мускусных мчались газелей. Охоту
Искендер запретил и, не ведая счету,

Собирали войска за харваром харвар
Ценный мускус, — всем людям желанный товар.

И пройдя по безлюдной пустыне Китая,
Царь пришел в те места, где, глазурью блистая,

Красовалось прекрасное пастбище. Край
Был приветлив к пришельцам, как радостный рай,

Изумрудный простор трепетал пред очами,
Тут и там озаренный живыми ключами.

Благотворен был воздух, светлы небеса

И обильны плоды и красивы леса.

Блеск воды меж листвы, не изведавшей бури,

Словно ртуть на картине из гладкой лазури.

Мрели росы в травинках зеленых лугов,

Как в листках из финифти узор жемчугов.

Бозле мест, где ключи сладкозвучно звенели,

Легкий след: здесь брели к водопою газели.

Был онаграми прах близ потоков не взрыг:

На граве что узор след их тяжких копыт.

Темных пятен нигде вы узреть не могли бы,

Лишь темнела спина проплывающей рыбы.

Царь, лишь только узнав этих мест благодать,

Смог индийскую землю забвенью предать.

И велел он коней, утомленных походом,

Разнуздать и пустить к этим травам и водам.

Семь ночей у китайской земли рубежей

Пировал он в кругу многославных мужей.

На вторую неделю пришло его время,
И сказал небосвод: «Вдень ступню свою в стремя!»

И литавры к походу забили. Взлетай
Знамя новых побед! Он пойдет на Китай!

РАССКАЗ О ХУДОЖНИКЕ МАНИ. ПРЕБЫВАНИЕ ИСКЕНДЕРА В КИТАЕ

Я слышал, что из Рея в далекие дни
Шел в Китай проповедовать дивный Мани.

И немало людей из народов Китая
Шло навстречу к нему и, Мани почитая,

Схожий с влагою горный хрусталь на пути
Положили они. Кто-то смог нанести

Тонкой кистью рисунок волнистый, узорный
На обманный родник, на хрусталь этот горный:

Словно ветер слегка взволновал водоем

И бегущие волны возникли на нем.

Начертал он и много прибрежных растений, — Изумрудную вязь прихотливых сплетений.

Ехал в жаркой пустыне Мани, не в тени.

Было жаждой измучено сердце Мани.

Снял, склонившись, он крышку с кувшинного горла,

И кувшин его длань к светлой влаге простерла.

Но ведь вовсе непрочны сосуды из глин:

О сверкающий камень разбился кувшин.

Догадался Мани, что обманом шутивным

Был источник с живым серебристым отливом.

Взял он кисть, как он брал эту кисть искони,

И на твердой воде, обманувшей Мани,

Написал он собаку издохшую. Надо ль

Говорить, как была отвратительна падаль?

В ней кишели несметные черви, и страх

Вызывал у людей этот вздувшийся прах.

Каждый путник расстался б с надеждою всякой

Выпить воду: отпугнут он был бы собакой.

И когда весь Китай этот понял урок,

И о жаждущих скорбь, и насмешки упрек,

То постиг он Мани с его силой искусства,

И к Эржекгу благого исполнился чувства.

Почему о Мани вновь слышна мне молва

И к молве о Мани заманил я слова?

* * *

Царь с хаканом сдружились, дней множество сряду
Предаваясь пиров беззаботных обряду.

С каждым днем они были дружней и дружней,

Люди славили мир этих радостных дней.

Другу вымолвил царь: «Все растет в моей думе
Пожеланье, — быть снова в покинутом Руме.

Я хочу, если рок не откажет в пути,

Из Китая в Юнан все стоянки пройти».

Так в ответ было сказано: «Мир Искендеров,—

Это мир не семи ли подлунных кишверов?

Но стопа твоя всюду ль уже побывала?
А ведь ты всем народам, всем царствам — кыбла.

И куда бы ни шел, за твоим караваном
Мы пойдем, государь, с препоясанным станом»

Царь дивился хакана большому уму,
И за верность его привязался к нему.

От подарков, что слал повелитель Китая,
Царский пир озарялся, как солнце блистая.

И кольцо послушания в ухо продел
Покоренный хакан. Обо всем он радел.

И горела душа хана ханов прямая,
Солнце жаркой любви до луны поднимая.

Мог бы он помышлять о величье любом,
Но все более он становился рабом.

Если царь одаряет кого-либо саном,
Должен тот пребывать с препоясанным станом.

На какие ступени ты б ни был взнесен,
Все же должен быть низким твой рабский поклон.

Искендер для Китая стал тучею. Нужен
Влажной тучи навес для рожденья жемчужин.

Он шелками иранских и румских одежд,
На которых Китай и не вскидывал вежд,

Создал ханам Китая столь ценные клады,
Что цари всего мира им были бы рады.

Скатертями хосровов покрыл он весь Чин,
На челе у китайцев не стало морщин.

Уж твердили во многих краях тихомолком,
Что лишь в Чине одел всех он блещущим шелком.

Царь любил узкоглазых, их дружбой даря,
И срослись они с ним, словно брови царя.

И клялись они все, — сказ мой дружен с молвою,
Лишь глазами царя да его головою.

ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИСКЕНДЕРА
ИЗ КИТАЯ

Кравчий! Розовой жажду воды. Ведь больна
Голова моя ныне. Подай мне вина.

Не похмелья сулящего и не тревогу,
А дающего делу благую помогу!

* * *

Для того, кто задумал весь мир обойти,
Хорошо вновь и вновь быть на новом пути, —

Все осматривать всюду, вставать спозаранок,
Покидая стоянку для новых стоянок.

Лицезреть все обличья. Входя в города,
Видеть то, что не видел еще никогда.

И постигнешь тогда, если ты беспристрастен,
Что в своем только городе ты полновластен.

Лучше быть неприметным и видеть свой дом,
Чем царить тебе в городе дальнем, чужом.

Хоть везде с Искендером бродила удача,
Но с душой своей пламенной часто судача,

Он о родине помнил. Который удел
Захватил он! Но в мыслях домой он летел.

«На коня ветроногого сяду! Воочью
Вновь увижу свой край! — он раздумывал ночью,

Без возлюбленной родины что мне мой сан!
Вновь твой воздух вдохну, о родной Хорасан!

На персидскую землю поставлю я ногу,
Снова в царство Истахра увижу дорогу,

Озарю своим блеском свой радостный дол,
До небес вознесу свой великий престол,

По стране, где рождается сладость, проеду,
Там с добром и со злом поведу я беседу,

Стародавний порядок восставлю опять,
Повелю пред царем снова прах лобызгать,

Утвержу за служенье былую оплату,
Буду ласков. В свою призывая палату

Всех просящих, большие вручу им дары,
И весь мир будет радостен с этой поры!»

Так с собой он беседовал в ночи иные,
Наполняя раздумьями смены ночные.

Управитель Абхазии, мощный Дувал,
Тот, которому царь важный сан даровал,

Искендеру служил. С препоясанным станом
Он проехал по всем завоеванным странам.

И пришел он к царю. Весь горел он огнем
И стenal, как литавры под бьющим ремнем.

Услыхал Искендер, славный сын Филикусов: «Повелитель! В Абхазии толпища русов.

Помоги, государь! Набежали враги,
Полонили весь край! Помоги! Помоги!

Из аланов и арков полночным отрядом
Вся страна сметена, словно яростным градом.

И враги всю Дербентскую заняли высь,

И до моря по рекам они добрались.

Мне прибывший сказал: «Этой смелостью ярой Обновили они жар вражды нашей старой.

Опустел целый край изобилья и нег.

Да узнает предел этот страшный набег!

Не отыщется счета абхазцам убитым,

Не отыщется счета жилищам разбитым,

Не осталось в амбарах крупинки зерна,

Не хранит ни дирхема пустая казна!

Где сокровищниц блеск? Вновь блеснет он едва ли! Руки вражьих бойцов шелк с престола сорвали!

Опрокинута, смята, разбита Берда,

От богатого города нет и следа.

Нушабе пленена! Радость канула наша!

Царь, о камень разбита прекрасная чаша!

Из невест, что ты видел с прекрасной Луной,

Не осталось на месте, о царь, ни одной!

Все смешалось в стране, целый мир опечален,
В подожженных селеньях лишь груды развалин.

Лучше было бы пасть мне под вражьей рукой,
Не изведав беды, погрузиться в покой!

Я возвышен тобой, а в темнице и дети
И жена моя стонут, иль нет их на свете!

Коль не двинешь войска ты навстречу врагу,
Лишь к творцу я воззвать о защите смогу.

Рум с Арменией вместе в короткое время
Может ввергнуть в беду это смелое племя.

Если к кладу дорогу сыскали они,
Поспешат они дальше. Наступят их дни,

Города завоюют и целые страны:
Лишь на битвы способны их грозные станы,

Не умеют они расстилать скатертей,
Но о смелости их много слышим вестей.

Захотят они новых набегов, и вскоре
Многим странам от них будет горькое горе.

Правосудье не наше в душе храбрецов,
Отберут все товары они у купцов.

Покоривши наш край, в своем беге угрюмом,
Завладеют они Хорасаном и Румом!»

Помрачнел Искендер, услышав, как Дувал
О жене и о детях своих горевал.

А судьба Нушабе! Невозможной бедою
Пронеслась эта буря над милой Бердою!

Царь свой лик склонил, и мгновенье прошло, —
И Возвышенный грозное поднял чело:

«Не напрасно душа твоя к трону воззвала:
В моем сердце печаль, как и в сердце Дувала,

Мой приказ: на уста ты наложишь печать, —
Ты сказал. Должно мне свое дело начать.

Узришь ты: я помчусь к призывающим странам,

Сколько вражьих голов захвачу я арканом!

Сколько смелых сумеют на помощь поспеть,

Сколько львиных сердец я заставлю вскипеть!

Я сломлю гордецов! Львам ведь только в забаву Осмелевших онагров повергнуть ораву.

Что буртасы! Что арки! Иль царь изнемог?

Будут головы вражьи у этих вот ног!

Если Рус — это Миср, его сделаю Нилом!

Под ногами слонов быть всем вражеским силам!

Я на вражьих горах свой воздвигну престол,

Я копытом коня вражий вытопчу дол.

Ни змеи не оставлю нагорным пещерам,

Ни травинки — полям! Быть хочу Искендером,

А не псом! Если я этим львам не воздам, —

То у всех на глазах уподоблюсь я псам!

Если я не покончу, как с волком, с Буртасом, —

Стану жалкой лисой. Надо только запасом

Нужных дней обладать. Возмещенье сполна
От напавших получит абхазцев страна.

Мы низвергнем врагов, и вернется к нам снова
Все, что взяли они из-под каждого крова.

Мы спасем Нушабе! Возвратится тростник,
Полный сахара, сладкий засветится лик.

ИСКЕНДЕР ПРИБЫВАЕТ В КЫПЧАКСКУЮ СТЕПЬ

Дай мне, кравчий, напитка того благодать,
Без которого в мире нельзя пребывать!

В нем сияние сердца дневного светила.
В нем и влаги прохлада и пламени сила.

Есть две бабочки в мире волшебном: одна
Лучезарно бела, а другая черна.

Их нельзя уловить в их поспешном круженье:
Не хотят они быть у людей в услуженье.

Но коль внес ты свой светоч в укромный мой дом, Уловлю уловляемых долгим трудом.

* * *

Разостлавший ковер многоцветного сада

Свет зажег от светила, и льется услада.

Тот, кого породил славный царь Филикус,

Услыхав от абхазца, как пламенен рус,

Размышлял о сраженьях, вперив свои очи

В многозвездную мглу опустившейся ночи.

Все обдумывал он своих действий пути,

Чтоб исполнить обет и к победе прийти.

И когда рдяный конь отбежал от Шебдиза,

И сверкнул, и ночная растаяла риза, —

Царь оставил Джейхун, свой покой отстраня,

Чтобы в степи Хорезма направить коня.

За спиной его — море: несчетные брони,

А пустыни пути — у него на ладони.

Степь Хорезма пройдя, он Джейхун перешел,

И пред ним вавилонский раскинулся дол.

Царь на русов спешил и в своих переходах

Ни на суше покоя не знал, ни на водах.

Не смыкал он очей, — и, огнем обуян,

Пересек он широкие степи славян.

Там кыпчакских племен увидал он немало,

Там лицо милых жен серебром заблестало.

Были пламенны жены и были нежны.

Были солнцем они и подобьем луны.

Узкоглазые куколки сладостным ликом

И для ангелов были б соблазном великим.

Что мужья им и братья! Вся прелесть их лиц

Без покрова, — доступность открытых страниц.

И безбрачное войско душой изнывало,

Видя нежных, не знавших, что есть покрывало.

И вскипел в юных душах мучительный жар,

И обьял всех бойцов нетерпенья пожар.

Но пред шахом, что не был на прелести падким,
Не бросались они к этим куколкам сладким.

Царь, узрев, что кыпчачки не чтут покрывал,
Счел обычай такой недостойным похвал:

«Серебро этих лиц, — он подумал однажды, —
Что родник, а войска изнывают от жажды».

Все понятно царю: жены — влаги свежей,
И обычная жажда в душе у мужей.

Целый день посвятил он заботе об этом:
Всех кыпчакских вельмож он призвал и, с приветом

Выйдя к ним, оказал им хороший прием.
И возвыся их всех в снисхожденье своем,

Тайно молвил старейшинам: «Женам пристало,
Чтобы в тайне держало их лик покрывало.

Та жена, что чужому являет себя,
Чести мужа не чтит, свою честь погубя.

Будь из камня она, из железа, но все же
Это — женщина. Будьте, старейшины, строже!»

Но, услышав царя, эти стражи степей, —
Тех степей, где порою не сыщешь путей,

Отклонили его повеленье, считая,
Что пристоеен обычай их вольного края.

«Мы, — сказали они, — внемля воле судьбы,
Услужаем тебе. Мы лишь только рабы,

Но лицо покрывать не показано женам
Ни обычаем нашим, ни нашим законом.

Пусть у вас есть покров для сокрытия лиц,
Мы глаза прикрываем покровом ресниц.

Коль взирать на лицо ты считаешь позором,
Обвинение шли не ланитам, а взорам.

Но прости — нам язык незатейливый дан—
Для чего ты глядишь на лицо и на стан?

Есть у наших невест неплохая защита:

Почивальня чужая для скромниц закрыта.

Не терзай наших женщин напрасной чадрой,
А глаза свои лучше пред ними закрой!

Прикрывающий очи стыда покрывалом
Не прельстится и солнца сверканием алым.

Все мы чтим Повелителя, никнем пред ним,
За него мы и души свои отдадим.

Верим в суд Повелителя строгий и правый,
Но хранить мы хотим наши старые нравы».

Искендер замолчал, их услышав ответ.
Бесполезно, решил он, давать им совет.

Попросил мудреца всем дававший помогу,
Чтоб ему он помог, чтоб навел на дорогу:

«Те, чьи косы, как цепи, чей сладостен лик,
Соблазняют, и яд их соблазна велик:

Гибнет взор, созерцающий эту усладу,
Как ночной мотылек, увидавший лампаду.

Что нам сделать, чтоб стали стыдливей они,
Чтобы скрыли свой лик? Дай совет, осени».

И познавший людей молвил шаху: «Внимаю
Мудрой речи твоей, твой приказ принимаю.

Здесь, в одной из равнин, талисман я создам,
Сказ о нем пронесется по всем городам.

Сотни жен, проходящих равниною тою,
От него отойдут, прикрываясь фатою.

Только надо, чтоб шах побыл в той стороне
И велел предоставить все нужное мне».

Взявши силой и с помощью золота, вскоре
Все добыл государь, — и на вольном просторе

Муж, в пределах искусства достигший всего,
Стал трудиться, являя свое мастерство.

Он иссек, всех привлеки к безлюдному месту,
Из прекрасного черного камня невесту.

Он чадрой беломраморной скрыл ее лик, —
Словно свежий жасмин над агатом возник.

И все жены, узрев, что всех жен она строже,
Устыдясь, прикрывали лицо свое тоже.

И, накинув покровы на сумрак волос,
Укрывали с лицом и сплетение кос.

Так имевший от счастья немало подачек
Укрываться заставил прекрасных кыпчачек.

Царь сказал мудрецу, — так он был поражен: — «Изменил ты весь навывк столь каменных жен,

Ничего не добился я царским приказом,
А твой камень в рассудок приводит их разом».

Был ответ: «Государь! Мудрых небо хранит.
Сердце женщин кыпчакских — суровый гранит.

Пусть их грудь — серебро, а ланиты, что пламень,
Их привлек мой кумир, потому что он камень.

Видят жены, что идол суров, недвижим,

И смягчаются в трепете сердцем своим:

Если каменный идол боится позора

И ланиты прикрыл от нескромного взора,

Как же им не укрыться от чуждых очей,

Чтобы взор на пути не смущал их ничей!

Есть и тайна, которою действует идол,

Но ее, государь, и тебе я б не выдал!»

Изваяньем таинственным, в годах былых,

Был опущен покров на красавиц степных.

И теперь в тех степях, за их сизым туманом,

С неповерженным встретишься ты талисманом.

Вкруг него твой увидит дивящийся взор

Древки стрел, словно травы у сонных озер.

Но хоть стрелам, разящим орлов, нету счета, —

Здесь увидишь орлов, шум услышишь их взлета.

И приходит кыпчаков сюда племена,

И пред идолом гнется кыпчаков спина.

Пеший путник прядет или явится конный,---

Покоряет любого кумир их исконный.

Всадник медлит пред ним и, коня придержав,

Он стрелу, наклоняясь, вонзает меж трав.

Знает каждый пастух, мимо гонящий стадо,

Что оставить овцу перед идолом надо.

И на эту овцу из блистающей мглы

Раскаленных небес ниспадают орлы.

И когтей устрашаясь булатных орлиных,

Ищут многие путь лишь в окрестных долинах.

Посмотри ж, как, творя из гранитной скалы,

Я запугал узлы и распутал узлы.

ПРИБЫТИЕ ИСКЕНДЕРА

В ОБЛАСТЬ РУСОВ

Дай мне, кравчий, невесту с прикрытым лицом,

Если брачным невеста пленилась венцом.

И, ладони омыв, я, изнывший в разлуке,
К этой деве смогу протянуть свои руки.

* * *

Снова в сад мой влетел соловей. Посмотри;
Вновь на яркий мой свет прилетела пери.

Облик светлой пери все ясней, все яснее,
Я же тающим призраком стал перед нею.

В руднике Аримана, где проблеска нет,
Я, блуждавший во мраке, достал самоцвет.

Слава мудрым, изрывшим суровые недра,
Чтобы золото дать нам рукой своей щедрой!

* * *

Тот, чья речь о царе от неправды чиста,
Поясняя нам все, раскрывает уста:

Мудрый муж, получив от царя указанье
Твердый камень размять и явить изваянье,

Все сердца победив и прельстивши навек,
Драгоценную деву из камня иссек;

Так размерно она свой покров извивала,
Что тюрчанки желали ее покрывала.

И когда ликотворец свой создал кумир,
Дальше тронулся царь, побеждающий мир.

Раздавая дары, хоть спешил он все дале,
Он стоял по неделе на каждом привале.

Вот последний привал... Скоро встретится рус.
Каждый лев близкой схватки почувствовал вкус.

И вблизи от воды, на широком просторе
Стан притих... Ночь пришла в многозвездном уборе.

Все — и царь и бойцы, утомившись в пути,
На лугу этом отдых смогли обрести.

Весь простор был украшен приютом царевым,
К звездам влекся шатер многозвездным покровом.

Мир стал пышным павлином от румских знамен,

К стану русов был царский шатер обращен.

Стало ведомо русам, воинственным, смелым,
Что пришел румский царь к их обширным пределам.

С ним войска, что страшны, как судьбы приговор,
И пугают гранит многоярусных гор.

Он идет, силачей в своем войске имея,
Чьи мечи, словно зубы всеильного змея,

И арканщиков мощных, которым дана
Злая сила любого повергнуть слона,

И гулямов, что так в ратоборстве умелы,
Что в один волосок мечут многие стрелы.

Это — царь Искендер, и свиреп он и смел!
В сердце мира стрелой он ударить сумел.

Не войска он приводит: с ним тронулись горы,
Под которыми стонут земные просторы.

Он приводит грозящих угрозой расплат
Двести страшных слонов, облаченных в булат.

Степь слонами полна и досхехами смелых, Покоряющих страны бойцов слонотелых.

И когда предводитель всех русов — Кинтал

Пред веленьями звезд неизбежными встал,

Он семи племенам быть в указанном месте

Приказал и убрал их, подобно невесте.

И хазранов, буртасов, аланов притек,

Словно бурное море, безмерный поток.

От владений Ису до кыпчакских владений

Степь оделась в кольчуги, в сверканья их звений.

В бесконечность, казалось, все войско течет,

И нельзя разузнуть его точный подсчет.

«Девятьсот видим тысяч, — промолвил в докладе Счетчик войска, — в одном только русском отряде».

В двух фарсангах от вражьего стана войска

Отдыхали: дорога была нелегка.

«Нам, сражавшим мужей, — было слово Кинтала, —

Не страшиться невесты, что войску предстала.

Столь красивых узреть взор смотрящего рад,
Вся их рать, посмотрите, — рассыпанный клад.

Им ли русов сразить? Это было бы диво!
Нежно войско врага и чрезмерно спесиво.

Сколько сбруй золотых, сколько жемчуга там.
Сколько яшмовых чаш там подносят к устам!

Там вино, там напевы, там только лишь неги,
Им неведомы вовсе ночные набеги.

Благовонья сжигать им в ночах суждено,
По утрам они смешивать любят вино.

Все невзгоды сносить — дело стойкого руса,
А все сласти да вина — для женского вкуса.

Что румийцу с китайцем сверканье меча!
Их услада — шелка, их отрада — парча.

Вот какое богатство дается нам богом!
Это он к нам направил его по дорогам.

Если б эту добычу узрел я во сне, —
Словно мед или сахар приснились бы мне.

Будет нами диковинный клад обнаружен:
Там на каждом — венец, там, что в море жемчужин.

Коль возьмем все мы это богатство, то с ним
Все земные пределы легко победим.

Наше царство раздвинем все шире и шире, —
Нам одно лишь останется: властвовать в мире!»

И на взгорье с друзьями коня он погнал,
И, перстом указуя, промолвил Кинтал:

«В той равнине, под сенью небесной лазури,
Сонмы неженек робких с обличем гурий.

В тех шатрах драгоценности: ведь у врага
Не мечи и щиты — бирюза, жемчуга.

Их тяжелые седла из золота литы,
А края чепраков жемчугами расшиты.

Их высокие шапки я вижу вдали,

Их кафтаны струятся до самой земли.

На узоры ковров их склоняются станы,
Нет в руках у них копий, пусты их колчаны,

Нет и ног без запястий, без жемчуга шей,
Вьются тяжкие локоны возле ушей.

В этих царских одеждах легки ль им дороги?
Не для боя их длань, не для бега их ноги.

С этим скопищем слабых, изнеженных тел
Искендер наше войско разбить захотел!

Ты их пальцем ударь, не кинжалом, с размаху,---
До ушей они рот свой откроют со страху!

Лишь по дням да по числам воюют они.
Месяц ждут наступленья, считая все дни.

Нет, я знаю, не их предназначено доле
Взрыть в неистовстве боя широкое поле.

Если разом на них все обрушимся мы,
Их застынут сердца, их смутятся умы».

Показался всем русам, на трудности гадким
И разумным, призыв этот лакомством сладким.

Голоса зазвучали: «Покуда живем —
Будем слову верны, все мы слово даем:

Сроем вражий цветник! Аромата и цвета
Не оставим следа! Это слово обета.

Защитим наше царство! Пускай остря
Наших копий багрянца окрасит струя,

Чтоб затем без копья, лишь ударом кинжала
Сотни вражьих голов наша сила стяжала!»

И, когда полновластный увидел Кинтал,
Что боец его каждый столь пламенным стал,

Он, вернувшись в свой стан, всем пришел на помощь. Счистил ржу он с меча, с сердца смыл он тревогу.

А вдали, как луна, озаряя весь свет,
Восседал Искендер: свой созвал он совет.

И мужи, для врага час готова возмездья

Вкруг Владыки блистали, как блещут созвездья:

Медаинский Дубейс, из Хотана Гур-хан,
Йеменский Велид, Чина вождь Кадар-хан,

И абхазский Дувал, и Хинди, что из Рея,
Из Истахра Кубад, что был отпрыском Кея,

Зериванд, — им прославился Мазендеран—
И Ниял, что возвысил родной Хаверан,

Славный Кум из Ирака, звезда Хорасана —
Сам Бушек, Беришад из Армении, — стана

Нет славней! Миср, Юнан, франки, Сирия, — все
Дали мощных, блиставших в убранства красе!

У мужей были скорбно опущены вежды,
Но сказал государь, полный света надежды:

«Вражьи рати, готовые броситься в бой,
Не видали еще мощных львов пред собой.

Им отрадны набеги, мила им добыча,
Но не слышался им рокот львиного клича.

Здесь не знают еще двусторонних мечей.

Здесь румийских секир взор не видел ничей.

Нет добротных оружий у них, снаряженья, —
Как же могут вести они дело сраженья?

Разве трудно, спеша к обнаженным телам,
Разрубить их мечом, разрубить пополам?!

Если меч я взнесу, пламенеющий, строгий,
У Альбурза от страха отнимутся ноги.

Я на Дария шел, чтоб он дань приносил, —
И лишился сей дерзостный всех своих сил.

Я на Кейда пошел, — и обычной сноровкой
Я поверг его в прах и уловкою ловкой.

С Фуром начал я бой, и от этой игры
Бурнопламенный Фур тотчас съел камфары.

Мой нахмурился лик, бровь согнулась крутая, —
И отбросил свой лук повелитель Китая.

Смелых русов страшиться? Напрасен их спор:

Много горных потоков проносится с гор.

От хазарских высот до Китайского моря

Всюду тюрки и, нашей гневливости вторя, —

Хоть не сходны в суждениях наши умы, —

Так же к русам враждебны они, как и мы.

Стрелы тюрков остры. Тьмой их быстрых укусов
Создадим волдыри на ногах мы у русов.

Не напрасно считается делом благим

Лютость яда пресечь лютым ядом другим.

От несытого волка лисица, мы знаем,

Ухитрилась собачьим избавиться лаем.

Двое серых волков близ поселка, в лесу,

Уж почти догоняли большую лису.

А в селеньях, — об этом поведает всякий —

И лисиц и волков ненавидят собаки.

Громко взвыла лиса, не желая пропасть,

Этим воем собакам раздвинувши пасть.

Мигом стая собак, пробужденная, злая,
Разбудила селенье, неистово лая.

Скрылись волки, услышавши злых забияк.
Так лисица спаслась, призывая собак.

Проходящий испытанной старой дорогой,
От врага избавляется вражьей помощью.

И хоть все мы оружия имеем запас,
И подспорье ничье не пристало для нас,

Все ж уловки нужны всем способным к уловкам,
Не всегда ж думать нам о мече нашем ловком».

Отвечали вожди: «Скажем снова и вновь
За тебя мы готовы пролить свою кровь.

Мы и раньше сражались упорно и смело,
А теперь еще крепче возьмемся за дело.

Всю отвагу явим и, к добыче спеша,
Мы пойдем на врага. Просит битвы душа.

Царь подбадривал войско затем своим словом,
Чтобы стало спокойным оно и суровым.

И весь вечер он думал, все думал... о чем?
Быть ли с чашею завтра иль прыгнуть с мечом.

И когда день ушел в потемневшие дали,
Вышел звездный дозор, а войска задремали,

В наступившей ночи друг за другом подряд
Проходили бойцы в караульный отряд.

До рассвета, на всем протяжении ночи,
В темноту устремлялись их зоркие очи.

ИСКЕНДЕР ВСТУПАЕТ В БОРЕНЬЕ С ПЛЕМЕНАМИ РУСОВ

Обращенную в киноварь быструю ртуть
Дай мне, кравчий; я с нею смогу заглянуть

В драгоценный чертог, чтоб, сплетаясь в узоры,
Эта киноварь шахские тешила взоры.

* * *

Так веди же, дихкан, все познав до основ,
Свою нить драгоценных, отточенных слов

О лазурном коне, от Китая до Руса
Встарь домчавшего сына царя Филикуса,

И о том, как судьба вновь играла царем,
И как мир его тешил в круженье своем.

* * *

Продавец жемчугов, к нам явившийся с ними,
Снова полнит наш слух жемчугами своими:

Рум, узнавший, что рус мощен, зорок, непрост,
Мир увидел павлином, свернувшем свой хвост.

Нет, царю не спалось в тьме безвестного края!
Все на звезды взирал он, судьбу вопрошая.

Мрак вернул свой ковер, его время прошло:
Меч и чаша над ним засверкали светло.

От меча, по лазури сверкнувшего ало,

Головою отрубленной солнце упало.

И когда черный мрак отошел от очей,
С двух сторон засверкали два взгорья мечей.

Это шли не войска — два раскинулось моря.
Войско каждое шло, мощью с недругом споря.

Шли на бой — страшный бой тех далеких времен.
И клубились над ними шелка их знамен.

Стало ширь меж войсками, готовыми к бою,
В два майдана; гора замерла пред горою.

И широкою, грозной, железной горой
По приказу царя войск раскинулся строй.

Из мечей и кольчуг, неприступна, могуча,
До небес пламенеющих вскинулась туча.

Занял место свое каждый конный отряд,
Укреплений могучих возвысился ряд.

Был на левом крыле, сильный, в гневе немало,
Весь иранский отряд с разъяренным Дувалом.

Кадар-хан и фагфурцы, таящие зло,
Под знамена на правое встали крыло.

И с крылатыми стрелами встали гулямы, —
Те, чьи стрелы уверенны, метки, упрямы.

Впереди — белый слон весь в булате, за ним —
Сотни смелых, которыми Властный храним.

Царь сидел на слоне, препоясанный к бою.
Он победу свою словно зрел пред собою.

Краснолицые русы сверкали. Они
Так сверкали, как магов сверкают огни.

Хазранийцы — направо, буртасов же слева
Ясно слышались возгласы, полные гнева.

Были с крыльев исуйцы; предвестьем беды
Замыкали все войско аланов ряды.

Посреди встали русы. Сурова их дума:
Им, как видно, не любо владычество Рума!

С двух враждебных сторон копий вскинулся лес, Будто остов земли поднялся до небес.

Крикнул колокол русов, — то было похоже

На индийца больного, что стонет на ложе.

Гром литавр разорвал небосвод и прошел

В глубь земли и потряс ужаснувшийся дол.

Все затмило неистовство тюркского ная,

Мышцам тюрков железную силу давая.

Ржаньем быстрых коней, в беге роющих прах,

Даже Рыбу подземную бросило в страх.

Увидав, как играют бойцы булавою,

Бык небесный вопил над бойцов головою.

Засверкали мечи, словно просо меча,

И кровавое просо летело с меча.

Как двукрылые птицы, сверкая над лугом,

Были стрелы трехкрылые страшны кольчугам.

Горы палиц росли, и над прахом возник

В прах вонзившихся копий железный тростник.

Ярко-красным ручьем, в завершение полетов, Омывали врагов наконечники дров.

Заревели литавры, как ярые львы,

Их тревога врывалась в предел синевы.

Растекались ручьи, забурлившие ало,

Сотни новых лесов острых стрел возникало, —

Стрел, родящих пунцовые розы, и лал

На шипах каждой розы с угрозой пылал.

Все мечи свои шеи вздымали, как змеи,

Чтобы вражки рассечь беспрепятственно шеи.

И раскрылись все поры качнувшихся гор,

И всем телом дрожал весь окрестный простор.

И от выкриков русов, от криков погони, Заартачившись, дыбились румские кони.

Кто бесстрашен, коль с ним ратоборствует рус?

И Платон перед ним не Платон — Филатус.

Но румийцы вздымали кичливое знамя

И мечами индийскими сеяли пламя.

Горло воздуха сжалось. Пред чудом стою:

Целый мир задыхался в ужасном бою.

Где бегущий от боя поставил бы ноги?

Даже стрелам свободной не стало дороги.

С края русов на бой, — знать, пришел его час, —

В лисьей шапке помчался могучий буртас.

Всем казалось: гора поскакала на вихре.

Чародейство! Гора восседала на вихре!

Вызывал он бойцов, горячил скакуна,

Похвалялся: «Буртасам защита дана:

В недубленных спокойно им дышится шкурах.

Я буртасовством славен, и мыслей понурых

Нет во мне. В моих помыслах буря и гром.

Я — дракон. Я в сраженья отвагой влеком.

С леопардами бился я в скалах нагорных,

Крокодилов у рек рвал я в схватках упорных.

Словно лев, я бросаю врагов своих ниц,
Не привык я к уловкам лукавых лисиц.

Длань могуча моя и на схватку готова,
Вырвать бок я могу у онагра живого.

Только свежая кровь мне годна для питья,
Недубленая кожа — одежда моя.

Справлюсь этим копьем я с кольчугой любою.
Молвил правду. Вот бой! Приступайте же к бою!

И китайцы и румцы спешите ко мне!
Больше воска в свече — больше силы в огне.

«Ты того покарай, — обращался я к богу,—
Кто бы вздумал в бою мне прийти на помощь!»

Грозный вызов услышав, броней горя,
Копьеносец помчался от войска царя.

Но хоть, может быть, не было яростней схваток, — Поединок двух смелых был молниеносно краток:

Размахнулся мечом разъяренный буртас,—

И румиец с копьем своей жизни не спас.

Новый царский боец познакомился с прахом,

Ибо счастье владело буртаса размахом.

И сноситель голов, сам царевич Хинди,

У которого ярость вскипела в груди,

Вскинул меч свой индийский и, блестящий шелком, Вмиг сцепился, как лев, с разъярившимся волком.

Долго в схватке никто стать счастливым не мог,

Долго счастье ничье сбито не было с ног.

Но Хинди, сжав со злостью меча рукоятку

И всей силой стремясь кончить жаркую схватку,

Так мечом засверкал, что с буртасовых плеч

Наземь голову сбросил сверкающий меч.

Новый выступил рус, непохожий на труса,

Со щитом — принадлежностью каждого руса.

И кричал, похваляясь, неистовый лев,

Что покинет он бой, всех врагов одолев.

Но Хинди размахнулся в чудовищном гневе,
Час победы настал — вновь один был царевич:

Новый рус на врага в быстрый бросился путь,
Но на землю упал, не успевши моргнуть.

Многих сбил до полудня слуга Искендера.
Так порою газелей сбивает пантера.

Горло русов сдавил своим жаром Хинди.
Нет, из русов на бой не спешил ни один!

И Хинди в румский стан поскакал, успокоясь,
Жаркой кровью и потом покрытый по пояс.

Обласкал его царь и для царских палат
Подобающий рейцу вручил он халат.

И умолкли два стана, и пристальным взором
Вдаль впивались бойцы, что стояли дозором.

КИНТАЛ-РУС ПОРАЖАЕТ
ГИЛЯНСКОГО ВОЖДЯ ЗЕРИВАНДА

Ранний кравчий предстал, и рубином вина

Окропил он всю землю; проснулась она,

И враждебные рати, поднявшие луки,

Вновь, сверкая броней, напрягли свои руки.

И пошли они в бой, и была не нова

Для любого охота на каждого льва.

Грозно колокол выл; не имели защиты

От него все умы и бледнели ланиты.

Волчьей кожи литавр так был грохот крылат,

Что терзал он сердца, что мягчил он булат.

Сотрясалась земля, обнаружались корни,

Заскакал небосвод, строй нарушился горний.

От эйлакцев помчался топочущий конь.

Гордый всадник на нем был, как быстрый огонь.

Весь в железе, кружился он по полю вирой,

Злобным сердцем он схож был с крутящимся миром,

И ждала с ним враждующих доля одна:

Погибать, будто смяты ногами слона.

Смелчаки оробели; никто с ним сразиться

Не хотел. Ото льва отвели они лица.

Час прошел... Из румийской среды на бой

Черный двинулся лев за своею судьбой.

Конь бухарский, что слон. Громче рокотов Нила
Страшный голос бойца, — такова его сила.

И сказал он эйлакцу: «Взгляни, Ариман!

Солнце встало над миром. Растаял туман.

Чашу поднял я ввысь. Видишь, — участь в ней ваша: Алой кровью эйлакцев наполнена чаша».

Так промолвив, коню сильно сжал он бока,

Булавою тяжелой взмахнула рука.

И эйлакец, слоном бывший мощным и смелым,

Пал, сраженный мгновенно бойцом слонотелым.

Был раздавлен тяжелою он булавою, —

Прах насытился кровью его огневой.

Но эйлакец второй, что горе был подобен,
На крушителя гор мчался ловок и злобен.

Под ударом вторым он коснулся земли,
И немало других ту же участь нашли.

Черный лев опьянился врагов низверженьем.
Многих, сжатых броней, опьяненных сраженьем,

Раздробил булавою стремительной он,
Но и сам был врагом беспощадно сражен.

От намаза полудня до третьей молитвы
Все притихшие львы уклонялись от битвы.

Кровью печень опять закипела, и рок
Быстросменной судьбе дал отменный урок.

Мощный выехал рус: чье стерпел бы он иго?!
Щеки руса — бакан, очи руса — индиго.

Он являл свою мощь. Он соперников звал.
Он румийских воителей бил наповал.

Исторгавшая душу из вражьего тела,

Булава его всех опрокинуть хотела.

Стольких опытных бросил он в смертную тьму,
Что уж больше никто не бросался к нему.

И когда грозный рус, незнакомый со страхом,
Славу Рума затмил в поле взвихренным прахом,

Он, сменив булаву на сверканье меча,
На китайцев напал и рубил их сплеча.

И, подобный копью, он скакал горделиво.
Вслед за тем и копьем он играть стал на диво.

Но на бой от румийцев на гордом коне
Дивный выехал всадник в красивой броне.

В его стройном коне не орлиная ль сила?
Меч ли взял он с собой или взял крокодила?

Шелк — на шелковом теле, блистает кафтан,
Блеск лазури шелому булатному дан.

Джинн мечтал о сраженье, как будто о пире,
У копья его тяжкого — грани четыре.

Закричал он врагу, приосанясь в седле:

«Не желаешь ли тотчас уснуть на земле?!»

Пред тобой — Зериванд. Я посланец Гиляна.

Для меня лишь забава сразить Аримана!»

Лишь узрел его облик воинственный рус,

На устах своих горький почувствовал вкус.

«Перед ним. — он решил, — ничего я не значу.

Враг чрезмерно силен. Я утратил удачу».

Он коня повернул. Как степной ураган,

Он стремглав поскакал в свой воинственный стан.

Но копьё в убежавшего всадника следом

Тотчас бросил гилянец, привыкший к победам.

И копьё, пронизавшее спину, гляди:

На четыре ладони прошло из груди!

Но коня задержать оно все ж не сумело:

Конь доставил на место пробитое тело.

И столпились над телом эйлакцы: оно

Словно распято было. И было дано

Всем взиравшим увидеть, что змей из Гиляна Распинает могучих враждебного стана.

Опустились поводья. Ни рус, ни буртас

Не спешили на бой. Весь их пламень угас.

И когда истомились войска ожиданьем,

Новый выступил рус. И, согласно преданьям,

Был сродни он Кинталу и звался Купал.

Зериванд перед ним тотчас грозно предстал.

Тяжко бились бойцы и звенели мечами,

И скрестились мечи огневыми лучами,

Но умелый гилянец, исполненный сил,

Все же голову вражью булатом скосил.

Так рубил Зериванд всех врагов несчастливых:

Скоро семьдесят русов легло горделивых.

Взор отважных бойцов нерешительным стал,

И на грозного льва рассердился Кинтал.

Шлем надел кипарис, застегнул он кольчугу,
И с мечом он к коню — к неизменному другу —

Поспешил и вскочил на него, как дракон,
И коня вскачь направил на недруга он.

И узрел Зериванд облик руса могучий.
И взревел он гремящею бурною тучей.

Два индийских мгновенно скрестились меча.
Эта схватка, как полдень, была горяча.

То гилянец был точкой, а битвенный лугом
Поскакавший соперник — стремительным кругом,

То Кинтал скакуна останавливал. Жар
Двух воителей рос. Лют был каждый удар.

Но друг друга сразить все ж им не было мочи.
С часа третьей молитвы сражались до ночи,

И настал должный срок. Царь могучий — Кинтал
Поднял меч, и гилянец сверкающий пал.

Был он сброшен Кинталом с седла золотого.
Больше не было льва дерзновенного, злого.

И был счастлив Кинтал завершением дня,
И к своим он погнал вороного коня.

Но не мог Искендер не изведать кручины:
Станет верный царевич добычею глины!

И сказал он о теле ушедшего в тьму,
Чтобы должный почет был оказан ему.

ДУВАЛ БРОСАЕТСЯ В БОЙ

Жаркий тюрк иль султан, озаряющий дол,
Из Китайского моря на горы взошел,

И войска, в жажде вражьего смертного стопа,
Что гора Бисутун, свои взвили знамена.

Туча в громах росла. Из обоих лесов
Каждый лев был на битву метнуться готов.

И как будто бы рев раздался крокодила,
И опять рдяной кровью земля забродила.

И с мечом и с колчаном, как слон боевой,
Появился румиец; взмахнул булавой,

Бросил клич, — отзовутся ль во вражеском стане,
Встал пред витязем рус в своем желтом кафтане.

Булавой размахнулся румийский боец,
И пришел его недругу быстрый конец.

И второй его враг стал добычею праха.
Всех врагов поражал с одного он размаха.

И алан прискакал. Он звался Ферендже.
Чтил Он жбан, чтит он кровь на булатном ноже,

И, держа на плече свою палицу, разом
Он смущал всех бойцов, похищал он их разум.

Вскинул палицу рус, многомощен, угрюм,
Вскинул палицу воин, являющий Рум.

Словно дверь отомкнула железные створы,

И меж створ бились воины, яростны, скоры.

И когда неусталый постиг Ферендже,
Что стоит его враг на предсмертной меже,

Он смертельной своею взмахнул булавою,
И румиец на землю упал головою.

И алан, окровавив румийца чело,
Ввысь чело свое поднял. Изведавший зло

Многих лютых боев, битвы знающий дело,
Грозный витязь Армении, быстро и смело

Поражавший врагов, — тот, что был во главе
Всех армянских бойцов, достославный Шарве,

Меч свой быстрый взнеся, что с двумя остриями,
Меч, прославленный многими злыми боями,

На алана погнал своего скакуна.
Из меча брызжет молния. Злобна она.

Понял рус: этот меч бьет и быстро и точно, —
И свой щит укрепил у предплечия прочно.

Но ударил Шарве, и вспорхнула, спеша
Из разломанной клетки, алана душа.

Но исуец-силач, страшный в гневе великом,
На Шарве тотчас бросился с пламенным ликом.

Много смелых ударов явить он сумел,
Но напрасно он был и находчив и смел!

Он пред сильным врагом поднял голову даром:
Эту голову враг сбросил быстрым ударом.

Появился подобный упавшей скале
Витязь русов — Джерем; стало тяжело земле.

Из железа и бронзы, покрытый резьбою,
На Джереме был шлем, призывающий к бою.

Был в кафтане он шелковом, плотном, тугом,
Блеск сверкающей ртути бросавшем кругом.

Этот лев, к вражьей крови безудержно жадный,
Налетел на Шарве, словно мир беспощадный,

Поднял руку, взмахнул он во всю ее ширь,—
И на землю армянский упал богатырь.

И Джерем на Шарве — где нашлась бы защита? — Боевого коня вмиг направил копыта.

И холодной злостью, бросающей в дрожь
Уничтожил он многих румийских вельмож.

И увидел Дувал, что свиреп этот воин,
Отрубатель голов, что он смерти достоин,

И убранство военное, быстрый и злой,
Он велел себе дать, чтобы ринуться в бой.

Скрыл он голову шлемом, что, дивно блистая,
Был прекрасным булатным твореньем Китая.

Взял он меч закаленный, обильный колчан,
Словно кудри кумира, в извивах, аркан,

И, коня облачивши в железные брони,
Устремился он в бой за победой в погоне.

Так сиял он лицом, к жаркой битве летя,
Будто это из школы спешило дитя.

И Джерем, увидав, как сияет он ликом,
Свое сердце увидел в смятенъе великом.

Но кому для возврата не видится врат,
Тот с погибелью сдружится, рад иль не рад.

Он коня своего закружил вокруг Дувала,
И душа его к хитрым уловкам взывала.

И в игре они множество бросили слов,
Лишь на доброе слово был брошен покров.

И Дувал препоясанный, с боем освоюсь,
Порешил разрубить на противнике пояс.

Лезвием, что привыкло к подобным делам,
Он большую скалу расколел пополам.

Брат Джерема, что с ним прибыл на поле вместе, Словно слон, разъяренный, возжаждавший мести,

На врага поскакал, но ударил Дувал, —
И он также нашел свой последний привал.

И Дувала железного грозная сила

Еще много врагов многомогших скосила.

Жаркий рус Джовдере, для которого лев
Был ничтожней овцы, --- тот, чей страшен был гнев

Силачам, с ним схватившимся, грузный и тяжкий,
Даже сотням врагов не дававший поблажки,

На руках своих несший застывшую кровь
Многих смелых бойцов, крови жаждущий вновь, —

Затянул свой кушак и с мечом небывалым
Поскакал на сраженье с отважным Дувалом.

Их блеснули мечи, их расправились грудь,
И для бегства закрылся спасительный путь.

Но хоть были удары и часты и яры,
Отражать эти двое умели удары.

И воззвал Джовдере к прежней мощи меча
И рассек шлем Дувала, ударив сплеча,

И к челу лезвием прикоснулся над бровью.
Покачнулся Дувал, весь обрызганный кровью,

И, слабея от раны, лишаясь огня,
В стан румийский поспешно направил коня.

Он чело обвязал, быстро спешившись в стане.
И встревоженный царь, все узнавший о ране,

Приказал, мудролюба к Дувалу позвав,
Чтобы тот приготовил целебный состав

И беседой развлек и утешил Дувала,
Дабы верный Дувал стал таким, как бывало.

Вот свой черный покров ночь повергла на стан,
И на месяц наброшен был синий аркан.

Вкруг шатров тихо встали дозорные; даже
Мошкам не было лета от бывших на страже.

ПОЯВЛЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО ВСАДНИКА

Над зеленою солнце взошло пеленой,

Смыло небо индиго с одежды ночной,

И опять злые львы стали яростны, хмуры,

И от них погибать снова начали гуры.

Снова колокол бил, как веленье судьбы,

Снова кровь закипела от рева трубы.

Столько в громе литавр загремело угрозы,

Что всех щек пожелтели румяные розы.

И опять Джовдере появился; огнем

Он пылал, и усталости не было в нем.

И Хинди, эту гору узрев пред собою,

На хуттальском коне приготовился к бою.

И хоть много ударов нанес он врагу,

Бесполезно кружась на кровавом лугу,

Но, напрягши всю мощь и наморщивши брови,

Всей душою возжаждавши вражеской крови,

Снес он голову руса; упала она

Под копыта лихого его скакуна.

И, гарцуя, Хинди звал врагов на сраженье,
Всем спешившим к нему нанося поражение.

Был прославленный муж. Его звали Тартус.
Восхвалял его каждый воинственный рус.

Этот красный дракон, быстрым пламенем рея,
Пожелал опрокинуть воителя Рея.

И помчался он в бой, громогласен и скор,
Как ревущий поток, ниспадающий с гор.

Оба крепко владели всем воинским делом,
Каждый в этом бою был и ловким и смелым.

Все ж был натиск Тартуса так лют и удал,
Что рассыпался прахом индийский сандал.

Кубок тела Хинди он избавил от крови:
Лить вино, бить сосуды, — ему ль было внове?

«Я тот хищник, — сказал он, снимая свой шлем, —
Что всех львов повергает. — И молвил затем: —

Я слышу самым мощным и яростным самым,
Я был матерью назван всех русов Рустамом.

Ты, что хмурия чело, мнишь пролить мою кровь,
Ты себе не кольчугу, а саван готовь.

Не умчусь я, пока еще многих не скину
С их коней, не втопчу этих немощных в глину».

Пал отважный Хинди. Нет отчаянью мер!
Извиваясь, как локон, стонал Искендер.

В бой хотел повернуть он поводья и строго
Наказать гордеца, но помедлил немного

И окрест поглядел: кто хотел бы за честь
Румских сил постоять и помчаться на месть?

И увидел: с мечом, разъяренно подъятым,
Скачет всадник, сверкая китайским булатом.

Он храбрец, он умело владеет конем,
А под ним черный конь ярим пышет огнем,

Весь в железе он скрыт, только рдеющий лалом
Сжатый рот его виден под тяжким забралом.

И, гарцуя, мечом заиграл он, и вот —
Стал на жаркую схватку взирать небосвод.

И была длань безвестного дивно умела,
И Тартуса рука в страшной битве слабела.

И на руса направляя стремленье свое,
Вскинул всадник меча своего лезвие, —

И врага голова от руки его взмаха
Пала наземь и стала добычею праха.

И, огнем своих глаз в пыльной мгле заблестев,
На безвестного новый набросился лев,

Но утратил он голову мигом. Немало
Еще новых голов наземь тяжко упало.

Сорок русов, подобных огромной горе,
Смелый лев уложил в этой страшной игре.

И коня цвета ночи погнал он, в рубины

Обращая все камни кровавой долины.

И куда бы ни мчал черногривого он, —
Разгонял он все воинство вражьих племен.

Кто бы вышел на бой? Торопливое жало
Неизбежною смертью врагам угрожало.

И смельчак быстроногому вихрю, — всегда
Поводам его верному, — дал повода.

Было сто человек в этой скачке убито,
Сто поранено, сто сметено под копыта.

Искендер отдавал восхищения дань
Этой мощи, и меч восхваляя и длань.

А наездник все б.ился упрямо, сурово.
Лил он пламя на хворост все снова и снова.

И пока небосвод не погас голубой,
Не хотел он .покинуть удачливый бой.

Но когда рдяный свет пал за синие горы
И смежил яркий день утомленные взоры,

И всклубившийся мрак захотел тишины,
И, от Рыбы поднявшись до самой Луны,
Затемнил на земле все земные дороги,
И пожрал, словно змей, месяц ясный двурогий, —

Дивный воин, ночной прекращая набег
И коня повернув, поскакал на ночлег.

Так поспешно он скрылся под пологом ночи,
Что за ним не успели взирающих очи.

И сказал Искендер, ему вслед поглядев:
«С сердцем львиным, как видно, сей огненный лев».

И, задумавшись, молвил затем Повелитель:
«Кто ж он был, этот скрытый железом воитель?»

Если б смог я узреть этот спрятанный лик,
Мною спрятанный клад перед ним бы возник.

За народ в его длани я вижу поруку,
И мою своей силой усилил он руку.

Чем подобному льву я сумею воздать?

Да сияет над смелым небес благодать!»

ВТОРОЕ ПОЯВЛЕНИЕ

НЕИЗВЕСТНОГО ВСАДНИКА

Снова свод бирюзовый меж каменных скал

Вырыл яхонтов россыпь я свет разыскал.

И алан в поле выехал; биться умея,

Не коня оседлал он для боя, а змея.

Даже семьдесят сильных, воскликнув «увы», Приподнять не сумели б его булавы.

Он бойцов призывал. Не прибегнув к усилью,

Он всех недругов делал развеянной пылью.

Хаверанцев, иранцев, румийцев на бой

Вызывая, он стал их смертельной судьбой.

Но вчерашний боец, с ликом, скрытым от взгляда,

Вновь на русов помчался из крайнего ряда.

Натянул тетиву он из кожи сырой,

И кольцо злого лука он тронул стрелой.

Не напрасно стрелу он достал из колчана:

Этой первой стрелой уложил он алана.

Распростерся алан, как индийский снаряд,

Со стрелою внутри... Засверкал чей-то взгляд, —

То с глазами кошачьими, брови нахмуря,

Новый рус мчался в бой, словно черная буря.

Изучил он все ходы всех воинских сил

И заплат на доспехи немало нашил.

И выиграл он мечом, словно молния в грозы,

Он в железе был весь, он был полон угрозы.

Он, уверенный в том, что не выдержит враг,

На коня вороного набросил чепрак.

Хоть он твердой душой был пригоден к победам,

Но войны страшный жар не был смелому ведом:

Ведь бойца ремесло изучал он в тиши

И не знал еще яростной вражьей души.

И дракон, пожелавший зажать его в пасти,
Разгадал, — у него этот воин во власти:

Больше нужного блещет оружия на нем,
И чепрак да броня лучше мужа с конем.

И сразил смельчака он ударом суровым,
И покров дорогой скрыл он смерти покровом.

Новый рус, препоясавшись, бросился в бой,
Но и он породнился с такой же судьбой.

Третий ринулся враг, но все так же без прока:
Пал он тотчас от львиного злого наскока.

Каждой новой стрелой, что слетала с кольца,
Дивный воин на землю бросал удальца.

Все могли его навек в борении взвесить:
Десять стрел опрокинуло всадников десять,

И опять незаметно для чьих-либо глаз
Он исчез в румском стане. И несколько раз

В громыхавших боях, возникавших с рассветом,
Он являлся, и все говорили об этом.

Скоро враг ни один, как бы ни был он смел,
Гнать коня своего на него не хотел.

От меча, что пред ними носился, блистая,
Исчезали они, словно облако тая,

И, не думая больше о бое прямом,
К ухищренью прибегли, раскинув умом.

РУСЫ ВЫПУСКАЮТ В БОЙ НЕВЕДОМОЕ СУЩЕСТВО

И жемчужины снова вознес небосвод
Из глубокого мрака полуночных вод.

Вновь был отдан простор и войскам и знаменам,
И опять все наполнилось воплем и стоном.

И над сонмищем русов с обоих концов
Подымался неистовый звон бубенцов.

И меж русов, где каждый был блещущий витязь,
Из их ярких рядов вышел к бою — дивитесь! —

Некто в шубе потрепанной. Он выходил
Из их моря, как страшный, большой крокодил.

Был он пешим, но враг его каждый охотней
Повстречался бы в схватке со всадников сотней.

И когда бушевал в нем свирепый огонь,
Размягчал он алмазы, сжимая ладонь,

В нем пылала душа, крови вражеской рада.

Он пришел, как ифрит, из преддверия ада.

Он был за ногу цепью привязан; она
Многовесна была, и крепка, и длинна.

И на этой цепи, ее преданный звеньям,
Он все поле мгновенно наполнил смятеньем.

По разрытой земле тяжело он сновал,
Каждым шагом в земле темный делал провал.

Шел он с палкой железной, большой, крючковойтой.
Мог он горы свалить этой палкой подъятой.

И орудьем своим подцеплял он мужей,
И, рыча, между пальцами мял он мужей.

Так был груб он и крепок, что стала похожа
На деревьев кору его твердая кожа.

И не мог он в бою, как все прочие, лечь:
Нет, не брал его кожи сверкающий меч.

Вот кто вышел на бой! Мест неведомых житель!
Серафимов беда! Всех людей истребитель!

Загребал он воителей, что мурашей,
И немало свернул подвернувшихся шей.

Рвал он головы, ноги, — привычнее дела,
Знать, не ведал, а в этом достиг он предела.

И цепного вояки крутая рука
Многим воинам шаха сломала бока.

Вот из царского стана, могучий, проворный,
Гордо выехал витязь для схватки упорной.

Он хотел, чтоб его вся прославила рать,

Он хотел перед всеми с огнем поиграть.

Но мгновенье прошло, и клюка крокодила

Зацепила его и на смерть осудила.

Новый знатный помчался, и той же клюкой

Насметр был он сражен. Свой нашел он покой.

Так вельмож пятьдесят, мчась равниною ратной, Полегли, не помчались дорогой обратной.

Столько храбрых румийцев нашло свой конец,

Что не стало в их стане отважных сердец.

Мудрецы удивлялись: не зверь он... а кто же?

С человеком обычным не схож он ведь тоже.

И когда на лазурь грозно крикнула ночь

И сраженное солнце отпрянуло прочь,

Растревоженный тем, кто страшней Аримана,

Царь беседовал тайно с вельможами стана:

«Это злое исчадье, откуда оно?»

Человеку прикончить его не дано.

Он идет без меча; он прикрылся лишь мехом,
Но разит всех мужей, что укрыты доспехом.

Если он и рожден человеком на свет,
Все ж — не в этой земле обитаемой, нет!

Это дикий, из мест, чья безвестна природа.
Хоть с людьми он и схож, не людского он рода».

Некий муж, изучивший всю эту страну,
Так ответом своим разогнал тишину:

«Если царь мне позволит, — в усердном горенье
Все открою царю я об этом творенье.

К вечной тьме приближаясь, мы гору найдем.
Узок путь к той горе; страшно думать о нем.

Там, подобные людям, но с телом железным,
И живут эти твари в краю им любезном.

Где возникли они? Никому невдомек
Их безвестного рода далекий исток.

Краснолики они, их глаза бирюзовы.

Даже льва растерзать они в гневе готовы.

Так умеют они своей мощью играть,

Что одно существо — словно целая рать.

И самец или самка, коль тронутся к бою, —

Судный день протрубит громогласной трубою.

На любое боренье способны они,

Но иные стремления им не сродни.

И не видели люди их трупов от века,

Да и все они — редкость для глаз человека.

Их богатство — лишь овцы; добыча руна

Для всего, что им годно, одна лишь нужна.

И одна только шерсть — весь товар их базара.

Кто из них захотел бы иного товара?

Соболей, чья окраска, как сумрак, черна,

Порождает одна только их сторона.

И на лбу этих тварей, велением бога,
Поднимается рог, словно рог носорога.

Если б их не отметил чудовищный рог, —
С мощным русом сравниться б любой из них мог.

Словно птицам большим, завершившим кочевья,
Для дремоты им служат большие деревья.

Спит огромное диво, как скрывшийся див,
В нависающий сук рог свой крепкий вонзив.

Коль взглядишься, к стволу подобраться не смея,
Меж ветвей разглядишь ты притихшего змея.

Сон берет существо это в долгий полон:
Неразумия свойство — бесчувственный сон.

Если русы, в погоне за овцами стада,
Разглядят, что в ветвях эта дремлет громада, —

Втихомолку собирают пастуший свой стан
И подходят туда, где висит Ариман.

Обвязав его крепко тугою веревкой,

Человек пятьдесят всей ватагою ловкой,

Вскинув цепь, при подмоге железной петли,
Тащат чудище вниз вплоть до самой земли.

Если пленник порвет, пробудившись от спячки,
Звенья цепи, — не даст пастухам он потачки:

Заревев страшным ревом, ударом одним
Умртвит он любого, что встанет пред ним.

Если ж цепь не порвется и даже укуса
Не изведает люди, — до области Руса

Будет он доведен, и, окованный, там
Станет хлеб добывать он своим жожакам.

Водят узника всюду; из окон жилища
Подаются вожатым и деньги и пища,

А когда мощным русам желанна война,
В бой ведут они этого злого слона.

Но хоть в битву пустить они диво готовы,
Все же в страхе с него не снимают оковы.

Узришь ты, лишь в нем битвенный вспыхнет запал, Что для многих весь цвет светлой жизни пропал».

Услыхав это все, Искендер многославный
Был, как видно, смущен всей опасностью явной,

Но ответил он так: «Древки множества стрел
Из различных лесов. Есть и сильным предел.

И, быть может, овеянный счастьем летучим,
Я взнесу на копье его голову к тучам».

ИСКЕНДЕР ДЕЙСТВУЕТ АРКАНОМ. НЕОБЫЧАЙНЫЙ
ПЛЕННИК ПРИНОСИТ ИСКЕНДЕРУ
НИСТАНДАРДЖИХАН

Белизною широкой покрылся восток,
А на западе сумрака скрылся поток.

И Властитель, рожденный на западе, снова,
Все войска разместив, ждал чудовища злого.

Вот румийцы на правом крыле, а отряд

Берберийцев за ними свой выстроил ряд.

А на левом крыле узкоглазых Китая

Встали многие сотни, щитами блистая.

Искендер был в середине. Как сумрачен он!

Конь хуттальский под ним, будто яростный слон.

А буртасы на той стороне, и аланы,

Словно львы, бушевали, взволнованны, рьяны.

С барабаном свой гул грозный колокол слил.

Над равниной в трубу затрубил Исафил.

От литавр, сотрясающих мир без усилья,

В скалах Кафа Симург растрепал свои крылья.

Но кричали литавры от страха: рога

Напугали их воем, пугая врага.

И войска с двух сторон свое начали дело,—

Для кого в этот день счастье с неба слетело?

И зловещий, в одежде своей меховой,

По равнине пошел, будто слон боевой.

От него смельчаки вновь не знали защиты:

Все свой бросили щит, все им были убиты.

Из толпы царских воинов, скрытый в броне,

Снова выехал витязь на черном коне.

Так огнем он сверкнул, меч свой вскинувши смело,

Что у жаркого солнца в глазах потемнело.

И узнал Искендер: это доблестный тот,

Что не раз выступал, сил румийский оплот.

И встревожился царь своим сердцем радивым:

Этот смелый столкнется с чудовищным дивом!

И подумал Владыка, тоской обуян:

Эту гордую шею свернет Ариман!

Стал наездник, уздою владевший на диво,

Вновь являя свой жар, вокруг ужасного дива,

Словно ангел, кружится. Из века и в век

Небосвод вокруг земли так вот кружит свой бег!

Думал доблестный: первым стремительным делом Передать свою силу язвительным стрелам,

Но, увидев, что стрел бесполезны рои,

Рассердился отважный на стрелы свои.

Он постиг: во враге грозных сил преизбыток,

И достал и метнул он сверкающий слиток.

Если б слиток подобный ударил в коня,

То коня не спасла бы любая броня.

Но, в гранитное тело с отчаяньем пущен,

Был о твердый гранит страшный слиток расплющен.

И огромный, увесистый слиток второй

Был спокойно отброшен гранитной горой.

Третий слиток такую ж изведаль невзгоду.

Нет, песком не сдержать подступившую воду!

И, увидев, что слиток и злая стрела

Не чинят силачу ни малейшего зла,

Всадник взнес крокодила и с пламенем ярим

Устремился к дракону, дыхнувшему жаром.

Он пронесся, ударом таким наградив
Это чудо, что пал покачнувшийся див.

Но поднялся дракон, заревев из-под пыли,
И опять его пальцы железо схватили.

И нанес он удар изо всех своих сил,
И железным крюком смельчака зацепил,

И с седла его сдернул, и вот без шелома
Оказался носитель небесного грома.

И явилась весна: как цветка лепесток,
Был отраден румянец пленительных щек.

И но стал отрывать головы столь прекрасной
Поразившийся джинн; сжал рукою он властной

Две косы, что упали с чела до земли,
Чтоб вокруг шеи наездницы косы легли,

И за узел из кос к русам радостным живо
Повлекло эту деву косматое диво.

И, лишь был от румийцев отъят Серафим,
С криком радости русы столпились пред ним,

И затем лютый лев к новой схватке горячей
Побежал. Разъярен был он первой удачей.

И, заслышав противников радостный шум,
В гневе скорчился шах, возглавляющий Рум,

И велел раздражить он слона боевого,
Наиболее мощного, дикого, злого.

И вожак закричал, и погнал он слона.
Словно бурного Нила взыграла волна.

Много копий метнул он в носителя рога
И с горящею нефтью горшков очень много.

Но ведь с нефтью горшки для скалы не страшны!
Что железные копья для бурной волны?!

И, увидев слона с его злыми клыками,
Удивленный воитель раскинул руками.

И, поняв, что воинственным хоботом слон

Причинить ему сможет безмерный урон,

Так он сжал этот хобот руками, что в страхе

Задрожал грозный слон. Миг — и вот уж во прахе

Слон лежит окровавленный; дико взревев,

Оторвал ему хобот чудовищный лев.

Схвачен страхом — ведь рок стал к войскам его строгим

И румийцам полечь суждено будет многим, —

Молвил мудрому тот, кто был горд и велик:

«От меня мое счастье отводит свой лик.

Лишь невзгоды пошлет мне рука небосвода.

Для чего я тяжелого жаждал похода!

Если беды на мир свой направят набег,

Даже баловни мира отпрянут от нег.

Мой окончен поход! Начат был он задаром!

Ведь в году только раз лев становится ярим,

Мне походы невмочь! Мне постыли они!

И в походе на Рус мои кончатся дни!»

И ответил премудрый царю-воеводе:

«Будь уверенным, царь, в этом новом походе

Ты удачу к себе вновь сумеешь привлечь:

И обдуман твой путь, и отточен твой меч.

Пусть в извилинах скал укрываются лалы, —

Твердый разум и меч проникают и в скалы!

Как и встарь, благосклонен к тебе небосвод.

Ты в оковы замкнешь сто подобных невзгод.

Хоть один волосок твой, о шах, мне дороже,

Чем все войско твое, но скажу тебе все же,

Что вещал мне сияющий свод голубой:

Если царь прославляемый ринется в бой,

То, по воле царя и благого созвездья,

Великан многомогущный дождется возмездья.

Пусть груба его кожа, и пусть нелегка

Его твердая длань и свирепа клюка,

Пусть он с бронзою схож или с тяжким гранитом,
Он — один, и на землю он может быть сбитым.

Не пронзит великана сверкающий меч.
Кто замыслил бы тучу железом рассечь?

Но внезапный аркан разъяренному змею
Ты, бесспорно, сумеешь накинуть на шею.

Хоть стрелой и мечом ты его не убьешь,
Потому что ты тверже не видывал кож,

Но, оковы надев на свирепого джинна,
Ты убить его сможешь». Душе Властелина

Эта речь звездочета отрадна была.
Он подумал: «Творцу всеблагому хвала!»

И, призвав небеса, меж притихшего стана,
На хуттальского сел он коня; от хакана

Этот конь был получен на пиршестве: он
Был в зеленых конюшнях Китая рожден.

Взял свой меч Искендер, но, о славе радея,

Взял он также аркан, чтоб схватить лиходея.

Он приблизился к диву для страшной игры,
Словно черная туча к вершине горы.

Но не сделали шага ступни крокодила:
Искендера звезда ему путь преградила.

И аркан, много недругов стиснувший встарь,
Словно обруч возмездья метнул государь, —

И петля шею дива сдавила с размаху,
И склонилась лазурь, поклонясь шахиншаху.

И когда лиходея сдавила петля,
Царь, что скручивал дивов, сраженье не для,

Затянул свой аркан и рукой властелина
Волоча, потащил захрипевшего джинна.

И к румийским войскам, словно слабую лань,
Повлекла силача Искендерова длань.

И когда трепыхала лохматая груда
И пропала вся мощь непостижного чуда, —

Стало радостно стройным румийским войскам!

Их ликующий крик поднялся к облакам.

И такой был дарован разгул барабанам,

Что весь воздух плясал, словно сделался пьяным.

Искендер, распознав, сколь был яростен див,

Приказал, чтоб, весь мир от него оградив,

Ввергли дива в темницу; томилось немало

Там иных Ариманов, как им и пристало.

Увидав, что за мощь породил Филикус,

Был тревогой объят каждый доблестный рус.

Воском тающим сделался Руса властитель, Возвеличился румского царства Хранитель.

И певцов он позвал, и для радостных всех

Растворил он приют и пиров и утех.

Внемля чангам, он пил ту усладу, что цветом

Говорила о розах, раскрывшихся летом.

И веселый Властитель, вкушая вино,

Славил счастье, что было ему вручено.

Под сапфирный замок ночь припрятала клады,
И весы камфары стали мускусу рады.

Все вкушал Искендер сладкий мускус вина,
Все была так же песня стройна и нежна.

То склонялся он к чаши багряным уладам,
То свой слух услаждал чанга сладостным ладой.

И, склоняясь к вина огневому ключу,
Он дарил пировавшим шелка и парчу.

И, пируя, о битве желал он беседы:
Про удачи расспрашивал он и про беды.

И сказал он о всаднике, скрытом в броне
И скакавшем, как буря, на черном коне:

«Мне неведомо: стал ли он горестным тленом,
Иль в несчастном бою познакомился с пленом...

Если он полонен, — вот вам воля моя:
Мы должны его вызволить силой копья,

Если ж он распрощался с обителью нашей,
То его мы помянем признательной чашей».

И, смягчен снисхождением, присущим вину,
Он припомнил о тех, что томятся в плену,

И велел, чтоб на пир, многолюдный и тесный,
Был доставлен в оковах боец бессловесны!,

И на пир этот смутной ночью порой
Приведен был в цепях пленник, схожий с торой.

Пребывал на пиру он понуро, уныло.
Его тело в цепях обессилено было.

Он, лишь только стеная, сидел у стола,
Но ему бессловесность защитой была.

Слыша стон человека, лишённого речи,
Царь, нанеся ему столько тяжких увечий,

Смявший силой своей силу вражеских плеч,
Повелел с побежденного цепи совлечь.

Благородный велел, — стал плененный свободным,
А вреда ведь никто не чинит благородным.

Обласкал его царь, вкусной подал еды,
Миновавшего гнева загладил следы.

Он рассеял вином несчастливца невзгону,
Чтоб душа его снова узнала свободу.

И злодей, ощутив милосердия сень,
У престола простерся, как тихая тень.

Хоть к нему подходили все люди с опаской, — Признавал он того, кто дарил его лаской.

Вдруг, никем не удержан, мгновенно вскочив,
Из шатра убежал этот сумрачный див.

И в ответ всем очам, на него устремленным, Миродержец промолвил своим приближенным:

«Стал он волен, обласкан, стал вовсе не зол,
Пил с отрадой вино, — почему ж он ушел?»

Но мужи, отвечая Владыке, едва ли
Объясненье всему надлежащее дали.

Молвил первый: «Степное чудовище! В степь
Он помчался. Ведь сняли с чудовища цепь».

«Опьяненный вином, — было слово второго,—
Он решил, что к своим проберется он снова».

Царь внимал говорившим с умом иль спроста,
Но свои им в ответ не раскрыл он уста.

Все он ждал, как бы внемлющий звездному рою;
Синий свод удивит его новой игрою.

И вернулся беглец в его царственный стан,
На руках поднимая Нистандарджихан.

На ковер положил он ее осторожно
И поник, — мол, служу я Владыке не ложно.

И, Владыке оставив китайский кумир,
Он исполнил поклон, и покинул он пир.

Государь изумился: он видел не змея,—
Он узрел изумруд, верить взору не смея.

Но рабыня, являя застенчивый нрав,

Скрыла розовый лик под широкий рукав.

Увидав, что светило в шатре засияло,
Царь велел, чтобы в нем пировавших не стало.

И, желая увидеть нежданную дань,
Царь с лица ее снял прикрывавшую ткань.

И, узрев этот лик, он постиг, что напасти
К сердцу шаха спешат: он у Солнца во власти.

В этой темной ночи он увидел пери.
Опьяненная! Нежная! Отсвет зари!

Дева рая из черного адского стана!
От Малика бежавшая к розам Ризвана!

Кипарис, полный свежести! Розовый цвет
Раздающая розам, их просьбам в ответ!

Каждый взор ее черный — сердце похититель.
Не один ее взором сражен небожитель.

А уста! Из-за них в шумной распре базар!
Сколько сахара в них! Верно — целый харвар!

В этой розы объятых забудешь кручины,
Потому что они не объятая, — жасмины.

И, увидев подарок, врученный судьбой,
Царь как будто кумирню узрел пред собой.

Хоть он видел рабыню, но, нежный, довольный,
Счел себя он рабом той, что сделалась вольной.

О рабыня! Сам царь стал рабыне рабом!
Могут розы мечтать о Всевластном любом.

Царь узнал китаянку. Красив был и ярок
Обретенный в Китае хакана подарок.

Удивленный, он понял, что это она
Побеждала отважных, гоня скакуна.

Как ушла из гарема! Как билась красиво!
Как вернулась! Все это — не дивное ль диво?

И сказал он прекрасной китайской рабе:
«Сердце шаха утешь. Все скажи о себе!»

И пред шахом счастливым, красою блистая,
Кротко очи потупила роза Китая,

И молитву о шахе она вознесла:

«Да вовеки венец твой не ведает зла!

Чтоб создать властелина сродни Искендеру,
Бог не глину берет, — правосудье и веру.

Пламень славы твоей очевидней, чем свет. Благотворнее счастья твой светлый привет,

Благодатному дню ты даруешь начало.

Солнце светом твоим в небесах заблестало.

Венценосцы в лазурь свой возносят венец,
Но не каждый увенчанный — мощный боец.

Ты ж, вознесший венец, озаряемый славой,
Ты и меч свой возносишь победный и правый.

На пиру говоришь ты — я милую мир,
А в бою удивляешь ты силою мир.

Ты — источник живой. И теперь это зная,
Лишь молчать я могу. Я ведь только земная.

Нежный вздох, государь, не проникнет сюда.

Ведь, проникнув, растаял бы он от стыда.

У меня — черепки; не сверкает алмазом

Мой рассказ; не смущу тебя длительным сказом.

Я — рабыня. Я — с ухом проколотым, но

Никому было тронуть меня не дано.

Обо мне ведь промолвил властитель Китая:

«Вот ларец, в нем жемчужин скрывается стая...»

Но царю не понравились эти слова.

На меня, полный гнева, взглянул он едва.

И царем позабытая, презрена всеми,

Я безмолвно укрылась в царевом гареме.

Огорченная горькой, неожиданной судьбой,

Не прельстивши царя, я направилась в бой.

В первой схватке, по счастью царя Искендера,

Мной была против недругов найдена мера.

Во второй — не напрасно гнала я коня:

Сбила всех, что с мечами встречали меня.

Но затем, обольщенная днем несчастливым,

Я была сражена и похищена дивом.

Это был не воитель, а злой крокодил.

Пламень божьего гнева его породил.

Не предав меня смерти, из тяжких объятий

Он меня тотчас передал вражеской рати.

Будто молвил он русам: для царских палат

Под замком берегите мной найденный клад.

Вновь он в поле пошел: вновь пошел он в сраженье, Чтоб румийским слонам нанести поражение.

Но когда румский царь, многомогущный, как слон,

Во мгновение слону предназначил полон,

Я, ликуя от шахской великой победы,

Вознесясь до небес, позабыла все беды.

Но, узрев, что свирепых ты ловишь в силок,

Что аркан твой летит, как стремительный рок,

Я еще огорчалась: повлек для полона, —
Не для смерти в свой стан ты немого дракона.

Все ж, подумала я, не гуляет в степи
Злобный див, а на крепкой сидит он цепи.

В души русов проникли печалей занозы,
Стали желтою мальвой их рдяные розы.

И когда сумрак ночи, всю землю поправ,
Словно гуль, проявил свой озлобленный нрав,

Словно гулю, связали мне руки и ноги
И в затвор поместили, потайный и строгий.

Хмурый воин меня снарядился стеречь.
Мне грозила бедой его темная речь.

Но с полночи прошло, и слышались крики.
До темницы моей шум домчался великий.

Налетела мгновенная туча, — о ней
Не дожди возвестили, а град из камней.

И вопил и стонал стан взволнованный вражий,
И в испуге бежали полночные стражи.

И голов без числа страшный див отрывал,
И метал их в бойцов. Рос чудовищный вал

Обезглавленных тел. На растущие горы
Из кровавых голов устремляла я взоры.

И ворвался ко мне мощью дышащий див
И порвал мои узы. Меня подхватив,

Он доставил меня к Искендера престолу:
Он от Рыбы вознес меня к лунному долу.

Я в темнице была, словно спрятанный клад,
Но теперь я познаю немало услад.

Ведь шелкам должно быть на прельстительном стане, Разве сладостной женщине место в зиндане?

Все, о чем я мечтала, явилось ко мне,
Или все, что я вижу, — я вижу во сне?»

И умолкла пери. Восхитился Великий:
Расцвели, словно розы, ланиты Владыки.

Он, к колечку Луны прикоснувшись едва,

Молвил тонкие, словно колечко, слова:

«О нежнейшая роза, не знавшая пыли,

Все бои твои богом овеяны были.

Повлекла за собою ты душу мою:

Ты на пире — парча, ты прекрасна в бою.

Я в боях тебя видел сражавшейся смело

И конем распаленным владевшей умело.

Но и здесь что приманчивей взоров твоих?

В день войны, в час утех ты прекрасней других.

Я под пару тебе. Вот и чанг. Что чудесней,

Чем утешить свой слух твоей сладостной песней!»

Звонкий чанг лунолика в руки взяла.

Лук из тополя был, из него же — стрела.

Избрала она лад, призывавший к усладам, Пехлевийскую песню сплетя с этим ладом:

«О взошедший на трон, всех великих поправ! Необъятен твой разум и светел твой нрав!

Ты с челом своим юным — отрада для взора.

Сердце светлое шаха не знает укора.

Ты в решеньях велик, ты с удачей всегда.

Ты, куда ни приходишь, берешь города!

Властелина душа отдохнуть захотела,

Нет греховных желаний у царского тела.

По каким бы путям ты ни вел свою рать,

Пусть горит над Великим небес благодать!

Да течет небосвод по цареву желанью!

Да поникнет весь мир под румийскою дланью!»

А затем о заветном запела она.

В сладкой песне тоска ее стала слышна:

«Расцвело деревцо за оградою сада,

И возникшим цветам деревцо было радо.

Только роза спала; был не вскрыт ее лал,

И нарцисс на лугу еще сладко дремал.

И в сосуде вино не пригублено было:

Видно, жаждущих сердце о нем позабыло.

Сад надеялся: кончит с охотою царь

И придет к нежной розе с охотою царь.

Эту розу сорвет он весною счастливой,

Он тюльпаны увидит и взглянет на ивы.

Неужели царю вовсе времени нет

Поглядеть на цветы, на их пышный расцвет?

Завились лепестки; грусть в их каждом завое,

Но в осенние дни им грустней будет вдвое.

Ветер осени лют, обуял меня страх:

Все мои лепестки обратит он во прах».

Слыша песню рабыни, хватающей сердце,

Царь охвачен был страстью, сжигающей сердце.

Сладкий стон ее чанга — о сладостный клик! — Возвещал, что красив ее сладостный лик,

Что ее красноречье являет желанье,

Чтоб возникло в царе огневое пыланье.

Но, проникнув душой в чанга звучную речь,

Не дал Властный себя вождельням увлечь.

Был разумен Воитель: уместна ль истома?

Уцелевших врагов он желает разгрома.

И велел он вина принести, а припас

На дорогу оставил: придет его час.

Златозвонную чашу он выпил за деву,

Столько сладостной неги придавшей напеву.

После — чашу спасенной от вражьих цепей, Сладкоустой он подал и вымолвил: «Пей!»

Повелела она своему поцелую

Освятить эту чашу, — затем золотую

Отдала шахиншаху. Рукою одной

Брал он чашу. Ласкал ее кудри — другой.

То с нежнейшим лобзаньем склонялся он к чаше,

То к Луне, что была всех возлюбленных краше.

Чтил он чин сластолубцев: он знал благодать
Мед лобзаний чредой с горьким хмелем вкушать.

И, уста усладив чашей сладостной винной.
Предались они дреме сладчайшей, невинной.

И в приюте услад, в окружении гроз,
Лишь лобзанья одни не страшились угроз.

ОСВОБОЖДЕНИЕ НУШАБЕ
И ПРИМИРЕНИЕ ИСКЕНДЕРА
С КИНТАЛОМ

Кравчий! Чашу! К жемчужинам чаши припав,
Я солью с ними сердца им сродный состав.

Влаги! Сохнет мой дух от вседневной отравы.
Жду: булатом булат очищается ржавый.

* * *

Тем, кого породил славный царь Филикус,
Был буртас остановлен и сдержан был рус.

И сыскал Искендер тот простор для привала,
Где земля и отраду и силы давала.

Там прекрасней Тубы были сени древес,
Там густы были травы под синью небес.

Там ручьи, как вино, были сладостны летом,
Но они не таились под строгим запретом.

Там, тенистым узором сердца веселя,
Изумрудные сети сплели тополя.

Там деревья высоко взнесли свои своды:
Их вскормил свежий воздух, вспоили их воды.

Меж древес, где всегда благодатны пиры,
Для Владыки румийские стлали ковры.

И когда принесли все, что надо для пира,
Сел с царями за пир царь подлунного мира,

И когда пированьем украсился луг,

И вокруг снеди замкнулся пирующих круг, —

Приказал государь принимавшим добычу
Сдать немедля добычу считавшим добычу,

Чтоб о множестве кладов, о ценных мехах,
О буртасах, аланах, о всех племенах

Доложили ему, чтоб хотя бы примерным
Был подсчет всем сокровищам, столь беспримерным.

И огромный воздвигли носильщики вал,
Груды ценной добычи, нося на привал.

Будто жадными тешась людскими сердцами, Раскрывались, блистая, ларцы за ларцами.

И камня, которых нельзя было счесть,
О себе всем очам тотчас подали весть.

Тут и золото было, и были в избытке
Серебра драгоценного лунные слитки,

Хризолиты, финифть, золотые щиты.

Сколько лучших кольчуг! Нет, не счел бы их ты!

Словно на гору Каф мог ты вскидывать взоры, Полотна с миткалем видя целые горы.

Был прекрасен зербафт, на котором шитье

Золотое вело узорочье свое.

Соболей самых темных несли отовсюду

И бобров серебристых за грудую груду.

Горностая, прекраснее белых шелков,

Были сложены сотни и сотни тюков.

Серых векш — без числа! Лис без счета багровых, И мехов жеребьячьих, для носки готовых.

Много родинок тьмы с бледным светом слились:

Это мех почивален; дает его рысь.

Кроме этих чудес, было кладов немало,

От которых считающих сердце устало.

Царь взглянул: нет очам прихотливей утех!

Как в Иране весна — многокрасочный мех.

Цену меха узнав, царь промолвил: «На что же

Служат шкуры вон те, знать хотел бы я тоже?»

Соболиных и беличьих множество шкур
Царь узрел; был их цвет неприветливо бур.

Все облезли они, лет казалось им двести,
Но на лучшем они были сложены месте.

Шах взирал в удивленье: на что же, на что ж
Столько вытертых шкур и морщинистых кож?

«Неужели они, — «ж спросил, — для ношенья.
Иль, быть может, все это — жилищ украшенья?»

Молвил рус: «Из потрепанных кож, государь,
Все рождается здесь, как рождалось и встарь:

Не смотри с удивленьем на шкуры сухие.
Это — деньги, и деньги, о царь, неплохие.

Эта жалкая ветошь в ходу и ценна.
Самых мягких мехов драгоценней она.

Что ж, дивясь, обратился ко мне ты с вопросом,
Купишь все малой шкурки куском безволосым.

Пусть меняет чеканку свою серебро,

Там, где все, что прошло, мигом стало старо,—

Шерсть ни на волос эта не стала дешевле

С той поры, как была в дело пущена древле».

Государь поразился:: какая видна

Здесь покорность веленьям! Безмерна она.

Он сказал мудрецу: «Усмирив все свары,

Силе шахов повсюду способствуют кары,

Но у здешних владык больше властности есть:

Эту кожу велели сокровищем счесть!

Из всего, что мое здесь увидело око,

Это — лучшее. Это ценю я высоко.

Если б этой жемчужины не было здесь,

Кто б служил тут кому-либо? Это ты взвесь.

Ведь иначе никто здесь не мог бы быть шахом,

Шах тут — шах. В этом все. Шах тут правит не страхом.

Увидав, что сокровищам нету конца,

Искендер за даянья восславил творца,

И, прославив творца бирюзового крова,
Он застольную чашу потребовал снова.

Услаждаясь вином, струнный слушая звон,
Словно туча весной, щедрым сделался он.

Тем вождям, что в боях были ловки и яры,
И парчи и сокровищ он роздал харвары.

Он им золота дал. Он был так тороват,
Что дарил он вождям за халатом халат.

Не осталось плеча, что не тешило взора
Алым бархатом, золотом златоузора.

Бессловесного жителя дальних степей
Царь призвал, — и свободно без прежних цепей

Подошел этот мощный степняк однорогий,
И царю, как и все, поклонился он в ноги.

И смотрел Искендер на врага своего:
Непонятное он изучал существо.

И немало сокровищ, отрадных для взгляда,
Он велел принести и парчи для наряда.

Но мотнул головою безмолвный степняк, —
Мол, они не нужны, проживу, мол, и так.

Он, потупившись, голову бросил овечью
Перед шахом: владел он безмолвия речью.

Понял все государь: чтобы пленный был рад,
Повелел он из лучших, отобранных стад

Дать овец великану, и принят был дивом
Этот дар, и казался безмолвный счастливым.

И погнал он овец в даль родимой земли,
И с гуртом пышнорунным исчез он вдали.

А лужайка полна была мира и блага,
И сверкала по чашам багряная влага,

И на душу царя взяли струны права,
И блаженно сияла над ним синева.

И когда от вина цвета розы вспотели

Розы царских ланит и в росе заблестели,

Шаха русов позвал вождь всех воинских сил

И на месте почетном его усадил.

Вдел он в ухо Кинтала серьгу. «Миновала, —

Он сказал, — наша распря; ценю я Кинтала».

Пленных всех он избавить велел от оков

И, призвав, одарил; был всегда он таков.

В одиночку ли тешиться счастьем и миром!

Пожелал Нушабе он увидеть за пиром.

И к Светилу полдневному тотчас Луну

Привели, — и Луну привели не одну:

С ней пришли и кумиры, познавшие беды, —

Мотыльки — радость глаз и услада беседы.

Царь убрал Нушабе в жемчуга и шелка.

Как зарю, что весеннего ждет ветерка,

Дал ей много мехов, лалов с жемчугом вместе.

Вновь прекрасная стала подобна невесте.

Царь был несколько дней с ней, веселой всегда,
А когда пиროванья прошла череда,

Длань царя: сей Луной одаряя Дувала,
Вмиг Дувала ремень вокруг нее завязала.

Поднеся новобрачным жемчужный убор,
Царь своею рукой их скрепил договор.

Он в Берду их направил, в родимые дали,
Чтоб за зданьями зданья они воздвигали.

Чтоб дворец Нушабе стал прекрасен, как встарь,
Без подсчета казны им вручил государь.

В путь отправив чету, всем вождям своим сряду
Дал за трудный поход он большую награду.

Сговорившись о дани, могучий Кинтал
В ожерелье, в венце в свой предел поспешал.

Он, вернувшись в свой город, не знавший урона,
Вновь обрадован был всем величием трона.

Он, признав, что всевластен в миру Искендер,
Каждый год возглашал на пиру: «Искендер!»

А румиец, чьему мы дивились величию,
То за чашей сидел, то гонялся за дичью.

Он в тени тополей, он под листьями ив
Слушал най, к сладкой чаше уста приложив.

Славя солнечный свет, ликовал он душою
И, ликуя, вино пил с отрадой большою.

Счастье, юность и царство! Ну кто ж от души
Не сказал бы счастливцу: к усладам спеши!

КНИГА II

ИКБАЛ-НАМЕ

(КНИГА О СЧАСТЬЕ)

НАЧАЛО ПОВЕСТВОВАНИЯ

Лишь мудрейший из греков пришел в свой рудник, ---
Ряд вот этих камней пред нами возник:

Искендер, целый мир обошедший походом,
Войском взвихривший пыль подо всем небосводом,

Прибыл в древний свой край из далеких земель
И овеял сияньем свою колыбель.

Царь услады забыл и, по слову преданья,
Стал искать он учителя, полного знания.

И все небо постиг он, исполненный сил,
И в узилище тайны врата он открыл.

Он искал руководства в забытых указах,
В пехлевийских, дорийских и греческих сказах

И в парсийских строках о Хосроях, года
В его памяти лившихся, словно вода.

И к наречиям чуждым влеклась его дума,
И к юнанским речам и к сказаниям Рума.

Царь велел мудрецам всю премудрость облечь, Совершив перевод, в ионийскую речь.

Всюду брал он жемчужины знания, — и вскоре Совокупность жемчужин составила море.

А когда ценным волнам не стало числа,
Их гряда из румийской земли потекла.

И в единственный клад все замкнул он познание, —
В «Мироведенья книгу», сердцам в назидание.

Тайный свод сил духовных им также был дан.
Этой силой живет и поныне Юнан.

«Искендера походы» — вот то, чем навеки
Смогут в воск обратить все железное греки.

И в семи небосводов потайную суть
С этой книгою греки смогли заглянуть.

Но из прошлых жемчужин в подлунной пустыне
Одного Антиоха находим мы ныне.

Так вот новое — все, что звучит нам досель, —
Создал в книгах своих покровитель земель.

И когда, чтивший звание все боле и боле,
Царь воссел на великом, всесветном престоле,

Мудрецам он промолвил в назначенный час:

«Мудрецов изречения радуют нас.

Да забыть им о зависти — горестном чувстве!

Важно первым быть в знании или в искусстве!

Много в мире достоинств, что выше всего,
Но превыше их всех — лишь одно мастерство».

И с тех пор повелось при царе Искендере:

Только знающий муж в полной славится мере.

Государь вел к познанию свой караван.

Вслед за ним царедворцев направился стан.

К полным знания мужам шли придворные, чтобы
Воспринять всю премудрость великой учебы, —

И по воле царя, почитавшего ум,

Был прославлен Юнан и прославился Рум.

И страницы Юнана закрылись, и время

Протекло, — все же славится мудрое племя.

Хоть приемный шатер до созвездий взмывал,

Все в молельне своей государь пребывал.

Вся из кожи козлиной молельня темнела,
Золотых и серебряных скреп не имела.

Весь шалаш был из ивовых прутьев; для ног
Не ковер в нем лежал, — только белый песок.

Бытием истомясь, отведя его сети,
Здесь, в молельне, Владыка не думал о свете.

Тут снимал он венец, также пояс царей,
Чтоб служения пояс надеть поскорей.

К лику светлой земли наклонялся он ликом
И, склоняясь, вздыхал он в смиренье великом.

Благодарность воздав за бывшее, у сил
Неземных он в грядущем помощи просил.

Мнил он делом творца все, что было дотоле,
А не делом своей побеждающей воли.

Прославлял он, как видишь, немало творца.
И моленье его достигало творца.

Лишь моления тех, что исполнены скверны,
Ввысь восходят напрасно дорогой неверной.

Если бога молящий покорен и чист, —
Путь мольбы его скор, и открыт, и лучист.

Овладел Искендер величайшей державой,
Славясь мудрым правленьем и верою правой.

Не сродни был он тем, что на буйном пиру,
Силы зла не узрев, не стремились к добру.

След насилья он стер. Под огнем поднебесья
Царь удерживал в мире покой равновесья.

И дитя и вдова, правосудья взыскав,
Поспешали к царю, зная царский устав.

Столько было добра в его праведном лике,
Что все семь поясов подчинились Владыке.

К людям знания он шел для познания дел,
Ипознаньем весь мир получил он в удел.

Как бы иначе турок румийского края
Взял индийский престол и корону Китая?

Да! Куда бы ни шел он, подобный горе, —
Шесть разделов имелось на царском дворе:

Были тысячи мощных, владевших мечами,
Что поспорить с любыми могли силачами;

Были здесь колдуны, — было множество тут
Тех, которыми мог быть распутан Харут;

Были здесь краснобаи, чья хитрая сила
Похищала сиянье дневного светила;

И толпа многомудрых ученых была.
Не пытайся их счесть, — не найти им числа;

Были светлые старцы, что в ночь перед битвой
К звездам очи вздымали с горячей молитвой;

Были здесь и пророки. Прославленный ряд
Этих сил проникал в каждый царский отряд.

И в нелегких делах, не идя наудачу,

Чтобы легче решить непростую задачу,

Царь, построив ряды из шести этих сил,

У шести этих ратей помощи просил,

И они, облегчая цареву дорогу,

Искендеру давали большую помощь.

И развеять могли они ужасы мглы,

И распутать умели тугие узлы.

По предвиденью старцев, по воле созвездий,

Что врагам предвещали угрозу возмездий,

Все свершалось, и в блеске счастливого дня

Цель спешила к царю, погоняя коня.

Ощувив, что неистовство вражье простерло Дерзновенную длань и хватало за горло, —

Думал царь: «Бросив золото в руки врагу,

Золотым этим делом себе помогу».

Если ж золотом враг не прельщался, то смело

Царь железный — железом свершал свое дело.

В час, когда и железо теряло права,
Привлекал Искендер на помощь волхва.

Если ж призванный волхв не был с должным уловом, Призывался помощник, владеющий словом.

Если речь рассыпалась бессильно у скал,
То в уме мудрецов царь помощи искал.

Если мудрый не мог предоставить помощи,
Все подвижник свершал, обращавшийся к богу.

А когда и над ним грозный властвовал рок,
То на зов Искендера являлся пророк.

Но когда и пророк отступал понемногу,
Искендер все вверял только мудрому богу.

И великий ключарь государевых дел
Посылал Искендеру счастливый удел.

И везде государь, сей венец мирозданья,
На дорогах своих находил назиданья.

И пиров и охот соблюдая устав,
Царь нигде не искал безраздумных забав.

В некий день, услаждаясь блистательным пиром,
Царь ворота веселья раскрыл перед миром.

И на царском пиру, теша радостный взгляд,
Разместился чангистов сверкающий ряд.

Лишь один из певцов этой праздничной ночи
Привлекал Повелителя зоркие очи.

Был он в радужной ткани, в прекрасной ваши.
Семь цветов ее были весьма хороши.

Вкруг одежды, что блеска являла немало,
Государево сердце с отрадой витало.

Хоть одежды прекрасной сияли цвета,
Да подкладка была из простого холста.

Но певец понапрасну был в твердой надежде,
Что не скоро пропасть этой пышной одежде.

К ткани прядала пыль, к шелку ластился дым,
И наряд постарел. Стал он словно седым.

Улыбнулись друг другу уток и основа,
И певец быть нарядным не мог уже снова.

И одежду он вывернул кверху холстом,
Оказавшись в наряде невзрачном, простом.

Искендер, увидав цвет холста некрасивый,
Так промолвил певцу: «О певец несчастливый,

Что с себя ты совлек лепестки своих роз
И облекся в шипы, не страшась их угроз?

Что в дерюге пришел, не в шелку небывалом?
Почему со стекляшкой пришел, а не с лалом?»

И, прижавши к земле лоб склонившийся свой,
Поклялся музыкант Искендера главой,

Что он в том же шелку, что для царского взора
В некий день просиял красотой узора:

«Но ведь стала дырявой одежда моя,
И подкладкою вверх ее вывернул я.

Если б я пред царем был в одежде дырявой,
То нутро разглядел бы увенчанный славой».

И, услышав разумное слово певца,
Несказанно смутился носитель венца.

И певца благосклонным окинувши взглядом,
Одарил он немедля роскошным нарядом.

И сказал он в прискорбье среди тишины:
«От людей наши тайны скрывать мы должны.

Если тайное наше откроется взглядам,
Целый мир переполнится тягостным смрадом.

Если чья-то откроет в грядущем рука
Тот сундук, где румийские скрыты шелка,

Быть ли черным алоэ, хоть мрак его скрыло
От людей серебром, и узором кадило!

Черный пепел узрев, каждый будет готов,
Засмеявшись, блеснуть белизною зубов».

О ТОМ, ПОЧЕМУ ИСКЕНДЕРА
НАЗЫВАЮТ ДВУРОГИМ

О певец, подними сердцу радостный звон, —
Те напевы, что звучный таит органон,

Те, что гонят печаль благодатным приветом,
Те, что в темной ночи загораются светом.

* * *

Искендера воспевший в сказанье своем
Так в дальнейших строках повествует о нем:

Он Заката прошел и Востока дороги,
Потому-то его называли: Двурогий.

Все же некто сказал: «Он Двурогий затем,
Что мечами двумя бил он, будто бы Джем».

Также не были речи такие забыты:
«На челе его были два локона свиты».

«Два небесные рога — Закат и Восток
Взял во сне он у солнца», — безвестный изрек.

Услыхал я и речь одного человека,
Что Прославленный прожил два карна от века.

Но Умар-ал-Балхи, пламень мудрости вздув, Утверждает в своей славной книге Улуф:

В дни, как скрыла царя ранней смерти пучина,
Поразила людей Искендера кончина.

Ионийцы любили царя, и они
Царский лик начертали в те горькие дни.

И художника кисть, чтоб возрадовать взоры,
Начала наводить вокруг Владыки узоры.

Справа, слева два образа возле царя
Начертал живописец, усердьем горя.

Был один из начертанных дивно рогатым,
В золотом и лазурном уборе богатом.

«Светлых ангелов два» — их назвал звездочет,
Потому что он знал, как все в мире течет:

Есть у смертных, что созданы богом, оправа, —

Рядом с ними два ангела — слева и справа.

И когда три начертанных дивных лица,

Чье сиянье, казалось, не знало конца,

Стали ведомы всем, то, подобные чуду,

О царе Искендере напомнили всюду.

И художникам дивного Рума хвала

Меж народов земли неуклонно росла.

Но арабы (их пылу отыщется ль мера!)

Не нашли в среднем лике царя Искендера.

Ангел, — мнили они, — быть не может рогат.

Это — царь. И наряд его царский богат.

Так ошиблись они. И сужденьем нестрогим

Обрекали царя слыть повсюду Двурогим.

И сказал мне мудрец, чьи белели виски:

«Были царские уши весьма велики,

И затем, чтоб смущенья не ведали души,
Ценный обруч скрывал государевы уши.

Был сей обруч — тайник полных кладом пещер:
Как сокровище, уши скрывал Искендер.

Слух о них не всплывал, над просторами рея,
Видел уши царя только взор брадобрея.

Но когда в темный мир отошел брадобрей,
Стал нуждаться в другом царь подлунных царей.

Новый мастер в безлюдье царева покоя
Тронул кудри царя, над Владыкою стоя,

И когда их волну он откинул с чела,
Мягко речь государя к нему потекла:

«Если тайну ушей, скрытых этим убором,
Ты нескромным своим разгласишь разговором,

Так тебя за вихры, дорогой мой, возьму,
Что не скажешь с тех пор ни словца никому!»

Мастер, труд завершив под блистательным кровом, Позабыл даже то, что владеет он словом.

Словно умысел злой, помня царский завет,
Тайну в сердце он скрыл, чтоб не знал ее свет.

Но душой изнывая, он стал желтоликим.
Ибо тайна терзает мученьем великим.

И однажды тайком он ушел из дворца.
В степь он вышел, мученью не зная конца.

И колодец узрело несчастное око.
И сказал он воде, что темнела глубоко:

«Царь с большими ушами». Хоть жив был едва Брадобрей, — дали мир ему эти слова.

Он вернулся к двору, иго сбросивши злое,
И хранил на устах он молчанье былое.

Все же отзвук пришел. Из колодца возник,
Тем словам откликаясь, высокий тростник;

Поднял голову ввысь, а затем воровскою
Потянулся за сладостно-тайным рукою.

Вот однажды пастух шел дорогой степной

И увидел тростник над большой глубиной.

И нехитрый пастух срезал это растенье,
Чтоб, изранив его, лаской вызвать на пенье.

Ни с какою тоскою не стал он знаком,
И себя он в степи веселил тростником.

В степи выехал царь свежим утром, — и трели
Услыхал в отдаленье пастушьей свирели.

И, прислушавшись, он услышал невзначай,
Что над ним издевается весь его край.

Сжал поводья Властитель в смятенье и гнев:
«Царь с большими ушами» — звучало в напеве.

И Владыка великий поник и притих,
Не вникая в напев музыкантов своих.

И, позвав пастуха, растревоженный крайне,
Царь узнал от него о пастушеской тайне:

«Словно сахарный, сладок зеленый тростник.
Он в степи из колодезной глуби возник.

Я изранил его. Мой поступок не странен.

Он не стал бы играть, если б не был изранен.

Он бездушен, но в нем жар пастушьей души.

В нем звучит мой язык в молчаливой глуши».

Искендер удивился рассказу такому

И коня тронул в путь в направлении к дому.

И, войдя в свой покой, он промолвил: «Скорей! Брадобрея!» — и царский пришел брадобрей.

И сказал государь, потирая ладони:

«Говори. Все узнать я хочу у тихони.

Ты кому разболтал мою тайну? Я жду.

Чей обрадовал слух на свою же беду?

Если скажешь, — спасти свою голову сможешь,

Если нет, — под мечом свою голову сложишь!»

И решил брадобрей, слыша царскую речь,

Ко спасенью души своей правду привлечь.

И, склонясь и о роке подумавши строгом,

Он сказал Властелину, хранимому богом:

«Хоть с тобою мной был договор заключен,
Чтоб я тайну хранил, словно девственниц сон,—

Я душой изнывал. Все ж, покорствуя слову,
Лишь колодцу поведал я тайну цареву.

От людей убережь эту тайну я смог.
Если ложь я твержу, да казнит меня бог».

Чтоб словам этим дать надлежащую веру, Доказательств хотелось царю Искендеру.

И сказал он тому, кто в смущенье поник:
«Принеси из колодца мне свежий тростник».

И свирель задышала, — и будто бы чудом
Вновь явилось все то, что таилось под спудом.

И постиг Искендер: все проведает свет.
И от света надолго таимого — нет.

Он прославил певца и, творца разумея,
Сам томленья избег и простил брадобрея.»

Жемчуг выдадут глуби и скроется лал

Не навеки: взгляни, он уже запылал.

В недрах прячется пар. Но в стремлении яром

Он гранит разорвет. Все покроется паром.

сказание об искендере

и мудром пастухе

Приходи, о певец, и зарею, как встарь,

Так захмеэ роговым ты по струнам ударь,

Чтоб ручьи зажурчали, чтоб наши печали

Стали сном и к мечтаниям душу умчали.

* * *

Так промолвил прекрасный сказитель былой,

Не имеющий равных за древнею мглой:

В румском поясе царь и в венце из Китая

Был на троне. Сияла заря золотая.

Но нахмурился царь, наложил он печать

На улыбку свою, ей велев замолчать.

Обладал он Луной, с солнцем блещущим схожей,

Но она в огневице сгорала на ложе.

Уж мирских не ждала она сладостных чар,

К безнадежности вел ее тягостный жар.

И душа Искендера была уж готова

Истомиться от этого бедствия злого.

И велел он, исполненный тягостных дум,

Чтоб явились все мудрые в царственный Рум.

Может статься, что ими отыщется мера

Исцелить и Луну и тоску Искендера.

И наперсники власти, слышавши зов,

Притекли под ее милосердия кров.

Сотворили врачи нужных зелий немало,

Все же тело Луны, изнывая, пылало.

Рдело красное яблочко, мучась, горя.

В мрачной горести хмурились брови царя.

Был он сердцем привязан к пери луноликой,
Потому и томился в тревоге великой.

И, с престола сойдя, царь на кровлю взошел, —
Будто кровля являла спокойствия дол.

Обошел он всю кровлю и бросил он взоры
На окрестные степи и дальние горы.

И внизу, там, где степь расстилалась тиха,
Царь увидел овец, возле них — пастуха.

В белой шапке, седой, величавый, с клюкою
Он стоял, на клюку опираясь рукою.

То он даль озирал из конца и в конец,
То глядел на траву, то глядел на овец.

Был спокойный пастух Искендеру приятен, —
Так он мудро взирал, так плечист был и статен.

И велел государь, чтобы тотчас же он
Был на кровлю к престолу царя приведен.

И помчалась охрана, чтоб сделать счастливым
Пастуха, осененного царским призывом.

И когда к высям трона поднялся старик,
Пурпур тронной ограды пред смертным возник.

Он пред мощным стоял Искендеровым валом,
Что о счастье ему говорил небывалом.

Он склонился к земле: был учтив он, и встарь
Не один неред ним восседал государь.

Подозвал его царь тихим, ласковым зовом,
Осчастливив его государевым словом.

Так сказал Искендер: «Между гор и долин
Много сказов живет. Расскажи хоть один.

Я напастью измучен и, может быть, разом
Ты утетишь меня многомудрьш рассказом».

«О возвышенный! — вымолвил пастырь овец. —
Да блестит над землею твой светлый венец!

Да несет он твой отблеск подлунному миру! Дурноглазый твою да не тронет порфиру!

Ты завесу, о царь, приоткрой хоть слегка.

Почему твою душу сдавила тоска?

Должно быть мне, о царь, сердце царское зрящим,

Чтоб утешить рассказом тебя подходящим».

Царь одобрил его. Ведь рассказчик найти

Нужный корень хотел на словесном пути,

А не тратить речей о небес благостыне

Иль о битвах за веру, как житель пустыни.

Царь таиться не стал. Все открыл он вполне.

И когда был пастух извещен о Луне,

До земли он вторично склонился и снова

Он молитвы вознес благодатное слово.

И повел он рассказ: «В давних, юных годах

Я Хосроя служил и, служа при царях,

Озарявших весь мир ярким праздничным светом, — Тем, которым и я был всечасно одетым,

Знал я в Мерве царевича. Был его лик

Столь прекрасен! А стан — словно стройный тростник.

Был красе кипарисов он вечной угрозой,
А ланиты его насмехались над розой.

И одна из пленительниц спальни его,
Та, что взору являла красы торжество,

Пораженная сглазом, охвачена жаром,
Заметалась в недуге настойчивом, яром.

Жар бездымный сжигал. Ей уж было невмочь.
Ни одно из лекарств не сумело помочь.

А прекрасный царевич, — скажу я не лживо:
Трепетал кипарис, будто горькая ива.

Увидав, что душа его жаркой души
Будто молвила смерти: «Кто мне поспеши!»

И стремясь не испить чашу горького яда,
На красотку не бросив померкшего взгляда,

Безнадежности полный, решил он: в пути,
Что из мира уводит, покой обрести.

За изгибами гор, что казались бескрайны,
Был пустыни простор, — обителище тайны.

В ней пещеры и бездны. По слову молвы,
Там и барсы таились и прятались львы.

В этой шири травинку сыскали б едва ли,
И Пустынею Смерти ее называли.

Если видел на свете лишь тьму человек,
В эту область беды он скрывался навек.

Говорили: «Глаза не узрели доньше
Никого, кто б вернулся из этой пустыни».

И царевич, теряющий розу свою,
Все хотел позабыть в этом страшном краю.

Но смятенный любимой смертельным недугом,
Был царевич любим благодетельным другом.

Ведал друг, что царевич, объятый тоской,
Злую смерть обретет, а не сладкий покой.

Он лицо обвязал. Схож с дорожным бродягой,
На царевича меч свой занес он с отвагой.

И не узнавший им, разъяренно крича,
Он свалил его наземь ударом плеча.

Сбив прекрасного с ног, не смущаясь нимало,
На царевича лик он метнул покрывало.

И, схвативши юнца, что стал нем и незряч,
На коне он домой с ним направился вскачь.

А домой прискакав, что же сделал он дале?
Поместил он царевича в темном подвале.

Он слугу ему дал, но, спокоен и строг,
Приказал, чтоб слуга крепко тайну берег.

И царевич, злосчастный, утратив свободу,
Только хлеб получал ежедневно и воду.

И бессильный, глаза устремивший во тьму,
С пленным сердцем, от страсти попавший в тюрьму,

Он дивился. Весь мир был угрюм и неведом.

Как, лишь тронувшись в путь, он пришел к этим бедам?

А царевича друг препоясал свой стан

В помощь другу, что страждал, тоской обуян.

Соки трав благотворных отдельно и вместе

Подносил для целенья он хворой невесте.

Он избрал для прекрасной врача из врачей.

Был в заботе о ней много дней и ночей.

И от нужных лекарств лютой хворости злоба

Погасала. У милой не стало озноба.

Стала свежей она, как и прежде была.

Захотела пройтись, засмеялась, пошла.

И когда в светлый мир приоткрылась ей дверца,

Стала роза искать утешителя сердца.

Увидав, что она с прежним зноем в крови

Ищет встречи с царевичем, ищет любви, —

Друг плененного, в жажде вернуть все былое,

В некий вечер возжег в своем доме алоэ.

И, устроивши пир, столь подобный весне,
Он соперницу роз поместил в стороне.

И затем, как слепца, он, сочувствуя страсти,
Будто месяц изъяв из драконовой пасти,

Сына царского вывел из тьмы. С его глаз
Снял повязку, — и близок к развязке рассказ.

Царский сын видит пир, кравчих, чаши и сласти,
И цветок, у которого был он во власти.

Так недавно оставил он тягостный ад,
Рай и гурию видеть, — о, как был он рад!

Как зажегся он весь! Как он встретил невесту!
Но об этом рассказывать было б не к месту».

И когда царь царей услышал пастуха,
То печаль его стала спокойна, тиха.

Не горел он уж тяжким и горестным жаром,
Ведь вином его старец попотчевал старым.

Призадумался царь, — все творят небеса...

Вдруг на кровлю дворца донеслись голоса.

Возвещали царю: миновала угроза,

Задышала свободно, спаслась его роза.

И пастух пожелал государю добра.

А рука Искендера была ль не щедра?

* * *

Лишь о тех, чья душа чистым блещет алмазом,

Мы поведать могли бы подобным рассказом.

От благих наши души сияньем полны,

Как от блеска Юпитера или луны.

Распознает разумный обманные чары.

Настоящие вмиг узнает он динары.

Звуку чистых речей ты внимать поспеши.

В слове чистом горит пламень чистой души.

Если в слове неверное слышно звучанье,
Пусть на лживое слово ответит молчанье.

СОЗДАНИЕ ПЛАТОНОМ НАПЕВОВ ДЛЯ НАКАЗАНИЯ АРИСТОТЕЛЯ

О певец, прояви свой пленяющий жар,
Подиви своей песней, исполненной чар!
Пусть бы жарче дела мои стали, чем встаре,
Пусть бы все на моем оживилось базаре.

* * *

С жаром утренний страж в свой забил барабан.
Он согрел воздух ночи, спугнул он туман.

Черный ворон поник. Над воспрянувшим долом
Крикнул белый петух криком звонким, веселым.

Всех дивя жарким словом и чутким умом,
Царь на троне сидел, а пониже, кругом,

Были мудрые — сотня сидела за сотней.

С каждым днем Повелитель внимал им охотней.

Для различных наук, для любого труда

Наступала в беседе своя черед.

Этот — речь до земного, насущного сузил,

А другой — вечной тайны распутывал узел.

Этот — славил свои построенья, а тот —

Восхвалял свои числа и точный расчет.

Этот — словом чеканил дирхемы науки,

Тот — к волшебников славе протягивал руки.

Каждый мнил, что твердить все должны лишь о нем, Словно каждый был миром в искусстве своем.

Аристотель — придворный в столь мыслящем стане Молвил так о своем первоначащем сани:

«Всем премудрым я помощь свою подаю.

Все познают принявшие помощь мою.

Я пустил в обращенье познания динары.

Я — вожак. Это знает и юный и старый.

Те — познания нашли лишь в познаниях моих,

Точной речью своей удивлял я других.

Правда в слове моем. Притязаю по праву,
Эту правду явив, на великую славу».

Зная близость к царю Аристотеля, с ним
Согласились мужи: был он треном храним.

Но Платон возмутился покорным собраньем:
Обладал он один всеобъемлющим знаньем.

Всех познаний начало, начало всего
Мудрецы обрели у него одного.

И собранье покинув с потупленным ликом,
Словно Анка, он скрылся в безлюдье великом.

Он в течение ночей спать ни разу не лег.
Из ночных размышлений он песню извлек.

Приютился он в бочке, невидимый взорам,
И внимал небосводам, семи их просторам.

Если голос несладостен, в бочке он все ж,
Углубляемый отзвуком, будет пригож.

Знать, мудрец, чтобы дать силу звучную руду,
То свершил, что весь мир принимал за причуду.

Звездочетную башню покинув, Платон
Помнил звезды и в звездных огнях небосклон.

И высоты, звучавшие плавным размером,
Создавая напев, мудро взял он примером.

В старом руде найдя подобающий строй
И колки подтянув, занялся он игрой.

Руд он создал из тыквы с газелевой кожей.
После — струны приделал. Со струйкою схоже.

За струною сухая звенела струна.
В кожу мускус он втер, и чернела она.

Но чтоб слаще звучать сладкогласному грому,
Сотворил новый руд он совсем по-иному

И, настроив его и в игре преуспев,
Лишь на нем он явил совершенный напев.

То гремя, то звеня, то протяжно, то резко,
Он добился от плектра великого блеска.

И напев, что гремел или реял едва,
Он вознес, чтоб сразить и ягненка и льва.

Бездорожий достигнув иль дальней дороги,
Звук и льву и ягненку опутывал ноги.

Даровав строгим струнам струящийся строй,
Человека и зверя смущал он игрой.

Слыша лад, что манил и пленял как услада,
Люди в пляску пускались от сладкого лада.

А звуча для зверей, раздаваясь для них,
Он одних усыплял, пробуждая иных.

И Платон, внемля тварям и слухом привычным
Подбирая лады к голосам их различным,

Дивно создал труды о науке ладов,
Но никто не постиг многотрудных трудов.

Каждым так повелел проникаться он строем,
Что умы он кружил мыслей поднятым роем.

А игра его струн! Так звучала она,
Что природа людей становилась ясна.

От созвучий, родившихся в звездной пучине,
Мысли весть получали о каждой причине.

И когда завершил он возвышенный труд, —
Ароматы алоэ вознес его руд.

И, закончивши все, в степь он двинулся вкоре,
Звук проверить решив на широком просторе.

На земле начертавши просторный квадрат,
Сел в середине его звездной музыки брат.

Вот ударил он плектром. При каждом ударе
С гор и с дола рвались к нему многие твари.

Оставляя свой луг иль сбежав с высоты,
Поникали они у заветной черты

И, вобравши в свой слух эти властные звуки,
Словно мертвые падали в сладостной муке.

Волк не тронул овцы. Голод свой одолев,
На онагра не бросился яростный лев.

Но поющий, по-новому струны настраивая,
Поднял новые звуки неожиданного строя.

И направил он так лад колдующий свой,
Что, очнувшись, животные подняли вой

И, завыв, разбежались по взвихренной шири.
Кто подобное видел когда-либо в мире?

Свет проведал про все и сказать пожелал:
«Лалов россыпь являет за лалами лал.

Так составлена песня премудрым Платоном,
Что владеет лишь он ее сладостным стоном.

Так из руда сухого он поднял напев,
Что сверкнула лазурь, от него посвежев.

Первый строй извлечет он перстами, — и в дрему Повергает зверей, ощутивших истому.

Им напева второго взнесется волна,
И встревожатся звери, очнувшись от сна».

И в чертогах царя люди молвили вскоре,
Что Харут и Зухре — в нескончаемом споре.

Аристотель, узнав, что великий Платон
Так могуч и что так возвеличился он,

Был в печали. Чудеснее не было дела,
И соперник его в нем дошел до предела.

И, укрывшись в безлюдный дворцовый покой,
Он все думал про дивный, неведомый строй.

Он сидел, озадаченный трудным уроком,
И разгадки искал он в раздумье глубоком.

Проникал много дней и ночей он подряд
В лад, в котором напевы всевластно парят.

Напрягал он свой ум, и в минуты наитий,
В тьме ночной он сыскал кончик вьющейся нити.

Распознал он, трудясь — был немал его труд,—
Как возносит напевы таинственный руд.

Как для всех он свое проявляет искусство,
Как ведет в забытье, как приводит он в чувство.

Так второй мудролюб отыскал, наконец,
Тот же строй, что вчера создал первый мудрец.

Так же вышел он в степь. Был он в сладостной вере, Что пред ним и уснут и пробудятся звери.

И, зверей усыпив, новый начал он строй,
Чтоб их всех пробудить полнозвучной игрой.

Но, звеня над зверьем, он стозвонным рассказом
Не сумел привести одурманенных в разум.

Все хотел он поднять тот могучий напев,
Что сумел бы звучать, дивный сон одолев.

Но не мог он сыскать надлежащего лада.
Чародейство! С беспамятством не было слада.

Он вконец изнемог. Изнемог, — и тогда
(За наставником следовать должно всегда)

Он к Платону пошел: вновь постиг он значенье Мудреца, чье высоко парит поученье.

Он учителю молвил: «Скажи мне, Платон,
Что за лад расторгает бесчувственных сон?

Я беспамятство сдвинуть не мог ни на волос.
Как из руда извлечь оживляющий голос?»

И Платон, увидав, что явился к нему
Гордый муж, чтоб развеять незнания тьму,

Вновь направился в степь. И опять за чертами
Четырьмя плектр умелый зажал он перстами.

Барсы, волки и львы у запретных границ,
Властный лад услышав, пали на землю ниц.

И тогда говор струн стал и сладким и томным.

И поник Аристотель в беспамятстве темном.

Но когда простирался в забвении он,
Всех зверей пробудил тайной песнью Платон.

Вновь напев прозвучал, возвращающий разум.

Взор открыл Аристотель. Очнулся он разом

И вскочил и застыл меж завывших зверей.

Что за песнь прозвучала? Не знал он о ней.

Он стоял и глядел, ничего не усвоя.

Как зверье поднялось, как забегало, воя?

Аристотель подумал: «Наставник хитер,
Не напрасно меня он в дремоте простер», —

И склонился пред ним. С тайны ткани снимая,
Все Платон разъяснил, кроткой просьбе внимая.

Записал Аристотель и строй и лады,
И ночные свои зачеркнул он труды.

С той поры, просвещенный великим Платоном,
Он встречал мудреца с глубочайшим поклоном.

Распознав, что Платон всем премудрым пример.
Что он прочих возвышенной, — царь Искендер,

Хоть он светлого разумом чтит и дотоле,
Высший сан дал Платону при царском престоле.

РАССКАЗ О ПЕРСТНЕ И ПАСТУХЕ

О певец, звонкий чанг пробуждая игрой,
Ты для сладостной песни свой голос настрой.

Пусть раздавшейся песни благое рождение
Мне сегодня окажет свое угождение.

* * *

Свет зари засиял. Мглу сумев превозмочь,
День заставил уснуть утомленную ночь.

Вьсь внесла златоцвет всем живущим в угоду,
А луна светлой рыбою канула в воду.

В кушаке из алмазов с застежкой литой
Венценосец воссел на престол золотой.

Ниже сели ученые друг возле друга,
Но Платон сел повыше премудрого круга.

Искендер удивлялся: в игре преуспев,
Как Платон отыскал свой волшебный напев?

Он сказал: «Мудрый старец, ты мыслью бескрайной Ввьсь взлетев, овладел сокровенною тайной.

Ты зажал в своей длани познания ключ.
Ты — источник наук. Ум твой светлый могуч.

О искусный! Читал ты когда-либо свиток,
Где б искусство в такой же пришло преизбыток?

Кто еще возносил нас в такие края,
Где безвестность живет, все от смертных тая?»

Завершив славословье, к ответу готовый,
Так ответил Платон: «Дивный свод бирюзовый
От поры до поры совершал волшебства,
Пред которыми молкнут людские слова.

Наши предки, о царь, не поняв их сознанием,
Чудеса сотворяли своим заклинанием.

Много, царь Искендер, непостижного есть.
Много было чудес. Можно ль их перечесть!

Я из них расскажу, если дашь ты мне волю,
Не десятую часть, а лишь сотую долю».

И велел государь справедливых сердец,
Чтоб любое сказанье поведал мудрец.

И сказал мудролюб, все потайное зрящий:
«О венчанный, желаньем познания горящий,

В днях минувших, в долине гористых земель
Взрыв подземных паров дал широкую щель.

И тогда появилось в глубоком провале
То, что камни и прах с давних пор прикрывали.

Там на брюхе лежал потемневший, литой
Медный конь. Полускрыт был он в пропасти той.

Изваяния бок был с проломом немалым:
Водоемом казаться он мог небывалым.

И когда медный конь был в полдневном огне,
Мог бы взор оглядеть все, что скрыто в коне.

Шел пастух по долине, травую богатой,
И, свой шаг задержав пред землею разъятой,

Разглядел в котловине зеленую медь.
Вниз по круче спуститься ему ль не суметь!

Вот он встал пред конем в изумленье глубоком.
И увидел пролом он в коне меднобоком.

И все то, что таилось внутри у коня,
Смог пастух разглядеть в свете яркого дня.

Там усопший лежал. Вызывал удивленье
Древний труп: до него не дотронулось тленье.

Выл на палец покойника перстень надет.
Камень перстня сиял, как Юпитера свет.

И пастух пораженный рукою несмелой
Снял сверкающий перстень с руки онемелой.

На добычу взглянув, как на счастья предел,
Он восторженно в перстень свой палец продел.

Драхмы в медном коне не найдя ни единой,
Он покинул гробницу. Пошел он долиной,

Погоня отары. Спадала жара

Ночь настала. Пастух дожидался утра.

И когда удалось рог серебряный небу
Сделать огненным шаром земле на потребу,

Он оставил овец на лужайке у скал
И хозяина стада, спеша, разыскал,

Чтобы перстню узнать настоящую цену
И судьбы своей бедной понять перемену.

И хозяин был рад, что явился пастух,
И язык развязал, словно думал он вслух.

Говорил он о стаде, о том и об этом,
И доволен он был каждым добрым ответом.

Вдруг он стал примечать и заметил: не раз Становился пастух недоступен для глаз,

И затем, словно тень, появлялся он снова. Рассердился хозяин: «Какого покрова

На себя вот сейчас ты набрасывал ткань?
Ты то зрим, то незрим. Поспокойнее стань!

Чтоб являть колдовство, — не имеешь ты веса.

Где тобою добыта такая завеса?»

Удивился пастух: «Что случиться могло?»

И свое он в раздумье нахмурил чело.

Было так: обладателя перстня немало

Обладанье находкой такой занимало.

И, хозяина слушая, так был он рад

Камнем вверх, камнем вниз свой повертывать клад.

Камень вверх обративши движением скорым,

По-обычному виден он делался взорам.

Повернув яркий камень к ладони своей,

Исчезал он мгновенно от смертных очей.

Камень был необычен, — в том не было спора, —

Своего господина скрывал он от взора.

И пастух разговор оборвал второпях.

Он ушел, чтоб испытывать камень в степях

И в горах. С волей рока он сделался схожим,

Веселясь, он шутил с каждым встречным прохожим.

Камень вниз опустив, промелькнув перед ним,

Во мгновенье шутник становился незрим.

Но сказавши себе: «Зримы ныне пребудем» — Зримым шел наш пастух, как и свойственно людям.

То являясь, то прячась, придя на базар

Иль в жильё, уносить мог он всякий товар.

Вот однажды пастух, словно дух бестелесный,

Стал незрим: повернул он свой перстень чудесный.

К падишаху в покой, меч индийский схватив,

Он вошел и стоял, как невидимый див.

Но когда и последний ушел приближенный, —

Он, пред шахом явясь, поднял меч обнаженный.

Был ужасным видением шах поражен;

И, ему предложив свой сверкающий трон,

Он промолвил, дрожа от нежданного чуда:

«Что желаешь, скажи, и пришел ты откуда?»

Так ответил пастух: «Торопись! Я — пророк.

Признавай меня тотчас. Твой благостен рок.

Если я захочу, — я невидим для света.

Вот и все. Это свойство — пророков примета».

Падишах преклонился, почувствовав страх.

И весь город был в страхе, как сам падишах.

Так вознесся пастух, встарь скитавшийся долом,

Что легко завладел падишахским престолом.

Поиграл этим камнем недлительный срок

Наш пастух, — и пастух не пастух, а пророк.

Ты признай, государь, всею силой признанья

Тех, что создали камень при помощи знанья.

Должно тайну волшебств укрывать от умов,

Чтоб незыблемым был нашей тайны покров.

Мой рассудок — вожак, полный жажды движенья.

Эту тайну не вывел на путь достиженья».

Искендером-царем был похвален Платон:

Так наглядно о тайном рассказывал он.

И для мудрых рассказ прозвучал не без прока,

И для многих имел он значенье урока.

ОТНОШЕНИЕ СОКРАТА К ИСКЕНДЕРУ

Где твой саз, о певец! Пусть он радует! Пусть

Он сжигает мою непрестанную грусть!

Звуков шелковых жду, — тех, внимая которым, Распишу румский шелк я тончайшим узором.

* * *

Так промолвил мудрец, дивно знающий свет, —

Тот мудрец, для которого скрытого нет:

В те далекие дни, повествуют преданья,

Ионийцы являли пример воздержанья.

Жизни, полной лишений, желали они.

Вождельенья огонь подавляли они.

Удивляла вошедших в румийцев жилища

Мудрость жизни большая и скудная пища.

Сберегавший в себе пламень жизненных сил, —

Тот, кто все вожделенья сурово гасил,

Не пил сладостных вин и не ведал он страсти,

Чтоб рассудок не знал их сжигающей власти.

Кружит голову страсть. Пыл удерживай свой,

Если впрямь дорожишь ты своей головой.

Ионийцам казалось: во всем они правы,

Но от жизни влекли эти строгие нравы.

С суши на море утварь они понесли,

И для жизни избрали они корабли.

Быть мужам возле жен, — не всегда ль безрассудно?

И для жен сколотили отдельное судно.

Не страшились мужи в битве яростной пасть,

Но влекущую к женам отринули страсть.

И могло показаться: задумали греки,

Чтоб из мира их семя исчезло навеки.

* * *

Неким утром, лишь солнце украсило мир,
Искендер для ученых устраивал пир.

Он мутрибу сказал: «Я делами сегодня
Не займусь. Пировать мне сегодня угодней.

За Сократом пошли. Пусть прибудет Сократ. Отрешившись от благ, всех мудрей он стократ».

И пред тем, кто для всех мог являться примером,
Встал посланец: «Я послан царем Искендером.

Чтоб свой кубок наполнить, явись, о мудрец, Приодевшись поспешно, в Хосрове дворец».

Но отшельник, согласно своим поученьям,
Не склонился нимало к его обольщеньям.

Он сказал: «Должен так ты царю донести:
Ты того не ищи, чего нет на пути.

Я не здесь, где царит Искендера величье.
Здесь не я. Перед вами — одно лишь обличье.

Тот, кто господу служит, кто чище огня,
Из чертогов господних добудет меня».

Сей ответ, словно нить просверленных жемчужин, Принял царь, хоть иной был душе его нужен.

Понял Властный: Сократ — отрешенья свеча»
Что горит, из безлюдья сиянье меча.

Этот блеск только тот примет в жадные очи,
Кто, как месяц, не спит в продолжение ночи.

Искендер приобрел многославный престол,
Но в желаньях своих он лишь к истине шел.

И всегда каждый муж, обладающий знаньем,
Хоть коротким ему угождал назиданьем.

И хоть много в подарок он принял речей,
Так не радовал сердце подарок ничей,

Как подарок, идущий к нему от Сократа:
Речь Сократа была трезвым знаньем богата.

Он решил, чтобы все же в сегодняшний день

Был Сократ приведен под высокую сень.

Доложили царю: « Нет безлюдней безлюдий,
Чем Сократа приют. Что отшельнику люди!

Так ушел он от мира, от всех его дел,
Что как будто гробница — Сократа удел.

Без родных и друзей он живет беспечален
В нищем доме, похожем на камни развалин.

Мог бы, ведает он, весь помочь ему свет,
Но на свет не намерен он выглянуть, нет!

В грубой ткани бродя, не желая атласа,
Ежедневно постясь, не вкушает он мяса,

И на целые сутки довольно ему
Только горстки муки. Больше пици — к чему?

Только госпуду служба Сократу знакома.
Для людей у Сократа не будет приема.

Знать, решил он: «Души суетой не займи!»
Не ему ль подражая, живет Низами?

Так твердили о том, чья высокая вера
Больше прежнего к старцу влекла Искендера.

Так вот люди всегда: не забудут они
Пожелавших забыть их докучные дни.

К тем, что мира бегут в беспрестанной боязни,
Люди часто полны все растущей приязни.

Лишь покинул Сократ человеческий род,—
Стал Сократа искать ионийский народ.

Все хотел государь быть с премудрым Сократом.
Все не шел во дворец ставший звездам собратом.

Хоть желанье царя все росло и росло,
Был упорен добро распознавший и зло.

Но хоть долго к царю не являл он участия,
Верил царь Искендер в свет всегдашнего счастья.

Из придворных людей, окружающих трон,
Выбрал милого сердцу наперсника он

И послал к мудрецу со словами своими,
Чтоб Сократа потайно порадовать ими.

Вот слова государя: «Не с давних ли пор
Я желаю с тобою вести разговор?»

Почему же, скажи, ты всегда непреклонен
И не внемлешь тому, кто к тебе благосклонен?

Что ж ты в бедном углу мой отринул чертог?
Дай ответ, чтоб я сердцем постичь его смог.

Правоты своей выскажи веское слово,
Дабы в прежней нужде не остался ты снова».

И к Сократу пошел с тайной речью гонец,
И слова государя прослушал мудрец.

И в сознаниях своих слывший в Греции дивом,
Так промолвить в ответ он почел справедливым:

«Хоть призыв государя почетен вполне,
Но худое и доброе явственно мне.

«Не иди — я рассудка внимаю совету —

В царском сердце любви не отыщешь примету».

Я вещание разума в явь претворил.

Ни к кому для забавы не шел Гавриил.

Я пошел бы к царю вне испытанных правил,

Но ведь весть без ключа он в приют мой направил.

Если мускус в мешочке, как водится, сжат,

Нам вещает о скрытом его аромат.

Сердце — пастырь любви, кроме дружеской речи

И Другое таит, если ждет оно встречи.

Если верное сердце любовью полно,

То учтивей учтивости будет оно.

Те, кто близки царю и пируют с ним рядом,

На кого государь смотрит ласковым взглядом,

На меня мечут взоров недобрый огонь,

Потому-то и стал мой прихрамывать конь.

Видно, царь на пирах под сверкающим кровом

Никогда не почтил меня благостным словом.

Потому что для многих, что близки царю,
В мире светочем радостным я не горю.

Знаю: сердцу царя ясно видимы люди,
Но оно вифит в них только праведных судей.

Коль приветна к тебе речь придворных вельмож,
И Владыке ты будешь казаться пригож.

Коль к тебе речь придворных враждебна сугубо,
То с тобой и Владыка обходится грубо.

Если свод без ущерба, то будут ясны
И пленительны отзвуки каждой струны.

Если в своде ущерб, — свод ответит неверно,
И звучать будет лад самый ласковый скверно.

Зло и правда — все то, что мы видим в пути,
К Властелину дворца призывает идти.

Но вельможи твои с важным саном и с весом
Не допустят Сократа к пурпурным завесам.

Посуди, государь: в этой буре морской
Как же мне поспешать в твой дворцовый покой?

Море вспомнил я тотчас: простор его дружен
С драгоценною россыпью скрытых жемчужин,

На которые когти направил дракон.
Кто к жемчужинам ринется? Яростен он.

Как я к свету пойду, к свету царской короны?
Ведь вокруг меня будут они «пошёлвоны».

Все они, пред царем искажая мой лик,
Вред наносят себе, и ущерб их велик.

Царь! О людях забыл, об укорё их строгом
Раб, стоящий в служенье пред господом богом.

И в служении этом — наставник я твой.
Во дворце же твоим стану робким слугой.

Посуди, государь, к мыслям чистым причисли
Правоту этой свыше ниспосланной мысли».

И посланец, к царю возвратившись едва,

Наизусть повторил золотые слова.

Сняв с жемчужин покров — где им сыщется мера? — Наполнять стал он ими полу Искендера.

Но на россыпь сокровищ, безвестную встарь,

На метанья жемчужин обиделся царь.

Захотел он всем этим разящим укорам

Дать отпор. Устремлялся к разумным он спорам.

Молвил царь: «Он доволен жилищем в тиши.

Что ж, пойдем и его мы отыщем в тиши».

И нашел дивный клад он в приюте убогом, —

В том, где горстка муки говорила о многом.

Спал, забывший мирское, не знавший утрат,

На земле, скрывшись в тень, безмятежный Сократ.

Царь, немного сердясь, мудреца, что покою

Предался, — пробудил, тихо тронув ногою.

«Встань, — он молвил, — поладить хочу я с тобой,

Чтобы стал ты богат и доволен судьбой».

Рассмеялся мудрец от надменного слова:

«Лучше б ты поискал человека другого.

Тот, кто счастлив крупинкой, — скажу я в ответ, —

Вкруг тебя, словно жернов, не кружится. Нет!

Мне лепешка ячменная — друг неизменный.

Что ж стремиться мне к булке пшеничной, отменной?

Без единого шел я по свету зерна.

Мне легко. Мой амбар! В нем ведь нету зерна!

Мне соломинка в тягость, — к чему же мне время

То, когда мне вручат непомерное бремя!»

Вновь сказал Повелитель: «Взалкавший добра!

Ты хотел бы чинов, жемчугов, серебра?»

Молвил мудрый «Не сходны желания наши.

Нам с тобой не вздымать дружелюбные чаши.

Я богаче тебя, подвиг светлый верша.

Я — в посту, а твоя ненасытна душа.

Целый мир присылает тебе обольщенья,
Все ж ты нового ждешь от него угощенья.

Мне же в холод и в зной это рубище, царь,
Так же служит сейчас, как служило и встарь.

Ты несешь бремена, но исполнен пыланья,
Для чего же мои хочешь ведать желанья?»

И сказал Искендер, что-то в мыслях тая:
«Ты скажи мне, кто ты, и скажи мне, кто я?»

Отвечал мудрых слов н познания хранитель:
«Я — дающий веленья, а ты — исполнитель».

И вскипел государь. Сколько дерзостных слов!
Стал искать Искендер их укрытых основ.

И промолвил премудрый, по слову поверий:
«Пред венчанным раскрою закрытые двери.

Я рабом обладаю. Зову его — страсть.
Крепнет в сердце моем над служителем власть.

Перед этим рабом ты склонился, о славный!

Пред слугою моим ты — служитель бесправный».

Царь, проникший в слова, обнажившие зло,

Помутился, в стыде опуская чело,

После вымолвил так: «Не чело ль мое светом Говорит, что служу я лишь чистым заветам.

Чистый чистых укором не трогай. Внемли:

Не уснувши навеки, не пробуй земли».

Серебром был ответ с неприкрытою сутью:

«Ты ушей не зальешь оглушающей ртутью.

Если разум твой чист, если мысли чисты,

Для чего стал животному родственен ты?

Лишь оно в быстром стаде, без гнева и злобы

Разбудить человека ногою могло бы.

Ведь нельзя же мыслителя сон дорогой

Прерывать, о разумный, небрежной ногой!

Тем разгневался ты, что я в дремной истоме,

Но ведь сам, государь, ты находишься в дрёме.

Правом барса владея, напрасно готов

Ты в дремоте бросаться на бдительных львов.

Где-то мчится, тебя привлекая, добыча.

Но ведь я, о стрелок, не такая добыча».

Речь Сократа провеяла, жаром дыша.

Стала воску подобна Владыки душа.

Хорошо не закрыть пред наставником слуха,

Чтоб Сакрот вдел кольцо в его царское ухо!

И к себе мудреца смог он речью привлечь.

И приязненной стала подвижника речь.

Из возвышенных мыслей, премудрым любезных,

Он явил целый ряд Искендеру полезных:

«Ты ведь создал железное зеркало. В нем

Отразился твой ум светозарным огнем;

Ты и душу свою мог бы сделать прекрасной,

Словно зеркало чистой, как зеркало ясной,

Если встарь сотворил ты железную гладь,

Чтобы в ней, нержавеющей, все отражать, —

С сердца ржавчину счисть, и в пути ему милом
Повлечется оно лишь к возвышенным силам.

Очернив свои злобные замыслы, ты

Мигом сердце очистишь от злой черноты.

Ад всем замыслам черным — пособник нелживый.

Но ведь зиндж, государь, продавец несчастливый.

Черным зинджем не стань. Позабыть бы их всех!

Только помни, о царь, их сверкающий смех.

Если черным ты стал, ты сгори, словно ива;

Ею зиндж побелил свои зубы на диво.

Некий черный в железо посмотрится, но

Там сверкнет его сердце. Так чисто оно!

Древний молвил водитель: да ведает всякий, — Животворный ручей протекает во мраке.

Грязь покинь, чтоб очиститься, как серебро.

У него поучись, если любишь добро.

Если ум ты очистишь, не дашь его сквернам,

Он потайного станет хранителем верным,

Он молитве предутренной келью найдет,

Он, пронзив небосвод, свой продолжит полет.

Хоть завесу ты можешь убрать от оконца,

Свет, идущий в оконце, зависит от солнца.

Знай: светильника свет подаяньем живет,

Устремляясь к нему, ветер пламень убьет.

Ты носи паланкин, полный солнечным светом,

И любовь на любовь твою будет ответом.

От колючек и сора очистивши вход,

Жди царя. Кто же дерзко его позовет?

На охоту он выедет и по дороге

Чистоту на твоём он увидит пороге.

И, поняв, что он гость, в твой захавший край,

Ты неожиданному гостю хвалы воздавай.

И, запомнив: смиренье всего нам дороже,—

Ты венца не проси и покорности тоже.

Будь лишь духом на пире, не знающем зла.

На него не пускает привратник тела.

Обувь пыльную скинь; ты ходил в ней дотолле

По земле. Ты воссядешь на царском престоле.

Сотрапезник царя, распротившийся с тьмой!

Ногти хною укрась и ладони омой.

Коль сидеть близ царя станет нашим уделом,

Самый смелый из нас мигом станет несмелым.

Для престола царя даже яростный лев

Стал опорой, от страха навек замерев.

Кто вошел бы к тебе не по должному чину,

Получил бы удар от привратника в спину.

Но взгляни! Пред тобою нездешний престол!

С бедным сердцем людским ты к нему подошел.

Если к этому, царь, подошел ты престолу,
Стань рабом, опусти свою голову долу.

Если ж нет, — ну так что ж! Ты — владыка царей.
Что за дело тебе до собак сторожей!

Не сердись, если я по горячему нраву
Был неласков с тобою, не вознес тебе славу.

Стало сердце мое горячее огня,
И, чтоб небо проведать, ушло от меня.

Но вернулось оно из-под блещущих арок,
И гостинец его дал тебе я в подарок».

Смолк премудрый, окончивши слово. Горя,
Это слово дышало в душе у царя.

Словно солнце светя, с озарившимся ликом
Царь на пир возвратился в волнение великом.

И все мысли, что высказал нищий мудрец,
Записал чистым золотом лучший писец.

ДОСТИЖЕНИЕ ИСКАНДЕРОМ
ПРОРОЧЕСКОГО САНА

Музыкант, звоном руда на ясной заре
Наполняй эту песню о древнем царе!

Пробуди во мне радость раздавшимся пенъем,
От всего, что запретно, плени отстраненьем.

* * *

Геометр и мудрец, теща душу мою,
Вновь историю Рума призвал к бытию:

Искендер, должный путь указавший светилам, Предававшийся счастья неведомым силам.

В изученье наук стал велик и могуч.
И вручил ему разум познания ключ.

Осветил он все то, что во тьме пребывало,
И крепчайших узлов он распутал немало.

В знанье тайных наук, размыкающих тьму,
В мире не было мыслящих, равных ему.

Все постигнув науки сполна, без изъяна,
С многомудрыми Рума и также Юнана,

Отстранял он рукой каждый звездный чертеж,
Ибо каждый из них был с искомым не схож.

Укрепив свой престол, от престола порога
Он поднялся к престолу всевышнего бога.

О создание миров не твердя ничего,
Стал искать он создателя, — только его.

С лика тайны, в своих устремлениях рьяных,
Семь старался он скинуть покровов сурьмяных,

Чтобы правду узреть, тайны сбросить печать,
Чтобы все недоступное в пальцах зажать.

Он не спал по ночам. Ночь вздымала светила,
И однажды звезда его тьму озарила.

Повеленьем творца, вестник пламенных душ,
Пред царем вдохновенным явился Суруш.

Сей гонец, полный света благого порыва,

Что не схож с ложным блеском прельстителя-дива,

Самоцвету, в сиянье раскинутых крыл,

Откровенье создателя тайно открыл:

«Слов приветных тебе, о служитель отменный,

Больше моря и гор шлет властитель вселенной.

Он издревле тебе власть над миром предрек,

Но отныне, он молвил, ты — новый пророк.

Всем тебя одаряет его повеленье.

Так послушай владыки всего повеленье:

«В свой покой беспокойство внеси. По пути

Беспокойному должен ты ныне идти.

Обойди вокруг земли, как небесная сфера.

Должен в диких любовь вызвать свет Искендера.

Призывай все народы склониться к тому,

Кто светил светом счастья пути твоему.

Древний свод возведи. Все развеяв туманы,

Отклони от неведенья темные страны.

Не позволяй, чтоб в миру демон властвовал зло.

Всем скажи: «Рвенье к богу мое возросло».

Сделай так, чтоб душой задремавших не стало.

С лика разума светлого сбрось покрывало.

Ты — ключарь милосердия бога. Внемли:

Ты — посол к обездоленным людям земли.

Обогни целый мир ты скитальчества кругом,

Чтобы миру предстать исцеляющим другом.

Царство мира земного ты в битвах добыл.

К царству мира иного направь же свой пыл.

Сил своих не жалея: станет узкой дорога.

Жди душой одного: одобрения бога.

Ты имеющих душу всем сердцем прощай.

Не имеющим душу возмездье вещай.

Коль живой вредоносен, то ты без боязни

Иль закуй его, иль присуди его к казни».

Молвил царь: «Коль велит мне небес приговор,
Чтоб за этой оградой разбил я шатер,

На Восток и на Запад найду я дорогу,
Выбью хмель из голов, не внимающих богу.

Но в далеких пределах, внушающих страх,
Как смогу я вещать на чужих языках?

Как смогу понимать я чужие народы?
И другие в пути я предвижу невзгоды.

Вот одна: я боюсь, что в песках иль в горах
Пред врагами охрана почувствует страх.

Вот еще: многих стран я не видел доньше.
Как войска проведу и в горах и в пустыне?

Сколько в мире людей! Их за роями рой.
Как для каждого злобного стать мне грозой?

Как поверят в меня ослепленные души?
Что услышат безумцы, замкнувшие уши?

На чужбине, скажи, для слепых и глухих,

Где мне снадобье взять? Как мне вылечить их?

Добиваясь пророчества небу в угоду,
Чем свой сан подтвердить я сумею народу?

Только ль словом иль силой великих чудес
Докажу я взирающим волю небес?

Дай мне строгий закон и незыблемость правил
Для пути, на который меня ты направил.

Много мудрых, кичась жемчугами речей, Полновластный призыв не услышат ничей.

Как же их вразумить? Что мне делать отныне,
Чтоб кичливых смирить в их безмерной гордыне?»

Горный ангел, явивший божественный свет,
Повелителю мира промолвил в ответ:

«Ты четыре предела, простершихся в мире,
Занял царством своим. Царства не было шире.

Есть народ в скудных ширях Заката. Свой лик
Он от бога отвел. Он зовется насик.

Есть народ, словно ангел, в пределах Востока.

То — мансак. Он — отрада господнего ока.

Есть на юге народ, словно море. Храним

Он создателем. Властвовал Авель над ним.

И народ, что на севере, так же бескраен.

Древний род его чти: его праотец — Каин.

И когда ты в дорогу направишь коня,

И везде твоих войск засверкает броня,

От насика к мансаку, покой отмечая,

И от Авеля к Каину, путь обретая, —

Просветишь ты народы, а верящих в ложь

И тебе непокорных, как прах разметешь.

Ты могуч. Пред тобою все будут в ответе.

Не захватит никто твое место на свете.

Ты ночной самоцвет, ты звезда, ты гори.

Ты всю мглу озаришь, словно свет Муштари.

Чтобы всюду, куда ни бросал бы ты взоры,

Где сокровищ благих ни вскрывал бы затворы,

Сделай так: устремляясь к счастливой звезде, Помолись властелину небес. И везде,

Где бы ни был, в злосчастных краях иль в счастливых,

Прибегай ты к царю всех царей справедливых.

На тебя никакая не грянет беда.

И войскам твоим славным не будет вреда.

Коль ты хочешь, чтоб войску предшествовал кто-то, Коль о тыле в тебе родилась бы забота,

То узнай и покорствуй счастливой судьбе:

Мрак и свет будут всюду подвластны тебе.

Будет свет впереди, мрак расстелется дымом

Позади. Будешь видеть и будешь незримым.

Кто твоим повеленьям не вымолвит «нет»,

Ты того облачи в свой сияющий свет,

Кто же встретит указ твой усмешкою злою,

Ты окутай того беспросветною мглою,

Ты его в тот же час мраком тяжким одень,

Чтоб исчез он от взоров, как смутная тень.

И ведя, — это ведай, — браздами играя,
Всепоходное войско от края до края,

И услышав народов неведомых речь
И желая к себе их словами привлечь, —

Ты поймешь, вдохновенный, любое реченье.
Каждых слов для тебя будет ясно значение.

Внемли всем языкам, царь подлунных царей!
Речь нигде пред тобой не закроет дверей.

По-румийски вещай. Все, вещанью внимая,
Толмачей отстранят, все без них понимая.

Этих дивных явлений пройдя череду,
Ты добро обретишь, а противник — беду».

И когда Искендер — он поверил не сразу
В изволение небес — внял Суруша приказу,

Он постиг, что пред небом и мал он и слаб, —
И веленье небес принял царственный раб.

Снаряжаться он стал, вняв благому Сурушу.

Лишь одним этим делом заполнил он душу.

Все забыл он, лишь помнил божественный глас

И дорожный вседневно готовил припас.

Но, узнав повеление выйти в дорогу

И предвидя в путях всеблагого помогу,

У премудрых, которым от бога дана

Прозорливость, душа у которых ясна,

Все ж просил он советов. Искал он беседы,

Чтоб суметь на пути все осиливать беды.

Кроме «Книги Великой», к которой прильнуть

Захотел он, чтобы знать сокровенного суть,

Три завета писцы, благодарные богу,

Начертали по шелку царю на дорогу.

Аристотеля твердое знанье цвело

В первом свитке. Добро раскрывал он и зло.

Во втором вся премудрость Платона гласила
О науках, в которых великая сила.

Третий лист был Сократом составлен в тиши
О предметах, отрадных для нашей души.

И когда были кончены три этих свитка,
Полных блеска и мыслей благих преизбытка,

Государь их согнул, к ним печатью прильнул
И в единственный свиток три свитка свернул,

Чтобы где-то, с Юнаном изведав разлуку,
В должный час протянуть к ним уверенно руку,

Чтоб их вновь развернуть, чтобы в дальнем пути
В каждом свитке отдельном опору найти,

А когда б его разум не справился с делом,
Вопросить всеблагого умом неумелым.

Утром занял, надев бирюзовый венец,
Трон из кости слоновой державный мудрец.

И велел он везиру явиться с каламом,

Самым острым и твердым, отточенным самым,

Для писанья приказа, в который бы он

Все уменье вложил, чтоб рассудка закон

Все развил бы с таким убедительным толком,

Что ягнята в лугах рядом были бы с волком.

Из чертога царя, покорившего мир,

Воспринявший приказ, тотчас вышел везир.

Он вожатым премудрости сделался снова,

Чтоб извлечь из пучины жемчужины слова.

Заострил он калам и склонил он свой лик.

Был калам тростниковый, — и сахар возник.

ПРИБЫТИЕ ИСКЕНДЕРА
В БЛАГОДАТНЫЙ ГОРОД

Благодатной звезды стало явно пыланье.

Царь направился в путь, в нем горело желанье

Видеть город в пределах безвестной земли.

Все искали его, но его не нашли.

И завесы пурпурные ставки царевой

Повлекли на верблюдах по местности новой.

Целый месяц прошел, как построили вал,

И в горах и в степях царь с войсками сновал.

И открылся им дол, сладким веющий зовом, Обновляющий души зеленым покровом.

Царь глазами сказал приближенным: «Идти

В путь дальнейший, — к подарку благого пути!»

И порядок, минуя и рощи и пашни,

Встретил он, и покой, — здесь, как видно, всегдашний:

Вся дорога в садах, но оград не найти.

Сколько стад! Пастухов же у стад не найти.

Сердце царского стража плода захотело.

К отягченным ветвям потянулся он смело

И к плоду был готов прикоснуться, но вдруг

Он в сухотке поник, словно согнутый лук.

Вскоре всадник овцу изловил и отменно
Был наказан: горячку схватил он мгновенно.

Понял царь назиданье страны. Ни к чему
Не притронулся сам и сказал своему

Устрашенному воинству: «Будут не рады
Не отведшие рук от садов без ограды!»

И, помчавшись, лугов миновал он простор
И сады и ручьев прихотливый узор.

И увидел он город прекрасного края,
Изобильный, красивый, — подобие рая.

К въезду в город приблизился царь. Никаких
Не нашел он ворот, даже признака их.

Был незапертый въезд, как распахнутый ворот,
И со старцами царь тихо двинулся в город.

Он увидел нарядные лавки; замков
Не висело на них: знать, обычай таков!

Горожане любезно, с улыбкой привета

Чинно вышли навстречу Властителю света.

И введен был скиталец, носивший венец,
В необъятный, как небо, лазурный дворец.

Пышный стол горожане накрыли и встали
Пред столом, на котором сосуды блистали.

Угощали они Искендера с мольбой,
Чтоб от них он потребовал снеди любой.

Принял царь угощенье. На светлые лица
Он взирал: хороша сих людей вереница!

Молвил царь: «Ваше мужество, — странно оно.

Почему осторожности вам не дано?

Сколько видел я ваших домов, на которых
Нет замков! Позабыли вы все о затворах.

Столько дивных садов, но они без оград!
И без пастырей столько кочующих стад!

Сотни тысяч овец на равнине отлогой
И в горах! Но людей не встречал я дорогой.

Где защитники ваши? Они каковы?

На какую охрану надеетесь вы?»

И страны справедливой старейшины снова

Искендеру всего пожелали благого:

«Ты увенчан творцом. Пусть великий творец

Даст властителю счастье, как дал он венец!

Ты, ведомый всевышним, скитаясь по странам,

Имя царское славь правосудья чеканом.

Ты спросил о добре и о зле. Обо всем

Ты узнаешь. Послушай, как все мы живем.

Скажем правду одну. Для неправды мы немы.

Мы, вот эти места заселившие, все мы, —

Незлобивый народ. Мы верны небесам.

Что мы служим лишь правде, увидишь ты сам.

Не звучат наши речи фальшивым напевом.

Здесь неверность, о царь, отклоняется с гневом,

Мы закрыли на ключ криводушия дверь,
Нашей правдою мир одолели. Поверь,

Лжи не скажем вовек. Даже в сумраке дремы Неправдивые сны нам, о царь, незнакомы.

Мы не просим того, что излишне для нас.
Этих просьб не доходит к всевышнему глас.

Шлет господь нам все то, что всем нам на потребу.
А вражда, государь, нежелательна небу.

«Что господь сотворил, то угодно ему.
Неприятни питать не хотим ни к кому.

Помогая друзьям, всеблаговому в угоду,
Мы свою, не скорбя, переносим невзгоду.

Если кто-то из нас в недостатке большом
Или в малом и если мы знаем о том,

Всем поделимся с ним. Мы считаем законом,
Чтоб никто и ни в чем не знаком был с уроном.

Мы имуществом нашим друг другу равны.
Равномерно богатства всем нам вручены,

В этой жизни мы все одинаково значим,
И у нас не смеются над чьим-либо плачем.

Мы не знаем воров; нам охрана в горах
Не нужна. Перед чем нам испытывать страх?

Не пойдет на грабеж нашей местности житель,
Ниоткуда в наш край не проникнет грабитель,

Не в чести ни замки, ни засовы у нас,
Без охраны быки и коровы у нас.

Львы и волки не трогают вольное стадо,
И хранят небеса наше каждое чадо.

Если волк покусится на нашу овцу,
То придет его жизнь в миг единый к концу.

А сорвавшего колос рукою бесчестной
Достигает стрела из засады безвестной.

Сеем мы семена в должный день, в должный час
И вверяем их небу, кормящему нас.

Что ж нам делать затем? В этом нету вопроса.

В дни страды ячменя будет много и проса:

С дня посева полгода минует, и, знай,
Сам-семьсот со всего мы сберем урожай,

И одно ль мы посеем зерно или много,
Но, посеяв, надеемся только на бога.

Наш хранитель — господь, нас воздвигший из тьмы, Уповаем лишь только на господа мы.

Не научены мы, о великий, злословью.

Мы прощаем людей, к ним приходим с любовью,

Коль не справится кто-либо с делом своим,
Мы советов благих от него не таим.

Не укажем дорог мы сомнительных людям.

Нет смутьянов у нас, крови лить мы не будем.

Делит горе друг с другом вся наша семья.

Мы и в радости каждой — друг другу друзья.

Серебра мы не ценим и золота — тоже.

Здесь они не в ходу и песка не дороже.

Всех спеша накормить — всем ведь пища нужна, —

Мы мечом не попросим пригоршни зерна.

Мы зверей не страшим, как иные, и чтобы

Их разить, в нашем сердце не сыщется злобы.

Серн, онагров, газелей сюда иногда

Мы из степи берем, если в этом нужда.

Но пускай разной дичи уловится много,

Лишь потребная дичь отбирается строго,

А ненужную тварь отпускаем. Она

Снова бродит в степи, безмятежна, вольна.

Угождения чреву не чтя никакого,

Мы не против напитков, не против жаркого.

Надо есть за столом, но не досыта есть.

Этот навык у всех в нашем городе есть.

Юный здесь не умрет. Нет здесь этой невзгоды.

Здесь умрет лишь проживший несчетные годы.

Слез над мертвым не лить — наш всегдашний завет. Ведь от смертного дня в мире снадобья нет.

Мы не скажем в лицо неправдивого слова.

За спиной ничего мы не скажем иного.

Мы скромны, мы чужих не касаемся дел.

Не шумим, если кто-либо лишнее съел.

Мы и зло и добро принимаем не споря:

Предначертаны дни и веселья я горя.

И про дар от небес, про добро и про зло

Мы не спросим: «Что это? Откуда пришло?»

Из пришельцев, о царь, тот останется с нами,

Кто воздержан, кто полон лишь чистыми снами.

Если наш он отринет разумный закон,

То из нашей семьи будет выведен он».

Увидав этот путь благодатный и правый,

В удивленье застыл Искендер величавый.

Лучших слов не слышал царь земель и морей.

Не читал сказов лучших он в «Книге царей».

И душе своей молвил венец мирозданья:

«Эти тайны приму, как слова назиданья!

Полно рыскать в миру. Мудрецам не с руки

Лишь ловитвой гореть, всюду ставить силки.

Не довольно ль добыч? От соблазнов свободу

Получил я, внимая благому народу.

В мире благо живет. Ты о благе радей.

К миру благо идет лишь от этих людей.

Озарился весь мир перед нами — рабами,

Стали мира они золотыми столпами.

Если правы они, ложь свою ты пойми!

Если люди они, нам ли зваться людьми?

Для того лишь прошел я по целому свету,

Чтоб войти напоследок в долину вот эту!

О, звериный мой нрав! Был я в пламени весь.

Научусь ли тому, что увидел я здесь?!

Если б ведать я мог о народе прекрасном,
Не кружил бы по миру в стремленье напрасном.

Я приют свой нашел бы в расщелине гор,
Лишь к творцу устремлял бы я пламенный взор,

Сей страны мудрецов я проникся бы нравом,
Я бы мирно дышал в помышлении правом».

Умудренных людей встретив праведный стан,
Искендер позабыл свой пророческий сан.

И, узрев, что о нем велика их забота,
Им даров преподнес он без меры и счета.

И оставил он город прекрасный. Опять
Дал приказ он по войску в поход выступать.

Шелк румийских знамен, весен сладостных краше, Запестрел, словно шелк, изготовленный в Ваше.

Потекло по стране, как течет саранча,
Войско Рума, в шелка всю страну облача.

И скакал Искендер через рощи и чащи
И несчастных людей отвращал от несчастий.

СТРАНСТВОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

К РУМУ И НЕДУГ ИСКЕНДЕРА

О певец, заклинаньем не будешь ли рад
Ключ создать к жемчугам, вскрыть сверкающий клад?

Если ключ раздобудешь ты радостно, верю,
Россыпь жемчуга встретишь за этою дверью.

* * *

Время зрелых плодов наступило, и вот,
Свой покинув приют, вышел в сад садовод.

Вся земля, богатея, прельщала садами.
Все сады разделись, блистая плодами.

Засмеялись, раскрывшись, фисташки уста.
Финик тянется к ним. А вблизи красота

Огневого граната: прельститительно алы

Блещут в венчике вскрывшемся влажные лалы,

В щечке яблока ярких цветов перелив,
Серебристый терендж прихотлив, горделив.

В эти оба плода их обвившие лозы
Влюблены и полны буйной, пьяной угрозы.

О гранаты! Пришли и в айванах блистать
Чаровницы, чьи груди гранатам под стать.

Наступила пора стать янтарным инжиру,
И слетаются птахи к роскошному пиру.

Пожелала миндального масла земля.
И миндаль расколола, его оголя.

Огневая уннаб, заслонясь кустами,
Уст лишенный орешек лобзает устами.

Иль сады новобрачных встречают? Гляди:
Град из ягод, за ним — из орешков дожди.

Виноград в черной шапке. От грусти далек он:
Он в хмелю, он вокруг пальца обвил черный локон.

Тыква к руду готова. Найду ли слова

Рассказать, как на грушу напала айва!

Гроздьев, сладкие вина дающих, корзины

В тяжкий пот повергают несущих корзины.

Давят гроздья. Веселый разносится шум.

Из давилини течет сок живительный в хум.

Плачет глиняный хум, в горле хум а бурление,

Но дает ему сок, сладкий сок уголение.

* * *

В дни, когда по садам эти пиршества шли,

Искендер стал далек пированью земли.

Степи, дали и воды и горные гряды

Проходя, Искендер вел румийцев отряды.

И по миру идя, вывел многих людей

Он войною и миром из тесных путей.

Но когда светлой жизни исчерпал он меру,
Так же тесен стал путь и ему, Искендеру.

В дверь вошедший для жизни, — увидишь, поверь,
И вторую, для всех неизбежную дверь.

Смертный мир протянулся простором широким,
Но идешь по нему ты под небом высоким.

И царю многозвездная молвила высь:
«Ты о царстве своем, Искендер, не пекись!

Всю ты землю прошел. Снова двинься к началу. Возвратиться ты к первому должен привалу.

О тебе пять речений записанных есть
В вещем свитке. Прими их потайную весть.

Уж пять раз гроыхал ты своим барабаном,
Мчась по яростным водам, скитаясь по странам.

Ты омой свои руки от мира. Спешి.
Ты в пять месяцев к дому свой путь соверши.

Унеси свою душу к родному Юнану».
Отрезвел Искендер. В сердце чувствуя рану,

Внял он голосу, бросил поводья: не мог
Он коня погонять вдоль желанных дорог.

Всем достойным открыл он потайную думу,
И направил войска он к родимому Руму.

Степи, горы, моря, путь направивши вспять,
Искендер, отрезвленный, увидел опять.

С края света — в Кирман! Не раскинувши стана,
Из Кирмана дошел он до Кирманшахана.

И оттуда привел он войска в Вавилон,
И затем прямо к Руму направился он.

Но когда сн достиг Шахразура, в испуге
Были все: царь поник в непонятном недуге.

Стал медлителен шаг боевого коня,
Он былого мгновенно лишился огня.

Человек рвался вдаль, все он жаждал дороги.
Где же Рум? Руки связаны, связаны ноги.

Царь подумал: «Быть может, здесь воды таят
Страшный вред». Он подумал — проник в него яд,

Страх отравы — увы! — расплавлял его тело,
И лекарство помочь ни одно не хотело.

О-двуконь он посланца направил в Юнан,
Чтоб дестура призвать в свой встревоженный стан.

Он писал: «Поспеши, Аристотель! Быть может,
Мы увидимся. Рок мне, быть может, поможет.

Каждый врач должен быть в путь негаданный взят.
Сто врачей привези, даже сто пятьдесят».

И когда был посланец в беседе с дестура,
Стал дестур озабоченным, горестным, хмурым.

Он не видел надежды, не мог он найти
К исцеленью царя никакого пути.

И пришло много мудрых на вызов дестура,
И с дестуром достигли они Шахразура.

И с пути Аристотель под царскую сень
Поспешил, — поспешил не в указанный день.

Царь лежал на земле. Он, раскинувши руки, Изнуренный, терпел безысходные муки.

Преклонился дестур. Муки страшные зря,
Он коснулся устами ладони царя.

Взял он руку царя, сердца слушал биенье
И, казалось, недуга нашел объяснение.

Приготовить велел он целебный состав
Из давно им испытанных зерен и трав.

И живая вода не поможет нимало,
Если дню расставания время настало.

Муки царской души в путь помчались такой,
Что ничто б не вернуло скитальцу покой.

Все, что взял на хранение он в прошлом от мира,
Он вернул. Что венец! Что престол и порфира!

Расплавлял его мир в неизбежном котле,
Чтоб он все позабыл, чтоб забыл о земле.

Царь, прошедший весь мир, все обретший в избытке,

Для ухода в ничто стал готовить пожитки.

Царь, что сахар бывал иль свеча на пиру,

Царь, что сахар иль воск, ныне таял в жару.

Бурный ветер подул; загашая лампаду,

Много сорванных листьев повлек он по саду,

Молодой кипарис он сломить поспешил,

И фазана весеннего крыльев лишил,

Полыхавшие розы внезапно с размаху

Он сорвал и развеял по желтому праху.

Искендер, на луну возлагавший седло,

Изнемог. На подушку склонил он чело.

ЗАКЛИНАНИЕ, ОБРАЩЕННОЕ К МАТЕРИ,

И СМЕРТЬ ИСКЕНДЕРА

Музыкант, вновь настрой свой рокочущий руд!

Пусть нам явит ушедших твой сладостный труд.

Запевай! Посмотри, я исполнен мученья.

Может статься, усну я под рокоты пеня.

* * *

Если в утренний сад злой нагрянет мороз,

Опадут лепестки чуть раскрывшихся роз.

Как от смерти спастись? Что от смерти поможет?

Двери смерти закрыть самый мудрый не сможет.

Лишь смертельный нагрянет на смертного жар,

Вмиг оставит врачей их целительный дар.

Ночь скончалась. Вся высь ясной стала и синей,

Солнце встало смеясь. Плакал горестно иней.

Царь сильнее стонал, чем в минувшую ночь.

Бубенцы... Отправленья нельзя превозмочь.

Аристотель премудрый, пытливый мыслитель,

Понимал, что и он — ненадежный целитель.

И, узнав, что царя к светлым дням не вернуть,

Что неведом к его исцелению путь,

Он промолвил царю: «О светильник! О чистый!

Всем царям льющий свет в этой области мгlistой!

Коль питомцы твои не сыскали пути,

Ты на милость питателя взор обрати.

Если б раньше, чем вал этот хлынет суровый,

Страшный суд к нам направил гремящие зовы!

Если б раньше, чем это прольется вино,

Было б нашим сердцам разорваться дано!

Каждый волос главы твоей ценен! Я плачу,

Волосок ты утратишь, я — душу утрачу.

Но в назначенный час огневого питья

Не минует никто, и ни ты и ни я.

Я не молвлю: «Испей неизбежную чашу!»

Ведь забудешь, испив, жизнь отрадную нашу.

И не молвлю: «Я чашу твою уберу».

Ведь не должен я спорить на царском пиру.

Злое горе! Лампада — всех истин основа —

От отсутствия масла угаснуть готова.

Но не бойся, что масла в лампаде уж нет.

В ней зажжется, быть может, негаданный свет».

Молвил царь: «Слов не надо. У близкой пучины

Я стою. Жизни нет. Ожидаю кончины.

Ведь не я закружил голубой небосвод,

И не я указал звездам огненным ход.

Я лишь капля воды, прах в пристанище малом,

И мужским сотворенный и женским началом.

Возвеличенный богом, вскормившим меня,

Столь могучим я стал, столь был полон огня,

Что все царства земли, все, что смертному зримо,

Стало силе моей так легко достижимо.

Но когда всем царям свой давал я покров,

Духом был я могуч, телом был я здоров.

Но недужен я стал. Эта плоть — пепелище,
И уйти принужден я в иное жилище.

Друг, тщеславья вином ты меня не пои.
Ключ живой далеко, тщетны речи твои.

Ты горящую душу спасешь ли от ада?
Лишь источникам рая была б она рада.

О спасенье моем помолись в тишине.
Снизойдет, может статься, создатель ко мне».

Солнце с гор совлекло всю свою позолоту,
И владыка царей погрузился в дремоту.

Ночь пришла. Что за ночь! Черный, страшный дракон!
Все дороги укрыл мраком тягостным он.

Только черную мир тотчас принял окраску.
Кто от злой этой мглы ждал бы помощь и ласку!

Звезды, молвивши всем: «На деяньях — запрет»,
Словно гвозди, забили желанный рассвет.

Небо-вор, месяц-страж злою схвачены мглою.

Вместе пали они в чан с густою смолою.

Мир был черен, как сажа, стонал он в тоске

И, казалось, висел на одном волоске.

Таял царь, словно месяц ущербный, который

Освещать уж не в силах земные просторы.

Вспомнил он материнскую ласку. Душа

Загрустила. Сказал он, глубоко дыша,

Чтоб дебир из румийцев, разумный, умелый,

За писаньем по шелку давно поседелый,

Окунул свой калам в сажу черную. Пусть

Он притушит посланьем сыновнюю грусть,

Явит клятвы высокие, явит и стройный,

Чистый слог, слуха матери царской достойный!

Мать! Всем сердцем истаять она не должна!

Пусть бесплодных рыданий не знает она!

И дебир, исполняя царево желанье,

Мир затмил пред очами читавших посланье.

Расщепил он умело добротный тростник,
И лазурь он прорвал и к созвездьям проник.

В лист упругий вошел благовонный напиток.
Стал душистым атласом насыщенный свиток.

Тонких образов круг! Им не видно конца!
Потемнело от блеска в глазах у писца.

Восхваливши того, чье безмерно творенье,
Восхваливши взирающим давшего зренье,

Восхваливши того, кто над миром один»
Кто для всех судия, кто- всему — господин,

Стал писец рисовать на шелку серебристом.
Так он слогом блеснул нужным, найденным, чистым

«Пишет царь Искендер матерям четверем,
А не только одной: мир — в обличье твоём.

Убежавшей струи не поймать в ее беге,
Но разбитый кувшин остается на бреге.

Хоть уж яблоко красное пало, — причин
Нет к тому, чтобы желтый упал апельсин.

Хоть согнет ветер яростно желтую розу,
Роза красная ветра отвергнет угрозу.

Я слова говорю, о любимая мать!
Но не им — только сердцу должна ты внимать.

Попечалься немного, проведая, что ало
Пламеневшего цвета на свете не стало.

Если все же взгрустнешь ты ночью порой,
Ты горящую рану ладонью прикрой.

Да подаст тебе долгие годы создатель!
Все стерпи! Унесет все невзгоды создатель.

Я твоим заклинаю тебя молоком
И своим, на руках твоих, утренним сном,

Скорбью матери старой, согбенной, унылой,
Наклоненной над свежей сыновней могилой,

Сердцем смертных, что к праведной вере пришли,
Повелителем солнца и звезд и земли.

Сонмом чистых пророков, живущих в лазури,
Вознесенных просторов, не ведавших бури,

Сонмом пленных земли, сей покинувших край,
Для которых пристанищем сделался рай,

Животворной душой, жизнь творящей из тлена,
Созидателем душ, уводящим из плена,

Милосердных деяний живою волной,
Повеленьем, весь мир сотворившим земной,

Светлым именем тем, что над именем каждым,
Узорочьем созвездий, зажженным однажды,

Небесами семью, мощью огненных сил,
Предсказаньем семи самых светлых светил,

Знаньем чистого мужа, познавшего бога,
Чутким разумом тех, в чьем сознание — тревога,

Каждым светочем тем, что зажжен был умом,

Каждым сшитым людьми для даяний мешком,

Головой, озаренной сиянием счастья,

Той стопой, что спешит по дороге участия,

Многомудрых отшельников светлой душой,

Их всевидящим взором, их верой большой,

Ароматом смиренных, простых, благородных,

Добронравьем людей, от желаний свободных,

Добротою султана к больным, к беднякам,

Нищим радостным, словно властитель он сам,

Свежим веяньем утра, душистой прохладой,

Угощенья нежданного тихой усладой,

Позабывшими сон за молитвой ночной,

Слезы льющими, странствуя в холод и зной,

Стоном узников горьких в темнице глубокой,

Той лампадой михраба, что в выси далекой,

Всею нуждой в молоке истощавших детей,

Знаньем старцев о немощи старых костей,

Плачем горьких сирот, — тех сирот, у которых

Только скорбь, унижением странников хворых,

Тем скорбящим, что скорбью в пустыню гоним,

Тем, чьи ногти синеют от люто́сти зим,

Неусыпностью добрых, помощи дающих,

Долгой мукой несчастных, помощи не ждущих,

Тем страданьем, которое рушит покой,

Беспорочной любовью, блаженной тоской,

Воздержаньем отшельника, — мудрым, победным,

Каждым словом той книги, что названа «Честь».

Человечностью той, что у доблестных есть,

Тою болью, с которой о ранах не ропщем,

Тою раной, что лечат бальзамом необщим,

Тем терпеньем, что должен влюбленный иметь

Тяжким рабством попавшего в сладкую сеть,

Громким воплем безмерной, безвыходной муки

В дни, когда протянуть больше не к кому руки,

Правдой тех, чей пример благочестья высок,

Откровеньем, которое слышит пророк,

Неизбежной дорогой, великим вожатым,

Помогающим смертным, тревогой объатым,

Тою дверью, земли отстраняющей ложь, —

Той, которую ты вслед за мною уйдешь,

Невозможностью видеть мне лик твой незримый,

Невозможностью слышать твой голос любимый,

Всей любовью твоей, — да продлится она! —

Этой немощью, — всем да не снится она! —

Сотворившим и звезды, и воды, и сушу,

Давшим душу и вновь отнимающим душу, —

Развернув этот шелк в почивальне своей,

Ты не хмурь, о родимая, черных бровей,

Не грусти, не надень похоронной одежды,

На удел бытия вскинь бестрепетно вежды,

Скрой рыданья свои, что сыновний венец,
Вспомни то, что и солнцу наступит конец.

Если был этот мир не для всех скоротечным,
Ты стеной и рыданьем рыдай бесконечным.

Но ведь не жил никто бесконечные дни.
Что ж рыдать! Всех усопших, о мать, вспомяни!

Если все ж поминальной предаться ты скорби
Пожелаешь, — ты стан свой в печали не горби,

А в обширном чертоге, где правил Хосрой,
С угощеньями царскими стол ты накрой.

И созвавши гостей во дворце озаренном,
Ты, пред яствами сидя, скажи приглашенным, —

Пусть вкушают все то, что на этом столе,
Те, у коих нет близких, лежащих в земле.

Ты взгляни: если есть все безгорестно стали,—
Обо мне, о родная, предайся печали,

Но увидев, что яства отвергли они, —
О лежащем в земле ты печаль отгони.

Обо мне не горюй, подошел я к пределу.
К своему возвращайся печальному делу.

Можно долго по жизни брести дорогой,
В должный срок все ж о камень споткнешься ногой.

Срок назначен для всех. Мать, подумай-ка строго:
Десять лет иль сто десять, — различья немного!

Мчусь я в восемь садов. Бестревожною будь!
Дверь к блаженству — с ключом и со светочем путь.

Почему не предаться мне радостной доле?
Почему не воссесть мне на вечном престоле?

Почему не стремиться мне к месту охот,
Где ни тучи, ни пыли, ни бед, ни невзгод?

Пусть, когда я уйду из прекрасного дома,
Будет всем, в нем оставшимся, грусть незнакома.

Пусть, когда мой Шебдиз, в звездной выси края

Поспешит, — мой привет к вам домчится, друзья!

Волей звезд я унесся из тесной ограды.

Быть свободным, как я, будьте, смертные, рады!»

Царь письмо запечатал и в милый свой край

Отослал, и забылся: направился в рай.

В ночь до самой зари все стонал он от боли,

Днем страдал венценосец все боле и боле.

Снова ночь. В черный саван простор облачен.

Небосвод — под попоною черною слон.

Солнце лик свой, укрытый за мрака краями,

Стало горестным стоном царапать ногтями.

Звезды ногти остригли в печали, — и мгла

В серебристых ногтях над землей потекла.

Царь свой лик опустил; царь склонился на локти,

И вдавила луна в лик свой горестный ногти.

Всю полночную мглу тканью сделать смогли

Чьи-то руки, и мгла скрыла плечи земли.

Яд смертельный, добытый из глотки Зенеба,
В горло месяца влили, не слушаясь неба.

Государь изменился; печалью томим,
Смертный час он увидел над ложем своим.

Кровь застыла в ногах, словно сдавленных гнетом,
От кипения крови покрылся он потом.

Смертный миг отобрал черноту его глаз.
Погасил его свет, наступал его час.

Изнемог он душой, и душа улетела:
Срок пришел для души, поспешавшей из тела,

С благодатной улыбкой, стремясь к забытью,
Возвратил он создателю душу свою.

Так легко он угас в тьме мучительной ночи,
Что сей миг пропустили взирающих очи.

Птица быстрая тотчас взлетела туда,
Где заметила свет неземного гнезда.

Много мудрых. Но мудростью даже бескрайной
Овладеть невозможно великою тайной.

Если знающий вник в суть неведомых дел,
Почему сам себе он помочь не сумел?

Царь покинул свой дом в мире темном и бурном
И престол свой поставил в пределе лазурном.

Много благ от него видел горестный свет,
Но обиду и зло дал ему он в ответ.

Уходя за завесу, овеянный славой,
Все ж он лютой земли суд изведаль неправый.

Хоть устал он душой, по дорогам спеша,
Новый путь обрета, торопилась душа.

Отовсюду, куда бы ни гнал он гнедого,
Слал он вести; текли они снова и снова.

Почему же, отправясь в безвестность, не смог
Хоть бы весть ан прислать с неизвестных дорог?

Да! Ушедшие вдаль из-под синего крова
Забывают все тропы звучащего слова.

Если б знать нам о том, что укрыто от глаз,
О таимых путях мой поведал бы сказ.

Искендера цветок, достигавший лазури,
С древа царского пал от нежданной бури,

И царю из его золотых поясов
Колыбель смастерили. Атласный покров

Жемчугами сиял, все нутро колыбели
Камфарою, окутанной шелком, одели.

Мускус, масло из розы, алоэ — весь клад
Умщений, повеяв, обвил Арарат.

Надушил тонкий саван сокровищ хранитель,
И в гробу золотом был положен Властитель.

С серебром схожи руки и щеки и лоб...
Что им саван душистый и блестящий гроб?

Царь велел, уж предчувствуя с миром разлуку,
Вверх из гроба поднять его правую руку

И, вложив горстку праха в бессильный кулак, Возвещать, всем подав этот горестный знак:

«Царь семи областей! Царь пространства земного!

Царь! Единственный царь! Всех могуществ основа!

Все богатства стяжал сей прославленный шах,

Но в его кулаке ныне только лишь прах.

Так и вы, уходя, — звезды злы и упрямы! —

Горстку праха возьмете сей мусорной ямы!»

Шахразур покидая, царя унесли

От врагов в даль египетской мирной земли.

Там, в краю Искендера повержен был с трона

На тахтэ государь, — всех людей оборона.

Сколько муки у мира! Тяжел его гнет.

Кто в молитве спокойно колена согнет?

Невдали от айвана палаты престольной

Смертный трон схоронили в земле безглагольной.

Этот мир! Быть не может он в дружбе с людьми.

Ласки в нем не найдешь, — это с грустью пойми.

И, покинув царя, от Египта границы
Все ушли. Царь остался во мраке гробницы.

Нрав у мира таков: с многомошным царем
До конца он дойдет и забудет о нем.

Много тысяч владык эту участь познали,
И течет этот счет в бесконечные дали.

Но избегнуть нельзя рокового пути,
И конца этой нити вовек не найти.

Не постичь звездной тьмы над пределами шара.
Ты для песен о тем струн не трогай дутара!

Ты, познавший весь мир! Видишь: мир — чародей. Сколько в нем пострадало мелькнувших людей!

Унижающий мир, полный зла и страданий, —
В чем нашел он права для своих злодеяний?

Что глядишь на пристанище цвета сурьмы?
Миль чертога в крови, это поняли мы.

Если миля блеснет и расширится пламень,

В солнце — в мира лампаду, метни ты свой камень.

Миль блестит золотистый, сияет маня,

Но не золото в нем, а пыланье огня.

Неприятенно небо. Злодействуя вместе,

Солнце с месяцем к людям исполнены мести.

Не дружи ты с волшебником: он — лицемер.

Он — злодей, хоть порою он — дружбы пример.

О тебе он хлопочет как будто с заботой,

Но тебе он раненья наносит с охотой.

Дел мирских избегай, перед ними дрожа.

Ведь безмолвная рыба избегла ножа.

В бурю дня правосудья, поверь, не могли бы

Утонуть только люди, что были б как рыбы.

Мир лавчонкой мотальщика шелка я счел:

В ней и с пламенем печь и с водою котел.

В ней на обод один мастер тянет все нити,

А с другого снимает. В уме сохраните

Изречение: «Весь мир, тот, который так стар,
Снизу — сумрачный прах, сверху — блестящий пар».

Все в борьбе тяжкий прах с легкой областью пара,
И друг другу они словно вовсе не пара.

Если б ладило небо с землею, пойми,
Издваться не стало б оно над людьми.

Низами! Не стремись в сеть подлунного края,
Ничего не страшась и других не пугая.

Если в гости к себе приглашает султан,
Не раздумывай: знак отправления дан.

На пиру, распрощавшись с обителью нашей,
Ты предстань пред султаном с подъятою чашей.

Искендер, выпив чашу, как роза, расцвел,
Вспомнил бога, уснул, бросил горестный дол.

Всем, испившим ту чашу, — благая дорога!
Все забыв, поминайте единого бога!

НИЗАМИ ГАНДЖЕВИ

Ильяс ибн Юсуф Низами Ганджеви (даты жизни точно не установлены; по Е. Э. Бертельсу, 1141/43—1203/05) родился в Гандже, там же он получил образование. Поэт не покидал родной город, кроме одного кратковременного посещения ставки Кызыл-Арслана-шаха, пожелавшего встретиться с ним.

Ганджа в этот период был центром науки и культуры. В нем жили образованные и ученые люди. Такое же блестящее и всестороннее образование получил в Гандже современник поэта Абу-ль-Ала. В стихах Низами говорит, что он знаком с разными науками. Это подтверждается и его творчеством, насыщенным ссылками и намеками на такие конкретные науки, как астрономия, связанная с ней астрология, математика (например, эффектное использование математического термина «иррациональный корень» в поэме «Семь красавиц»). Низами был хорошо осведомлен также в истории и философии. Он писал:

Из каждой рукописи я добывал богатства,
 [и] навязывал [потом] на нее украшения из стихов.
 Кроме новых хроник, я изучал
 [еще] еврейские и христианские и пехлевийские.

(Перевод Е. Бертельса)

Кроме мусульманской теологии, юридических наук и логики, которые он хорошо знал, Низами проявлял большой интерес и к античной философии. Последняя поэма его «Пятерицы», где описаны походы Искендера, показывает представления поэта о географии, а блестящее описание звездного неба в поэме «Лейли и Меджнун» свидетельствует не только о его знаниях астрономии, но и о непосредственных наблюдениях.

Низами в совершенстве владел персидским и арабским языками, а также был знаком с литературой на этих языках, и, кроме того, можно предположить, что он знал и другие наречия. О личной жизни Низами нам известно очень мало.

Литературное наследие Низами составляют эпические произведения, объединенные в «Пятерицу» («Хамса»), а также газели, касыды, четверостишия и другие произведения лирического жанра. По некоторым источникам (Доулат-шах Самарканди), Низами принадлежал большой диван лирических стихов, содержащий до 20 тысяч двустиший — бейтов. К сожалению, из огромного лирического наследия до нас дошли только 6 касыд, 116 газелей, 30 рубаи.

По словам Низами, успеха в поэзии он достиг рано. Хорошая поэтическая подготовка и незаурядный талант открывали перед молодым, но уже ставшим известным в придворных кругах лириком путь к славе придворного поэта, однако по неизвестным нам причинам он отказался от этой карьеры. Можно предположить, что поэт руководствовался суровыми моральными требованиями, которые он предъявлял вообще к человеку, в частности к тем, кто ради куска хлеба готов был унижаться. Например, в «Махзан аль-асрар» он пишет:

Прахом питайся, но хлеба скупцов не ешь!
 Ты же не прах! Не давай себя попирать подлецам!

329

В сердце и руки сплошь тернии вонзи,
 не покоряйся и берись за труд!

Лучше приучиться к какому-нибудь труду,
чтобы не протягивать руку перед другим.

(Перевод Е. Бертельса)

Не подлежит сомнению, что эти строки направлены против придворных поэтов, «протягивающих руку» ради куска хлеба. О высоких этических идеалах поэта говорит также его отношение к браку, он резко осуждал допускаемую исламом полигамию.

В этой связи любопытен один характерный штрих из личной жизни поэта. Достигнув первого крупного успеха в поэзии, Низами обратил на себя внимание правителя Дербенда. За какое-то ему понравившееся стихотворение поэта он прислал ему в подарок молодую кыпчакскую рабыню по имени Афак, которая и стала первой и горячо любимой женой Низами. Она умерла рано. Ее утрата оставила глубокий след в душе поэта, о чем свидетельствует авторское вступление к поэме «Хосров и Ширин».

Видимо, жизнь поэта не всегда была обеспечена материально, ибо его литературная деятельность не приносила достаточных благ; этим, очевидно, можно объяснить его занятость еще какими-то мирскими делами, о которых он говорит в поэмах «Лейли и Меджнун» и «Шараф-наме» («Книга о славе» — первая часть «Искандер-наме»). Некоторые исследователи творчества Низами предполагают, что он был переписчиком рукописей или работал преподавателем. С юных лет поэт был тесно связан с тружениками города, где он вырос. Хотя слава поэта заставляла правителей обращаться к нему с заказами, но они не очень-то щедро оплачивали труд поэта. Философские сентенции в произведениях Низами приходились, по-видимому, им не по вкусу. Они требовали преклонения, а не назиданий, которые преподносил им поэт.

Касыды Низами интересны своими социально-философскими мотивами, которые, впрочем, характерны для всего его творчества. В своих призывах к справедливости, обращенных к правителям, Низами ссылается на религиозные идеи и принципы. Он утверждает в своих касыдах, что достоинство человека измеряется не его богатством, а добрыми делами. В тех же касыдах часто встречаются мотивы осуждения угнетателей. У Низами есть и панегирические касыды, но они составляют незначительную часть его лирики. Большое место в ней занимают газели, основная тема которых — чистая, самоотверженная любовь. Тема любви в газелях Низами усиливается социально-философскими и нравственно-этическими мотивами, утверждающими верность, правдивость, человечность как нормы поведения, украшающие и облагораживающие человека. Газели Низами проникнуты жизнеутверждающим духом, в них поэт воспевает любовь.

Мировую славу Низами снискал своими пятью поэмами «Хамса». Это широкие эпические полотна, отразившие не только важнейшие события исторического прошлого, но и действительность, современную поэту.

Первое произведение Низами, вошедшее в «Пятерицу», — «Махзан аль-асрар» («Сокровищница тайн») — написано, очевидно, между 1173 и 1179 гг. и относится к дидактическо-философскому жанру, весьма популярному на Ближнем Востоке, в частности у поэтов Восточного Ирана (Хорасана и Средней Азии). Этот жанр имел широкое распространение еще в литературе сасанидского Ирана и назывался андарзом. Книга состоит из вступительной части и двадцати глав, названных макала (букв. — беседа, речь).

Первая беседа — о сотворении Адама — развивается в духе обычных коранических легенд, но пронизана идеей господства человека над миром, концепцией природы человека,

представлением о его задачах в мире. Вторая беседа — о соблюдении правосудия. Здесь поэт обращается к правителю с советами, поучает его быть смиренным и заботиться о духовных благах, что должно привести к правосудию. Третья беседа — о превратности жизни; поэт говорит о своем времени, трудном, лишенном добродетелей. Далее поэт ставит, казалось бы, абстрактные, но очень важные в философском плане вопросы: о старости, о значении «тварей божьих», о взаимоотношении человека и животных, об отношении человека к миру.

Композиционно поэма построена так, что каждая последующая беседа вытекает из смысла предыдущей. Создается, таким образом, непрерывная цепь мыслей. Каждая беседа иллюстрируется какой-нибудь притчей, часто заимствованной поэтом из устного творчества.

Низами сам считал свою первую поэму поэтическим ответом (назира) на «Сад Истин» («Хадикат аль-хакаик») персидского поэта XI—XII в. Санаи. Но «Махзан аль-асрар» не является таковым, во-первых, потому, что она написана иным метром, чем поэма хорасанца Санаи, а назира обязательно должна была сохранить метр первой поэмы. Поэма вошла в литературу Востока как новое явление и вызвала многочисленные отклики крупнейших мастеров. Метр сира, которым написана поэма Низами, в эпической поэзии не использовался. Поэт впервые применил его и имел множество последователей. Во-вторых, в «Махзан аль-асрар» проявляются новые социальные и эстетические идеалы. Низами провозгласил в этой поэме гуманистические идеи, выступил как защитник угнетенных. В небольших дидактических рассказах он создал целый ряд ярких образов простых и мудрых людей, поднявших голос протеста против гнета и тирании.

В рассказе «Старуха и Султан Санджар» бедная старуха-вдова, не боясь жестокого шаха, бросает ему в лицо смелые слова правды, жалуется на притеснения и вероломство шаха:

Правосудья венца — я не вижу в тебе!

Угнетенью конца — я не вижу в тебе!

Царь должен народу поддержкою стать,

А ты угнетаешь народы, как тать.

Не стыдно ль кусок отнимать у сирот,

Кто делает так, благороден ли тот?

(Перевод М. Шагинян)

Этой же теме посвящен и «Рассказ о царе-притеснителе и правдивом человеке».

Труд, украшающий жизнь, возвышающий человека, — одна из основных тем не только «Махзан аль-асрар», но и всего творчества Низами. Однако этим не ограничиваются заветы великого мыслителя. «Требования Низами к человеку крайне суровы, его мораль — для исключительно сильных людей, способных поднять на свои плечи столь тяжелое бремя» (Е. Э. Бертельс).

В языково-стилистическом отношении Низами считается одним из труднейших авторов, в особенности сложна поэма «Махзан аль-асрар». Поэт сознательно ввел в поэму эту усложненность, поскольку он задумал философское произведение, не предназначенное для развлекательного чтения. В богатом словаре поэмы мастерски обыграны все смысловые оттенки и ассоциативные связи почти каждого слова, а это требует от читателя немалой эрудиции. О месте и значении первой поэмы Низами в мировом литературном процессе может свидетельствовать множество подражаний, которое она вызвала в литературах Ближнего и Среднего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии. Количество этих подражаний приближается к 50. Любопытен один факт — большая часть поэтических ответов на «Махзан аль-асрар» на персидском языке создана в Индии.

В 1180 г. Низами завершил вторую свою поэму — «Хосров и Ширин». Сюжет этой романтической эпической поэмы частично взят из сасанидской хроники. Оба героя — исторические лица. Имя Ширин упоминается в византийских, сирийских, арабских и армянских источниках. Хосров — последний выдающийся правитель династии Сасанидов (убит в 628 г.). Цикл преданий о нем донесли до нас авторы IX—X вв. Так, арабоязычный историк ат-Табари (ум. 923) в хронике о правлении Хосрова Парвиза говорит также о его любимой жене Ширин, названной «госпожа», а персидский хронист Балами (ум. 996) прибавляет к сведениям своего предшественника такую характеристику: «Не было среди людей никого прекраснее ее лицом и лучше ее нравом». Наиболее полное предание о Хосрове и Ширин приводит в «Шах-наме» Фирдоуси. Но у него в центре повествования стоит фигура Хосрова, ибо он писал династийную хронику, правда ведя свой рассказ ярко и художественно. Помимо этих официальных версий существовало и немало устных легенд, имевших широкое хождение в народе (недаром развалины ахеменидского дворца в районе Кирманшаха известны под народным названием «Каср-и Ширин», т. е. «Замок Ширин»). Многое из жизни Хосрова Низами узнал из древних хроник Азербайджана. Запись предания о любви Хосрова и Ширин хранилась в городе Барда, а Низами знал, конечно, и версию этого предания, приведенную Фирдоуси в «Шах-наме», но он не повторил почти ни одной детали рассказа своего

предшественника, о чем красноречиво говорит сам поэт:

Не пересказывал я того, что сказал мудрец,
ибо неблагоприятно повторять уже сказанное.

В отличие от Фирдоуси Низами глубоко разработал тему любви Хосрова и Ширин. Поэт видит в любви подлинный смысл и содержание человеческой жизни. Человек без любви мертв, как поломанная флейта.

Подлинное новаторство и смелость Низами-художника заключаются в том, что он отводит в поэме главную роль не шаху Хосрову, а Ширин — племяннице правительницы Азербайджана Михин-Бану. Поэт наделил Ширин умом, красотой, силой воли. Она активное начало в поэме. Все описанные события связаны с ней. Ширин любит сасанидского царевича Хосрова. Сильна и безгранична ее любовь, даже зная все недостатки своего избранника, она не может его забыть. Из-за своего пылкого, всепоглощающего чувства Ширин переносит многие лишения и невзгоды. Ее красота сочетается с твердой волей, мужеством. Она умеет сдерживать необузданность Хосрова в его желаниях, постоять за себя, свою честь. Ширин в то же время — идеальная правительница. Она справедлива и гуманна. После смерти своей тетки Михин-Бану она наводит порядок в стране, начинает заботиться о народе:

И пришла к Ширин Михин-Бану держава,

От рыбы до луны о ней сверкнула слава,

И справедливости возрадовался люд,

Былые узники свободный воздух пьют,

Все угнетенные забыли время гнета,

Ширин с времен своих отбросила тенета...

Облагодетельствовав и город и селенья,

Ширин, не ждя даров, снискала восхваленья.

(Перевод К. Липскерова)

Ширин своими благородными поступками оказывает облагораживающее влияние на других. Под ее воздействием беспечный и безнравственный Хосров, равнодушный к судьбам народа, начинает понимать, каким должен быть человек и правитель. Женственная, мягкая по натуре Ширин обладает поистине богатырской силой духа. Она энергична и настойчива в достижении поставленной цели, презирает покорность и слабость.

Хосров любит Ширин, но его любовь эгоистична, в ней нет самоабвения и способности на жертву. Лишь в финале поэмы под воздействием самоотверженной любви Ширин меняется и характер Хосрова. Приобретая черты гуманного правителя, он преображается. Это основная идея поэмы.

Хосров богато одарен природой, но он растрчивает свою молодость на забавы и развлечения, ведет роскошную и беззаботную жизнь. Ему противопоставляется один из наиболее примечательных образов произведения — Фархад, искусный мастер-каменотес, «силой равный слону». Пламенная любовь Фархада к Ширин вдохновляет его труд и творчество.

Образ Фархада — новаторство поэта. Этот выходец из городского ремесленного круга противопоставлен представителю феодальной верхушки. Сравнение не в пользу царевича Хосрова. Поэт

наделил Фархада чертами благородства. Он бесстрашен, независим, честен, гигантского роста. Это, скорее, не индивидуальный богатырь, а олицетворенное воплощение труда.

Финал их соперничества неизбежно трагичен. Фархад в этом столкновении гибнет. Но здесь любопытна одна деталь: Фархад гибнет не в честной борьбе, а из-за предательства. Низами этим не только указывает на недозволенные методы, к которым прибегали представители феодальной верхушки, чтобы удержаться у власти, но и вскрывает слабость последних.

Не менее правдив образ подлого, коварного человека, подкупленного Хосровом для выполнения своего преступного замысла. Любопытно, что поэт обращает особое внимание на реалистическое изображение портрета убийцы, органически связывая его внешность с внутренним миром:

И принялись искать глашатая беды,
Чей хмурый лоб хранит злосчастия следы,
Того, кто, как мясник, в крови вседневной сечи,
Того, кто из усов огонь смертельный мечет.
И вот, научен он дурным словам, сулят
Иль золото ему, иль гибельный булат,
Идти на Бисутун, свершить худое дело
Он должен. Для него иного нет удела.

(Перевод К. Липскерова)

Несколько скупых штрихов, метких эпитетов — и перед нами вполне законченный портрет гнусного предателя.

Поэма завершается рассказом о том, как Шируйе, сын Хосрова от первой жены Марьям (дочери византийского императора), выросший во дворце в атмосфере лжи, подлости и лицемерия, испытывает страсть к мачехе и, чтобы добиться ее любви, убивает собственного отца. Однако Ширин, оставаясь верной Хосрову и после его смерти, кончает с собой.

Основные герои «Хосров и Ширин» наделены романтическими чертами, и движет их поступками всепоглощающее чувство любви. Эта любовь

окрыляет героев, вдохновляет их на благородные поступки, на подвиги во имя победы счастья на земле, наполняя ярким волнующим пафосом всю поэму. Романтика Низами жизнеутверждающа, оптимистична, в ней выражена вера в будущее, в победу светлых начал в жизни, в силу и разум человека. Низами, замечательный мастер поэтического слова, создал в этой поэме яркие, живые образы, передал в колоритных описаниях все многообразие красок живописной природы Азербайджана.

Большое мастерство проявил Низами и в выборе выразительных средств для изображения характеров, передачи психологического облика героев, их эмоционального состояния — взволнованности, радости, горя. Герои показаны в динамическом развитии. Умело переработав фольклорный материал, Низами создал произведение, которое, в свою очередь, оказало влияние на развитие устного народного творчества.

«Вторая поэма Низами — один из величайших шедевров не только азербайджанской, но и мировой литературы. Первый раз в литературе Ближнего Востока личность человека была показана во всем ее богатстве, со всеми ее противоречиями, взлетами и падениями» (Е. Э. Бертельс).

Появление поэмы Низами «Хосров и Ширин» имело огромное значение для всего Ближнего Востока. На протяжении столетий создавались десятки произведений, которые испытали на себе благотворное влияние гуманистических идей Низами, его художественного мастерства. Впечатляющие по своей жизненности образы Ширин и Фархада были признаны образцом для создания новых произведений.

В XIV в. известный азербайджанский поэт Ариф Ардебилли написал поэму «Фархад-наме», в центре которой поставил не сасанидского шаха Хосрова, а каменотеса, искусного мастера Фархада. Из всех произведений, написанных по мотивам «Хосрова и Ширин» Низами, следует особо отметить поэму «Фархад и Ширин» великого узбекского поэта и ученого Алишена Навои (1441—1501).

Третья поэма Низами «Лейли и Меджнун» была написана в 1188 г. по заказу ширваншаха Ахсатана I.

В поэме рассказывается древняя арабская легенда о несчастной любви. «Если сравнить распространение «несчастливого предания» о Лейли и Меджнуне, — пишет Е. Э. Бертельс, — с близкой к нему по характеру повестью о Ромео и Джульетте, то придется признать, что поэма «Лейли и Меджнун» распространена значительно шире». Это можно объяснить тем, что предания о любви Лейли и Меджнуна во всех странах Ближнего Востока давно проникли в народную среду и слились с фольклором. Образы влюбленных стали близкими и привычными всем слоям общества.

Об источниках поэмы Низами нет точных указаний, но уже в IX в. Ибн Кутайба, родом из Мерва (в своей «Книге поэзии и поэтов»), а позднее Абу-ль-Фарадж аль-Исфахани выделяли в отдельную главу повесть об арабском поэте Маджнуне и его возлюбленной Лейли. Фабула «Лейли и Меджнуна» была известна и персидско-таджикским поэтам IX—X в. Рудаки и Рабиа, дочь Ка'ба, суфийскому поэту Баба Кухи (ум. 1050 г.) и знаменитому Насиру Хосрову Алави (1004—1080). Разумеется, у этого сюжета были и фольклорные источники. Е. Э. Бертельс предполагает, что в XII в. в суфийских кругах — среди городских ремесленников, мелкого купечества и низшего духовенства — образ Меджнуна был достаточно хорошо известен и охотно применялся, когда нужно было привести пример беззаветной любви.

Лейтмотив поэмы «Лейли и Меджнун» — пылкая, беспредельная любовь двух молодых людей. Поэт показывает горькую участь влюбленных в условиях господства суровых нравов и обычаев, враждебных счастью человека.

Почему Лейли и Кайс, страстно любящие друг друга, не могут быть счастливыми? Низами с достаточной убедительностью отвечает на этот вопрос. Лейли не выдают замуж за Кайса только потому, что он, незаурядный человек и поэт, не хочет жить по нормам ханжеской морали, господствующей в обществе. Его поэзия так же пламенна и вдохновенна, как и его любовь. Но по феодально-религиозным представлениям и то и другое — легкомыслие, безнравственность, потому что всерьез заниматься искусством бессмысленно и унижительно, а любить можно лишь бога и быть счастливым — только в «загробной» жизни. Кайс отвергает это, бросая своеобразный вызов обществу, для которого он только «бесноватый», «безумный» («Меджнун»). Низами в своей поэме ставит жизненно важный вопрос о духовном раскрепощении человека, о свободе воли, о праве на личное счастье.

Зависимость Низами от арабского источника весьма относительна. У арабской легенды такая сюжетная схема: Кайс полюбил Лейли настолько страстно, что получил прозвище Меджнун; попытка просватать за него девушку оказалась безнадежной, и он погиб от своей любви. В этой легенде образ Кайса статичен, сюжет нединамичен, а отдельные детали повествования слабо связаны между собой.

Как и в предыдущей поэме («Хосров и Ширин»), Низами дает образ Меджнуна, основного героя, в становлении, в развитии. Вся поэма

отчетливо распадается на ряд эпизодов, и в каждом из них все попытки благополучного разрешения конфликта кончаются неудачей, что лишь приводит к усилению страсти, постепенно делая ее непреодолимой. Эти эпизоды совершенно сознательно задерживают действие. Страсть героя завершается катастрофой. Меджнун разрывает связи с человеческим обществом навсегда. У читателя создается убеждение: теперь, что бы ни произошло, счастливого финала не будет. Умирает муж Лейли. Кажется бы, теперь отпали все препятствия. Лейли и Меджнун могут соединиться. Но слишком поздно. Меджнун, разорвавший связи с обществом, уже не нуждается в Лейли: она его идеал, бог. Вот почему Лейли умирает, как бы уступая свою жизнь тому идеальному образу, который живет в Меджнуне. Как Искандер в поэме «Искандер-наме», пройдя ряд испытаний, становится носителем пророческой миссии, так и Меджнун под ударами жестокой судьбы превращается в «Бесноватого», одухотворенного носителя чистой поэзии.

Эта концепция Низами дала повод толкователям позднейших эпох воспринимать поэму «Лейли и Меджнун» как суфийское произведение, ее концовку как символическое выражение угасания «нижнего Я» и перерождение его в «Я космическое». Но прав Е. Э. Бертельс, который считает, что суфийское толкование было бы слишком упрощенным. Низами вкладывает в поэму более сложный смысл, который, хотя и не лишен налета своеобразного мистицизма, в основном скорее отражает психологию творчества, чем неоплатоническую доктрину пантеистического суфизма.

Бессмертная поэма «Лейли и Меджнун» оставила глубокий след в восточной поэзии и вызвала самое большое количество подражаний у талантливых поэтов Востока в различные эпохи. По сведениям крупнейших исследователей этой поэмы Низами (Е. Э. Бертельс, турецкий литературовед Агах Сирри Лаванд и др.), по весьма приблизительным данным, поэма вызвала более 20 подражаний на персидском языке, 29 подражаний на тюркских (в том числе азербайджанском и узбекском), на курдском и других языках. Все это прямые подражания с сохранением названия, темы и даже размера первоисточника.

Следует отметить, что элементы влияния поэмы можно найти и в других произведениях. Не менее важен еще один факт, указывающий на мировое значение этой поэмы Низами: мало можно найти лирических диванов на персидском, тюркских и арабском (даже на урду и хинди), где не упоминались бы имена несчастных влюбленных и не делалось бы намеков на их судьбы, которые, как предполагалось, должны быть известны каждому любителю поэзии.

Во вступительной части своей поэмы «Семь красавиц» («Хафт пейкар») (написано ок. 1196 г.) поэт говорит, что и в этом случае, как в «Хосрове и Ширин», он пошел по следам Фирдоуси, подобрал осколки брошенных им за ненадобностью самоцветов и попытался их отшлифовать и оправить. Возможно, что популярность образа главного героя поэмы Бахрама на Кавказе (ср. с армянским и грузинским богатырями Вахагном и Вахтангом) дала повод Низами разработать этот сюжет, тем более что предыдущая его поэма, «Хосров и Ширин», также была в первую очередь связана с Закавказьем.

В поэме две сюжетные линии; одна — история Бахрама, вторая — ряд вставных новелл, которые совсем не связаны с первой сюжетной линией, а представляют собой фантастические сказки, восходящие к устному народному творчеству.

Еще юношей Бахрам в замке, где он жил, обнаружил комнату, где ему ранее не приходилось бывать, и увидел там на стене удивительную фреску: она изображала его самого, окруженного семью сказочными красавицами. Став после смерти отца царем, он добывает себе в жены семь царевен, портреты которых видел в замке Хаварнак. Это царевны индийская, туркменская, хорезмская, славянская, магрибская, византийская и иранская. По приказу Бахрама лучший зодчий строит для его жен семь дворцов с павильонами, крытыми куполами. Каждый из куполов имеет свой цвет, соответствующий астрологическим представлениям о дне недели и о той планете, которая с ним связана. Любопытно, что календари европейских народов тоже используют эту символику, видимо связанную с астрологическими воззрениями Вавилона. Известно что вавилонские храмы строились на семи ступенях и стены делались семи цветов, соотносимых с днями недели и планетами.

Бахрам проводит в каждом дворце по одной ночи, одевшись с ног до головы в платье цвета дня. Обстановка во дворцах также соответствует цвету дня. В сопровождении музыки царевны по очереди рассказывают Бахраму сказки своей страны. Центральную художественную нагрузку поэт переносит на семь сказок или новелл, полных фантастики. Но сила таланта автора проявляется в том, что он сливает фантастику с реальностью и так достигает необычайной убедительности. О характере этих новелл Е. Э. Бертельс пишет: «Низами ставит себе исключительно трудную задачу. Мало того, что он должен преодолеть трудности фантастики, — тема новеллы, рассказываемой каждой царевной, еще должна быть увязана с соответствующим цветом. Но и этого мало. Основой каждой новеллы служит любовное переживание, причем в соответствии

с переходом от черного к белому, грубая чувственность постепенно сменяется в нем просветленной гармоничной любовью. Могучему гению Низами не страшны были эти препятствия: он создал семь шедевров».

После поэм «Хосров и Ширин» и «Лейли и Меджнун», посвященных теме любви, в «Семи красавицах» Низами обращается к волнующей его проблеме идеального и справедливого правителя. Если предыдущие две поэмы он написал по заказу правителей, то тема «Семи красавиц» выбрана им по собственному желанию.

Обрамление новелл — биография Бахрама Гура (его прообразом был легендарный сасанидский шах Бахрам или Варахран V, правивший в 421—438 гг.). Она нужна поэту, чтобы высказать свое понимание миссии правителя. Правитель, утверждает Низами, должен быть гуманным и образованным, обязан проявлять заботу о народе и, управляя государством, опираться на мудрый жизненный опыт. Сложен и оригинален образ Бахрама Гура. Он искренне стремится принести счастье своему народу, карает его врагов и притеснителей, отменяет многие наказания. Но Низами показывает и слабые стороны своего героя со всеми типичными для феодальных восточных правителей порочными страстями. Бахрам Гур создает пышный гарем, проводит время на охоте, в пирах и наслаждениях, часто забывая о своем долге. Пользуясь этим, его везир Раст Ровшан расправляется с крестьянами, грабит народ, предает страну врагам. Бахрам осознает свою ошибку только тогда, когда встречает мудрого пастуха, раскрывшего ему глаза на произвол и беззакония. Пастух преподает шаху великолепный житейский урок.

Мудрый пастух, поучающий правителя, талантливая певица и танцовщица Фитне, превосходящая шаха своим умом и способностями, добрые, трудолюбивые и преданные в дружбе Курд и его дочь — эти и другие образы простых людей написаны Низами с большой любовью.

Примечательно, что в поэме «Семь красавиц» впервые в истории поэзии Востока был создан образ русской девушки. Это умная, образованная, волевая, бесстрашная красавица.

Так называемые «зеркала» — дидактические трактаты, поучавшие искусству править страной, — были известны на Ближнем Востоке еще задолго до возникновения ислама. Они имели широкое распространение и в мусульманском мире. Заслуга Низами в том, что он не удовлетворился одними советами и рецептами; он облек все свои поучения в подлинно художественную форму; посредством художественных образов он пытался глубоко воздействовать на своего читателя.

Вершина и своеобразный итог творческого развития великого поэта — «Искандер-наме». Низами создал произведение энциклопедическое по размаху и синтетическое по жанру; он слил воедино зороастрийские традиции, мусульманские воззрения, сасанидскую хронику, древнегреческую философию; многоплановое историческое повествование сочетается с любовной темой, с обзором философских концепций бытия и раздумьями о смысле жизни. Состоит поэма из двух частей: «Шараф-наме» («Книга о славе») и «Игбал-наме» («Книга о счастье»). В «Искандер-наме» с наибольшей полнотой и глубиной отражены общественные идеалы и философские воззрения Низами. Он приступил к работе над поэмой, когда ему было уже около шестидесяти лет. В этом произведении с особенной силой проявился огромный творческий размах его художественных замыслов. Поэтический образ Искандера у Низами отличается от своего исторического прототипа — Александра Македонского. Герой Низами — идеальный правитель и полководец, умный и справедливый, он везде наводит порядок, освобождает народы от гнета и бедствий, занимается благоустройством городов, советуется с учеными, философами, и сам он мыслитель. Однако и в этом произведении не могло не сказаться мусульманское

воспитание поэта. Завоевав Персию, Искандер у Низами приступает к ликвидации зороастризма, уничтожает храмы огнепоклонников, рассматривая поклонение огню как безверие. Преобразуя исторический прототип Искандера в образ идеального правителя, Низами в ряде существенных моментов остается верен правде истории. Он «не в силах» обойти молчанием, что Искандер ведет кровавые завоевательные войны, требует у покоренных выплаты дани, несет им страдания и т. п. И поэтому не случайно на страницах «Искандер-наме» часто говорится о тяжелой доле крестьян и о произволе феодалов, о необходимости улучшать жизнь народа.

«Повествование о Нушабе» — одна из самых замечательных поэм. Известно, что Александр Македонский никогда не был на Кавказе, но, рассказывая о встрече Искандера с царицей Нушабе в Барде (Азербайджан), Низами вдохновенно воспекает красоту и богатство природы родного края.

Нушабе как правитель справедлива и разумна. Эта волевая царица умело управляет страной. Во владении ее, Барде, люди живут в мире и благополучии, дни их радостны, ибо правительница защищает их от бедствий, нищеты и нападения врагов. Чуждый ханжеству и аскетизму, Низами показал свою героиню человеком, горячо любящим жизнь.

Символична и поучительна сцена пира, устроенного Нушабе в честь Искандера. Вместо еды она приказала подать драгоценные камни. Когда же изумленный и смущенный Искандер попросил разъяснить, почему, царица ответила:

Рассмеялась Луна и сказала проворно:

«Если в рот не берешь драгоценные зерна,

То зачем ради благ, что тебе не нужны,

Ты всечасно желаешь ненужной войны?

Что взыскуешь? Зачем столько видишь красы ты,

В том, чем люди во веки не могут быть сыты?

Если лал несъедобен, скажи, почему

Мы, как жалкие скряги, стремимся к нему?..»

(Перевод К. Липскерова)

В словах Нушабе поэт выразил свое осуждение жестокостей завоевателей, видевших цель жизни лишь в покорении чужих стран и ограблении народов. Искандер почти во всех странах, где побывал, установил новый порядок, оказал помощь населению, избавил народы от бедствий, разорения, нищеты, защитил от нападений кочевников, и только в Барде, где правила Нушабе, никто не нуждался в его помощи. Здесь Искандер увидел справедливость, благоустроенность, расцвет культуры, мирную, спокойную жизнь. В образе царицы Нушабе воплощены самые высокие представления о женщине, свободной и умной, не стесненной многими предрассудками. Это не делает, конечно, героиню Низами человеком эпохи

Возрождения; и ее мирозерцание, и ее образ правления остаются средневековыми. Но они отражают прогрессивное начало в средневековой культуре — и известное религиозное свободомыслие, и столь характерные для Средних веков утопические мечты о справедливом и мудром монархе.

Во второй части поэмы («Игбал-наме») Низами показывает своего героя главным образом как ученого, философа и пророка. Поэт отстаивает преимущество подлинной науки перед средневековой схоластикой. Воспевая красоту жизни, земное счастье, иронизируя над прославлением «потустороннего» мира, выступая против аскетизма, Низами, по сути дела, отвергает многое из ортодоксальных религиозных представлений, предвосхищая тем самым некоторые из основополагающих идей Ренессанса.

В «Игбал-наме» Низами, используя богатство устного народного творчества и литературные источники, создал интересные философско-этические рассказы, отличающиеся большой глубиной мысли. В них виден огромный жизненный опыт Низами, его знание истории.

В основу этих рассказов положены идеи справедливости, призыв к вдохновенному творческому труду во имя счастья и благополучия человека; здесь утверждается значение для жизни науки, философии, музыки и других видов искусства, т. е. того, что запрещала религия ислама. Низами восхваляет разум, мудрость и достоинство человека-труженика.

В ряде глав поэт раскрывает глубокие познания своего героя в различных областях науки. Так, Искандер устраивает во дворце диспуты, побеждая на них известных ученых. Семь знаменитых греческих философов — Аристотель, Валис (Фалес Милетский), Булинас (Аполоний Тианский), Сократ, Фурфуриус (Порфирий Тирский), Хормус (Гермес Трисмегист) и Платон обсуждают вместе с Искандером вопросы космогонии. В уста Искандера и мудрецов Низами вложил свои обширнейшие познания в области греческой философии. Хронологические несоответствия (эти ученые жили в разные века), допущенные Низами, дали ему возможность познакомить своих читателей с основными течениями античной философии, а также изложить собственную точку зрения.

Необычайные достоинства Искандера как просвещенного правителя достигают предельной высоты. Божественный вестник сообщает ему, что он удостоен сана пророка. Тогда Искандер снова собирается в длительное странствование, но на этот раз — чтобы призвать весь мир вступить на путь истинной веры, основанной на науке и человеческой мудрости. Он жаждал победы мировоззрения, свободного от фанатизма и мракобесия, лжи и предрассудков религии с ее нелепыми объяснениями жизни и природы. Низами мечтал о «религии», опирающейся на науку, правду и справедливость.

Идеи Низами о справедливом социальном устройстве находят более полное воплощение во второй части книги об Искандере — в «Игбал-наме». В этой поэме Низами нарисовал яркую картину идеального города-государства. Искандер прибывает в расположенную далеко на севере удивительную страну, где нет правителей и подчиненных, где люди, свободные от гнета и насилия, живут счастливо до глубокой старости, пользуясь равными правами. Здесь нет господ и рабов, торжествует свобода и справедливость, уничтожено социальное зло, голод и нищета. Все занимаются честным трудом, добывая

себе жизненные блага. Страна подлинного счастья, о ней мечтал, но ее долго не мог найти Искандер. Теперь она перед ним. Низами восторженно описывает эту страну:

Мы имуществом нашим друг другу равны.

Равномерно богатства всем нам вручены.

В этой жизни мы все одинаково значим.

И у нас не смеются над чьим-либо плачем.

Мы не знаем воров; нам охрана в горах

Не нужна. Перед чем нам испытывать страх?

Не пойдет на грабеж нашей местности житель.

Ниоткуда в наш край не проникнет грабитель.

Не в чести ни замки, ни засовы у нас.

Без охраны быки и коровы у нас.

Львы и волки не трогают вольное стадо,

И хранят небеса наше каждое чадо.

(Перевод К. Липскерова)

Низами почти во всех своих поэмах стремился создать образ идеального правителя. Такой образ был им создан в «Искандер-наме». Но, заканчивая это произведение, поэт приходит к выводу, что даже справедливый правитель не сможет преобразовать жизнь на земле. «Давать советы могучим властелинам — это то же, что сеять семена на солончаке».

Лучший знаток творчества Низами — Е. Э. Бертельс считает его одной из выдающихся личностей своего времени, который, смотря вперед, прозревал иногда даже на многие века. Сравнивая же поэмы Низами с рыцарскими романами европейского Средневековья, ученый ставит их выше и в смысле широты познания, и в подходе к действительности. «Если для средневекового европейского романиста фантастика — неотъемлемая принадлежность романа, чудеса для него — обычная и понятная вещь, то Низами прибегает к фантастике только тогда, когда дает совершенно сознательно сказку и пользуется ее стилистикой («Семь красавиц»). Действие его поэмы совершается не по велению какого-либо внешнего *deus ex machina*, а в результате тех свойств, которые заложены в характере героев. Поэтому если формально поэмы Низами еще носят все признаки средневековой литературы, то в построении они уже значительно ближе к лучшим созданиям европейского Ренессанса».

Творчество Низами высоко ценили и на Западе. Великий немецкий поэт И. Гете в своем «Западно-восточном диване» о Низами говорил: «Прелесть поэм велика, многообразие бесконечно. Так же и в

других его непосредственно нравственной задаче посвященных стихотворениях дышит та же милая ясность. Что только может встретиться человеку двусмысленно, сводит он всякий раз опять к практическому и в нравственной деятельности находит лучшее разрешение всем загадкам».

Низами своей «Пятерицей» оказал глубокое влияние на развитие художественной культуры Востока, не говоря уже о том, что его пять поэм были в центре не только азербайджанской литературы своего времени, но и литературы всего Ближнего Востока. Начиная с индийского поэта Амира Хосрова Дехлеви (1253—1325), подражая Низами и развивая его традиции, создавали свои «Пятерицы» такие крупнейшие поэты, как Джами, Алишер Навои, Физули и многие другие.

Низами Гянджеви Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф (перс. نجوى نظامى — Nezâmi Ganjevi, نيزامى زجه گاه, азерб. Nizami Gəncəvi, около 1141, Гянджа, современный Азербайджан — около 1209, там же) — классик Азербайджан поэзии, один из крупнейших поэтов средневекового Востока, крупнейший поэт-романтик в эпической литературе, привнесший в персидскую эпическую поэзию разговорную речь и реалистический стиль. Используя темы из традиционного устного народного творчества и письменных исторических хроник, Низами своими поэмами объединил доисламский и исламский Иран[1]. Героико-романтическая поэзия Низами на протяжении последующих веков продолжала оказывать воздействие на весь персоговорящий мир и вдохновляла пытавшихся подражать ему молодых поэтов, писателей и драматургов на протяжении многих последующих поколений не только в самой Персии, но и по всему региону, включая культуры таких современных стран, как Азербайджан, Армения, Афганистан, Грузия, Индия, Иран, Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан. Его творчество оказало влияние на таких великих поэтов, как Хафиз, Джалаладдин Руми и Саади. Его пять маснави (больших поэм) («Хамсе») раскрывают и исследуют разнообразные темы из различных областей знаний и снискали огромную славу, на что указывает большое число сохранившихся списков его произведений. Герои его поэм — Хосров и Ширин, Лейли и Меджнун, Искандер — до сих пор остаются общеизвестными как во всем исламском мире, так и в других странах. 1991 год был объявлен ЮНЕСКО годом Низами в честь 850-летия поэта.

Историко-культурный фон

С 1135/1136 по 1225 гг. частью территорий Азербайджана (ныне Иранский Азербайджан) и Аррана в качестве Великих Атабеков Сельджукских султанов Персидского Ирака правили Ильдегизиды. Эта династия была основана Шамседдином Ильдегизом, по происхождению кипчаком (половцем), вольноотпущенным гулямом (солдатом-рабом) сельджукского султана Персидского Ирака (Западного Ирана). Ильдегизиды являлись атабеками Азербайджана (то есть регентами наследников престола сельджукских султанов), по мере развала сельджукской империи, с 1181 года стали местными правителями и оставались таковыми до 1225 года, когда их территория, ранее уже захваченная

грузинами, была завоевана Джалал-ад-Дином[3]. Шамс ад-Дин Ильдегиз вероятно добился контроля над частью Азербайджана только в 1153 г. после смерти Касс Бег Арслана, последнего фаворита султана Масуда ибн Мухаммеда (1133—1152)[4].

Соседний с Азербайджаном и Арраном Ширван составляло государство Ширваншахов, которым правила династия Кесранидов. Хотя династия имела арабское происхождение, к XI веку Кесраниды были персианизированы и заявляли, что являются потомками древнеперсидских сасанидских царей[5].

Ко времени рождения Низами прошло уже столетие с момента вторжения в Иран и Закавказье тюрок-сельджуков. По мнению французского историка Рене Груссе (англ.)русск., сельджукские султаны, сами будучи туркоманами, став султанами Персии, не подвергли тюркизации Персию, а наоборот, они «добровольно стали персами и подобно древним великим сасанидским царям защищали иранское население» от набегов кочевников и спасли иранскую культуру от туркоманской угрозы[6].

В последней четверти XII века, когда Низами начинал работать над поэмами, которые вошли в книгу «Хамсе» («Пятерица»), верховная власть сельджуков переживала упадок, а политические волнения и социальное беспокойство нарастали. Тем не менее, персидская культура переживала расцвет именно тогда, когда политическая власть была скорее рассеяна, чем централизована, а персидский язык оставался основным языком. Это относилось и к Гяндже, кавказскому городу — отдаленному персидскому аванпосту, где жил Низами, городу, который в то время имел преимущественно иранское население[7], о чём свидетельствует также современник Низами армянский историк Киракос Гандзакец (около 1200—1271) (Киракос из Гандзака, Гандзак — армянское название Гянджи)[8], который также как и Низами Гянджеви (Низами из Гянджи) был жителем Гянджи. Следует отметить, что в средние века армяне всех ираноязычных называли «парсик» — персами, что отражено в переводе того же отрывка на английский язык[9]. При жизни Низами Гянджа была одним из центров иранской культуры, о чём свидетельствуют собранные только в одной антологии персидской поэзии XIII в. Нузхат ол-Маджалис стихотворения 24 персидских поэтов, живших и творивших в Гяндже в XI—XII вв[10]. Среди ираноязычного населения Гянджи XI—XII вв. следует отметить также и курдов, значительному присутствию которых в городе и его окрестностях способствовало правление представителей династии Шеддадидов, имеющей курдское происхождение. Именно привилегированным положением курдов в Гяндже некоторые исследователи объясняют переезд отца Низами из Кума и поселение родителей Низами в Гяндже, так как мать Низами была курдянкой[11] [12].

Персидский историк Хамдаллах Казвини, живший примерно через сто лет после Низами, описал «полную сокровищ» Гянджу в Арране, как один из самых богатых и процветающих городов Ирана[13].

Азербайджан, Арран и Ширван явились тогда новым центром персидской культуры после Хорасана. В «хорасанском» стиле персидской поэзии специалисты выделяют западную — «азербайджанскую» школу, которую иначе называют «тебризской» или «ширванской» или «закавказской»[14], как склонную к усложнённой метафоричности и философичности, к использованию образов, взятых из христианской традиции. Низами считается одним из виднейших представителей этой западной школы персидской поэзии[15].

Биография

О жизни Низами известно мало, единственным источником информации о нём являются его произведения, в которых также не содержится достаточного количества надёжной информации о его личной жизни[16], в результате чего его имя окружено множеством легенд, которые ещё более украсили его последующие биографы[17].

Имя и литературный псевдоним [править]

Личное имя поэта — Ильяс, его отца звали Юсуф, деда Заки; после рождения сына Мухаммада имя последнего также вошло в полное имя поэта, которое таким образом стало звучать: Абу Мухаммад Илиас ибн Юсуф ибн Заки Муайад[7], а в качестве литературного псевдонима («нисба») он выбрал имя «Низами»[18], которое некоторые авторы средневековых «тадхират» (иначе транслитерируется как «тазкират»), то есть «биографий», объясняют тем, что ремесло вышивания было делом его семьи, от которого Низами отказался, чтобы писать поэтические произведения, над которыми он трудился с терпеливостью вышивальщика[19]. Его официальное имя — Низам ад-Дин Абу Мухаммад Ильяс ибн-Юсуф ибн-Заки ибн-Муайад[17]. Ян Рыпка приводит ещё одну форму его официального имени Хаким Джамал аль-дин Абу Мухаммад Ильяс ибн-Юсуф ибн-Заки ибн-Муайад Низами[20].

Дата и место рождения [править]

Точная дата рождения Низами неизвестна. Известно только, что Низами родился между 1140—1146 (535—540) годами[21]. Биографы Низами и некоторые современные исследователи расходятся на шесть лет относительно точной даты его рождения (535-40/1141-6)[22]. По сложившейся традиции, годом рождения Низами принято считать 1141 год, который официально признан ЮНЕСКО[2]. На этот год указывает сам Низами в поэме «Хосров и Ширин», где в главе «В оправдание сочинения этой книги» говорится:

Мой знаешь гороскоп? В нём — лев, но я сын персти[23],

И если я и лев, я только лев из шерсти,

И мне ли на врага, его губя, идти?

Я лев, который смог лишь на себя идти!

(пер. К. Липскерова)

Из этих строк следует, что поэт родился «под знаком» Льва. В той же главе он указывает, что в начале работы над поэмой ему было сорок лет, а он начал её в 575 году хиджры. Получается, что Низами родился в 535 году хиджры (то есть в 1141 году). В тот год солнце находилось в созвездии Льва с 17 по 22 августа, из чего следует, что Низами Гянджеви родился между 17 и 22 августа 1141 года[24].

Место рождения поэта долгое время вызывало споры. Хаджи Лютф Али Бей в биографическом сочинении «Атешкида» (XVIII век) называет Кум в центральном Иране, ссылаясь на стихи Низами из «Искандер-намэ»:

Хотя я затерян в море Гянджи, словно жемчужина,

Но я из Кухистана[25]

В Тафрише есть деревня, и свою славу[26]

Низами стал искать оттуда.

Большинство средневековых биографов Низами (Ауфи Садид-ад-дин в XIII в., Доулатшах Самарканди в XV в. и другие) городом рождения Низами указывают Гянджу, в которой он жил и в которой умер. Академик Е. Э. Бертельс отметил, что в лучшей и старейшей из известных ему рукописей Низами про Кум также не упоминается[27]. В настоящее время существует устоявшееся мнение, принятое академическими авторами, о том, что отец Низами происходил из Кума[17], но сам Низами родился в Гяндже, и упоминание в некоторых его произведениях о том, что Низами родился в Куме — искажение текста[7]. В период жизни Низами Гянджа находилась в составе Сельджукской империи[28], просуществовавшего с 1077 по 1307 годы. Следует при этом отметить, что Тафриш, упомянутый в вышеприведённом отрывке из «Искандер-намэ», являлся крупным центром зороастрийской религии и находится в 222 км от Тегерана, Центральный Иран.

Низами родился в городе[21], и вся его жизнь прошла в условиях городской среды, притом в атмосфере господства персидской культуры, так как его родная Гянджа в то время имела ещё иранское население[7], и, хотя о его жизни известно мало, считается, что всю жизнь он провёл, не покидая Закавказья[7]. Скучные данные о его жизни можно найти только в его произведениях[21].

Родители и родственники

Отец Низами, Юсуф ибн Заки, мигрировавший в Гянджу из Кума (Центральный Иран), возможно был чиновником[29], а его мать, Ра'иса, имела иранское происхождение[21], по некоторым предположениям, была связана с династией Шеддадидов, правившей Гянджой до атабеков.

Родители поэта рано умерли[33]. После смерти отца Ильяса воспитывала мать, а после смерти последней — брат матери Ходжа Умар[34].

Доулатшах Самарканди (1438—1491) в своем трактате «Тазкират ош-шоара» («Записке о стихотворцах») (окончен в 1487 году) упоминает брата Низами по имени Кивами Мутарризи, который также был поэтом.

Образование [править]

Низами был по стандартам своего времени блестяще образован[35]. Тогда предполагалось, что поэты должны быть хорошо сведущи во многих дисциплинах. Однако, и при таких требованиях к поэтам Низами выделялся своей ученостью: его поэмы свидетельствуют не только о его прекрасном знании арабской и персидской литератур, устной и письменной традиций, но и математики, астрономии, астрологии[36], алхимии, медицины, ботаники, богословия, толкований Корана, исламского права, христианства, иудаизма[37], иранских мифов и легенд[38], истории, этики, философии, эзотерики, музыки и изобразительного искусства[17][39].

Хотя Низами часто называют «Хаким» (мудрец)[40], он не был философом, как Аль-Фараби, Авиценна и Сухраварди, или толкователем теории суфизма, как Ибн Араби или Абд Ал-Раззак Кашани. Тем не менее, его считают философом и гностиком, хорошо владевшим различными областями исламской философской мысли, которые он объединял и обобщал образом, напоминающим традиции более поздних мудрецов, таких как Кутб аль-Дин Ширази и Баба Афзал Кашани, которые будучи специалистами в различных областях знаний, предприняли попытку объединить различные традиции в философии, гносисе и теологии[41].

Жизнь [править]

О жизни Низами сохранилось мало информации, но точно известно, что он не был придворным поэтом, так как опасался, что в такой роли он утратит честность, и хотел, прежде всего, свободы творчества[42]. Вместе с тем, следуя традиции, свои произведения Низами посвящал правителям из различных династий. Так, поэму «Лейли и Меджнун» Низами посвятил Ширваншахам, а поэму «Семь красавиц» — сопернику Ильдегизидов — одному из атабеков Мараги (Ахмадилизов) Ала ал-Дину[43].

Низами, как указывалось, жил в Гяндже. Он был женат трижды[44]. Первая и любимая жена, рабыня-половчанка Афак (которой он посвятил много стихов), «величавая обликом, прекрасная, разумная», была подарена ему правителем Дербента Дара Музаффар ад-Дином примерно в 1170 году. Низами, освободив Афак, женился на ней. Около 1174 г. у них родился сын, которого назвали Мухаммед. В 1178 или 1179 году, когда Низами заканчивал поэму «Хосров и Ширин», его жена Афак умерла. Две другие жены Низами также умерли преждевременно, притом, что смерть каждой из жён совпадала с завершением Низами новой эпической поэмы, в связи с чем поэт сказал:

Боже, почему за каждую поэму я должен пожертвовать женой!

[45][46]

Низами жил в эпоху политической нестабильности и интенсивной интеллектуальной активности, что отражено в его поэмах и стихах. Ничего не известно о его взаимоотношениях с его покровителями, как и не известны точные даты, когда были написаны его отдельные произведения, так как многое является плодом фантазий его биографов, которые жили позже него[47]. При жизни Низами удостаивался почестей и пользовался уважением. Сохранилось предание о том, что атабек тщетно приглашал Низами

ко двору, но получил отказ, однако считая поэта святым человеком, подарил Низами пять тысяч динаров, а позже передал ему во владение 14 деревень[48].

Сведения о дате его смерти противоречивы также, как и дата его рождения. Средневековые биографы указывают различные данные, расходясь примерно на тридцать семь лет (575—613/1180-1217) в определении года смерти Низами. Сейчас только точно известно, Низами умер в 13 в[49]. Датировка смерти Низами 605 годом хиджры (1208/1209 год) основана на арабской надписи из Гянджи, опубликованной Бертельсом[50]. Другое мнение основано на тексте поэмы «Искандер-наме». Кто-то из близких Низами лиц, возможно, его сын, описал смерть поэта и включил эти строки во вторую книгу об Искандере, в главу, посвящённую смерти античных философов — Платона, Сократа, Аристотеля. В этом описании указан возраст автора по мусульманскому календарю, что соответствует дате смерти в 598 году хиджры (1201/1202 годы)[51]:

Шестьдесят было лет и три года ему,
И шесть месяцев сверх, — и ушёл он во тьму,
Всё сказав о мужах, озарявших своими
Поученьями всех, он ушёл вслед за ними.

(пер. К. Липскерова)

[52]

Творчество

Культура Персии эпохи Низами знаменита благодаря традиции, имеющей глубокие корни, великолепию и роскоши. В доисламские времена она развила чрезвычайно богатые и безошибочные средства выражения в музыке, архитектуре и в литературе, хотя Иран, её центр, был постоянно подвержен набегам вторгавшихся армий и иммигрантов, эта традиция была в состоянии вобрать в себя, трансформировать и полностью преодолеть проникновение инородного элемента. Александр Великий был только одним из многих завоевателей, кто был пленён персидским образом жизни[53]. Низами был типичным продуктом иранской культуры. Он создал мост между исламским и доисламским Ираном, а также между Ираном и всем древним миром[54]. Хотя Низами Гянджеви жил на Кавказе — на периферии Персии, в своем творчестве он продемонстрировал центростремительную тенденцию,

которая проявляется во всей персидской литературе, как с точки зрения единства её языка и содержания, так и в смысле гражданского единства, и в поэме «Семь красавиц» написал, что Иран — «сердце мира» (в русском переводе «душа мира»)[55][56][57][58][59]:

Вся вселенная — лишь тело, а Иран — душа.

Говорю об этом смело, правдою дыша.

Дух земли — Иран. И ныне — внемли каждый слух:

Пусть прекрасно тело мира — выше тела дух.

(перевод В. Державина)

Оригинальный текст (перс.) [показать]

[60]

Литературное влияние

По мнению профессора Челковского, «любимым занятием Низами было чтение монументального эпоса Фирдоуси Шахнаме („Книга царей“»)[61]. Хотя на творчество Низами влияние оказали и другие персидские поэты, такие как Катран Тебризи (англ.)русск., Санай, Гургани и историк Ат-Табари, творчество Фирдоуси для Низами было источником вдохновения и материалом для создания поэмы «Искандер-наме». Низами постоянно ссылается на «Шахнаме» в своих произведениях, особенно в прологе «Искандер-наме». Можно считать, что он всегда восхищался произведением Фирдоуси и, поставив себе в жизни цель — написать героический эпос, равный поэме Фирдоуси «Шахнаме», использовал поэму «Шахнаме», как источник для создания трёх эпических поэм — «Семь красавиц», «Хосров и Ширин» и «Искандер-наме»[62]. Низами назвал Фирдоуси «хакимом» — «мудрецом», «даанаа» — «знающим» и большим мастером ораторского искусства, «который украсил слова, подобно новобрачной». Он советовал сыну Ширваншаха прочесть «Шахнаме» и запомнить значимые высказывания мудреца[63]. Однако, согласно Е. Э. Бертельсу, «Низами считает свои стихи выше творений Фирдоуси», «Он собирается „палас“ переделать в „шёлк“, „серебро“ превратить в „золото“»[64].

Большое влияние на Низами оказало творчество персидского поэта XI века Гургани. Позаимствовав большинство своих сюжетов у другого великого персидского поэта Фирдоуси, основу для своего искусства написания поэзии, образность речи и композиционную технику Низами взял у Гургани. Это

заметно в поэме «Хосров и Ширин», и особенно в сцене спора влюблённых, которая имитирует главную сцену из поэмы Гургани «Вис и Рамин». Кроме того, поэма Низами написана тем же метром (хазадж), которым написана поэма Гургани. Влиянием Гургани на Низами можно также объяснить увлеченность последнего астрологией[65].

Своё первое монументальное произведение Низами написал под воздействием поэмы персидского поэта Санаи «Сад истин» («Хадикат аль-Хакикат»)[66][67].

Стиль и мировоззрение

Памятник Низами Гянджеви в Баку. Скульптор Ф. Г. Абдурахманов, 1949

Низами писал поэтические произведения, но они отличаются драматичностью. Сюжет его романтических поэм тщательно построен так, чтобы усилить психологическую сложность повествования. Его герои живут под давлением действия и должны срочно принимать решения, чтобы познать самих себя и других[68]. Он рисует психологические портреты своих героев, раскрывая богатство и сложность человеческой души, когда они сталкиваются с сильной и несокрушимой любовью[69].

С одинаковым мастерством и глубиной Низами изобразил как простых людей, так и царственных особ. С особым теплом Низами изобразил ремесленников и мастеровых. Низами нарисовал образы художников, скульпторов, архитекторов и музыкантов, которые часто становились ключевыми образами в его поэмах[70]. Низами был мастером жанра романтического эпоса. В своих чувственно-эротических стихах Низами объясняет, что заставляет человеческие существа вести себя так, как они, раскрывая их безрассудность и величие, их борьбу, страсти и трагедии[71]. Для Низами правда составляла суть поэзии. На основании такого подхода Низами обрушивал свой гнев на придворных поэтов, которые продавали свой талант за земное вознаграждение. В творчестве Низами искал вселенской справедливости и пытался защитить бедных и смиренных людей, а также исследовать невоздержанность и произвол сильных мира сего. Низами предупреждал людей о преходящей природе жизни[72]. Размышляя о судьбе людей и будучи гуманистом, Низами в поэме «Искандер-наме» предпринял попытку изобразить совершенное общество — утопию[73].

Низами был поэтом-мистиком, однако в творчестве Низами невозможно отделить мистическое от эротики, духовное от светского[74]. Его мистицизм с характерным для того символизмом основывается на сути суфийской концепции[75]. Вместе с тем, известно, что официально Низами не был принят в

какой-либо суфийский орден[76]. Более вероятно, что Низами представлял аскетический мистицизм, схожий с мистицизмом Газали и Аттара, к которому склонность поэта к независимым суждениям и поступкам добавила более различные особенности[77].

В поэзии Низами отразились суфийские традиции, символы и образы. Так, в поэме «Сокровищница тайн» Низами, чье творческое наследие является общепризнанным хранилищем иранских мифов и легенд, проиллюстрировал то, как образ розы (гол или гул[78]) воспринимался в представлениях людей средневековой Персии[38]. В исламской традиции роза ассоциируется с Пророком Мухаммедом, что выражается множеством способов в религиозных текстах и художественном творчестве[79]. Для распространения в Иране этой традиции существовали предпосылки в доисламской культуре и религии, в которой с каждым божеством ассоциировался определённый цветок. Культура цветов в Иране всегда была тесно связана с культивацией персидского сада. Средневековый персидский сад в форме четырёхчастного архитектурного сада (чагарбаг) был прямым производным древнеперсидского «райского сада» (парадаиза) Ахеменидских царей, который составлял часть имперской дворцовой системы. Даже распространение ислама в Иране не оказало негативного влияния на культуру персидского сада[80]. Розы, которые выращивались в Иране с древности[81], являлись обязательной составляющей средневекового персидского сада. В средневековой персо-исламской культуре, и в поэзии в частности, которая является самым тонким выражением персидского творческого гения, образ розы применялся как средство передачи различных идей. Роза считалась царственным цветком и символом красоты. Символизм розы в персидской культуре уходит своими корнями в доисламскую эпоху, когда цветок розы ассоциировался с зороастрийским божеством Даэной (англ.)русск., одним из женских язатов (англ.)русск.[82]. Роза стала особенно сильным символом в мистической традиции, начиная с XII в., пропитав персидскую религиозную мысль и литературную культуру[83]. Как и многие персидские поэты-мистики (Руми, Аттаром, Саади) Низами использовал образ розы, как символическое описание божественности[84]. В образном строе персидской поэзии любовь соловья к розе символизировала стремление души мистика к божественному[85]. Так, Руми утверждал, что аромат розы является намеком на тайну божественной действительности, которая лежит в основе всех вещей[86], и убеждал мистиков отказаться от своей плотской сущности, чтобы стать подобным аромату розы и направлять других в божественный Розовый сад[87]. Руми объясняет аромат розы, как символизирующий «дыхание разума и здравомыслия»[88]. Следуя этой традиции, Низами раскрыл мистический символизм розы в состязании двух придворных врачей в поэме «Сокровищница тайн». Хотя рассказанная Низами притча указывает на силу психологического внушения, мистическая природа аромата розы служит в качестве метафоры, как в поэме Низами, так и в классических текстах средневековой персидской поэзии[89].

Низами хорошо знал исламскую космологию, и эти знания он претворил в своей поэзии. Согласно исламской космологии[источник не указан 61 день] Земля располагалась в центре в окружении семи планет: Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера и Сатурна, считавшихся представителями Бога, которые своим движением воздействуют на живых существ и события на Земле[источник не указан 61 день]. Так, описывая рождение Бахрама и построение его гороскопа мудрецами и звездочетами в поэме «Семь красавиц», Низами, который хорошо разбирался в астрологии, предрек черты характера и судьбу Бахрама:

Поднялась в ту ночь к Плеядам месяца глава,
 Апогей звезды Бахрама был в созвездье Льва.
 Утарид блеснул под утро в знаке Близнецов,
 А Кейван от Водолея отогнал врагов.

(пер. Вл. Державина)

[90]

Низами был твердо уверен, что единство мира можно воспринять посредством арифметики, геометрии и музыки. Он также знал нумерологию и считал, что числа являются ключом от взаимосвязанной вселенной, так как посредством чисел множество становится единством, а диссонанс — гармонией[91]. В поэме «Лейли и Меджнун» он приводит нумерологическое значение своего имени — Низами, называя число 1001:

Мне «Низами» прозвание дано,
 Имен в нем тыща и еще одно.
 Обозначенье этих букв благих

Надежней стен гранитных крепостных.

(Перевод Т. Стрешневой)

[92]

Язык поэм и стихов Низами отличается необычностью. Низами писал на персидском языке, подняв его на новую высоту благодаря использованию аллегорий, притч и многозначных слов[93]. Он ввёл новые и прозрачные развёрнутые метафоры и образы, создал неологизмы[94]. Низами использует различные стилистические фигуры (гипербола, анафора), повторы (мукаррар), аллюзию, сложные слова и образы, которые объединяет с различными элементами повествования для увеличения силы их воздействия[95]. Стиль Низами также отличается тем, что он избегает употребления обычных слов для описания действий, эмоций и поведения своих героев[96]. Другой особенностью Низами является создание афоризмов. Так, в поэме «Лейли и Меджнун» Низами создал стиль, который отдельные авторы назвали «стилем эпиграмм», а многие из созданных Низами афоризмов стали пословицами[97]. Низами использует в своей поэзии разговорную речь. Его язык богат идиомами, стилистически прост, особенно в диалогах и монологах[98]. Сам Низами назвал свой стиль «гариб», что переводится, как «редкий, новый». Себя же он называл «волшебником слов» и «зеркалом незримого»[99].

По мнению Е. Э. Бертельса Низами по вероисповеданию был мусульманином-суннитом, а также питал отвращение к крайним шиитам, карматам и исмаилитам. В поддержку последнего он привожит следующие строки Низами[100]:

Знамя Исхака им вознесено, если у него и есть противник, то это — исмаилит.

Произведения

До наших дней сохранилась только небольшая часть лирической поэзии Низами, в основном это касыды (оды) и газели (лирические стихи). Сохранившийся лирический „Диван“ Низами составляет 6 касыд, 116 газелей, 2 кит’а и 30 рубаи. Однако, по словам средневековых биографов Низами, это лишь небольшая часть его лирики. Небольшое число его рубаи (четверостиший) сохранились в антологии персидской поэзии Нузхат ол-Маджалис, составленной персидским поэтом XIII в. Джамалом ал-Дином Халилом Ширвани[101], однако впервые описанной только в 1932 г[102].

Хамсе („Пятерица“)

Основная статья: Хамсе

Миниатюра из рукописи Хамсе, датированная 1494 г., изображающая восхождение Мухаммеда на Бураке из Мекки на небеса (Мирадж), а также многокрылого архангела Гавриила (справа)

Основными произведениями Низами являются пять поэм, объединённых общим названием „Пандж Гандж“, что переводится с персидского как „Пять драгоценностей“, более известных как „Пятерица“ (от „хамсе“ — персидского произношения арабского слова „хамиса“ — „пять“).

Поэма „Махсан аль-Асрар“ (перс. *الاسرار مخزن*) — „Сокровищница тайн“, написанная в 1163 г. (хотя некоторые исследователи датируют её 1176 г.), посвящена правителю Эрзинджана Фахр ад-дину Бахрам-шаху (1155—1218). Поэма „Хосров и Ширин“ (перс. *شهریار و خسرو*) была написана в течение 16 лунных лет между 1175/1176 и 1191 г. и посвящена сельджукскому султану Тогрулу III (1175—1194), атабеку Мухаммаду ибн Элдигизу Джухан Пахлавану (1175—1186) и его брату Кызыл-Арслану (1186—1191)[103]. Поэма „Лейли и Меджнун“ (перс. *مجنون و لیلی*), написанная в 1188 году, посвящена ал-Малик ал-Муаззам Джалал ад-Даула ва-д-Дин Абу-л-Музаффар Ахситан ибн Минучихр Ширваншаху (1160—1196)[104]. „Хафт пейкар“ (в русском переводе известная как „Семь

красавиц“) (перс. *پي کر هفت*) написана в 1197 году и посвящена правителю Мараги Аладдину Курп-Арслану[105]. Поэма Низами „Искандер-наме“ (перс. *اسد ک ندرز نامه*), название которой переводится как „Книга Александра“, написана между 1194 и 1202 гг. и посвящена малеку Ахара Носрат-ал-Дин Бискин бин Мохаммаду[106] из династии Пишкинидов (англ.)русск. (1155—1231) грузинского происхождения, которые были вассалами Шеддаидов Аррана[104].

Все пять поэм написаны в стихотворной форме маснави (двустуший), а общее количество двустуший составляет 30 000[107]. Поэма „Сокровищница тайн“ состоит из 2260 маснави, написанных в метре „сари“ (- 0 0 — / — 0 0 — / — 0 -). Поэма „Хосров и Ширин“ состоит из примерно 6500 маснави, написанных в метре „хазадж“ (0 — - -). Поэма „Лейли и Меджнун“ состоит из 4600 маснави в метре „хазадж“. „Семь красавиц“ насчитывает около 5130 маснави в метре „кафиф“ (-0-/-0-0-/00-). „Искандер-наме“, состоящая из двух частей, в общей сложности содержит около 10 500 маснави в метре „мотагареб“ (0 - - / 0 - - / 0 - - / 0 - -)[108][109], которым написана поэма Фирдоуси „Шах-намэ“[110].

Первая из поэм — „Сокровищница тайн“ — была написана под влиянием монументальной поэмы Санаи (умер в 1131 г.) „Сад правды“[111]. В основе поэм „Хосров и Ширин“, „Семь красавиц“ и „Искандер-наме“ лежат средневековые рыцарские истории. Герои поэм Низами Хосров и Ширин, Бахрам-и Гур и Александр Великий, которые появляются в отдельных эпизодах в поэме „Шахнаме“ Фирдоуси, в поэмах Низами помещены в центр сюжета и стали главными героями трёх его поэм. Поэма „Лейли и Меджнун“ написана на основе арабских легенд. Во всех пяти поэмах Низами значительно переработал материал использованных источников.

Следует отметить, что в поэмах Низами содержатся уникальные данные, которые сохранились до наших дней именно благодаря его описаниям. Так, например, одним из предметов очарования „Хамсе“ являются детальные описания музыкантов, что сделало поэмы Низами главным источником современных знаний о персидском музыкальном творчестве и музыкальных инструментах XII века[112]. Несмотря на интерес Низами к обычным людям, поэт не отрицал институт монархической формы правления и считал, что он является интегральной, духовной и священной частью персидского образа жизни[113].

„Сокровищница тайн“

Миниатюра тебризской школы XVI века „Султан Санджар и старуха“ Султана Мухаммеда

Поэма „Сокровищница тайн“ раскрывает эзотерические, философские и теологические темы и написана в русле суфийской традиции, в связи с чем служила образцом для всех поэтов, впоследствии писавших в

этом жанре. Поэма разделена на двадцать речей-притч, каждая из которых является отдельным трактатом, посвященным религиозным и этическим темам. Каждая глава завершается апострофой (обращением) к самому поэту, содержащей его литературный псевдоним[114]. Содержание стихов указывается в заглавии каждой главы и написано в типичном гомилетическом стиле[114]. Истории, которые обсуждают духовные и практические вопросы, проповедуют справедливость царей, исключение лицемерия, предупреждают о суетности этого мира и необходимости готовиться к жизни после смерти. Низами проповедует идеальный образ жизни, привлекая внимание к своему читателю людей высшего социального положения среди творений Божьих, а также пишет о том, что человек должен думать о своем духовном предназначении[114]. В нескольких главах Низами обращается к обязанностям царей, но в целом он скорее обращается ко всему человечеству[114], чем к своему царственному покровителю. Написанная в высоко риторическом стиле поэма „Сокровищница тайн“ не является романтической эпической поэмой, её цель — переступить ограничения придворной светской литературы[114]. Этим произведением Низами продолжил направление, которое открыл в персидской поэзии Санаи и которое было продолжено многими персидскими поэтами, ведущим среди которых является Аттар[114].

„Хосров и Ширин“

Поэма „Хосров и Ширин“ — первый шедевр Низами. При её написании Низами испытал влияние поэмы Гургани „Вис и Рамин“[115]. Поэма „Хосров и Ширин“ стала поворотной точкой не только для Низами, но и для всей персидской поэзии. Более того, её считают первой поэмой в персидской литературе, достигшей полного структурного и артистического единства[116]. Это также суфийское произведение, аллегорически изображающее стремление души к Богу; но чувства изображены настолько живо, что неподготовленный читатель даже не замечает аллегории, воспринимая поэму как романтическое любовное произведение. В основе сюжета поэмы лежит правдивая история, и герои являются историческими личностями. Низами утверждал, что источником для него послужила рукопись, хранившаяся в Барде[117]. История жизни Хосрова II Парвиза (590—628 гг.) была описана в исторических документах и подробно рассказана в эпико-исторической поэме Фирдоуси «Шахнаме». Однако о событиях, связанных с восхождением на престол Хосрова II Парвиза и годами его правления, Низами упоминает лишь кратко[118]. В своей поэме Низами рассказывает о трагической любви Хосрова, сасанидского царевича, затем шаха Ирана[119], и прекрасной армянской[120][121][122] принцессы Ширин, племянницы (дочь брата) Шемиры (звали Мехин Бану) — могучей правительницы христианского Аррана (Албании) вплоть до Армении[123], где они проводили лето. За этим сюжетом скрыта история души, погрязшей в грехах, которые не дают ей, при всем желании, соединиться с Богом.

«Лейли и Меджнун» [править]

Лейли и Меджнун

Поэма «Лейли и Меджнун» разрабатывает сюжет старинной арабской легенды о несчастной любви юноши Кайса, прозванного «Меджнун» («Безумец»), к красавице Лейли. Эта романтическая поэма относится к жанру «удри» (иначе «одри»). Сюжет поэм этого жанра прост и вращается вокруг безответной любви. Герои удри являются полувымышленными-полуисторическими персонажами, и их поступки похожи на поступки персонажей других романтических поэм этого жанра[124]. Низами персифицировал арабскую-бедуинскую легенду, представив героев в качестве персидских аристократов. Он также перенес развитие сюжета в городскую среду и добавил несколько персидских мотивов, украсив повествование также описаниями природы[125]. В основе сюжета поэмы легенда о трагической любви поэта Кайса и его двоюродной сестры Лейлы, но существует и общий смысл поэмы — безграничная любовь, находящая выход лишь в высокой поэзии и ведущая к духовному слиянию любящих. Поэма была опубликована в различных странах в различных версиях текста. Однако иранский ученый Хасан Вахид Дастджерди в 1934 г. осуществил публикацию критического издания поэмы, составив её текст из 66 глав и 3657 строф, опустив 1007 куплетов, определив их как более поздние интерполяции, хотя он допускал, что некоторые из них могли быть добавлены самим Низами[126].

«Семь красавиц»

Название поэмы «Хафт пейкар» дословно можно перевести как «семь портретов», также возможно перевести как «семь принцесс». Поэма известна и под названием «Хафт гундбад» — «семь куполов»[127], что отображает метафорическое значение названия. Сюжет каждой из семи новелл — любовное переживание, причём, в соответствии с переходом от чёрного цвета к белому, грубая чувственность сменяется духовно просветлённой любовью.

Сюжет поэмы основан на событиях персидской истории и легенде о Бахраме Гуре (Бахрам V), сасанидском шахе, отец которого, Йездигерд I, двадцать лет оставался бездетным и заимел сына только после того, как обратился к Ахура Мазде с мольбами дать ему ребёнка. После долгожданного рождения Бахрама по совету мудрецов его отправляют на воспитание к арабскому царю Номану. По приказу Номана был построен прекрасный новый дворец — Карнак. Однажды в одной из комнат дворца Бахрам находит портреты семи принцесс из семи разных стран, в которых он влюбляется[128]. После смерти отца Бахрам возвращается в Персию и восходит на престол. Став царем, Бахрам предпринимает поиски семи принцесс и, отыскав их, женится на них.

Вторая тематическая линия поэмы — превращение Бахрама Гура из легкомысленного царевича в справедливого и умного правителя, борющегося с произволом и насилием. Пока взошедший на престол Бахрам был занят своими женами, один из его министров захватил власть в стране. Неожиданно Бахрам обнаруживает, что в делах его царства царит беспорядок, казна пуста, а соседние правители собираются на него напасть. Расследовав деяния министра, Бахрам приходит к выводу, что тот виновен в бедах, постигших царство. Он приговаривает злодея-министра к смертной казни и восстанавливает справедливость и порядок в своей стране. После этого Бахрам приказывает превратить семь дворцов своих жён в семь зороастрийских храмов для поклонения Богу, а сам Бахрам отправляется на охоту и исчезает в глубокой пещере. Пытаясь найти дикого осла (gūr), Бахрам находит свою могилу (gūr)[129].

«Искандер-наме»

Искандер на охоте

Низами считал поэму «Искандер-наме» итогом своего творчества, по сравнению с другими поэмами «Хамсе» она отличается некоторой философской усложнённостью. Поэма является творческой переработкой Низами различных сюжетов и легенд об Искандере — Александре Македонском, образ которого Низами расположил в центре поэмы. С самого начала Александр Македонский выступает как идеальный государь, воюющий только во имя защиты справедливости. Поэма состоит из двух формально независимых частей, написанных рифмованными куплетами и согласно метру «мотакареб» (аруз), которым написана поэма «Шахнаме»: «Шараф-наме» («Книга славы») и «Икбал-наме» или иначе «Кераб-наме» («Книга судьбы»). «Шараф-наме» описывает (на основе восточных легенд) жизнь и подвиги Искандера. «Икбал-наме» композиционно делится на два больших раздела, которые можно озаглавить как «Искандер-мудрец» и «Искандер-пророк»[130].

Долгое время вызывало сомнения время создания поэмы и очередность её расположения внутри сборника «Хамсе». Однако в начале «Шараф-наме» Низами сказал, что ко времени написания тех строк уже он создал «три жемчужины» перед тем, как начать «новый орнамент», что подтвердило время создания. Кроме того, Низами оплакивает смерть Ширваншаха Аксатана, которому Низами посвятил поэму «Лейли и Маджнун», и адресует свои наставления его преемнику. Ко времени завершения поэмы власть династии Ширваншахов в Гяндже ослабла, поэтому Низами посвятил поэму малеку Ахара Носрат-аль-Дин Бискин бин Мохаммаду, которого Низами упоминает во введении к «Шараф-наме»[131].

Основные эпизоды легенды об Александре, которые известны в мусульманской традиции, собраны в «Шараф-наме»[132][133]. В «Икбал-наме» Александр — бесспорный властитель мира, показан уже не как воин, но как мудрец и пророк[134]. Не менее существенную часть составляют притчи, не имеющие прямого отношения к истории Александра. В завершение Низами рассказывает о конце жизни Александра и обстоятельствах смерти каждого из семи мудрецов. В этой части добавлена интерполяция

о смерти самого Низами[135]. В то время как «Шараф-наме» относится к традиции персидской эпической поэзии, в «Икбал-наме» Низами продемонстрировал свои таланты дидактического поэта, рассказчика анекдотов и миниатюриста[136].

Низами в средние века [править]

Доулатшах Самарканди назвал Низами самым изысканным писателем эпохи, в которую он жил. А Хафиз Ширази посвятил ему строки, в которых пишет о том, что «все сокровища прошедших дней не могут сравниться со сладостью песен Низами»[137].

Труды Низами оказали громадное влияние на дальнейшее развитие восточной и мировой литературы вплоть до XX века. Известны десятки назире (поэтических «ответов») и подражаний поэмам Низами, создававшихся начиная с XIII века и принадлежащих в том числе Алишеру Навои, индоперсидскому поэту Амиру Хосрову Дехлеви и др. Многие поэты в последующие века имитировали творчество Низами, даже если они не могли сравняться с ним и, конечно, не смогли превзойти его, — персы, турки, индусы, если назвать только наиболее важных. Персидский ученый Хекмет перечислил не менее сорока персидских и тридцати турецких версий поэмы «Лейли и Маджнун»[138].

Творчество Низами оказало большое влияние на дальнейшее развитие персидской литературы. Не только каждая из его поэм, но и в целом все пять поэм Хамсе, как единое целое стали образцом, которому подражали и с которым соперничали персидские поэты в последующие века[139].

С сюжетами произведений Низами тюркоязычные читатели ознакомились ещё в средние века по подражаниям его поэмам и своеобразным поэтическим ответам тюркоязычных поэтов.

Поэмы Низами предоставили персидскому искусству миниатюры обилие творческого материала, вместе с поэмой Фирдоуси «Шахнаме» став наиболее иллюстрированными среди произведений персидской литературы[140].

Переводы и издания произведений Низами [править]

Основная статья: Переводы и издания произведений Низами Гянджеви

Первые переводы произведений Низами на западноевропейские языки стали осуществляться, начиная с XIX века. В 1920-30-х годах русские переводчики и исследователи перевели отдельные фрагменты из поэм «Семь красавиц», «Лейли и Меджнун» и «Хосров и Ширин». Перевод всех сочинений Низами с персидского на азербайджанский осуществлен в Азербайджане.

Первую попытку критического издания поэм Низами предпринял Хасан Вахид Дагджерди, осуществив издание поэм в Тегеране в 1934—1939 гг[141]. Одним из лучших изданий произведений Низами

является издание поэмы «Семь красавиц», которое было осуществлено Хельмутом Риттером и Яном Рыпкой в 1934 г. (Prague, printed Istanbul, 1934) на основании пятнадцати рукописей с текстами поэмы и изданной в Бомбее в 1265 г. литографии[142]. Это одно из немногих изданий классического персидского текста, в котором применена строгая тексто-критическая методология[143].

Значение творчества

И. В. Гёте создал свой «Западно-восточный диван» под влиянием персидской поэзии. В «Комментариях и эссе относительно Западно-восточного дивана» («Noten und Abhandlungen zum West-östlichen Divan») Гёте отдал дань уважения Низами в числе таких персидских поэтов, как Фирдоуси, Анвари, Руми, Саади и Джами, однако наибольшее влияние на Гёте при создании «Западно-восточного дивана» оказала поэзия Хафиза[144] и его «Диван»[145][146]. В самом же сборнике «Западно-восточный диван» Гёте обращается к Низами и упоминает героев его поэм[147][148]:

Мука любви без любовных отрад, —

Это Ширин и Ферхад.

В мир друг для друга пришли, —

Это Меджнун и Лейли.

Пер. с немецкого В. Левика

В «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина Низами называется «персидским стихотворцем XII века» и упоминается в связи с рассказом о походе руссов в поэме «Искандер-наме»[149]. «Одним из славнейших эпических поэтов Персии» называет Низами в труде «О древних походах руссов на Восток» историк-востоковед В. В. Григорьев. По его мнению, Низами «был учёнейшим и славнейшим мужем своего времени»[150]. Г. Спасский-Автономов, командированный в Тегеран для изучения персидского языка, свидетельствует, что «между поэтов персидские критики выше всех славят Низами». Г. Спасский-Автономов пишет, что Низами «был суфа — то есть мистик». Свой особый интерес к творчеству Низами он объясняет тем, что в Персии поэтов Саади, Фирдоуси и Анвари называют пророками, а Низами — богом среди поэтов[151].

По мнению авторов «The Encyclopedia Americana», хотя в начале XX в. имя и творчество Низами не было широко известно на Западе, в Персии он считается одним из классиков персидской литературы,

среди которых он, возможно, второй после Фирдоуси[152][153] [154]. В начале XX в. Низами в Персии почитался одним из семи великих персидских поэтов[155].

В Иране творчество Низами до сих пор пользуется большой популярностью. У иранцев с древности существует традиция декламации поэтических произведений, что можно регулярно услышать по радио, наблюдать по телевидению, в литературных обществах, даже в чайных и в повседневной речи. Существует специальный конкурс по декламации поэзии, который называется «Муша-арех». Творчество Низами, его живое слово служит источником и символом этой древней традиции[156].

Сюжет поэмы «Семь красавиц» («Хафт пейкар») Низами послужил основой для написания оперы Джакомо Пуччини «Турандот», первое представление которой состоялось 25 апреля 1926 года в Милане (Италия), что является иллюстрацией длительной известности Низами, проникающей за пределы персидской литературы[157].

Азербайджанские композиторы неоднократно обращались к творчеству и к образу Низами, как, например, Узеир Гаджибеков (вокальные миниатюры на слова Низами «Сенсиз» («Без тебя») и «Севгили джанан» («Возлюбленная»)), Ниязи (камерная опера «Хосров и Ширин», 1942), Фикрет Амиров (симфония «Низами», 1947), Афрасияб Бадалбейли (опера «Низами», 1948). Советский композитор Кара Караев дважды обращался к сюжету «Семи красавиц»: вначале им была написана одноимённая симфоническая сюита (1949), а потом, в 1952 году — балет «Семь красавиц», принесший композитору мировую славу. Художественный фильм Азербайджанской студии «Лейли и Меджнун» был снят (1961) на основе одноименных произведений Низами и Физули. Пять фильмов азербайджанских кинематографистов были посвящены Низами, в их числе художественный фильм «Низами» (1982) с Муслимом Магомаевым в главной роли.

Проблема культурной идентичности Низами

Культурная идентичность Низами является предметом разногласий с 40-х годов XX века, когда ряд советских исследователей заявили о наличии у Низами азербайджанского самосознания.

Виктор Шнирельман отмечает, что до 40-х годов XX-го века культурная идентичность Низами не дискутировалась, он признавался персидским поэтом[159][160][161][162][163] [164] [165][166]; однако после 1940 года на территории СССР Низами стал на официальном уровне считаться азербайджанским поэтом[167].

В статье в БСЭ 1939 года под редакцией Крымского Низами называется азербайджанским поэтом и мыслителем[168]. Аналогичного мнения о национальности Низами придерживался и известный советский востоковед Бертельс[169][170]. После 1940 года все советские исследователи и энциклопедии

признают Низами азербайджанским поэтом[171][172][173] [174][175] [176][177][178][179]. После распада СССР ряд постсоветских источников продолжают считать Низами азербайджанским поэтом[180] [181], однако ряд российских учёных вновь говорит о персидской идентичности Низами[182] [183] [184].

Азербайджанские исследователи Низами считают, что в стихах поэта присутствуют примеры азербайджанского самосознания[185][186][187]. Азербайджанский автор Рамазан Кафарлы полагает, что Низами писал не по-тюркски, а по-персидски, так как «на Востоке можно было бы скорее прославиться и распространить свои воззрения в различных странах посредством персидского и арабского языков»[185].

В свою очередь, иранские исследователи приводят аналогичные примеры персидского самосознания в стихах Низами и отмечают, что в его стихах «тюрк» или «индус» не национальности, а поэтические символы[188].

За пределами СССР в большинстве[189] академических трудов[190] [191] [192] [193] [194] [195] (в том числе и турецких авторов[196] [197]) и авторитетных энциклопедий: Британника, Лярусс, Ираника, Брокгауз и пр.[198][199][200][201][202][203][204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] Низами признается персидским поэтом.

Ряд американских специалистов по новейшей истории считает, что Низами — пример синтеза тюркской и персидской культур и пример вклада Азербайджана в такой синтез[213][214], эта точка зрения подвергается критике как следующая советским идеологическим воззрениям[215][216].

Некоторые советские и иностранные учёные полагают, что «азербайджанизация» Низами в СССР в 40-х годах XX века была политически мотивированной государственной акцией[167] [184] [188] [217] [218] [219] [220].

В 1981 и 1991 годах в СССР были выпущены юбилейные почтовые марки с символическим изображением Низами и надписью, гласящей, что Низами — «азербайджанский поэт и мыслитель».

Примечания

↑ Peter J. Chelkowski. "Mirror of the Invisible World". — New York: Metropolitan Museum of Art, 1975. — С. 6. — 117 с.

«Nizami’s strong character, his social sensibility, and his poetic genius fused with his rich Persian cultural heritage to create a new standard of literary achievement. Using themes from the oral tradition and written historical records, his poems unite pre-Islamic and Islamic Iran»

↑ 1 2 3 Chelkowski, P., "Nizāmī Gandjawi, Djamal al-Dīn Abū Muḥammad Ilyās b. Yūsuf b. Zakī Mu'ayyad", in P.J. Bearman, Th. Bianquis, K. Эд. Босворт (англ.)русск., E. van Donzel and W.P. Heinrichs, Энциклопедия ислама Online, Brill Academic Publishers, ISSN 1573-3912

UNESCO recognised the 1141 date as his birth date and declared 1991 the year of Nizāmī.

↑ К. А. Luther ATĀBAKĀN-E ĀḌARBĀYJĀN (eng). Encyclopedia. Iranica (December 15, 1987). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 2 сентября 2010.

ATĀBAKĀN-E ĀḌARBĀYJĀN, an influential family of military slave origin, also called Ildegozids, ruled parts of Arrān and Azerbaijan from about 530/1135-36 to 622/1225; as «Great Atābaks» (atābakān-e a'zam) of the Saljuq sultans of Persian Iraq (western Iran), they effectively controlled the sultans from 555/1160 to 587/1181; in their third phase they were again local rulers in Arrān and Azerbaijan until the territories which had not already been lost to the Georgians, were seized by Jalāl-al-dīn Q̄ārazmšāh in 622/1225.

↑ К. А. Luther ATĀBAKĀN-E ĀḌARBĀYJĀN (eng). Encyclopedia. Iranica (December 15, 1987). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 2 сентября 2010.

İldegoz... He also sought to secure his position on the edges of the declining Saljuq empire by gaining control over parts of Azerbaijan; he probably gained clear control over it only after the death of Mas'ūd's last favorite, Q̄āşş Beg Arslān b. Palangarī in 548/1153, who had been given a position in that area as well.

↑ Barthold, W., C. E. Bosworth. Encyclopaedia of Islam - Shirwan Shāh / P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs. — Brill, 1997. — T. 9. — C. 488.

We can also discern the progressive Persianisation of this originally Arab family (a process parallel to and contemporary with that of the Kurdicisation of the Rawwadids [q.v.] in Adharbaydjan). After the Shah Yazid b. Ahmad (381—418/991-1028), Arab names give way to Persian ones like Manuchihr, Kubadh, Faridun, etc., very likely as a reflection of marriage links with local families, and possibly with that of the ancient rulers in Shabaran, the former capital, and the Yazidids now began to claim a nasab going back to Bahrain Gur or to Khusraw Anushirwan.

↑ Grousset, Rene. The Empire of the Steppes: A History of Central Asia. — Rutgers University Press, 1970. — C. 161-164. — 718 c. — ISBN 0813513049, 9780813513041

«It is to be noted that the Seljuks, those Turkomans who became sultans of Persia, did not Turkify Persia — no doubt because they did not wish to do so. On the contrary, it was they who voluntarily became Persians and who, in the manner of the great old Sassanid kings, strove to protect the Iranian populations from the plundering of Ghuzz bands and save Iranian culture from the Turkoman menace.»

↑ 1 2 3 4 5 Francois De Blois. Persian Literature - A Biobibliographical Survey: Volume V Poetry of the Pre-Mongol Period / Francois De Blois. — Routledge, 2004. — T. V. — C. 363. — 544 c. — ISBN 0947593470, 9780947593476

Nizami Ganja'i, whose personal name was Piyas, is the most celebrated native poet of the Persians after Firdausi... His nisbah designates him as a native of Ganja (Elizavetpol, Kirovabad) in Azerbaijan, then still a country with an Iranian population, and he spent the whole of his life in Transcaucasia; the verse in some of his poetic works which makes him a native of the hinterland of Qom is a spurious interpolation.

↑ Киракос Гандзакеци. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПЕРИОДА, ПРОШЕДШЕГО СО ВРЕМЕНИ СВЯТОГО ГРИГОРА ДО ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ, ИЗЛОЖЕННАЯ ВАРДАПЕТОМ КИРАКОСОМ В ПРОСЛАВЛЕННОЙ ОБИТЕЛИ ГЕТИК / Ханларян Л. А.. — М.: Наука, 1976. — С. 154. — 356 с.

Глава 21. О разорении города Гандзак — "Этот многолюдный город [Гандзак] был полон персов, а христиан там было мало.

↑ Kirakos Gandzakatsi. Kirakos Gandzakats'i's History of the Armenians / translation from Classical Armenian by Robert Bedrosian. — New York, 1986. — С. 197.

This city was densely populated with Iranians and a small number of Christians.

↑ NOZHAT AL-MAJĀLES. Encyclopædia Iranica. Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 7 сентября 2010.

The most significant merit of Nozhat al-majāles, as regards the history of Persian literature, is that it embraces the works of some 115 poets from the northwestern Iran (Arrān, Šarvān, Azerbaijan; including 24 poets from Ganja alone), where, due to the change of language, the heritage of Persian literature in that region has almost entirely vanished.

↑ V. Minorsky. review of G. H. Darab translation of Makhzan al-Asrar. — BSOAS, 1948. — С. 5. — 441 с.

«...Nizami's mother was of Kurdish origin, and this might point to Ganja where the Kurdish dynasty of Shaddad ruled down to AH. 468; even now Kurds are found to the south of Ganja».

↑ V. Minorsky. Studies in Caucasian History. — Cambridge University Press, 1957. — С. 34.

«The author of the collection of documents relating to Arran Mas'ud b. Namdar (c. 1100) claims Kurdish nationality. The mother of the poet Nizami of Ganja was Kurdish (see autobiographical digression in the introduction of Layli wa Majnun). In the 16th century there was a group of 24 septs of Kurds in Qarabagh, see Sharaf-nama, I, 323. Even now the Kurds of the USSR are chiefly grouped south of Ganja. Many place-names composed with Kurd are found on both banks of the Kur»

↑ Ḥamd-Allāh Mustawfī of Qazwīn The Geographical Part of the NUZHAT-AL-QULŪB (англ.). Persian Literature in Translation. The Packard Humanities Institute. Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 22 января 2011.

Several cities in Īrān are more opulent than many others, Richer and more productive, by reason of climate and soil, [<Arabic>] Of these is Ganjah, so full of treasure, in Arrān, Isfahān in `Irāq, In Khurāsān Marv and Ṭus, in Rūm (Asia Minor) Āq Sarāy.

↑ Peter Chelkowski. *Literature in Pre-Safavid Isfahan*. — Taylor & Francis, Ltd. on behalf of International Society for Iranian Studies, 1974. — T. 7. — С. 112-131.

«The three main literary styles which follow each other consecutively are known as: Khurasani, Iraqi, and Hindi. The time spans of each style are equally flexible. Within these broad geographical divisions we then come across certain „literary schools“ which reflect regional peculiarities and idiosyncrasies and are identified with smaller entities like provinces or towns. For example, there are: the Azerbaijani school, the Tabriz school, or the Shirvan school.»

↑ Ахмад Тамимдари. *История персидской литературы*. — СПб.: Петербургское востоковедение, 2007. — С. 83. — ISBN 5-85803-355-4, ББК Э383-4, УДК 297

↑ Rypka, Jan. "Poets and Prose Writers of the Late Saljuq and Mongol Periods", в "The Cambridge History of Iran". — January 1968. — Т. 5 - The Saljuq and Mongol Periods. — С. 578.

Hakim Jamal al-din Abu Muhammad Ilyas b. Yusuf b. Zaki b. Mu'ayyad Nizami a native of Ganja in Azarbaijan... Little is known of his life, the only source being his own works, which in many cases provided no reliable information.

↑ 1 2 3 4 Nizāmī Ganjavī, *The haft paykar: a medieval Persian romance* / Julie Scott Meisami. — Oxford: Oxford University Press, 1995. — 307 с. — ISBN 0-19-283184-4

«Abû Muhammad Ilyas ibn Yusuf ibn Zaki Mu'ayyad, known by his pen-name of Nizami... He lived in an age of both political instability and intense intellectual activity, which his poems reflect; but little is known about his life, his relations with his patrons, or the precise dates of his works, as the accounts of later biographers are colored by the many legends built up around the poet.»

↑ Julie Scott Meisami. "The Haft Paykar: A Medieval Persian Romance (Oxford World's Classics)". — Oxford University, 1995. — ISBN 0-19-283184-4

«Abû Muhammad Ilyas ibn Yusuf ibn Zaki Mu'ayyad, known by his pen-name of Nizami, was born around 1141 in Ganja, the capital of Arran in Transcaucasian Azerbaijan, where he remained until his death in about 1209.»

↑ Abdolhossein Zarrinkoob. *Nizami, a life-long quest for a utopia // Colloquio sul poeta persiano Nizami e la leggenda iranica di Alessandro magno (ROMA, 25-26 MARZO 1975) / G. Bardi*. — Roma: deH'Accademia Nazionale dei Lincei, 1977. — P. 7.

The generous gifts of these royal patrons, which included a Turkish slave-maid with one or two pieces of land, offered a good opportunity for the poet to work on his poetical craft with the patience of a skillful embroiderer. In fact, some writers of Tadhkiras have stated(4) that embroidering was the inherited profession of the poet's family and that, he himself had renounced it for the sake of poetry, although there is nothing in the poet's work that might assure us of this point. ... But in all these facts, there is nothing to assure us about the poet's craft.

↑ Rypka, Jan, "Poets and Prose Writers of the Late Saljuq and Mongol Periods" "The Cambridge History of Iran" / William Bayne Fisher, Ilya Gershevitch, Ehsan Yar Shater. — Cambridge: Cambridge University Press, 1993. — Т. 5 - The Saljuq and Mongol Periods. — С. 578. — 771 с. — ISBN 052106936X, 9780521069366

As the scene of the greatest flowering of the panegyric qasida, southern Caucasia occupies a prominent place in New Persian literary history. But this region also gave to the world Persia's finest creator of romantic epics. Hakim Jamal al-din Abu Muhammad Ilyas b. Yusuf b. Zaki b. Mu'ayyad Nizami a native of Ganja in Azarbaijan, is an unrivaled master of thoughts and words, a poet whose freshness and vigor all the succeeding centuries have been unable to dull.

↑ 1 2 3 4 Rypka, Jan. Poets and Prose Writers of the Late Saljuq and Mongol Periods', in The Cambridge History of Iran, Volume 5, The Saljuq and Mongol Periods. — January 1968. — С. 578.

«We can only deduce that he was born between 535 and 540 (1140-46) ...»

↑ Chelkowski, P., "Nizāmī Gandjāwī, Djamal al-Dīn Abū Muḥammad Ilyās b. Yūsuf b. Zakī Mu'ayyad", in P.J. Bearman, Th. Bianquis, К. Эд. Босворт (англ.)русск., E. van Donzel and W.P. Heinrichs, Энциклопедия ислама Online, Brill Academic Publishers, ISSN 1573-3912

The traditional biographers, and some modern researchers, differ by six years about the exact date of his birth (535-40/1141-6)...

↑ ПЕРСТЬ - Толковый словарь Даля (рус.). Словари и энциклопедии на Академике. Академик. Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 6 сентября 2010.

пыль, прах, земля, зель; вещество, плоть, материя, противоположно духу

↑ Низами Гянджеви. Избранное. — Баку: «Азернешр», 1989. — 6 с.

↑ букв. — «Горной страны» - города Кум

↑ букв. — «своё имя»

↑ Бертельс Е. Э. Великий азербайджанский поэт Низами. — Баку: издательство АзФАН, 1940. — стр. 26:

«В лучшей и старейшей из известных мне рукописей Низами, принадлежащей Национальной библиотеке в Париже и датированной 763 г. (1360 г. н. э.), этой строки не имеется.»

↑ Nezami (англ.). Encyclopædia Britannica. Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 8 февраля 2011.

Nezāmī, in full Elyās Yūsuf Nezāmī Ganjavī, Nezāmī also spelled Nizāmī (b. c. 1141, Ganja, Seljuq empire [now Ganca, Azerbaijan]—d. 1209, Ganja), greatest romantic epic poet in Persian literature, who brought a colloquial and realistic style to the Persian epic.

↑ Julie Scott Meisami. "The Haft Paykar: A Medieval Persian Romance (Oxford World's Classics)". — Oxford University, 1995. — ISBN 0-19-283184-4

«Abû Muhammad Ilyas ibn Yusuf ibn Zaki Mu'ayyad, known by his pen-name of Nizami, was born around 1141 in Ganja, the capital of Arran in Transcaucasian Azerbaijan, where he remained until his death in about 1209. His father, who had migrated to Ganja from Qom in north central Iran, may have been a civil servant; his mother was a daughter of a Kurdish chieftain; having lost both parents early in his life, Nizami was brought up by an uncle.»

↑ Rypka, Jan. Poets and Prose Writers of the Late Saljuq and Mongol Periods', in The Cambridge History of Iran, Volume 5, The Saljuq and Mongol Periods. — January 1968. — C. 578.

«At all events his mother was of Iranian origin, the poet himself calling her Ra'isa and describing her as Kurdish.»

↑ V. Minorsky. Studies in Caucasian History: I. New Light on the Shaddadids of Ganja II. The Shaddadids of Ani III. Prehistory of Saladin. — CUP Archive, 1953. — T. I. — C. 34. — 208 c.

↑ Julie Scott Meisami. "The Haft Paykar: A Medieval Persian Romance (Oxford World's Classics)". — Oxford University, 1995. — ISBN 0-19-283184-4

«Abû Muhammad Ilyas ibn Yusuf ibn Zaki Mu'ayyad, known by his pen-name of Nizami, was born around 1141 in Ganja, the capital of Arran in Transcaucasian Azerbaijan, where he remained until his death in about 1209. His father, who had migrated to Ganja from Qom in north central Iran, may have been a civil servant; his mother was a daughter of a Kurdish chieftain; having lost both parents early in his life, Nizami was brought up by an uncle.»

↑ «The Poetry of Nizami Ganjavi: Knowledge, Love, and Rhetortics», Edited by Kamran Talattof and Jerome W. Clinton, Palgrave Macmillan, New York, 2001, ISBN 978-0-312-22810-1, ISBN 0-312-22810-4. pg 210:

«His father, Yusuf and mother, Rai'sa, died while he was still relatively young, but maternal uncle, Umar, assumed responsibility for him»

↑ «The Poetry of Nizami Ganjavi: Knowledge, Love, and Rhetortics», New York, 2001. pg 2:

«His father, Yusuf and mother, Rai'sa, died while he was still relatively young, but maternal uncle, Umar, assumed responsibility for him»

↑ Seyyed Hossein Nasr, Mehdi Amin Razavi. The Islamic intellectual tradition in Persia», RoutledgeCurzon; annotated edition / Mehdi Amin Razavi. — Routledge, 1996. — C. 179. — 375 c. — ISBN 0700703144, 9780700703142

When Nizami, who was an unusual gifter child, began his formal education, he encountered a vast ocean of Islamic sciences. He studied the religious sciences as his work reflect and mastered the art of quaranic interpretation and Hadith which are the fundamental and foundational bases of the Islamic sciences.

↑ Nizami. The Story of Layla and Majnun, by Nizami / Translated Dr. Rudolf. Gelpke in collaboration with E. Mattin and G. Hill. — Omega Publications, 1966. — ISBN #0-930872-52-5

↑ Abel, A., "Iskandar Nama", in P.J. Bearman, Th. Bianquis, К. Эд. Босворт (англ.)русск., E. van Donzel and W.P. Heinrichs, Энциклопедия ислама, Brill Academic Publishers, ISSN 15-73-3912

"As a learned Iranian poet, Nizami, who demonstrates his eclecticism in the information he gives (he says, «I have taken from everything just what suited me and I have borrowed from recent histories, Christian, Pahlavi and Jewish ... and of them I have made a whole»), locates the story of his hero principally in Iran.

↑ 1 2 Subtelny, Maria. Visionary Rose: Metaphorical Application of Horticultural Practice in Persian Culture, «Botanical progress, horticultural information and cultural changes» / Michel Conan and W. John Kress. — USA: Dumbarton Oaks, 2007. — Т. 2004. — С. 12. — 278 с. — ISBN 0884023273, 9780884023272

In a highly evocative tale he relates in the Makhzan al-Asrar («Treasury of Secrets»), the twelfth-century Persian poet, Nizami whose oeuvre is an acknowledged repository of Iranian myths and legends, illustrates the way in which the rose was perceived in the Medieval Persian imagination.

↑ Chelkowski, P., "Nizāmī Gandjāwī, Djamal al-Dīn Abū Muḥammad Ilyās b. Yūsuf b. Zakī Mu'ayyad", in P.J. Bearman, Th. Bianquis, К. Эд. Босворт (англ.)русск., E. van Donzel and W.P. Heinrichs, Энциклопедия ислама Online, Brill Academic Publishers, ISSN 1573-3912

From his poetry, it is evident that he was learned not only in mathematics, astronomy, medicine, jurisprudence, history, and philosophy but also in music and the arts.

↑ Chelkowski, P., "Nizāmī Gandjāwī, Djamal al-Dīn Abū Muḥammad Ilyās b. Yūsuf b. Zakī Mu'ayyad", in P.J. Bearman, Th. Bianquis, К. Эд. Босворт (англ.)русск., E. van Donzel and W.P. Heinrichs, Энциклопедия ислама Online, Brill Academic Publishers, ISSN 1573-3912

In recognition of his vast knowledge and brilliant mind, the honorific title of ḥakīm, "learned doctor, " was bestowed upon him by scholars.

↑ Seyyed Hossein Nasr, Mehdi Amin Razavi. The Islamic intellectual tradition in Persia», RoutledgeCurzon; annotated edition / Mehdi Amin Razavi. — Routledge, 1996. — С. 187. — 375 с. — ISBN 0700703144, 9780700703142

Nizami was not a philosopher like Farabi, ibn Sina and Suhrawardi or the expositor of theoretical Sufism like Ibn 'Arabi and 'Abd al-Razzaq Kashani. However he should be regarded as philosopher and a gnostic who had who had mastered various fields of Islamic thought which he synthesized in a way to bring to mind the tradition of the Hakims who were to come after him such as Qutb al-Din Shirazi and Baba Afdal Kashani, who, while being masters of various school of knowledge, attempted to synthesize different traditions of philosophy, gnosis and theology.

↑ Chelkowski, P., "Nizāmī Gandjāvī, Djamal al-Dīn Abū Muḥammad Ilyās b. Yūsuf b. Zakī Mu'ayyad", in P.J. Bearman, Th. Bianquis, К. Эд. Босворт (англ.)русск., E. van Donzel and W.P. Heinrichs, Энциклопедия ислама Online, Brill Academic Publishers, ISSN 1573-3912

«Usually, there is more precise biographical information about the Persian court poets, but Nizāmī was not a court poet; he feared loss of integrity in this role and craved primarily for the freedom of artistic creation.»

↑ К. А. Luther ATĀBAKĀN-E MARĀĠĀ (eng). Iranica (December 15, 1987). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 2 сентября 2010.

«Alā' -al-dīn of Marāḡā... He seems to have been a man of pronounced literary interests, since at his request the poet Nezāmī Ganjāvī composed the Haft peykar».

↑ Julie Scott Meisami. "The Haft Paykar: A Medieval Persian Romance (Oxford World's Classics)". — Oxford University, 1995. — ISBN 0-19-283184-4

«... Nizami was brought up by an uncle. He was married three times, and in his poems laments the death of each of his wives, as well as proffering advice to his son Muhammad. He lived in an age of both political instability and intense intellectual activity, which his poems reflect; but little is known about his life, his relations with his patrons, or the precise dates of his works, as the accounts of later biographers are colored by the many legends built up around the poet.»

↑ Iraj Bashiri The Teahouse at a Glance - Nizami's Life and Works (2000). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 6 сентября 2010.

↑ Julie Scott Meisami. "The Haft Paykar: A Medieval Persian Romance (Oxford World's Classics)". — Oxford University, 1995. — ISBN 0-19-283184-4

«... He was married three times, and in his poems laments the death of each of his wives, as well as proffering advice to his son Muhammad.»

↑ Julie Scott Meisami. "The Haft Paykar: A Medieval Persian Romance (Oxford World's Classics)". — Oxford University, 1995. — ISBN 0-19-283184-4

«... Nizami ... He lived in an age of both political instability and intense intellectual activity, which his poems reflect; but little is known about his life, his relations with his patrons, or the precise dates of his works, as the accounts of later biographers are colored by the many legends built up around the poet.»

↑ PREFACE (англ.). Lailī and Majnūn - Persian Literature in Translation. The Packard Humanities Institute (2000). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 31 января 2011.

In honour of Nizāmi, it is related that Ata Beg was desirous of forming and cultivating an acquaintance with him, and with that view ordered one of his courtiers to request his attendance. But it was replied, that Nizāmi, being an austere recluse, studiously avoided all intercourse with princes. Ata Beg, on hearing this, and suspecting that the extreme piety and abstinence of Nizāmi were affected, waited upon him in great pomp for

the purpose of tempting and seducing him from his obscure retreat; but the result was highly favourable to the poet; and the prince ever afterwards looked upon him as a truly holy man, frequently visiting him, and treating him with the most profound respect and veneration. Nizāmi also received many substantial proofs of the admiration in which his genius and learning were held. On one occasion, five thousand dinars were sent to him, and on another he was presented with an estate consisting of fourteen villages.

↑ Chelkowski, P., "Nizāmī Gandjawi, Djamal al-Dīn Abū Muḥammad Ilyās b. Yūsuf b. Zakī Mu'ayyad", in P.J. Bearman, Th. Bianquis, К. Эд. Босворт (англ.)русск., E. van Donzel and W.P. Heinrichs, Энциклопедия ислама Online, Brill Academic Publishers, ISSN 1573-3912

The traditional biographers, and some modern researchers, differ by six years about the exact date of his birth (535-40/1141-6), and as much as thirty-seven years about the date of his death (575—613/1180-1217). Now there is no doubt, however, that he died in the 7th/13th century, and the earlier dates must be discarded as erroneous.

↑ Francois De Blois. Persian Literature - A Biobibliographical Survey: Volume V Poetry of the Pre-Mongol Period / Francois De Blois. — Routledge, 2004. — Т. V. — С. 370. — 544 с. — ISBN 0947593470, 9780947593476

↑ Francois De Blois. Persian Literature - A Biobibliographical Survey: Volume V Poetry of the Pre-Mongol Period / Francois De Blois. — Routledge, 2004. — Т. V. — С. 369. — 544 с. — ISBN 0947593470, 9780947593476

↑ Низами Гянджеви. Собрание сочинений в 3 т. Т. 3. С. 688. — Баку: «Азернешр», 1991

↑ Peter J. Chelkowski. Mirror of the Invisible World. — New York: Metropolitan Museum of Art, 1975. — С. 1.

The culture of Nizami's Persia is renowned for its deep-rooted tradition and splendor. In pre-Islamic times, it had developed extraordinarily rich and exact means of expression in music, architecture, and daily life as well as in writing, although Iran, its center--or, as the poets believed, its heart--was continually overrun by invading armies and immigrants, this tradition was able to absorb, transform, and ultimately overcome foreign intrusion. Alexander the Great was only one of many conquerors, to be seduced by the Persian way of life.

↑ Peter J. Chelkowski. Nezami's Iskandarnamēh, Colloquio sul poeta persiano Nizami e la leggenda iranica di Alessandro magno. — Roma, 1977. — С. 13.

Nizami was a typical product of the Iranian culture. He created a bridge between Islamic Iran and pre-Islamic Iran and also between Iran and the whole ancient world.

↑ Jan Rypka. History of Iranian literature (перевод «Dějiny perské a tadžické literatury», Praha : ČSAV, 1956) / Karl Jahn. — Netherlands: Reidel Publishing Company, 1968. — С. 76. — 929 с. — ISBN 9027701431

The centripetal tendency is evident in the unity of Persian literature from the points of view of language and content and also in the sense of civic unity. Even the Caucasian Nizami, although living on the far-flung periphery, does not manifest a different spirit and apostrophizes Iran as the Heart of the World.

↑ Pepe Escobar. *Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War*. — Nimble Books, 2007. — С. 10. — 368 с. — ISBN 0978813820, 9780978813826

... the great 12th century Persian poet Nezami, who in the famous *Haft Peykar* («The Seven Portraits») wrote that «The world is the body and Iran is its heart».

↑ گویا رسی سخنسرایان آزار (перс.). *Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 10 февраля 2011.*

براشد زمین دل ایران چون کله

Весь мир — тело, а Иран — сердце,

Не устыдится высказавший это сравнение.

Так как Иран — сердце мира,

то сердце лучше тела, несомненно.

(подстрочный перевод с персидского)

Оригинальный текст (перс.) [показать]

↑ Nizami Ganjavi. *Haft Paykar: A Medieval Persian Romance* / J. S. Meisami (Editor). — USA: Oxford University Press, 1995. — С. 19. — 368 с. — ISBN 978-0192831842

The world is a body, Iran its heart,

No shame to him who says such a word

Iran, the world's most precious heart,

excels the body, there is no doubt.

Among the realms the kings possess,

the best domain goes to the best.

↑ NIZĀMĪ OF GANJA (Editor and translator - C. E. Wilson) *THE HAFT PAIKAR (THE SEVEN BEAUTIES)* (англ.). *Persian Literature in Translation. The Packard Humanities Institute (1924(London))*. *Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 4 октября 2010.*

The world entire is body, Persia, heart,

the writer shames not at this parallel;

For since that land's the heart of (all) the earth

the heart is better than the body, sure*295.

Of these dominions which the rulers have

the best of places to the best accrue.

Сноска:

295. The sense is apparently, «since Persia is the heart of the earth, Persia is the best part of the earth, because it is certain that the heart is better than the body.»

↑ «Семь красавиц», пер. В. Державина. Низами. Собр. соч. В 3-х т. Баку, 1991. Т.2. С. 324

↑ Chelkowski, P. "Nezami's Iskandarnameh:"in Colloquio sul poeta persiano Nizami e la leggenda iranica di Alessandro magno. — Roma, 1977.

«It seems that Nezami's favorite pastime was reading Firdawsi's monumental epic Shahnameh(The book of Kings)»

↑ Chelkowski, P. "Nezami's Iskandarnameh:"in Colloquio sul poeta persiano Nizami e la leggenda iranica di Alessandro magno. — Roma, 1977.

«However, it was not Tabari directly, but Ferdowsi who was Nizami's source of inspiration and material in composing Iskandarnameh. Nizami constantly alludes to the Shahnameh in his writing, especially in the prologue to the Iskandarnameh. It seems that he was always fascinated by the work of Firdawsi and made it a goal of his life to write an heroic epic of the same stature.»

↑ Dr. Ali Asghar Seyed Gohrab. «Layli and Majnun: Love, Madness and Mystic Longing», Brill Studies in Middle Eastern literature, Jun 2003. pg 276.

↑ Бертэльс, Е. Э. "Низами и Фирдоуси". — Баку, 1981.

↑ Dick Davis VIS O RĀMIN (англ.). Iranica (July 20, 2005). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 4 сентября 2010.

The poem had an immense influence on Neẓāmī, who takes the bases for most of his plots from Ferdowsi but the basis for his rhetoric from Gorgāni. This is especially noticeable in his *Ḳosrow o Širin*, which imitates a major scene (that of the lovers arguing in the snow) from *Vis o Rāmin*, as well as being in the same meter (*hazaj*) as Gorgāni's poem. Nezami's concern with astrology also has a precedent in an elaborate astrological description of the night sky in *Vis o Rāmin*. Given Nezami's own paramount influence on the romance tradition, Gorgāni can be said to have initiated much of the distinctive rhetoric and poetic atmosphere of this tradition, with the exception of its Sufi preoccupations, which are quite absent from his poem.

↑ J.T.P. De Bruijn *ḤADIQAT AL-ḤAQIQA WA ŠARI‘AT AL-ṬARIQA* (англ.). *Iranica* (December 15, 2002). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 6 сентября 2010.

The *Ḥadiqat al-ḥaqiqa* is not only one of the first of a long line of Persian didactical *maṭnawīs*, it is also one of the most popular works of its kind as the great number of copies made throughout the centuries attest. Its great impact on Persian literature is evidenced by the numerous citations from the poem occurring in mystical as well as profane works. It has been taken as a model by several other poets, including *Nezāmi*, ‘*Aṭṭār*, *Rumi*, *Awḥadi*, and *Jāmi*.

↑ JTP de Bruijn. *Persian Sufi Poetry, An Introduction to the Mystical* — Taylor and Francis(Routledge) 1997 pp 97:

The first poet who frankly acknowledged his indebtedness to *Sanai* as a writer of a didactical *Masnavi* was *Ilyas ibn Yusuf Nizami* of *Ganja* (1141—1209).

↑ Chelkowski, P., "*Nizāmī Gandjawi, Djamal al-Dīn Abū Muḥammad Ilyās b. Yūsuf b. Zakī Mu’ayyad*", in P.J. Bearman, Th. Bianquis, К. Эд. Босворт (англ.)русск., E. van Donzel and W.P. Heinrichs, *Энциклопедия ислама Online*, Brill Academic Publishers, ISSN 1573-3912

Though he did not write for the stage, he could be called a master dramatist. The plot in his romantic stories is carefully constructed to enhance the stories' psychological complexities. The characters work and grow under the stress of action to discover things about themselves and others and to make swift decisions.

↑ Chelkowski, P., "*Nizāmī Gandjawi, Djamal al-Dīn Abū Muḥammad Ilyās b. Yūsuf b. Zakī Mu’ayyad*", in P.J. Bearman, Th. Bianquis, К. Эд. Босворт (англ.)русск., E. van Donzel and W.P. Heinrichs, *Энциклопедия ислама Online*, Brill Academic Publishers, ISSN 1573-3912

Nizāmī's originality lies in his psychological portrayal of the richness and complexity of the human soul when confronted with intense and abiding love.

↑ Chelkowski, P., "*Nizāmī Gandjawi, Djamal al-Dīn Abū Muḥammad Ilyās b. Yūsuf b. Zakī Mu’ayyad*", in P.J. Bearman, Th. Bianquis, К. Эд. Босворт (англ.)русск., E. van Donzel and W.P. Heinrichs, *Энциклопедия ислама Online*, Brill Academic Publishers, ISSN 1573-3912

He delineated simple people with as much insight and compassion as the princely heroes in his *maṭnawīs*. Artisans were particularly dear to him. Painters, sculptors, architects and musicians are carefully portrayed and often play crucial roles.

↑ Chelkowski, P., "*Nizāmī Gandjawi, Djamal al-Dīn Abū Muḥammad Ilyās b. Yūsuf b. Zakī Mu’ayyad*", in P.J. Bearman, Th. Bianquis, К. Эд. Босворт (англ.)русск., E. van Donzel and W.P. Heinrichs, *Энциклопедия ислама Online*, Brill Academic Publishers, ISSN 1573-3912

Nizāmī was a master in the genre of the romantic epic. In erotic sensuous verse, he explains what makes human beings behave as they do, revealing their follies and their glories, all their struggles, unbridled passions and tragedies.

↑ Chelkowski, P., "Nizāmī Gandjawi, Djamal al-Dīn Abū Muḥammad Ilyās b. Yūsuf b. Zakī Mu'ayyad", in P.J. Bearman, Th. Bianquis, К. Эд. Босворт (англ.)русск., E. van Donzel and W.P. Heinrichs, Энциклопедия ислама Online, Brill Academic Publishers, ISSN 1573-3912

To Nizāmī, truth was the very essence of poetry. On this principle, he attacks the court poets who sell their integrity and talents for earthly returns. The Islamic law served as the loom on which the philosophy of his *Makhzan al-asrār* was woven in intricate patterns. He was looking for universal justice, and is trying to protect the poor and humble people and to put under scrutiny the excesses of the powerful of the world. The guidelines for people in the poem are accompanied by warnings of the transitory nature of life.

↑ Abdolhossein Zarrinkoob. Nizami, a life-long quest for a utopia // *Colloquio sul poeta persiano Nizami e la leggenda iranica di Alessandro magno (ROMA, 25-26 MARZO 1975)* / G. Bardi. — Roma: deH'Accademia Nazionale dei Lincei, 1977. — P. 5.

... the poet Nizami has attempted to picture a perfect society—a utopia.

↑ Chelkowski, P., "Nizāmī Gandjawi, Djamal al-Dīn Abū Muḥammad Ilyās b. Yūsuf b. Zakī Mu'ayyad", in P.J. Bearman, Th. Bianquis, К. Эд. Босворт (англ.)русск., E. van Donzel and W.P. Heinrichs, Энциклопедия ислама Online, Brill Academic Publishers, ISSN 1573-3912

It is virtually impossible to draw a clear line in Nizāmī's poetry between the mystical and the erotic, the sacred and the profane.

↑ Chelkowski, P., "Nizāmī Gandjawi, Djamal al-Dīn Abū Muḥammad Ilyās b. Yūsuf b. Zakī Mu'ayyad", in P.J. Bearman, Th. Bianquis, К. Эд. Босворт (англ.)русск., E. van Donzel and W.P. Heinrichs, Энциклопедия ислама Online, Brill Academic Publishers, ISSN 1573-3912

Although some scholars consider *Makhzan al-asrār* a mystical poem, the mysticism with its symbolism is apparent only in the introduction, which is infused with the essence of Ṣūfī thought.

↑ Abdolhossein Zarrinkoob. Nizami, a life-long quest for a utopia // *Colloquio sul poeta persiano Nizami e la leggenda iranica di Alessandro magno (ROMA, 25-26 MARZO 1975)* / G. Bardi. — Roma: deH'Accademia Nazionale dei Lincei, 1977. — P. 6.

... As a matter of fact, contrary to what the usually inaccurate Dawlatshah has maintained, our poet was never received formally in a Sufi order.

↑ Abdolhossein Zarrinkoob. Nizami, a life-long quest for a utopia // *Colloquio sul poeta persiano Nizami e la leggenda iranica di Alessandro magno (ROMA, 25-26 MARZO 1975)* / G. Bardi. — Roma: deH'Accademia Nazionale dei Lincei, 1977. — P. 7.

It seems, however, more likely that Nizami, might represent an ascetic mysticism, similar to that of Ghazali and Ḥattar, to which the individualist tendencies of the poet have added more discernable features.

↑ Hušang A‘lam GOL (eng). Encyclopedia. Iranica (December 15, 2001). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 15 февраля 2011.

Gol or gul; rose (*Rosa L. spp.*) and, by extension, flower, bloom, blossom.

↑ Subtelny, Maria. Visionary Rose: Metaphorical Application of Horticultural Practice in Persian Culture, «Botanical progress, horticultural information and cultural changes» / Michel Conan and W. John Kress. — USA: Dumbarton Oaks, 2007. — Т. 2004. — С. 12. — 278 с. — ISBN 0884023273, 9780884023272

The association of the rose with Islam’s prophet was expressed in many spiritually and artistically creative ways...

↑ Subtelny, Maria. Visionary Rose: Metaphorical Application of Horticultural Practice in Persian Culture, «Botanical progress, horticultural information and cultural changes» / Michel Conan and W. John Kress. — USA: Dumbarton Oaks, 2007. — Т. 2004. — С. 14. — 278 с. — ISBN 0884023273, 9780884023272

The culture of flowers in Iran was always closely linked with the cultivation of the Persian garden... The medieval Persian garden, in the form of the quadripartite architectural garden (*chaharbagh*), was the direct descendent of the ancient Persian «paradise» (*paridaiza*) of the Achemenid kings, which had formed an intrinsic part of the imperial palace institution. Even the advent of Islam to Iran did not exert a negative impact on Persian garden culture.

↑ Subtelny, Maria. Visionary Rose: Metaphorical Application of Horticultural Practice in Persian Culture, «Botanical progress, horticultural information and cultural changes» / Michel Conan and W. John Kress. — USA: Dumbarton Oaks, 2007. — Т. 2004. — С. 14. — 278 с. — ISBN 0884023273, 9780884023272

The antiquity of rose cultivation in Iran ... would appear to be confirmed linguistically as well.

↑ Subtelny, Maria. Visionary Rose: Metaphorical Application of Horticultural Practice in Persian Culture, «Botanical progress, horticultural information and cultural changes» / Michel Conan and W. John Kress. — USA: Dumbarton Oaks, 2007. — Т. 2004. — С. 17. — 278 с. — ISBN 0884023273, 9780884023272

the rose was associated ... with *Daena*, one of the female *yazatas*, who was the deity of religion.

↑ Subtelny, Maria. Visionary Rose: Metaphorical Application of Horticultural Practice in Persian Culture, «Botanical progress, horticultural information and cultural changes» / Michel Conan and W. John Kress. — USA: Dumbarton Oaks, 2007. — Т. 2004. — С. 15-16. — 278 с. — ISBN 0884023273, 9780884023272

In medieval Perso-Islamic culture, and in poetry in particular, which is the finest expression of the Persian creative genius, the image of the rose was employed as a vehicle for a variety of concepts. It became an especially powerful symbol in the mystical trend that, from the twelfth century onwards, permeated Persian religious thought and literary culture.

↑ Subtelny, Maria. Visionary Rose: Metaphorical Application of Horticultural Practice in Persian Culture, «Botanical progress, horticultural information and cultural changes» / Michel Conan and W. John Kress. — USA: Dumbarton Oaks, 2007. — Т. 2004. — С. 15-16. — 278 с. — ISBN 0884023273, 9780884023272

... many Persian mystical authors utilized the image of the rose as a symbolical depiction of the Divinity

↑ Subtelny, Maria. Visionary Rose: Metaphorical Application of Horticultural Practice in Persian Culture, «Botanical progress, horticultural information and cultural changes» / Michel Conan and W. John Kress. — USA: Dumbarton Oaks, 2007. — Т. 2004. — С. 15-16. — 278 с. — ISBN 0884023273, 9780884023272

... the nightingale's love for the rose was interpreted as the mystic's spiritual yearning for the Divine...

↑ Subtelny, Maria. Visionary Rose: Metaphorical Application of Horticultural Practice in Persian Culture, «Botanical progress, horticultural information and cultural changes» / Michel Conan and W. John Kress. — USA: Dumbarton Oaks, 2007. — Т. 2004. — С. 15-16. — 278 с. — ISBN 0884023273, 9780884023272

... Rumi states that the fragrance of the rose provides a hint of the mystery of the divine Reality that underlies all things...

↑ Subtelny, Maria. Visionary Rose: Metaphorical Application of Horticultural Practice in Persian Culture, «Botanical progress, horticultural information and cultural changes» / Michel Conan and W. John Kress. — USA: Dumbarton Oaks, 2007. — Т. 2004. — С. 19. — 278 с. — ISBN 0884023273, 9780884023272

... he (Rumi) exhorts the mystic to abandon his carnal self in order that he might himself become like the scent of the rose that guides others to the divine Rose Garden.

↑ Subtelny, Maria. Visionary Rose: Metaphorical Application of Horticultural Practice in Persian Culture, «Botanical progress, horticultural information and cultural changes» / Michel Conan and W. John Kress. — USA: Dumbarton Oaks, 2007. — Т. 2004. — С. 19. — 278 с. — ISBN 0884023273, 9780884023272

... «the breath of intelligence and reason».

↑ Subtelny, Maria. Visionary Rose: Metaphorical Application of Horticultural Practice in Persian Culture, «Botanical progress, horticultural information and cultural changes» / Michel Conan and W. John Kress. — USA: Dumbarton Oaks, 2007. — Т. 2004. — С. 19. — 278 с. — ISBN 0884023273, 9780884023272

Although the tale points primarily to the power of psychological suggestion, what is of significance for our topic is that it is the mysterious nature of scent, and of the scent of the rose in particular, that serves as the metaphorical vehicle in this classic text of medieval Persian poetic narrative.

↑ Низами Гянджеви. Семь красавиц / перевод Вл. Державина. — М.: ГИХЛ, 1959. — 396 с.

↑ Chelkowski, P., "Nizāmī Gandjāwī, Djamāl al-Dīn Abū Muḥammad Ilyās b. Yūsuf b. Zakī Mu'ayyad", in P.J. Bearman, Th. Bianquis, К. Эд. Босворт (англ.)русск., E. van Donzel and W.P. Heinrichs, Энциклопедия ислама Online, Brill Academic Publishers, ISSN 1573-3912

In Islamic cosmology, the earth was placed in the centre of the seven planets: the moon, Mercury, Venus, the sun, Mars, Jupiter and Saturn. These were considered agents of God, and in their motion influenced beings and events on earth. Nizāmī firmly believed as well that the unity of the world could be perceived through arithmetical, geometrical, and musical relations. Numbers were the key to the one interconnected universe; for through numbers multiplicity becomes unity and discordance, harmony.

↑ Низами Гянджеви. Лейли и Меджнун / перевод Т. Стрешневой. — М.: ХЛ, 1957. — 228 с.

↑ Chelkowski, P., "Nizāmī Gandjāwī, Djamal al-Dīn Abū Muḥammad Ilyās b. Yūsuf b. Zakī Mu'ayyad", in P.J. Bearman, Th. Bianquis, К. Эд. Босворт (англ.)русск., E. van Donzel and W.P. Heinrichs, Энциклопедия ислама Online, Brill Academic Publishers, ISSN 1573-3912

Nizāmī's use of allegories, parables and words with double meaning raised the Persian language to a new height.

↑ Chelkowski, P., "Nizāmī Gandjāwī, Djamal al-Dīn Abū Muḥammad Ilyās b. Yūsuf b. Zakī Mu'ayyad", in P.J. Bearman, Th. Bianquis, К. Эд. Босворт (англ.)русск., E. van Donzel and W.P. Heinrichs, Энциклопедия ислама Online, Brill Academic Publishers, ISSN 1573-3912

The language of Nizāmī is unconventional. He introduces new and lucid metaphors and images as well as coining new words.

↑ A. A. Seyed-Gohrab. Layli and Majnun: Love, Madness and Mystic Longing in Nezāmi's Epic Romance. — Leiden / Boston: E.J. Brill, 2003. — С. 31-40. — 395 с. — ISBN 9004129421

... the compounds and images are welded together with various elements of the narrative to enhance its force.

↑ A. A. Seyed-Gohrab. Layli and Majnun: Love, Madness and Mystic Longing in Nezāmi's Epic Romance. — Leiden / Boston: E.J. Brill, 2003. — С. 34. — 395 с. — ISBN 9004129421

Another remarkable feature of Nizāmī's style is his avoidance of every-day words for human occupations, emotions and behaviour.

↑ A. A. Seyed-Gohrab. Layli and Majnun: Love, Madness and Mystic Longing in Nezāmi's Epic Romance. — Leiden / Boston: E.J. Brill, 2003. — С. 34. — 395 с. — ISBN 9004129421

Another salient feature of Nizāmī's style is the introduction of aphorisms. Long passages of Layli and Majnun are composed in epigrammatic style, and many of the poem's maxims have become proverbs.

↑ A. A. Seyed-Gohrab. Layli and Majnun: Love, Madness and Mystic Longing in Nezāmi's Epic Romance. — Leiden / Boston: E.J. Brill, 2003. — С. 33. — 395 с. — ISBN 9004129421

... the use of concise and pithy expressions but also in the insertion of colloquial speech. The poet's language is idiomatically rich but stylistically deceptively relaxed and simple, especially in dialogues and monologues.

↑ A. A. Seyed-Gohrab. *Layli and Majnun: Love, Madness and Mystic Longing in Nezāmi's Epic Romance*. — Leiden / Boston: E.J. Brill, 2003. — С. 31. — 395 с. — ISBN 9004129421

Nizami describes his own style as *gharib*, meaning 'rare,' 'unique,' 'strange,' or *nau*, 'new,' 'novel.' He refers to himself as the magician of words whose name is «the mirror of the invisible».

↑ Е. Э. Бертельс. *Избранные труды. Низами и Физули*. — М.: Восточная литература, 1962. — Т. 2. — С. 109.

↑ Moḥammad Amin Riāḥi NOZHAT AL-MAJĀLES (английский). *Encyclopædia Iranica* (15 декабря 2008). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 30 июля 2010.

NOZHAT AL-MAJĀLES, an anthology of some 4,000 quatrains (*robā'i*; a total of 4,139 quatrains, 54 of which have been repeated in the text) by some 300 poets of the 5th to 7th/11th-13th centuries, compiled around the middle of the 7th/13th century by the Persian poet Jamāl-al-Din Ḳalil Šarvāni.

↑ Sharvānī, Jamāl Khalīl, fl. 13 cent., *Nuzhat al-majālis / Jamāl Khalīl Sharvānī ; tā'līf shudah dar nīmah-'i avval-i qarn-i haftum, tashih va muqaddimah va sharh-i hal-i gūyandigān va tawzīḥāt va fihristhā az Muḥammad Amīn Riyāḥī. Tehran* : Intishārāt-i Zuvvār, 1366 [1987]. 764 страницы (Полная публикация книги на персидском языке). Цифровая версия [1][2]

↑ Paola Orsatti ḲOSROW O ŠIRIN (англ.). *Iranica* (August 15, 2006). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

Ḳosrow o Širin... The poem was composed over a period of about 16 lunar years, between 571/1175-6 and 587/1191 (cf. de Blois, pp. 440, 446; Zarrinkub, p. 25ff.). It contains eulogies to the Seljuq sultan Tōgrol III b. Arsalān (571 /1175-6-590/1194), to his nominal vassal but actual master, the atābak (q.v.) of Azerbaijan Abu Ja'far Moḥammad b. Ildegez Jahān-Pahlavān (571/1175-6-582/1186-7), and to the latter's brother and successor Qezel Arsalān (582/1186-7 to 587/1191).

↑ 1 2 Chelkowski, P., "Nizāmī Gandjāwī, Djamal al-Dīn Abū Muḥammad Ilyās b. Yūsuf b. Zakī Mu'ayyad", in P.J. Bearman, Th. Bianquis, К. Эд. Босворт (англ.)русск., E. van Donzel and W.P. Heinrichs, *Энциклопедия ислама Online*, Brill Academic Publishers, ISSN 1573-3912

↑ François de Blois HAFT PEYKAR (англ.). *Iranica* (December 15, 2002). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 9 февраля 2011.

But the manuscripts of the 'a' recension have altered (or miscopied?) the name of the dedicatee to Qizil Arslān, retained the verse giving the day, month and hour of completion, but altered the year to „after tā (variant: tā) and ṣād and ḥē“ i.e., either „after 498“ (which is much too early) or „after 598/1202.“

↑ François de Blois ESKANDAR-NĀMA OF NEZĀMĪ (англ.). *Iranica* (December 15, 1998). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 9 февраля 2011.

This suggests that Neẓāmī originally planned to dedicate the Eskandar-nāma, like Leylī o Majnūn, to one of the kings of Šarvān. But that dynasty evidently lost power over Ganja by the time the poems were completed, and in their final form they are dedicated to the malek of Ahar, Noşrat-al-Dīn Bīškīn b. Moḥammad. This ruler is mentioned in the introduction to Šaraf-nāma, chap. 10, vv. 11-12, where the poet makes a pun on his name Bīškīn („whose hatred is more“), though some of the manuscripts have a superscription claiming (wrongly) that the verses evoke Bīškīn’s overlord, the atabeg Noşrat-al-Dīn Abū Bakr.

↑ Chelkowski, P., "Nizāmī Gandjāwī, Djamal al-Dīn Abū Muḥammad Ilyās b. Yūsuf b. Zakī Mu’ayyad", in P.J. Bearman, Th. Bianquis, К. Эд. Босворт (англ.)русск., E. van Donzel and W.P. Heinrichs, Энциклопедия ислама Online, Brill Academic Publishers, ISSN 1573-3912

The five epic poems represent a total of close to 30,000 couplets ...

↑ Domenico Parrello ҚАМСА OF NEẒĀMĪ (англ.). Encyclopædia Iranica (November 10, 2010). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 5 февраля 2011.

It contains the didactic poem Maḳzan al-asrār in around 2,260 couplets in sari‘ meter; three epic romances: Қosrow o Širin (q.v.) in around 6,500 couplets in hazaj meter, Leyli o Majnun (q.v.) in around 4,600 couplets in hazaj meter, and Haft peykar (q.v.) in about 5130 couplets in kafif meter; and the Eskandar-nāma (q.v.), which can be regarded as an epic interlaced with didactic observations and consists of two formally separate parts, in all about 10,500 couplets in motaqāreb meter.

↑ A. A. Seyed-Gohrab LEYLI O MAJNUN (англ.). Iranica (July 15, 2009). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

LEYLI O MAJNUN, a narrative poem of approximately 4,600 lines composed in 584/1188 by the famous poet Neẓāmī of Ganja.

↑ Zahra TAHERI A selection of classical Persian Poetry Meters (англ.). Electronic Resources for Hindi and Other South Asian Languages. Department of Hindi, School of Foreign Studies, Osaka University (27 February 2009). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 4 февраля 2011.

↑ CHARLES-HENRI DE FOUCHÉCOUR IRAN:Classical Persian Literature (англ.). Encyclopædia Iranica (December 15, 2006). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 7 октября 2010.

The first of his five (see below) ‘Treasures’ was influenced by Sanā’i of Ghazna’s (d. 1131) monumental Garden of Truth (Ḥadiqa al-ḥadiq wa šari‘a al-ṭariqa; q.v.).

↑ Peter J. Chelkowski. Mirror of the Invisible World. — New York: Metropolitan Museum of Art, 1975. — 4 с.

The details with which Nizami describes musicians are one of the delights of the Khamseh and make it a principal source of our present knowledge of the twelfth-century Persian musical composition and instruments.

↑ Peter J. Chelkowski. Mirror of the Invisible World. — New York: Metropolitan Museum of Art, 1975. — 4 с.

However, in spite of his interest in commoners, Nizami did not reject the institution of kingship; he always believed it was an integral and sacred part of the Persian way of life.

↑ 1 2 3 4 5 6 JTP de Bruijn. *Persian Sufi Poetry, An Introduction to the Mystical* — Taylor and Francis (Routledge) 1997 pp 97-98

↑ Paola Orsatti **ҚOSROW O ŠIRIN** (англ.). *Iranica* (August 15, 2006). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

... the perusal of Gorgāni's *Vis o Rāmin*, inspired Nezāmi's second major narrative poem: *Қosrow and Širin* (1181), his first masterpiece.

↑ Peter Chelkowski. "Mirror of the Invisible World". — New York: Metropolitan Museum of Art, 1975. — С. 6. — 117 с.

„Khosrow and Shirin“ proved to be a literary turning point not only for Nizami but for all of Persian poetry. Furthermore it was the first poem in Persian literature to achieve complete structural and artistic unity»

↑ Paola Orsatti **ҚOSROW O ŠIRIN** (англ.). *Iranica* (August 15, 2006). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

Қosrow o Širin... ... Nezāmi states that his source was a manuscript kept in Barda', the ancient capital of Arrān.

↑ Paola Orsatti **ҚOSROW O ŠIRIN AND ITS IMITATIONS** (англ.). *Iranica* (August 15, 2006). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

The poem relates a love affair that takes place in a historical setting: the deposition, imprisonment, and blinding of the Sasanian king Hormoz (579—590 CE), during an insurrection led by two maternal uncles of prince *Қosrow*, designated to become king and probably party to the rebellion; the accession of *Қosrow* to his father's throne (590 CE); the uprising of the army commander Bahrām Čubin against the new king; and *Қosrow*'s flight to the Byzantine empire to seek help from the qeyşar, emperor Maurice (582—602 CE). These events, documented in the historical sources (Christensen, pp. 436-90), and narrated in detail in Ferdowsi's *Šāh-nāma*, are only briefly referred to by Nezāmi, who focuses his attention on the love relationship between *Қosrow* and *Širin*.

↑ Paola Orsatti **ҚOSROW O ŠIRIN** (англ.). *Iranica* (August 15, 2006). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

Қosrow o Širin, the second poem of Nezāmi's *Қamsa*, recounts the amorous relationship between the Sasanian king *Қosrow II Parviz* (590—628 CE), and the beautiful princess *Širin*.

↑ Paola Orsatti **ҚOSROW O ŠIRIN** (англ.). *Iranica* (August 15, 2006). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

Қосров о Ширин... . . . Širin, an Armenian princess, is of the same proud and aristocratic mettle as Vis, both ardently faithful to their declared love and daring enough to force the hand of Fate, a Destiny that plays, in the case of Širin, upon the weaknesses and youthful foibles of her lover, Қосров Parviz, grandson of Қосров I.

↑ Heshmat Moayyad FARHĀD (1) (англ.). *Iranica* (December 15, 1999). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 7 февраля 2011.

FARHĀD, a romantic figure in Persian legend and literature, best known from the poetry of Neẓāmī Ganjavī (q.v.) as a rival with the Sasanian king Қосров II Parvēz (r. 591—628) for the love of the beautiful Armenian princess Šīrīn.

↑ Крымский, Агафангел Ефимович Низамий (рус.). Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1897). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 11 апреля 2011.

2) «Хосров и Ширин», напис. в 1180 г. Любовь сасанидского царя Первиза к армянской княжне Ширине должна аллегорически изображать стремление души человеческой к Богу; но эта поэма (как и последующие) так живо рисует человеческие характеры и страсти, что не предупрежденный читатель не может даже подозревать здесь аллегии. Изд. в Тебризе (без года), в Лагоре (1871); нем. пер. Гаммера (Лпц., 1809).

↑ Пересказ содержания «Хосров и Ширин»

Друг Хосрова Шапур, изъездивший мир от Магриба до Лахора, соперник Мани в живописи и победитель Евклида в черчении, повествует о чудесах, увиденных на берегу Дербентского моря. Там правит грозная царица Шемира, именуемая также Мехин Бану. Она повелевает Арраном вплоть до Армении, а лязг оружия её войска слышен в Исфахане.

Хосров, восхищенный рассказом друга, лишается сна, думает лишь о неведомой пери. Наконец он посылает Шапура в Армению за Ширин. Шапур мчится в армянских горах, где лазурные скалы облачены в желтые и красные одежды цветов.

↑ A. A. Seyed-Gohrab LEYLI O MAJNUN (англ.). *Iranica* (July 15, 2009). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

LEYLI O MAJNUN ... The romance belongs to the ‘Udri (‘Odri) genre. The plot of ‘Udri stories is simple and revolves around unrequited love; the characters are semi-historical and their actions are similar to, and easily interchangeable with, those of characters from other ‘Udri romances.

↑ A. A. Seyed-Gohrab LEYLI O MAJNUN (англ.). *Iranica* (July 15, 2009). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

LEYLI O MAJNUN ... Persian verse romances are commonly about princes, and characters are usually related to courtly circles. Likewise, Neẓāmī portrays the lovers as aristocrats. He also urbanizes the Bedouin legend: Majnun does not meet Leyli in the desert amongst the camels, but at school with other children. Other Persian motifs added to the story are the childless king, who desires an heir; nature poetry, especially about gardens in

spring and autumn, and sunset and sunrise; the story of an ascetic living in a cave; the account of the king of Marv and his dogs; the Zeyd and Zeynab episode; Majnun's supplication to the heavenly bodies and God; his kingship over animals, and his didactic conversations with several characters.

↑ A. A. Seyed-Gohrab LEYLI O MAJNUN (англ.). Iranica (July 15, 2009). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

LEYLI O MAJNUN .. There are numerous editions of the romance from many countries, in a variety of forms. An enormous body of lithographed publications appeared in India, and these need to be examined not only for their texts but also for their illustrations. Critical editions of the romance appeared at the beginning of the twentieth century in Persia. The Persian scholar Wahid Dastgerdi made a critical edition containing 66 chapters and 3,657 lines: he omits 1,007 couplets as interpolations, but he admits that some of these are by Neẓāmī. According to Dastgerdi, the interpolations must have taken place between 780/1349 and 800/1398. Under the supervision of Evgenii E`duardovich Bertel's, A. A. Alizada prepared another edition (Moscow, 1965) which consists of 66 chapters and 4,559 couplets. Behruz Tarvatiān's edition has 63 chapters and 4, 553 verses, while the most recent critical edition of the poem, edited by Barāt Zanjāni, has 67 chapters and 4,583 verses.

↑ Chelkowski, P., "Nizāmī Gandjawi, Djamal al-Dīn Abū Muḥammad Ilyās b. Yūsuf b. Zakī Mu'ayyad", in P.J. Bearman, Th. Bianquis, К. Эд. Босворт (англ.)русск., E. van Donzel and W.P. Heinrichs, Энциклопедия ислама Online, Brill Academic Publishers, ISSN 1573-3912

... the title of the story can be translated as the «Seven Portraits», the «Seven Effigies», as well as the «Seven Princesses». The poem is also known as the Haft gunbad or «Seven Domes».

↑ François de Blois HAFT PEYKAR (англ.). Iranica (December 15, 2002). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

After the customary long introductory sections, the poet gives an account of the birth of Bahrām, the often-told story of his upbringing at the court of the Arab king No'mān (here, as often, mislocated in the Yemen instead of al-Ḥira) and the construction of No'mān's fabled palace, Q'arnaq. Reared in the desert, Bahrām becomes a formidable huntsman. Wandering through the palace, Bahrām discovers a locked room containing the portraits of seven princesses, one from each of the seven climes, with whom he immediately falls in love.

↑ François de Blois HAFT PEYKAR (англ.). Iranica (December 15, 2002). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

Years pass. While the king is busy with his wives an evil minister seizes power in the realm. Eventually Bahrām discovers that the affairs of the kingdom are in disarray, the treasury is empty and the neighboring rulers poised for invasion. To clear his mind, he goes hunting in the steppe. Returning from the hunt he comes across a herdsman who has suspended his dog from a tree. He asks him why. The shepherd tells the story of how the once faithful watchdog had betrayed his flock to a she-wolf in return for sexual favors. The king realizes that his own watchdog (the evil minister) is the cause of his misfortune. He investigates the minister. From the multitude of complainants he selects seven, who tell him of the injustices that they have suffered (the stories of the seven victims are the somber counterweight to the stories of the seven princesses). The minister is put to

death. The king restores justice, and orders the seven pleasure-domes to be converted into fire temples for the worship of God. Bahrām goes hunting one last time and disappears mysteriously into a cavern. He seeks the wild ass (gūr) but finds his tomb (gūr).

↑ François de Blois ESKANDAR-NĀMA OF NEŽĀMĪ (англ.). Iranica (December 15, 1998). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

ESKANDAR-NĀMA OF NEŽĀMĪ, the poetical version of the life of Alexander by the great 12th century narrative poet Nežāmī Ganjavī (535—605/1141-1209). It consists of two formally independent works, both in rhymed couplets and in the motaqāreb meter (see 'ARŪŽ) of the Šāh-nāma. The first part is generally known as Šaraf-nāma, the second as Eqbāl-nāma or Qerad-nāma, but there is no strong evidence that the author used these names to distinguish the two parts, and in quite a few manuscripts the name Šaraf-nāma is in fact applied to the second of the two poems. In India they are also known as Eskandar-(or Sekandar-) nāma-ye barrī and baḥrī respectively. Together they form one of the five constituent parts of the Qamsa, the posthumous collection of Nežāmī's major poems, and in most, though not all, of the manuscripts they are the last constituent.

↑ François de Blois ESKANDAR-NĀMA OF NEŽĀMĪ (англ.). Iranica (December 15, 1998). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

ESKANDAR-NĀMA OF NEŽĀMĪ... But earlier in the same poem (Šaraf-nāma, chap. 9, vv. 49-51) Nežāmī says that he has already created «three pearls» before undertaking this "new ornament," strengthening the suspicion that the mention of a fourth title in chapter 13 is an interpolation. Moreover, in Šaraf-nāma, chap. 41, vv. 3-23, the author laments the death of the Šarvānšāh Aqsatān (the dedicatee of Leylī o Majnūn) and addresses words of advice to his (unnamed) successor. This suggests that Nežāmī originally planned to dedicate the Eskandar-nāma, like Leylī o Majnūn, to one of the kings of Šarvān. But that dynasty evidently lost power over Ganja by the time the poems were completed, and in their final form they are dedicated to the malek of Ahar, Noşrat-al-Dīn Bīškīn b. Moḥammad. This ruler is mentioned in the introduction to Šaraf-nāma, chap. 10, vv. 11-12, where the poet makes a pun on his name Bīškīn («whose hatred is more»), though some of the manuscripts have a superscription claiming (wrongly) that the verses evoke Bīškīn's overlord, the atabeg Noşrat-al-Dīn Abū Bakr.

↑ François de Blois ESKANDAR-NĀMA OF NEŽĀMĪ (англ.). Iranica (December 15, 1998). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

ESKANDAR-NĀMA OF NEŽĀMĪ... The principal episodes of the legend of Alexander, as known to the Muslim tradition, are elaborated in the Šaraf-nāma: the birth of Alexander, his succession to the Macedonian throne, his war against the Negroes who had invaded Egypt, the war with the Persians, ending with the defeat and death of Dārā (see DARIUS III) and Alexander's marriage to Dārā's daughter, his pilgrimage to Mecca.

↑ François de Blois ESKANDAR-NĀMA OF NEŽĀMĪ (англ.). Iranica (December 15, 1998). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

ESKANDAR-NĀMA OF NEŽĀMĪ... Nežāmī then dwells at some length on Alexander's stay in the Caucasus and his visit to Queen Nūšāba of Barda'a (q.v.; in the immediate neighborhood of Nežāmī's home town, Ganja)

and her court of Amazons; this lady takes over the role of Candace in earlier versions of the Alexander saga. Alexander then goes to India and China. During his absence the Rūs (i.e., the Russian Vikings) invade the Caucasus and capture Barda'a (as they in fact did some two centuries before Neẓāmī's time) and take Nūšāba prisoner.

↑ François de Blois ESKANDAR-NĀMA OF NEẒĀMĪ (англ.). Iranica (December 15, 1998). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

ESKANDAR-NĀMA OF NEẒĀMĪ... In the Eqbāl-nāma Alexander, the undisputed ruler of the world, is depicted no longer as a warrior, but as a sage and a prophet. He debates with Greek and Indian philosophers, and a sizeable part of the text is occupied by the discourses in which the seven Greek sages elaborate their ideas about the creation.

↑ François de Blois ESKANDAR-NĀMA OF NEẒĀMĪ (англ.). Iranica (December 15, 1998). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

ESKANDAR-NĀMA OF NEẒĀMĪ... But we find also a number of extended parables, of only tangential connection with the Alexander story but exceptionally well told. The poet then tells of Alexander's end and adds an account of the circumstances of the death of each of the seven sages. It is at this point that an interpolator has added the already mentioned account of Neẓāmī's own death.

↑ François de Blois ESKANDAR-NĀMA OF NEẒĀMĪ (англ.). Iranica (December 15, 1998). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

ESKANDAR-NĀMA OF NEẒĀMĪ... Whereas the Šaraf-nāma clearly belongs to the tradition of Persian epic poetry — though Neẓāmī makes no attempt to emulate the style and manner of the Šāh-nāma — in the Eqbāl-nāma he shows his talents as a didactic poet, an anecdotist and a miniaturist.

↑ PREFACE (англ.). Lailī and Majnūn - Persian Literature in Translation. The Packard Humanities Institute (2000). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 31 января 2011.

In honour of Nizāmi, ... The brief notice in Dowlat Shah's account of the Poets of Persia represents him as the finest writer of the age in which he lived. Hafiz thus speaks of him:— Not all the treasured store of ancient days Can boast the sweetness of Nizami's lays.

↑ Rudolf Gelpke. The Story of Layla and Majnun, by Nizami / Translated Dr. Rudolf Gelpke in collaboration with E. Mattin and G. Hill. — Omega Publications, 1966. — ISBN 0-930872-52-5

Many later poets have imitated Nizami's work, even if they could not equal and certainly not surpass it; Persians, Turks, Indians, to name only the most important ones. The Persian scholar Hekmat has listed not less than forty Persians and thirteen Turkish versions of Layli and Majnun

↑ Domenico Parrello ҚАМСА OF NEẒĀMĪ (англ.). Encyclopædia Iranica (November 10, 2010). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 9 февраля 2011.

The influence of Nezāmi's work on the subsequent development of Persian literature has been enormous. Not only each of his poems, but also the *Ḳamsa* as a whole became a pattern that was emulated in later Persian poetry (and also in other Islamic literatures).

↑ Domenico Parrello *ḲAMSA OF NEZĀMI* (англ.). Encyclopædia Iranica (November 10, 2010). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 5 февраля 2011.

The stories in Nezāmi's poems have provided the Persian art of the miniature with an abundance of subject matter: his *Ḳamsa*, together with Ferdowsi's *Šāh-nāma*, were the most frequently illustrated literary works.

↑ Domenico Parrello *ḲAMSA OF NEZĀMI* (англ.). Encyclopædia Iranica (November 10, 2010). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 5 февраля 2011.

The first attempt at a critical edition was made by Waḥid Dastgerdi (Tehran, 1934-39, with several reprints).

↑ François de Blois *HAFT PEYKAR* (англ.). Iranica (December 15, 2002). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

The *Haft peykar* has come down to us as part of the *Ḳamsa*, the posthumous collection of Nezami's narrative poems. A critical edition of the *Haft peykar* was produced by Helmut Ritter and Jan Rypka (Prague, printed Istanbul, 1934) on the basis of fifteen *Ḳamsa* manuscripts and the Bombay lithograph of 1265.

↑ François de Blois *HAFT PEYKAR* (англ.). Iranica (December 15, 2002). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 16 сентября 2010.

This is one of the very few editions of a classical Persian text that uses a strict text-critical methodology: the editors divided the principal manuscripts into two families (called 'a' and 'b'). Only those verses shared by both families are regarded as authentic. The 'b' family is taken as the main basis for the edition, with those verses missing in the 'a' family printed in square brackets.

↑ Hamid Tafazoli *GOETHE, JOHANN WOLFGANG von* (англ.). Encyclopædia Iranica (December 15, 2001). Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 9 февраля 2011.

In his *Noten und Abhandlungen* Goethe paid tribute to several other Persian poets: Ferdowsi, Anwari, Nezāmi, Rumi, Sa'di, and Jāmi (Goethe, 1998a, pp. 153-60). But Ḥāfeẓ was the only one to whom he devoted an entire book.

↑ Rufus E. Hallmark. *German Lieder in the nineteenth century* / Rufus E. Hallmark. — Taylor & Francis, 2009. — С. 19. — 434 с. — ISBN 0415990386, 9780415990387

... but it was Joseph Hammer-Purgstall's 1812 translation of the fourteenth-century poet Hafiz, master of the Ghazel, that inspired Goethe's *West-östlicher Divan*.

↑ C. Jinarajadasa. *Theosophist Magazine March 1950-November 1950* / C. Jinarajadasa. — Kessinger Publishing, 2003. — С. 341. — 524 с. — ISBN 0766152405, 9780766152403

The Divan of Hafiz inspired Goethe to write the three hundred poems of his West- Eastern Divan...

↑ И. В. Гёте, В. В. Левик. Западно-восточный диван / И. С. Брагинский, А. В. Михайлов. — М.: Наука, 1988. — С. 29-36. — 795 с. — ISBN 5-02-012704-3

↑ Гете Гете. Из "Западно-восточного дивана" (рус.). Lib.Ru. Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 9 февраля 2011.

↑ Н. М. Карамзин. История Государства Российского. — 1816. — Т. 3. — С. 539.

↑ Журнал Министерства народного просвѣщения. — Министерство народного просвѣщенія, 1835. — Т. 5. — С. 260. — 630 с.

↑ Извлеченія из отчетов лиц, отправленных Министерством народного просвѣщенія за границу: для приготовления к профессорскому званію. — Министерство народного просвѣщенія, 1864. — Т. 4. — С. 51. — 642 с.

Низами бог между поэтами. Как же можно ставить его имя наряду с пророками?

↑ Frederick Converse Beach, George Edwin Rines/Alexander Hopkins McDonnald Nizami (англ.). The Encyclopedia Americana. Google Books. Проверено 23 января 2011.

Nizami is not so familiar to western nations as Firdausi, Hafiz, or Sa'di; but in Persia he is among the foremost classics, and, in his peculiar field, may be placed second to Firdausi.

↑ Frederick Converse Beach, George Edwin Rines. Nizami. — The Encyclopedia Americana. — The Americana company, 1904. — Vol. 11.

Nizami is not so familiar to western nations as Firdausi, Hafiz, or Sa'di; but in Persia he is among the foremost classics, and, in his peculiar field, may be placed second to Firdausi.

↑ Alexander Hopkins McDonnald. Nizami. — The Encyclopedia Americana. — Americana Corp., 1951. — Vol. 20.

Nizami is not so familiar to western nations as Firdausi, Hafiz, or Sa'di; but in Persia he is among the foremost classics, and, in his peculiar field, may be placed second to Firdausi.

↑ Nizāmī Ganjavī, Jalāl al-Dīn Rūmī (Maulana), Firdawsī, Tusī Asadī (the elder), Sa'dī, Omar Khayyam, Ḥāfiz, Jāmī (в переводах James Atkinson, Edward A. Johnson, Edward Henry Whinfield, Reynold Alleyne Nicholson, Louisa Stuart Costello, Edward Backhouse Eastwick, Sir William Jones, Ralph Thomas Hotchkin Griffith) Flowers from Persian poets / Nathan Haskell Dole, Belle Maude Walker. — Thomas Y. Crowell & co., 1901. — Т. 1. — С. xxii.

There are hundreds of them, but the sacred number seven enumerates those that the Persians themselves and critics generally consider the greatest. These, beside Firdausi, are Anvari, Nizami, Jalal ud-Din Rumi, Sa'di, Hafiz, and Jami.

↑ Peter J. Chelkowski. *Mirror of the Invisible World*. — New York: Metropolitan Museum of Art, 1975. — С. 9.

The memorization and recitation of their literary heritage has always been vital to Iranians, whose attitude towards the power of the written and spoken word is reverential. Even today the national passion for poetry is constantly expressed over radio and television, in teahouses, in literary societies, in daily conversation, and in the Musha'areh, the poetry recitation contest. Nizami's work serves as a vehicle and a symbol of this tradition.

↑ “Nizāmī”Ganjavī, Jamāl al-Dīn Abū Muḥammad Ilyās, Poet (англ.). *Persian Literature in Translation*. The Packard Humanities Institute. Архивировано из первоисточника 28 августа 2011. Проверено 26 декабря 2010.

The UNESCO declaration that 1991 was the year of Nizāmī in honor of the 850th anniversary of the poet's birth as well as Giacomo Puccini's use of a story from Haft Paykar for the basis of his opera Turandot exemplify Nizāmī's lasting eminence beyond the realm of Persian literature.

↑ 1992-2010-cu illərdə dövriyyəyə buraxılmış sikkələr

↑ Wilhelm Bacher, Samuel Robinson. *Memoir of the Life and Writings of the Persian Poet Nizami, and Analysis of the Second Part of His Alexander-book*. Williams & Norgate, 1873

↑ The New international encyclopaedia. Daniel Coit Gilman, Harry Thurston Peck, Frank Moore Colby. Dodd, Mead and Company, 1903. «NIZAMI (1141—1203) BY AV WILLIAMS JACKSON name as a Persian poet»

↑ Britannica 1902 года, автор статьи Hermann Ethé, Ph.D., M.A., Professor of German and Oriental Languages, University College, Aberystwyth. «NIZAMI (1141—1203). Shaikh Nizami or Nizam-uddin Abu Mohammed Ilyas Yusuf, the unrivalled master of the romantic epopée in Persia»

↑ Britannica 1911 года, статья «Alexander the Great» «Another early Persian poet, Nizami, made the story specially his own»

↑ Энциклопедия Брокгауза и Ефрона, автор статьи А. Е.Крымский «Низамий (шейх Низамоддин Абу-Мохеммед Ильяс ибн-Юсоф) — лучший романтический персидский поэт (1141—1203)»

↑ Характеристику Низами как персидского поэта Крымский повторяет в работе «Персия и её литература» 1900 года, втором издании 1906 года и третьем 1912 года

↑ Бартольд. Сочинения. Том 2, часть 2. Москва, 1963. Статья «Могила поэта Низами»: «... другого персидского поэта, умершего в самом начале XIII века, Низами ...»

↑ Бертельс, «Очерки истории персидской литературы», 1928. «Психологический анализ — отличительная черта Низами, отделяющая его от всех других поэтов Персии и сближающая его с европейской литературой»

↑ 1 2 Шнирельман. Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье: «К этому времени отмеченные иранский и армянский факторы способствовали быстрой азербайджанизации исторических

героев и исторических политических образований на территории Азербайджана. В частности, в 1938 г. Низами в связи с его 800-летним юбилеем был объявлен гениальным азербайджанским поэтом (История, 1939. С. 88-91). На самом деле он был персидским поэтом, что и неудивительно, так как городское население в те годы было представлено персами (Дьяконов, 1995. С. 731). В свое время это признавалось всеми энциклопедическими словарями, выходившими в России, и лишь Большая Советская Энциклопедия впервые в 1939 г. объявила Низами „великим азербайджанским поэтом“ (Ср. Брокгауз и Ефрон, 1897. С. 58; Грант, 1917. С. 195; БСЭ, 1939. С. 94).»

↑ БСЭ, 1939. Статья «Низами Гянджеви», автор . «Низами — азербайджанский поэт»

↑ Бертельс Великий азербайджанский поэт Низами. — Баку: издательство АзФАН, 1940)

↑ БСЭ. Низами: ""Низами Гянджеви Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф (около 1141, г. Гянджа, Азербайджан, — около 1209, там же), азербайджанский поэт и мыслитель. Писал на персидском языке. Бертельс

↑ Azadā Rüstāmovā. Nizami Ganjavi. «Elm» Publishers, 1981. «The immortal woman images which have been so masterfully portrayed by the Azerbaijan poet Nizami»

↑ Иран. Автор раздела И. С. Брагинский. «Вершиной развития гуманистической литературы на языке фарси явилось творчество Омара Хайяма (около 1048 — после 1122) и азербайджанского поэта Низами (1141—1209), особенно его „Пятерица“ („Хамсе“).»

↑ Г. З. Анчабадзе (ведущий научный сотрудник Института истории и этнологии АН Грузии). Краткий исторический очерк «Вайнахи». «В сокровищницу мировой литературы вошли поэма „Витязь в тигровой шкуре“ грузина Шота Руставели и творчество азербайджанского поэта Низами»

↑ Культура народов Закавказья в эпоху феодализма. Академия Наук СССР. Институт Истории. Издательство «НАУКА». Москва. 1966. «Великими современниками царицы Тамары и Шота Руставели были два замечательных азербайджанских поэта — Низами и Хакани»

↑ Академик Б. Б. ПИОТРОВСКИЙ. В ГОДЫ ВОЙНЫ (Статьи и очерки). М.: Наука, 1985. С. 5-58. «В октябре 1941 г. научные учреждения Ленинграда праздновали 800-летний юбилей великого азербайджанского поэта Низами»

↑ Антокольский П. Г. Поэты и время. Статьи. Москва, «Советский писатель», стр. 287—298. «... у великого уроженца Гянджи, великого сына азербайджанского народа, выдалось счастливое утро.»

↑ Марр Ю. Н. (востоковед, сын академика Марра Н. Ю.): Статьи и сообщения, Собр. соч. т. II, стр. 266. «Неизменный образ „тюрчанки“, как поэтический символ женской красоты; многочисленные афористические выражения, языковые обороты, характерные именно для тюркского (азербайджанского) фольклора, народного языка (на что часто указывают специалисты), многие прямые указания и намеки самого поэта, — все это обличает в Низами азербайджанского поэта, говорит о глубоких народных корнях его творчества. Недаром представители персидской интеллигенции, филологи признают, что

„Незами — не персидский поэт, он жил и работал в азербайджанской среде, и стихи его непонятны персу“»

↑ Фадеев А. А.. За тридцать лет. Москва, «Советский писатель», 1959. «Незами — великий гений азербайджанского народа... Несчастье старого проклятого времени состояло в том, что азербайджанский народ не знал своего Низами.»

↑ Николай Тихонов. Собрание сочинений в 7 томах, том 4. Москва, «Художественная литература», 1975. «Великого азербайджанского поэта звали Низами. Полное имя его звучало пышно и торжественно: Шейх Низами од-дин Абу Мохаммед Ильяс ибн-Юсуф Гянджеви, но он был скромный и простой человек. Он родился восемьсот лет назад на берегах Ганджа-чая, в древнем городе Гандже.»

↑ Кругосвет. Низами: НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ (1141- предпол. 1204) — азербайджанский поэт, мыслитель, философ, писал на языке фарси.. Чингиз Гусейнов

↑ Энциклопедия для детей" Аванта+. «Незами Гянджеви — азербайджанский поэт, мыслитель. Писал на персидском языке.»

↑ Брагинский Владимир Иосифович, д. филол. н. The Comparative Study of Traditional Asian Literatures: From Reflective Traditionalism to Neo-Traditionalism. Routledge, 2001. ISBN 0-7007-1240-2. Стр. 119: «...great Persian poet Nizami...»

↑ Стеблин-Каменский Иван Михайлович (заведующий Кафедрой иранской филологии, декан Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета). Восточный факультет давно готов сотрудничать с Западом. «Мы готовили таких специалистов <в „новообразованных государствах“>, но, как показывает наше с ними общение, там очень много националистических тенденций, научных фальсификаций. (...). В их трудах присутствует националистическое начало, нет объективного взгляда, научного понимания проблем, хода исторического развития. Подчас — откровенная фальсификация. Например, Низами, памятник которому воздвигнут на Каменноостровском проспекте, объявляется великим азербайджанским поэтом. Хотя он по-азербайджански даже не говорил. А обосновывают это тем, что он жил на территории нынешнего Азербайджана — но ведь Низами писал свои стихи и поэмы на персидском языке!»

↑ 1 2 И. М. Дьяконов. Книга воспоминаний. Глава последняя. «Незадолго перед тем началась серия юбилеев великих поэтов народов СССР. Перед войной отгремел юбилей армянского эпоса Давида Сасунского (дата которого вообще-то неизвестна) — хвостик этого я захватил в 1939 г. во время экспедиции на раскопки Кармир-блур. А сейчас <в 1947 г.> в Азербайджане готовился юбилей великого поэта Низами. С Низами была некоторая небольшая неловкость: во-первых, он был не азербайджанский, а персидский (иранский) поэт, хотя жил он в ныне азербайджанском городе Гяндже, которая, как и большинство здешних городов, имела в Средние века иранское население.»

↑ 1 2 Рамазан Кафарлы. Философия любви на древнем Востоке и Низами. Санкт-Петербург, Лейла, 2001, сс. 93-100. «...если бы в XII столетии „язык не имел значения“, то Ахситан не подчеркивал бы особо, чтобы его заказ-поэма „Лейли и Меджнун“ — был выполнен именно на фарси, то есть не

опасался бы широкого распространения тюркского языка в ущерб персидскому и арабскому языкам. Тем самым он косвенно указывал, что население Ширвана, которым он правил, говорило на тюркском (под „тюрко-подобными словами“ шах имел в виду простонародную речь хотел продемонстрировать, что эта речь „не подобает их шахскому роду“), а Низами создавал произведения и на родном языке. Выраженные на родном языке чувства и мысли поэта, вскормленные материнскими колыбельными и родными баяты, звучали бы ещё более вдохновенно, правдиво и обстоятельно. Не следует вместе с тем игнорировать тот факт, что Низами на Востоке можно было бы скорее прославиться и распространить свои воззрения в различных странах посредством персидского и арабского языков. Только по этой причине великий художник слова был связан, так сказать, по рукам и ногам. Для того, чтобы созданные им творения не затерялись, он был вынужден следовать требованиям литературного письменного языка своей эпохи.»

↑ Адиль Багиров, к.п.н. Присвоение и отторжение культурного и исторического наследия Азербайджана иранским и армянским правительствами на примере великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви

↑ Мамед Эмин Расулзаде. Азербайджанский поэт Низами. Баку, 1991, с. 31. «...кто смеет сказать „он не тюрк“ поэту, который называет а) красивого и великого — тюрком, б) красоту и величие — тюркизмом, в) красивое и великое слово — тюркским, г) страну красоты и величия — Туркестаном. В эпоху, когда жил Низами, язык, как таковой, не имел значения, с точки зрения же чувств, души, патриотических аргументов, доказывающих тюркское происхождение, поэта, не одно, а тысячи»

↑ 1 2 Dr. Ali Doostzadeh. Politicization of the background of Nizami Ganjavi: Attempted de-Iranization of a historical Iranian figure by the USSR. «Thus Nizami Ganjavi considers Iran the best land, and the most precious heart of the world and he has no shame in making such a proclamation. Alexander, Shirin or Layli and the usage of „Turk“ for them or the term „Hindu“ for one of Khusraw Parviz’s messenger are all imageries used by Nizami. As described, Turk, Hindu, Zangi/Habash, Rum are used for descriptions and symbols of slavery, rulership, slave (Hindu), ruler (Turk), trees, birds, flowers, stars, climes, complexions, colors (yellow, white, black), animals (the eye, face), planets, day(Rum, Turk) and night(Hindu, Habash/Zang), languages, tears, hair, face, various moods and feelings without taking any ethnic. »

↑ Dr. Lalita Sinha (Universiti Sains Malaysia, Senior Lecturer in Comparative Literature and Comparative Religion). Garden of Love. World Wisdom, Inc, 2008. ISBN 1-933316-63-2. Стр. 24. «Hailed by scholars of Persian literature as the greatest exponent of romantic epic poetry in Persian literature (Levy 1969, XI), Nizami is also referred....»

↑ History of Muslim Philosophy, M. M. SHARIF, Director of the Institute of Islamic Culture, Lahore Pakistan. Глава 54: «The most important classical poet of this period is Shaikhi. His version of IChusrau we Shirin of the Persian poet Nizami is more than a mere translation»

↑ Mirror of the Invisible World: Tales from the Khamseh of Nizami, Peter J. Chelkowski, Metropolitan Museum of Art, 1975, ISBN 0-87099-142-6, 9780870991424: «Nizami of Ganja (ca. 1150—1214), the great master of the masnawi genre in Iran, based his romance Haft Paykar on folk tales»

↑ A History of Literary Criticism in Iran, 1866—1951: Literary Criticism in the Works of Enlightened Thinkers of Iran--Akhundzadeh, Kermani, Malkom, Talebof, Maraghe'i, Kasravi, and Hedayat, Iraj Parsinejad (Tokio University of Foreign Studies), IbeX Publishers, Inc., 2003, ISBN 1-58814-016-4, Стр. 225: «This is a critique of a new edition of Persian poet Nezami...»

↑ Kamran Talattof (Associate Professor, Near Eastern Studies at the University of Arizona, Tucson), Jerome W. Clinton (professor emeritus of Near Eastern studies and a scholar of Iranian culture and society), K. Allin Luthe. The Poetry of Nizami Ganjavi: Knowledge, Love, and Rhetoric. Palgrave, 2001 ISBN 0-312-22810-4. Стр.2: "...and blameless character in a degree unequaled by any other Persian poet... "

↑ Ronald Grigor Suny (редактор), Kennan Institute for Advanced Russian Studies, American Association for the Advancement of Slavic Studies. Nationalism and Social Change: Essays in the History of Armenia, Azerbaijan, and Georgia. University of Michigan Press, 1996. ISBN 0-472-09617-6. Стр. 20. «...the great Persian poet Nizam ud-Dih Abu Muhammad Ilyas...»

↑ Christine van Ruymbeke (University of Cambridge, Doctorat en Iranologie, Université Libre de Bruxelles, Belgium). Science and Poetry in Medieval Persia: The Botany of Nizami's Khamsa. Cambridge University Press, 2007. ISBN 0-521-87364-9. Стр. 8. «Nizami is one of the main representatives of Persian poetry at the time»

↑ Gülru Necipoğlu Julia Bailey. Muqarnas: An Annual on the Visual Culture of the Islamic World. BRILL, 2005, ISBN 90-04-14702-0. Глава написана Aysin Yoltar-Yildirim (Ph.D. in Art History and Archeology). Стр. 99. «Trying to emulate another great Persian poet, Nizami, Hatifi attempted to write...»

↑ Walter G. Andrews, Mehmet Kalpakli. The Age of Beloveds: Love and the Beloved in Early-modern Ottoman and European Culture and Society. Duke University Press, 2005, ISBN 0-8223-3424-0. Стр. 59. «the fourth in a series of five mesnevi poems (a hamse or „pentad“) intended to match the famed thirteenth-century hamse of the Persian poet Nizami of Ganja.»

↑ Britannica (Persian literature). Classical poetry " Court poetry " The proliferation of court patronage. Автор статьи J.T.P. de Bruijn (Assistant Professor of of Persian Studies at Leiden University). «The second outstanding poet to emerge in western Iran during the 12th century was Neẓāmī, who displayed in his poetic style a mannerism similar to Khāqānī's.»

↑ Britannica (Ganja) modern mausoleum of the 12th-century Persian poet Nezami Ganjavi

↑ Britannica Neẓāmī Persian poet

↑ Brockhaus. «Nisami, Nezami, eigentlich Abu Mohammed Iljas Ibn Jusuf, persischer Dichter, * vermutlich Gāncā (Aserbaidshan) 1141,»

↑ Larousse: «Ilyas ibn Yusuf Nezami ou Ilyas ibn Yusuf Nizami — Poète persan (Gandja, vers 1140-Gandja, vers 1209)»

↑ Iranica. Classical Persian Literature. «Nezāmi's Five Treasures (Panj ganj). Eliās Abu Mo-ḥammad Nezāmi of Ganja was born around 1141 of a Kurdish mother and a father named Yusof»

↑ Encyclopedia of Literary Translation Into English, ISBN 1-884964-36-2, Taylor & Francis, 2000, ISBN 1-884964-36-2, стр. 1005: «Nizami 0.1141-0.1209 Persian poet»

↑ ROBINSON, Samuel, : «Memoir of the Life and Writings of the Persian Poet Nizami, and analysis of the second part of his Alexander Book, London and Manchester, 1873.»

↑ The Arabian Nights Encyclopedia, Ulrich Marzolph (Akademie der Wissenschaften, Göttingen), Richard van Leeuwen, Hassan Wassouf, ABC-CLIO, 2004, ISBN 1-57607-204-5, Стр. 225: «Persian poet Nezami (d. 1209)»

↑ Encyclopedia of Arabic Literature, Julie Scott Meisami (Lecturer in Persian, University of Oxford, Oriental Institute, Editor «The Journal of Middle Eastern Literatures»), Paul Starkey. Автор статьи Gregor Schoeler (Базельский университет). Стр. 69: «Persian poet Nizami»

↑ The Oxford Dictionary of Islam, John L. Esposito, Oxford University Press US, 2003, ISBN 0-19-512559-2, Стр. 235: «Nizami, Jamal al-Din Abu Muhammad II- yas ibn Yusuf ibn Zaki Muayyad (d. ca. 1209) Persian poet. Author of the Khamsa»

↑ Encyclopedia of Asian History: Vols 1-4. Ainslie Thomas Embree (Professor Emeritus of History Columbia University), Robin Jeanne Lewis, Asia Society, Richard W. Bulliet. Scribner, 1988. Стр.55: «...five historical idylls (1299—1302) as a rejoinder to the Khamsa of the Persian poet Nizami...»

↑ International Encyclopaedia of Islamic Dynasties: A Continuing Series. Nagendra Kr. Singh (Patna University & California University), Kr.Singh Nagendra. Anmol Publications PVT. LTD., 2000. ISBN 81-261-0403-1. Стр. 894: «... in the fashion of the famous Persian poet Nizami [qv], with his Khamsa, two well-known poets can be mentioned here. ...»

↑ The History Channel's online encyclopedia: «Nizami (1141—1202) Persian poet»

↑ New Encyclopedia of Islam: A Revised Edition of the Concise Encyclopedia of Islam. Cyril Glasse (Columbia university), Huston Smith. Rowman Altamira, 2003. ISBN 0-7591-0190-6. «NizamI (Abu Yusuf Muhammad Ilyas ibn Yusuf Nizam ad-Dîn) (535-598\ 141—1202). A Persian poet and mystic, he was born in Ganja in Azerbaijan.»

↑ Tadeusz Swietochowski and Brian C. Collins/ Historical Dictionary of Azerbaijan. The Scarecrow Press, Inc. Lanham, Maryland, & London, 1999, p. 93. «Nizami Ganjevi, one of Iran's greatest poets, today he is recognized as an example of the amalgamation of Turkic and Iranian culture, and of Azerbaijan's contribution to it.»

↑ Audrey L. Altstadt. The Azerbaijani Turks: power and identity under Russian rule. — Hoover Press, 1992. — P. 12. — 331 p. — (Studies of nationalities). — ISBN 0-8179-9182-4, ISBN 978-0-8179-9182-1

Nizami Ganjevi, because of his wide fame and enormous contributions to Persian-language literature, is seen as an example of the interconnections between Turkish and Persian cultural strands and of Azerbaijan's place in Turco-Persian culture.

↑ Beatrice Forbes Manz. Reviewed work(s): *The Azerbaijani Turks: Power and Identity under Russian Rule* by Audrey Altstadt. *Russian Review*, Vol. 53, No. 3 (Jul., 1994), pp. 453-455. "A clear discussion of existing controversies and of the ideological constraints behind the Soviet account of Azerbaijani history would have been a great help here. As it is, the reader is not certain whether Altstadt is presenting her own view of Azerbaijani history or that of Soviet Azerbaijani scholars"

↑ Shireen Hunter. *Iran and Transcaucasia in the Post-Soviet Era // Central Asia meets the Middle East / David Menashri*. — Routledge, 1998. "The problem is that Western scholars are accepting and legitimating these distortions. For instance, Altstadt refers to 'Azerbaijani Turkish literature from Nizami to Saeb Tabrizi'. Yet Nizami wrote in Persian and on Persian themes. Saeb Tabrizi was born and lived all his life in Isfahan, even if his forefathers had fled from Tabriz. It is amazing that any serious scholar can call Nizami's works 'Azerbaijani Turkish literature'"

↑ *Stalinism: New Directions. Rewriting Histories*. Sheila Fitzpatrick. Routledge, 2000. ISBN 0-415-15233-X. Автор главы Yuri Slezkine (professor of Russian history and Director of the Institute of Slavic, East European, and Eurasian Studies at the University of California, Berkeley) Стр.335. «The Azerbaijani delegate insisted that the Persian poet Nizami was actually a classic of Azerbaijani literature because he was a „Turk from Gandzha“, and that Mirza Fath Ali Akundov was not a gentry writer, as some proletarian critics has charged but....»

↑ PAN-TURANIANISM TAKES AIM AT AZERBAIJAN: A Geopolitical Agenda. Kaveh Farrokh(PhD. 2008 Persian Golden Lioness Award from The World Academy of Arts, Literature, and Media in London in the category of «Best History Work»). «This was a brilliant geopolitical move, as it now allowed for Russia, like the Ottoman Turks before them, to eventually make a grab for Iranian Azerbaijan. It is very likely that Joseph (Iosef) Stalin (born Djugashvili — his mother was Ossetian) (see photo below) was complicit in this action. Stalin deliberately and repeatedly referred to many famous Iranian literary figures (such as Nizami, Ganji, Shabestari, etc.) as „great national Azerbaijani literary figures“, with no mention of their association and origins in Persia.»

↑ Willem van Schendel (PhD, Professor of Modern Asian History at the University of Amsterdam), Erik Jan Zürcher (PhD. held the chair of Turkish Studies in the University of Leiden). *Identity Politics in Central Asia and the Muslim World: Nationalism, Ethnicity and Labour in the Twentieth Century*. I.B.Tauris, 2001. ISBN 1-86064-261-6. Глава «‘Soviet Nationalism’: An Ideological Legacy to the Independent Republics of Central Asia’, автор Prof. Dr. Bert G. Fragner (Austrian Academy of Sciences (Vienna): Executive Director (Institute of Iranian Studies)). Стр. 20 «It was up to the central power to solve these kinds of contradiction by arbitrary decisions. This makes clear that Soviet nationalism was embedded into the political structure of what used to be called ‘Democratic Centralism’. The territorial principle was extended to all aspects of national histories, not only in space but also in time: ‘Urartu was the oldest manifestation of a state not only on Armenian soil but throughout the whole Union (and, therefore, implicitly the earliest forerunner of the Soviet state)’, ‘Nizami from Ganja is an Azerbaijani Poet’, and so on.»

↑ Russia and Her Colonies. Walter Kolarz. Archon Books, 1967. стр. 245. «The attempt to „annex“ an important part of Persian literature and to transform it into „Azerbaijani literature“ can be best exemplified by the way in which the memory of the Persian poet Nizami (1141—1203) is exploited in the Soviet Union.» (Попытка «аннексировать» важную часть персидской литературы и преобразовать её в «азербайджанскую литературу» может лучше всего иллюстрироваться способом, которым память о персидском поэте Низами (1141—1203) эксплуатируется в Советском Союзе)

↑ Старые наименования улиц и площадей Баку

↑ Каменноостровский пр. 25, сквер. Скульптор Бабаев Г., архитектор Романовский Ф. К. 2002 г. Дар Азербайджана.

↑ Памятник Низами Гянджеви

↑ Мехрибан Алиева: «Уверена, что открытие в сердце Рима памятника Низами Гянджеви, повысит интерес к его поэзии» — Vesti.Az | Главные новости | Новости Азербайджана

↑ В Пекине установлен памятник Низами Гянджеви

↑ В Пекине завершён памятник азербайджанскому поэту Низами Гянджеви

↑ Результаты переписи и учёта жилищных условий населения РА 2001 г.

Литература [править]

Низами Гянджеви: Собрание сочинений: В 5 т.: Пер. с фарси / Низами Гянджеви; Редкол.: Р. Алиев и др.; Сост., науч. подгот. текстов, коммент. и слов. Р. Алиева; Вступ. ст. М. Ибрагимова. — М.: «Художественная литература», 1985.

Бертельс Е. Э. Великий азербайджанский поэт Низами. — Баку: издательство АзФАН, 1940

Бертельс Е. Э. Низами и Физули. — М., 1962

Крымский А. Е. Низами и его современники. — Баку: «Элм», 1981.

Крымский А. Е. История Персии, её литературы и дервишеской философии. — М., 1909

См. также изречения Низами в книге ИСТИНЫ: Изречения персидского и таджикского народов, их поэтов и мудрецов. / Перевод Наума Гребнева. Примечания Н. Османова. — М.: «Наука», главная редакция восточной литературы, 1968

Вульфсон Э. Персы в их прошлом и настоящем. — М., 1909

История персидской и таджикской литературы. / Под ред. Яна Рипка. — М., 1970

Jan Rypka, History of Iranian Literature. Reidel Publishing Company. 1968 OCLC 460598. ISBN 90-277-0143-1

Peter J. Chelkowski, «Mirror of the Invisible World». — New York: Metropolitan Museum of Art, 1975

«Colloquio sul poeta persiano Nizami e la leggenda iranica di Alessandro magno» (ROMA, 25-26 MARZO 1975) / G. Bardi. — Roma: deH'Accademia Nazionale dei Lincei, 1977

«The Poetry of Nizami Ganjavi: Knowledge, Love, and Rhetortics», Edited by Kamran Talattof and Jerome W. Clinton, Palgrave Macmillan, New York, 2001, ISBN 978-0-312-22810-1, ISBN 0-312-22810-4

Christine van Ruymbeke, «From culinary recipe to pharmacological secret for a successful wedding night: the scientific background of two images related to fruit in the Xamse of Nezâmi Ganjavi», Festschrift in honour of Professor J.T.P. de Bruijn, Persica, Annual of the Dutch-Iranian Society, (Leiden), 2002,

Subtelny, Maria, Visionary Rose: Metaphorical Application of Horticultural Practice in Persian Culture, «Botanical progress, horticultural information and cultural changes» / Michel Conan and W. John Kress. — USA: Dumbarton Oaks, 2007. — T. 2004, ISBN 0-88402-327-3, ISBN 978-0-88402-327-2

A.A. Seyed-Gohrab, «Layli and Majnun: Love, Madness and Mystic Longing in Nezâmi's Epic Romance», Leiden / Boston: E.J. Brill, 2003, ISBN 90-04-12942-1

Christine van Ruymbeke, «Science and Poetry in Medieval Persia: The Botany of Nizami's Khamsa», University of Cambridge Press, 2008, ISBN 978-0-521-87364-2, ISBN 0-521-87364-9

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%93%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8

Copyright – «Художественная литература», 1986, пятитомн.

Copyright – Азернешр, 1989, с сокр.

Данный текст не может быть использован в коммерческих целях, кроме как с согласия владельца авторских прав.